ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №6 | 2016

16+

Виктор Рогачёв

У водопоя
2013

Дачный посёлок
2014

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 6 | 2016*

В номере

ДиН публицистика

3 Переписка Н. Н. Яновского с В. П. Астафьевым

ДиН память

Алексей Зайцев

32 Под мостом

мосты над облаками

36 Под сенью дагестанской «Вербы»

Багдат Тумалаев

37 Ковёр с оленями

Юлия Зачёсова

39 Снег

Хамис Шамилова

40 Цвет любви

Мариям Кабашилова

41 Сквозь иероглиф веток

Абутраб Аливердиев

42 На пороге последних дверей

Мария Алёшечкина

43 Шлем Дон Кихота

Марина Гаджиева

45 Спасибо, что ты был…

Мадина Хуршилова

46 Глаза персиянки

Заира Гаджибалаева

47 Филадельфия

Григорий Адаров

48 Для вечной жизни

ДиН юбилей

Михаил Синельников

49 Листва под ливнем

Александр Кердан

52 Человек эпохи Возраженья

Николай Игнатенко

192 Начало весны

ДиН пародия

Евгений Минин

51 Страданье поэтической планиды

133 Русские вопросы

140 Бэтээр с рогами

174 Изжога от счастья

214 Как бы слава…

ДиН диалог

Юрий Беликов, Надежда Гашева

55 Скамейка Сперанского, или Два прыжка через пропасть

ДиН поэма

Николай Алешков

65 Ковчег

ДиН роман

Сергей Кузичкин

68 Двадцать лет и одна ночь

Д*и*Н стихи

Наталья Ахпашева
134 Динамическое равновесие

Александр Орлов
136 Голландские стихи

Наталья Кожевникова
138 Тень огня

Светлана Мингазова
141 У подоконника

Вера Зубарева
175 Записки лунасшедшего

Изяслав Винтерман
177 Я говорю и с деревом, и с собакой…

Варвара Юшманова
178 Пока летит моя душа…

Д*и*Н проза

Виталий Пырх
143 Моя единственная смерть

Эльдар Ахадов
164 Земля моей любви

Библиотека современного рассказа

Михаил Тяжев
179 Трудная работа

Ирина Манаева
185 Инстинкт самосохранения

Александр Колмогоров
193 Ударная тройка

Д*и*Н артефакт

Альбина Мамаева
197 Компас

Клуб читателей

Владимир Яранцев
203 Всегда в движении

Ольга Немежикова
210 Муж её — «ангел небесный»

Д*и*Н школа

Сергей Арутюнов,
Александр Орлов
215 Говорит будущее русское офицерство: поездка в святое место

Д*и*Н письмо

Геннадий Волобуев
217 Размышления к полемике

Д*и*Н семья

Дмитрий Косяков
218 Ульянкины рассказы

Д*и*Н ревю

Марина Саввиных
222 Невечерняя

Д*и*Н дети

223 Синяя тетрадь

233 Д*и*Н авторы

Переписка Н. Н. Яновского с В. П. Астафьевым[1]

1972–1979 гг.

16.IX.1972

Дорогой Виктор Петрович!

Получил Вашу такую объёмную книгу и порадовался: «Пастух и пастушка» в ней есть и всё остальное, не менее значительное. Спасибо за такой великолепный подарок! Всё-таки кое-что пробивается, и это вселяет хоть какую-то надежду. Не всё так мрачно под луной.

Когда я получил телеграмму, то очень пожалел, что не смог Вас повидать, т. к. получил я её через несколько часов после того, как поезд прошёл. Я был на даче, приехал утром, чтобы встретить сына из Москвы — телеграмма лежала у соседей с вечера прошедшего дня. Очень жалел.

В октябре я буду в Москве — не будет ли у Вас там какое-нибудь заделье? У меня будет какое-то заседание критиков, но я думаю пожить недели три-четыре, так как хочется поработать в библиотеке и в ЦГАЛИ.

Посылаю Вам только что вышедшую книгу «Лидия Сейфуллина»[2]. Издали её хорошо, а главное, 20 000-ым тиражом — это ответ на поклёпы, против меня направленные. Поистине — не имей сто рублей… Теперь я год могу жить безбедно и спокойно работать.

Кстати, я для «Нашего современника» написал статью листа на полтора, называется она «Владимир Сапожников»[3]. Получил от Е. Метченко[4] ответ: статью планируют на №12 этого года. Ах, как бы хорошо, чтоб об этом не забыли, чтоб её не задвинули! Сейчас мне это важно во многих отношениях — Вы это хорошо понимаете.

В «Дружбе народов» идёт, как сообщили, моя рецензия на Ваши «Затеси», написанная по их заданию, но, конечно, по моей инициативе — я писал Баруздину[5] .

В «Дальнем Востоке» обещали напечатать статью на 2 п. листа «Дмитрий Нагишкин»[6]. «Урал» заказал статеечку о Викторе Потанине[7], каковую я сейчас пишу. Кроме того, мои рецензии идут в «Звезде», в «Вопросах литературы», в альманахе «Сибирь». На моём столе злополучный том «Литературного наследства Сибири», посвящённый В. Зазубрину[8]. Это — сигнал, теперь подписанный к печати. И я вплотную сажусь за трудоёмкую подготовку третьего тома. Из второго тома при содействии Коптелова, Никулькова, Смердова[9] и других (работников обкома) изъяты ценные статьи и материалы. Некоторые из них были опубликованы, другие — я верю — будут опубликованы, не всюду же такие оголтелые «охранители», как в Новосибирске. А самое главное: охраняя читателя от «зловредного» влияния Зазубрина — Яновского, они фактически тормозят развитие *советского* литературоведения. Тем не менее в томе осталось немало ценного — ну хотя бы рассказ «Бледная правда» и мой его анализ. (Том я пришлю — и очень советую прочесть этот рассказ, если не читал ранее по журнальной публикации в 1923 году.) Сохранились некоторые интересные письма и воспоминания, я уже не говорю о блистательной для того времени «Литературной пушнине».

К столетнему юбилею Вяч. Шишкова[10] я составляю книгу его сибирских сочинений — многое не вошедшее в его соб(рание) соч(инений). Это листов на 30 с моим предисловием и комментарием. Юбилей будет отмечаться в 1973 году. В Москве я

1. Продолжение. Начало см. «ДиН» №5/2016.
2. *Яновский Н.* Лидия Сейфуллина. Критико-библиографический очерк. 2-е изд, доп. М., Художественная литература, 1972.
3. *Яновский Н.* Грани таланта. О рассказах В. Сапожникова. Наш современник, 1973, №2.
4. Очевидно, *Метченко А. И.* (1907–1985) — литературовед, критик.
5. *Баруздин С. А.* (1926–1991) — прозаик, с 1965 г. — главный редактор журнала «Дружба народов».
6. *Яновский Н.* Дмитрий Нагишкин (творческий портрет). Дальний Восток, 1973, №5. *Нагишкин Дмитрий Дмитриевич* (1909–1961) — прозаик.
7. *Потанин В. Ф.* (р. 1937) — прозаик.
8. Зазубрин В. Бледная правда. Рассказ. Сибирские огни, 1923, №4. Его же: Литературная пушнина. Сибирские огни, 1927, №1.
9. *Коптелов А. Л.* (1903–1990) — прозаик, публицист. *Никульков А. В.* (1922–2000) — прозаик, критик, публицист, главный редактор «Сибирских огней» в 1976–1987 гг. *Смердов А. И.* (1910–1986) — поэт, прозаик, критик, очеркист, главный редактор «Сибирских огней» в 1965–1974 гг.
10. *Шишков В. Я.* (1873–1945) — прозаик, драматург.

буду занят главным образом Вяч. Шишковым. Из всего этого ты видишь, что я не сижу сложа руки, да и не намерен этого делать.

Занимаясь историческими делами, я не хочу отрываться от критики, от современности. Хочу сделать анализ «Пастуха и пастушки» на фоне нашей военной прозы, примерно так, как я написал о «Солёной Пади»[11],—на фоне литературы о Гражданской войне. Но это дьявольски трудно. Буду думать.

В книге о Сейфуллиной есть страницы, звучащие злободневно. Это кое-что из её эстетических взглядах (так!), анализ повести «Встреча», полемика моя с В. Кардиным[12]. Не сама полемика, а кое-что, с нею связанное. Первое издание книги—1959 г. в «Сов. писателе». Ясно же, что через 12 лет и я вырос, книга стала лучше.

Живём с Ф(аиной) В(асильевной) вдвоём—дети и внуки далеко. Живём неподвижно, мало с кем встречаясь, да и занят я сейчас очень. У детей, конечно, тоже не всё так, как хотелось бы, но тут ничего не поделаешь: живут они по-своему и принимают безоговорочно только материальную помощь.

Марии Семёновне и тебе от меня и Ф. В. большой привет.

Обнимаю.
Н. Яновский.

27.IX.1972

Дорогая Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!
Как я рад был нашей встрече и книжке о Сейфуллиной, так изящно изданной. Кстати, я о ней мало читал, вот и почитаем.

А больше всего меня порадовало, что Николай Николаевич «в форме», что трудится,—как видно, нашего брата не так просто извести и убить, его ещё труднее повалить—это даже жирующие при обкомах знают—прихвостни начинают понимать и считаться кое с кем и кое с чем.

И успокоили Вы меня. Хорошо, что опоздали телеграмму получить,—и так был изнурён болезнью и страданиями умирающего брата, что перепутал всё и вместо станции Новосибирск предположил Тайгу и прозевал Ваш город—отупел потому что, да и поздно проходил поезд, да и стоянка всего 12 минут—что за это время переговоришь?!

Я, как и Вы, всякие горести и неурядицы топлю в работе и очень напряжённо работаю всё лето над одной вещью в 2 листа—«Ода русскому огороду»[13]—это и по названию чувствуется, вещь философская, но очень земная, немножко высоким «штилем» писанная, ода земле нашей, клочку, который нас вскормил, а главное, горесть о том, что исконно человеческое назначение мы утратили, а то, что обрели, мне и моему герою—далёко, чуждо. И если есть ещё радости, то они в приобщении к земле, в тоске по истинно любившим тебя близким людям, но уже разобщённым цивилизацией.

Работа была очень сложная, снова для меня новая и по-новому сделанная, и всего она меня, да утраты эти последние, вымотала, и решил я хоть раз отдохнуть по-человечески—поедем с Марией Семёновной на юг, там нас знакомый один сулит к истинным горцам свозить, в истинные горы, а затем поживём срок в Доме творчества Гагры—не всё там бездельникам жировать. Попробую ничего не делать, но, наверное, это не удастся, сделался совсем графоманом и тогда только полон радости, когда прёт работа, да и мусора в голову меньше прёт—он сгорает весь в башке или отметается как что-то ненужное и докучливое.

Вот только контуженая голова болит всё больше и больше, да и сердчишко стало что-то барахлить, а хочется перетянуть за пятьдесят—не так уж далеко, всего два года осталось ведь: «И не от старости умрём, от старых ран умрём…»

Как это точно и страшно сказано! Роман по этому поводу лежит, не было времени притронуться к нему, лишь изредка всуну заметку какую в папку или набросок.

Недавно с небольшой бригадой мотался по Томской области на пароходе и вертолёте—обскакали с лишком полторы тысячи вёрст, и впечатлений много, но и усталости не убыло, а даже наоборот. Однако кое-что для романа (герои родом с нижней Оби) я подметил—и это главное. Были в нашей бригаде три новосибирца—главный редактор издательства и два редактора—ребята компанейские, богатые умом и биографией, а какие в деле—Вам лучше знать. Редакторы, и Прашкевич Гена, и Женя Городецкий[14], книгу которого я сейчас с удовольствием читаю, по-современному умные, глубоко мыслящие, и пообщаться с ними интересно и полезно.

Я тоже ведь живу затворником больше—в Москве мало где бываю. Александр Николаевич[15]. умер, и после него как-то не находится собеседника открытого и умного, всё с подковыром, да завистью, да ёрничеством—я уж устал от этого

---

11. «Солёная Падь»—роман С. П. Залыгина (1913–2000). *Яновский Н.* От «Двух миров» к «Солёной Пади». «Сибирские огни», 1969, №11.
12. Повесть «Встреча» (1925). Кардин В. (Э. В. Кардин, 1921–2008)—критик, прозаик, публицист.
13. «Ода русскому огороду» опубликована в журнале «Наш современник» в 1972 г., №12.
14. *Прашкевич Г. М.* (р. 1941)—поэт, прозаик, переводчик. *Городецкий Е. А.* (1934–2005)—прозаик.
15. *Макаров А. Н.* (1912–1967)—критик, зам. главного редактора «Литературной газеты» (1948–1951), главный редактор журнала «Молодая гвардия» (с 1956).

и избегаю прежних знакомых, особливо пишущих, останавливаюсь всё больше у своего друга, художника Жени Капустина, и мне с ним вольно и хорошо.

Уезжаем мы из дому 30-го сентября, а вернёмся уже после праздника, зимою. Жаль, что не повидаемся, но надежды терять не будем: как-нибудь случитесь в Москве ещё и подскочите, здесь ведь близко. Ну, крепко Вас обнимаю и целую, от Марьи Семёновны поклон вам обоим низкий.

Ваш В. Астафьев.

Писал ли я Вам свой дом. телефон? 2-21-07.
Это на всякий случай.

2.XII.1972

Дорогой Виктор Петрович!

Перед самым отъездом в Москву получил я Ваше письмо, а ответить не успел — торопился окончить статью для «Урала» о В. Потанине (по их заказу). Как она им поглянулась — не знаю, не пишут. А в Москве я прожил почти месяц (и Ф.В. со мной была), жили мы у сына, занимались, истосковавшиеся, внучкой, существом прелестным. Ей скоро два годика стукнет, бегает, балует и лепечет она презанятно. Увидел в Москве Ваши книги — купил, но, увы, она до них ещё не доросла. У Вас, кроме повестей, которые я получил — спасибо! — ещё где-то что-то вышло. Радуюсь за Вас — издавайтесь, раз издают, теряться не надо, такое случается нечасто, а писатель должен жить, не нуждаться ни в чём — ведь вокруг него «питаются» тысячи, а гос. изд-во за его же счёт богатеет, и ничуть не меньше, чем какой-нибудь частный издатель в давно прошедшие времена.

Был в «Нашем современнике», разговаривал с С. Викуловым[16]. Не знаю, как я ему, а он мне «поглянулся» редакторской деловитостью. Статью мою печатают в № 2 (о Сапожникове), заказали мне (я сейчас пишу книгу) статью о Вяч. Шишкове (в IX.1973 г. ему будет 100 лет), и договорились мы об обзоре журнальной прозы 1973 года — о современности. Делал я когда-то такой обзор (книга «С веком наравне», 1965), попытаюсь ещё раз: а вдруг удастся что-то дельное сказать? Да и нос утру «Сиб. огням» — пусть не думают, что без них я никуда.

Вышел наконец многострадальный зазубринский том «Наследства»[17]. Хочешь, вышлю? Есть интересные вещи, знать о которых полезно и сегодня. Обгрызли его «охранители» всех рангов, все оказались знатоками эпохи 20-х гг., Зазубрина, все лезли с поправками, не хватало одной тёти Даши, уборщицы, а так все тома оставили свой «исторический» след.

В Москве свои заботы, наслушался я там всякого, чаще всего малоутешительно. Унтеры Пришибеевы подняли голову и действуют, процветают.

Почитал я нашумевший «Август 1914 года»[18] (огромная рукопись в 600 с гаком страниц) и не увидел в нём клеветы на русский народ, как об этом известила «Лит. газета», печатая какого-то иностранного «знатока» русской истории и русского народа. Это добротная проза, не хуже всякой другой, у нас издающейся. Роман уязвим в другом плане — в плане его афишируемой религиозности, якобы органически свойственной русскому народу. Религиозность, разумеется, есть, но не больше, чем у всякого другого народа, и не следует это «свойство» его мировоззрения народу русскому навязывать. Христианнейшим из христиан он никогда не был, это, пожалуй, вернее. Издали бы этот роман здесь, сказали бы, что в нём хорошо, а что плохо, раздолбали бы христолюбие его — и не было бы такого международного хая вокруг этого произведения.

Болтают, что самый «знаток» из «Литературки» романа не читал, а подписал какой-то кем-то приготовленный текст и сам сейчас не рад. Распространяют также слушок, что автор романа сам еврей и по-еврейски (из тех, что бежали в Израиль) себя ведёт. Словом, некрасивый шум, под который и идёт «завинчивание гаек» в области литературы, в области общественных наук. И хочется после этого сказать по-гоголевски: «Грустно на этом свете, господа!»

Приехал я и занялся работкой, увяз в ней по уши, и никого-то мне не хочется видеть, исключая, разумеется, моих друзей. Никуда не хожу, нигде не выступаю, хотя и получал всякие приглашения. Работа — вот что главное, исцеляющее, на будущее рассчитанное. Ах, если бы знать, какое оно, это будущее, из кого составленное!

Пишите, на забывайте. Марии Семёновне поклон.

Привет сердечный. Обнимаю. Н. Яновский.

На открытке, без даты

Дорогие мои Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!

Поздравляем вас с Новым годом! Здоровья, сил и мужества для работы, доброй зимы, тёплого

16. *Викулов С.В.* (1922–2006) — поэт, главный редактор журнала «Наш современник» (1969–1989).
17. Литературное наследство Сибири. Т. 2. Владимир Яковлевич Зазубрин. Художественные произведения, статьи, доклады, речи. Переписка. Воспоминания о В.Я. Зазубрине. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1972.
18. «Август 1914» (1971) — первый роман эпопеи А. Солженицына «Красное колесо».

лета и мира под крышами всех русских домов и над всей Россией!

Целую, всегда ваш В. Астафьев.
Новосибирск-102, ул. Восход, дом 18, кв. 23.
г. Вологда, 4—В. Астафьев.

2.III.1973 (отв. 7.III.73)

Дорогой Николай Николаевич!
Извините, пожалуйста, что долго не писал Вам, почти всю зиму проболел: сперва грипп, который тут метко назвали—«дружба народов», видно, всю свою заразу эти «дружные народы» собрали, чтоб нас уморить! Болел тяжело, с осложнениями, и лишь недели две назад стал работать, и заболел в Новый год.

На эту зиму возлагал много надежд, хотел дописать роман, но он лежит запылившийся, остывший, а разогревать вновь вещь и душу очень неловко и тяжело. Для «разгона» взялся написать кое-что из поездок на родную Сибирь. Я ведь никогда ничего не пишу, но лишь очень уж наболело и повело меня далеко и глубоко, получается очень сердито и больно.

Однако сил ещё мало, после болезни и «пар» быстро вышел, даже черновик не закончил. Вот поеду дня на три на лёд, отдышусь и дальше продолжу эту, кажется, интересную и очень увлекательную для меня работу под названием «Царь-рыба» и с подзаголовком «Рассказы у костра». Надвигается пятидесятилетие, подготовил «Избранное». Многое пересмотрел, перетряс и иное, «Звездопад», к примеру, почти наново переписал, дабы можно было их «рядом» с «Пастушкой» ставить, а «Пастушка» моя так нелегко и больно мне даётся, делая мне хитрую услугу—теперь всё моё меряют ею, а я пока дотянуться до неё не могу—и смогу ли? Кажется, в «Оде огороду» местами лишь…

Вчера только прочёл Вашу статью о Володе Сапожникове[19]. Хорошая статья, взыскательная и ко многому обязывающая. Кабы только не осердился на Вас Володя, что лихо вы с нами всеми его сверстали! Ревнив он к нам, зело ревнив, хотя и не к чему бы ревновать-то. Валя Распутин[20] лучше и лучше пишет—что мне теперь, вешаться, что ли? Наоборот, радостно, что идёт парень плечом подпереть одряхлевший лит. дом и завшивевшую лит. шубу вытрясает. Пишу предисловие к однотомнику Вити Лихоносова[21] и никак не могу написать—не поглянулась мне его последняя повесть «Чистые глаза», вещь для Вити печальная и где-то даже самоподражательная. Вот и сбила она меня с толку. Не возьмусь больше никому эти предисловия писать, будь они неладны! Весь измучался. Летом собираюсь в Сибирь на Нижнюю Тунгуску. Кланяюсь Фаине Васильевне! Вас обнимаю. Мария Семёновна шлёт свое почтение. И поклон.

Ваш—В. Астафьев.

23.III.1973

Дорогой Виктор Петрович!
Очень обрадовался Вашему письму—уж думал, не случилось ли что. Грипп—штука свирепая, и у нас тут многие переболели, я в том числе—весь январь провалялся. Однако потом засел за стол и к началу марта окончил статью о Вяч. Шишкове, которую обещал С. Викулову. Выслал я на суд редколлегии её на днях и жду приговора.

Хорошо, что взялись за роман—самый популярный жанр. Не одному же А. Иванову «блистать» в этом жанре. Наверняка он сидит сейчас над очередным сорокалистным творением.

У нас с Вами юбилей будет в один год—Вам 50, мне 60. Радости, признаться, мало, но всё же невольное подведение итогов. Задумываешься, что ты есть, и что сделал, и сделал ли как надо. Самое ужасное—опыт растёт, а силы угасают… Ещё одно из противоречий земной жизни.

С Новосибирской писательской организацией я, можно сказать, расплевался. Вот уже полтора года никуда не хожу, никакие собрания не посещаю. Не хочу видеть эти противные самодовольные рожи предателей и карьеристов Никулькова, Смердова и других активных деятелей нашей организации! Мне и без полемики с ними хватает работы, да и есть ли нужда с ними полемизировать—их продажная сущность ясна. Работаю над книгой «История и современность»[22], завершаю книгу ЛНС (том 3)[23], начал монографию о Вяч. Шишкове.

Такому же остракизму подверг писат(ельскую) орг(анизацию) и В. Сапожников, уже считают, что «блок Яновского—Сапожникова» даже своим отсутствием «нарушает мирное и согласное» течение жизни организации. Статья о нём в «Нашем современнике» подлила масла в огонь. Но вот беда: самые пассивные члены «дружной семьи» писателей Новосибирска оказались, пожалуй, самыми активными писателями творчески. Видимо, это обстоятельство и заставляет господ-товарищей

19. *Сапожников В. И.* (1922–1998)—прозаик.
20. *Распутин В. Г.* (1937–2015)—прозаик, публицист.
21. *Лихоносов В. И.* (р. 1936)—прозаик, публицист.
22. *Яновский Н.* История и современность. Вяч. Шишков, Ф. Березовский, В. Зазубрин, Дм. Нагишкин, С. Залыгин, В. Астафьев, В. Сапожников, В. Потанин. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1974.
23. Литературное наследство Сибири. Т. 3. Фёдор Бальдауф. Арсений Жиляков. Степан Исаков. Антон Сорокин. Всеволод Иванов. Фёдор Лыткин. Другие публикации. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1974.

искать с ними контактов, налаживать с ними деловые отношения. Отнюдь не желаю им успеха в этом деле.

Повесть В. Лихоносова ещё не читал, зато повесть В. Тендрякова[24] в «Современнике» поглянулась мне чрезвычайно. Видимо, со временем буду писать.

Жить в Новосибирске стало мне всё трудней, а главное, всё неинтересней. Я охотно куда-нибудь перебрался бы, но вот вопрос: куда? Вяжет меня по рукам и ногам тема—сибирская, «Лит. наследство», которое вырастает в значительное предприятие, особенно когда выпущу тома, посвящённые Ядринцеву и Потанину[25]. Теперь для меня это дело чести. И фигуры по сибирским масштабам стоят того, чтоб ими занялись всерьёз как о писателях.

Марии Семёновне от Ф. В. и меня поклон и привет. Вас я обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

P. S. Статью Л. Якименко в «Новом мире»[26] читал. О «Пастушке» он пишет мягче, чем их предыдущий автор. Но он так же, как тот рецензент, не понял повести. И Вы правы, что меряете всё своё по этой достигнутой уже высоте. Так и поступает настоящий писатель.

Н. Я.

19.VIII.1973

Дорогой Виктор Петрович!

Я всё ждал, что Вы заедете в Новосибирск, зайдёте ко мне, и мы вдосталь наговоримся. Но пути Ваши, о которых я наслышан, не перекрестились с Новосибирском, и вот я вынужден писать. Не потому «вынужден», что это мне тяжело или неприятно—совсем напротив, давно собирался,—а потому, что предпочёл бы встречу.

Храню один экземпляр своего разросшего(ся) «Предисловия» к красноярской книге Вашей, а куда послать—не знаю. Дома ли Вы? Хочу всё-таки показать статью Вам, прежде чем она будет где-либо опубликована. Послал её в «Наш современник» по их согласию, пока не знаю, как они с нею поступят, может быть, так же, как со статьёй о Вяч. Шишкове.

Веду затворнический образ жизни, так как пишу и пишу—всё для книги, каковая запланирована на 1974 год и тоже к моему юбилею (60! Уф!).

Были ли Вы в Томске, куда собирались? Всё ли там прошло хорошо, если были? Я ведь тоже туда собирался, да заболел и провалялся целую неделю.

Марии Семёновне большой привет.

Обнимаю.
Ваш Н. Яновский.

1.IX.1973

Дорогой Николай Николаевич!

Отвечаю на Ваше письмо эвон откуда, аж из Винницы! Занесло меня на Украину «творчество», делал с режиссёром сценарий по «Пастушке», надеясь потом поездить по местам боёв, поглядеть, подумать и как-то «стронуть» с места остановившийся роман, а вместо этого подхватил воспаление лёгких, да сильное, и вот уж более полумесяца лежу в больнице, вдали от дома, где мечет икру и с ума сходит моя и без того заполошная жена, известная Вам Мария Семёновна, и я боюсь, чтобы и она не свалилась.

Всегда в больницах я «скрашиваю досуг» тем, что читаю и пишу, и что этого делать нельзя, что-то разболелась голова. Оно, правда, читать-то вроде бы и ни к чему, вроде бы уж совсем на пороге те времена, о которых покойный Яшин[27] сказал, что-де придёт такое время, когда талантливым людям будут деньги платить, только чтоб они ничего не писали…

Какой-то ужас! Вовсе уж загоняют в гроб и рыло ещё не чешут, но уж видны сжатые кулаки бездари, желающей это сделать. Особенно рвутся расквасить всем рыла отставные майоры и полковники, сомкнутым строем ворвавшиеся в литературу. Мне казалось, что уж хуже, чем есть, быть не может—оказывается, может: накатывают волны, в которых видны щепки разбитых в 37-м году кораблей…

Год у меня паршиво начался, с больницы, паршиво и идёт. На Енисей съездил плохо из-за своих филантропических черт характера, на Украине «хвиаску», как тут говорят, потерпел и теперь уже имею диагноз—«хроническая пневмония»: это значит—всё время остерегаться простуды, осложнений…

Ну что делать, что делать?!

Без меня навестил мою Марию Семёновну объезжающий страну на велосипедах здоровый и полнокровный писатель В. Сапожников и повёл машину дальше, на Новгород и Псков, так сказать, в сердце России—дабы хоть на время расстаться с рекой Коёном и воспетой им на берегу оного чинарой или осокорем, погубленном современными злодеями, но взамен оного массивных лазарев (?) аж целую рощу в городе насадил!..

Плохо стал писать Сапожников, скатился до неприличной беллетристики, борясь с неудачеством. Сам себя перехитрить хочет, а вот Женя

---

24. *Тендряков В. Ф.* (1923–1984)—прозаик.
25. 4-й (1979) и 5-й (1980) тома «Литературного наследства Сибири» посвящены Н. Ядринцеву, 6-й (1983) и 7-й (1986)—Г. Потанину.
26. *Якименко Л.* Литературная критика и современная повесть. Новый мир. 1973, №1.
27. *Яшин А. Я.* (1913–1968)—поэт, прозаик.

Носов[28] между тем выдал «Десять рублей…», несмотря ни на что. Очень здорово выдал, по самым сусалам кулачищем!..

Статью присылайте домой. Я шестого июля улечу домой, уже билет заказан. Низко кланяюсь Фаине Васильевне и обнимаю Вас! — *Ваш Виктор Петрович.*

P. S. В Томске я не был, что-то и не тянет.

30.IX.1973

Дорогой Николай Николаевич!
Залежался я тут, в больницах-то! Вернулся из Винницы, побыл дня три дома и опять залёг на 20 дён, но вот уже и дома второй день, пробую садиться за стол, от которого изрядно отвык, а привыкать к нему непросто. Но не впервой, как-нибудь войду в работу, и тогда всё пойдёт как надо быть. Помаленьку буду добивать «Царь-рыбу», основа есть, некоторые главы уже сделаны, и написать ещё надо две-три главы-рассказа, и тогда конец будет виден. Получается мрачновато и гораздо тяжельше, чем в «Последнем поклоне». Надеюсь на гонор, пусть и горький! Он меня не единожды выручал.

Тут вот, пока лежал в больнице, пришло известие о выдвижении меня на премию — очень страшное. Союз писателей РСФСР, «Молодая гвардия», Вологодская пис. организация весною выдвигали «Повести о моём современнике» на Гос. премию СССР, а оказался я выдвинутым с одной повестью на Государственную премию республики, и число выдвигателей сократилось до одного. Какие-то всё мелочи, какая-то закулисная борьбишка, в которой сами «борцы» себе героями кажутся, а мне лично до лампочки всё это, мне уже, как Борису моему, всё больше хочется «покоя, только покоя», и ещё работать хочется в покое.

Прочёл я Вашу статью дважды. Она мне очень понравилась, фундаментальная статья! Она скорее для журнала, а не для книги, но каши маслом не испортить. Беда только вот в чём: в красноярской книге нет повести «Стародуб», там «Перевал» стоит — хотелось красноярскую книжку более последовательной во времени и развитии характера сделать. Придётся Вам по ходу переписывать, а о «Стародубе» сокращаться или оставлять для журнала. В рассуждениях о «Краже» и «Пастухе и пастушке» есть чересполосица, которую можно исправить с помощью ножниц, и ещё, это уж моя личная к вам просьба, — поубавьте хвалебные слова в мой адрес, почеркайте превосходительные степени, пусть будет всё покойней и скромнее. Это не кокетство моё, не желание поиграть в «скромника», а необходимое требование времени: в завшивленной нашей литературщине идёт такая бесцеремонная похвальба, такая пляска, такой праздник, что стыдно уж становится и за себя, и за друзей своих, ибо и они ведь «писатели», и они вольно или невольно участвуют в этом безголовом шабаше на литературной «ниве».

Противопоставить этому можно только порядочность и выдержку, спорить и ругаться бесполезно — я пробовал говорить дураку, хаму, гонорарному разбойнику, что он хам и хват, а тебе в ответ: «Ты — антисоветчик! Ты чернишь действительность! Принижаешь свой народ», — и т. д. и т. п. Не надо давать им повод показывать поганый язык и разевать гнилозубую пасть: «А-а! А-а! А сам-то!..»

Вот и все мои желания. Отправляйте статью в Красноярск, там грозились сдать книгу в набор ещё в сентябре, иначе она не выйдет к весне при наших периферийных темпах.

Был без меня у Марии моей в гостях Володя Сапожников, насмешил её своей чалдонской беспардонностью и всё тем же отсутствием такта. Ну да ладно, мы приучены воспринимать людей такими, какие они есть.

Дома, слава Богу, пока я «отдыхал» в больнице, закончил ремонт. Мария домывает полы, развешивает шторы и отдыхать будет — устряпалась, еле на ногах стоит.

С 21-го октября мы будем отдыхать в Гагре (так!), в Доме творчества. Мне надо греться, а Марии от домашних дел отойти.

Ну вот и всё, дорогой Николай Николаевич! Мне очень хочется с Вами повидаться и поболтать, да пока не с руки. Бываете в Москве — заворачивайте! Близко ведь, и зимой с болтами хорошо. Фаина Васильевна поболтает с Марией, апартаменты наши поглядите! Заезжайте при случае!..

Будьте здоровы! Привет Фаине Васильевне от меня и Марии. Обнимаю Вас — Виктор.

25.XII.1973

Дорогой Виктор Петрович!
Поздравляю Вас и Марию Семёновну с Новым годом! Желаю Вам здоровья и прежде всего здоровья. Всё остальное — новые книги, успех, слава — придёт с ним. Я уже убедился, занимаясь много лет «Словарём писателей Сибири и Дальнего Востока»: забывчивость людей тоже феноменальна. Пока человек жив-здоров, его знают, через год после его заболевания или исчезновения — никто толком не скажет, когда же это произошло. А если через десять — надо организовывать поиск… Итак, пьём накануне Нового года за здоровье! У меня ведь 1974 год тоже юбилейный — стукнет 60! Пьём, следовательно, и за благополучные юбилеи (если, конечно, пить можно).

28. *Носов Е. И.* (1925–2002) — прозаик.

29. *Яновский Н.* Деятельное добро. К 50-летию В. Астафьева. Наш современник, 1974, №5.

Не писал я Вам давно. То в Москву ездил, где прожил более полутора месяцев, то, вернувшись, писал срочное, давно обещанное, неотложное, то хандра нападала, к счастью, кратковременная — и похандрить недосуг.

Статья моя о четырёх повестях, увы, с сокращениями, идёт будто бы в № 4 «Нашего современника»[29]. Так мне сообщили несколько дней назад, потребовав дописать начало, чтоб «юбилейностью» пахло. Что это такое, я не знаю, но дописал как умел.

Из Красноярска ни слуху ни духу. Если статья не подошла, надо сообщить честно и не отмалчиваться. Кроме того, я ведь не тумак (?), чтоб не учесть разумные предложения и требования. А так — просто непорядочно поступает некий Ермаков! Статью заказал по телефону, а теперь трубку поднять боится… Ну чёрт с ним!

Я тоже приготовил свою «юбилейную» книгу, но сдать её в производство не могу — она уже три месяца на «контрольном рецензировании» в Комитете. Уже три книги моих держат под контролем и присылают глупейшие рецензии, одна из них, на «Голоса времени», была не глупая, а доносная и принадлежала господину Чалмаеву[30], любимому автору «Нашего современника». Он с серьёзным видом доказывал, что я протаскиваю троцкистские идеи, подозрительно много уделяю внимания репрессированным («почти все статьи») и, наконец, уничтожаю, не терплю любое начальство. А результат один: часть статей вылетело (в том числе о Залыгине), и книга вышла не в том виде, в каком хотел бы её видеть. Боюсь, что и сейчас получится нечто подобное. Чалмаев и чалмаевы процветают, хотя и выступают апологетами К. Леонтьева[31]. Если бы я в таком духе выступил, меня бы съели незамедлительно, и работал бы я где-нибудь сторожем.

В Москве я работал главным образом над творчеством Гребенщикова[32] и Шишкова, бывших когда-то, в начале нашего века, в Сибири друзьями. Гребенщиков в 20-м году эмигрировал и прожил в Турции, Франции и США сорок лет. С 1905 по 1907 год он был активнейшим деятелем литературы в Сибири как организатор и как автор многих талантливых произведений, которые Горький печатал в своих журналах. Я пишу сейчас большую статью о нём, хотя и знаю, что печатать её, вероятней всего, не будут. Пишу, потому что убеждён, что всё талантливое, созданное на русском языке, принадлежит русскому народу. Рано или поздно собранное мною кому-то пригодится, будет нужным. Слава Богу, чалмаевы — это временщики, не ими определяется развитие общества и общественной мысли.

Как Вы отдохнули? На «юбилейном» заседании редколлегии «Наше(го) современника» я случайно был. Говорилось с большим сожалением, что Вы уехали в Гагры и быть не можете. Редколлегия эта прошла не бог весть как и именно потому, что многих авторов журнала не было. А может, ещё и потому, что не была организована как надлежит.

Всему семейству Вашему наш с Ф. В. поклон и приветы и пожелания наилучшего.

Обнимаю. Н. Яновский.

Без даты

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!
С Новым годом, с ещё одним трудным годом и с надеждой, что следующие будут легче и Господь Бог будет более милостив к нам, членам коммунистического общества, и не станет с одного бока жечь огнём, а с другого сыпать снегом и хладом, и ещё поубавит раку, самоубийств, слёз и горя!..

Словом, самые «вечные» мечты и пожелания, ибо так и пребудем мы между жизнью и смертью, а на этом пути уже все слова и мысли вытоптаны, как выпас голодным скотом.

Я тоже был в Москве, по делам. Без дел я уже туда не езжу, да и по делам-то вынужденно — очень быстро устаю в Москве, изнуряет она своим шумом и бездушностью, ровно бы перед взрывом или Божьим судом все бегут куда-то и не хотят замечать друг дружку, и ох что вокруг деется.

Готовлю «Избранное», правлю, пишу, наново переписал «Звездопад» и чувствую, что это не единственное переписывание. Много слов наставил не так и не тех, пытаюсь свои же грешки, часто введённые спешкой и неумением, исправить.

До романа руки так и не доходят, и если дойдут к весне — слава Богу. Время летит стремительно, обязанности не убывают, а прибывают — хоть бы немножко приобрести эгоизма, поубавив его у наших родных и неродных детей, и не раздаривать так себя и своё время, ведь не хватает, явно не хватает на всех-то, а что сделаешь? Каков уродился!..

Ну, целую, обнимаю Вас, дорогие. Марья Семёновна присоединяется. *Ваш — Виктор.*

Без даты

Дорогой Виктор Петрович!
Сегодня купил в букинистическом «Синие сумерки»[33] (1968), купил и потому, что вид её внушал уважение — не иначе она прошла через сотню рук,

30. *Чалмаев В. А.* (р. 1932) — критик, литературовед.
31. *Леонтьев К. Н.* (1831–1891) — философ, писатель, критик, публицист.
32. *Гребенщиков Г. Д.* (1882–1964) — прозаик, публицист.
33. «Синие сумерки» — сборник рассказов В. Астафьева (издательство «Советский писатель»).

хотя и не из библиотеки, где это вполне объяснимо. Не новость, конечно, что Астафьева читают, но такую книгу всё равно иметь приятно.

Как Вы живёте, что нового, над чем работается, и как здоровье? Вот сколько сразу вопросов! Вижу, книжки выходят — и я радуюсь. Так и надо — не следует теряться. Я вот тоже «развил» свою деятельность, готовлю свою книгу листов на 20-ть, составляю том сибирских произведений Вяч. Шишкова с моим предисловием и комментариями, завершаю работу над 3-м томом «Лит. наследства Сибири», на взлёте (?) труднейший том «Писатели Сибири и Дальнего Востока» (1917–1970 гг.) — библиография, над которой работал больше 10 лет. 18.XII заседала редколлегия «Лит. наследства». Тома 4-й и 5-й будут посвящены Ядринцеву и Потанину, скоро я все силы брошу на эти дела — это мой священный долг писателя-сибиряка перед памятью блистательных патриотов Сибири. И что бы ни говорили о них дурного — а говорили много! — я убеждён, они честно вырабатывали и защищали свои идеи, они способствовали как никто расцвету Сибири. Вот вытащу на свет всё это, и эти два тома в особенности, — можно умирать спокойно, с сознанием выполненного писательского долга.

Из «Нашего современника» прислали гранки статьи о Сапожникове. Увы, статью сократили неумело, и, конечно, самое значительное — весь анализ рассказа «Друг нашего друга», ради чего я, собственно, и затеял монографический очерк о В. С. Я ему сразу сказал: «После рассказа „Друг нашего друга“, где вдрызг высмеяна вся современная пришибеевщина, я буду о тебе писать» И вот вообрази моё состояние: именно об этом рассказе всё выброшено. Чего они испугались — не пойму. Если бы не моё *первое* выступление в этом журнале и полная *необходимость* именно сейчас выступить в Москве с более или менее большой статьёй (чтобы утереть нос «Сиб. огням»), я бы немедленно эту статью от них забрал. Но мне нужно сейчас иметь «свой» журнал, чтоб я мог время от времени как-то высказаться, — и другого журнала, более мне близкого, я сейчас не вижу. Тянут меня в «Новый мир», но там у самого журнала состояние неустойчивое, да и после Лакшина[34] там выступать трудно. Можно было с ним спорить, но писал и пишет он великолепно. Как нерасчётливо обращаются у нас с такими выдающимися критическими талантами!

В № 2 «Дружбы народов» идёт моя рецензия на «Затеси» (так мне сказали). Очень хочу написать о «Пастухе и пастушке», но не подвёртывается повода. Вот к 1974-му, к 50-летию, я, может, «грохну» статеечку — вот тогда я уже выскажусь! (Хотя вполне возможно, что именно этот раздел, как в статье о Сапожникове, и похерят — всё может быть в наш просвещённый век!)

В Москве видел В. Лихоносова — подробно не говорили, но он всегда как-то по-особому мил и по-особому интересен. О В. Потанине я написал статью для «Урала», и вот на днях сообщили, что идёт в № 3 за 73-й год.

8 месяцев я проработал за своим письменным столом, не отлучался «на службу» и убедился, что в этом есть свои отнюдь не малые преимущества. Каждый мой день загружен так же до предела, как и прежде, но прибавилась *свобода* в распределении *всего* рабочего времени. И это, оказывается, очень важно, это теперь просто необходимо — так много всего накоплено, лишь только иногда сумей отдыхать, чтоб хватало на всё.

Ну-с, ладно. Я заболтался.

Привет сердечный.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

30.V.1974

Дорогие Фаина Васильевна! Николай Николаевич!

Кланяюсь Вам я и Марья Семёновна, с Урала, из нашего «имения», из доживающей свой век — Быковки. Приехал я сюда, после юбилейных гулянок и писательского пленума, чуть живой (Мария Семёновна добралась сюда раньше) и хотел много сделать, плановал, да не вышло ничего, едва отдышался — и надо ехать в Иркутск, вести семинар на совещании молодых писателей — посулил «за работу» поездку по Байкалу, и надо его, батюшку, посмотреть, пока ещё двигаться могу, да и Байкал ещё есть, а то и его скоро «преобразуют».

Здесь, в Быковке, я и получил письмо Фаины Васильевны и опечалился болезнью Николая Николаевича: эта проклятая пневмония стала бедствием — пока боролись со страшными болезнями, подкралась она незаметно к людям. Я уже семь раз валялся с нею, в прошлом году умудрился дважды и теперь ношу хроническую. Недуг худой, так он и поджидает тебя, караулит, чтоб уложить. В последний раз меня прохватило на Украине, и едва я не умер…

Однако же спутать пневмонию с тифом?!! Но не удивляйтесь. У моего знакомого, шурина журналиста-международника Миши Домогацких, «светилы» мед. науки тиф спутали с тропической лихорадкой и едва его не уморили сверхновыми лечениями.

Здесь же, в Быковке, получил я и журнал «Наш современник» со статьёй Николая Николаевича — её, конечно, поругали, однако всё одно весомо и убедительно получилось, а главы мои, пожалуйста, читайте подряд, дождавшись шестого номера, и отпишите: как они? Сделал я их довольно быстро и разом. Какое-то настороженне и даже испуг в душе.

34. *Лакшин В. Я.* (1933–1993) — критик, литературовед, прозаик.

Что же касается нашего «общего знакомого», то он попросту свинья, и вероломная притом. В прошлом году был у нас, когда я лежал в больнице на Украине, а Марья сидела в разгромленной квартире — шёл ремонт, но всё же как могла приняла его, так он, кроме *хамства* и неприязни к дому, ко мне и ко всем «клашшикам», как он говорит, ничего выказать не мог, да ещё у занятой работой, прибитой горем бабы интересовался, как и куда продать ему велосипед, на котором он совершил с сыном путешествие по «любимой» стране — не пропадать же добру! Его эгоизм — это эгоизм особого свинства, что-то *кулацкое*, в *худом* смысле этого слова, помножено на *необоснованные претензии к обществу*, и страшная ревность, переросшая в ненависть ко всем нам, кто так *терпеливо* относился к нему. Николай Николаевич, наверное, остаётся уже в единственном числе из тех, кто его может терпеть и выносить.

Ну да Бог с ним — его ждёт *одинокая и жестокая старость*, мужик он здоровый, шибко себя обожающий, и у него хватит времени обдумать свою жизнь и покаяться в своём поведении — или вовсе сбеситься (подчёркнуто двумя чертами. — *В. Я.*[35]).

После Иркутска я заеду в Красноярск — там вышла у меня книга, да и на родине побывать охота — как всегда, тянет неудержимо. Марья подлетит туда ко мне, и мы съездим к моему приятелю в Краснотуранск — это вверх по Енисею, а на обратном пути, если не очень уездимся, то и к Вам бы на денёк-другой заглянули. Адрес моей сродной сестрицы: Красноярск, ул. Парижской Коммуны, дом 31, кв. 19, Потылицына Галина Николаевна, — так Вы черкните, будете ли дома в конце июня — начале июля? И сообщите свой телефон, точнее, подтвердите, тот ли, — А-6-10-65? И я Вам позвоню.

О многом хочется и надо поговорить. Здесь мы уже кончаем своё житьё, за всё время я написал маленькую статью к 50-летию Василя Быкова[36] и очерк, большой, правда, о житие одной здешней бабы, да и то ещё начерно. «Царь-рыба» моя лежит, роман лежит, замыслы подпирают, а писать некогда, суета заела. Какой-то проклятый характер, никому ни в чём не могу отказать, вот и читаю без конца рукописи, верчусь, хлопочу, а работа стоит и не двинется.

Так вот хочется сейчас, скоро, написать давно выношенную маленькую повесть о войне под названием «Жестокие романсы» или «Ванька-взводный», прототипом которого, кстати, будет новосибирский парень Колька Шестаков, бывший наш взводный, от запоя умерший после войны, среди новосибирского базара…

Однажды целиком и явственно увидел во сне фантастическую повесть, всю утром рассказал Марии. Надо было хоть записать, да где там, всё недосуг.

Об А. Н. Макарове надо писать. (Нрзб) напротив нас кирпичный завод, так к одному холостому мужику в посёлок нагрянуло сразу две бабы, и у обеих по паре ребятишек. Разбирался он, разбирался с ними, да, не выдержав противоречий, и застрелился. Так вот и тут хоть стреляйся или разорвись!..

Но… будем жить и смеяться, как дети. Тем более что лето, тепло и зима нескоро.

Желаю Вам, Фаина Васильевна, всё быть красивой и не стариться, а Николаю Николаевичу выбираться на дачу и греть как можно больше тело на солнце, особенно спину, а сквозняков бояться и сырости избегать.

Я тут пользую одно лекарство, если поможет — научу, а пока пусть буду я один подопытным. Ну что ж, милые люди, беседа хороша с друзьями, да ведь и она не может быть бесконечной! Прощаюсь с Вами, кланяюсь и я, и Мария Семёновна, которая взяла да тут в Быковке и написала о Коле Рубцове[37], да так здорово! Молодец у меня баба! Ей бы ещё мужика хорошего в молодости найти, она, может, государством правила бы, да я попутал её, дурак такой…

Ну, обнимаю, целую! Ваш — Виктор Петрович.

Без даты

Дорогой Виктор Петрович!

Мы с Ф. В. очень и очень обрадовались, что Вы вместе с Марией Семёновной собираетесь заглянуть к нам. Это же великолепно! Обязательно приезжайте, будем ждать от Вас звонка по телефону 66–10–65 или телеграмму. В конце июня и в начале июля мы непременно будем дома. Я только 19.VI дня на три-четыре слетаю в Иркутск на заседание редакционной коллегии по изданию двух томов писем Г. Н. Потанина, предпринятому Иркутским университетом. Это моя давняя мечта, и тут я обязан быть во что бы то ни стало. Потанина замалчивали, на него клеветали, и письма раскроют наконец его огромную научную и общекультурную работу, которая имела первостепенное значение для Сибири. Отлично сказал о нём Вяч. Шишков: «Потанин для Сибири то же самое, что Лев Толстой для России».

Увы, я болел и только-только (3 июня) «слез» с больничного. Из-за болезни задержалась сдача в набор двух книг, которыми я не могу не дорожить, — «Лит. наследство Сибири», т. 3 (уже третий — знай наших!), и свою юбилейную. Так как

35. Здесь и далее — Владимир Яранцев.

36. *Астафьев В.* Выполняющий долг писателя и гражданина. О Василе Быкове (1974). Собрание сочинений в 15 т. Т. 12. Красноярск, «Офсет», 1998.

37. *Рубцов Н. И.* (1936–1971) — поэт.

вместе это составляет 45 п. л. (25 и 20), то легко представить, в какой я запарке. Буквально два дня назад подписали в набор ЛНС т. 3 (с нервотрёпкой, разумеется, с непостижимыми глупостями от боязни—как бы чего не вышло!) и сейчас домучиваем с редактором мою книгу, а она тоже на подозрении. Вот так и живу, обложенный со всех сторон недоверием и подозрением к каждому моему слову. А я не хочу кричать «мило», когда гнило (это слова Л. Сейфуллиной, взятые мной на вооружение). Со мной нередко поступают так, как в «Нашем современнике»,—выпускают кровь полемики, сглаживают общественную остроту анализируемых произведений или просто их анализ выбрасывают. Первая часть статьи «Деятельное добро» до анализа повести «Пастух и пастушка» получилась анемичной, вялой, однако же последней частью я доволен—тут всё оказалось на месте. И то—слава Богу!

Марии Семёновне от меня и Ф. В. большущий привет, мы надеемся прочитать её воспоминания о Рубцове прямо у нас, когда Вы приедете. Итак, ждём от Вас самых благоприятных известий.

Обнимаю, целую.

Твой Н. Яновский.

13.VII.1974

Дорогой Виктор Петрович!
Только что получил из Красноярска Вашу книгу[38]. Спасибо за память, за добрые слова и приветы. Книга издана хорошо, если бы не подкачала бумага.

С огорчением узнал, что в Красноярске Вы заболели и даже побывали в больнице. В самом деле всё кончилось благополучно и без осложнений? До сих пор жалею, что Вы с Марией Семёновной не завернули к нам. Когда же теперь выпадет такой же случай? Одно утешение—мы всё же повстречались, хотя поговорить с глазу на глаз нам не удалось. А между тем взаимная информация о происходящем, не говоря о многом другом, что нас в литературе интересует сегодня, всегда нужна, необходима.

Я веду сейчас сравнительно более замкнутый образ жизни—выезжаю редко, дома в Союз глаз не показываю (за что даже от «левого» Фонякова[39], как я узнал в Иркутске, получил «нагоняй»: он, видите ли, осуждает меня за то, что не хочу иметь дело с предателями). Моё дело писать, а не полемизировать с подонками типа Никулькова, для полемики есть объекты поосновательней, а если полемизировать, то с другой, более высокой трибуны. Вот сдал наконец ЛНС, т.3, и свою книгу—в ней есть полемика, открытая и завуалированная (в кого целил—тот поймёт). Сейчас по приезде из Иркутска занялся комментарием к письмам Г. Н. Потанина. Работа кропотливая, но увлекательная, а главное—необходимая, т. к. за последние полвека ничего более значительного о самом Потанине—человеке и учёном—не выходило. (Кстати, ради этого комментирования и к Кунгурову[40] ходил, т. к. по истории литературы в Сибири он накопил немало уникальных материалов.) Короче говоря, нахватал работы через край и могу сказать, что на ближайшие два-три года мне её хватит—были бы силы, здоровье.

В № 5 и 6 «Енисей» публикует письма В. Шишкова к А. Ремизову с моим предисловием и комментарием. Будет желание—посмотрите, любопытно. Предлагал их в «Вопросы литературы», одобрили, но не печатают. «Енисей» просто ошеломил меня своим согласием опубликовать эти письма. Сейчас у меня свыше ста неопубликованных интересных писем В. Шишкова к разным лицам. Хочу составить книгу. Вот только где её издать—не знаю. Наша история литературы ещё не изучена так, как её следует изучать.

Ф. В. и я шлём искренние пожелания здоровья и благополучия Марье Семёновне и Вам.

Обнимаю. Ваш Н. Яновский

2.XI.1974, Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!
Сразу Вам не ответил—каюсь. Да и не мог: «история» с Шукшиным[41] расстроила вообще, а тут это интервью, в котором такие планы, такие надежды... Примириться со всем этим как-то невозможно, сколько ни старайся, сколько бы ни говорил, что «все там будем». Я сейчас занимаюсь историей примерно столетней давности. Комментирую письма нашего сибирского Толстого (так его воспринимали современники-сибиряки)—Г. Н. Потанина. Возникают сотни судеб людей очень интересных и достойных памяти. Но чаще всего мы этих людей забыли, ничего о них не знаем, кроме того, что их где-то и кто-то как-то упомянул. Пыхтим, стараемся, кипим, а результат—пшик. И не жить глупо, поскольку эта жизнь тебе случайно дарована. Вот и коптим.

Наконец-то с моей книгой всё утряслось—печатается. Проверяли её на три-четыре ряда. Последняя—уже в корректуре и в последнюю минуту, за моей спиной, не согласовывая, сняли какие-то 20–30 строчек «крамолы». До сих пор не

---

38. *Астафьев В.* Избранное (Перевал. Последний поклон. Кража. Пастух и пастушка). Красноярск, Книжное издательство, 1974.
39. *Фоняков И. О.* (1935–2011)—поэт, журналист.
40. *Кунгуров Г. Ф.* (1903–1981)—критик, литературовед, прозаик, публицист.
41. Очевидно, трагическая смерть В. Шукшина 2 октября 1974 г.

знаю, что именно. Негодовать я уже устал — не тот возраст, но сознание полной своей бесправности гнетёт, принижает, и никак не уразумеешь, кому это надо, кому от этого выгода. Мурло тупого охранителя проглядывает всюду, он чинит расправу и произвол, но он же — самое доверенное лицо в государстве! Ничего не изменилось в наших нравах. Как и сто лет назад, во времена Ядринцева и Потанина, доверяли разным тупицам, а не уму и совести лучших людей России. Я не причисляю этим себя к «лучшим», но можно же со мною в моём государстве обращаться по-человечески! Почему я едва ли не всю свою сознательную жизнь нахожусь на подозрении?

Ладно. Чёрт с ними. Одно утешение — работа. Её много, и пока есть охота работать. Кстати, печатается и 3-й том «Лит. наследства Сибири», который, по существу, весь сделан мною и который тоже испортили подозрением и ею вызванной глупостью. И снова уже отредактированный том тайно от меня передали на «окончательную шлифовку» Коптелову. Узнав об этом, я не утерпел и спросил: на каком основании не доверяют 8 членам редколлегии ЛНС («Литературное наследство Сибири»)? И если не доверяют, не лучше ли её разогнать и поручить дело одному Коптелову?

Бог мой, я же оказался виноватым! Наверное, том 4-й, над которым работаю, издать не дадут, тем более — посвящён он *областнику* Ядринцеву. Однако же если не удастся сделать том ЛНС, напишу о нём монографию. Ах, какой это был человек, писатель и учёный! Чем больше о нём узнаю, тем больше он меня восхищает.

Книга моя юбилейная выйдет — пришлю непременно. К тому же один из героев её — Вы. Статья несколько отличается от того, что было в журнале.

Марии Семёновне большой привет.

И с праздником!

Обнимаю.

Н. Яновский.

Отв. 1974

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю всего, что желали и желают люди добрые друг другу, — добра, милосердия, белых снегов, зелёного лета и тёплой осени! Да чтоб цензуры поубавилось хоть ненамного и дышать бы полегче стало! Я пишу, работаю. Как-то медленно стала у меня идти работа и для головы болезненно — делаю новые главы в «Последний поклон», в январе повезу их в журнал.

Будьте здоровы, добрые люди!

Ваш — В. Астафьев.
И Мария Семёновна.

1(?).I.1975

Дорогой Виктор Петрович!
Большое Вам спасибо за все поздравления, которые я получил в прошлом году. Мне приятно было получить их от Вас. Своеобразным приветом и доброй памятью прозвучала для меня и сценка из красночикойских «событий», рассказанная Вами на страницах «Вопросов литературы»[42]. Она «забавна», но выводы Вы из неё сделали серьёзные и своевременные, а постановление оказалось притянутым за уши: и до была, и после него сохранялась когорта «неприкасаемых» писателей.

Я не отвечал вам, т. к. сразу после юбилейных перегрузок уехал в санаторий, где лечился и отдыхал, отключившись от всего на свете, даже газеты читал изредка. Лыжи и всякие лечебные процедуры занимали меня больше всего почти целый месяц. Приехал на днях с нормальным давлением и свежей головой. Теперь — за работу!

Мы с Ф. В. желаем Вам и Марии Семёновне здоровья и успеха в новом году. Я слышал, что у Марии Семёновны вышла новая книга. От души поздравляю!

Обнимаю и целую Вас.

Ваш Н. Яновский.

28.IV.1975

Дорогой Виктор Петрович!
Поздравляем вас и Марию Семёновну с наступающим Днём Победы. Для нас, оставшихся в живых, всё пережитое — хорошее и тяжкое — незабываемо.

42. Пересекая рубеж. Беседу вёл А. Михайлов. Вопросы литературы, 1974, № 11. В. Астафьев рассказывал: «После читинского семинара шли мы целой бригадой по далёкому-далёкому городку Красный Чикой, что находится почти на границе Монголии. Повстречался нам шишкарь — ну, это человек, который кедровые орехи добывает, — остановился и спрашивает: „Это правда, что вы писатели?“ Правда, говорим, и стали представляться шишкарю. Когда дело дошло до Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто тигра узрев, воскликнул: „Критик?! — и, сурово оглядев с ног до головы милейшего, застенчиво улыбающегося Николая Николаевича, спросил у нас строго-деловито: — Так что же вы его не бьёте?!“» И далее, сравнивая отношение «писательской братии» к критике с этим «простодушным шишкарем», В. Астафьев говорит: «Пока „служит“ критик, раздаёт в качестве официанта „сладкое“ — ничего, терпимо. Но стоит ему „покритиковать“, да ещё писателя маститого, тут и писатели, и свои же братья-критики навалятся на него, да ещё неучем выставят. Благородства бы, благородства побольше бы в отношении друг к другу, да и всей нашей литературе вообще».

Дотянем ли до 40-летия, но и 30-летие — наше счастье, добытое жизнью многих других, известных и безвестных. Мы их помянем в эти дни, склоним перед ними голову.

Был я на собрании критиков в Москве по поводу литературы, посвящённой войне. Два-три выступления были по-человечески интересны, остальные пропитаны равнодушием; никого не занимает актуальность проблемы, новая её трактовка, пробивающаяся в литературе; наоборот, вдруг заговорили о Фадееве, да так, будто в нём уже всё было и попросту забыли им добытое. И это после того, как он переделал свой роман в угоду нелепо выраженной тенденции! Гринберг хвалил Чаковского[43]. И за что? За «художество». Словом, нужного разговора не получилось.

Позанимался я в Москве дней десять, повозился с внучкой и вот вернулся, с тем чтобы в мае уехать в Томск. Дело в том, что занят и увлечён я сейчас великим патриотом Н. М. Ядринцевым для IV тома «Лит. наследства Сибири» (3 тома уже вышли!). Его как писателя забыли, на него как общественного деятеля до сих пор ещё плюют люди, забывшие, откуда они сами вылупились. И я хочу всё это поставить на своё место. Рассказать о нём как о писателе, собрать лучшее у него — и показать, что к чему. Отпущено мне на это 30 п. л. — вот и тружусь. Буду счастлив, если как следует сделаю этот том.

Что у Вас нового, как подвигается Ваша работка? Красноярск предложил мне написать книжку о В. П. Астафьеве, я, конечно, согласился.

Обнимаю. Ваш Н. Яновский.

Отв. V. 1975 (?)

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!
Из тихой деревушки Сиблы, где я сижу и работаю, шлю Вам сердечный привет и поздравления с праздником весны и Великой Победы! Здоровы будьте по возможности. Пусть работается хорошо и над всей землёй будет вечный мир, а героизм происходит только в телевизоре, ибо наяву он шибко дорого стоит и кровав больно, а кровью всё уж вроде напиталось до того, что всё кругом красно.

Я помаленьку работаю, всё бьюсь над «Царь-рыбой».

Обнимаю и целую — Виктор.
Мария кланяется.

9. VII. 1975

Дорогой Виктор Петрович!
В. И. Ермаков прислал мне из Красноярска вырезку из газеты — «Стержневой корень». Естественно, что статью — да нет, конечно, не статью! — я незамедлительно прочитал. Поздравляю Вас — это отлично! И о доброте, которой в жизни недостаёт, и о хороших людях, которые всегда встречаются на нашем пути, и, кроме всего, о документализме в литературе, без которого иные сегодня шагу шагнуть не могут. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что как-то по-новому увидел я Василия Ивановича Соколова — Валериана Ивановича Репнина, Игн(атия) Дм(итриевича) Рождественского[44], которого я мальчиком знал, и Вас самих того «кражного» периода Вашей жизни. Как по-новому — я ещё сказать не могу, а просто чувствую безотчётно, как всякий читатель.

Помню, редакторы «Нашего современника» прочли и сказали: «Зачем анализ „Кражи“ автор статьи начал с фигуры второстепенной — с Репнина?» Признаюсь, я даже как-то растерялся: «То есть как это второстепенной?! Да он же ключ ко всему повествованию». Убедить я их не смог, но на своём стоял, исходя из принципа: автор волен начинать свой разговор о произведении, так сказать, с любого «конца». Ваш рассказ о Василии Ивановиче невольно напомнил мне этот эпизод. Вообще читал и радовался. «Урок снисходительности» — ведь к такой «простой» вещи люди далеко не сразу приходят, да и далеко не все. «Слишком большая роскошь расходовать время на злобные вспышки...» — бог мой, как часто забываем мы об этом! «Жить и работать, сверяясь с совестью...» — конечно же, трудно. И только прожив жизнь, убеждаешься, как часто и без особой нужды я шёл на компромиссы! Вот эта обращённость к лучшему в человеке — живой нерв Вашего нового произведения. И прикосновение к нему сознанием, чувствами, всей жизнью своей высекать искру читательского доверия к тому, о чём Вы рассказываете, даже если бы я Вас не знал.

А что это газета напечатала «Стержневой корень» с сокращениями? Велика — или другие какие мотивы?

Давно собирался Вам написать, но как-то не было повода Вас отвлекать. Вот повод нашёлся. Страдайте.

Жду Вашу «Царь-рыбу».

Сам я работаю над IV томом «Лит. наследства». Целиком погрузился в XIX век. Задача — очистить доброе имя писателя от всяких напраслин тупых злобных людей, восстановить его в «писательских правах», заполнить пропущенную страницу нашей литературной истории, страницу, существенную не только для одной Сибири, как полагают некоторые до сего дня. Речь идёт о Н. М. Ядринцеве,

43. *Гринберг И. Л.* (1906–1980) — критик.
Чаковский А. Б. (1913–1994) — прозаик.

44. *Рождественский И. Д.* (1910–1969) — поэт.

о великом патриоте Сибири, личности яркой, удивительно прекрасной. Если я выпущу этот том, то уже наверняка могу сказать, что прожил жизнь свою не напрасно — «умножил хоть каплей одною добрых дел моих скудный запас!» (посылаю Вам это стихотворение, непритязательное, но мудрое, человечное, просто нужное, когда жизнь стремительно идёт к концу).

От Марии Семёновны Ф. В. получила большое душевное письмо, как она сказала. И приветы, за которые спасибо. Ведь всегда приятно, когда нас помнят добром. Марии Семёновне и Вам от Ф. В. и меня сердечный привет.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

P. S. В Красноярске запланировали мою книгу «Виктор Астафьев», но на какой год и какого объёма — ничего не говорят.

Отв. 26.VIII.1975.
Д. Сибла, июля 25

Дорогой, милейший Николай Николаевич!
Я глубоко почитаю Вашу деликатность и истинную интеллигентность, не перестаю удивляться Вашему мужеству, трудолюбию и где-то даже тем иной раз внутренне поддерживаюсь. И всё же, всё же… Когда Вам хочется написать, поговорить письмом, не сдерживайте своего порыва, есть люди, письма от которых мне дороги так же, как они сами.

(Это не за похвалы Ваши о статейке, это я давно уже говорил и говорю всем, так ведь и Вам надо ж когда-то доброе слово о себе слышать, «ласковое слово и кошке дорого!» — сказал кто-то из лукавых еврипидов-драматургов, ну а критик-то неуж кошки хуже?!)

Статейка-то сильно сокращена. Делал я её (писал) для небольшой книжки, издаваемой самым высокомерным нашим издательством «Худ. литература», 2,5 листов и гонорару от 90 до 105 рублей за лист, ибо всё издано-переиздано. А я в деньгах сейчас очень нуждаюсь, так и подписался. Купил «Волгу», всё ещё вожусь с домом и усадьбой, всё дорого, а ведь машине надо ещё гараж. И чёрт его знает, чего в этой жизни не надо только?!

Всю зиму и лето работал над «Царь-рыбой» в основном. Дело идёт к концу, но я уже так устал, что забываться начал, зачем пошёл и куда. Требуется отдых, вот поэтому с Марией поедем на Байкал, и оттуда скорей за стол и за работу (умри, но всю книгу на 40 листов надо сдать осенью).

«Царь-рыба»-то выросла на 20 листов, и что с нею будет? Не придётся ли опять ехать в Сибирь, искать ей пристанища? Боюсь, боюсь и осложнений при публикации. Кажется, столь сердито я ещё не распалялся («Крас. рабочий» отобрал самые, конечно, благополучные главы, испластал их, Боже ж ты мой! Закаивался я давно в газету, но тут с родины, послал парня ко мне — как не уважить?). Ну, даст Бог, в журнале полнее случится напечатать.

А вообще-то я, здоровьем пыша, тьфу-тьфу, пока держусь. Для меня деревня — рай, и диспансер, и место работы!

Молодец я, что снова усвистнул от шума городского, не дали б мне там работать, уже и здесь-то, в глуши, достают. А красноярцы мне ничего не пишут о том, что Вам заказали книгу. Уж не туфта ли опять? Вы с ними поделовитей и строже будьте! Ну вот, хоть и бегом, сумбурно, да поговорили (дефект рукописи. — *В. Я.*). Фаине Васильевне кланяюсь. Обнимаю. *Ваш Виктор.*

26.VIII.1975

Дорогой Виктор Петрович!
Я помню, как совсем недавно Мария Семёновна прислала нам книгу стихов Н. Рубцова. Для нас это был ценнейший подарок, и мы с удовольствием видели, как загорались глаза наших друзей при одном виде этого томика. Мы, разумеется, давали её почитать и делали это тоже с удовольствием, так что Марии Семёновне «перепало» немало искренней благодарности за это её душевное движение — послать нам хорошую, дорогую для неё и для нас книгу.

У меня «речь» пойдёт о другой книге. Просто эта книга и поэтична по содержанию, и хорошо, редко для нас (печатали не в Новосибирске, а в Калинине!) изданная, а главное — с отличными рисунками С. Калачёва. Вы — крестьянский сын, потому поймёте мой восторг от лошадей, которые даны в разных ракурсах и — с характерами! Посмотрите.

Вы, вероятно, уже уехали на Байкал. Посылаю на всякий случай сейчас, чтоб потом не пожалеть, т. к. книга быстро расходится.

Василий Коньяков[45], кстати, очень хороший человек и честный писатель. Мне он нравится, больше — я его люблю.

Неплохо издана «Сов. Россией» Ваша повесть «Перевал» (я её только что купил), но художник всё-таки далеко не всюду озабочен характером действующих лиц, хотя «фигуры» и полны динамики. Однако и такую книгу приятно подержать в руках.

Я только что сел за стол — увы, более месяца болел. Потому и не отвечал.

Марии Семёновне и Вам от нас с Ф. В. сердечный привет.

Ваш Н. Яновский.

---

45. *Коньяков В. М.* (1927–1998) — прозаик.

v.1976

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!
Шлю Вам низкий поклон и наши лучшие пожелания к празднику весны и Победы!

Здоровы будьте!

Мы живём помаленьку, днями стали тоже дедом и бабкой — дочь подарила внука. Я нахожусь в больнице — очередное обострение пневмонии, но это уже почти привычное дело.

В это же время, не позже и не раньше, цензура взялась резать «Царь-рыбу» — идёт со скрипом и большими утратами. Вот и пиши о современности! А я ведь на неё и зашёл-то не с самого главного места вроде бы. Не знаю, как пройдёт третий кусок, второй просто измордован, и вообще не пустили б, если б не помогли сверху. Не скоро теперь я примусь за эту самую современность — про БАМ-то я писать не буду, а всё остальное неходово. Да хрен с ними — всё равно собираюсь целиком засесть за войну, предварительно закончив «Поклон».

Обнимаю — Виктор Петрович.

Без даты

Дорогой Виктор Петрович!
Меня очень обрадовало Ваше послание ко Дню Победы. Мы с Ф. В. шлём Вам вместе с Марией Семёновной наши искренние пожелания здоровья и обыкновенного житейского благополучия. А главное — поздравляем Вас с внуком! По опыту знаю, какое это необыкновенное чувство, как вдруг по-особому воспринимается весь мир через глаза этого ещё не знаемого и кровно близкого существа. Любопытно, что оно (существо) становится как бы ближе и дороже собственных детей. Странно, но факт. Видимо, потому, что наши дети уже отпочковались, от нас независимы, а эти ещё беспомощные и дальше в неизвестное продолжают наше «земное» существование. Словом, внук — это отлично, и я поздравляю Вашу дочь.

Вашу «Царь-рыбу» я ещё не видел, так как в этом году нам, писателям, отказали в подписке на «Наш современник», заявив: «Писатели должны писать, читать им совсем необязательно». Это подлинные слова одного «культурного» деятеля в Новосибирске. Но Вы, конечно, понимаете, что прочту я Ваш роман непременно. О начале в № 4[46] я уже слышал хорошие отзывы. Что же касается «непроходимости» некоторых современных тем и проблем, то это наша общая беда, из-за которой не следует оставлять современную тему, хотя сам я весь в истории — в недавней (Вяч. Шишков) и в давней (Н. М. Ядринцев). Тем не менее я такой совет, как говорится, даю, ибо история отнюдь не поле для умиротворённых и примирительных разговоров. Увы, многие факты истории сегодня стараются «забыть», точнее, не дают им ходу на предмет подлинно научного осмысления. История наша столь же жгуче современна, всё дело в том, как на неё поглядеть. Вот ведь Ю. Трифонов коснулся истории в последней своей повести[47] в «Дружбе народов», но как актуально она у него прозвучала. Более едко-критического отношения к нашей действительности я пока не знаю; её сила в объективно художественном анализе; и горечь, и радость ощущаешь, читая эту повесть. Не случайно о Трифонове Михалков[48] не заикнулся в своём докладе на съезде, и не случайно подонок Чалмаев обрушился на него в журнале «Москва», противопоставив его Шукшину, которого при жизни он тоже поносил…

Живу я в работе да в болезнях, которые посещают меня всё чаще и чаще. Жаль, что эти дни надолго — на неделю и месяц — выбивают из рабочей колеи. Раз уж пошла речь о болезнях, то следует Вам сообщить, что Сапожников серьёзно заболел — лежит в больнице в предынфарктном состоянии. Уехал на охоту да там и свалился, попал в больницу, Наташа привезла его в тяжёлом состоянии. Печальное известие наводит на грустные размышления, хотя, конечно же, до поры до времени мы хозяева своего здоровья. Вот только беречь мы его не умеем.

Два Виктора — Лихоносов и Потанин — не забывают меня, пишут, и мне это приятно, потому что намного они моложе меня, и в моём одиночестве их голоса как поддержка, о чём бы они ни писали. На седьмом десятке начинаешь понимать значение обыкновенного человеческого участия острее, чем раньше, в дни юношеской беспечности.

С 8 апреля я тоже слёг и очухался только к 9 мая. Мечтаю, быть может, в мае удастся поработать.

Будьте здоровы.
Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

7.VII.1976

Дорогой Николай Николаевич!
Вот уж скоро месяц, как я в деревне — прихожу в себя после больницы и от всех этих изнурительных трудов по «редактуре» «Царь-рыбы», которую точнее надо было бы назвать истязанием человека, изгальством над душою и мыслью художника.

46. «Царь-рыба» печаталась в «Нашем современнике» в №№ 4–6, 1976.
47. *Трифонов Ю. В.* (1925–1981) — прозаик. Повесть «Другая жизнь».
48. *Михалков С. В.* (1913–2009) — поэт, прозаик, драматург.

Верю, что если люди окончательно не сойдут с ума и не доведут друг друга до последнего скотства и самоистребления, правнуки наши будут удивляться, как это мы ещё умудрялись чего-то рисовать, писать, показывать и даже иногда высказывать какие-то мыслишки в тех нравственных оковах, в наморднике таком, хитросплетённом из проволоки сладких тянучек, бурьяне таком и чертополохе ещё умудрялись находить иной раз не только цветочек, но и ягодку или пополезней злак какой.

Ужасно! Состояние такое, будто в ступе душу толкли, и тут погода нынче совсем нас замучила: почти не переставая, идут дожди, холодно, всё отсырело, грязь даже в огороде, трава радуется и прёт вверх, но трава эта «пустая», сказали мне пастухи, с неё скотина только дрищет и болеет, ибо не получает она нужного тепла, и чем-то эта густая, зелёная и бесполезная трава напоминает нашу всеместную беспардонную демагогию и ложь, которая так уж нас опутала, что мы её замечать порой не можем, да иначе бы и жить невозможно было. Вот долдонит радио в невинной детской передаче: «Сегодня начало лета. Птички вывели птенцов. Сегодня выпустили колхозных телят на новую траву, и они, задрав хвосты, начали бегать и резвиться…»

Вот её бы, м…у эту с радио, которая сочинила такую «ударную передачу про колхоз», подержать зиму в колхозных холодных (нрзб) на 500 граммах кормов, при пьяницах-мужиках, которые сутками как загуляют — не только есть, но и пить скотине не дают, вот бы и бегала она, «задрав хвост»…

И ложь-то маленькая, ничтожная, но если всё вместе сложить… Или ещё вот идёт передача с ярославского завода, называется (дефект рукописи.— *В. Я.*) «В рабочий полдень» (я вынужден слушать, ибо в больнице нарушили мне голову лекарствами, и задурела моя контузия — не могу ни писать, ни читать), так вот, в передаче этой прославляются муж и жена за то, что работают на одном заводе, на одном цикле (достижение! Не воруют, а работают — редкость-то какая, все кругом воруют, а они вкалывают). Так вот, простодушная жена говорит про мужа: «Он меня заразил…» Слава Богу, заразил только «примером своим трудовым»…

И ведь вся эта словесная зараза спокойно существует при том (нрзб) надзоре за словом, который у нас развели. Чем хуже, тем лучше. Читаю сейчас двухтомник Кости Воробьёва[49] (заказали мне о нём статью в «Новый мир»), читаю медленно, спокойно. Какого писателя «не заметили»! И в это время витийствовало и развелось сколько пустобрёхов. А ведь печатай Костю Воробьёва — невозможно было бы печатать, стыдно читать такие бестселлеры, как «А зори здесь тихие» (дефект рукописи.— *В. Я.*), бредни Грибачёва, Горбачёва, Попова, Первенцева с Бабаевским и Сартакова[50] с его вышестоящим гражданским начальником, человеком столь же серым, самораздутым, сколь и бездарным. Вот потому и не пустили Костю «в люди», а Твардовский, который его любил и печатал, помер рано. Даже писатели спрашивают: «Это который Воробьёв — „Минуту молчания“ или „Каплю крови“ который написал? Мура!» Правильно. Мура, но напечатанная миниатюрными тиражами и всем известная.

А, да чёрт с ней, с литературой этой! Как Вы здоровы? Не поедете ли на съезд? Я поеду — охота с ребятами повидаться. А то так и не хватит времени с друзьями посидеть. Внук наш, тоже Витька, растёт хорошо, бабка мечется между двумя Витьками — старым и малым.

А у меня, несмотря на ипохондрию, в голове четыре последних главы «Поклона», одна уж на бумаге есть, и я в сентябре съезжу в Сибирь да и сяду приканчивать «Поклон», допишу новые главы, «подтяну» к ним старые и целиком переключусь на войну, надо мне написать «мою войну», а то больно много врут о ней. Ну вот и всё.

Поклон Фаине Васильевне. Целую Вас и обнимаю.

11.VIII.1976

Дорогой Виктор Петрович!
Я долго не отвечал на Ваше последнее, для меня интереснейшее, письмо, потому что с головой ушёл в книгу, которую надо было сдать к 1 августа, иначе она не попадала в план 1978 года. Это — «Литературное наследство Сибири», том 4. В нём оказалось более тысячи страниц, и Вы понимаете, какая это «махина», как трудно складывать такую книгу, к тому же связанную с событиями столетней давности. Писал предисловие к этому тому — «Проза Н. М. Ядринцева» — и целиком обитал в литературе XIX века. Читать эту литературу творчески совсем не одно и то же, чем читать её, перечитывать «просто так». Впрочем, перечитывать её не творчески в нашем возрасте, вероятно, невозможно. На каждом шагу непременно открываешь для себя новое — кого бы ни взял, будь то Мачтет или Г. Успенский, Омулевский или Гаршин, о Достоевском и Салтыкове-Щедрине уж и не говорю. Они неисчерпаемы. О Ядринцеве, о котором как о писателе знают мало, а точнее — ничего не знают, писал с удовольствием. Понимаю, что, как и в случае с Зазубриным, на меня могут обрушиться разного рода обвинения. Но завершить

49. *Воробьёв К. Д.* (1919–1975) — прозаик.

50. *Грибачёв Н. М.* (1910–1992) — прозаик, общественный деятель. *Горбачёв Н. А.* (р. 1923) — прозаик. Очевидно, *Попов В. Ф.* (1907–2001) — прозаик. *Первенцев А. А.* (1905–1981) — прозаик. *Бабаевский С. П.* (1909–2000) — прозаик. *Сартаков С. В.* (1908–2005) — прозаик.

эту работу мечтаю своим необходимым долгом патриота-сибиряка, ибо столь неистового, пламенного патриота Сибири, как Ядринцев, наша история не знает. Работы над томом предстоит ещё много, но главное сделано: заложена основа тома — собраны его лучшие произведения в стихах и прозе, даются его публицистика, выступления в области критики и литературоведения, письма, воспоминания…

Только после того, как я свалил эту гору с плеч, я мог заняться чтением текущих из месяца в месяц журналов. Прочитал (в первую очередь) и Вашу книгу-повествование «Царь-рыба», памятуя о тех истязаниях души художника, о которых Вы мне писали. Увы, я слышу эти, мягко говоря, «жалобы» от многих — от В. Распутина и В. Канторовича (очеркист и критик), от Н. Самохина и А. Горелова (литературовед), от Леонида Иванова и И. Золотусского[51]. Свирепость «истязателей» доходит до немыслимых пределов. Буквально то, что вчера опубликовано было в журналах и книгах, сегодня выбрасывается без объяснений. На самостоятельную мысль идёт наступление широким фронтом. Снова всюду цитируется один авторитет, и всё, что сверх того, — от лукавого. Исторические уроки не идут впрок, их мгновенно забывают, а напомнить сознательно не дают.

Так вот, прочитал я Ваше истерзанное повествование с превеликой радостью. Написано оно красочно, лирично, публицистично. Вы с Вашим характером, насколько он мне открылся, видны мне в каждой фразе, в каждом слове. Это книга о Вашей любви и о Вашем гневе. Пафос её я целиком разделяю и рад, что именно Вы написали такую жгущую сердце книгу. Она о хозяйственном и хозяйском отношении человека к земле, к ее дарам. Она о красоте природы и варварском истреблении её. «Царь-рыба» написана с великолепным знанием этой природы и с резкой силой обличительного гнева против тех, кто её не любит и хищно, безумно или злостно уничтожает. Читал я Вашу книгу и невольно подумал, что хотя человек и чудо природы, но он отнюдь не венец её творения, как мы частенько об этом говорим с заметным чувством самодовольства, и не мудрец, равноправно творящий «вторую природу», которая чуть ли не совершенней природы первозданной. О любви к природе писали немало, о потребительском отношении к ней тоже. Но вот философию самовозвеличивания, социальные корни которой нам ещё неизвестны в достаточной мере, обличаете Вы в числе немногих. Вы напоминаете людям, что хотя они и творят «вторую природу», обольщаться относительно безграничности своих возможностей не следует, памятуя, что мы всё-таки «дети природы», а не её господа. Вы нанесли чувствительный удар по философии самовозвеличивания, весьма симптоматичной в век НТР.

Я читал рецензию в «ЛГ». Она, по сути, двойственна. В ней есть намёки на какие-то разногласия с Вами рецензента. Но они почему-то зашифрованы, не объяснены, настолько, что уже начинаешь не верить в искренность его похвал. Пиши, что чувствуешь, что и как понимаешь, но не держи камень за пазухой.

Я получил из СП РСФСР приглашение на вологодское совещание «в конце сентября». Когда оно будет точно, не знаю. В конце сентября я буду в Москве, независимо ни от чего, но, естественно, мне очень хотелось бы побывать в Вологде вновь и повидаться с Вами. 25 августа я лечу в Коктебель и 20 сентября буду в Москве. Состоится ли это совещание, и не отсеют ли меня вновь, как это уже не раз случалось? Разъезжает обычно весьма постоянный состав СП.

Ф. В. и я шлём Марии Семёновне и Вам добрые пожелания здоровья и благополучия.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

5.IX.1976
(отв. 15.X.1976)

Дорогой Николай Николаевич!

Я долго был в Москве, готовил «Царь-рыбу» для «Роман-газеты» (если она пройдёт все препоны, возникающие на её пути, то в сокращённом виде появится в № 2 за нынешний год). Устал я от этой «Рыбы» смертельно, забрался наконец-то передохнуть дней десять в деревню (впереди редактура книги в издательстве), но и в деревне меня отыскали люди, киношники, хотят ставить «Перевал» на «Мосфильме»! Вот и надо было снова работать, помогать. Лишь сегодня они уехали. Утешает лишь одно, что если дойдёт до съёмок, снимать будем скорей всего на Горном Алтае, чем в Саянах, и, следовательно, получится возможность пожить лето, отдохнуть в Сибири, а то я уже третий год как не могу туда попасть — всё недосуг.

Домашние мои пока, слава Богу, в порядке, внучку исполнилось уже четыре месяца, вот только сын уезжает от нас в Чердынь работать в музее и писать научную работу. Там архивная и музейная целина, а главное — не приживается он в Вологде, прирос к родному Уралу душой, туда его и тянет, как меня в Сибирь. Я всё больше подхожу к мысли поставить дом в родном селе — Овсянке. Чего я тоже болтаюсь тут, среди злых неумытых вологодских аборигенов?

51. *Канторович В. Я.* (1901–1977) — критик.
Самохин Н. Я. (1934–1989) — прозаик, журналист.
Иванов Л. И. (1914–1989) — прозаик, очеркист, публицист. *Золотусский И. П.* (р. 1930) — историк литературы, прозаик, критик.

Кстати, о совещании в Вологде толком никто ничего не знает. Был зимой Дементьев[52], брякнул что-то, ему ответили: «Пожалуйста, но предупредите месяца за два». Я разговаривал с завом агитации обкома в конце августа, и он сообщил, что ниоткуда — ни звуку, ни хрюку. Если что будет — я сообщу. Вызов можем оформить и здесь. Мне очень хочется потолковать с Вами, и накопилось о чём потолковать.

Несмотря на усталость и тяжёлую голову, много во мне замыслов, и главный из них — завершить «Поклон»: ещё четыре главы, и всё. Одна почти готова, вторая вчерне написанная, две писать надо, и тогда «Поклон» будет состоять из двух книг — про детство и про юность фэзэо(ш)ную вплоть до ухода на фронт, и одна глава — возвращение с фронта: вместе с «Одой огороду» и «Царь-рыбой» «Поклон», ставши в середину, сделает что-то (дефект рукописи. — *В. Я.*).

Поклон Фаине Васильевне.
Вас обнимаю — Вик. Петр.

P. S. А у нас так лета и не было. Замело! Всё замело! Вот постояло пять дней без дождя, не успели и порадоваться — сегодня снова дождь. Урожая нет. Одни грибы, и те с червями…

15.X.1976, Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!
Только что вернулся из длинной поездки — Коктебель, где отдыхал, Москва, где работал в библиотеке. Дома нашёл Ваше письмо. Рад был его получить. Весточки такого рода просто необходимы в наш суровый век (Господи, какой век нашей истории не был суровым?!). Точнее, на склоне лет есть потребность в душевном общении, иначе загнёшься ранее времени…

Совещание в Вологде не состоялось. Мне сказали, что «отложили до зимы». Видимо, всё это от нерасторопности всё того же В. Дементьева. После того, как он стал председателем Комиссии по критике, она, по существу, прекратила свою деятельность. Но если вологодское совещание когда-либо осуществится, то мне хотелось бы на него попасть. Хочется ещё раз побывать в городе, повидаться, поговорить.

Мне И. Л. Гринберг рассказывал, как Вы выступали в Молдавии, куда съехалось более сотни писателей. Кажется, и он не очень одобрял пафос Вашего выступления, но мне кажется, что энергия и денежки (колоссальные) летят в трубу и отнюдь не способствуют развитию литературы. О помпезности этих мероприятий не говорю.

В Москве мы с Ф. В., конечно, побывали на «Черёмухе» в Ермоловском театре. Они пьесу поставили старательно, и смотрится она с интересом, чувствуются астафьевские характеры и астафьевский текст (от автора). Но благостность финала они подчеркнули с особенной силой, а суть-то не в нём, а в преодолении самого себя. В процессе преодоления. Играть этот процесс трудно, потому упор на внешнее его проявление — на конфликт — уголовником, на прозрение этого уголовника. Затянута сцена отправки героя после того, как его искалечило. На театре получилось много шума и суеты, а её смысл как-то потерялся. Но в пьесе есть то, что играть, есть яркие характеры: главного героя, его невесты-жены, калеки-пьяницы, — и спектакль публика принимала хорошо (зал полный), а нам всё было интересно и важно, потому «придирчиво» к нему, спектаклю, относились и радовались его успеху, переживали все за автора-друга.

С кем бы мы ни говорили, о романе «Царь-рыба» отзывались всегда хорошо, чаще восторженно, как о крупном явлении современной литературы. Рецензии (в «лг» и в «Лит. Рос.») появились пока маловразумительные, состоящие из общих слов. С Ф. Кузнецовым[53] виделся в Коктебеле, но о рецензии его не говорил сознательно (а он и не спрашивал), т. к. ничего хорошего о ней сказать не мог (устраивает, конечно, общее одобрение).

Итак, Вы завершаете «Поклон». Отлично. Жажду всё это читать, т. к. (к тому же) не оставил мысли написать монографию (красноярцы хотели включить в план, да что-то замолкли). Напишу о Шишкове — буду думать вплотную. Ваша активность и работоспособность восхищает. Так и надо жить. Только вот надо бы соразмерять наши силы и не работать на износ. Научиться отдыхать, оказывается, так же важно, как и научиться работать.

Поедете в Сибирь — не проезжайте мимо Новосибирска, мы тут всегда будем Вам рады.

А у нас только что — дней пять назад — родился ещё один внук… Идёт времечко безостановочно!

Ф. В. и я шлём Марии Семёновне и всему семейству Вашему сердечный привет.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

3.III.1977

Дорогой Виктор Петрович!
С удовольствием посылаю Вам свою книжицу[54]. Она небольшая, но для меня дорогая, ибо о хорошем человеке, с которым дружески связан вот

52. *Дементьев В. В.* (р. 1950) — критик.
53. *Кузнецов Ф. Ф.* (р. 1931) — критик, литературовед.
54. *Яновский Н.* Леонид Иванов. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1977 (серия «Литературный портрет»).

уже лет 20-ть, Конечно, не всё удалось, но что же делать, если Бог так ко мне немилостив.

Скоро, как говорят, в Барнауле выйдет книжица пообъёмней, и в ней треть будет занята статьёй о Г. Д. Гребенщикове, старом сибирском писателе десятых годов, друге Вяч. Шишкова, о котором сейчас пишу книгу листов на 15. Для многих Гребенщиков — пустой звук, ибо с 1920 г. он в эмиграции, поэтому статья моя — своего рода «открытие» забытого писателя.

Вот этому я рад.

Кстати, о забытых.

На днях узнал, что в Вологде живёт Виктор Азраилович Гроссман, который когда-то печатался и даже переводился, дважды сидел и т. п. Зная Бунина по Одессе, дружил с К. Чуковским, помнит многое-многое, а вот в этом году в сентябре ему исполнится 90 лет. Может, стоит писательской организации Вологды заинтересоваться им, узнать, нет ли у него каких воспоминаний (в 50-х годах он печатался в «Юности»), произведений, да и поздравить человека такого возраста не грех. Его вологодский телефон 2-24-16.

Мне сообщили, что он не развалина, а бодрый старик, интересный собеседник. В этом случае инициатива писателей была бы уместной, вероятно. Подумайте. Я слышал, что Б. Полевой[55] намерен как-то отозваться на этот юбилей.

Сам я очень занят В. Шишковым. Под завязку, написал стр. 350, вероятно, для окончания ещё стр. сто надо. Устал, но не разогнусь, пока не кончу.

А тут ещё затеял для «Сов. писателя» книгу «Вяч. Шишков в воспоминаниях современников», собрал более сорока авторов, живых и ушедших, перечитываю, разыскиваю, сверяю, комментирую.

На очереди том «Лит. наследства Сибири», посвящённый Н. М. Ядринцеву. Он собран (более 1000 страниц), потребует ещё большой работы. Однако она увлекательна, потому что впервые во весь рост встанет перед читателем не только учёный, а прежде всего *писатель* Ядринцев, поэт и критик, прозаик и литературовед. Вот мои затеи на ближайшее время.

Давненько не получал от Вас известий. Хочу верить, что Вы здоровы и работаете.

Ф. В. и я шлём Марии Семёновне и Вам большой привет и наши дружеские пожелания здоровья и благополучия. Обнимаю. *Ваш Н. Яновский.*

Отв. 24.VI.1977

Дорогой Николай Николаевич!

Ну вот и весна пришла, у нас тоже была суровая, но сухая зима, и оттого я не слёг в больницу, а работал много, трудно и начерно закончил «Последний поклон» — четыре главы заключительные, около десяти листов, очень были сложны по задумке и ещё потребуют немалой работы, но уже легче — 20 лет я доставлял себе удовольствие этой книгой, но и она стала уже надоедать — надо было заканчивать. Вместе с «Царь-рыбой» — «Поклон» будет около шестидесяти листов, и эта «Моя Сибирь» полностью себя исчерпала, буду переходить на «Мою войну», даст Бог сил и дней, чего-нибудь и напишу ещё.

Сейчас я собираюсь вместе с М. С. в Ялту, бегу от сырости, надеюсь отдохнуть, а в июне поеду на родину, там начинаются съёмки фильма по «Перевалу», съёмочная группа выбрала местом съёмок всё-таки реку Ману. Я буду помогать им и помаленьку, не торопясь, перетяпывать весь «Поклон», делить его на две части и новые главы доводить «до ума», всё равно в нынешнем году, по причине праздника, они напечатаны не могут быть, ибо совсем не праздничны.

Получил Ваше письмо и книжку о Леониде Иванове — спасибо. Шлю Вам свою «лауреатскую», просто для коллекции, там всё Вам знакомо. Читал на днях какую-то чахлую, дежурную статью о сибирской критике, где поминают и Вас — хорошо, что поминают, да больно уж много стало писаться статей по «случаю» и «поводу», газеты совсем превратились в благовестные листки, особенно наши, литературные.

Дома у меня пока всё слава Богу, внучек выправился, растёт, пухленький, вчера у него был юбилей — брякнуло человеку 11 месяцев!

Ну, вот коротенько и всё.

Кланяюсь Фаине Васильевне.

Марья Семёновна шлёт Вам и ей приветы и наилучшие пожелания.

Я обнимаю Вас дружески.

Виктор.
28 марта 1977 г.

24.VI.1977

Дорогой Виктор Петрович!

Я не отвечал так долго на письмо, потому что надеялся, что вот-вот придёт соглашение (так!) из «Сов. писателя» на монографию «Виктор Астафьев». В январе 1977 г. редакция изд-ва сама предложила эту тему мне, но до сих пор её не утвердила. 15.VI я был в Москве, заходил, там проволóчку объяснили то болезнью зав. отделом, то болезнью главного. Но обещали скоро решить этот вопрос. Однако, независимо ни от какого бы то решения, я эту тему не оставлю и как только высвобожусь, за неё непременно возьмусь. Хотя, конечно, с соглашением в руках планировать работу легче.

55. *Полевой Б. Н.* (1908–1981) — прозаик, главный редактор журнала «Юность» (1962–1981).

В Москву в изд-во «Худ. лит-ра» отвёз своего «Шишкова», которого закончил наконец. Получилась большая для меня книга в 17 п. л. Прочитал В. Шишкова заново и по-новому. Что теперь скажут рецензенты, редакция — Бог весть. Сейчас боятся любого нового слова.

Устал я с книгой, но решил форсировать со статьёй для Новосиб(ирского) издательства, т. к. надежд на Москву больших не питаю. В Барнауле должна выйти моя книга листов на 10, но её Комитет взял под контроль, и вот — задержка. Чёрт поймёт этот всезнающий Комитет. Ужасающая централизация. На местах, оказывается, не знают, что творят.

Побывал в Москве, повидал внучку и главное — внука, которому 8 месяцев. Идёт время — растут внуки, а мы стареем, дряхлеем, болеем! Грустно как-то стало жить. Неоткуда радости ждать, хотя бы мгновенной, редкой. Вот только внук растёт хороший — одна радость.

Недавно прочёл в одной информации, составленной (так!) в «Сиб. огнях». По ней выходит, что впервые напечатался В. Астафьев в «Сиб. огнях». Врут беззастенчиво, прохиндеи; забыл, видно, Никульков, как яростно выступал он против повести «Пастух и пастушка». В редакции идут постоянные замены. Недавно заменена почти вся редакция. Никульков оказался волевым командиром.

Более пяти лет я не хожу в писательскую организацию. Даже на перевыборы не появляюсь. Работаю и печатаюсь не меньше, чем раньше. Это главное для писателя. Ко мне приходят многие, и это значит, что кому-то я нужен. На старости лет ощущение такое необходимо.

За книгу — спасибо. Буду работать, всё окажется нужным. Ваших книг у меня целая полка, и я радуюсь. Конечно, нет первых изданий, но Ермаков мне обещал их, когда начну работать.

Осенью поеду в Иркутск. Там буду добирать материалы для «Лит. наследства» т. 4, посвящённого Н. М. Ядринцеву. Все, кто читал этот том, одобрительно отзываются о Ядринцеве — писателе и человеке. В томе будут десятка полтора воспоминаний о нём, впервые собранные, а некоторые впервые публикуемые. Издание этого тома буду рассматривать как крупнейшее своё достижение.

Мы с Ф. В. шлём Марии Семёновне и Вам большой привет и желаем здоровья.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

4.VII.1977

Дорогой Николай Николаевич!
Получил Ваше письмо в больнице, угодил с сердечным приступом. Должен был лететь в Красноярск, там на реке Мане снимался фильм по «Перевалу», и быть мне было там необходимо с киношниками, да и на родине не бывал уже 3 года; а у нас тут шли дожди, потом жарко и жарко сделалось — дышать нечем. Я побежал за билетом, за тем-сем, и накануне вылета на пленум в Москву меня и взяло. Особенного ничего нет, возраст сказывается и наша «лёгкая» сидячая работа, а полежать дней 20–30 придётся, и в Сибирь раньше августа уже не попасть. А стосковался шибко. И надо бы там, на месте, решать вопрос с переездом. Тяжело и думать об этом самом переезде: каково-то будет переезжать? Но ничего не сделаешь — необходимо. Здешний болотный климат совсем меня доконал.

Дела мои идут потихоньку. Скоро должна выйти в «Молодой гв.» новая книга. Вся новая! Я её Вам пришлю сразу же. В 79-м году изд-во «Худ. литература» собиралось сделать двухтомник, я говорил, чтоб за предисловием обратились к Вам. Не возражаете? Вам его будет написать нетрудно, поскольку есть у Вас статья обо мне. Так я решил про себя. Если это мешает Вашим планам, тогда дело другое. Но до 79-го, в 78-м, должен выйти «Последний поклон», сдана в «Современник» (в) августе, подступил уже июль, а у меня ещё не у шубы рукав, ещё и новые главы не готовы, и старые и просмотренные дай Бог сдать в сентябре.

Получился «Поклон» из двух частей листов на 30–32. Кончаю я его, «Поклон», уже с натугой, поднадоел. Тянет писать о войне, дозрел, видно. После поездки в Потьму, в леса и посещения мест боёв желание это удвоилось, но я наметил себе года два передохнуть и заняться здоровьем, также после лечения поезжу по стране и по свету белу. Хочу у друзей-фронтовиков дома побывать, исподволь готовиться к «своей войне». Многое уже придумал и передумал. Тянет написать ещё одну пьесу, набрасываю «Затеси» на ходу. Без дел не бываю. Без дел не бываю, да суеты много, она мешает делу.

Поклон Фаине Васильевне.

Обнимаю Вас — Ваш Виктор Петрович.

10(11?).VII.1977

Дорогой Виктор Петрович!
В нашем Союзе мне сообщили, что 18.VII Вы будете в Новосибирске на «неделе», но вот я получил Ваше письмо от 4.VII, и в нём нет упоминания, что Вы скоро приедете, чему я был бы очень и очень рад. Что случилось? Вы раздумали или вообще не собирались? Ах, как нужны время от времени такие встречи! Жизнь, как известно, коротка, а близость с душевно родственными людьми ещё более быстротечна. Одних теряешь неизвестно почему, других — потому что наступил их предел. Вот совсем недавно, 27 июня, умер Владимир Яковлевич Канторович, которого я любил и ценил

последние 15–18 лет. Писать об этом в прошедшем времени дико и нелепо. Однако ничего не поделаешь: такова наша жизнь.

15–21 июня я был в Москве. Отвёз своего «Шишкова» в изд-во «Художест. литература» и уже получил известие, что они собираются книгу включить в ближайший план, видимо, в план 1979 или 1980 годов. Мне теперь всё равно, ибо главное сделано: книгу, о которой мечтал, написал. Заново и полемически прочитан весь Шишков. Я рад, что это выпало на мою долю.

Что касается предисловия к Вашему двухтомнику, то тут я охотно соглашаюсь — пусть только определят объём предисловия и дадут мне состав двухтомника. Беда только в том, что в Москве частенько приглашают «своих» и непременно именитых…

У меня большая радость. IV том «Лит. наследства Сибири» Комитет разрешил издавать в двух книгах по 25 печ. листов каждая. Это значит, что произведения Н. М. Ядринцева-писателя впервые за последние сто без малого лет будут изданы в таком 50-листном объёме. Собрать всё это и убедить людей, что мы имеем дело с подлинными духовными ценностями, стоило немалых трудов. Если эти книги наконец выйдут (в 1979–1980 гг.), я буду по-настоящему счастлив.

Да-с, в Москве у меня растёт внук, хороший восьмимесячный парень. И тоже радуюсь, В старости есть свои счастливые мгновения, их тоже не следует сбрасывать с нашего счёта.

Ф. В. и я шлём Марии Семёновне, Вам и всем домашним Вашим дружеский привет.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

25.IX.1977

Дорогой Виктор Петрович!

Большое спасибо за книгу. Я её получил вовремя, так как сел за монографический очерк под названием «Виктор Астафьев». «Советский писатель» заключил со мной договор на книгу объёмом в 12 печ. листов. У меня теперь есть место, чтоб «разгуляться» и написать обо всём подробно и обстоятельно.

Разумеется, у меня будут вопросы и просьбы. Но я их сейчас излагать не буду. Сначала освоюсь в том материале, который известен и доступен.

Я рад, что именно мне после А. Н. Макарова выпала эта почётная роль монографиста. Вы помните, что я давно мечтал об этом. Монография о В. Астафьеве будет 34-ая монография о писателях-сибиряках (о других я, можно сказать, не писал). В этом году я закончил монографию о Вяч. Шишкове (18 п. л.). Неожиданно она оказалась полемической от начала до конца. По существу, это новое прочтение широко известного Шишкова. В изд-ве «Художественная лит-ра» к ней хорошо отнеслись (я работал по договору с ними) и обещают её напечатать в 1980 году.

Но сейчас я буду сосредоточен только на Вас, и это меня чрезвычайно радует. Одно дело — читать, другое — вчитываться. В этих случаях обнаруживаешь такое количество неизведанных радостей и открытий, какие и не снились мне как читателю.

Марии Семёновне мой глубокий поклон, а Вас я обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

12.XII.1977

Дорогой Виктор Петрович!

Прежде всего поздравляю Вас и Марию Семёновну с наступающим Новым годом. Бог мой, ещё один год канул в вечность! И в голову лезут разные банальности: не остановить бег времени, ещё одним годом ближе к смерти и т. п. А ведь главное — как прожит этот год и что он с собою принёс. Итоги и смысл должны терзать наши души…

Когда я пишу монографию о писателе (а я их написал более тридцати), невольно задаёшься этими вопросами и для человека, о котором думаешь, и для себя. Это неизбежно, иначе ничего не получится: убедился на своём опыте.

В этом году я завершил монографию о Вяч. Шишкове (её уже с 1979 года, как предполагали, перенесли на 1980) и, честное слово, исстрадался, увидев, убедившись, как, несмотря на его большой талант, всё-таки не понимали современники и буквально каждое его новое произведение в печати встречалось в штыки. Некоторые его произведения до сих пор не включаются в соб. соч. как идейно несостоятельные, хотя ныне легко можно доказать, что он заглядывал дальше своих современников. Доказать легко, а пробить в печать эти произведения стоит немалых трудов. Сломать инерцию мышления непросто. А главное — все боятся: как бы чего не вышло! «Ватага» 50 лет не переиздавалась, «Дикольче» названо кулацким произведением, а «Шутейные рассказы» — пустые и устаревшие… Вот этим, переизданием забытых замечательных произведений Вяч. Шишкова, я и занимаюсь в последнее время. Но в современных планах, увы, им места пока что не остаётся.

Вот уже несколько месяцев как я занят «Творчеством В. П. Астафьева» по договору с изд-вом «Сов. писатель» (оно отпустило мне 12 печ. листов). Так теперь наступило время, чтобы потерзать Вас вопросами.

Первый из них — биографический. Я, думается мне, должен знать больше того, что Вы написали в автобиографиях, мне доступных. Причём знать точно. Я составил «реестр» по годам (по Вашим

источникам), и сразу возникли вопросы: отчество Вашего отца, годы его жизни, крестьянин ли он в момент, когда Вы родились? Год рождения Лидии Ильиничны (кстати, точно ли утонула весной 1932, т. к. по-другому Вашему источнику — в 1931 г.?) и её девическая фамилия. Неясно, когда и где Вы учились в начальной школе (пошёл в первый класс). Примерно хотя бы месяцы беспризорничества, дата (в смысле, месяц и год) поступления в детдом. Начал учиться в 4 или сразу в 5 классе? В 1940 г. оставил детдом? В 1940 поступил в ФЗО или в 1941? Из Игарки, где работал, поехали (трудно, голодно) в Красноярск? Я не понял по Вашему рассказу об этом времени. Нельзя ли поподробней о пребывании на фронте? Лаконично: служба в звании, передвижения (на каких фронтах), ранения, обучался ли в 1942, где находился с V.1945 по день мобилизации в октябре 1945 г. 1946–1950 — здесь мне тоже недостаёт подробностей: и работа, и семейные события. Вы в «Чусов(ском) раб(очем)» уже с 1951 года стали внештатным корреспондентом, точно ли до 1955 года Вы работали в этой газете литсотрудником? Словом, мне необходимы более или менее (а лучше абсолютно) точные сведения о важных фактах Вашей биографии.

Но сразу хочу оговориться: если Вам это делать почему-либо неприятно и хлопотно, то всё: у меня вопросов нет и, естественно, нет каких-либо личных недоумений. Я это пойму правильно, потому что Ваша биография в какой-то мере в Ваших книгах и в уже опубликованных автобиографиях.

Второй круг вопросов — творческих.

Корреспонденции и очерки в «Чусовском рабочем», в газетах «Молодая гвардия» и «Звезда» я прочитал почти все (за редким исключением), выделил в приложенном списке рассказы и чем-либо значительные очерки. Но я бы хотел знать реальную дату (в пределах года) их написания. Допустим, рассказы «Земляника», «Дерево без корней», «Тимкоуль» могли быть написаны в 1952 — ведь у меня всюду дата (год) публикации. Второй сборник «Огоньки» подписан в печать в январе 1955, следовательно, все рассказы в нём написаны не позднее 1953 и 1954 годов (ах, если (бы) здесь мне известна была последовательность, хотя я понимаю, что могло писаться и дописываться в разное время!). Вероятно, роман Вы начали писать в 1955, потому что тут сравнительно мало публикаций, как и во все последующие годы, до выхода романа в свет.

С 1951 по 1958 г. Вы как писатель находились, так сказать, в эмбриональном состоянии, и мне хочется проследить динамику роста именно в этот период. Не обижайтесь на это слово, поскольку оно для меня рабочее и обозначает *начальный период* Вашей работы. Для того чтобы что-то понять, надо его для начала расчленить, «разъять», как выражался Пушкин. С 1959 года, по-моему, начинается новый этап в Вашей творческой биографии. А как её членить дальше и надо ли это делать, я ещё не знаю. Напишу эту ответственную главу, тогда попробую решить и эту задачу.

Естественно, что и эта дата условна. Это для читателя, для общества Вы как писатель проявились в новом качестве именно в 1959 году. Для себя, внутренне, Вы созрели раньше — на опыте романа, на обдумывании «Перевала», «Стародуба». Это я буду тоже учитывать.

Итак, на первый раз (пугайтесь!) вопросов более чем достаточно.

Я не читал рассказов «Суд» и «Серёга». Нет ли, случайно, их вырезок?

Я прочитал «Беседы о жизни» («Молодая гв.», Пермь, 1965, 4.IV, № 42), «Читатели возражают писателю» (там же, 1965, 11.IV, № 45), статью «Солдату всё ещё снится» в газ. «Звезда», 1965, 7.V, № 106, и считаю это всё чрезвычайно интересным и мне для работы нужным. Нет ли у Вас вырезок из этих газет?

И в том, и в другом случае я не задержу их и быстро верну.

Честно говоря, мне хочется Вас повидать. И давно.

Но как это осуществить — не знаю. Зима, и в это время письменный стол с особенной настойчивостью требует к себе внимания и заботы... В конце концов, этим мы живём.

Ф. В. поздравляет Марию Семёновну и Вас с наступающим Новым годом и шлёт самые добрые пожелания.

Будьте здоровы.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

24.XII.1977,
Новосибирск

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!

Из пустынного северного уголка России, из сирой и убогой деревушки Сиблы поклон Вам и новогодние поздравления! Здоровы будьте! И, как прежде, жизнедеятельны! Радости Вам в детях и внуках!

Я здесь отсиживаюсь после Москвы, в самые-то хляби, когда Ник. Ник-ч был в Малеевке и развивал критику, я сидел в Переделкино и сдавал «Последний поклон» да возился с кинокартиной по «Перевалу». Сдали то и другое, но так много отдал сил и нервов, что до се прийти в себя не могу. Объявил «перекур» года на два, но в городе нет покоя, вот и удрал сюда, и здесь умудрился простыть — ломает всего, ну, авось налажусь. Не впервой. Хочется во время «перекура» построиться в родном селе и переехать. Не знаю, как получится, надо ведь, кроме всего прочего, ломать и молчаливое сопротивление семьи, жены в особенности,

ведь переезд нынче равен десяти пожарам, её тоже понять можно. А что у Вас новенького?

Кланяюсь и обнимаю Вас — Ваш Виктор Петрович.

8.1.1978

Дорогой Виктор Петрович!
Я получил Ваше новогоднее послание. Спасибо! Так где же Вы? Я так и не понял, но всё равно радуюсь, что Вы «оклемались» и собираетесь сделать длительный «перекур». В писательский «перекур» я, правда, не верю — в этом смысле он хуже каторжника со сроком, но желание превосходное, да ещё в родных местах! А зачем вам переезжать со всем имуществом? Заберите Марию Семёновну и живите в Сибири, как в «загранкомандировке», и год, и два, и три, пока не призовёт Вас «к священной жертве Аполлон». А Вы знаете, что наши желания совпали и я мечтаю освободить себя на годик от обязательных программ, поездить по стране, с людьми хорошими поговорить, на солнышко посмотреть без дум о завтрашнем куске и подумать о чём-нибудь дорогом и заветном не на бегу, не от случая к случаю, а так, чтоб душе и людям радость была? Задыхаюсь от недостатка обычных «радостей»…

Написал статью о «Матёре» В. Распутина. Но где её печатать, не знаю. С «Сиб. огнями» у меня ладу до сих пор нет. С «Нашим современником» после истории со статьёй о В. Шишкове тоже ничего не получается. Налегаю теперь на книги — в Барнауле «На переломе» (1978), в Новосибирске «Поиск» (1979), в Москве «Вяч. Шишков» (1980)[56]. Это более 40 п. л. Уже написано, сдано и на первом этапе одобрено. Что дальше будет, не знаю, но сделал я работу честно.

Сейчас вот — об этом я Вам уже «докладывал» — мечты о книге под названием «Виктор Астафьев». Что из этого получится — Бог весть, но стараюсь. Посылал я Вам книжку, какие-то вопросы задавал, о чём-то просил — не знаю, получили ли, но, ей-богу, всё это не носит характер обязательный. Начитался я всего «вокруг да около» — так что голова кругом идёт, и не знаю, с чего и как начинать. Монографистов у Вас, оказывается, было много, и быть оригинальным мудрено.

Перечитываю Ваши письма ко мне и вижу: это уже наша история, и она не менее сложна и таинственна, чем, допустим, история жизни Ядринцева, которую я изучаю много лет. А как эту и ту историю передать максимально правдиво, ближе к правде — задача не из лёгких, да, по существу, невыполнимая. О Ядринцеве мы попросту многого не знаем, о нас самих — разве возможна сегодня правда?! Вот А. Макаров в «закрытой» рецензии на «Кражу» пишет, что «автор как бы пересматривает вопрос о коллективизации». Почему «как бы», когда я, например, так и думал: пересматривает — и хорошо делает! Помните, как Рясенцев[57] редактировал с целью вытравить это «как бы»? Вот и напиши сейчас об этом — скажут: не пройдёт, как мне уже сказали в Иркутске о статье, посвящённой «Матёре» (я писал её по заказу «Сибири»). И даже те, кто читал с сочувствием, сказали: отлично, но непроходимо. Самое убийственное в этом: действует самоконтроль, самоцензура, отвратительное явление нашего времени. Оказывается, всем известно, о чём можно и о чём нельзя говорить и писать. Ну, я понимаю, есть какие-то табу в области политики, ну а в хозяйстве, в экономике, в философии, в социологии, в искусстве и литературе, в истории и проч. невозможны никакие табу, иначе не избежать застоя общественной мысли. Было время — мы такой застой пережили; неужели нашему поколению выпала доля пережить его дважды?

Новые главы из «Последнего поклона» в «Нашем современнике» ещё не читал, но в газетах два (?) прочитал. Интересно, «для себя» Вы завершаете этот цикл, или это завершение относительное, как и в 1968 году? Вы уже подготовили отдельное издание в новом варианте? По-моему, это надо сделать, придав повести о детстве и юности максимальную степень законченности. Мне кажется, что и из цикла «Затеси» пора уже сделать более или менее канонический текст, разделив их, если последует продолжение, на книги: часть первая, вторая и т. д.; принцип формирования здесь может быть двоякий: социально-психологический, философский (группировать по глубинному сходству содержания) и хронологический — по датам написания. Лично я за хронологический, так как он будет характеризовать движение авторской мысли. Да и Вам будет логичней их формировать так, ибо «сходство» по содержанию — вещь относительная, особенно в таких, казалось бы, «мелких», сиюминутных мгновениях жизни, запечатлённых в «Затесях». Кроме того, они неравноценны по смыслу и равноправны в характеристике личности художника. По-моему, ранний «охотничий» цикл свободно входит, так сказать, в первую книгу «Затесей». Кстати, не пугайтесь академичности и ставьте дату даже под «мелким» (по объёму) рассказом, это Вам же со временем сослужит хорошую службу (не придумал другого слова), а об исследователях не говорю — для них это первостатейная помощь.

56. На переломе. Из литературного прошлого Барнаула. Статьи. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1978. Поиск. Литературно-критические статьи. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1979. Вячеслав Шишков. Очерк творчества. М., Художественная литература, 1984.

57. *Рясенцев Б. К.* (1909–1999) — критик, театровед.

Кстати, подумайте о книге с примерным названием «О литературе и о себе». Такую серию издаёт «Советская Россия». Судя по моей библиографии, у Вас много выступлений, рецензий и «разговоров» о себе, о литературе. Такие книги издал Ю. Бондарев, Ю. Нагибин[58], о Сергее Залыгине не говорю, ибо в этом жанре он работает систематически, а не от случая к случаю. Поверьте, что издание такой книги назрело, учитывая Ваш сегодняшний и, я надеюсь, не проходящий авторитет в литературе. К тому же такие книги помогут свести воедино Ваш взгляд и на жизнь, и на литературу непосредственно, так сказать, открытым текстом, не через образ.

Но довольно, я уже влез в недозволенную область непосредственных советов и рекомендаций. Потому останавливаюсь и желаю Вам осуществления задуманного «перекура», т. к. не сомневаюсь: он даст ощутимые плоды.

Марии Семёновне, Вашим детям и внукам наш общий поклон и добрые пожелания, а Вас я обнимаю и остаюсь Ваш Н. Яновский.

P. S. На Новый год приезжала дочь с сыном, пошедшим в первый класс, а в Москве растёт внук, которому уже «перевалило» за один год. Идёт времечко и машет нам рукой: адью, дескать, немного вам осталось!.. И болезни одолевают — вот грех-то! И никуда от этого не денешься.

Будьте здоровы!

Н. Я.

Отв. 18.1.1978

Голубчик, Николай Николаевич!
Получил я и книжку, и письмо Ваше с вопросами. Я тут все дела закончил, «Поклон» одолел и заболел. Опять простудился. Пробовал лечиться русской печью в деревне, ещё хуже раскис на ней. Вернулся домой, подлечился и вот пишу Вам. Сознаюсь, мне сейчас неохота не только писать чего-либо, но даже от чернил, от запаха их и вида тошно — так я устал.

Поэтому бегло отвечаю Вам, совершенно сознавая (нрзб), что Вам не обойтись, чтоб не побывать у меня.

Все вырезки есть. Книги тоже. Марья Семёновна изладила картотеку, и работа Ваша значительно облегчится и упростится, что ли, с помощью её.

Кроме того, и это самое нужное: у меня целые папки, толстые папки писем по «Поклону» и «Царь-рыбе», и такие есть размышления, рассказы, мудрствования, до которых и нам-то не додуматься.

Всё это богатство пылится без уважения и толку, а Вам ведь 12 листов! (подумать страшно) надо чем-то заполнять. Кроме того, раз у меня время свободное, и я могу быть в Вашем распоряжении. Время это, что убьёте на поездку, оправдано будет в работе, Вы её скорее сделаете.

Теперь о сроках. Надо Вам ехать или числа с 20-го января (я с 15-го буду в Киеве на «круглом столе»), либо в начале февраля (в середине, если буду здоров, поеду в Караганду к братьям-фронтовикам), почти до конца марта собираюсь быть дома.

Ещё Вы забываете такой струмент, как телефон. Женя Городецкий звонил мне. Слышно Новосибирск хорошо. Ну а если уж Вы не сможете приехать, тогда, конечно, пошлю я Вам и книжки нужные, и вырезки. Только не пишите Вы о «Снегах»[59]. Говённая книга, самонадеянный мальчишка решил написать роман и накатал! Вопросов, которые бы меня ставили в «неловкое положение», нету, да и откуда им быть? На удивление даже самому себе, я прожил жизнь хоть и пёструю, но совершенно не запутанную. Тут всё зависит от Бога, но ведь и в тюрягу попасть, и возле штрафной роты хаживать близко, и изувером мог быть в драках, и за воровство, но сошло как-то. Только Богу это известно. Я вон смотрю, как иные люди умеют запутывать свою жизнёнку, аж выхода нет обратно, только петля — один выход. Меня, верно, спасли книги от пьянства и карт, а они-то больше всего и запутывают нашего брата (нрзб). Хороший, кстати, «стимул» для молодого писателя! Сейчас вот сделалось много благополучных писателей, и сразу осерилась литературщина совсем, а и была-то серой, а тут ещё и завшивела — за весь прошлый год достойно Великой русской литературы одно лишь произведение — «Усвятские шлемоносцы»[60]; если учесть, что членов, только членов Союза уже свыше 10 тысяч!, то сердце замирает, ужас волосы шевелит — какое тут духовное обнищание! И кабы только духовное…

Вот видите, как нам необходимо поговорить! Если полетите на самолёте — берите сквозной билет: утром вылетите из Новосибирска и в 5 вечера будете уже у нас чай пить. В Москве лишь переедете из Домодедово в Быково. К нам ходит три рейса, Яки-40, из Москвы до нас один час лёту.

Зима у нас ныне стоит суровая, морозы грянули, и весь грипп сразу опятился в Аравию, Израиль и Англию. Мы их, сук, не хлебом, дак грибом!..

Забирайте с собой и Фаину Васильевну. Вот они с нашей наговорятся! А пока я Вас обнимаю и кланяюсь Ф. Вас(ильев)-не.

Ваш — Виктор Петрович.

58. *Нагибин Ю. М.* (1920–1994) — прозаик, журналист, сценарист.
59. «Тают снега» (1958) — первый роман В. Астафьева.
60. «Усвятские шлемоносцы» (1977) — роман Е. Носова.

10.I.1978, Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Только что отправил Вам письмо и тут же получил Ваше—с ответами на вопросы и с приглашением приехать. Что и говорить, я снялся бы сразу и завтра был бы у вас, но беда в том, что заболел чуть ли не с 30.XII и до сих пор не могу прийти в себя, хотя и крепился и перемогал. Думаю, что продлится это не более недельки, я окрепну и буду планировать поездку на первые числа февраля, а если удастся, то чуть-чуть ранее (тут я учитываю Ваше январь-февральское расписание). Полагаю, что недельку я у Вас побуду (Фаина Вас. охотно присоединяется—оставаться дома ей одной, разумеется, не хочется, да и мне будет покойней).

Конечно, это лучший для меня вариант, да и просто мне очень хочется Вас повидать, поговорить независимо от «монографических» задач, стоящих передо мной. На такого рода встречи я никогда не жалел времени. Дружеские чувства—это Божий дар, а в моём возрасте это дар вдвойне, и когда я их в себе и на себе ощущаю—я счастлив. С этим я к Вам и еду.

По телефону позвонить я Вам не смог сейчас же, т. к. пока не знаю Вашего телефона, но думаю, что это легко установить. Сейчас в этом нет острой необходимости, но перед тем, как поехать, я позвоню или сообщу телеграммой.

Болезнь немного выбила меня из рабочей колеи, но настроение у меня «боевое», потихоньку вооружаюсь теоретически, изучаю всё вокруг да около. После монографии о Вяч. Шишкове делать это мне чрезвычайно интересно и радостно.

Для новосибирского изд-ва составил сборник статей на 18 печ. л. Туда включил и статью «Деятельное добро»[61], наряду со статьями «В. Шукшин и его роман „Любавины“», «Заботы и тревоги В. Распутина», «Заметки о повестях В. Тендрякова», «Роман Вяч. Шишкова „Ватага“ и его критики» и некоторые другие—большинство статей новых. А вот статью «Георгий Гребенщиков в Сибири» забодали с порогу, ибо этот талантливый писатель-сибиряк эмигрировал в Америку ещё в 1920 году. И забодали его сначала в «Сиб. огнях»—Коптелов и Никульков, и ходу ей в Новосибирске нет. Статью «Деятельное добро» я включаю, т. к. в ней отражена моя позиция по ряду теоретических вопросов, а монография, если Бог даст мне её написать, появится на свет не ранее 1981–1982 года (пролежит в издательстве не менее двух-трёх лет).

Итак, до встречи. Я ещё за январь черкну, если у меня что-то случится.

Ф. В. и я шлём Вам с Марией Семёновной сердечные дружеские приветы.

Обнимаю.

Ваш Н. Яновский.

19.II.1978, Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Четыре дня как мы дома. В Москве пробыли неделю и не знали отдыха: занимался день в библиотеке, потом бежал к внучатам, к этим хорошим, неутомимым малявкам. Как воюет Витя-малый? В сборе ли вся Ваша семья? Всем наш привет и поклон.

Посылаю только три книжки В. Курбатова[62]. Бегал в магазин—у нас уже нет в продаже, разошлась книга. Написал в Омск, может быть, у них ещё есть. Помню, я покупал 10 экз. и не заметил, как они у меня разошлись.

Валентин Яковлевич пусть на меня не сердится. Книга после доработки всё-таки стала лучше. А бесспорный талант его я отметил с первых же слов своей рецензии. Просто мы люди разных поколений и пишем по-разному. И хорошо, что по-разному. Мне ведь теперь не достичь такой лёгкости и красоты стиля, как у него и у некоторых других молодых критиков,—в разных мы университетах учились.

В Москве меня ждали новости и приятные. Оказывается, книга «Воспоминания о Вяч. Шишкове» включена в план 1979 года, и её будут сдавать в набор в июле-августе. Мы с Клавдией Михайловной отобрали около 50 фотографий, и Н. Х. Еселев, тоже исследователь творчества Вяч. Шишкова, взялся отнести их в издательство и поговорить с художником. Его воспоминания тоже включены в эту книгу.

Клавдии Михайловне я передал твой привет и рассказал о твоём отношении к Вяч. Шишкову. Будешь в Москве—заходи к ней, человек она добрый и приветливый, свято чтит память Вячеслава Яковлевича. Перед такими людьми я преклоняюсь.

И ещё одна новость. В «Советской России» книжку Вяч. Шишкова «О литературе и о себе»[63] только по моей заявке, сделанной в декабре 1977 г., включили в план 1979 г., и я, приехав домой, не разгибаясь, готовил её все эти четыре дня, вчера сдал на машинку (почти 7 печ. листов) и сегодня примусь за предисловие к ней под названием «Уроки Вяч. Шишкова».

61. Речь идёт о книге *Н. Яновского* «Поиск». Статья «Деятельное добро» в книгу не вошла. См. также письмо Н. Яновского от 8.XII.1978 в данной подборке. Статья о Вяч. Шишкове получила название «Гражданская война в изображении Вяч. Шишкова».
62. Очевидно, книга *В. Курбатова* «Виктор Астафьев» (Новосибирск, Западно-Сибирское книжное изд-во, 1977, серия «Литературный портрет»).
63. *Шишков В.* Мой творческий опыт. М., Советская Россия, 1979 (серия «О литературе и о себе»).

Закончив работу с этой книгой, начну писать примечания к «Воспоминаниям» и до «Астафьева» доберусь не ранее, как в марте.

Для первой главы у меня теперь всё есть, душа моя покойна и счастлива, «зарядку» я у тебя получил отличную. Эта встреча была ну просто необходима и для души, и для дела, которое не выполнишь хорошо без любви.

Марии Семёновне и тебе Ф. В. шлёт привет, да она, видимо, и сама будет писать.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

9.III.1978

Дорогой Виктор Петрович!
Только что получил из Омска 10 экз. книги В. Курбатова и—посылаю. Я потихоньку влезаю в первую главу будущей книги, но именно потихоньку, потому что болел, составлял книгу Вяч. Шишкова, писал к ней предисловие.

До «Ватаги» ещё не добрался, а «Любавины» не вышли. Как всё это у меня появится, непременно пришлю.

Проболел почти две недели и всё подзапустил. Вы не собирались ещё в Барнаул? Поедешь—не проезжай мимо. Буду рад видеть тебя у нас.

Марии Семёновне, всему Вашему семейству от нас с Ф. В. большой привет.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

13.III.1978,
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!
Только что получил книгу «Любавины». Буду рад, если предисловие Вам понравится. Предлагал я его двум журналам—увы, не взяли. Видимо, не дорос до журнального уровня. Но ничего—это тоже 100 тыс.

Итак, покончив с «шишковскими» делами, засел за первую главу—кажется, что-то получается, хотя «мучила» она меня долго, и я написал с десяток «зачинов». Теперь зачин есть, и остальное будет складываться легче.

Вот не взял я у тебя «Последний осколок»[64] и жалею—по выпискам, которые сделал, приводить текст боюсь…

Как самочувствие, как Витя-маленький? Получил ли мои посылки? ЛНС, т. 3 ищу, как обещал, найду—непременно пришлю.

Марии Семёновне привет и поклон.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

16.IV.1978

Дорогой Виктор Петрович!
Не знаю, имеешь ли ты эту книгу истого сибиряка, погибшего в 1937 году. На всякий случай посылаю. Если будет время, прочти. Здесь впервые печатаются части, как они именовались у автора. Когда я забрал рукопись у жены М. Ошарова[65] (1956)—она теперь умерла,—повесть так и называлась: «Звено могил». В 1964 г. Рясенцев окрестил её «Бегут воды Комч(г?)у»: могилы, дескать, очень мрачно, не под стать нашему оптимистическому времени. А третья часть «Сауд» погибла в следственных органах. Ходил я туда, просил, но они только руками развели: не ищите, всё равно сожгли! Отдельным изданием «Звено могил» вышло под названием «Трудное счастье»—подлинное название отклонили всё по тем же мотивам. Обрабатывали её (в ней много было этнографизма) мы с Е. Ф. Ивановым[66] (он умер), здесь я оставил его одного, т. к. жена, бедствующая на маленькой пенсии,—ей около 80-ти—совсем получила бы гроши. Ох, как обирают наследников писателя на «законном основании»—уму непостижимо! Когда речь идёт о соб. соч. «классиков» наших—куда ни шло, что-то родственникам остаётся, а в массе наследники «неклассиков», жёны, часто не имеющие профессии, держатся буквально на голодном пайке.

А пишу ещё вот по какому поводу: мне нужен полный состав «Последнего поклона». Часть первую я знаю (со включением «Мальчика в белой рубахе»), и в каком порядке и как складывается часть вторая? Это я не записал в своё время и теперь гадаю. Написал книгу наполовину, т. е. 140 стр. Что-то будет дальше! Марии Семёновне и всему семейству поклон от Ф. В. и меня.

Обнимаю. Твой Н. Яновский.

20.VI.1978
(отв. 13.X.1978)

Дорогой Николай Николаевич!
Я был в Крыму, намёрзся там, намок и, не подлечившись, вернулся домой, а здесь льёт—свету белого не видать, и холодина тоже. Но собираются в деревню на всё лето, там хоть печка есть, дровами можно себя подсушить, да и малого погреть.

---

64. *Астафьев В.* Последний осколок. Слово о боевом друге. Литературная газета, 1974, 8 мая. О фронтовом друге В. Астафьева В. Шадринове.

65. *Ошаров М. И.* (1894–1943)—прозаик.

66. *Иванов Е. Ф.* (Филиппыч, 1895–1973)—прозаик, журналист.

Растёт быстро, болтает всё уже, дерётся с бабой и дедом и тут же «любит» их, крепко обнимая.

Ошаров у меня есть, но Вам за книгу спасибо, у меня ведь сын и дочь собирают свои библиотеки. «Последний поклон» выйти должен в августе, была уже сверка. Как выйдет — немедленно пришлю.

В Крыму, под дождь и слякоть, обдумывал я будущую книгу о войне. Получается трилогия: первая часть — запасной полк — «Чёртова яма», вторая — фронт, плацдарм — «Бездна», третья — доблестная послевоенная жизнь — «Весёлый солдат», — весь роман остаётся с прежним названием: «Прокляты и убиты»[67].

Работа огромная, всю я её уже вижу насквозь, остаётся лишь набраться сил, покончить с текучкой и мелочами да и садиться, благословясь, за работу. Боюсь я этой работы, но уж никуда мне от неё не деваться. 1-й том собрания сочинений сдают в производство, но что-то Валя Курбатов прислал отчаянное письмо с воплем: «Предисловие не получилось!» У него это бывает, часто посещает его распространённое у русаков состояние, название которому — самоуничижение.

Дома пока всё слава Богу.

Я скребу «Затеси» и готовлюсь писать в деревне об А. Н. Макарове. Уже пора, да, может, пьесу закончу до зимы, но больше буду думать и думать о будущем романе.

В сентябре поеду в родное село покупать избу, без неё мне в этой сырости романа не одолеть. Хоть на что, но надо ездить в Сибирь.

Поклон Фаине Васильевне.

Обнимаю — твой Виктор Петрович.

14.X(?).1978

Дорогой Виктор Петрович!

Получил я от тебя письмо давно, а ответить до сих пор не собрался. И не то что не собрался, а вопросы у меня накопились, и хотел я их на тебя «вывалить», а потом — хорошо, что сразу не написал, — одумался: и так много времени у тебя отобрал, да что это я к тебе с вопросами — надо исследованием заниматься. Вот и читал я твоё письмо раза четыре, почитаю, почитаю — и снова отложу: вопросы обуревали.

Так вот дошёл я до последней главы, а потом прочитал всё и решил: надо переписывать, тем более что «Сов. писатель» разрешил мне не торопиться. Сижу снова над первой главой, дописываю и переписываю. Конечно, дело теперь пойдёт быстрее. Но всё равно к последней главе ключа ещё не подобрал.

Жажду получить «Последний поклон» в последней редакции — ведь я видел правленый текст и теперь ощущаю потребность в него заглянуть. Это уж от исследовательской страсти — знать всё, если сие возможно.

Кроме всего прочего, в это лето у меня был аврал — готовил свою книгу объёмом в 18 п. л. (на 1979 год) и очередной том «Лит. насл. Сибири» (Ядринцев). Это том в 50 п. л., и ты понимаешь, что значит такая рукопись. В этом же году подготовил рукопись «Воспоминаний о Вяч. Шишкове» (Сов(етский) пис(атель), 1979) и «Вяч. Шишков о литературе и о себе» (Сов. Россия, 1979). А это тоже около 25 п. л. А тут ещё успел дважды поболеть…

А как я рад, что ты романом занят, — это же отлично! А о Макарове непременно напишите. После его писем я иначе взглянул на него, на его работу и человеческие качества. Для меня он был талантливый критик несколько официозного направления (он умел смягчать грубую силу направления), теперь же он для меня фигура в нашей литературе трагическая… Словом, тема эта обширная, и тут есть над чем подумать.

За Витю-малого рад — раз он хорошо растёт и спуску дедушке и бабушке не даёт. У меня внуку 11.X исполнилось 2 года, но жаль, я его давно уже не видел.

Всему твоему семейству, а особенно Марии Семёновне наш с Ф. В. поклон и привет. Горячо желаем всем здоровья и бодрости духа.

Посылаю тебе книгу М. Азадовского[68], тоже вышла по моей инициативе. Книга, по-моему, хорошая. Сейчас читаю корректуру своей книги «На переломе» — о писателях Барнаула, а главное — о забытом Гребенщикове. В 1979 г. выйдет, Бог даст.

По газетам знаю, где бывал ты, а как самочувствие — хорошо бы узнать. Не устал, работается ли? И прежде всего — как со здоровьем?

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

31.X.1978

Дорогой Николай Николаевич! Сперва с праздником осени тебя и Фаину Васильевну! Он, этот праздник, единственно тем хорош, что хоть на время остановил эти разверзшиеся над нами хляби. Лихо, с мая! С мая почти без перерыва. Это ж надо довести до такого гнева Всевышнего, он поливает, поливает, да градом, да бурей-ураганом, у меня досе в кабинете стекло выхлестнуто, а лесу повалило, а крышу посрывало!..

Сейчас подморозило, и даже не верится, что может быть под ногами сухо, а над головой небо видно.

67. Роман «Прокляты и убиты» (1994), повесть «Весёлый солдат» (1998).

68. *Азадовский М. К.* Статьи и письма. Неизданное и забытое. Новосибирск, Западно-Сибирское книжное издательство, 1978, предисловие Н. Яновского.

Я дважды был в Сибири. В Улан-Удэ, на секретариате и в (нрзб), в сентябре в Овсянке 12 дней. Купил я себе домик в Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного дома, чуть наискосок, рядом с домом брата дедушки, дяди Александра, жену которого и дом которого изобразил в «Поклоне» под видом несчастной Авдотьи. Дома у нас сто́ят бешено-дорого, да что делать-то, чтобы роман написать, надо уединяться, прятаться, здесь уже работать невозможно, в городе, под окнами улица грохочет, в деревню стало невозможно попасть, дороги на Вологодчине рухнули, всё размыто в грязь, реки уходят в зиму вышедшими из берегов. Сейчас Алёша, мой двоюродный братка, принимается делать маленький марафетный ремонт в избушке (две комнаты, кухня, верандочка, двор) — дом поставлен в 1965 году, ладен и крепок, мне на мой век хватит. Буду на лето уезжать, от телефонов и многолюдствия. Близость Москвы и Ленинграда, с одной стороны, благо, с другой…

Осенью мне удалось поработать. Дождь загнал в избу, в деревенскую. И хотя не было электричества (уронили столбы пьяным трактором), я писал много и как-то даже лихорадочно и сделал книгу об Александре Николаевиче[69] на 10 листов (половина листажа — его письма), но думаю, что и письма, и мои прибавления к ним убудут листов до пяти, уж больно всё «не в кон» тому, что ждут от меня о покойнике и от него о самих себе и нашем дражайшем времени. А до этого написал пьесу, и, кажется, на этот раз — путную. А «Черёмуху», переработанную много, напечатали в 10-м номере журнала «Театр», и ещё четыре новых коротких рассказа напечатал «Новый мир» в № 10[70].

Есть уже вёрстка первого тома собрания сочинений. Вчера я состряпал второй и сегодня отослал в издательство. Завтра уберусь в деревню, добивать воспоминания об А. Н., которые встанут главным куском в книгу публицистики, и всю эту самую публицистику пересмотрю, разобью на части. Много чего накопилось. Жизнь-то идёт, там квакнешь, там лепетнёшь чего-то, о ком-то или о чём-то черкаешь, а в кучу собралось — гляди-ко, времяотражение своеобразное, часто нечаянное. Опасен всё же наш брат-писака, хочет не хочет, а если думает и работает, выдаёт «с головой» и себя, и свою действительность, о которой можно сказать фразой героя моей новой пьесы: «Она (действительность) его за муки полюбила, а он её за жопу укусил»…

Берут пьесу-то в Москве, Ленинграде, у нас. Такое барахло кажется по подмосткам, что и я сделался «рыбой». Но более нет у меня никаких «отвлекающих» замыслов, всё вытесняет роман. Лишь «Затеси» искрят в башке. И вот, когда я расчищу всё это впереду, то и засяду плотно за роман. Я уже его «вижу» почти наскрозь, т. е. основную магистраль вижу, а по обочинам ещё будто местами и впереди не всё видно, но это дело времени и работы.

Да! Уже твёрдо знаю, что дали за «Рыбу» Гос. премию. Все радуются вокруг, а я в каком-то смущении внутреннем. Во-первых, всё же, как ни крути, это покупка; во-вторых, перенесли Женю Носова на год, а он болен, да, повращавшись среди секретарей, людей в большинстве своём самовлюблённых, проговоривших себя вещать в качестве лит. вождей «вечные» истины и жрать дармовую водку на разного рода «мероприятиях», боюсь, болезненно воспримет своё «ущемление», а мне не привыкать, я бы плюнул и растёр. Кабы этот пустяк не испортил наших добрых, дружеских отношений.

Беда! Беда! И не знаешь, откуда и придёт. Ну что делать? Если нарушит это наши отношения, значит, они непрочные были…

За книгу Азадовского спасибо. И не забудьте потом вкупе с какой-либо другой прислать мне «Тают снега» — это единственный у меня экземпляр, ладно?

Домашние мои все Вам кланяются. Маленькому Витьку позавчера исполнилось 2,5 года, он уже говорит: «Я с дедой полечу в Сибиль на самолётике». Хороший, быстро развивающийся малышок, но временами бывает истеричен, видимо, сказываются вёдра лекарств, влитые в него в раннем детстве.

Ну, обнимаю, целую Вас.

Ваш Виктор П.

8.XII.1978, Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Не ответил тебе сразу на интереснейшее письмо и пожалел, потому что после ноября заболел, и тут же «грянули» запущенные дела. Главное из них — сдача в набор IV тома «Лит. наследства Сибири». И по объёму это много, и комментарий убийственный, т. к. речь идёт о столетней давности. Нужны и знания, и интуиция. У меня вспухла и дрожит голова. И закончил я эту работу лишь вчера, предстоят одна-две встречи с редактором, и том пойдёт в набор. Конечно, не избежать разговора с гл. редактором (а он у нас бдит), но это будет касаться только одного вопроса — областничества и с чем его сегодня едят. В этом вопросе определённой договорённости у историков нет, потому мне легче говорить то, что хочу.

Меня очень обрадовало, что ты закончил воспоминания о А. Н. Макарове — с нетерпением буду ждать публикации, равно и того объединения статей, рецензий и интервью по литературе и

---

69. «Зрячий посох» (опубликовано в 1988 г.).

70. «Черёмуха», драма в 2-х актах. Театр, 1978, № 8. Четыре коротких рассказа (Падение листа. Жизнь Трезора. Гемофилия. Древнее, вечное). Новый мир, 1978, № 10.

искусству. По письмам А. Н. к тебе я убедился, что возникшая дружба его существенно поколебала, точнее, заставила подумать о многом том, о чём раньше он был уверен непоколебимо. Это касалось по преимуществу общественных проблем и вопросов. А его тонкое эстетическое чутьё, его знание литературы сразу заставит подумать о системе взглядов, «выстроенных» во времени, к тому же оно (объединение) имеет свойство самообогащаться. Статья, заметка порознь—не то что вместе, они дополняют друг друга. Потому я очень хочу видеть и читать эту твою книгу.

А где «Последний поклон» весь вместе? Книга разве не в этом году выходит?

Будучи нынче в Пицунде, я закончил «разговор» о «Царь-рыбе», но завершить работу так и не сумел—всё лежит в самом первозданном виде. Зато завершил первые четыре главы, а самая первая, «Начало», принята «Сиб. огнями» и сдана в набор для № 3 за 1979 год. Они ждут от меня и главу о «Царь-рыбе». Чёрт с ними, дам! В конце концов, «Сиб. огни»—это не вотчина Никульковых.

А моя статья о «Прощании с Матёрой», побывав в четырёх органах печати, обрела, наконец, сторонников в журнале «Север»—в № 2 за 1979 г. В её общественной части они опасаются цензуры, но хорошо то, что в корректуре всё «огнеопасное» сохранили. (Да и ничего крамольного в статье нет—я пользовался сведениями из печати, только эмоционально их окрасил.) В Иркутске (товарищи из альманаха «Сибирь»—по их заданию я писал статью) сразу побежали со статьёй в обком, и он им «порекомендовал» не печатать, а гл. редактор альманаха не постеснялся мне об этом сообщить. В «Севере» поступили правильно: сами не стали выступать в роли цензоров и за помощью ни к кому не побежали.

В Евг. Носова я верю. Не будет же он поступать, как В. Сапожников. А если будет, то знать об этом непереносимо больно.

А награде Вашей я рад—ты её заслужил, а раз осознаёшь—всё-таки это покупка,—то, значит, всё нормально: как и прежде, «служить» будешь народу, людям честным и честно.

В свою книгу (на 1979 г.) я включил статью «Деятельное добро» в старой редакции. Теперь в ней много нового, и я её исключил. И по договору не положено новое, в монографию предназначенное, печатать, потому заменил другими статьями.

Твои книги, которые я брал на время, освободились, но я как-то не рискую посылать их почтой. Но ты должен быть уверен, что я всё, в том числе первые публикации, рецензии, непременно верну. Может, с оказией, может, на денёк-два из Москвы заверну…

Марии Семёновне, всему семейству твоему поклон и привет.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

28.XII.1978,
Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Посылаю тебе небольшую книжицу, вышедшую в Барнауле и о барнаульских писателях[71]. Четыре года пролежала-провалялась она в издательствах, планировалась на 1977, 1978, 1979 годы поочерёдно—и вдруг выскочила в 1978 году. Чудеса, да и только!

Переплёт, конечно, никуда, а бумага хорошая. Очевидно, потому, что книга издана к 250-летию Барнаула. Для тебя в ней есть знакомые лица. Но некоторых я «восстановил» буквально по рукописям (предварительно их опубликовав). А о Г. Д. Гребенщикове впервые у нас с такой подробностью. 12 лет я собирал материалы (затеял для этой цели переписку с людьми из Франции, так и с людьми из США, в том числе и с самим Г. Д. и его женой, пока они были живы), 4 года очерк никто не печатал, хотя я его не раз предлагал сибирским органам печати, его год «изучали» в Комитете по делам печати. Считали, что я напрасно трудился, и вот—очерк увидел свет, и ты представляешь мою радость.

Конечно, Гребенщиков—не Бунин, не классик! Но всё равно это наша культура, русская от основания, и от неё мы отказываться не будем.

Я ограничился только Сибирью, потому что, несмотря на усилия, не мог исчерпывающе собрать произведения Гребенщикова зарубежного периода, хотя они в шестидесятых годах дважды их высылали—и ничего не дошло… А в наших библиотеках *всего*, конечно, нет—никто не собирал специально всю эмигрантскую литературу.

Словом, с удовольствием посылаю тебе эту книгу.

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

На открытке, без даты

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!

С Новым годом! Здоровья! Покоя! Работы по сердцу!

«Поклон» вышел в «Современнике», но я его ещё не видел. Весь пойдёт в бибколлектор. Я постараюсь достать и прислать. Женя Носов написал мне письмо, успокоил. Всё в порядке. Премию ему дадут в будущем году, об этом мне написали аж из Америки! А о Макарове надо Вам почитать

---

71. «На переломе».

в рукописи. Боюсь, что вещь эта не пройдёт, а пройдёт, так вся ощипанная.

Заезжайте! Зиму, кроме второй половины января и начала февраля (буду в Переделкино), я собираюсь сидеть дома, заработать право ехать на всё лето в Сибирь отдыхать. Дома все живы-здоровы. Кроме деда — Петра Павловича.

Все Вам кланяются, а я обнимаю и целую.

Ваш — Виктор Петрович.

16.1.1979, Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Открытку получил — спасибо за добрые пожелания. И успокоил вы меня, сообщив о хорошем письме Евг. Носова. А то, что его произведения отметят премией, и я нисколько не сомневался.

Теперь два слова о делах, для меня неотложных.

«Советский писатель» я попросил изменить срок представления рукописи до 1.IV.79 г. Эту зиму я часто болел и был занят сдачей очередного тома «Лит. наследства», работы весьма трудоёмкой.

Главу о «Последнем поклоне» я отложил, т. к. почувствовал: мне её, повесть, надо видеть всю целиком и в окончательном на сегодня варианте (я же хорошо помню твои дополнения и изменения в рукописи).

Читая письма А. Н. Макарова, я немало выписал. Но ведь это одна сторона дела, другая — ты сам в твоих отношениях с А. Н., поэтому, если есть пока лишний экз. рукописи, пришли, пожалуйста, и — всю, не только то, что связано с А. Н. Макаровым. Даже твой отбор выступлений по литературе чрезвычайно важен для монографиста. Выбраться к тебе был бы необыкновенно рад, но книгу-то дописать за эти два с половиной месяца надо *обязательно*. Написана она, по существу, вся, опоры её выработаны, но надо ещё раз пройтись по всему тексту и немало дополнить, как мне теперь, после перерыва, представляется.

Я слышал, что ты недавно интересно выступал на радио. Я об этом не знал, иначе непременно послушал бы. У тебя нет записи этого выступления?

Вот сколько у меня просьб и дополнительной мороки. Не связывайтесь с монографистами — надоедливый народ.

Рукопись книги я верну незамедлительно, когда прочту, — ну максимум недельки на две. Но если не получится, ничего не поделаешь, тогда сообщи её содержание (по названиям — ведь многие, если не все, твои выступления по литературе у меня есть).

Ну вот, кажется, и всё.

Первая глава монографии «Начало» уже набрана в «Сиб. огнях», вчера я подписал корректуру. Набрана для № 3[72], но вряд ли в третий номер попадёт, как мне уже сообщили. Могу прислать рукопись и раньше. Но я хотел послать сразу всю книгу, как только её закончу (теперь только в апреле).

А летом по дороге в свои края, может, к нам с Марией Семёновной заглянете? Летом, кстати, я никуда ныне не собираюсь. И такая встреча для нас была бы очень и очень желанной!

Марии Семёновне и всему твоему семейству от нас с Ф. В. пожелания здоровья и большой привет.

Как здоровье Петра Павловича?

Обнимаю.

Твой Н. Яновский.

Окончание следует…

---

72. *Яновский Н.* Начало. О раннем периоде жизни и творчества В. Астафьева. Сибирские огни, 1979, № 3.

Алексей Зайцев

Под мостом

Парижский дикоросс

Двадцать пятого ноября две тысячи пятнадцатого года в городке Рюэй-Мальмезон под Парижем ушёл из жизни поэт Алексей Зайцев. Его стихи знакомы лишь горстке его друзей, а единственный сборник «Проводы времени» издан в Париже в девяносто третьем году. Близкий друг Алексея писатель Андрей Саломатов пишет, что «из стихов Лёши Зайцева можно сложить картину мира, в котором он жил». А Кира Сапгир говорит о его стихах как об «исповеди, полной весёлого отчаяния».

Действительно, жизнь Лёши сложилась непросто. Родился он десятого октября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года в Улан-Удэ, но всё своё детство провёл в Москве, и с шести лет — в школе-интернате. Об этом времени Лёша вспоминал как о самом голодном. В четырнадцать лет он поступил в Московское театрально-художественное училище, затем — в педагогическое. Освоил игру на домбре и балалайке. Не успев доучиться, в девятнадцать лет стал отцом. Поселился в Тарусе и пошёл работать пастухом, после — экскурсоводом в местной картинной галерее. Семейная жизнь не сложилась.

В семьдесят девятом году московский самиздатский журнал «Поиски» впервые публикует его стихи вместе с открытым письмом о принудительном лечении в больнице им. Кащенко (где он и познакомился с одним из редакторов журнала). Оставаться в Москве стало небезопасно. В начале восьмидесятых Лёша работал в разных городах Советского Союза — сторожем, истопником, учителем, художником-оформителем, лесорубом…

Только в восемьдесят четвёртом году он возвращается в Москву и поступает в Литературный институт. Зайцева печатают в журнале «Огонёк», в альманахе «Тёплый стан», в других журналах, газетах и сборниках. Работает редактором журнала «Советский школьник», редактором «Детской литературы», ведёт поэтическую рубрику «Огонька». В девяносто первом году его принимают в Союз писателей. Казалось, жизнь начала устраиваться.

Но «Лёша был прежде всего замечательным, тонким поэтом» (Вилли Брайнин). Ему стало тесно в этой карьере, и в девяносто втором году, будучи в командировке во Франции, он решил стать невозвращенцем. Лёша Зайцев был тепло принят русской эмиграцией — Владимиром Максимовым, Александром Гинзбургом, Семёном Мирским на «Радио „Свобода“» и Виталием Амурским на «Радио Франс Интернасиональ». Он печатался в «Континенте» и в «Русской мысли», однако на жизнь зарабатывал игрой на балалайке в ресторанах (вот и пригодилось профессиональное обучение в юные годы!). Немного зарабатывал репетиторством и переводами, работал поваром, даже рисовал картины на продажу, подписываясь Семизубовым. Для себя изучал теологию в институте St.-Serge в Париже и кулинарию в Дижонской кулинарной школе. Если ему и приходилось забывать о стихах, то ненадолго.

Уже в новейшую пору, в две тысячи двенадцатом году, под заголовком «Битва котов у подножия дуба» была опубликована подборка стихов Лёши с предисловием лидера дикороссов Юрия Беликова, где дана достаточно точная характеристика его поэтической и человеческой особенности: «…Русский поэт Алексей Зайцев, никогда не забывавший в Париже об Иване Великом и Василии Блаженном, давно для себя разграничил, „что Великий поближе к солнцу, но Блаженный — милее сердцу“».

Поэт Михаил Сухотин считает, что «качество фактической спаянности с реальностью проживаемой жизни больше всего проявилось в его стихах, написанных в эмиграции». Для поэта Григория Кружкова его «стихи узнаваемы… За каждой строчкой стоит именно он, со своим лицом, своей неповторимой интонацией. Кроме поэтического, у него было много талантов, в том числе — талант дружбы».

Друзья Лёши Зайцева собирают щедро раздариваемые им стихи, и теперь Григорий Кружков готовит к публикации его сборник.

Юрий Годованец

● ● ●

Памяти отца

Нальём же в бокалы постылый нарзан,
Окончено время лишений!
И что-то с глазами. И больно глазам
От света последних решений.

Пусть правда блестит над страною, как нож
Над брюхом балтийской селёдки!
Не верю я в правду. Не верю я в ложь.
Ни в то, что лежит посерёдке:

Ни в добрую волю, ни в трепетный ум,
Ни в трезвость, ни в прочую мерзость,
Покуда работают почки и ГУМ
И почва ещё не разверзлась!

Покуда на грядках растёт сельдерей,
И девки приходят в малинник,
И души усопших стоят у дверей
Своих даровых поликлиник,

И тени живущих, как тени секунд,
Ложатся на землю родную.
Их дома секут. И на службе секут.
И вьюги поют отходную.

● ● ●

Твои мечты неизреченны,
Но дел твоих кровопролитных
Страшатся мирные чечены
И русские космополиты.

Не спрашивай, сегодня где мы,—
Твой ум и так зашёл за разум.
Зачем ты, лермонтовский демон,
Чадишь соляркой над Кавказом?

Зачем ты, подлый дух изгнанья,
Не став добычей психиатра,
Прямой наводкой лупишь в зданья
И травишь газом зал театра?!

Спецназ идёт на штурм ночами,
О нём у нас напрасно спорят:
Москва стрельцов казнит вначале,
А после—стрелочников порет.

● ● ●

Казалось, всё нам было нипочём.
Мы были крепче танковой бригады:
Ведь ты стояла за моим плечом,
И детский смех врывался к нам из сада.
И Франция цвела для нас ковром,
И по весне к нам ласточка стучалась…

Такое не кончается добром.
С поэтами—ни разу не случалось.

Перед потопом

В тот день была объявлена война.
В. Ходасевич

Крестьяне маялись без водки. Говорили,
Что в среду не приедет автолавка.
Дождь моросил. Возились в тёмной луже
Прозрачные некрасовские дети.
Собаки не высовывали носа
Из будок. Лес гнилой, палеозойский
Сжимал своё кольцо вокруг деревни
Ещё теснее… Утром на дорогу
Сползались полудикие фигуры
И спорили: «Приедет? Не приедет?»…
Лениво перекидывались бранью,
Копейкам счёт за пазухой вели.
Таких убогих денег не встречал я!
Как будто их пускали на растопку,
Как будто их прикладывали к язвам,
Как будто в ночь на праздник православный
Их из могил ногтями вырывали!
Однажды в отдаленье стук мотора
Возник. И нарастал. И приближался.
Но это был фанерный грузовик,
Построенный Кулибиным покойным.
Швыряя в лица комья липкой грязи,
Он мимо них промчался. За рулём
Сидел медведь. Огромный. Неподвижный.
Глаза от страха лапами закрыв.
Крестьяне долго после обсуждали,
Куда он ехал. Были разногласья:
«Известно, что одним своим концом
Дорога упирается в райцентр,
Однако и другой у ней конец
Имеется»… Но где?—никто не ведал.
Потом с небес Последний Ливень грянул,
И спорщики по избам разошлись.

● ● ●

…Но, по чести, нынче никто не разумеет просто, чтó хороший стих и чтó дурной, живём последние годы.
Катенин—Бахтину, 20 июля 1830

Чем навеян или вызван этот сон?
Я очнулся в странном доме без окон.
Был он светел в непрозрачной темноте,
Словно ветер, он вертелся в пустоте.

Хороша ль моя хрустальная тюрьма:
Эти лесенки, ведущие с ума,
И звонки у заколоченных дверей,
Песни арок и печаль оранжерей?

Я ступал по коридорам без полов,
Я свою искал за тридевять голов,
Заблудился и не знал, куда пойти
До рассвета, до пяти без двадцати.

• • •

Дочке Люсе

Хорошо, что у тебя есть остров.
Только он пока необитаем.
И найти его совсем не просто
Между Иллинойсом и Китаем.

Отыскать его легко, однако,
Как деревню Ясная Поляна,
По дорожным знакам зодиака,
По грошовым картам—у цыгана.

И тебе там будет всё знакомо:
Снова к морю выйдешь спозаранку
Выбрать сосны—для постройки дома,
Или воздух—для починки замка.

• • •

Лине

Как нежно и жалобно в Меце
журчала в канавках вода!
Ей попросту некуда деться,
когда б не спешить в никуда.

Ушли по домам горожане.
Кафе опустело. И парк.
Остался лишь памятник Жанне,
той самой, которая—д'Арк.

А впрочем, у стен арсенала
цветочница встретилась мне.
И всё это напоминало
улыбку в больничном окне.

Когда-то, когда-то, когда-то
(давно, как пешком—на Луну)…
Когда-то мы были солдаты.
Солдатами—в русском плену.

Хорошие книжки листали
и карты кидали—не в масть,
и всё заливала густая,
как студень, советская власть.

И всё-таки, всё-таки, всё же
(а может быть, даже и нет!)
ты свет зажигала в прихожей,
и я появлялся на свет.

Ты знаешь, на свет я—рождался,
летел на него мотыльком!
Как будто до смерти нуждался
в рождении—только в таком!

Его лишь запомнило сердце,
а всё, что потом,—ерунда!..
Так нежно и жалобно в Меце
журчала в канавках вода…

• • •

Ирине Зайцевой посвящается

Ему приснилась вдруг столовая
На станции Москва-Товарная,
Нельзя сказать, чтобы урловая,
Но приблатнённая—весьма.
Там подают борщи лиловые,
В них звёзды плавают коварные.
(Нет, не найду живого слова я,
Ни капли страсти для письма!)

А на окне цвели бегонии.
А во дворе собаки гавкали.
Он не проснётся утром в номере,
И я умолкну вместе с ним.
Но, как индейцы с томагавками,
Стоят путейцы за добавками
И смотрят, как состав плутония
Уходит в Западный Берлин…

А ну их всех! Поедем в Альпы?
А если хочешь—в Пиренеи.
А если хочешь—в Гималаи.
Туда не ближе, чем сюда.
Мы снимем шляпы, словно скальпы,
И понесём, как ахинею,
Которую не оправдаю
Уже до Страшного суда.

Песенка рабовладельца

В нашем мире, который бьётся
В тесноте абсолютно-щедрой,
Мог бы стать я работорговцем,
Угнетателем сотни негров.

Угнетал бы я негров—джазом,
Веселил бы я негров—ромом.
Уважал бы их скорбный разум
И хранил бы Господним Словом…

Продавал бы рабов—рабам я
За ничтожную каплю рабства.
И на этой идее «братства»—
Умножал бы своё богатство!

Сочинял бы я неграм—хайку,
А не вышло бы—резал нэцкэ.
И делил по утрам их пайку,
Даже если делиться—не с кем.

Я и «белым»—слагал бы хокку—
Парижанам или тбилисцам…
А делился бы—только с Богом.
Он ведь с ближним велел делиться?..

● ● ●

Душа беспутного монаха
Шаталась в винных погребах,
Без трепета, совсем без страха
Передвигалася впотьмах.

Из каждого—увы—бочонка
Немалый выпит был глоток.
Потом душа храпела тонко,
И храп взлетал под потолок.

Когда же петухи вопили,
Рискуя голоса сорвать,
Глаза свои открыв с усильем,
Душа сказала: «Наплевать!

И никакие там мне птички
Не принесут с собой тоски».
Так сохраним свои привычки
И после гробовой доски!

● ● ●

В гробу лежит сумасшедший,
Ни в чём себя не нашедший,
За целую жизнь дошедший
До мысли, простой, как сам:

«Когда-нибудь лопнет сбруя,
Пусть прежде друзей умру я,
Пока на земле пирую
И мёд течёт по усам!»

Он чёрен, как кость бемолей,
А день—фонарей лимонней,
И солнца мяч волейбольный
Больно слепит, взлетев…

Лежит он—впервые прямо.
Его ожидает яма.
Поднимем стакан Хайяма
За этот шальной напев!

Наш век он терпел в иванах,
Храпел на чужих диванах,
Всегда пребывал в нирванах,
Одетый в одно рваньё.

Его окружали цацки:
Авоськи, фуражки, каски,—
Не верил он чёрной краске
И красной сказал: «Враньё!»

Пыхтения труб и домен
Не ведал. Я сам бездомен
И знаю: хоть мир огромен,
Но мало что слышно в нём…

Ходил сумасшедший с палкой,
Как Лир, величаво-жалкий.
Кричали с деревьев галки.
Закат полыхал огнём.

● ● ●

Словно всадник отважный династии Минь или Тан,
Красноглазый монгол в телогрейке, почти великан,
Сердцем слушая вой своего «кавасаки», летал
Девятьсот сорок третьей дорогой на Сен-Флорентан.

Если б я Ходасевичем был… Да ведь я не таков,
Чтобы взять и воспеть, как прекрасны сады за рекой,
Где гниют лимузины испанских цыган-батраков,
А грузины друг другу приветливо машут рукой.

Где зулусы, топтавшие гиблые русские льды,
На которых любой вездеход попадёт в переплёт,
Отложив попечению вечности дни и труды,
Зубоскалят с ангольцами—кто там кого переврёт…

Ну а мы проследим, чей черёд поспешать в магазин.
Говорят старожилы, здесь чачу хлестал Карамзин.
Здесь Отечество—всем. Гагиждеби[1], осушим стакан
И махнём по весёлой дороге на Сен-Флорентан!

Лукоморье

Лукоморье. В лесах—чикатилы, в музеях—веласкесы.
Молодёжь с кистенями гуляет, как дети—с колядками.
Старожилы себе на уме, хотя внешне и ласковы:
«Понаехали тут! Задолбали своими порядками!

Что ж теперь нам, ушлёпкам, петрушку сажать с бедуинами?
В Интернете бычки собирать, похмеляться мороженым?
Министерским избушкам оттяпали ножки куриные—
Срамота, говорят! Любоваться на них не положено!..»

Лукоморье. Великая битва котов у подножия дуба.
Цепь не могут коты поделить—голосят и кусаются.
И следят за побоищем Венесуэла и Куба.
Остальные вздремнули под музыку «Спящей красавицы».

● ● ●

«Ты умрёшь под мостом!»—этой грозною фразой
Прогоняли со службы балбесы балбесов.
И писали балбесы балбесам в приказах,
Чтобы те исчезали в утробе собесов.

Если чуткое ухо приложишь к земле ты,
Отвратившии уста от пустого стакана,
То услышишь, о чём говорили поэты
В час рожденья Христа под мостом Юлиана.

Голубая лаванда в лугах Люберона.
Золотая пшеница. Багряные маки.
И над всем этим звёзды горят непреклонно,
А над звёздами—Вечность смеётся во мраке.

Над костром она пляшет под сводами арки,
Где однажды уснёшь ты—счастливый и пьяный,
Попросивший судьбу о великом подарке:
Встретить старость и смерть под мостом Юлиана!

1. «С ума сойти!» *(груз.)*

Под сенью дагестанской «Вербы»

Дружеский круг, литературный клуб

Дагестанский литературный клуб «Верба» проводит творческие встречи в Национальной библиотеке Республики Дагестан имени Расула Гамзатова (Махачкала). Участники клуба — люди разных национальностей и возрастов — от старшеклассников до пенсионеров, профессий и социального статуса — от рабочих завода до докторов наук. Практически все пишут стихи или прозу, литературно-критические статьи, осуществляют переводы произведений с языков народов Дагестана на русский. Некоторые из них имеют публикации в периодике и толстых литературных журналах, коллективных сборниках, у некоторых вышли персональные книги, а другие только начинают выражать себя на бумаге или на экране компьютера.

Организовал ЛИТО (в то время — дагестанский молодёжный литературный круг «Верба») в 2001 году поэт и переводчик Фазир Джаферов. В название «Верба» Фазир вкладывал смысл — «завербовать в литературу».

После отъезда Джаферова на жительство в Москву литкруг стал литклубом. Многие из первоначального состава ЛИТО разъехались из Дагестана, но «Верба» продолжает держать с ними творческие контакты.

На заседаниях клуба участники читают друг другу свои произведения, коллективно обсуждают их, как это обычно делается в Литературном институте, дискутируют на литературные и другие темы; организовывают музыкально-литературные вечера, приглашают к себе для взаимополезного общения интересных людей из разных областей культуры и искусства; проводят творческие десанты — по приглашениям посещают школы, вузы, библиотеки и выступают перед любителями литературы. «Вербовцы» принимают участие в разных литературных мероприятиях, в их числе — Международный Пушкинский молодёжный фестиваль искусств «С веком наравне», Форум молодых писателей России, семинар молодых переводчиков в Переделкино, Форум переводчиков с языков малых народов России на русский язык, Международный конгресс переводчиков и другие. «Верба» сотрудничает с Дагестанским филиалом Российского Фонда культуры, Дагестанским отделением Союза писателей РФ. За время существования «Вербы» её участники выпустили совместный одноимённый литературный сборник.

В 2016 году «Вербе» исполнилось пятнадцать лет! Предлагаем вниманию читателей «ДиН» юбилейную подборку стихов и прозы «вербовцев».

ЮЛИЯ ЗАЧЁСОВА,
поэт, переводчик,
руководитель
литературного
клуба «Верба»

Багдат Тумалаев

Ковёр с оленями

Памяти А.

Картинка из памяти, дорогая моему сердцу: я сижу за маленьким столиком, а рядом — несколько других мальчишек. И вот именинник — Аслик. Мы пьём пепси, закусываем «сникерсами» и ещё чем-то, всё очень вкусное и куплено совсем рядом — на городском оптовом рынке. Сейчас уже и не вспомнишь название всякого разного добра, которое вдруг хлынуло на необъятные просторы страны после развала Союза. А над нами на стене висит ковёр с оленями. Олени на ковре что-то едят, вокруг них ходят слоны и ещё какие-то раджи, дело там в Индии происходит — красиво и солнечно…

Аслик — мой сосед и друг с незапамятных времён. Сейчас нам уже по двенадцать, а дружим мы много лет. Нас объединяет улица, на ней мы проводим с ним круглые сутки.

Аслик хоть и младше меня почти на год, но — лидер. Он рано повзрослел, потому что вырос в многодетной семье. Отец его умер рано — от рака, и бедная мать едва сводила концы с концами, чтобы содержать троих детей. Аслик умеет доставать деньги, а на них мы с ним покупаем жвачки, шоколадки, пепси-колу.

Но расскажу по порядку.

Аслик был заводилой на улице: мы с ним лазали по соседским стройкам, ходили гулять во двор близлежащей больницы, катались по очереди на моём велосипеде со звучным названием «Конёк-Горбунок»…

Но вдруг возле нас на пустыре, где раньше мы просто лазили и собирали бутылки, чтобы потом сдать их, — вдруг на этом обыкновенном махачкалинском пустыре забила ключом жизнь. Было это году в девяносто третьем, думаю. Появилась куча грузовых автомобилей, набитых всяким товаром — от сигарет до мыла. Толпой на пустырь повалил народ. И до этого иногда на пустырь могла прийти толпа — когда тут на месяц-два приезжал иногородний зверинец или цирк шапито, и даже однажды на пустыре возник огромный шар — и внутри кружились мотоциклисты. Но шар исчез через месяц после появления, так же быстро исчезали цирк и зверинец — и приезжали они не каждый год.

В зверинце мне не понравился верблюд — он плевался, помню, и его все обходили стороной. А вот в девяносто третьем всё было по-другому: сотни грузовиков никуда не исчезали всё лето, тысячи людей каждый день шли к ним за товаром. А спустя какое-то время на место грузовиков начали ставить большие железнодорожные контейнеры и бетонировать их в землю, и возник огромный оптовый рынок — целый город, в котором всегда было многолюдно.

А мы, мальчишки с соседней улицы, каждый день гуляли по этому рынку, и рынок нас за это благодарил. Аслик поначалу помогал владельцам контейнеров по мелочи — покупал им еду, приносил воду; потом он стал подрабатывать на бензоколонке у рынка, а также собирал деньги с автомобилей покупателей за въезд на рынок.

В общем, мы с ним в двенадцать лет стали богачами — покупали каждый день всякие «бубл-гамы», «7 раши», пакетики сухих напитков «Инвайт», блоки турецких шоколадок «Улькер», даже пробовали курить сигареты «Мальборо» и «Кэмэл».

Аслик умел доставать все эти «вкусности» и не всегда делал это легальным путём. Вот он однажды притащил мне целый целлофановый пакет хозяйственного мыла — кусков пятнадцать, говорит: нашёл на рынке. Мыло я отнёс маме — она стала меня ругать, кричала, что после недавнего дефицита никто мыло не выкинет добровольно. Говорит: «Украл его твой Аслик!»

В итоге она закинула пакет в подсобку, а потом он оттуда исчез — может быть, его съели крысы или унесли очередные мастера. В тот год мы делали ремонт в доме, приглашали разных мастеров, подешевле, ну и, конечно, все они были алкашами и ворами. Даже в холодильнике стали исчезать продукты. А ремонт шёл три месяца — всё лето!

Аслик присмотрел возле моего дома один бесхозный магазинчик — ларёк небольшой. Его нагло, не спросив разрешения у наших соседей — простой русской семьи, поставили некие тёмные «предприниматели». В ларьке торговали непонятно как и часто — только вечерами. Покупатели приезжали, как правило, на машинах без номеров, хотя в те времена на машинах без номеров ездили все, кому не лень…

Вдруг эта торговая точка незаметно закрылась, и Аслик залез в неё через крышу спустя какое-то время и обнаружил много полезных вещей. Позвал

меня помочь всё это вытаскивать. Мы с ним за несколько заходов забрали из ларька — лазая через крышу — оставшиеся в нём напитки и сладости…

Потом, когда уже нечего было забирать, Аслик стал хулиганить, бросил бутылку в решётчатое окно ларька. Потом мы разбили там все стёкла, и Аслик даже надумал поджечь бесхозный ларёк, но я его отговорил от этого: мол, я же живу в пяти метрах, вдруг и на мой дом пойдёт пламя. Он согласился…

Как-то, в девяносто четвёртом, мы с Асликом сильно подрались. И почему же мы дрались? Дрались и в детстве до этого однажды — он у меня тогда шапку отобрал, а вот уже на этот раз — он сильно мухлевал в картах, и нас разнимала моя тётя. Тогда мы с ним в карты рубились каждый день. Но после драки уже на следующий день помирились и сидели на скамейке на улице как ни в чём не бывало — как будто и не дрались вовсе.

А один раз он увидел валявшийся на улице презерватив — и показал мне: «А это чтоб детей не было!» Я как-то это воспринял с грустью. «Как же так — без детей?»

Вот мне очень захотелось отпраздновать свой день рождения — двенадцать лет должно было скоро исполниться. До этого так весело праздновали одиннадцатилетие Аслика — аж завидно стало… Двенадцатилетие мне тогда казалось какой-то значимой датой — где-то вычитал, что Пушкин в двенадцать лет в лицей поступил…

Заранее купил банку сгущёнки, копил деньги на сладости — всё лето мы активно собирали бутылки вокруг оптового. Особенно ценились у приёмщиков стеклотары длинные водочные бутылки.

В конце лета девяносто четвёртого года в городе объявили об эпидемии холеры, и каждого взрослого и ребёнка с признаками кишечной инфекции — без разбора — увозили в специальную больницу — на карантин.

И надо же мне было за двое суток до дня рождения заболеть. Лето, жара, а едим мы с Асликом всякую фигню — вот и расстроился живот. Ночью приехала скорая, и меня увезли в больницу. Там сутками заставляли пить воду из баллонов — с лекарством каким-то, вода была невкусная.

День рождения свой я так и не отпраздновал, а когда вышел — увидел у дома несколько столиков. Угол улицы превратился в торговую точку — соседские старушки на нём стали продавать те самые жвачки с оптового и сладости вместе с ними. А моя бабушка стала чуть ли не самой главной среди них «бизнесменшей» — ведь она всю жизнь проработала в торговле. И я стал ей помогать — покупал утром на оптовом рынке товары и к вечеру успевал их распродать на углу.

Всё бы ничего, но стал к нам наведываться частенько участковый — настырный тип, говорил: мол, уличная торговля запрещена. Денег вроде бы просил. Женщины кричали, орали — участковый убегал.

Однажды я случайно разбил баллон с продаваемым бабушкой растительным маслом — и сказал ей: это участковый пришёл и выкинул его. И она поверила. И ничего не сказала. Но вдруг участковый исчез. И больше десяти лет на нашем районе вообще не появлялись милиционеры — до наступления 2005 года, когда Дагестан превратился в одну большую «горячую точку»: тогда каждый день лилась кровь, взлетали на воздух машины ДПС и ППС. В Махачкалу в тот год ввели усиленные отряды ОМОНа из других регионов страны, и по нашей улице стали ходить вооружённые до зубов патрули солдат внутренних войск. Но это было после…

Уличную торговлю к концу девяностых в городе всё же запретили — как оказалось, навсегда…

Оптовый рынок был закрыт в 2001-м. На его месте построили банкетный зал и боулинг.

С Асликом мать меня стала отговаривать общаться — он бросил школу и перестал появляться на нашей улице. Он стал дружить с хулиганами из другого квартала, а потом ушёл в армию, там отсидел год в дисбате — за драку. Вернувшись, стал таксовать, вдруг сел в тюрьму на пару лет, выйдя из неё — женился, но вскоре развёлся, потом чем-то заболел и как-то незаметно, тихо умер, прожив неполные двадцать семь лет.

Я видел его как-то, как потом оказалось — за полгода до смерти. Он сидел на улице на каком-то стуле. Я с ним поздоровался, и он попросил купить ему бутылку пива, протянул деньги. Я пива купил, но за свои деньги, сказал: оставь свои, угощаю. Он плохо себя чувствовал, с трудом ходил — я ещё не знал, что его скоро не станет…

Кто-то потом на улице сказал мне, что Аслик стал наркоманом и умер то ли от СПИДа, то ли от туберкулёза — никто не знал точно…

Я узнал о его смерти от мамы, был ноябрь. Зашёл соболезновать — его младшая сестра меня даже и не узнала, а я сунул ей в руки пятьсот рублей. Так принято. Не говорил ничего. С ним вместе ушло навсегда моё детство…

Всегда вспоминаю его, каким он был в те годы, когда появился на нашем пустыре оптовый рынок. Одиннадцатилетним мальчишкой, драчуном и «экспроприатором». Щедрым и добрым пацаном, который умел радоваться каждому дню своей короткой жизни…

Юлия Зачёсова

Снег

С далёких планет

Сквозь молчанье Вселенной слышны позывных отголоски.
Вызывает Земля… Ты в искусственный сон погружён.
Что же снится тебе, благородный Румата Эсторский,
На борту звездолёта земного—разведчик Антон?

Что, легко ли быть богом? Решать, что правдиво, что ложно,
На планете чужой, так похожей на юность Земли?
Дал зарок «не убий». Соблюдал его сколько возможно.
Соблюдал бы и дальше. Да нервы, видать, подвели.

Ты спасал как умел книгочеев. То метко, то мимо.
Но пора наступила—и тут уж кричи не кричи.
Арбалетной стрелою пронзённое горло любимой
Переполнило чашу—покинули ножны мечи.

Захлебнулись в крови доны Рэбы и прочие твари.
Каждый, кто не спасён, был хотя бы тобой отомщён.
Но осталась она—навсегда молодой—в Арканаре…
Только память с тобой, смелый, добрый разведчик Антон.

Ты ни в чём не виновен. Земля… те же лес и равнины.
Как мечтал, чтобы дом твой стал домом и ей—на двоих!..
Взгляд рукою прикрыть… жгучим холодом дёрнуло спину.
…Это сок земляничный—не кровь—на ладонях твоих.

Снег

Мир уткнулся в ладони. Чело скрыто бледной завесой.
В звонком воздухе кружат снежинки быстрей и быстрей.
Словно занавес после стоактной трагической пьесы,
Снегопад скрыл от взора дороги, дома и людей.

Снег-целитель идёт… остывает весь мир от агоний,
Снег прижмётся губами ко лбу воспалённой земли.
Мир в ладони уткнулся… Не плачь, это Божьи ладони,
Отведут боль-беду—ведь когда-то уже отвели.

Босиком по осколкам—путь горек, неблизок и труден.
Снег очистит сердца и прильнёт к пожелтевшей траве.
Отменён Страшный суд. Мир, ты слышишь? Потопа не будет.
Гладит Божья ладонь по вихрастой земной голове.

Хамис Шамилова

Цвет любви

● ● ●

Я камни с сердца подниму и сброшу
В ту пропасть, что отчаяньем зовётся.
Сизифов труд.

● ● ●

Я намного старше собственных дней,
Я намного старше твоих дней—
Старше я судьбы своей.

● ● ●

Их много…
И я не одинока теперь…
Знаешь, Солнце входит в окна?!
Через дверь только дождь заходит.

● ● ●

Я выход ищу из развалин.
Священный торжественный гул…

● ● ●

Холод ветра ласкает мне слух
В очертаньях морской воды.
Тысяч снов неразгаданных,
тысяч мыслей.
Шёпот волн…
Где же вода?
Где камни?

● ● ●

Холодно.
Зимнею стужею
брызжет дорога.
Сил не хватит
продолжить счастье…

● ● ●

Я уготовил миру цвет любви!
В осенней дали
Дымчатых дорог
Расходятся случайные пути.

● ● ●

Как ты скажешь об этом отцу?
Он любимый,
Он верен Творцу…

● ● ●

Немой вопрос тебе ответ…
На мой вопрос немой ответ.

● ● ●

Тайна раскрылась случайно:
Ветер поник, в ветвях
Густой ивы застрявши…

● ● ●

Всё снимешь, душа!
Будь нага…
Очерствела боль,
Не пробьёшь её,
Не посолишь,
Не повторишь…
Холод.

● ● ●

Он не виноват.
Он красивый…
Это я увлеклась
Светом инея…

Мариям Кабашилова

Сквозь иероглиф веток

● ● ●

То, что нам назначалось, теперь происходит с другими—
Ясноглазыми, с хищною поступью рысьей, тугими
Мышцами. Это они целуются, шепчут друг другу
Про «навсегда» и едут в метро по кругу.
Им бы домой—ночь снаружи стелется густо,
Но, уж поверь, они своего не упустят.
Крепко вонзятся в голову, руки, плечи,
Пустят корни в тёплую бесконечность,
В мягкость диванную, запах хлеба из кухни.
Кот не перебежит, ворона не каркнет, сова не ухнет.
Магией уберегут, амулетом, крестом, камеей.
Мы с тобою, мой друг, так не умеем.

● ● ●

В голове мыслей мелкое крошево,
Древние камни шлют письма из прошлого.
На твоём лице чёрная ночь и скулы стальные,
Боль делит тебя на взгляд и всё остальное.

Больничная палата, тесная койка,
Надежда на весну.
Слушай сообщение из моря Спокойствия:
Вот в эту минуту, прямо сейчас,
Армстронг высаживается на Луну,
Расчехляет саксофон, звучит неземной джаз.

Запомни до седьмого колена:
Горстка снега—всё, что нужно знать о Вселенной.
Не спрашивай, зачем ты родился,
Для чего эти руки, ноги, волосы, плечи.
Загребай озябшими пальцами наледь из холодильника
И думай о вечном.

● ● ●

Мы только немножко тут
И почти целиком в том вечере.
Едем долго в трамвае—знакомый маршрут.
Я тогда поняла ещё: мы никогда не излечимся
От январского снега. Там тусклая ртуть

Фонарей. Грусть
Во взгляде, и выдох—Боже!
Ты говоришь, и я—говорю-говорю.
А мимо нас спешат без конца прохожие,
Непричастные к снегу, деревьям и январю.

• • •

Можно, конечно, поехать на море. Но на деле—
Ещё один день проведу в постели,
Разглядывая окно, потолок и стены.
Мои друзья выросли, женились, растолстели,
Бросили жену, работу, пить,
Сторчались, умерли. Не с кем больше дружить,
Думать, делить душевную прыть,
Гулять по Чистым, тянуть длинную нить
Разговора:
Кино, поэзия, Маяковский, Есенин, Айседора,
Курить в сумерках коридора.
Некому сказать: «Ты мне дорог.
Ты мне очень дорог…»

• • •

Когда твой взгляд, сроднившийся с листвой,
Скользит легко сквозь иероглиф веток,
Приходит непогода на постой
В печальный парк у дома. Без ответа

Все письма, улетевшие туда,
Где море синее и солнце светит…
А пруд у дома, клёны у пруда
Стоят, разочарованные в лете.

Абутраб Аливердиев

На пороге последних дверей

Рыцарь

Через горы и долы, поля и холмы,
Через холод и зной он идёт.
Предсказали когда-то седые волхвы:
Он принцессу от змея спасёт.

Ускоряется бег у небесных светил,
Червь сомнения душу грызёт.
Может быть, не о нём старый волхв говорил?
И напрасно он ищет и ждёт.

И уже на пороге последних дверей,
Где покоится бездна надежд,
В белом платье явилась она, и был с ней
Сноп таинственных белых одежд.

В доме светлом и чистом под сенью креста
Наконец он обрёл свой покой.
И рассеялась дымом былая мечта:
Заболел он мечтою иной.

То, что было потом, я от вас утаю,
И тогда после чарки винца
Сами сложите песню вы, каждый—свою.
И не будет плохого конца.

Пассатижи

К надписи на асфальте:
«Аня, верни пассатижи!»

Звучал под вечер звонок тревожно.
В глазок я глянул: соседка снизу.
При лунном свете душа безбожно
Рвалась то в бездну, то к парадизу.

Горели свечи, играла лира,
Смотрел, как в омут, в глаза бесстыжи.
Готов отдать был все клады мира,
Но ты спросила лишь пассатижи.

Ты обещала вернуть их завтра.
Потом шутила: «Вставай на лыжи!»
Потом ругала Камю и Сартра.
На кой мне Сартр твой? Где пассатижи?

Все идеалы тобой разбиты.
Давно я понял—не стать нам ближе.
И на асфальте (мы будем квиты!)
Читай, Анюта, про пассатижи!

Мария Алёшечкина

Шлем Дон Кихота

Бездомный

Я сладко сплю, вокруг меня—вокзал,
Вокруг него—огромная столица.
Я сердце ни к чему не привязал,
Ни с чем не пожелал соединиться.

Я сладко сплю… Мне снятся города,
Их монументы, тополя и зданья.
Они текут, как пёстрая вода,
И каждый миг меняют очертанья.

И в этих снах—всегда, всегда в конце—
Мелькает золотой небесный город…
Улыбку видя на моём лице,
Раздумал мент хватать меня за ворот.

Проснулся я… Вокруг—ночной вокзал…
Весёлая, огнистая столица…
Я сердце ни к чему не привязал,
Чтоб, как ручей, с рекой великой слиться.

Ветра

Гонит ветер пыльцу тополей
Прямо к небу, всё шире и шире,
Чтобы сделалось вдруг веселей
Умирать в этом маленьком мире.
С одуванчиков шапки сдувать
Мы не станем—а всё же мы дети.
Вы придёте меня убивать?
Дорогие, я счастлива этим!
Я уже позабыла про страх;
Да и что бы со мною случилось?
На семнадцати пёстрых ветрах
Это сердце давно поселилось.
Красный ветер течёт по горам,
Жёлтый ветер течёт по долинам,
А зелёный—по бурным морям,
А зеркальный—по шумным стремнинам,
И несётся пыльца тополей
В белом ветре, всё шире и шире,
Чтобы сделалось вдруг тяжелей
Убивать в этом маленьком мире.

Индус в Питере

Этот город стоит на водах,
И как ночь у него зрачки.
На продажу у переходов—
Странно-солнечные очки.

Этот дом кирпичные инки
Перекрасили бы в бордо.
Лишь сидящие в барах финки
Всё здесь любят, свои на сто.

Серой влагой сочатся стены.
Я иду—напеваю джаз.
На проспекте в пункте обменном
Видят рупии в первый раз.

Здесь так мало вина и мёда,
Это мир плащей площадей,
Здесь «тропическая» погода—
Постоянный
Сезон
Дождей.

Шлем Дон Кихота

Шлем бедняги Дон Кихота,
Закопчённый, проржавелый,
Я скоблю ножом до пота—
Утомительное дело.
Застилает ливень окна,
И Тобос уснул во мраке,
И попрятались—не мокнут
Приумолкшие собаки.
Вот и небо побелело;
Бросить нож и молвить: «Хватит!»
Ах, зачем пустое дело
Начала я на закате?!
Только вижу всё яснее,
Грязь баталий соскребая:
Каска рыцаря под нею,
Словно небо, голубая.

Листья

В парке осеннем пришлось под навесом ютиться,
И подступает к промокшим ногам водоём.
Жёлтые листья — китайские жёлтые птицы —
Только одни и остались под серым дождём.
Я рисовала на них синеглазые лица;
В детстве покрыт был кленовой листвой тротуар.
Жёлтые листья, китайские жёлтые птицы,
Чертят по воздуху символы медленных чар.
С этой волшебною осенью мне уж не слиться:
Так отнимают порой, что в начале дано.
Только с китайского термоса жёлтая птица
Каждую осень тоскливо глядится в окно.

В надежде

Ты тайну безысходности когда-то,
Того не зная, мне передала;
Так пусть же свет мой, солнце без заката,
В тебя прольётся, где б ты ни была.
Беседы тихой медленные змеи —
Твои сомненья в душу мне вползут,
Но может станет вера, что имею,
Твоею хоть на несколько минут;
И ты проснёшься утром в новом месте,
И не поймёшь, откуда он возник —
Сияющий, как снег на Эвересте,
Таинственный, таинственный родник.

* * *

Твоя любовь была как жемчуг,
А ты не знал и не берёг.
Порой звезды коснуться легче,
Чем просто выйти за порог.
Где параллели делят дали,
Где звёзд летучих суета,
Тебе кота в мешке продали —
Должно быть, звёздного кота.
Но ты, надев мешок заплечный,
Котёнка выронил в пути.
Он был живой, а значит — вечный;
Не плачь, хозяин, не грусти.

Землетрясение

Мы по лестнице узкой идём,
После долгого дня веселы,
Вспоминая, что сделано днём,
И друзей, и вино, и столы.
На последнем уснув этаже,
Мы увидим во сне облака,
А когда мы проснёмся, уже
Будет небо в дыре потолка,
Будет люстра ходить ходуном,
Будет трещин сливаться пунктир,
И поймём мы, что пущен на слом
Этот дом, этот взгляд, этот мир.

Душа

Словно кот, оставленный в машине,
У окна тревожится душа;
Для кота хозяин в магазине
Выбирает что-то не спеша;
Клетчат пол, а торт в миндальной крошке,
На витрине это есть и то…
А покуда трудно чёрной кошке
Быть хозяйкой в маленьком авто.

У моря голубого

У моря голубого или края
Морского, где взрываются лучи
Так я жила, всегда его желая
И никогда не в силах получить.

Потом я переехала на небо,
Откуда в море падал белый свет.
И повстречала там святого Глеба,
Вот он мой тихий взлёт и свёл на нет.

Сказал он мне: «Ты знаешь, не годится
Родиться и, родившись, умереть».
Сказал он: «Хорошо бы возвратиться —
И то, что будет дальше, посмотреть.

Не зря ж у моря синего, у края
Морского, где взрываются лучи,
Он прожил столько лет, тебя желая
Но до сих пор не в силах получить».

Меня спасли и в лодке откачали,
Фонтаном Каспий хлынул изо рта.
Но это было после, а вначале
Был яркий свет и светлые врата.

У моря голубого или края
Морского, где взрываются лучи, —
Так я жила — чего хочу, не зная,
Когда меня он всё же получил.

Мы обвенчались в церкви на причале,
Где словно день нарциссы во дворе.
Но это было после, а вначале
Шиповник распустился в январе.

Персефона

На ней была куртка из чёрной кожи,
Надгробья засыпал снег.
Я сразу узнала её, но всё же
Спросила, чтоб сон поблек.

А взгляд её был и горяч, и смирен —
Не стиксовых берегов.
— Я Сирин, — сказала она. —
Я Сирин,
Чёрная птица снегов.

Марина Гаджиева

Спасибо, что ты был…

● ● ●

Всё — от прошлого до грядущего — не
считается…
Молчаливая правда душит во мне
скиталицу.

Если вычеркнуть только слово
из строчек,
чтобы не было остановок
и точек,

разбросать бы по редким станциям
печали,
начинать каждый миг, как танец,
сначала…

Позабыть всё плохое, чтобы
хорошей стать:
бессловесно царапины штопать,
следы — стирать.

И не знать, что такое раны
от тех, кто
рисовал день твой — ярким, разных
оттенков.

Я в дороге приобретённою
амнезией
дорожила бы в лето тёплое
или в зиму…

Я б молила богов в старости
об одном:
сохраните беспамятство
и мой дом…

● ● ●

Мне кажется, Вагнер любил рок,
тот, который сам изобрёл,
к которому слушателя привёл,
выдернув из пространства бездомного,
бросив его в пучину бездонную,
в металло-железо-бетонный мирок.

Вагнер знал, что с ума сойти
можно от музыки этой дикой,
броситься в пламя красное с криком,
выкрасить солнце в чёрный
и ежесекундно поминать чёрта,
кричать, подгоняя себя на краю: лети-и-и.

Вагнер берёг музыку, но не сердце.
Он рвал его в жалкие клочья,
раздаривая себя элитарно-точно,
живя вспышками частыми, честными,
говорил громко звуками вещими,
танцуя палочкою танго смерти.

● ● ●

Пройдусь по выцветшему городу,
остановлюсь в неподходящем месте —
на каменном мосту,
что брошен в море.
Проснётся порт,
растянется в улыбке горизонт,
и донесётся тёплый южный говор:
«Спасибо, что ты был на этом свете…»

Мадина Хуршилова

Глаза персиянки

Полонянка

Волосы — чёрный ночной дурман,
Гладкостью тонкой атласной кожи,
Взорами пьян, поцелуями пьян,
Князь распростёрся на пышном ложе.

Странно — во сне не узнать лица,
Стало оно и чужим, и юным,
Смотрит она на рубин кольца
Взглядом заворожённо-лунным.

Князь, ты не видишь: в моей руке
Смерть твоя — длинное острое жало.
Видишь, как блики горят на клинке?
Чувствуешь прикосновенье кинжала?

Жалости нет, да о чём жалеть?
Кто я — наложница, полонянка?..
Солнце ночное, луна, мне ответь:
Чем полонянка — не лучше ль беглянка?

Тихо вздохнул, улыбнулся во сне
Князь ясноглазый мой, светловолосый,
И не ко времени вспомнилось мне,
Как целовал он душные косы.

Сколько придумывал нежных имён.
Вправду любил ли, лгал ли безбожно?..
Нет, не хочу, не нарушу сон,
С ним — не могу, без него — невозможно.

Женская слабость… Стекла слеза,
Вспыхнула, будто алмаз, на кинжале…
Вздрогнул, проснулся он — и глаза
Злыми и рысьими сразу стали.

…С чистого всё начинают листа,
Прошлое вспомнить — дурная примета.
Так вот закончилась жизнь моя та,
Верно, не лучше закончится эта.

* * *

Мне снились ножи и алмазы изящной огранки,
Костры над рекой, и дождливость российской весны,
И Разина бешеный взгляд, и глаза персиянки,
И в них — отражение бьющейся в лодку волны.

Я вышла из дома. Над городом плыли туманы
И рубищем серым ложились на плечи домов.
Скелеты чудовищ — застыли портовые краны,
Пронзившие грузную толщу седых облаков.

А северный ветер донёс мне последние всплески
Столетья назад волновавшейся волжской воды,
И было не жалко, что вовсе не нужно и не с кем
Делиться цветами печали и чашей беды.

Тоскливо звучат корабельных гудков отголоски,
Сама — не сама, но мне кажется, что упаду,
Чтоб кануть в прибой, где размокшие чёрные доски,
Со старого пирса, снесённого в прошлом году.

* * *

Уже научилась почти ни о чём не жалеть,
Уже посжигала мосты, корабли и тетрадки,
Сырые страницы никак не хотели гореть,
Дымились, и тлели, и корчились, как в лихорадке.

И стало просторней и будто бы даже светлей,
Уже не узнаешь когда-то знакомой квартиры,
Изящная ваза с цветами стоит на столе,
А полки в шкафу украшают теперь сувениры.

Что ж, мне перемены такие по нраву вполне,
И только завидую тем, кто, как прежде, крылаты,
Когда в тишине предрассветной вдруг вспомнится мне,
Как юная осень бродила со мной по Арбату.

Заира Гаджибалаева

Филадельфия

От моря слепит глаза. Оно дрожит или колышется легко-легко под палящим солнцем. И запах у него свежий: перемешанный запах ила, песка и ветра — ласковый тёплый запах. От него тянет ко сну. Возможно, это даже не сон, а наркотический дурман, и мне сейчас, едва я закрою глаза, привидится, что я чайка. Я полечу над просторами воды и буду чувствовать под крыльями упругие и неощутимые воздушные волны. Перья наполнятся ветром, и вот я уже чувствую себя пушинкой. Мне хорошо. Я лечу. Подо мной пляж, загорелые полураздетые тела нежатся на солнце, летят надувные мячи, доносятся отголоски детского смеха… Вот оно — море! Расстилается огромное пространство невероятно ласковой стихии. Сегодня оно в романтическом настроении: оно любит и хочет быть любимым. И я люблю эту воду с белыми кудрями, солёными духами, кокетливыми ужимками, ласкающими берег, — люблю, как может любить чайка, пролетающая высоко в воздушных лабиринтах неба.

— Молодой человек… Молодой человек, — голос женщины вернул меня на тот же пляж, на тот же коврик, — не могли бы вы присмотреть за моим ребёнком? Мне нужно отлучиться на пару минут.

У неё на руках заблестели выцветшие от солнца волоски. Лица не видно за широкими полями соломенной шляпы.

— Да, конечно.

Ребёнок сел напротив с ведёрком и лопаткой в руках, уставившись на меня из-под редких коротеньких бровей. Она ничего не говорила. Взгляд у неё был дикий. «Должно быть, у Маугли был такой же», — мелькнуло у меня в голове. Она просто сидела и долго, не отрываясь, следила за мной, а её мама всё не шла. У меня возникло ощущение, что не меня попросили присмотреть за ней, а её за мной. Меня опять стало клонить к полёту над морем, и глаза мои закрывались против воли: я уже начал чувствовать лёгкость в своих руках и слышать шум волн под собой, как вдруг…

— Ты — красивый, — мои волосы трогали её маленькие ручки.

— Где твоя мама? — спросил я растерянно.

— Не знаю, — безразлично ответила девочка.

Голос у неё был смешной, как у утёнка.

— Сколько тебе лет? — задал я неоригинальный вопрос, какой задают всем детям.

Она стала внимательно перебирать свои маленькие пухлые пальчики и показала мне раскрытую ладошку, облепленную песчинками:

— Четыре.

— А зовут тебя как?

— Филадельфия, — произнесло её утёночье кряканье.

— О, красивое имя! — оно, конечно, меня немного удивило, но девочка произнесла его с такой гордостью, что мне ничего не оставалось, как восхититься. — А меня зовут Арсен.

Она молчала. Видно, её не очень заинтересовало такое заурядное название человека. Мне захотелось, чтобы она вела себя как ребёнок, и я взял у неё ведёрко и использовал его как форму к своеобразному песочному зданию.

— Видишь?! — показал я, будто сотворил чудо.

Но Филадельфия посмотрела на меня как на шарлатана из бродячего цирка, и я сконфузился.

— Ну а во что ты хочешь играть? — спросил я ребёнка, не теряя надежды наладить с ней дружбу. — Хочешь, я буду чайкой, а ты — морем?

На её лице затаилась улыбка, и мне вдруг показалось, что улыбка Джоконды не идёт ни в какое сравнение с улыбкой этой девочки. Я только пожалел, что у меня не оказалось с собою карандаша и бумаги или хотя бы фотоаппарата. Размахивая руками, как крыльями, я стал парить над этим маленьким моречком под названием Филадельфия, как чайка. Я даже пытался сымитировать крик чайки, но думаю, что это получалось у меня куда хуже, чем летать. Ветер обдувал моё голое тело, и мне казалось, что я и впрямь лечу, лечу, лечу… Она смеялась громким хрипучим детским смехом, а я парил, и мне опять было свободно и хорошо.

— Ася! — раздался резкий возмущённый голос.

И смех умолк.

— Ася? — удивился я. — Она сказала, что её зовут Филадельфия.

— Что? Опять эти фантазии! Так звали принцессу из сказки — ужасное имя!

Женщина капризным движением подняла девочку за руку, немного встряхнув её в воздухе, сухо поблагодарила меня и направилась в сторону трассы. А Филадельфия волочилась за притянутой матерью рукой, глядя на меня, и так и смотрела до самой трассы, пока их силуэты не расплылись в знойном воздухе пляжа. Они сели на попутное маршрутное такси и уехали. А мне вдруг стало тоскливо и больше не хотелось ни полётов, ни ветра, ни моря.

Григорий Адаров

Для вечной жизни

• • •

Ночь. Листву щекочет ветер,
Бьётся пылью о порог.
Переулок в лунном свете—
Мирозданья уголок.

Ты шагнёшь в него, зажмурясь,
Будто в омут головой,
Тень пойдёт шагать, сутулясь,
По стене и за стеной.

И как будто всё знакомо
Здесь, за гранью тишины,
Вот сирень цветёт у дома,
Отражением луны.

А в окне—темно и дико,
Дышит комнаты уют,
Там, должно быть, Эвридика
Спит, которую убьют.

Положив ладонь под щёку,
Улыбается во сне.
И портрет кровавым оком
Полыхает на стене…

• • •

А книга—без начала и конца,
В обложке стёршейся—помятые страницы,
И вырван лист, где твоего лица
Набросок лёгкий на полях таится.

И этот мрак в поспешном ходе дней—
Как рана в незатейливом сюжете,
Там длился тихий стон, мы были дети,
И плавал пух от первых тополей.

И целый год ещё упрямой прозой
Расписан автором, но где-то между строк
Всё ощутимей полнится угрозой
Пожара незаметный уголёк.

Смотри, как тяжела истома дня,
Мне кажется, что этот сон продлится…
Но всё, что было дальше про тебя,
Исчезло, как сгоревшая страница…

• • •

Откуда-то из-за лесных трясин
Доносит ветер голос тихой флейты,
Её призывный плач неотразим,
И кажется, что слит навеки с ней ты.

Раскинув крылья, царствует закат,
И ночь ещё не вышла из оврагов,
Околицы подслеповатый взгляд
Всё ждёт кого-то со времён варягов.

Вот ласточка, задев меня крылом,
Уже мелькает где-то в поднебесье,
Как будто бы по синеве пером
Записывает ноты дивной песни.

А музыки так мало для души,
И каждого листа сердцебиенье
Тебе напомнить в тишине спешит,
Как всё неуязвимо здесь для тленья.

И каждый лист с надеждой на тебя
Украдкой смотрит. Тополь ветку клонит
И, все твои печали возлюбя,
Свой взгляд, как пух, кладёт в твои ладони.

Их цель и смысл—отныне быть тобой,
В нетленном слове чтобы воплотиться
И, став в тебе бездонной глубиной,
Для вечной жизни заново родиться.

70 лет со дня рождения

Михаил Синельников

Листва под ливнем

* * *

Там чудеса встречали, не отпрянув,
Был встречный мир привычен, как туман,
И пастухи пасли своих баранов
Под кораблями инопланетян.

Подобна гулу горного обвала,
Звучала песнь о юности Земли.
В кольце хребтов страна уцелевала,
Но за народом наконец пришли.

И всё цвела безлюдная теснина,
В немые погрузившись времена,
Да, столько лет она была пустынна
И всё-таки всегда населена.

Здесь пререкался богатырь с циклопом
И путник мчался на крылах орла,
Там злые духи нападали скопом,
Беременная мучилась скала.

И тот, кто этим был рождён гранитом,
В него вернулся, жизнь испив сполна.
В широком поле, всем ветрам открытом,
Я тронул рёбра каменного сна.

Полярное

Скучна мне оттепель…
А. С. Пушкин

Перечесть ли Inferno терцины
И душой устремиться туда,
Где из мёрзлой земной сердцевины,
Громыхая, исходит руда?

Из неё извлекают алмазы,
И, сощурясь от вечной пурги,
Созерцает народ востроглазый
Не воспетые Дантом круги.

Потепленьем никто не обманут,
Приготовлено всё для зимы:
Через город верёвку протянут,
Меховые достанут пимы.

Тонет время в арктическом Стиксе,
И якуты, как вихри, кипят
И плетутся по улицам Тикси,
В буйной вьюге держась за канат.

Отец

Был я поздний сын, мальчишка.
Так отцовская грустна
Драгоценная одышка,
Дорогая седина.

Всё же старость неопрятна.
Но, как прежде, милы мне
Дряблость щёк, морщины, пятна…
Встретил вновь отца во сне.

Старость — что поделать с нею?
Как приход её принять?
Всё же никого сильнее
Не любил я. Только мать.

* * *

Был мускулистым стих недобрый,
Был молод и душою чист,
И вдруг погиб, как сгибли обры,
И долго в поле вьётся лист.

Должно быть, только поневоле
Явился в сумраке утрат
И силу черпает из боли
Какой-то новый звукоряд.

Удод

Под солнцем южным эта птица
Так важно ходит, и клюёт,
И тешится, и суетится,
И называется «удод».

Быть может, оттого пуглива,
Что много видывала зла,
И дорог жемчуг перелива
Над полосатостью крыла.

Припомню, как очаровала
Меня раскраска гребешка,
И детство потечёт сначала,
Чтобы продолжиться века.

Я в ней мечту свою лелею,
Готовую от гнёзд и стай
Вспорхнуть, не дав проститься с нею,
И улетевшую в Китай.

В Замоскворечье

Стряхнув набежавшую дрёму,
Ещё я собраться могу,
От Пятницкой двинуться к дому,
Стоящему на берегу.

Хочу, чтобы вновь замерцала
Знакомая лампа в окне.
Волнение провинциала,
Быть может, воскреснет во мне.

Над Яузой ветер промчится,
Ленивую воду рябя,
И старая эта столица
Внезапно узнает себя.

В углу, что и глух, и медвежист,
Появится в плеске листвы
Какая-то всё-таки свежесть
От юности или Москвы.

● ● ●

Вновь отчизне скажешь: «Здравствуй!»
И в плену своих забот
Тот приглядчивый, глазастый
Образуется народ.

Ты один пойдёшь без дела
Мимо рынков и хибар,
Чтобы юность шелестела,
Возвращая слёзный дар.

Ничего тебе не надо,
Лишь бы снова, как всегда,
Шла вдогонку цепкость взгляда,
Пронизавшего года.

И ещё блеснут при взлёте
Змеевидные хребты
На прощальном провороте
Ненаглядной высоты.

● ● ●

И вовсе не скрывал недуга,
Догадываясь, что близка
Гроб заметающая вьюга,
Газеты грозная строка…

Стенографистки в серых блузах,
Ещё изжога от крутой
Дискуссии о профсоюзах
И ужас перед пустотой.

И эта смена молодая,
Его вдавившая в гранит,
И мысль о том, что, побеждая,
Повсюду смерть свою плодит.

Отель

Филёры наблюдали снизу
За номером, что рядом был,
Где голубь, шедший по карнизу,
Взмывал, добравшись до перил.

Но кто же был моим соседом?
Шпион, международный вор?
Был мне слеженья смысл неведом,
И лишь догадки до сих пор.

Но город видел я с балкона,
Не расстающийся со мной,
Такой родной во время óно,
Сегодня — словно неземной.

Холмы в тумане лиловатом,
Опоры дальнего моста
Прощались медленно с закатом,
И прибывала темнота.

Уже со стороны замостья
Чуть под хмельком плелась луна,
И робко в дверь стучалась гостья,
И тайной тайн была она.

Дождь

Е. М. Ш.

Без временной даже прописки,
Я, в городе этом гостя,
К учёной ходил тоинбистке[1],
Наивен и пуст, как дитя.

Бывало, внимал потрясённо
Пророчице той допоздна,
И Цезаря и Цицерона
Дала мне в дорогу она.

Тогда осенил и Гораций
Мой путь, уклонившийся вкось,
И эту из цивилизаций
Поздней пережить привелось.

Не лгали ни сутры, ни суры,
Распалась страна без войны,
Давно уж дома профессуры
На Кудринской все сметены.

Не стал я историком — смело
Вселиться решился в слова,
Лишь снова шумит, как шумела,
Под бешеным ливнем листва.

Там женщин в объятьях потока
Куда-то бежали тела,
Держа босоножки высóко,
И всё это юность была.

1. Последовательница Арнольда Джозефа Тойнби (1889–1975), английского историка и историософа, автора учения о циклическом развитии цивилизаций.

Капа

С тайной мыслью о злом дровоколе
Там орешины горных щелей,
Может быть, содрогаясь от боли,
Гонят свой перламутровый клей.

Топором или барсовой лапой
Мимоходом пораненный ствол
Защищается радужной капой,
Красотою недужной зацвёл.

Эти радуги — все от недуга.
Купят в Лондоне ценный наплыв,
Все оттенки небесного луга
В изощреньях своих применив.

Так случается с диким орехом,
Так забвенья струится раствор
Из души, переполненной эхом
Голосов и серебряных гор.

Башкирский мёд

Башкирского мёда текучее золото
Блеснуло на ярмарке через стекло.
Как будто бы сердце пчелою уколото
И в городе душном тоской истекло.

Всё утро цветущее, свежее, раннее,
И юность гречихи, и древность сохи,
Вся сила травы, трудовое жужжание
В янтарные соты вошли, как в стихи.

Но тут же возникли на миг среди всякого
Курая напев, и багульника сны,
И сказка, и сладкое детство Аксакова,
И долгое эхо Гражданской войны.

Евгений Минин

Страданье поэтической планиды

Аогнидное

Есть музыка над вами, суки, суки!
Шерсть воздуха полна её прозрачных гнид,
их выбирают сморщенные руки
тяжёлых склеротичных аонид.
Игорь Булатовский

В страданье поэтической планиды
ни лечь, как ни ложись, и даже ни присесть.
Здесь музыки невидимые гниды
у воздуха везде тревожат шерсть.
Стихи я сочиняю на досуге,
когда звенит в ушах симфоний чудный звук,
но эти аониды — просто суки,
их сморщенных побаиваюсь рук.

Стихочихнутое

Отнестись к стиху как к чиху
или кашлю, например,
словно к спичечному чирку —
то есть к жесту без примет.
Константин Комаров

Отношусь к стиху как к чиху,
заполняю им журнал,
я чихаю очень лихо —
книжек много начихал.
Метод чиха очень важен,
стихочихнул — и в печать,
а на то, что критик скажет, —
мне давно уже начхать…

60 лет со дня рождения

Александр Кердан

Человек эпохи Возраженья

* * *

Праздники учат терпенью, а будни—старанью.
Старость—не радость, но радости всё же сродни,
Вера в бессмертье души, рай обрести упованье—
Как ожидание в гости почти позабытой родни.

Вот и нагрянули Святки: пиры и похмелье—
Древний обычай, в Россию вернувшийся вновь…
Праздники учат посту, а невзгоды—веселью,
Ненависть учит страданью, и всепрощенью—любовь.

Хватит ли силы постичь мне учение это,
Выдержать жизнь как экзамен пред жизнью иной,
Где на вопросы отыщутся, может, ответы,
Те, что найти не сумели мы в жизни земной?..

* * *

Ты умер, сын мой, от любви большой,
Поскольку в этой жизни был поэтом…
Но сердце опалил холодным светом—
Оно пошло вразрез с твоей душой.

Поэт живёт на свете без родни.
И поздно у тебя просить прощенья,
Что не нашёл во мне ты утешенья,
Но всё равно прошу я:
—Извини…

На память не оставив ни строки,
Ты распрощался с долею земною.
И захлебнулось сердце тишиною,
В которой все мгновения—стихи.

Работа

В час, когда с собой не сыщешь лада,
Ты одна, последняя отрада—
Терпкая, как спелая полынь,
В горечи которой нету яда…
Пригублю—и на душе порядок,
Погружусь—долой из сердца стынь!

Хладный ум—он любит упражненья,
А душа потворствует движенью
В сторону, где торжествует свет…
Если труд—так до изнеможенья,
А любовь—так до самозабвенья,
А иначе—смысла в жизни нет.

* * *

Я—человек эпохи Возраженья.
Я возражаю сытым, наглым, им,
Имеющим совсем другое мненье—
Я возражаю временам лихим,
Несущим разрушенье, униженье,
Забвенье, клевету, пренебреженье
К отцам и дедам, да и к нам самим!
Ведь как ни велико моё терпенье,
Но наступило время возразить,
Чтоб честь спасти свою и поколенья
И, миновав эпоху Отчужденья,
Эпоху Созиданья возродить!

* * *

Я не стану женщине осенней
Врать, храня её от потрясений,
Что, как первоцвет, она юна…

Лучше уж судьбы метаморфозы
Честно принимать, без всякой позы,
Радоваться осени сполна…

Даже если увядает роза—
Долго аромат хранит она…

* * *

Вместе хоть сто лет живи,
Даже если любят оба
И клянутся, что—до гроба,
Не равна любовь любви.

Не равна—хоть в гроб ложись:
Кто-то точно крепче любит!
Равноправия не будет,
Как ни злись, как ни божись.

Сколько мы отдать хотим,
Сколько отдаём любимым…
И, неравенством хранимы,
Как любовь мы сохраним?

Да и нужно ли оно,
Равноправие такое?
Мы ведь только то и сто́им,
Сколько сердца нам дано.

Даже если не судьба…

1.

До полыхнувшей зари
Ты, словно девочка, спишь.
Стану твердить о любви,
Ты о любви промолчишь,
Чтобы о ней не кричать
До той неясной поры,
Где нас с тобой разлучат
Ветры, соблазны, миры…
Вечность — не кто-то другой —
Встанет меж мной и тобой,
Как меж мечтой и судьбой,
Как между светом и тьмой…

2.

Переполнен нежностью наивной,
Молодой — с годами неизбывной —
Нежностью почти что неземной…
Так прекрасно — смерти не бояться,
С головою в омут чувств бросаться,
Что сродни поэзии самой,
Трепетной до самоотреченья,
Солнечной до умопомраченья,
Мудрой и наивной, как мольба,
Где и каждый звук, и жест — на месте,
Где с тобой мы вечно будем вместе,
Даже если вместе — не судьба.

● ● ●

Ты мне снишься такою юной
И такою доверчиво-нежной,
Словно зыбкий свет новолунья
И покров ненадёжный снежный…

Пусть ещё далеко до снега,
Новолунье ещё не завтра.
Но в душе остаётся нега
Сна, прервавшегося внезапно,

Где отчаянным утром вешним
Мы любили с тобой друг друга,
Предугадывая, что нежность
Нескончаема, как разлука…

● ● ●

Вы любите меня, не зная сами,
Как то, что есть, не выдать, не назвать…
И может жизнь пройти, как в мелодраме,
Чтоб Вы решились первой мне сказать
О сокровенном…
          Милая наивность —
Таить всё то, что понял я давно,
Заметив нежных взглядов непрерывность,
Когда вокруг безлюдно и темно,
Наш разговор туманный и бессвязный —
И вдруг молчанье посредине фраз…
Что́ тут слова, когда и так мне ясно
То чувство, что живёт во мне и в вас?

Я Вас не тороплю, желанием утешен —
Пусть дольше остаётся всё как есть…

Лишь юноша, и пылок, и поспешен,
Кокетке уготавливает месть
И верит в миг своей победы сладкой,
Недостижимой, как запретный плод…

Я счастлив тем, что в этой жизни краткой
Моя любовь меня переживёт
И станет беспечальной, тихой грустью
О том, что каждый смог или не смог,
Когда у Вас душа —
                    мою —
                         отпустит,
Как ветка — оторвавшийся листок…

Год литературы

Пока ловила синекура
Подачки с барского стола,
Российская литература
И без подачек прожила.

В ряду салютов бесконечных,
Верша негромкие дела,
Она работала на Вечность,
Частицей Вечности была!

И, несмотря на все потери,
На окружающий бедлам,
Она в страну бессмертья двери
Всегда открыть готова нам…

* * *

Когда поэт перестаёт влюбляться,
Он и поэтом быть перестаёт…
В. Т. Станцев

Я сам не свой от встречи и до встречи,
Что вдохновенью юному сродни,
Как будто больше мне заполнить нечем
Слепые ночи, суетные дни.

Как будто все мгновения в разлуке
Лишь для того мне и даны судьбой,
Чтоб осознать, какая это мука —
Быть почему-то рядом не с тобой,

Скрывая то, как без тебя мне плохо,
Как будто я остался без мечты.
Всё ждать и ждать, когда, по воле Бога,
Как солнца луч, в мой мир ворвёшься ты —

И возродишь желанья молодые,
И все надежды сразу оживут —
И из глубин души слова седые
Весенними стихами прорастут…

В троллейбусе

Со сборником стихов сидит девица,
И пальчики порхают по страницам,
И, может быть, на них слетит ресница
Иль невзначай слезинка упадёт…
Ликуй, поэт! Она стихи прижмёт
К груди своей, высокой и упругой, —
Вы так нужны, так дороги друг другу
В короткий миг соединенья душ…
Но вот как будто леденящий душ:
Она надула губки, прячет книжку
И прочь спешит, к счастливому мальчишке,
Ровеснику, в какой-нибудь альков,
Где поцелуи слаще всех стихов!..

* * *

Просто — сердцу горячо
Биться, о судьбе гадая,
Так, как будто жизнь ещё,
Словно утро, молодая.
Так, как будто каждый миг —
В предвкушении удачи…
Света солнечного блик
Может мир переиначить,
Высветив его насквозь,
Как волну в речной протоке,
Где дрожит икринок горсть
На ладони у осоки.

* * *

Я услышал стихи у весеннего ветра,
У мятежной зари, у счастливого дня…
Поселились они в глубине меня где-то
И покоя навеки лишили меня.

Чтоб не смог никогда позабыть я об этом,
Увлечённый обычной земною судьбой,
Они стали источником дивного света,
Поманили меня, увлекли за собой

В край чудесных открытий, благих озарений,
Где мы любим друг друга и вечно живём,
Где с пространством наивно рифмуется время,
Растворённое в каждом порыве моём.

* * *

Выйду навстречу юному ветру,
Что мне приносит апрель.
Птицы выводят мелодию ретро —
Свадебная канитель…

Здорово — снова побыть новобрачным
Вместе с цветущей землёй
И упиваться высокой, прозрачной,
Нежною этой зарёй.

Здорово — «здравствуй» сказать возрожденью
Веры, надежды, мечты,
Будто и правда настал день рожденья,
Хоть именинник не ты…

* * *

Я знаю, что значит любить безответно,
Любить безнадёжно почти
И часовым под окошком заветным
Бессменную вахту нести.

Снежок каблуками сминая до хруста,
Ждать чуда и верить в него.
Пусть так. Это — лучше, чем на сердце пусто,
Чем за душой — ничего!

Весь мир надо мною пускай посмеётся,
Но я-то уверен вполне:
Пока я люблю, отражается солнце
В твоём молчаливом окне…

Юрий Беликов, Надежда Гашева

Скамейка Сперанского,
или Два прыжка через пропасть

Она редактировала произведения Виктора Астафьева и Алексея Решетова, Леонида Юзефовича и Нины Горлановой, Алексея Иванова и Юрия Асланьяна… Но это, разумеется, не весь писательский ряд, перелистнутый ею. Когда в «лихие девяностые» она вынуждена была покинуть тягостно скрипящий накренённой мачтой с ободранными парусами, севший на мель корабль некогда знаменитого Пермского книжного издательства, захватившие оное «пираты», увы, не имели шансов похвастаться тем, что на его палубе, пусть даже в отдалённом будущем, объявятся пассажиры названного класса.

Однако отечественную культуру испятнали такие уж времена: человек мог взойти на свой капитанский мостик (например, привычно придя в телевизионную студию), а какие-нибудь новоявленные мальчики и девочки как бы между прочим его огорошивали: «А зачем нам главный редактор?..»

Тем не менее вся её семья служила и продолжает служить великой русской литературе. Её муж — лауреат премии журнала «Юность», парадоксальный поэт-дикоросс Борис Гашев, чья книга с говорящим названием «Невидимка» пришла к читателям только после его трагической гибели. Её дочь Ксения — поэтесса и драматург, инсценировки которой — от Войновича до Шекспира — шли и идут на сценах пермских театров. Её внучка Катерина — участница Форума молодых писателей России в Липках, лауреат молодёжной Илья-Премии, финалист премии имени Максимилиана Волошина и премии «Дебют» за роман «Штабная».

Надежда Гашева — выпускница филфака Пермского классического университета. Начинала как поэтесса. В шестьдесят седьмом году её стихи вошли в женский сборник «Княженика», который был разруган в Москве с чрезмерно высокой трибуны одного из писательских съездов. А в конце семидесятых годов она возглавила творческий кружок на родном факультете. Из этого кружка в литературу шагнуло немало ярких личностей, приобретших впоследствии известность.

Вспоминается, как собирались кружковцы в квартире Гашевых. Тогда её хозяйка преподала начинающим авторам первый необычный урок. Она предложила снять наручные часы, положив их на блюдо. Это был пир Времени, визуализация строчки Бориса Пастернака «Ты вечности заложник / У времени в плену».

Про вечность она никогда не забывала. Но так уж сбежались непредугаданные обстоятельства, что в последние годы абсолютное зрение, данное ей для осуществления миссии книжного редактора, будто кто-то действительно забрал в заложники. Однако у Гашевой остаётся абсолютный слух, врождённый и благоприобретённый. Этим слухом — во всех его проявлениях и смыслах — она сегодня и живёт, перефразировав крылатое выражение французского философа Рене Декарта: «Я слышу, следовательно, я существую».

— Надежда Николаевна, помните Блока: «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, / Молодеет душа…»? Заметьте: «молодеет». Эти строки родились в начале минувшего столетия. Извините, что опираюсь на собственный пример, но в конце двадцатого века ваш покорный слуга напишет: «И на поминках звука молвить: „Прощай, Учитель!“» Я вдруг остро осознал, что куда-то уходит тот чистый, подвластный Блоку звук, от которого «молодеет душа», и нам ничего не остаётся, как этот звук поминать. И большинство жителей тепрешней России обложено псевдозвуком, эрзац-звуком… Вы-то как спасаетесь от внешнего шума?

— Я слушаю тексты мировой литературы! «Войну и мир» Льва Толстого в хорошем исполнении. Если плохо читают, я этот звук тоже выключаю. Вспоминаю всё, что не дочитала. Скажем, «Петербург» Андрея Белого. Вот послушала этот роман. И его же роман «Москва». В принципе, слушаю бессистемно — просто кого вспомню. Это не аудиокассеты, а флешка с файлами из пространства Интернета. Там есть ресурс с аудиокнигами, откуда можно их скачивать. У меня ведь только один выход — другого-то нет. Когда-то было стопроцентное зрение, но Господь его лишил. В одном из своих стихотворений Лёша Решетов написал:

Всё короче радиус
Видимого круга,
Но чему-то радуюсь—
Тенькает пичуга…

Я понимаю, что зрение значило в моей жизни очень много. С ним была связана моя редакторская работа. Я же спокойно работала на компьютере. И это был заработок. Когда мне объявили мой диагноз и я поняла, что всё, привет, отчаяния не было, потому что я не склонна ни к отчаянию, ни к депрессии. Мысль такая: что я могу ещё делать? Посуду, полы пока помыть могу? Могу. На улицу не хожу. Во-первых, не вижу, во-вторых, ноги достаточно плохо держат. Значит, надо сидеть дома и, насколько возможно, помогать семье. Ксюшка может со мной посоветоваться в какие-то минуты. Я осознаю, что это уже минимум того, что было отпущено в жизни, и что возможности мои до конца не исчерпаны. Но я думаю, любой человек, достигший семидесятипятилетнего возраста, это понимает. Однако знаю примеры, когда мужчины и в восемьдесят лет машину водят, а женщины ходят на высоких каблуках.

Теперь что касается псевдозвуков и звуковых эрзацев. Да, вы правы: они нас обложили. Но ведь все слышали такие звуковые эрзацы—и в двадцатые годы минувшего столетия, и в сороковые. Когда мой муж Борис Гашев написал: «Страшных маршей вошло вещество в изголовье моих полуночий…»—он имел в виду именно это—эрзацы. Мы родились—что мы слышали? Эти марши, победные реляции в страшную пору, когда наши войска отступали. Я не слышала сама лично, потому что была слишком мала. Боря тоже был ещё мальчиком, но уже осознал это на поэтическом уровне. «Вещество страшных маршей» вошло в нас настолько, что у меня сформировалось сознание, которое я бы назвала героическим. Что выражается примерно в следующем: надо терпеть. Например, боль, если тебя будут пытать. И так далее, и тому подобное. Это происходило непроизвольно—на подсознательном уровне. Оно так во мне и осталось—никуда не делось. Внучка моя Катя на сей счёт удивляется. Я ей объясняла, почему так произошло. Это при том, что папа мой всё-таки следил за чтением своего ребёнка—он его формировал. Домашняя библиотека-то была у нас хорошей. Откровенной макулатуры в ней было мало. Какой-нибудь «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского вылетал из квартиры! Или—роман Павленко «Счастье». Папа в прямом смысле выбросил его с парохода за борт, прочитав первые три страницы (сразу вспоминается «пароход современности» русских футуристов). Потому что в сочинении том шло враньё беспрерывное. И что характерно: совершенно не стыдится врать писатель. Неважно, какого масштаба и коленкора его дар. Пусть скромного и серого. А другой пытается писать правду, и его никуда не пускают.

— Вы хотите сказать, что вам сформировали не ту душу, которую должны были сформировать?

— Вот именно! Зачем мне душа спартанского ребёнка? Я уж не говорю о бедности беспрерывной, в которой мы жили. Нищенствовали буквально. Вот смотрите: я рождения тысяча девятьсот сорок первого, матушка моя—тысяча девятьсот четырнадцатого. Получается что? Переброс в цифрах. Скрытая симметрия. Началась Первая мировая война—родилась моя мать. Началась Великая Отечественная—родилась я. В самое неудобное время на свет являемся. Затем раскручивается жизнь целого поколения. Но как?.. Потом, когда уже видишь финал, ты понимаешь систему этой самой русской езды: ехали по кочкам, по кочкам, а после в ямку—бух! Вылезли. Поехали дальше. Опять по кочкам, по кочкам. И снова—в ямку. Начиная с того самого сорок первого. А в шестьдесят первом, когда мне исполнилось двадцать, мир входит в кубинский кризис. И наша страна уже снова на грани войны. Это опять та самая ямка. Но настоящая-то разверзлась в шестьдесят четвёртом, когда скинули Никиту и началось бесконечное сползание. И в период, когда уже вы вышли молодыми, вы же сами писали:

Мы—поздние, поздние, поздние…
Мы схожи с рябиновыми гроздьями.
Леса опустеют старинно—
останется только рябина…

Я же помню это ваше стихотворение, как вы, будучи юношей, ощутили происходящее. Поэт не может ошибаться: наверняка так оно и произойдёт, но пока вокруг вашей аллегорической рябины—карликовые, стелющиеся берёзы, произрастающие на почве мерзлоты. И нынешний звук, о котором мы говорим, он по преимуществу «стелющийся», уподобленный этим карликовым, уродливым деревцам.

По известным причинам я совершенно не смотрю телевизор. Не только не смотрю, но и не слушаю. Начала я с того, что слушала «Эхо». Да и то—только «Эхо Москвы». Потом интерес к передаче стал снижаться, потому что в этой ступке толкут одну и ту же воду. Иногда мелькнёт что-нибудь или кто-нибудь типа Александра Невзорова, который меня смешит…

— Образчик блистательного цинизма?..

— Пожалуй. И пусть я не разделяю его суждений, но он делает это здорово как публицист. И потом, Невзоров—человек образованный и внятно артикулирующий собственные мысли. У меня же ещё—претензии к речи! Когда я слышу, как ведущие или их студийные персонажи «экают»

и «мекают»,—я мгновенно выключаю радио! И как только появляется человек, который умеет говорить, я его слушаю. Но это уже претензии чисто редакторские, я бы даже сказала, эстетские. Однако тут не грех вспомнить Бунина:

Молчат гробницы, мумии и кости,—
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный—речь.

— Что касается речи, попробую нарисовать картинку. Попадаете вы в некую аудиторию, в которой происходит встреча с интересным гостем. Звучат вопросы. Одна представительница лучшей половины человечества, задавая их, постоянно грызёт ногти. Но это ещё не беда, только я не понимаю: зачем перед этим наносить маникюр? Вторая, несмотря на давнее филологическое образование, так и не может чётко сформулировать вопрос, я уж не говорю про то, чтобы задать вопрос по-настоящему интересный. Третья, напротив, может довольно чётко формулировать собственные мысли, но… Эти вопросы, как пауты, набрасывающиеся на чёрное и мокрое, вьются вокруг проблем жкх, капремонта или банкротства какого-нибудь свинокомплекса. Что происходит с людьми?.. Может, они интересны друг другу?

— Произошло какое-то страшное понижение! Я специально это не анализировала, но когда в девяностые годы профессор пермского классического университета Владимир Абашев пригласил меня читать лекции студентам-филологам, то, глядя на молодые лица, я очень быстро поняла: они совсем ничего не знают. У меня не было озлобления или каких-то там идей про неудавшееся поколение; единственное, о чём я подумала: «Отчего же их ничему не учили?» Иногда я даже спрашивала их: «Так почему вы это-то не читали? Вы же всё-таки на филологическом факультете учитесь!» Нет ответа на этот вопрос—что произошло и происходит в нашей стране со Звуком. Плохо учит школа. Да и университет ни фига не учит. Это были третьекурсники—не кто-нибудь! Третий-то курс во все времена всегда считался самым сильным на филфаке. Да, большинство из них думали, что станут журналистами. Но вы же понимаете: журналистами становятся не потому, что учатся на журналистском отделении, а потому, что есть к этому способности. Но сейчас журналистика чёрт-те во что превратилась! Вы сами знаете…

— То, что теперь ею именуется, я не могу назвать журналистикой.

— Это из серии того же понижения. Россия всегда совершает не один, а два прыжка через пропасть. Общеизвестно: нельзя преодолеть пропасть в два прыжка. А она всё время прыгает в два. Да ещё прыгает! Надо мост попросту построить. Или какое-то иное средство для переправы. Канат, допустим, натянуть. А когда прыгаешь, получается, летишь вниз. Нельзя из крепостного права прыгнуть прямо в социализм. Утопия чистой воды. Почему это никому не пришло в голову? И ведь не прыгнули мы! Никакого социализма же не было. Не было уговора строить социализм босиком, как заметил Андрей Платонов. А мы же босиком строили!..

— А сейчас мы что строим?

— Сейчас пока раздеваемся до босоты. История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали голышом. И каждый раз в России—одно и то же. Поколение нарождается, растёт, надеется и бывает погубленным. Между прочим, когда вы росли, я не думала, что и с вашим поколением так будет. Надо было мне быть проницательней.

— Однажды вы заметили, что достаточно нормальному человеку услышать талантливое слово—и сердце его раскроется. Тут мы, вероятно, расходимся. Предположим, курсируют какие-то местные бабаевские или павленки одной слитноспаянной компанией из района в район. Читают, завывая, свои творения, их привечают, чествуют, накрывая столы. После этих кромешных визитов в тех же местах оказываются действительно небанальные, одарённые авторы. Но мозги людей, живущих в этой глубинке, настолько уже окучены былыми постояльцами, что новых гостей принимают едва ли не в штыки. Потому что по инерции хотят услышать и увидеть то, что осознанно или неосознанно привнесли прежние визитёры. И сейчас в России очень много в сознании людей стёрто. Я говорю об уровне художественного восприятия. Как сказала мне одна милицейская штучка, когда я имел неосторожность при ней обмолвиться, что у меня, представьте себе, образное мышление: «Может, вам с таким мышлением из России уехать?»

— Вот пусть сама и уезжает! Со своим… протокольным мышлением. Но я согласна с тем, о чём вы говорите. И здесь нет у нас никакого разногласия. Вы же сами писали в стихах про эту «магнитную ленту»:

И уже не понять, где помеха, где веха для слуха:
то ли главный мотив, то ли этот медвежий привет,
что за тридевять тембров доходит до каждого уха
и гудит, словно поезд, идущий со станций кассет…

Но ваш-то «медвежий привет» всё-таки доходит?

— При том, что сидящий перед вами человек, простите, наделён природным голосом, некоторым

магнетизмом и опытом встреч со слушателями, но иногда сталкиваешься с тем, что, ступая на почву, которая истоптана «кавалерами золотых звёзд», видишь: там растут…

—…одни сорняки? И тут моя догадка вот какая. Предназначение любого человека уже предопределено. Это заложено на генетическом уровне. Не берусь размышлять, как сие происходит. Природа это делает или Господь. Но мой личный опыт и мои последние слушания всяких-разных текстов свидетельствуют вот о чём: мы подо что-то заточены. Почему мы заточены под то или это, мы не знаем. Но мы таковыми рождаемся и следуем своему призванию. Если мы ему следуем, надо продолжать ему следовать и дальше, потому что другого пути нет. На другом пути очень плохо. И когда вас, грубо говоря, рожали, вы уже были заточены стать поэтом, будучи никем, только младенцем. Когда рожали меня, я не была заточена под то, чтобы стать поэтом. Я была заточена на то, чтобы слышать. И это с годами всё нарастало. «Заточенность» присутствует на разных уровнях. Но одному—дано, а другому нет. Кто-то слышит, а кто-то не слышит. Он ведь и музыку не слышит. Вы же понимаете, что какой-нибудь Шнитке или Шостакович ему по фигу. Даже—Чайковский. Может быть, только «Танец маленьких лебедей» он и понимает. В человечестве лишь пятнадцать процентов людей по-настоящему мыслящих, а все остальные в лучшем случае только рассуждают. Вот из этого и надо исходить. Но если человек выбирает ту дорогу, под которую он был заточен, то, несмотря на все превратности судьбы, он более-менее реализуется и получает какие-то важные обретения.

— Тогда вы—человек, счастливый в собственной «заточенности»: вам довелось близко общаться с теми, кто выбрал именно «ту дорогу». Если вернуться к Бунину, которого вы процитировали, можно сказать даже так: у вас было у кого учиться «умению беречь наш дар бессмертный—речь». В качестве ли собеседницы, друга или первого редактора. Достаточно назвать всего лишь два имени: Виктор Астафьев и Алексей Решетов,—и сразу предстанет масштаб этого речевого «сбережения».

— Действительно: я сама у них многому училась. Помню рукопись, которую Виктор Петрович читал как рецензент. Он карандашиком помечал: скажем, слово наверху и слово внизу, через три абзаца. И я поняла, насколько Астафьев точно видит какие-то важные для автора вещи, которые внутри текста между собой связаны. Видит гораздо точнее, чем я. И я себе тогда сказала: «Здесь я не только не могу научить, но мне и незачем это делать!» Поэтому в тексты Астафьева и Решетова я не вмешивалась. Общение же с Астафьевым дало понимание, что как редактору мне надо быть внимательней и осознавать, с кем имеешь дело. Виктор Петрович надевал «масочку». На людях—этакий «весёлый солдат»: похохатывающий, отпускающий шуточки, рассказывающий байки. Причём «масочка» была настолько яркая, что по размышлении я поняла: за ней скрывается очень мощная стихия. Она сдерживается этой «масочкой»-плотиной, а на поверку-то под ней вскипает нечто титаническое. Вот если выплыть на стрежень Камы, ты скоро поймёшь, как сильно тебя он тащит…

— Как человек, некогда её переплывший туда и обратно, могу засвидетельствовать: я это ощутил, едва достигнув середины. На вид—недвижимое, сонное течение. Но вскоре меня прямо-таки поволокло вдоль!..

— Вот-вот, она же несёт, и это очень опасно, страшно. Точно так же и в Астафьеве—всё время чувствовалось присутствие мощной силы. Я—уже не о таланте, а о том, что Виктор Петрович пережил к тому моменту, как стал писателем. У меня два самых ярких впечатления об Астафьеве. Первое—это застолье. Мы оказались за одним столом. Речь зашла о возвращении с войны. И Виктор Петрович с Марией Семёновной наперебой стали рассказывать, как они, победители, штурмовали поезд, который потом увозил их домой. Астафьев—рядовой, а Корякина—старший сержант. Ну, не офицеры. Никаких привилегий. И вот они, врываясь в этот эшелон, попадают не куда-нибудь, а в туалет. К ним ещё присоединился какой-то украинец с бабой. И вот они там заперлись, застелили толчок фанеркой, на фанерку постелили салфеточку и так вчетвером на этом импровизированном столе пили самогон за возвращение на Родину. Таков был пир победителей. В туалет, разумеется, никого не пускали. Тут—каждый за себя… У них в жизни бывали истории ещё и похуже. Тем не менее они ярко и весело об этом рассказывали. Однако веселье это было из разряда горьковатых.

— Те же «масочки»?

— И уже привычные. Но писатель ведь не может скрыть в тексте то, о чём он думает. Художник слова для этого не предназначен. Потому что, если ты художник слова, твои потаённые мысли и чувства рано или поздно откроются. Тебя всё равно прочитают. Те, кто умеет, конечно, читать. И это был уникальный случай из моей редакторской практики. Астафьев написал «Пастуха и пастушку». И, насколько я знаю, написал запоем. Что называется, не выходя из избы… Даже собаку забыл покормить. В общем, накатило на человека. И он пришёл к нам в книжное издательство и предложил присутствовать при чтении рукописи. И тут «масочка»-то и упала! Это был мощный текст. Он читал его полностью. Мы собрались

после рабочего дня в кабинете директора. Тишина была полнейшая. Как бывает, например, в театре, когда идёт какое-то острое сценическое действо. Но ведь это продолжалось довольно-таки долго: повесть-то немаленькая! Если не брать её начало, своеобразное вступление, там сразу дана сцена боя. И она так здорово написана! Я потом пыталась сравнивать её с другими батальными сценами—никто так не написал, как Астафьев. Дело происходит зимой, и командир из младшеньких, какой-нибудь там лейтенантик, беспокоится о раненых. Они же на снегу, а силы-то теряют быстро, потому что холод… И вот эту мощь пережитого, эту страшную тяжесть, эту рану душевную Астафьев всё время носил в себе. И он её выплёскивал! Выплёскивал на моих глазах. И тогда стало ясно, что в нём главное. И это было вторым, одним из самых сильных впечатлений от личности Астафьева.

— Довелось ли вам прочесть его роман «Прокляты и убиты»?

— Разумеется.

— Суждения на сей счёт разные. Некоторые из писателей, в том числе близко знавшие Виктора Петровича, это его произведение активно не приняли. Среди них—Евгений Носов, Николай Воронов. Видимо, здесь есть какой-то водораздел. Допустим, мне довелось беседовать на сей счёт с Валерией Новодворской. Она, напротив, призналась, что роман «Прокляты и убиты» произвёл на неё сильное впечатление. Хотя была из другого поколения, носительницей, что называется, иных идеологических взглядов…

— Я читала роман в журнале. И это было продолжение того же мощного потока и мощной стихии, который проявился ещё в «Пастухе и пастушке». Никакого сомнения в том, что это вообще один из самых сильных текстов о войне. После того, как Астафьев уже его опубликовал, я, помнится, посылала с оказией Виктору Петровичу книжку стихов, которую тогда редактировала, и написала ему, что он заслуживает Нобелевской премии. И сейчас в этом также убеждена. Потому что никто так страшно и точно о войне не сказал. Причём Нобелевскую премию ему можно было дать только за одну главу «Плацдарм». Он же обронил однажды эту страшную фразу: «Я видел то, что человеку видеть нельзя».

—Я вспоминаю своё пребывание у Виктора Петровича в Овсянке. Астафьев как раз работал над этим романом. И он говорил о том, что пишет вещь жесточайшую, но все жестокости ещё впереди. И предвидел, что многие ветераны Великой Отечественной примут это произведение в штыки, потому что им навязали войну надуманную, глянцевую, пафосную. И признался: это потому ещё нелегко, что приходится заново пропускать через собственное сердце то, что ты уже когда-то пережил, и это вдвойне тяжелее.

— В отличие от многих других авторов, Астафьев от правды ни на йоту не отступил. Вот наши бойцы форсируют реку, а плавсредств нет, и люди идут на дно, на дно, на дно, и только крик над рекой раздаётся: «Мама-а-а-а!» А приказ есть приказ—переправляйся. Страшно. И проклятие, которое уже идёт от автора, оно заключается в том, что надо выгнать всех подонков из насиженных кабинетов, откуда они посылают людей на бойню. Выбросить из их дворцов и вилл и погнать в эти самые окопы, и «да осыплет их белое облако вшей»! Я отчётливо помню эту фразу из Астафьева. Потому что это такой мощной силы текст, что те, кто притворяется, будто он им не нравится, просто испугались—вот и всё! Испугались этой силы, а может быть, и позавидовали ей. Астафьев был как явление природы—тем «русским алмазом», о котором он написал в одном из своих рассказов. А как он говорил!

— Тогда же, в начале девяностых, когда я гостил у Виктора Петровича, я записал три аудиокассеты его устной речи. Уже потом, будучи в Перми или в Чусовом, мы ехали с моими друзьями-поэтами в машине и решили прослушать одну из тех кассет. И так нам было по кайфу её слушать, что на фоне астафьевской речи явно увядал устный кумир тех лет, выдвинутый в дальнейшем на роль «дежурного по стране»,—Михаил Жванецкий. Один специализируется на юмористике, а для другого юмор и смех просто часть речи…

— Ну конечно. Это несравнимые величины! Астафьев сразу задавал масштаб.

А что касается Алексея Решетова… Знаете, он маску не носил, но и не открывался. Для этого были свои основания. У него есть стихотворение, начинающееся такими строчками:

Мы с тобою живём по соседству
И почти двойники по судьбе,
Но тюремная азбука сердца
Моего не понятна тебе…

Эти слова он обращал к нам, своим ровесникам, к тем, кому такой судьбы не досталось: отца взяли, мать в лагере, мальчишки с бабушкой живут… Они же всё время—под контролем, под неусыпным оком органов. Потому что чсиры—члены семьи изменника Родины. И этим была омрачена вся юность Решетова, но и вся зрелость—тоже. Подобно тому, как травма войны никогда не уходила из сознания Астафьева (ему удалось выплеснуть это в прозу, а те, кому не удавалось, они же спивались или рано умирали), так и травма «изменнического» клейма родителей жила в Решетове.

Если Астафьев — явление природы, то Решетов — явление поэта в чистом виде. Он и поведенчески был поэт (это ведь не всегда совпадает). Например, когда его должны были отмечать званием почётного гражданина Березников — города, где он долгие годы жил, в том числе работая на шахте. Но вся помпезность этого наградного момента была ему совершенно чужда. Он понимал, что придётся помаяться, послушать какие-то благоглупости. Его от этого заранее тошнило. И он нарвал мне цветов с клумбы около этого самого Дворца культуры, где сие действо происходило. Лёша был простолюдин. И в стихах именно так себя и позиционировал. И вот, когда его уже «энтой» лентой повязали и начался банкет, посвящённый, собственно, не ему, а юбилею города, он оглядел всю эту публику, эти откормленные физиономии и, наклонившись ко мне, сказал: «Надька, бери со стола бутылёк, а я возьму игурец, и давай смоемся отсюда!» «Игурец» он произнёс нарочно, как производное от «огурец», такая у него была шутка.

Вот мы в начале нашего диалога заговорили о качестве речи. Решетова ведь тошнило от того, что человек не может сформулировать то, что он хочет сказать; мало того — за всеми этими словами сквозит неприкрытая фальшь… И меня тоже от этого тошнит. Особенно — от плохих стихов. А как мучился Лёша с этими графоманами, которые приходили к нему в Союз писателей, когда он там работал литконсультантом!.. Он им тончайшим образом объяснял, отчего, к примеру, так нельзя соединять слова, почему это с тем-то и тем-то не сочетается, а они его не понимали. О чём это?.. И мне было жаль его пороха.

И вот однажды я стала свидетелем сцены, которая характеризовала его как поэта. Это был конец восьмидесятых. Уже всё разваливается. Но ещё контора Пермского книжного издательства существует и заботится о своих работниках. Слышим крик: «Картошку привезли!» Осень, дождь, холодно. И втаскивают эту картошку в сетках. И начинается её расфасовка. Вверху — издательство, внизу — Союз писателей. А мы с Лёшей сидим и курим, наблюдаем. А у него глаза такие прозрачные… Он так посмотрел и выдохнул:

> Закусим картошкой печёной,
> Сухую ботву подпалим
> И будем глядеть обречённо,
> Как всё превращается в дым…

На моих глазах родилось стихотворение, в котором отразилось всё происходящее. Вот вам поэт в чистом виде.

— Несмотря на не очень-то идеальные, нередко навязываемые отношения между Астафьевым и Решетовым, Решетов, безусловно, ценил Астафьева, равно как и Астафьев — Решетова. Об этом говорит хотя бы факт публикации в Красноярске решетовской поэтической книги, выпущенной в серии «Поэты свинцового века», предисловие к которой написал Виктор Петрович. И он же выдвинул книгу Решетова «Иная речь» на Государственную премию. И в этом просматривается уровень взаимопонимания больших художников…

— Художники в конечном счёте понимают друг друга, если Господь наделил их талантом. Вначале Астафьев смотрел на Решетова как на пацана. На всех нас он так смотрел. И действительно, мы не знали того, что знает Виктор Петрович. Для него мы были несмышлёные дети. Астафьев был старше нас «на Отечественную войну», как написал другой фронтовик Александр Межиров. У Виктора Петровича это потом отразилось в прозе: дескать, ходят какие-то юные обалдуи в штанах драных, девок портят… А вот оказалось, что не такие уж обалдуи. И он это понял, когда стихи-то почитал, тем более решетовские. Потому что и эти стихи, и эта проза — произведения русской литературы. Настоящей. Без подделки. «И всё же со временем ясно: / Поэт ли с тобой говорит», — сказано Решетовым.

— Если продолжать вспоминать авторов, ныне достаточно известных и даже титулованных в смысле различного рода лауреатств, писателей, чьи первые книги вам довелось редактировать, то, наверное, в этом ряду стоит назвать и Леонида Юзефовича, и Нину Горланову, и Юрия Асланьяна, и Алексея Иванова…

— Да, эти поколения шли друг за другом. Я себе сейчас хорошо представляю, как рождались и нарастали волны писательских поколений. Поколение Астафьева было почти всё выбито. Это двадцать четвёртый — двадцать пятый годы рождения, парни, которые легли на войне. Из них, по-моему, погиб каждый четвёртый. Поколения так ведь и появлялись: рождённые в двадцатых — в сороковые становились молодыми. Потом шли те, кто испытал военное детство, голодуху и все прочие «прелести» послевоенной поры. Судьба тоже у каждого складывалась наособицу. Кто-то был на оккупированной территории, кто — в тылу. Но голод и холод испытали все. Кто остался сиротой, кто очень рано начал работать. Это тоже калёное поколение. В шестидесятые они стали молодыми. Вспышка!.. А за ними — следующие: Горланова, Юзефович, Королёв. Опять вспышка… А потом вы явились. Рождённые в конце пятидесятых — начале шестидесятых.

— Снова вспышка?

— Она самая.

— И каким же отпечатался в вашей памяти, предположим, Леонид Юзефович, нынешний лауреат

премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер»?

— Юзефовича я знаю с юных лет. Он тогда писал стихи. И стихи хорошие. Мне нравилась его поэтическая составляющая. Но потом он перешёл на прозу и вообще занялся историей. На моих глазах, после всяческих неприятностей идеологического толка, приключившихся во время его учёбы в университете, когда за некоторыми студентами бегали гэбэшники, он уходил в армию. Его отправили служить на Дальний Восток. И там Лёня получил очень много исходного материала. Это пример, как писатель берёт оттуда, откуда приходится. Вот тебе ситуация, для человека неприятная, но человек сумел ею воспользоваться. И это продолжилось: и барон Унгерн, о котором Юзефович пишет в «Самодержце пустыни», и все эти истории с Монголией ему помогли. У Лёни была прелестная повесть «Чаепитие в Кяхте». Я не знаю, опубликована она или нет. Но первые прозаические книжки Юзефовича редактировала я. Конечно, в нём этой астафьевской масштабности не было, но зато была глубочайшая культура. Лёня всё время погружался в науку, в книги, много читал, много знал, набирал, набирал, набирал. И последняя его книга «Зимняя дорога», получившая премию «Нацбест-2016»,—это, собственно, не художественное произведение, а честный рассказ историка о том, что было. Рассказ о судьбах генерала Анатолия Пепеляева, воевавшего на стороне белых, и его антипода, анархиста Ивана Строда, сражавшегося на стороне красных. Оба старались быть честными. В пепеляевском подразделении не было зверств. Он издал по этому поводу специальный приказ, и солдаты его послушались. Даже когда Пепеляев брал Пермь, он отпустил всех взятых в плен красноармейцев. Что я этим хочу сказать? Юзефович—тщательный историк, умеющий связать факты, знающий фон. Он не просто описывает судьбу героя, а может ясно и чётко рассказать, что происходило в это время в одной или другой стране. То есть действует не на штык лопаты, а на бóльшую глубину.

—А если в этом смысле сопоставить прозу Леонида Юзефовича с прозой Алексея Иванова?.. Говорят, в своё время Юзефович в известном смысле способствовал вхождению Иванова в литературу? И даже писал предисловие к его роману «Сердце Пармы»…

— Честно говоря, было так: Иванов принёс свои рукописи мне, но наша контора к тому времени практически уже развалилась. И я попросила Диму Ризова, который тогда возглавлял Пермскую организацию Союза писателей России, прочитать его произведения. Ризов пришёл в восторг и послал их в Москву Лёне Юзефовичу. Юзефович познакомил с прозой Иванова московских критиков, а уж те… Вот так дело происходило. Я не о своих заслугах говорю, а о том, что было. Потому что в Алексее Иванове живёт тот же напор, что бушевал в Астафьеве. По масштабу, по дару. У Иванова—стремительная проза. И когда он пишет в «Золоте бунта» какого-нибудь Осташу Перехода, он же в него весь этот напор вкладывает. Осташа—это Остафий. Осташу Перехода Алексей назвал именно в честь Астафьева. В этом он мне сам признавался… Иванов—это просто другое поколение, что отчётливо видно. И вы были из другого поколения. Но отчасти ещё из двадцатого века. А этот парень—из двадцать первого.

—А в чём разница?

— Трудно это объяснить… Иванов—это компьютер, мобильное чувство языка. У поэта оно иначе проявляется. Прозаик слышит изменения в речи, происходящие на его глазах. И все эти словечки переходят в прозу. И у Иванова это чётко видно. Скажем, в его романе «Блуда и МУДО» так говорят изображённые им школяры. Точно так же—в его повести «Географ глобус пропил». И там, и здесь—абсолютно точное ощущение изменение речи народа, переданное через героев. Роман «Блуда и МУДО» очень смешно сделан. Там Наташа де Гарже рекламирует товары сети своих магазинов. Это абсолютно точно переданная сегодняшняя безумная нерусская речь, перемешанная с какими-то никому не известными, новенькими, взятыми с западной кальки словечками. Словечками, смешными по своему звучанию, но входящими в наш быт. И в то же время сама конструкция так устроена, что понять предложение невозможно. Сегодня многие господа из «новых русских» так говорят. Я не имею в виду только каких-нибудь олигархов или бизнесменов. Такой же становится и речь журналистов теперешней формации, телеведущих, диджеев и прочих обслуживающих корпоративы и междусобойчики. Какой-то воляпюк.

—Это примерно то же самое, что в своё время фиксировал в речи своих героев Андрей Платонов?

— Несомненно. Платонов—это же прекрасный стилист! Фантастический! И я, поскольку не читаю теперь книжки, а как бы переслушиваю то, что читала раньше, могу сказать: в этом смысле рядом с Платоновым некого поставить. Потому что он слышал совершенно замечательно. Но замечательно слышал и Зощенко. Как изощрённо он вплетал в язык своих произведений изменения в русской речи!..

—Они все вплетали! Особенно—в двадцатые-тридцатые годы. Разве Юрий Олеша плохо слышал?

— О! Ещё как!

— Или — Борис Пильняк. Стоит прочесть его «Повесть непогашенной луны», которая вся — на слухе и потому — на слуху.

— Тем и отличается писатель от графоманов или номенклатурных ремесленников: он в первую очередь слышит. А читатели и вполовину того слуха не имеют. Я это точно знаю. Потому что его надо тренировать. Я вот тренировала. Но я — не писатель. Я жила среди этих людей. И они мне все помогали тренировать мой слух. Тем более что вся моя семейка — из таких вот… послушников слуха, простите за каламбур. Вы ведь помните шуточки Бори Гашева, который говаривал: «Некоторые рукописи надо закусывать огурцом!»? После его похорон я делала дома уборку. Помыла полы и решила протереть влажной тряпкой внутри дивана. Открываю, а там его рукою выведено: «Здесь спал Боря». Как привет *оттуда*…

— Прямо-таки в духе героев Нины Горлановой! Вы ведь тоже были первым её редактором?

— Да, первую книжку Горлановой редактировала я. Она пришла со своими рассказами, которые, конечно, складывались в единое целое. Горланова — это яркая наблюдательность коммунально-бытового плана. Так говорят на кухне, на улице. Она ведь всё время записывает. У неё — специальные записные книжки, всякие бумажки, на которые она заносит практически всё, что уловит её ухо. В этом смысле оно — как локатор. Даже приходя к нам домой, она могла сказать: «Ой, можно я запишу?!» Так она записала несколько шуток Бори. И вкладывала в уста своим героям. Вырезала ножницами нужную фразу и вклеивала в текст машинописи. Это — до того, как наступила эра компьютеров. Как сейчас она это делает, не знаю…

— Я веду некий «Переименовник», в котором время от времени переименовываю писателей. И вот, помнится, сделал две записи напротив строки, где обозначена Горланова. Первая: «Вечный Эккерман своих гениальных гостей».

— Она и не скрывает этого…

— А второе определение вот какое: «Мелкая китайская сеть, в которую что только не попадается!»

— Это точно! Она не пренебрегала ничем. Частушка так частушка. Это вообще-то тоже метод. И вполне допустимый. И Нина молодец в том смысле, что у неё хватило характера на то, чтобы пробиться сквозь толщу провинциальной жизни и выскочить на московский уровень. Всё-таки её в столице достаточно широко печатали. Практически во всех толстых журналах. Да и книги в Москве выходили.

— Если говорить о том, кто наиболее полно изобразил Пермь, пусть не в самых глубоких, но каких-то всеобщих её проявлениях, это Нина Горланова, которую иногда называют даже «горлом Перми».

— Пермь она показала, но Урал в более широком смысле показал и ввёл эту территорию в пространство России заново, конечно же, Алексей Иванов. И, по-моему, он такую задачу себе и ставил.

— Но тогда надо вести речь и о прозе Юрия Асланьяна, особенно — о его романах «Территория Бога», «Дети победителей» и «Мистическая доминанта мира». Кстати, за роман «Дети победителей» Асланьян признан победителем (тут и меня простите за невольный каламбур!) всероссийского конкурса литературных изданий «Слово», итоги которого подводились в Махачкале…

— Прямо-таки как у Бориса Корнилова: «И качаясь, бегут валы / от Баку до Махачкалы…» Но вот о чём я хочу сказать, пусть в чём-то повторяясь: и Иванов, и Асланьян — это всё некие последовательные действа, которыми управляет кто-то свыше. Вдруг на Урале появляются такие ребята, в головы которых Господь вкладывает — одному — «Мистическую доминанту мира», а другому — «Чердынь — княгиню гор». Потому что пришёл некий запрос. Запрос на подобное проявление Божьего замысла или замеса. И явившиеся как бы из ниоткуда новые писатели реализуют её каждый на своём материале. В писателя вкладывается матрица миссии. Но если человек ступает не на ту дорогу (условно говоря, пошёл в актёры или режиссёры, не имея на то никаких данных)…

— …он может стать каким-нибудь министром.

— Во! Ещё мой папа говорил: «Завтра его уволят, так ведь его даже в дворники не возьмут!» Потому что делать ничего не умеет. Русский мужик чем был знаменит? Он ведь много чего умел. Печку сложить, дрова напилить-наколоть, избу поставить. Правильно? На каком-нибудь привале не офицеры же этим занимались. Даже — в самой тяжёлой ситуации. Где-нибудь на Шипке во время турецкой войны, где погиб один из моих прадедов. Занимались солдаты. Они и кормили, и поддерживали огонь. Обустройство — вот что было свойственно русскому мужику. Это то, о чём написал Салтыков-Щедрин, только — в издевательской форме: «Как один мужик двух генералов прокормил». Выкинь их на необитаемый остров — и что, они будут там дебаты разводить? Да они друг дружку съедят!

В данном случае я имею в виду наших властных представителей. Они ровным счётом ничего не умеют делать. Ни руками, ни головами. Потому что живут с замыленными мозгами. И замыливают их у людей, первоначально здравых. Какие это

политики? Политик должен обладать умом. По крайней мере, средним. Большинство политиков—среднего уровня, я имею в виду мышление. Но они такими и должны быть—прагматиками, может быть, даже циниками. Как Черчилль, который свою линию проводил. Непопулярный, такой-сякой, его могут проклинать или им восхищаться, но он гнёт и гнёт своё. Не для себя.

Я как-то редактировала книжку об английской интеллигенции, и вот когда она стала бороться за свои права (нет, не боролась она за права народа!), приключилась чума. И тогда объединились медики: «Платите нам больше! Мы каждый день жизнью рискуем. В противном случае работать не будем!» И это был правильный путь. Затем объединились юристы. И начали зарабатывать. А потом проталкивать для народных масс законы. Один, второй, третий. Но, видимо, только так и можно чего-то добиться. Институционально. Путём того, что законы пробивают. А не нарушают их. У нас же нарушают сплошь и рядом. В том числе—Конституцию.

—Тут сразу вспоминается один исторический курьёз, когда стоящие на Сенатской площади солдаты, выведенные туда командирами-декабристами, присягая брату Александра Первого Константину, кричали «Ура!» ему и «супруге его Конституции»…

—Да-да-да! Но что случилось в России с первой Конституцией? Её закопали. Написали сверху: «Интегралы»,—чтобы никто не совался. Это было в те самые времена декабристов. Нашли эту Конституцию, написанную Пестелем и другими его сподвижниками. Их повесили, остальных сослали в Сибирь. Солдат несчастных забили шомполами. Это была первая попытка конституционного решения отечественного хода жизни. То, что до того пытались делать граф Павел Строганов и его сотоварищи, общавшиеся с Александром Первым в пору его идеалистических заблуждений насчёт конституционных прав народа. Но они были разогнаны. Примечательно, что комитет, в который они входили, назывался Негласным. То бишь работал втайне. У нас же всегда все втайне работают. Только в России может быть такое: тайный комитет по выработке прав! Кончилось.

Потом—Михаил Сперанский, один из подлинных отечественных реформаторов, бывший генерал-губернатором Сибири. Между прочим, в дальнейшем декабристы прочили его на роль первого президента русской республики, если бы им удалось свергнуть Николая Первого. Но уже при прекраснодушном Александре Сперанский попадает в опалу. Вышел от императора весь бледный, портфель уронил и понял, что его отправляют в ссылку. Так в тысяча восемьсот двенадцатом году он оказывается в Перми. Был он здесь недолго—года три, наверное. У Герцена об этом написано в «Былом и думах». В Перми Сперанского пытались, как опального, унижать всяко. Он написал жалобу государю, на них прикрикнули: мол, не трогайте! Прислали из Санкт-Петербурга своего рода охранную грамоту: «Пребывающему в Перми тайному советнику Сперанскому…» Тут ведь хоть и было Дворянское собрание, но настоящего-то дворянства не существовало. В основном купцы. Чего они понимали в Сперанском? Он частенько сиживал на скамеечке около Камы и всё смотрел на реку. В результате сказал: «Только бы Каму с собой забрал, возвращаясь в столицу. А больше ничего бы из Перми не взял».

Скамейка Сперанского действительно стояла на берегу Камы, я полагаю, примерно в том месте, где нынче—здание художественной галереи, бывший Спасо-Преображенский собор. Потому что там же рядом было Духовное училище. А его семинаристы долго эту скамейку берегли-стерегли, поелику уважали Сперанского. Толстой изобразил его как-то так, с отвращением. А я думаю, что он был не такой. Сперанский был умный человек. Но идеалист.

Дальше—что? Уже другой Михаил—граф Лорис-Меликов—приготовил Конституцию, принёс её Александру Второму, кстати, воспитаннику Сперанского. Император думал-думал, наконец подписал, но в тот же день его шлёпнули. На «Конституции Лорис-Меликова» уже рукою Александра Третьего было выведено: «Слава Богу, этот преступный и спешный шаг к конституции не был сделан». Вот вам и развитие конституционного дела в России!

—Зато сейчас живём по Конституции. Или не живём? Ведь скамейки Сперанского не существует. Спёрли! Как-то мы на сей счёт разговорились с одним поэтом. Между прочим, юристом по образованию. Перед этим, как водится, малость подстегнули себя градусами. И начали изъясняться «чисто-конкретно»—как реальные пацаны на ТНТ. *О ком? О некоторых отечественных носителях беспредельных фамилий. Принялись моделировать: что бы мы сделали, ежели б настало время «Ч»? Я стал сокрушаться: «Не хотелось бы». И мне мой визави отвечает: «А придётся!»*

—Ха-ха-ха! Может быть, ваш собеседник и прав. Я боюсь об этом думать, потому что опасаюсь за молодое поколение в своей семье. Но я понимаю, что в эту воронку его вполне могут втянуть. Потому что ведь озлобленность в народе нарастает. А она плохо контролируется. И потом, совершенно ведь разошлись те, которые у власти, с большинством живущих в России. Но первые не отдают себе в этом отчёта, хоть и продолжают собирать-поднимать рейтинги и тому подобное. Это всё ведь неправда, потому что никто правду им не говорит. С какой стати кто-то будет говорить правду тем,

кто их опрашивает? Хотя бы из элементарного чувства самосохранения. «Правду говорить легко и приятно»,—утверждал булгаковский Иешуа Га-Ноцри в лицо Понтию Пилату. Но на самом-то деле правду говорить опасно. Сидит народ где-нибудь в Красновишерске, или в Частых, или в Нытве. Что, он будет какую-то правду оглашать? Он выживает как может. Было так и во время Великой Отечественной, и после неё. Ведь когда война кончилась, мы же стояли в очереди за хлебом в сорок седьмом году. Я прекрасно помню это, потому что сама в той очереди стояла. Какого чёрта?! И до сей поры наши властители готовы ставить над нами эксперименты…

—Рассказывают, что Николай Клюев, один из учителей и старших друзей Сергея Есенина, самобытный и ещё, как вы знаете, не прочитанный по-настоящему русский поэт, сосланный на тот момент в Томск, однажды пришёл в тамошний отдел НКВД, где он должен был отмечаться, и врезал: «А ведь ваша власть—от дьявола!» И его после этих слов расстреляли. Иными словами, несмотря на, казалось бы, всеобщее молчание и утаивание правды, кто-то приходит и говорит её слова прямо в лицо властителям и их подручным. И я знаю: к нынешним сильным мира сего ещё придут и скажут: «А ведь ваша власть…»

—Думаете, придут? По-моему, их многоэтажные терема слишком высоко отгорожены, оснащены системой видеонаблюдения, хотя ничего непреодолимого нет.

—Вот мы сейчас шарахаемся от таких понятий, как «терроризм» и «террористическая угроза». А у покойного поэта Станислава Божкова, жившего в Березниках и погибшего при невыясненных обстоятельствах, есть стихотворение, называющееся «Террористки», судя по всему, написанное ещё в девяностые годы прошлого века. И там—такая строфа: «Кто вы? Фурии мирозданья? / Или в чём-то и вы правы, / Если ставите в центр деянья / Цену собственной головы». Почему-то вот об этом—о «цене собственной головы», когда на земном шаре происходят «подрывные кошмары», наши СМИ и политики даже не заикаются, хотя среди «подрывников» преобладают молодые люди. Пока—не среди русских. Не дай Бог, конечно, чтобы это произошло, но ведь и в России могут объявиться собственные люди с поясами, начинёнными чёрт знает чем. И они пойдут к тем самым высоким заборам, за которыми многоэтажные терема…

—Потому что уже—край… обнищания и ожиданий. Юра, а есть ли в нашей стране такие люди, которые могут пожертвовать собой, как это делали в своё время народовольцы и эсеры? Они все были идейные. Однако все эти идеи в России, по-моему, истолкли в пыль. Народовольцы и эсеры шли на гибель. Шли сознательно. Условно говоря, «мы порешим царя, и нас казнят. Мы это знаем. Но мы будем с этой властью бороться». Они её запугивали своими терактами. Сначала—редкими, а потом—учащающимися. И то, что добрались не только до одного царя, доказывает, что это вполне осуществимо. Несмотря на эскорт казаков и прочее. Ну хорошо, отрёкся царь-государь от престола, и тут же хвалёные казаки всё бросили, послали его подальше, а он ведь их всяко привечал, фотографировался с ними и полагал, что они ему верны. Но эта «верность» оказалась построена на ложных и потому непрочных сваях. Я как раз недавно слушала роман о казачьих делах… А ведь они головы свои клали на военных полях! На той же туретчине. И что?.. Пенсии им платили? Им давали за это медальки. Отношения народа и власти—очень сложная вещь. Я предполагаю, что Россия всё-таки настолько удивительная страна, что такие люди, о которых вы говорите, могут снова в ней появиться. Но дело в том, что исламисты как таковые—они же верят в загробный мир. Что попадут в сад с гуриями…

—А эсеры и народовольцы тоже, что ли, в загробный мир верили?

—Нет, они в него не верили. В том и разница!.. А сегодня это ещё более трудная задача—заставить человека поверить. Ведь те подрывающие себя и мирное население шахиды и шахидки по большей части невежественны, ничего не читали. Может быть, знакомы с Кораном, да и то я не уверена в этом, потому что Коран, как я полагаю, ничему такому не способствует. Но они-то верят в то, что будет некое воздаяние после смерти. А наш русский человек, погружённый в нынешнее информационное пространство, по-моему, не в состоянии в это поверить. Эсеры и народовольцы верили в свою идею… Но таких всегда было мало. И окончательную свою игру они проиграли.

—Спасётся малое стадо… Хотя и оно не спаслось.

—Не спаслось… Потому что всё понизилось. В том числе и цена жизни. Этический уровень вообще не присутствует. И в этом меня уже никто не переубедит. Я уже закоснела в грехах. Я знаю цену слову, цену жизни, цену страху. Однако промысел Господень нам неведом. Но будет ещё благая вспышка. Вы её ещё увидите. Впрочем, переживёте её в почтенном возрасте мудреца.

Николай Алешков

Ковчег

1.

Боже, за что — не знаю —
милость Твоя дана:
море, купель земная,
плещет у ног. Видна
вся полоса залива
между скалистых гор.
Хочется быть счастливым,
всё остальное — вздор!
Сердце, забудь о боли!
Парус зовёт вдали.
Моря на свете больше,
чем на Земле земли.
Лишь небеса бездонней.
К тайнам сокрытым нить
в тёплых морских ладонях
хочется ухватить.
Буду с волной лизаться,
вдруг и услышу гул
древних цивилизаций —
их океан вдохнул…
Я по судьбе протопал,
кажется, тыщу лет.
Небо грозит потопом,
море молчит в ответ.
Как бы ни заносило —
к берегу плыть верней.
Берег. Ковчег. Россия.
Мир устремился к ней.

2.

Берег. Ковчег. Россия.
Порт отправленья — Крым,
как бы ни голосили
недруги — «скрымтымным»[1]!
Зубы у них скрипели…

Снился поэту сон:
русские песни пели
Киев и Вашингтон.
Пусть позакрыли двери!
Кремль, продолжай, не трусь!
В вещие сны поверю,
если сплотится Русь.
Правда и сила с нами.
Русский другим не волк.
Мы всей страною встанем
скоро в «Бессмертный полк»,
как сыновья Победы,
дочери тех, кто спас
мир. Пусть отцы и деды
смотрят с небес на нас.
В войске они Христовом,
«смертию смерть поправ».
Каждый с мечом и словом,
каждый пред Богом прав…

3.

«Будьте отцов достойны!» —
шепчет морской прибой,
помнящий кровь и стоны,
помнящий смертный бой —
в сорок четвёртом битву
за Севастополь, Керчь.
Русские шли с молитвой
в огненный этот смерч.
Чья была крепче жила,
дать ответ не берусь.
Сколько же ты сплотила
разных народов, Русь?
Русский, грузин, татарин…
Павших — поди спроси:
кто там пассионарен
был на святой Руси?
Белый ты или красный
(этих спроси и тех),
русскими не напрасно
их называли всех…

Крым — Ушакова слава!
Бьётся волна в гранит.
Тихая Балаклава
тайны свои хранит.
И адмирал Нахимов,
и рядовой матрос
здесь подтверждали имя —
непобедимый росс!..

1. «Скрымтымным» — новояз, словечко, придуманное поэтом Андреем Вознесенским.

В море впадают реки…
Оторопев, смотри:
вырублены навеки
в скалах монастыри.
Дух православной веры
нам, Инкерман, открой!
Мощи, а не химеры
спрятаны под горой.
Вздрогнув, очнись от страха:
не на тебя ли взгляд? —
души святых монахов
сквозь черепа глядят.
Вечности пряжу вяжут
в костнице. Рядом — Спас.
«Мы были вами, — скажут, —
вы превратитесь в нас…»[2]
Здесь же, у Инкермана,
прямо под той скалой —
пропасть, как шрам, как рана
страшной войны былой…
Молнией боль искрится,
нервы свивая в жгут.
Истинные арийцы
пленных держали тут
хуже скота. Без пищи.
Были овчарки злы.
Люди («не меньше тыщи»)
падали со скалы.
«Прокляты и убиты»[3].
Лагерь расстрелян был.
В бездне морской сокрыты
тысячи их могил.

4.

Русская ностальгия.
Бунин, Шмелёв, Куприн…
Передралась Россия.
Вбит в самый комель клин.
Брат с топором на брата.
Наземь летят кресты.
Тройка летит куда-то.
Русь, очумела ты?
Нехристи из потёмок
ринулись править в ней.
Правду узнай, потомок,
из «Окаянных дней»[4].
Матушка, не по силам
мир на себе держать?
Гнев перетёк по жилам,
вытеснив благодать.
Удаль у нас безмерна.
Норов наш — без границ.
Смутно на сердце, скверно
меж разъярённых лиц.
Видеть вражду — мученье.
Не остановишь шквал.
Всех оглашённых чернью
Пушкин не зря назвал…

Как вам в Париже, в Ницце,
Бунин, Шмелёв, Куприн?
Русское сено снится
в хрусте чужих перин?
Не превозмочь и в Ницце
«Лета Господня»[5] крах.
Лучшие — за границей.
Прочие — в лагерях.
Правда всегда упряма,
словно слеза из глаз:
«Сколько зарыто в ямах!» —
горький рязанский сказ…[6]

5.

— Павшие — все — храбрее
выживших, — говорил
старый десантник, грея
внучке ладошку. Плыл
клин журавлиный к югу,
может, к Сапун-горе,
где он могилу другу
выдолбил на заре…
И фельдшерица наша
в клубе, приняв «грамм сто»:
— Я — санитарка Маша, —
плакала. — Помнит кто
с передовой подружку?
Я между мин ползла,
а своего Ванюшку
вынести не смогла.
Мы целовались вместе,
а воевали врозь…
Лей! Я «махну» и «двести»,
а зубоскалить брось!
Вёл нас товарищ Сталин
к славному рубежу.
Лучшие *там* остались,
вот что я вам скажу…

2. Речь идёт об Инкермановском Свято-Клементьевском мужском монастыре. Костница — маленькая келья за стеклянной дверцей, за которой выставлены черепа усопших монахов со словами: «Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы».
3. «Прокляты и убиты» — название последнего романа В. П. Астафьева.
4. «Окаянные дни» — книга И. А. Бунина о революции и Гражданской войне в России.
5. «Лето Господне» — одна из лучших книг о русском православии И. С. Шмелёва.
6. «И сколько зарыто в ямах…» — строка из поэмы С. А. Есенина «Анна Снегина».

Лучшие — там. В сраженьях
русский народ ослаб?
Но Родионов Женя[7],
воин и Божий раб,
перед бандитом с шеи
так и не снял креста,
жизнь положивши, смея
путь повторить Христа.

6.

К Чёрному морю ликом
русский стоит солдат.
Всяк, кто со злом и лихом,
ну-ка вертай назад!
Слева нагрянут орды —
выжгут всю степь дотла.
Справа — Европы морда —
помнит о ней скала.
Нож или камень в спину.
Кто там? Залётный вор?
Братская Украина,
древний славянский спор…
Вежлив солдат чрезмерно.
Между орущих толп
встал он, присяге верный,
несокрушимый столп.
Камни летят с обеих —
нет! — с четырёх сторон.
Русские? Значит, бей их,
в ствол загоняй патрон!
Русский себя погубит,
русский врага спасёт.
Кто нас таких полюбит?
Кто нас таких поймёт?
Прыгнуть на бомбу? Пофиг!
Спас! Обречённо стих.
Русского слова «подвиг»
нет в словарях других.
В небо, что нет синée,
смотрит герой из тьмы:
«Были враги сильнее,
но победили мы…»[8]

Между цивилизаций
тысячу лет стоим.
Терпим. Не ждём оваций.
Пост не отдать другим.

7.

Звёзды горят. На Млечный
держим в ковчеге путь.
Все мы уйдём, конечно.
Русь остаётся пусть!
Пусть паруса белеют —
ветер их в клочья рвёт.
Кто-то ведь уцелеет?
Кто-то ведь мир спасёт?..

Я написал поэму.
Сын, закачай в планшет,
чтобы однажды — в тему! —
вспомнить отца завет.
Родину не меняют,
веру не предают.
Русские это знают,
песни о том поют.
Жизнь — утоленье жажды,
брызг океанских взвесь.
Счастлив я был однажды
с мамой твоею здесь.
Память об этом свята.
Спор бестолков с судьбой.
Горькая та утрата
нас обожгла с тобой…
Шторм не один изведав,
помним спасенья для:
кровью отцов и дедов
полита вся земля.
И потому — святая —
в звёздных огнях, в дыму.
Сын, я с тобой мечтаю
вновь побывать в Крыму.
Выйдем на берег, скажем
миру всему в упор:
— Чёрное море — наше!
Всё остальное — вздор.

7. Евгений Родионов — русский солдат, казнённый боевиками-террористами в Чечне в мае 1996 года за отказ сменить веру и снять с груди православный крест.

8. Цитата из стихотворения поэта Николая Рачкова.

Сергей Кузичкин

Двадцать лет и одна ночь

(Избранники Ангела)

Роман в четырёх книгах[1]

Мы не выбираем времена, мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас.

Джон Толкиен, английский писатель и филолог

Книга вторая. Двое

Жизнь тасует нас, как карты,
и только случайно — и то ненадолго —
мы попадаем на своё место.

Максим Горький, русский писатель

Ночь выбора

Восточная Сибирь.
Городок районного значения.

12 января 1983 года. 3 часа 51 минута

Ангел Смерти во второй раз за эту ночь готовился раздвинуть завесу Времени. Он стоял в комнате, бывшей одновременно залом и спальней, возле старой, железной, давно не крашеной кровати с распростёртыми вперёд руками и смотрел на спящих.

Женщина улыбалась во сне. Она была молода и красива. Сбившаяся простыня почти сползла на пол и чуть прикрывала белые колени, а кружева облегающей тело бледно-розовой ночной рубашки, расшитые по бретелькам и на груди, так хорошо дополняли изящную фигурку. Едва пробивающийся в комнату через узкий дверной проём свет от неярко горевшей в прихожей-кухне лампочки касался её краешком и растворялся в румянце на молодом лице. Румянец, а ещё русый волос, стелившийся по подушке, алые тонкие губки, длинные ресницы складывались в образ спящей красавицы. Естественный и совершенный. Молодая женщина и была в тот час и ту минуту совершенным созданием совершенного Творца.

Скупой свет лампочки-сороковки становился ярче, отражаясь в волнистых волосах женщины, под которыми пряталась головка спящего рядом на боку, поджавшего под себя ножки полуторагодовалого мальчика.

Ангел Смерти опустил руки.

Ребёнок заворочался, повернулся на спинку. На розовом личике его сразу же отразились некоторые черты матери: губки, реснички, аккуратненький, чуть остренький носик. Женщина придвинулась к мальчику, задев при этом ноги мужа, лежавшего головой в противоположную сторону. Мужчина завозился, потянул одеяло, и так бывшее на нём одном, к подбородку. Плохо выбритое с вечера исхудалое лицо его даже во сне выглядело измученным. Пшеничные усы скобочкой, свисающие на подбородок, давно не ухоженные, завивались на нижнюю губу; вымытые наспех хозяйственным мылом волосы, скручивавшиеся в завитки, спадали на глаза, и мужчина несколько раз за ночь сонным движением руки поправлял их.

Небольшое семейство из трёх человек которую уже холодную ночь укладывалось спать на кровати-полуторке, а доставшаяся от соседей детская кроватка одиноко стояла у печной стены. Уставшие за день тела людей находились в состоянии покоя, сознание же их путешествовало по царству снов, изредка рисуя полутона и складывая их в прерывистые недолгие видения, с точки зрения человека — бессмысленные. Ангел, посланный решать судьбу, стоял рядом, отрывисто вглядывался во сны, не воздействуя на сознание спящих, стараясь понять причину того или иного их видения.

Между Ангелом Смерти и кроватью-полуторкой было не более полуметра, но именно на этом пространстве уместились, опустившись на колени и склонив головы пред своим старшим собратом, видимые ему одному три Ангела-Хранителя семейства.

Семейству оставалось быть вместе немного — до наступления времени, называвшегося здесь утром. Проснувшись, люди разойдутся по своим делам, а с приходом новых сумерек душа одного из них, избранная Ангелом Смерти и прощённая Творцом, покинет Землю и уйдёт туда, откуда однажды пришла. Наказание земной жизнью закончится, и душа, освободившись от тела, снова станет свободной. И возликует!

1. Продолжение. Начало см. «ДиН» № 5/2016.

Но людям, ныне живущим на земле, не понять этой радости. Для них расставание души и тела — трагедия, пугающее слово «смерть».

Ангел, пришедший на благо и горе, выбирал. Он не спешил, ему оставалось ещё дважды заглянуть за занавес этого мира и там — то ли в прошлом, то ли в будущем, на границе Времени и Вечности, — определить нужный для остающихся на Земле вариант. Ангел Смерти вновь распростёр руки над спящими, раздвинул только ему видимую завесу и посмотрел в Глубь Времени.

День мальчика

1.

Ангел Смерти смотрел в Глубь Времени.

В шесть тридцать зазвонил будильник.

Мальчик вздрогнул, зашевелился, не открывая глаз, потянулся, и это почувствовала женщина — голова ребёнка лежала на её руке.

Женщина открыла глаза, осторожно попыталась высвободить руку. Осторожно не получилось, пружина старой кровати заскрипела. Мальчику не хотелось вставать. Открыв ненадолго глазки и посмотрев на тёмно-бледный потолок, мутно освещённый падающим из кухни через проём двери светом, он снова сомкнул веки в надежде, что, может быть, сегодня его не будут тормошить, одевать, кормить кашей и тащить по темноте и холоду в детский сад. Но кровать скрипнула ещё раз, женщина поднялась.

— Андрюш, увезёшь сегодня Саньку? — спросила она громко, уже не осторожничая.

Мужчина ответил не сразу. Он повернулся на спину, потёр глаза, погладил усы.

— Я тебя спрашиваю: увезёшь сегодня ребёнка или опять причины искать будешь? — снова спросила женщина.

— Сегодня не получится, — сказал мужчина, всё ещё лёжа в постели. — Пойми, Алён, если я опоздаю, на меня знаешь как Францыч с Райкой поволокут?.. Я ведь и так наказание отбываю за прогулы…

— На меня тоже поволокут! — не сдавалась женщина. — Я тоже опоздать могу, морозяка на улице какой! Пока доплетусь до детсада, а потом до депо… Точно опоздаю, а так бы на автобусе, как все люди, поехала…

Мужчина не ответил. Тотчас же послышался лёгкий топот — женщина пошла на кухню и через минуту загремела посудой.

— Ты хоть одень его, пока я с плиткой вожусь, — крикнула она оттуда. — Совсем уж обнаглел — делать ничего не хочешь.

— Болею я, сама знаешь. Уколы эти противоалкогольные… Болючие такие… Да и таблетки тетурама тоже сказываются. Они, говорят, не растворяются в организме и осадок дают… — сказал мужчина, нехотя поднимаясь. — Знаешь, как тяжело…

— Тебе всё время тяжело. Ты всю жизнь болеешь, все три года. Как женился, так и заболел. Небось, у мамочки жил — не болел и не страдал: здоровый был, за бабами бегал соседскими…

Мужчина снова погладил усы-скобочки, провёл по плохо выбритому подбородку ладонью, а затем осторожно тронул ребёнка за руку:

— Сынуля, вставай!

Мальчик повернулся на бок. Понял: сегодня выходного нет, сейчас начнётся то, что было вчера и позавчера.

— Сынуля-Санюля, аллё! — позвал его ещё раз мужчина. — В садик, сыночка, пора!

Мальчик, не поворачиваясь, замахал ручкой.

— Ну и хитрун! — сказал отец, наклоняясь над сыном. — А вставать всё равно придётся.

На кухне зашипела сковорода, запахло подгоревшей кашей.

— Ну что ты сидишь? Что сидишь, как филин полусонный? — женщина выглянула из кухни. — Я уже кашу разогрела и суп, а он всё сидит — ждёт, что я ещё и ребёнка одевать буду. Вставайте, одевайтесь. Пока я на двор хожу, чтобы одел его, понял?

— Понял… — пробормотал мужчина, встав и взявшись за висевшие на спинке стула брюки.

Женщина набросила на себя пальто, надела валенки и, откинув висевшее над входной дверью бледно-выцветшее, бывшее некогда зелёным покрывало, быстро юркнула в сени. Морозный воздух молочными облачками потянулся через кухню-прихожую в комнату.

Мужчина надел брюки, взял на руки отбивающегося руками и ногами ребёнка, понёс к умывальнику. Ребёнок закрывал лицо ручками и мыться не хотел, и мужчине пришлось приложить усилия, прежде чем он намочил лицо хныкающего мальчика водой из-под рукомойника, потом утёр висевшим тут же полотенцем и вновь вернулся в комнату, посадив уже притихшего сына на кровать.

— Ну что, будем одеваться? — спросил он мальчика уже без улыбки.

Ребёнок молчал, опустив глазки.

— Будем, — сказал мужчина, глядя на приготовленные с вечера женой детские колготки, рубашку, кофточку, аккуратно лежавшие на столе, рядом с исписанными листами бумаги.

Хлопнула входная дверь, и морозные облачка вновь потянулись в комнату.

— Вы ещё не оделись? — бросила от двери, снимая пальто, женщина.

— Я тебе не метеорит, чтобы сразу и умыть, и одеть… — огрызнулся мужчина. — У меня не десять рук.

— Я зато метеорит! — сказала женщина, подходя к столу и взяв детскую одежду. — У меня не десять,

а двадцать рук. Я и суп с кашей согрею, и Саньку одену, и в садик увезу — всё я!

Мужчина не ответил, прошёл на кухню, обулся в валенки, накинул полушубок.

— Как там на улице? Холодно? — спросил он, встав у двери.

— Конечно, холодно, — ответила женщина, уже одевая мальчика. — Январь на дворе. Холодно на улице, холодрыга в квартире. Дров ни фига нет, топить нечем. Скоро придётся, как прошлой зимой, забор разбирать.

— Ну и разберём, а весной новый загородим. Хиль поможет, — сказал мужчина, уже ныряя за занавес.

— Поможет Хиль тебе! Сильно ему надо! — сказала в сердцах уже сама себе женщина, натягивая на молчавшего ребёнка рубашку. — Всё ждёшь от кого-то какой-то помощи. На себя надо надеяться. Правда, Санька?

Мальчик молчал. В свои полтора годика он ещё не умел разговаривать, и ни родителям его, ни воспитателям детского сада не было ясно, что уже понимает ребёнок, а что пока, как говорил мужчина, «он допетрить ещё не может». В детсаду считали, что родители мальчика не занимаются с ним дома, а потому виноваты они; молодые же родители вполне серьёзно полагали, что работники детского дошкольного учреждения ходят на работу только для того, чтобы поесть за государственный счёт да как можно чаще привлекать мам и пап малышей к так называемой общественно-полезной деятельности, имея от этого только собственную выгоду. Основания так думать были: воспитатели не только настойчиво предлагали родителям поучаствовать в покраске, побелке, перестановке мебели в здании детсада, но и регулярно брали с пап и мам от рубля до десяти — якобы на краску, известь, организацию культурных мероприятий. Никто за собранные деньги перед родителями не отчитывался, и это наводило женщину на мысль, что сына водит она в детский сад только для того, чтобы он мог переждать там время, пока она занята на работе, но никак не получить какое-то воспитание и чему-то научиться.

Пока женщина одевала ребёнка, мужчина, наскоро умывшись, сел к столу, зачерпнул поварёшкой из кастрюли в тарелку с вечера сваренного из концентратов овощного супа. Вскоре рядом подсела женщина, посадив на колени мальчика. Она попробовала покормить сына с ложки кашей, но ребёнок отвернул личико и стиснул губы.

— Ладно, там покормят, — сказала женщина, отпуская рвущегося из рук мальчика.

Тот сразу же побежал в комнату, спрятался за детскую кроватку.

— Не хочет идти, — заметил мужчина.

— Какой ты догадливый! — съязвила женщина. — Конечно, не хочет, понимает, что по холоду повезут. Ты-то, небось, по холоду не ходил по садикам, с бабушкой в тепле всё детство просидел.

— С тобой тоже бабушка сидела… — отреагировал мужчина. — В наше время бабушки не работали, на пенсии были. А теперь кто виноват, что у Саньки бабушки молодые? До пенсии им ещё лет по десять пахать на производстве. Не надо было замуж рано выходить и ребёнка рожать…

— Ну и не рожал бы! — возмутилась женщина. — А то ещё второго хотел. Что бы сейчас делал с двумя? Да ничего бы и не делал: всё бы опять на мне было!

— Да не было бы. Ты же знаешь, что лечение это противоалкогольное тяжело идёт. Вот закончу курс, тогда всё сам делать буду: и Саньку в садик возить, и дровами займусь…

— Да уж… Мало что-то верится… Ты и пил когда — болел, а когда не болел, то блудил где-то с Хилем — то по ночам, то до полуночи, а я и рожала без тебя, и выхаживала Саньку тоже без тебя. Не до нас тебе было…

— Ну ладно, заканчивай воспоминания свои, — оборвал разошедшуюся было жену мужчина, наливая в кружку кипяток из чайника. — Везти ребёнка надо, время уже…

Женщина замолчала, отодвинула тарелку с оставшимся супом и, поднявшись, пошла за мальчиком.

Пальто, валеночки, рукавички и шапку с шарфиком родители надевали на сына вдвоём. Мальчик вначале вяло сопротивлялся, но потом, смирившись с участью, выполнил всё, что требовали взрослые.

Мужчина, накинув полушубок, вынес ребёнка на улицу, усадил в санки на ватное одеяльце, что подстелила женщина. Лицо мальчику повязали шерстяным шарфиком, меховую шапку надвинули на брови — лишь глаза оставались не укрытыми от холода. Глазами мальчик видел звёзды на небе и бледно-белый от их света снег на земле. Женщина взялась за верёвочку, снег заскрипел под её ногами и санками. Женщина покатила санки к калитке и, не оборачиваясь, бросила мужчине:

— Печку обязательно протопи, сходи за дровами к бабушке. В холодную квартиру ребёнка мне не вези!

Мужчина не ответил, он ринулся следом, придержал калитку. Калитка за спиной у мальчика хлопнула, и санки повезли его по морозной темени долгим для него путём к далёкому детскому саду.

2.

Калитка за спиной у мальчика хлопнула.

Санки заскользили быстрее. Мальчик видел вначале неяркие огни далёкой улицы, а потом, когда санки свернули в тёмный переулок, только звёздочки над головой. Маленькие и большие звёздочки приближались и отдалялись, некоторые

опускались так близко, что мальчику хотелось поймать светящийся огонёк, и он тянул к нему руки. Но спрятанные в рукава не по размеру большого тяжёлого пальто и в шерстяные рукавички руки мальчика не слушались, и звёздочки поймать он не смог.

Санки катились быстро. Женщина ловко лавировала по узким снежным тропинкам, ныряла в проходы между домами, делая путь короче, и вот вышла на большую, лучше других освещённую улицу. Оранжевый свет фонарей слепил мальчика, и звёздочек он больше не видел. Санки катились по тротуару, а по дороге уже вовсю бегали автомобили и автобусы. Женщина несколько раз останавливалась, не отпуская верёвочку и не снимая рукавичек, потирала руки, стучала сапогами — грелась несколько секунд — и снова отправлялась в путь. А мальчик не мёрз. Укутанный в большое пальто, одетый в тёплую шапку и повязанный шарфиком, он даже потел, покачивался на поворотах да подавался вперёд, когда мать после остановки резко дёргала санки за верёвочку.

Наконец саночки повернули последний раз, теперь уже на территорию детского сада. На хорошо расчищенной от снега дворниками широкой дорожке уже виднелись следы от полозьев, широкая калитка в ограду была заботливо раскрыта настежь и закреплена — привязана к изгороди. Двор освещался двумя яркими лампами со столбов у входа в здание, и мальчик, выезжая из полутьмы на свет, всегда морщился. Женщина остановила санки у крыльца, подняла мальчика на руки, сняла рукавичку, легонько ладонью потёрла щёчки ребёнка, а потом занесла сына в помещение. В узком коридорчике и в раздевалке сразу стало светло и жарко. Женщина сняла с притихшего мальчика пальто, валенки, тёплую шапочку, кофточку, штанишки, переобула его в сандалии и, поцеловав сына в сладкие губки, передала вошедшей воспитательнице — плотной высокой даме с копной крашеных белых волос.

— Извините, чуть не припозднились, — сказала виновато женщина. — Пока соберёшься… Да и автобусы с нашей улицы не ходят.

— Те, кто на собственных машинах, тоже не торопятся, — то ли осуждая, то ли оправдывая её, заметила воспитательница. — Особенно сегодня… Полгруппы ещё нет.

Голос у воспитательницы звучал уверенно, даже начальственно. Женщина кивнула и стала развешивать и раскладывать одежду мальчика в кабинке.

— Ну что, Саня, помаши маме, скажи: «До вечера», — громко прозвучал над мальчиком голос воспитательницы.

Он понял, что обращаются к нему, но сказать ничего не мог и говорить ничего воспитательнице не хотел. Он хотел остаться с мамой, поскорее вернуться с ней домой.

Мальчик молчал, опустив глаза.

— Эх ты, немуля наша… Никак говорить не хочешь… Ну ладно, пойдём.

Воспитательница взяла мальчика за руку, повела в группу.

— Вечером за ним муж зайдёт, — сказала вслед ей женщина.

Воспитательница, не оборачиваясь, закачала копной, уже открывая дверь в группу и ступив на порог.

Наступая на порог, обернулся и мальчик, посмотрел на маму. Ему захотелось заплакать, вырваться и побежать к ней, смотревшей ему вслед. Но воспитательница настойчиво потянула мальчика за порог.

Дверь закрылась. Мама осталась там, а здесь трое ранних малышей в углу перебирали кубики, ещё двое сидели за детскими столиками с карандашами и альбомами.

— Иди рисовать, — легонько подтолкнула воспитательница мальчика.

Мальчик пошёл туда, где не было никого, сел на низенький стульчик, привычно взял карандаш, открыл альбом и начал рисовать круг.

Вначале он отвлекался и смотрел на дверь из комнаты в коридор, то и дело открывающуюся и закрывающуюся — воспитательница выходила и возвращалась с кем-то из прибывших детей, — но вскоре увлёкся. Через некоторое время вместе с мальчиком за столиком рисовали ещё трое малышей: сестрёнки-близняшки и огненно-рыжий мальчонка со сметанно-белым лицом и белыми, почти невидимыми бровями; но мальчик не замечал их, он был увлечённо занят делом — закрашивал круг жёлтым карандашом. Мальчик рисовал солнце.

— Дети, завтракать! — позвала воспитательница, когда мальчик пририсовал к кругу несколько красных чёрточек-лучей.

На знакомый зов дети откликнулись сразу, как делали всегда: кто аккуратно отложил, а кто отбросил в сторону карандаши и альбомы, — и, соскочив с мест, помчались к двери; некоторые опрокидывали при этом свои и стоявшие на пути стульчики.

Путь в столовую для малышей был через умывальник. Помочив ручки под краном с тёплой водой, мальчик вытер их о полотенце. Длинное белое вафельное полотенце держала в руках конопатая, небольшого роста, лет двадцати помощница воспитательницы, по имени Женя, называемая здесь чаще нянечкой, а за глаза всеми работниками детского сада и некоторыми родителями — Конопушкой. Полотенце было одно на всех, и нянечка Женя держала его двумя руками за середину так, чтобы малыши могли подойти к нему с двух сторон сразу по двое.

Мальчик сел за привычный — свой — столик в столовой и только сейчас, наверное, заметил

белобрысых сестёр-близняшек и рыжего мальчонку, прозванного воспитателями Огоньком. К завтраку в столовой группа малышей собралась в полном составе. Дети лениво взяли ложки и опустили их в тарелки. Мальчику не хотелось есть манную кашу и пить тёплое молоко, сестрёнкам, видимо, тоже. Все трое лениво почерпнули на ложки манку, но пробовать не решались. Ложки с остывшей кашей застыли на полпути. Начавший было жевать Огонёк, глядя на соседей по столу, тоже застыл.

— Кто раньше всех съест, тот быстрее пойдёт смотреть мультики! — объявила воспитательница.

Стук ложек по тарелкам участился.

— Мультики, — сказала одна из близняшек, заталкивая кашу в рот.

— Мультики, — повторила её сестрёнка, пробуя манку.

— Мультики, — сказал Огонёк, прожевав кашу.

«Мультики», — попробовал сказать мальчик, но у него не получилось. Мальчику хотелось вместе со всеми смотреть мультики, но для этого нужно было съесть кашу, иначе мультиков не будет. Не осилившие манку и молоко вместо мультиков шли составлять из рисованных кубиков цельные картинки. Мальчик слизнул кашу с ложки, она ему не понравилась. Поняв, что мультики сегодня не для него, он отодвинул тарелку и взялся за молоко.

— Санька-молчун, а ну-ка ешь! — сразу откликнулась на его поступок Женя-нянечка. — Ну-ка кушай кашку, а то никогда говорить не научишься!

Мальчик вздрогнул. Стакан в его руке качнулся, молоко, выплеснувшись на четверть, пролилось на стол, обрызгав белую рубашку мальчика.

— Ну вот, доигрался! — подбежала к нему нянечка, выхватывая из рук стакан. — Будешь баловаться — будешь наказан.

Мальчик сидел, опустив голову. Стук ложек прекратился. Малыши замерли, с тревогой и любопытством глядя на происходящее.

— Что с ним делать, Людмила Александровна? — спросила Конопушка подошедшую на крик воспитательницу. — Сам есть не хочет и другим плохой пример подаёт. Вот и девочки, глядя на него, тоже не хотят…

— Наказывать, Женя, наказывать. Других способов воспитания в таких случаях нет, — закачала в такт своим словам копной волос воспитательница. — Бери и наказывай. Ставь в угол прямо сейчас. Никаких мультиков, никаких кубиков. Пусть постоит в углу, подумает о своём поведении.

Мальчик опустил голову ещё ниже. Ему хотелось заплакать, и слёзы уже подступили к глазам, но мальчик сдержался. Он знал, что мама далеко, а здесь его никто не пожалеет и наказание не отменит.

— Вставай, иди в угол! — сказала громко, чтобы слышали все дети, Женя-Конопушка.

Мальчик встал, продолжая виновато смотреть в пол.

— Тебе что, дорогу показать? — не сбавляя высоко взятых ноток, продолжила нападение нянечка. — Иди давай… знаешь куда!

Мальчик, не поднимая головы, тихонько пошёл к уже открытой воспитательницей двери в зал, где недавно рисовал солнышко. Теперь уже не к столу, а в угол. Углом называлось небольшое узкое место между шкафом-стенкой и стеной, специально продуманное кем-то из воспитателей для наказания. На шкафу хранились детские игрушки, рисунки, фотоальбомы, которых стоявший в углу малыш не мог видеть, как не мог и посмотреть в окно. Стоя в самом углу, у стенки, наказанный ребёнок видел лишь небольшую часть комнаты, но если у него хватало смелости и он подходил к краю шкафа и выглядывал, то мог разглядеть всю комнату и играющих ребятишек. Однако выглядывать из-за шкафа было рискованно. Если это замечали воспитательница или нянечка, то наказание ужесточалось — ребёнка ставили лицом к стенке на долгое время. Иногда до самого обеда.

Мальчик встал за шкаф и тяжело, как только может полуторагодовалый ребёнок, вздохнул. Он знал, что стоять ему придётся долго. Ему снова захотелось заплакать. Он вспомнил день, когда мама и папа никуда не торопились и не будили его рано. Он просыпался, когда в доме было тепло; мама гремела на кухне тарелками и, увидев, что он открыл глаза, улыбалась и громко говорила: «А вот и Санька наш проснулся!» Сидевший за столом папа поворачивался к нему и, тоже улыбаясь, спрашивал: «Ну что, выспался, сынуля?» Мальчик потягивался, а папа подходил к нему, брал на руки и подбрасывал его, немного испуганного и замершего, к потолку. «Санька проснулся! Санька проснулся! Новый день настал! Сегодня нам не надо никуда идти! Ни на какую работу!» — радостно кричал папа. «Уронишь! Уронишь!..» — подбегала к ним мама, стараясь поймать ребёнка. Но папа, отстраняя её, подбрасывал сына ещё выше, а потом со смехом опускал его на кровать, почти бросал и, обняв маму, падал вместе с ней рядом.

Мальчику стало хорошо от воспоминания. Когда снова они будут все вместе дома? Когда не надо будет идти сюда, бояться, что тебя накажут, и, поглядывая на дверь, ждать, когда же за тобой придут и заберут домой?

Мальчик тяжело, как только могут дети в его возрасте, вздохнул и забился в самый угол. Комната тем временем наполнялась детьми. Они шумно рассаживались за столы, принимались за кубики. Некоторые, самые любопытные и смышлёные, заглядывали за угол и с любопытством и сочувствием смотрели на наказанного. Каждый из них уже понимал, что на его месте мог быть он. Понимали это и сёстры-близняшки, незаметно от

воспитательницы и нянечки заглянувшие к мальчику. Одна из девочек протянула ему конфетку в красивой зелёной обёртке. Глаза мальчика повеселели, когда он брал подарок. Девочки улыбнулись и побежали к своему столу, а мальчик двумя руками прижал конфетку к себе. Заглянул за шкаф и любопытный Огонёк, посмотрел на мальчика и по-взрослому покачал рыжей головой.

Шум и гам продолжались недолго. Вскоре воспитательница позвала ребятишек смотреть мультфильмы, и дети так же шумно и радостно покинули комнату. На этот раз к мальчику за угол заглянула Женя-Конопушка.

— А ты стой тут, раз не хочешь как все быть,—сказала она.—Будешь так себя вести, вообще никогда мультиков не увидишь.

Мальчик, мельком взглянув на нянечку, склонил голову.

— Ну-ну, стой.

Конопушка, подгоняя выходящего последним Огонька, вышла, закрыв дверь.

Мальчик остался один. Теперь он мог подойти к окну и заглянуть за шторку. Мальчик подошёл к краю большого, от потолка до самого пола, занавеса с нарисованными на нём яркими крупными цветами и потянул сначала штору, а потом висевший за ней тюль. За окном было уже светло. Но двор и горку, с которой катались ребятишки постарше, он не увидел. Большие и маленькие листья, стволы ледяных деревьев, намёрзшие на стекле, скрывали от мальчика улицу, и он слышал только смех ребятишек, их голоса и окрики воспитателей. Мальчик вернулся к шкафу, притулился в угол. Постояв несколько минут, он сначала присел на корточки, а потом сел на пол, вытянул ножки и, прислонившись спиной к стенке, а плечом к шкафу, задремал. Уснул он крепко и не услышал, как через некоторое время дети вернулись в комнату, и не увидел, как за шкаф заглянула нянечка.

— Я чуть было не забыла о нём, а он спит себе!—Конопушка потрясла мальчика за плечо.— А ну-ка просыпайся. На минуту нельзя оставить без присмотра!

Мальчик открыл глазки. Женя-Конопушка, присев на корточки, загородила от него всё пространство.

— Я что сказала тебе делать? Стоять. А ты развалился здесь…

Мальчик потёр глазки, зевнул.

— Ещё и зевает. Вовремя спать надо. Ночью и в сонный час, а не за шкафом спрятавшись,—наступала нянечка.—Вставай давай, вставай…

Мальчик подтянул ножки, облокотился ручкой о шкаф, поднялся.

— Ой, да ты, как всегда, описался!—воскликнула Конопушка.—Мокрый! Людмила Александровна, он мокрый опять!—закричала она, выводя мальчика из-за шкафа.

Ребятишки, снова занятые рисованием, оставили творчество и смотрели на них.

— Ну что с ним делать? Веди, переодевай. Пусть будет со всеми пока…—сказала сидевшая за столом, недалеко от двери, воспитательница, делавшая пометки в журнале.—Ещё раз провинится—снова накажем.

Конопушка взяла мальчика за руку и, с силой дёрнув, повела в раздевалку.

— Возись тут с тобой…—ворчала она, снимая с мальчика колготки.—И когда ты будешь вести себя как все, а? Когда родители тобой заниматься будут? Вот придёт мать, я ей скажу, чтобы приучала тебя на горшок ходить, когда надо. Или дома ты не писаешь в штаны? Только здесь? Мне назло?..

Переодев мальчика, нянечка отвела его в умывальник, заставила умыть с мылом лицо и руки.

— Иди ко всем, рисуй,—слегка подтолкнув его к ребятишкам, сказала Конопушка, когда они вернулись в большой зал.

Мальчик пошёл к столику, где сидели Огонёк и сёстры-близняшки, сел на свободный стульчик. Одна из сестрёнок пододвинула ему начатый им утром рисунок. Мальчик улыбнулся и, взяв красный карандаш, дорисовал ещё несколько лучей к жёлтому кругу—солнышку.

— Людмила Александровна, на прогулку будем сегодня выводить или нет?—громко спросила воспитательницу Женя-Конопушка, и дети замерли с карандашами в руках.

— Нет, Женечка. Сегодня не будем,—ответила ей воспитательница, поднимаясь из-за стола и тряся копной волос.—Холодно сегодня. Старшая группа выходила, так двое детей чуть носы не отморозили. Медсестре оттирать пришлось. А наши и подавно перемёрзнут все. Пусть продолжают рисовать до самого обеда.

До обеда мальчик нарисовал под солнышком домик с окошком, крылечком и печной трубой. Домик и окно он рисовал чёрным карандашом, крыльцо коричневым, а дым синим. Потом, подумав немного, мальчик нарисовал синим карандашом папу и маму. Они стояли у крыльца и держались за руки. Подумав ещё немного, он нарисовал в окошке всё тем же синим карандашом голову кота с маленькими торчащими ушами. Голова кота тоже получилась маленькой, и, скорее всего, никто, кроме самого мальчика, не догадался, что в окне нарисован кот, но мальчик знал, что это был именно тот пушистый кот, который жил раньше у них в доме, забираясь спать то на детскую кроватку, то на большую кровать. Несколько раз папа прогонял кота с постели, а потом куда-то унёс.

За обедом мальчик ел с аппетитом. Он проголодался—это раз, а второе—заметил: Женя-Конопушка следит за ним больше, чем за другими детьми. Мальчик съел суп быстрее всех, поставил

на пустую глубокую тарелку плоскую тарелочку с толчёной картошкой и котлеткой, пододвинул к себе компот и стал есть картошку, запивая компотом, как это делал дома за обедом его папа.

— Санька-молчун, а ты почему без хлеба второе кушаешь?—тут же встала над ним Конопушка.— Ну-ка бери хлеб. Не хитри мне…

Сёстры-близняшки, сидевшие рядом, замерли, ожидая, что мальчик вновь будет наказан. Мальчик взял кусочек хлеба, надкусил, запил компотом.

— Что за привычка запивать компотом? Компот пьют, когда второе блюдо съедят, а не раньше.

Мальчик отодвинул стакан, взял вилку, подцепил на неё картошку.

— Вот так,—сказала Конопушка.—Смотри у меня.

После обеда детей отправили спать. Сонный час на самом деле равнялся двум. С четырнадцати до шестнадцати часов. Это было удобно работникам детского сада. После сонного часа детей отводили в ту же самую большую комнату—игровой зал, и практически ими уже не занимались ни воспитатель, ни нянечка. После семнадцати часов детей начинали забирать родители и в течение полутора часов разбирали всех. Но сонный час был только для детей. Для воспитателей и всего прочего персонала детского садика, включая техничек и поваров, эти два часа были ответственными. «Ответственное мероприятие»—так назывались последние два месяца в детском саду часы с четырнадцати до шестнадцати. Причиной тому было то, что, помимо завода по пропитке шпал креозотом, над детским садом шефствовал ещё и близко расположенный к городу совхоз, поставляющий на завод и в детский сад сельскохозяйственные продукты: молоко, масло, мясо и даже хлеб из собственной пекарни; совхоз этот отмечал в марте юбилей своей организации, и благодарные заводчане решили дать в честь юбиляра праздничный концерт, в котором были задействованы работники детского сада. Из детсадовских работников составили хор и поручили исполнить песню «Хлеб—всему голова». Коллектив детского сада был небольшой, а потому в хоре пели все: от заведующей до сторожа. Репетиции пробовали вначале проводить по выходным дням в заводском Доме культуры, но уже после первой спевки женщины стали высказывать недовольство по поводу того, что в выходные дни им приходится быть в отрыве от семьи, и администрация завода пошла им навстречу, разрешив репетировать без отрыва от производства. Вот так и родилась в чьей-то светлой голове идея, сразу принятая без возражений и обсуждений: заняться творчеством во время сонного часа, когда все дети лежат в кроватках и «ответственному мероприятию» никто не сможет помешать.

И в этот раз, уложив ребятишек, воспитатели, нянечки, повар, его помощник и подошедшие технички со сторожем собрались в актовом зале, баянист развернул баян, и по всему детскому саду загремело: «Ты запомни, сынок, золотые слова: хлеб—всему голова, хлеб—всему голова…»

Девятнадцать человек, включая недавно принятого в штат дворника, тянули во всё горло, каждый из них старался быть услышанным, а потому пытался петь громче стоявшего рядом. Особенно усердствовала баба Маша, работница кухни, в молодые годы участвовавшая в составе фронтовых бригад артистов, как сейчас модно говорить, «на подпевках». Голос её был зычнее других. Баянист—главный в этом мероприятии человек—поставил её «на второй голос», то есть она и ещё несколько человек должны были быстро, пока остальные тянут последние звуки, пропеть ещё раз следом «Ты запомни, сынок» и «Золотые слова», а затем вместе со всеми продолжить общее пение.

От пения и музыки в актовом зале дрожали стены и потолок детского дошкольного учреждения, и погрузиться в сон в сопровождении хора и баяна могли только очень маленькие или сильно уставшие, не выспавшиеся за ночь дети. Большинство из них, кто молча, кто шёпотом переговариваясь, послушно лежали в кроватках, а когда открывалась дверь и в группу заглядывали воспитательница или нянечка, ребятишки как один закрывали глазки и притворялись спящими.

Мальчик тоже не спал. Он лежал с открытыми глазами и смотрел на шторы с яркими цветами, закрывающие большое окно. Через шторы пробивался свет яркого зимнего дня и доносились редкие звуки улицы: шум проходящих вдали автомашин, обрывки разговоров, лай собак. Но всё это, естественно, можно было слышать, только когда затихали громкая игра баяна и мощное пение. А музыка и пение почти не затихали, и в детском саду «Солнышко» даже самые малые дети ясельной группы до конца жизни сумели усвоить: хлеб—всему голова. Мальчик это тоже запомнил. Он, уже привыкший к пению и музыке во время сонного часа, скучал по маме и папе. Вспоминал, как стоял у разгоревшейся печки, за дверцей которой горел огонь, как приходил в восторг, когда папа открывал дверцу и пламя рвалось из печи, едва не подступая к ним. Папа брал в руки кочергу, раздвигал горящие поленья и подбрасывал в печку новых дров. На новые поленья сразу же набрасывался огонь, они начинали потрескивать, а восторгу мальчика не было границ. Вместе с мальчиком светилась улыбкой возившаяся у печи мама. Она приседала перед сыном на корточки, обнимала и целовала в щёчку. «Никак Санька у нас кочегаром будет! От огня оторваться не может!»—шутил папа, и они с мамой громко смеялись, а вместе с ними смеялся мальчик. «Или сталеваром!»—говорила мама, и они снова все смеялись.

От хорошего воспоминания мальчику стало хорошо, грусть и скука отошли в сторону, и улыбка озарила его. Мальчик лежал и улыбался, глядя на большие шторы с цветами. Он так увлёкся своими воспоминаниями, что не услышал, как в очередной раз ненадолго затихла музыка, открылась дверь и в спальню тихо вошла Женя-Конопушка.

— Ты почему, Санька, не спишь? — спросила нянечка, встав у кроватки мальчика. — Все дети как дети — спят, а ты опять за своё, значит? Не хочешь соблюдать режим дня? Или там, за шкафом, выспался? Вот я опять отправлю тебя туда, за этот шкаф, и простоишь там до конца дня. А мать придёт, я скажу ей, что ты был наказан. Понял?

Мальчик лежал молча. Он замер, напряг всё своё тельце, ожидая нового наказания.

И наказание последовало.

— Вставай, одевайся, и пошли в угол, — скомандовала Конопушка, — Живее давай! Меня ждут на репетиции.

Мальчик сел на кроватку, взял лежавшие на тумбочке колготки, рубашку.

— Ну, ещё тут мне полчаса возиться будешь с одеванием! — воскликнула Конопушка, видя, что мальчик собирается надевать колготки. — Там оденешься. Бери быстро колготки и рубашку, и пошли, — сказала нянечка и, не дожидаясь, сама взяла в одну руку одежду мальчика, а самого его, едва он обул тапочки, обхватив за плечо, повела из спальни.

Открыв дверь в зал для игр, Конопушка сунула мальчику в руки его одежду.

— Ну, иди. Знаешь куда сам… А мне некогда с тобой тут… репетировать надо.

Дверь за мальчиком закрылась, и он остался один.

3.

Дверь за мальчиком закрылась, и он остался один в большом игровом зале.

Мальчик прошёл к столику, где до обеда рисовал вместе с сестрёнками-близняшками и Огоньком, присел на стульчик, снял тапочки и стал надевать колготки. Не без труда ему удалось натянуть их сначала на одну, потом и на вторую ногу и, наконец, надеть. Затем мальчик надел белую рубашку с коротким рукавом и по привычке поискал взглядом кофточку, но не нашёл. Он не сразу догадался, что кофточка осталась в спальне, а когда понял это, то, взяв со стола свой рисунок с солнышком, домиком, папой, мамой и котом в окошке домика, горестно вздохнул и пошёл за шкаф — к месту, где суждено ему было отбывать своё второе за день наказание.

…Мальчик забился в самый угол, ближе к стенке, сел на пол и стал рассматривать свой рисунок. Он снова вспомнил о маме и папе, понимая, что день сегодняшний подходит к концу и уже остаётся ему не так много времени быть наказанным, что скоро уже должны прийти за ним и увезти домой. Он представил, как он обрадуется, когда придут за ним, как будут его одевать, как посадят на санки и он поедет снова по дороге и снежным тропкам домой. А дома топится печка, вьётся за дверцей весёлый огонь, мама возится с кастрюльками у плиты, а папа сидит за столом и пишет на белых листах бумаги буквы авторучкой. А кто придёт за ним сегодня — мама или папа?

Лицо мальчика снова озарила улыбка, он зевнул, потянулся, наклонил головку на стенку и задремал.

…Мальчику снился дом, который он нарисовал на листочке. Мальчик смотрел из дома в окно. А за окном на небе светило солнышко; папа и мама стояли у крыльца, держась за руки; на подоконнике, ударяя лапой по стеклу, мурлыкал большой пушистый кот; топилась печка, и в открытой её дверце прыгал по белым поленьям огонь.

«Санька проснулся! Санька проснулся!» — радостно кричал папа.

Мальчик видел, как папа с мамой поднялись на крыльцо, он слышал их шаги у входной двери и ждал, что дверь откроется и они войдут в дом, а он бросится им навстречу. И он уже приготовился к встрече. Но дверь не открывалась, хотя шаги в сенях стали громче, громче стали и голоса, но голоса теперь были не папы и мамы, а чьи-то другие — незнакомые и грубые.

«Ну, эти зарепетировались сегодня, в корягу. Уже сончас кончился, а они всё поют. Куда ставить-то? Толком не объяснили».

«Куда-куда? Заведующая сказала, у двери новый холодильник стоять должен. А он сюда не входит. Шкаф отодвигать надо… И нет никого. Уже на часах шестнадцать тридцать пять, день рабочий кончается, а они канитель разводят. Сходи, Петя, позови хоть воспитательницу».

«А чё её звать? Давай двинем шкаф этот, там до стенки ещё расстояние есть, и как раз холодильник у двери встанет».

«Ну, давай попробуем. Если что, потом переставим».

Сон мальчика становился тревожным. Чужие голоса стихли, но на крыльцо стала надвигаться большая чёрная тень. Мальчик посмотрел на кота. Кот повернулся к мальчику, потянул вверх лапы и стал расти. Он становился больше и больше, спрыгнул с подоконника к ногам мальчика и встал перед ним человеком в серой одежде, но с кошачьим лицом. Бледное кошачье лицо человека было неподвижно. Человек протянул обе руки к мальчику и поманил к себе.

«Шестнадцать тридцать пять… — сказал кто-то за дверью и повторил: — Шестнадцать тридцать пять… — добавив ещё одно слово: — Время…»

Мальчику захотелось крикнуть, броситься к двери, за которой должны быть папа и мама, но

чёрная тень проскользнула в сени, навалилась на входную дверь, дверь затрещала, сорвалась с петель и упала на мальчика. Ни вскрикнуть, ни позвать на помощь мальчик не успел. Он упал в темноту и почувствовал, что страха не стало. Мальчик посмотрел вперёд и увидел вдали маленький огонёк-звёздочку, а потом ещё одну, и ещё, уже ближе, и вот совсем рядом загорелись ещё несколько ярких звёздочек. Звёздочки были такие же, как утром на небе, они закружились и стали падать. Мальчик протянул им навстречу руки, подставил ладони, чтобы звёздочки не пролетели мимо, но вдруг сам весь приподнялся и полетел. Он снова увидел комнату, окно, дверь… Мальчик поднимался выше и выше. Вот он уже под самым потолком над комнатой, а вот уже над крышей, над домом, над городом… Мальчик поднимался всё выше и выше и кружился среди мерцающих и падающих огоньков. И летел, и летел, и летел…

«Санька! Санька! Там же наш Санька!..»—доносилось до него снизу то ли ласковым весёлым голосом мамы, то ли отчаянным криком Жени-Конопушки…

А звёзды всё кружились и кружились вокруг мальчика и падали и падали вниз.

Мужчина и женщина

1.

Звёзды кружились над самой головой и падали вниз во дворе четырёхквартирного щитосборного дома. Андрей, проводив Алёну с сыном, закрыл калитку на вертушку и, подняв обе руки, попробовал дотронуться до мерцающих рядом точек. «Как вызвездило-то сегодня! Никогда такого неба не видал». Он поёжился от холода и, поняв, что звёзд ему не достать, побежал в дом.

На кухне Андрей зачерпнул из кастрюли ещё горячий суп и небольшими глотками стал есть прямо из поварёшки над плитой и открытой кастрюлей. Потом он прошёл в спальню, включил телевизор, но тот ответил ему шипением и точками-мурашками на экране. «Сегодня же с восьми показывать начинают»,—вспомнил Андрей, выключая телеприёмник. На столе у телевизора лежали исписанные листы бумаги. Вчера он хотел закончить очерк о ветеране Великой Отечественной войны и отнести его в редакцию местной газеты, где он числился нештатным корреспондентом и где иногда, помимо очерков, бывало, печатали его короткие рассказы. Но очерк не получался. Всё, что выходило из-под шариковой ручки, Андрею не нравилось. Всё было каким-то пресным и уже где-то им читанным и кем-то писанным. Хотелось написать по-своему, оригинально, но оригинальность, с какой он писал некоторые рассказы, куда-то ушла и больше не приходила. Андрей был уверен: ушла она временно,—и связывал творческий кризис с нынешним своим физическим недомоганием. Он лечился в железнодорожной больнице от алкогольной зависимости, через день ходил на болючие уколы, от которых то бросало в жар и пот, то холодела спина и тянуло ногу. А ещё он глотал таблетки тетурама, по слухам, дурно влияющие на здоровый мужской молодой организм. Когда Андрей говорил об этом Алёне, она, вторя своей матери, отвечала, что водка влияет на организм ещё больше. От своей подруги Риты, медсестры процедурного кабинета железнодорожной поликлиники, Алёна принесла антиалкогольный плакат, на котором была нарисована большущая бутылка водки, разделяющая мужчину и женщину. «Пьянство приводит к половому бессилию»,—утверждала крупная надпись внизу плаката. Большой плакат Алёна прикрепила над кухонным столом, и Андрей, несколько месяцев распивая под плакатом с приятелями водку, нередко отпускал шутку-другую по поводу и без повода. Ему охотно вторил лучший друг и самый частый гость четвертушки Гена Хиль, как и Андрей, пока на мужское бессилие не жаловавшийся.

Месяц назад, будучи не в настроении, Андрей сорвал плакат этот и пустил его на растопку печки. Это произошло после очередного его трёхдневного запоя, когда пришла тёща Александра Никитовна и, пристыжая зятя, поставила условие: или жить с семьёй, или пить дальше, но уже без её дочери и внука! «Давай берись за ум, пока весь его не пропил,—наставляла мать Алёны.—Не пил бы—давно бы в редакции работал, и квартиру благоустроенную дали бы—не мучились бы в этой лачужке. У нас сосед с четвёртого этажа лечился и сейчас не пьёт, больше года уже. Может, и тебе поможет…»—«Может, и поможет…»—сказал тогда тёще зять и оправился в её сопровождении в наркологический кабинет расположенной неподалёку от железнодорожной больницы. Плакат он сжёг, вернувшись после первого лечебного сеанса и сказав жене, что теперь он не может больше смотреть на водочные бутылки ни в натуральном, ни в нарисованном виде. Готовая было возмутиться Алёна сдержала гнев, задумалась и вечером того же дня сама собрала в сенях все пустые бутылки и отнесла их в ларёк по приёму стеклотары.

На работу идти не хотелось, Андрей чувствовал себя не выспавшимся, да и желания плестись по морозу до автобусной остановки, а потом стоять ждать автобус на холоде, а после бегать вызывать на работу людей во внеурочную смену вместо не вышедших в свою, ловить при этом колкие взгляды составителей поездов и их жён не было у него никакого. Но стрелки потикивающего будильника незаметно двигались и торопили.

В половине восьмого Андрей погасил на кухне свет, немного повозился в сенях, закрывая в темноте на ощупь ключом дверь квартиры, и,

выйдя на крыльцо, повесил замок на дверь в сени. Звёзды по-прежнему висели низко. За калиткой Андрей оглянулся на свой утопающий в темноте сборно-щитовой дом и медленно пошёл на свет больших электронных часов на здании узла связи. Цифры высвечивали восемь сорок. «Успею. Автобус всё равно раньше, чем в восемь пятьдесят, не подойдёт». Морозец ущипнул его за нос и за правую щёку. Андрей потёр прихваченные места, стёр иней с усов и добавил шагу. Минут за пять он дошёл до орсовской столовой и ещё через минуту был уже на автобусной остановке, где человек шесть в оранжевых жилетах ждали служебного транспорта. Некоторые из них Андрея узнали и негромко поздоровались. Автобус подошёл минут через пять-семь. Андрей пробрался в конец салона, уселся на последнее сиденье. До конторы станции было недалеко, и в былые дни Андрей ни за что бы не сел в автобус—добрался бы пешком, но с началом лечения, чувствуя постоянное недомогание, он изменил своим принципам. Мужики негромко делились мнениями о новом руководителе страны, предполагали, каких сюрпризов им ждать от власти и подорожает ли водка. Об этом говорили перед началом планёрки в красном уголке станции и почти все диспетчеры, составители поездов и регулировщики скорости движения вагонов.

Андрей сидел под большой, почти в полстены, картиной с изображением железнодорожного моста, то вслушиваясь в наставления начальства, то вспоминая недописанный им очерк о ветеране войны, то думая, стоит ли ему сегодня идти в наркологический кабинет. Рассеянно слушал он после планёрки и размышления старшего нарядчика Францыча—пожилого волжского немца. Повидавший в жизни с лихвой, бывший политзаключённый Францыч умудрённо размышлял о том, «как корошо, што не кажтый дэнь тают зарплата, а то нарот бы на рапот сопсем не хотил пы, а пил толко вотка и порсел, как сибирский лайка втали от хосяин, а арбайт бы стоял сипе. Сачем рапотать, когда вотка есть?». Андрей и штатная нарядчица станции Раиса кивали в такт размышлениям своего начальника, даже не помышляя комментировать их. Андрей понимал, что под критические замечания старшего нарядчика он сам попадает в первую очередь. Месяц назад, по причине пьянства, он дважды не вышел в смену и, когда принёс справку из наркологического кабинета, был временно переведён на нижеоплачиваемую работу—в посыльные. Надо сказать, что на станции с прогульщиками и пьяницами не церемонились: большинство сразу же увольняли «по статье» (желающих устроиться на железную дорогу всегда хватало), а «для исправления» оставляли немногих. В зачёт «помилованным» здесь шли выслуга лет, безупречное прошлое или добровольное лечение от алкогольной зависимости. Желание добровольно пройти курс лечения ценилось руководством станции особенно. О количестве вылечившихся и ставших на трезвый путь администрацией ежеквартально докладывалось каким-то вышестоящим инстанциям—не то железнодорожным, не то медицинским, не то даже по партийной линии, но главное—кампания по лечению своих работников от пьянства шла в зачёт, и результаты её высоко ценились при подведении итогов соцсоревнования. Андрей вполне мог бы не попасть в число «помилованных»—он не был активистом, но свою роль сыграли: во-первых—его публикации в местной газете, о которых начальство не могло не знать, а во-вторых—авторитет его тёщи, известного бригадира колёсного цеха вагонно-ремонтного депо. Впрочем, скорее всего, на решение администрации, во-первых, повлияла тёща, а уже во-вторых—газетные дела.

По вызовам Андрею бегать не пришлось. Все заявленные на смену составители поездов, их помощники—сцепщики и башмачники («башмари», как их здесь называли), а официально—регулировщики скорости движения вагонов, вышли на работу. Францыч сделал в журнале выхода нужные пометки и ближе к полудню отпустил нарядчицу и посыльного до вечера, привычно напомнив им, чтобы не опаздывали к разнарядке ночной смены.

Выйдя из конторы, Андрей поморщился—снег на крыше здания вокзала и под ногами слепил глаза. Ярко светило январское солнышко, морозец хотя и стал слабее, но совсем не отступал: тут же ущипнул посыльного за голые пальцы, заставив спрятать руки в рукавицы. Вокзал, как всегда, в любое время года, жил своей дорожной жизнью. На перроне суетились отъезжающие, встречающие и провожающие. Тут же небольшой колёсный трактор катил состав из пяти тележек с посылочными ящиками к подъезжающему дневному северному поезду, заставляя расступиться людей в оранжевых жилетах, убиравших деревянными лопатами снег на перроне.

Андрей прошёлся по перрону, заглянул в здание вокзала. Всё здесь было как и в тот вечер его знакомства с Алёной. Почти три с половиной года прошло с ненастного сентябрьского дня, когда он впервые увидел её. Прибывал вечерний северный поезд, народу только было на вокзале побольше. Как давно это было! А может, не было? Может, это было не с ним, а с каким-то другим парнем, на него теперь мало похожим?

Несмотря на морозец, Андрей решил идти до дома пешком. По пути зашёл в железнодорожную поликлинику, к врачу-наркологу.

—Ну что, как самочувствие, товарищ поэт?—спросила, улыбаясь, Галина Георгиевна, увидев Андрея в дверях процедурной.—Проходи, не стесняйся.

— В целом нормально, если без сульфазина,— сказал Андрей, проходя в кабинет.— Хорошо бы его не ставить больше…
— Не ставить нельзя. Нужно полный курс пройти. Ну, помучайся немного, зато потом хорошо будет: тяга к спиртному пропадёт, сон наладится. Нужно потерпеть. Это муки исцеляющие, не то что после пьянства недельного…
— Ну хоть один укол пропустить можно?

Врач покачала головой:
— Ну что с тобой делать? Жалко поэта. Потом напишешь в своих мемуарах: мол, была такая Галина Георгиевна, нещадно колола уколами… Ладно, завтра посмотрим, а сегодня на-ка прими таблетки.

Андрей прямо с ладони врача взял в рот два белых кружочка, проглотил и запил водой из стакана, который тут же подала ему Галина Георгиевна.
— Проверять не буду. Надеюсь, сам понимаешь, что тебе сейчас это необходимо,— сказала врач, прощаясь.

Андрей кивнул и вышел. Про таблетки эти, называемые тетурамом, ходили разные слухи: и что они в крови не растворяются, а оседают в печени и почках, и что лишают мужской силы, и что даже действуют на психику. Большинство станционных, проходивших в поликлинике курс лечения от алкогольной зависимости, получали от опытных товарищей, прошедших уже не по одному курсу, наставления, как обмануть врача и не глотать таблеток. Советовали тренироваться и прятать под язык. Но такой метод редко проходил, Галина Георгиевна знала эти хитрости и частенько с помощью медицинской ложки проверяла полость рта пациентов после того, как они при ней глотали тетурам. Некоторых разоблачала. Но самые умные пошли дальше — придумали, на их взгляд, более эффективный метод: перед самым визитом к наркологу они выпивали граммов по пятьдесят подсолнечного масла и, проглотив таблетки, сразу же спешили в туалет или за угол поликлиники, толкали поглубже в рот два пальца и, вызывая искусственным путём рвоту, извлекали из своего драгоценного организма вредные, по их убеждению, вещества. Андрей к этим советам не прислушивался, был убеждён, что лечение ему пойдёт только на пользу и пить он больше не будет совсем.

Домой, в холодную квартиру, идти не хотелось, и от больницы Андрей пошёл к пятиэтажкам заводского посёлка, к дому, где жила его мать. Он рассчитал правильно: младшая сестра его Елена, жившая с мужем у матери, была дома. Елена, приветливо встретив брата, предложила ему тарелочку только что сваренных пельменей.

Едва Андрей сел за стол, как в дверь позвонили.
— Наверное, Серёга на обед заехал,— предположила Елена, имея в виду мужа.

Но то был не Серёга, из деревни приехала Ольга, ещё одна сестра Андрея. Она была старше Елены на три года, но младше Андрея на полтора. Она три года уже жила в селе, в своём доме, с малолетним сыном Лёшей.
— Оставила дома мужа с ребёнком, а сама в областной центр собралась,— пояснила Ольга цель приезда брату.— С Леной вот собрались. Дождёмся мамку с работы и за билетами на поезд поедем.

Ольга привезла деревенского сала, домашней колбасы, но Елена предложила пельменей и ей. Ольга отказываться не стала. После пельменей они втроём уселись ближе к телевизору. Шёл повтор транслировавшейся в воскресенье популярной передачи «Шире круг». Музыка и хорошая домашняя обстановка располагали к хорошему настроению. И оно было некоторое время, играло в крови, озарялось доброй улыбкой на лице Андрея и сестёр. «Как хорошо в благоустроенной квартире: ни печь топить не надо, ни воду таскать с колонки, ни снег от крыльца отгребать…» Андрей откинулся на спинку дивана и вдруг почувствовал усталость — тяжесть, наполнившую тело. Он прикрыл глаза, но почти тут же открыл. «Так и уснуть можно… Нет, спать не буду… Пойду печку протоплю немного, очерк, может, закончу…»
— Может, отдохнёшь немного, полежишь?— предложила Лена.— В спальне. А то усталый какой-то…
— Нет, нет!— встрепенулся Андрей, поднимаясь.— Пойду, наверное. Счастливого вам пути. Привет областному центру, тётке и двоюродным сестрёнкам!

У подъезда Андрей встретил Хиля. Три года назад они вместе работали сантехниками на заводе по ремонту дорожно-строительных машин, крепко дружили, не один раз бывали в гостях друг у друга. Гена был постарше Андрея на пять лет, опытнее в делах житейских и семейных и нередко помогал приятелю в решении бытовых вопросов: привезти дров, вскопать огород. Ну а о том, чтобы выпить вместе бутылочку водки или литр портвейна, у друзей не было разногласий. Гена числился на хорошем счету у начальства. Летом во время капитальных ремонтов теплотрассы и водопровода его назначали бригадиром, а зимой — дежурным сантехником завода. Андрей даже написал о Геннадии зарисовку в городскую газету как о передовом рабочем и хорошем товарище. Гена это оценил, вырезку из газеты хранил и при удобном случае показывал всем новым и старым знакомым. И потом, когда Андрей ушёл с завода, приятели дружбу не потеряли. Встречи «за бутылочкой» продолжались, и нередко Андрей с Геной засиживались допоздна, потом горячо прощались, и хозяин обязательно шёл провожать гостя (чаще это был Гена). Проводы эти затягивались часа на полтора, а то и на два. Приятели проходили добрую половину пути от дома одного

к дому другого, после чего провожаемый говорил провожатому, что теперь он обязан довести его до дому, ибо беспокоится, что тот «выпил сегодня лишку и может потерять ориентир»; провожатый мотал головой и уверял обратное. Некоторое время друзья убеждали друг друга и почти всегда приходили к соглашению и расходились по домам. Чаще всего местом, где Андрей с Геной прощались после застолья и проводов, была так называемая Креозотка, а конкретно—мостик через ручей с некогда чистой водицей, называвшийся ранее Безымянным. То, что вода была в ручье чистая, а с обоих берегов его шумела берёзовая роща, хорошо помнил дед Андрея—Николай Григорьевич. В конце девятнадцатого века начали строить железную дорогу, которая пролегла по населённому пункту, ставшему впоследствии городом. Наступление человека на природу продолжилось: ниже «железки» появилась конная дорога, по которой возили рельсы и шпалы для строителей Транссиба, ручей запрудили, а рощу медленно вырубили. В тридцатые годы двадцатого века на месте, где шумели берёзы, построили шпалопропиточный завод, а отходы его производства сначала прямым потоком, а затем через очистные сооружения потекли в ручей. За короткое время вода стала непригодной для питья, а некогда прозрачный, а теперь мутный поток окрестили Креозоткой. Рыба, до того жившая в небольшом пруду, погибла, а сам пруд, где раньше любили купаться дети, утки и гуси, стал зарастать камышами. От жилого посёлка другого завода—по ремонту дорожно-строительных машин, за которым был дом Геннадия,—к домам-четвертушкам, где жил Андрей, через Креозотку проходила дорога с небольшим мостиком—трубой, по которой текла маслянистая вода. Там, в низине у трубы, обычно и расставались приятели.

В этот раз Хиль шёл со стороны Креозотки домой (два года назад он получил благоустроенную квартиру в заводской пятиэтажке).

— Привет, Андрюха!—как всегда, эмоционально приветствовал друга Хиль.

Шапка его прикрывала от мороза одно ухо, второе было скрыто в густой шевелюре, края усов подёрнулись инеем. Не сходящая с лица улыбка, блеск в глазах, громкая речь не оставляли сомнений: Гена навеселе.

— Привет, Гена!—обрадовался приятелю Андрей.

— Ну что, ты ещё в завязке?—спросил Хиль, пожимая руку Андрея.

Андрей кивнул.

— Эх ты, бедолага! А то пошли бы ко мне: Надюха сейчас на работе, а я калымчик провернул—поставил одному инженеру новую мойку. Капитальную мойку—японскую. У мужика хорошие связи с японцами. Они как-то приезжали к нам на завод, и он с ними подружился. И теперь у него и магнитофон японский есть, и телевизор, и даже коньяк оттуда и консервы.

Гена раскрыл матерчатую сумочку, что держал в руке, показывая Андрею бутылку и две банки консервов.

— Видал?.. Сейчас приду, как мякну—и хоккей смотреть буду. Мне на смену завтра.

— Хорошо тебе, а я курс лечения прохожу—никак не могу закончить.

— Закончить, чтобы снова начать!—засмеялся Хиль.—Ну, пошли, хоть консервами угощу—это рыба какая-то, не то шпроты ихние, японские, не то крабы…

— Нет, Гена. Не хочу себя искушать.

— Ну, как хочешь,—вздохнул Гена и, запустив руку в сумку, достал железную баночку.—На, хоть рыбкой заморской супругу угости.

— Спасибо,—поблагодарил Андрей, пряча баночку в карман полушубка.

— Ну, пока,—Гена снова пожал руку приятелю и направился к своему дому.—Привет супруге,—крикнул он не оборачиваясь.

А Андрей пошёл через Креозотку к своему дому.

Электронные часы на здании узла связи высвечивали тринадцать сорок пять, когда Андрей подошёл к калитке своей четвертушки. Представив, что сейчас ему придётся топить печь, греть воду, а потом сидеть в верхней одежде и ждать, когда в прохладной квартире потеплеет, он поморщился. Сразу же появилось желание перенести это мероприятие часа на два. «Протоплю перед тем, как пойду за Санькой,—решил Андрей.—А сейчас что толку? Потом опять придётся кочегарить. Лучше сейчас до бабушки с дедом прогуляюсь, проведаю стариков». И он пошёл дальше по улице, мимо общественной бани и узла связи, в район старого города, где в небольшом деревянном домике жили родители его отца.

Андрей не сомневался: дед и бабушка дома. После смерти отца Андрея прошло почти десять лет. С тех пор его бабушка Аня, с молодых лет страдающая ревматизмом и до того почти не покидающая дом, теперь выходила только за ворота—посидеть летом на скамеечке у палисадника. Лишь один раз за это время её вывозили из дома на свадьбу Андрея. Дед—партизан Гражданской войны, участник боёв с колчаковцами и белочехами, всегда подвижный и весёлый,—после смерти сына стал слабее здоровьем и тоже выходил из дома нечасто, только по неотложным делам—на почту, в магазин, иногда в общественную баню.

Старый город был недалеко: Андрею нужно было пересечь две улицы—и уже начинался частный сектор. Небольшая улица имени писателя Горького разделяла жилые дома новой постройки, военный комиссариат, Дом культуры железнодорожников, здание редакции местной газеты от деревянных

бревенчатых домов, выстроенных пятьдесят-семьдесят лет назад. Улица, по которой шёл Андрей, называлась Партизанской и тянулась напрямую от заводского посёлка мимо его дома до дома деда и ещё дальше — к нефтебазе и популярному в городе винно-водочному магазину, называвшемуся в народе «Партизанской винополкой». В конце семидесятых, когда родной город Андрея стал «воротами» большой всесоюзной стройки, по Партизанской, от улицы Горького до нефтебазы, проложили ровное асфальтовое покрытие, и теперь почти ежедневно летели по ней на приличной скорости после семнадцати часов большегрузные и малогабаритные автомобили. Путь этот тут же окрестили «водочным». Водители и строители, в большом количестве нахлынувшие на стройку из многих республик, краёв и областей страны и почти на четверть увеличившие население города, торопились, как и многие советские граждане, до закрытия магазина купить водки и отметить окончание рабочего дня. Торопились ещё и потому, что нередко после семнадцати часов магазин набивался желающими купить бутылочку-другую так, что двери его не закрывались вовсе, а прилавок трещал под напором жаждущих. К восемнадцати часам жаждущих не убывало, а наоборот, к «винополке» подкатывали новые оранжевые солидные «Магирусы», голубенькие аккуратненькие «зилки́», тормозили здесь, бывало, и белокабинные МАЗы, и даже тёмно-зелёные, коптившие отработанной чёрной соляркой КрАЗы. На фоне большегрузного семейства несколько терялись легковые «уазики», «жигули», «москвичи» и «запорожцы», но их не стоило сбрасывать со счёта, и они привозили от одного до трёх покупателей и занимали возле торговой точки определённое место. Парковка автомобилей возле «Партизанской винополки» в это время растягивалась вдоль трассы, ведущей за город, на полкилометра, а может быть, и более, а очередь в магазин начиналась метров за пятьдесят от двери «винополки». Но неудобная парковка и многометровая очередь (которая, кстати, двигалась быстро) не останавливали жаждущих, они боялись хуже смерти только одного: водки на всех могло не хватить. И её действительно на всех не хватало. Водка заканчивалась всегда в одно и тоже время — около восемнадцати тридцати. И тогда…

Тогда колонны мощных автомобилей, предназначенных для перевозки большого количества грузов, и шныряющие между ними легковушки разбегались по «водочному пути» по городским улицам в поисках спиртного. Чаще они двигались к другому популярному в городе винно-водочному магазину — деповскому, выезжая на улицу Горького, мимо военкомата, ДК железнодорожников, редакции, и дальше ныряя под железнодорожный мост. Массовое одностороннее движение создавало неудобство разрозненно движущемуся навстречу транспорту, и тот, включая маршрутные автобусы, останавливался, предпочитая переждать у обочин.

Бывало, несколько раз Андрей — один или с кем-то из приятелей (иногда и чаще других с Хилем) — проделывал пешком «водочный путь» от своего дома до «Партизанской лавки» и обратно, но сегодня его маршрут был более привычным и вдвое короче.

Из трубы столбом уходил в небо сизо-белый дым, заметный ещё издали, и Андрей сделал вывод: бабушка что-то готовит или стряпает. И он не ошибся. Бабушка стряпала пельмени-«пуговки», такие маленькие и аккуратненькие, какие, казалось, во всём мире может стряпать только она.

— Ну, заходи, заходи… — открывая ворота, приветливо пригласил дед внука.

Он, как всегда, выходил на стук и лай собак, в зимнее время — набросив на плечи поверх тёплого китайского белья телогрейку и надвинув на лоб ушанку, летом — в том же китайском белье и серой фуражке или чёрном картузе, прикрывающем лысую голову.

— А я думал, Игорь тут шарахается. Сегодня с ночной пришёл, выпил на работе и к друзьям пошёл. Покоя нет. Трезвый в ворота не стучит — или сам открывает задвижку, или через заплот сигает, а как пьяный — и тарабанит ночь-полночь, день-полдень. И когда за ум возьмётся? Сорок пять уж скоро…

Игорем был дядька Андрея, младший сын деда. В очередной раз Игорь разошёлся с женой и жил в утеплённой на зиму времянке на огороде у деда.

Дед прикрикнул на залаявших было собак, укоротил привязь и проводил Андрея в дом.

— А я только о тебе подумала, — сказала бабушка внуку. — И правильно, что пришёл: что дома один чай голый хлебать? Сейчас пельмешек покушаешь, а с собой шанежек дам, вчера стряпала… Дома, наверное, ни стряпни никакой нет, ни сахару…

— Сахар есть… — проговорил вполголоса Андрей, понимая, что отказываться и говорить, что не прошло и часа, как он ел пельмени, не стоит.

Он разделся, повесил полушубок на вешалку у топившейся печки.

— Подбрось там пару полешек в топку, — попросила бабушка, — а то кочегар наш снова на боковую залёг.

Под «кочегаром» подразумевался дед. Встретив внука, он сразу же ушёл в комнату и то ли прилёг, то ли присел на кровати, подогнув ноги, облокотившись высоко на спинку и положив под спину подушку. Сколько помнил Андрей, дед всегда лежал на кровати именно так.

— А дрова-то ещё есть? — подал голос из комнаты дед.

— Да на пару растопок хватит… — сказал Андрей, закрывая топку печи.

— А потом что? — спросил дед. — Зима вовсю, а ты без дров? Ну дам я тебе ещё, увезёшь на санках, а потом что же? Замерзать будете?
— Да Толик обещал привезти… — чувствуя себя неловко, сказал Андрей, уже жалея, что пришёл.
— Это материн муж-то? — продолжал атаковать дед. — Он тебе с лета всё везёт — не довезёт… Что думаете? Игорь — тоже балда: ни дома не живёт, ни здесь. Дом ремонтировать надо, а он всё: на будущий год да на будущий год… Сколько таких годов уже прошло? Я помню: пять. Тебя ещё в армию не провожали, собирался ремонтировать.
— Ну хватит! Напал на парня, не успел он прийти, — остановила деда бабушка.

Она уже засыпала пельмени в кастрюлю с кипящей водой.
— Вставай давай, развалился. Поешь пельмени да выходи во двор: снег с ограды ещё не весь убран. А ты, — обратилась бабушка к Андрею, — мой руки и садись к столу.

Дед заворочался, присел на кровати.
— Игорь пусть снег гребёт, а я уж отгрёб своё: восемьдесят седьмой пошёл. Пусть поживёт с моё…
— Да не ворчи ты! — снова одёрнула мужа бабушка. — Игорь с ночной, ему отдохнуть надо, поспать. А ты выспался. Если немного снег покидаешь, только польза здоровью будет.

Дед поднялся, вышел на кухню, пропуская Андрея к столу, пошёл к умывальнику.
— Жена-то работает? — спросил он, умывая руки.

Андрей понял: вопрос снова к нему.
— Работает. Дефектоскописткой в вагонном депо. Проверяет колёсные пары: чтоб трещин там, сколов не было…
— Знаю такую работу, — сказал дед, вытирая руки, сняв полотенце с гвоздя. — Небось, больше тебя сейчас получает… Больше, знаю… Я сам тоже железнодорожник, не забывай…
— Тоже — железнодорожник! — вступила в разговор бабушка, подвигая кастрюлю с пельменями на край плиты. — Десять лет клубом железнодорожным заведовал, а потом до пенсии — баней железнодорожной.
— Ну и что? — дед уселся за стол. — А до этого в ПЧ работал в бригаде маляров. Знаешь, сколько мы по околоткам ездили: дома, тепляки путейские ремонтировали… Это потом меня в культуру перекинули и в бытовую сферу — порядок наводить. На руководящие посты выдвинули… И не зря: почётного железнодорожника получил. Вот отец твой, Андрюха, не получил, хотя почти тридцать лет отработал на «железке», ещё в войну начинал… И Игорь не получит: алкашам не дают. Да и ты не получишь, потому что на железной дороге человек ты временный… Тебе в газете работать нужно, а ты… Водку-то пить бросил? Бросай, не то она тебя затянет… Как Игоря…
— Да бросил я… — неуверенно вымолвил Андрей.
— А раз бросил, то так и говори твёрдо: «Бросил!» А то мямлишь, — сказал громко дед. — А что в газету не идёшь работать? Я заходил в редакцию — тебя там хвалят.
— Там сейчас мест нет. Корреспонденты пока не нужны. Меня звали в прошлом году, но я не пошёл. Не хочу какие попало статьи писать. Мне рассказы больше нравится сочинять.
— А ты давай не вредничай: хочу — не хочу. Я тоже много чего не хотел и сейчас не хочу, а приходилось и приходится. Сначала будешь делать, что тебе говорят: ручкой махать — не кувалдой на «железке», — а потом и сам начальником станешь — заведующим отделом, потом заместителем редактора, а там, глядишь, и редактором…
— Меня карьера редактора местной газеты не привлекает, — снова негромко, но теперь уже уверенно произнёс Андрей.
— Не привлекает его! — дед завёлся. — Ты думаешь, меня привлекала должность заведующего баней? В женском отделении глупые бабы то кран свернут с горячей водой, то парилку зальют. Но в жизни как-то надо самоутверждаться. Сначала — корреспондент местной газеты, потом редактором станешь, а потом в область могут взять. А рассказы твои можно всегда писать. Они основной работе не мешают. Ты говорил, что один у тебя в Москву взяли.
— Да. В книге, сборнике молодых писателей, летом обещали напечатать.
— Ну вот, видишь… — сбавил напор дед. — Вот так, между делом, и в писатели пройдёшь. Если пить снова не начнёшь.
— Не начнёт он, не начнёт! Что ты пристал к парню, как банный лист? — снова вмешалась бабушка; она поставила перед мужчинами тарелки с дымящимися в бульоне пельменями. — Давайте есть, пока не остыли!
— А ты, бабушка? — спросил Андрей.
— А я потом… Ещё Игорь придёт — покормлю, и потом — сама… А вы ешьте, ешьте!

Внук с дедом склонились над тарелками. Андрей с детских лет помнил не сравнимый ни с чем вкус бабушкиных пельменей — малюсеньких «пуговиц» в ароматном бульоне, посыпанных сушёным укропом… Он часто вспоминал бабушкины «пуговки» в армии, и когда приехал в отпуск после года службы в бронетанковых войсках, первым делом попросил бабушку настряпать пельменей и ел их с такой большой охотой и даже жадностью, будто стараясь наесться на весь остаток жизни. И потом, отслужив уже весь срок в далёком Забайкалье, на китайской границе, отвыкал от армейской перловки с говяжьей тушёнкой за тарелочкой бабушкиных пельменей, стараясь зачерпнуть ложкой как можно больше «пуговок». На ложку вмещалось до пяти «пуговиц», но дед всегда, сколько Андрей помнил, умудрялся зачерпывать «с горкой» штук

по семь и сразу же делал второй заход, а потом, прожёвывая, прихлёбывал бульоном.

Андрей любил дом стариков. Первый внук, он был самым любимым у дедушки и бабушки. В раннем детстве он неделями жил в их доме и, бывало, так привыкал, что по приходе за ним родителей домой идти не хотел, прятался под кроватью, притихал, как мышка, и отец с матерью пускались на долгие уговоры, обещания купить какую-нибудь игрушку, а то и на угрозы или даже физические воздействия, чтобы если не выманить, то хотя бы силой достать из-под кровати капризного ребёнка, одеть и увести домой. До того как Андрей стал школьником, он запомнил некоторые привычки деда—такие, например, как спать на кровати полусидя, подкладывая подушку под спину, облокотив голову на железную спинку; в любую погоду летом выходить на улицу либо в картузе, либо в фуражке железнодорожника; пить водку только из маленьких рюмочек-стопок, обязательно добавляя туда щепотку перца, отчего водка в рюмочке становилась или тёмно-мутной (от чёрного перца), или покрасневшей (от молотого красного); и, конечно же, главную его привычку—ругать родных, постоянно поучая. Причём поучая всех подряд: бабушку, родителей Андрея, сына Игоря, другого сына—Женю, в редкие его визиты к родному дому после дальних путешествий по белу свету или (как потом, взрослея, понял Андрей) отсидок в исправительных колониях по случаю нарушения им уголовного кодекса. Впрочем, дяде Жене доставалось нравоучений и от старшего брата—отца Андрея, и от другой родни. Доставалось от любящего деда и любимому внуку. Но не больно. Дед иногда ругал внучка в юные его годы за то, что тот отказывался есть когда нужно и вовремя ложиться спать, а повзрослевшего—за то, что бросил учёбу в университете и стал часто выпивать. Пожалуй, только нравоучения по последней причине и заставляли иногда сдерживать желание Андрея идти в дом стариков. Тёплые воспоминания о детстве ещё жили в нём, молодом мужчине, и иногда, в тяжёлую для него минуту, он приходил в родной дом отца, выслушивал критические замечания боевого деда—бывшего партизана Гражданской войны, ел бабушкины пельмени и тайно от деда просил у бабушки три, а то и пять рублей. Бабушка всегда, тоже тайно, достав из своего ридикюля десятку, а то и две, незаметно передавала деньги из рук в руки.

И в этот раз бабушка бросала частый взгляд на Андрея, ожидая, даст ли он ей намёк. Поймав очередной её взгляд, Андрей отрицательно покачал головой, и бабушка, поняв его, кивнула. Самая добрая бабушка в мире, конечно же,—бабушка Андрея. В детстве она рассказывала ему сказки, на которые вечно занятым родителям не хватало времени; она всегда уделяла внуку, и только ему одному, столько внимания и заботы, сколько потом не уделяли ни мать, ни жена. В молодые годы она, едва выйдя замуж, серьёзно заболела, и болезнь её сказалась на суставах ног; неизлечимый ревматизм преследовал её всю жизнь и заставлял делать усилия при ходьбе, передвигаться, прихрамывая, с помощью палки или опираясь на стенку в доме и изгородь на улице.

Бабушка подлила Андрею с дедом ещё пельмешек и, налив наконец себе в тарелочку, перестала суетиться между печкой и столом и присела рядом с внуком. Некоторое время ели молча. Дед обильно смазывал хлеб ядрёной горчицей, откусывал кусочек, морщился до слёз и быстро захлёбывал бульоном. Андрей к горчице не прикасался, слегка посыпал пельмени перцем. Сделавшуюся уже было тихой трапезу нарушил сначала стук закрывающихся ворот, потом позвякивание собачьих цепей и громкие, не совсем внятные слова со двора.

—Игорь от друга вернулся,—пояснила бабушка.—Сегодня с ночной он, утром, чуть зорька, пришёл с дежурства—и к другу Алику. У того вчера именины были…

—Опять глаза, видать, залил, с собаками разговаривает,—сказал недовольно дед, отодвигая пустую тарелку.—И когда поумнеет? Сорок три года уже, а всё бестолковый… С утра шарахается из дому на улицу, комнату студит… Дверь туда-сюда, туда-сюда—не закрывается. Дров не напасёшься…

Бабушка хотела возразить деду, но не успела: дверь открылась, и вошёл Игорь.

—Андрюха!—воскликнул он, едва появившись, и, не снимая полушубка, бросился к племяннику, действительно не прикрыв дверь.

—Дверь закрой!—остановил на полпути его порыв дед.—Хватит дом выстуживать. Дров сначала привези, а потом студи!

—Ой, прости, батя, прости…

Игорь, не дойдя до племянника, резко сделал поворот кругом, при этом сильно качнулся и, облокотившись на секунду о крепкий стол-буфет, чуть не сдвинул тарелку Андрея, но удержался и в следующую секунду был снова у двери, ловко набросив крючок на петлю.

—Ты, батя, будто и вправду замёрз. Тепло дома же, жарко даже…—сказал Игорь, уже пожимая руку вставшему навстречу ему Андрею.

—Жарко тебе,—огрызнулся дед.—Это тебе жарко от водки, а мне нет. У меня спина застужена ещё с войны, да и бабка болеет, тоже холод чувствует… Что ходишь взад-вперёд? Вот и парню поесть не даёшь…

—Да поест наш парень,—махнул Игорь, снимая полушубок и направляясь к умывальнику.—Ты только, батя, напрасно не шуми. Я Андрюху давно уже не видел, а что выпил, так у Алика вчера день рождения был. С детства дружим. С другом-то можно выпить?

Игорь помочил руки под рукомойником, обтёр висящим тут же на гвоздике полотенцем и подсел рядом с Андреем.

Дед не стал пить чай, поднялся.

— Ты бы лучше о ремонте дома думал. Скоро шестьдесят лет как стоит. Нижние венцы менять уже надо и крышу шифером перекрывать... — сказал дед, собираясь уходить в спальню, на постель.

— Ну, батя, сколько можно об этом? Летом возьмусь, сказал же... — Игорь, казалось, разозлился. — Говорю — значит, сделаю. Вот и Андрюха поможет. Поможешь, Андрюша?

Андрей кивнул.

— Ты уже третий год собираешься, — махнул рукой дед, уходя и продолжая говорить. — А как лето подходит — то к Нинке уходишь жить, то к именинам готовишься...

— Да перестань ты, батя! — Игорь соскочил с табуретки. — Что ты завёлся сегодня? Отремонтирую я летом. Следующую зиму с новыми венцами будешь и под новой крышей.

Дед промолчал и лёг снова на кровать, поправив под спиной подушку.

— Сядь тоже, не кипятись, — сказала бабушка Игорю, наливая пельмени для сына. — Ешь давай, а то у Алика пили — не закусывали, наверное...

— Да что мы там пили-то? По две стопки — и по домам. Именины же вчера были, а сегодня похмелились немного, и всё... — объяснил Игорь.

Пока Игорь ел пельмени, загребая на ложку, как и дед, побольше «пуговок», Андрей пил чай с шаньгами. Шаньги он уже разжёвывал с ленцой и ел через силу, только для того, чтобы не разочаровать бабушку, уже накладывающую внуку стряпню в матерчатую сумочку — на дорогу.

Будильник, стоящий на комоде, тем временем уже выстроил из стрелок прямой угол, показывая три часа пополудни, и Андрей, торопливо допив чай, встал из-за стола.

— Спасибо. Пойду я, наверное. Домой ещё заглянуть нужно, а к пяти часам — за Санькой в детский сад... — сказал он.

— За дровами-то когда придёшь? — спросила бабушка, подавая ему сумку с шаньгами. — Может, сейчас возьмёшь?

— Да нет, я лучше вечером приду, часов в девять, с санками сразу...

— Ну ладно, как хочешь... С Богом... — напутствовала бабушка.

Игорь, торопливо дожёвывая пельмени, вызвался проводить племянника, как он сказал, до ворот.

Едва дядька с племянником вышли во двор, как залаяли, стали рваться с цепей две собаки-лайки. В ворота постучали. Едва Игорь отодвинул засов, как во двор буквально ворвался Стас — двоюродный брат Игоря и, стало быть, ещё один дядька Андрея. Он был не один — привёл приятеля по имени Виталий.

— О-о-о! И Андрюха тут! — раскрыв объятия, ринулся навстречу готовящемуся было на выход Андрею Стас.

Стас, в старом демисезонном пальто, из ворота которого виднелся толстой вязки белый свитер, наглухо закрывавший шею, и в цигейковой шапке с опущенными ушами, был похож на бича — не занимающегося никаким полезным трудом человека, постоянно ищущего, где бы выпить, поесть и переночевать. В принципе, так оно и было. И хотя Стас официально был прописан в старом доме покойной бабы Поли — сестры деда, ночевал, да и бывал он там не каждый раз, больше ходил по гостям и спал чаще там, где напивался: у приятелей-собутыльников. Одним из них был этот самый Виталий, одетый сейчас в вышедшее из моды коричневое зимнее пальто с облезлым каракулевым воротником.

Стас обнял племянника, похлопал по плечу Игоря.

— Я же говорил, что они тут похмеляются с утра... — сказал он, обращаясь к приятелю. — От Игорька уже свежачком попахивает...

— Ну, мало ли чем от меня попахивает... — развёл руки Игорь. — Я у Алика был с утра. У него вчера именины были...

Улыбка на лице Стаса медленно угасла.

— А мы надеялись с Виталькой, что ты нам хоть по ковшичку браги нальёшь... Ты ж говорил, что забражил флягу...

— Ну забражил... И что с этого? Она ещё не выстоялась, во-первых, а во-вторых, я собрался самогонку гнать из неё. У подруги через неделю день рожденья.

Интонация, с которой Игорь говорил, и поза его (сложенные на груди руки) давали понять, что хозяин не намерен приглашать гостей.

Глаза Стаса сделались блёклыми, лицо — серым.

— Игорёк, не дай помереть... Хоть ковшичек на двоих... — взмолился Стас. — С утра чуть дышим с Виталей. Полгорода обошли — у всех голяк... Денег, сам понимаешь, ни у кого не займёшь... Ты ведь не дашь, у Андрюхи, знаю, нету, у Николая Григорьевича просить бесполезно, а у тёти Нюры — грех... На тебя, братуха, надежда... Выручи...

Игорь кашлянул в кулак, опустил руки, потёр ладони.

Видя его смущение, Стас продолжил мольбу:

— Игорёк, ты ведь один брат у меня остался. Женька за тридевять земель где-то, а здесь ты и я. Мы с тобой ещё с детства друзья были, в одном классе учились... Вместе хулиганили...

— Ты, Стасик, брось меня донимать. Не разжалобишь... Я тебе говорю: брага недозрелая ещё... — Игорь продолжал держать оборону, но голос выдавал его неуверенность.

— Дай хоть недозрелой. Градусы там какие-то всё равно есть же... — продолжал настойчиво

добиваться своего Стас.—Сам, небось, пробовал уже…

— Пробовал, потому и говорю: не вызрела брага,—голос Игоря стал твёрже.

— Ну пойдём хоть посидим у тебя чуток в избушке. О жизни поговорим, я давно с Андрюхой не виделся. Как, Андрюшка, рассказики-то свои пишешь?

Стас попробовал подойти к вопросу похмелья с другой стороны—это поняли сразу и Игорь, и Андрей, и, скорее всего, Стас сам понял, что его хитрость шита белыми нитками, но отступать, было видно, он не собирался.

— Пишу…— сказал Андрей.—Скоро обещали напечатать и здесь, в газете, и в Москве, в книжке…

— Вот видишь, Игорёк, к тебе писатель настоящий в гости пришёл, а ты угостить его не хочешь и нам не подаёшь… Эх, братан, братан… А помнишь, как мы пацанами чуть в болоте не утонули?..

Игорь понял: Стас будет стоять до конца.

— Помню, помню. Ты уже до печёнок достал. А я сегодня с ночной, не спал совсем ещё…— отмахнулся Игорь от брата и неожиданно сдался:—Ну ладно, пошли. Только быстро: выпиваете по кружке—и расход. Пошли с нами, Андрюха, посидим минут двадцать… Успеешь ещё ребёнка забрать…

Игорь обнял племянника за плечо и легонько потянул к калитке, разделяющей двор и огород. Андрей сопротивляться не стал и пошёл с Игорем вслед за Стасом и его приятелем.

Постройка Игоря, называемая им самим вначале «летняя кухня», дедом—«зимовье», а бабушкой, на лад ссыльных немцев,—«флигель», на деле не подходила ни под одно из названий, но и не противоречила ни одному из них. Задуманная как зимний домик, она была сложена из пропитанных креозотом и отслуживших свой железнодорожный срок шпал, но в ней отсутствовала главная для зимовья деталь—кирпичная печка. Вместо неё хозяин установил «электрокозлы»— два электровозных заводских обогревателя и один самодельный, с накрученной на кусок асбестовой трубы толстой спиралью. Самодельный «козёл» был подключён к розетке в пристроечке—сколоченном из досок закутке метр на полтора, используемом хозяином под раздевалку и прихожую. Изготовленный в нарушение всех пожарных предписаний, в зимнее время денно и нощно «козёл» высвечивал ярко-оранжевой спиралью, которая казалась вечно-несгораемой. Об эту спираль не один раз обжигался сам подвыпивший хозяин; бывало, и гости его, увлечённые брагохлёбством, прожигали рукава курток и пиджаков, подпаливали брюки и даже воспламенялись от неосторожного прикосновения. Несколько раз гости Игоря, захмелев и потеряв бдительность, загорались не на шутку—вспыхивали как порох, или, как выражался со свойственной ему фантазией Андрей, «как бенгальские огоньки», и хозяину приходилось поливать выпивших гостей водой из фляги, а совсем пьяных вытаскивать на мороз, укладывать в сугроб, забрасывать снегом, а потом выхаживать и отпаивать пострадавших от огня и мороза брагой или водкой. Бывало, в спасении брагохлёбов принимал участие и Андрей, когда засиживался у дядьки за кружкой или ковшичком браги (естественно, это было до посещений им наркологического кабинета железнодорожной больницы), но сам, как он говорил иногда вслух, «со спиралью в контакт не входил». До большого пожара в постройке дело тоже не доходило.

Постройка служила Игорю, когда он был сильно пьян и не хотел показываться на глаза родителям, и спальней, и кухней, и местом для ночлега перебравших гостей. Времянка, как впоследствии дал ей дядька, на взгляд Андрея, более верное название, интерьером напоминала железнодорожный вагон, не то плацкартный, не то общий. С двух сторон вдоль стен были установлены верхние и нижние полки, ещё одна—полка-боковушка с разборным столиком—стояла у третьей стены, рядом с водогрейным баком, тоже из пассажирского вагона.

Игорь работал в ремонтно-восстановительном поезде—участвовал в ликвидации железнодорожных аварий на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Насмотрелся многого: и искривлённые, завязанные едва ли не узлом рельсы видел на месте крушений поездов, и смятые, будто из-под пресса, вагоны, и выгоревшие до неузнаваемости локомотивы, и тела погибших людей… Не один раз вместе с пожарниками приходилось ему вытаскивать из опрокинутых под откос вагонов раненых… Рассказывал об этом Игорь неохотно, говорил, что не имеет права предавать факты крушений гласности и что дал подписку о неразглашении увиденного соответствующим органам государственной власти. Но иногда, в изрядном захмелении, у него вырывалось…

— Лучше тебе, Андрюха, этого не видеть,—говорил он племяннику.—Ты, как и я, парень впечатлительный, потом спать не сможешь, а уснёшь—от кошмаров отбоя не будет… Я вот и пью больше не оттого, что Нинка моя от меня загуляла, а от ужасов, что видеть приходилось, и за те, что ещё придётся… Я вот принёс домой полки с вагонов, с тех, что в авариях были, не украл, не свернул на путях отстоя вагонов, а взял с разрешения начальника списанные: ни одна милиция, если даже захочет, не докопается—начальство подтвердит… А Стас смеётся: говорит, что я всё имущество железной дороги домой перетащил, осталось только рельсы к времянке проложить, чтобы вагонами барахло возить. Ему что—дай похмелиться только…

Времянка Игоря стояла метрах в сорока от дома, под черёмухой, в месте, называемом хозяевами садом. Небольшая территория сада, на которой, кроме густых зарослей черёмухи и самой

времянки, размещались ещё поленница дров, будка туалета и, в летнее время, три грядки под лук, чеснок и редиску, отделяла дом от огорода, сплошь предназначенного под выращивание одного продукта — картошки. Весной времянка утопала в белизне, летом — в зелени черёмухи, зимой, оббитая снаружи светло-коричневыми дощечками — вагонкой, выделялась на фоне обнажённых деревьев. Игорь заботился, чтобы дорожка к ней в любую погоду была широкой и чистой, и, когда не был пьян, на дежурстве или в командировке, с удовольствием брался за метлу и лопату. Правда, это касалось только дорожки от калитки сада до двери времянки, во дворе же дядька наводил порядок не всегда, часто по этому поводу имел нарекания от деда, и когда отгребал и выносил снег со двора, то делал это без удовольствия. Без удовольствия, видимо, Игорь проводил уборку и внутри своего временного жилища. Зашедший же в жилище всегда видел разбросанную по углам и вдоль стен обувь: сапоги, валенки, тапочки, галоши; сваленные в кучу куртки, ватники, плащи и фуражки разных фасонов, не мытые неделями алюминиевые миски и ложки и закопчённую по бокам большую кастрюлю-скороварку. На фоне беспорядочного складирования одежды и обуви стройностью и порядочностью бросалась в глаза книжная полка. В старом, поцарапанном, с кривыми дверцами серванте без стёкол стояли рядами десятки общих тетрадок — дневники хозяина. Вёл «Дневники своей жизни» Игорь много лет, записи делал, правда, нерегулярно, но когда не был пьян, добросовестно доверял листочкам в клеточку свои мысли, описывая события прошедшего дня, недели или месяца. Тетради свои дядька хранил ревниво, относился к ним с трепетом и открывал их в присутствии посетителей только в том случае, если видел: они действительно им интересны. Ревниво и трепетно относился хозяин времянки ещё к двум вещам — аккуратному, синего цвета, эмалированному ковшику вместимостью в один литр и алюминиевой фляге на тридцать шесть литров. Эти две вещи имели за собой постоянный уход и блёкли, лишь когда хозяин находился в многодневном запое. Но стоило только Игорю прервать запой, фляга и ковшик подвергались едва ли не термической обработке и приобретали вид только что купленных.

И в этот раз всё во времянке было как всегда. Едва гости и хозяин переступили порог, как пахнуло жаром от разогретого «козла», прелостью от давно не стиранных вещей и нечищеной обуви. Игорь убрал с нижней на верхнюю полку свой полушубок и стал рассаживать гостей. Андрей, пристроив свою шапку и сумочку с бабушкиной стряпнёй рядом с полушубком дядьки, присел под той же полкой за разложенным столиком вагонной боковушки. Стас с другом Виталием сели на другую полку, разделённую от боковушки узким проходом. Стас тоже снял шапку, положив её себе на колени.

— Жарко у тебя тут, — сказал он Игорю. — Хотел раздеться, да ты же нам посидеть тут не дашь…

— Конечно, не дам, — согласился Игорь, давая понять, что всё, что происходит сейчас и произойдёт в ближайшее время, ему не нравится и его принуждают делать то, что ему не хочется.

— Да ладно, братуха, кончай дуться на нас, как Ленин на буржуазию! — Стас улыбнулся и потёр руки. — Наливай, выпьем и уйдём — не бойся, засиживаться не будем, не будем ждать твоей новой полюбовницы.

— А её и нечего ждать, она не придёт сегодня — работает допоздна, — сказал Игорь, протискиваясь между гостями к углу с водогрейным баком, возле которого всегда стояла его драгоценная фляга — сверкающая, когда пустая, и накрытая старым зимним дедовым пальто, когда с брагой.

Игорь сел за столик напротив Андрея, повернулся, убрал с фляги пальто, положив его под столик, и, придвинув к себе флягу, открыл крышку. Дрожжевой дух с шипением вырвался из фляги, ударил в ноздри, стал заполнять времянку.

— Я ж говорю вам, что недозрелая ещё брага — не верите… Вон играет ещё, шипит… — сказал Игорь, снимая с гвоздя синий ковшик.

— А она и должна всегда шипеть, — возразил Стас и, снова в предвкушении потирая руки, посмотрел сначала на Виталия, потом на Андрея. — На то она и брага… Правда, Андрюха?

Андрей пожал плечами. Игорь зачерпнул больше половины ковша и протянул Стасу игристый напиток. Ковш прошёл перед лицом Андрея, бражный дух ударил в ноздри ещё сильнее, и у Андрея закружилось в голове, к горлу подступила тошнота. Он качнулся, подался вперёд. «Не надо было заходить сюда…» Он потёр виски, чувствуя прилив крови к лицу.

Стас принял ковшик двумя руками, стал медленно пить, запрокидывая назад голову. Выпив всё, утёр рукавом рот.

— Само то брага, — сказал он, возвращая ковш Игорю. — Зрелая уже, братан. Нас не обманешь — по вкусу готовность безошибочно определим…

— А чё мне тебя обманывать? Не собираюсь даже… — Игорь снова опустил ковш во флягу. — Просто я хотел нагнать самогонки, а для этого ещё денька два-три ей настояться надо…

— Настоится, — махнул рукой довольный Стас. — Ах, как внутри заиграла.

Второй ковш принял Виталий, сидевший ближе к Игорю. Ковш прошёл в стороне от Андрея, но он на всякий случай отпрянул как можно дальше от него.

— Да, хорошая, — поддержал Виталий приятеля, возвращая Игорю пустой ковш. — Умеешь ты, дружок, замутить.

Похвала, было видно, пришлась Игорю по нутру.
— Глядя на вас, и мне, что ли, полковшичка хлебнуть? — спросил он скорее самого себя, чем гостей.
— Конечно, братуха, хлебни! — тут же откликнулся на его порыв Стас, в надежде продолжить посиделки.

Игорь зачерпнул снова, прикрыл свободной рукой флягу и тут же поднёс ковш ко рту.
— Классная брага! — ткнул в бок Андрея Стас. — Попробуй, племяш…

Андрей покачал головой:
— Я в завязке.
— Не сбивай мне с пути парня, — сказал Игорь, ставя ковш на стол. — Ему нельзя сейчас. Пусть отдохнёт немного от выпивок. А брага точно — для пойла в самый раз… Как я с утра не разобрал? Пресной показалась…
— После водки, конечно, пресной покажется, — сказал Стас, с надеждой глядя на Игоря.
— А ты что, братан, от этого дела лечишься? — спросил Виталий, глядя на Андрея.

Андрей кивнул.
— Я сразу понял, когда ты от ковша увернулся и лицо пятнами красными пошло… В железнодорожную на курс ходишь?

Андрей снова кивнул. Он почувствовал, как горит у него лицо, понимал, что ему лучше сейчас выйти на воздух, но выходить на мороз не хотелось.
— У Галины Григорьевны лечишься? — продолжал расспрашивать повеселевший Виталий.
— У Галины Георгиевны, — поправил его Андрей, чувствуя, что кровь отходит от лица и проходит головокружение, но тошнота не отступает.
— Точно — Георгиевны! — согласился Виталий. — Полненькая такая бабёнка, в очках… Небольшого роста. Симпатичная, несмотря что в очках и полная. Всё следит через очки, чтобы таблетки тетурама при ней глотали. Тетурам пил?
— Пил… Пью… — сказал Андрей.
— Я у неё тоже курс проходил… Ещё два месяца не прошло, как закончил, и уже неделю пью… Всё это ерунда — их лечение. Никого они не вылечили, пугают только… Запугают мужика: мол, помрёшь, если пить будешь после лечения, — он и боится пить. А бояться нечего. Тетурам, конечно, гадость и в крови, говорят, не растворяется, но его заглушить можно. Есть квашеную капусту, рассол капустный пить — и разрядишься…
— Поделись опытом с парнем, а то смотреть на него нет сил, — включился в разговор Стас. — Душой он с нами, а пить боится…
— Рассол пить надо, на капусту налегать, — говорил с видом подхмелевшего профессора Виталий.

Он снял шапку, расстегнул пуговицы своего старомодного коричневого пальто с каракулевым воротником. Андрей слышал от дядьки, что Виталий этот работал некоторое время в милиции; долго он там не удержался — получил отставку и теперь занимался подработками и шабашками, а чаще — поисками выпивки. Принадлежность к милиции, однако, оставила на нём пожизненный отпечаток в виде прозвища «милиционер».
— У меня есть капуста, — сказал Игорь. — В сенцах, в холодильнике, стоит трёхлитровая банка. Хорошая, с морковочкой, с тмином, сочная… Мать делала. Я сейчас принесу. Но только, Андрюха, ты уж не пей брагу пока…
— Да я и не собираюсь! — развёл руками Андрей. — Мне ещё жить охота… От одного запаха браги уже тошнит…
— Вот и поешь капустки, тошнить не будет, — продолжал назидать Виталий. — А то весь пятнами покрылся… Будто тоже браги выпил…
— Неси капусту, Игорь! — приказал Стас, понимая: если завязать разговор, затянуть его, то продолжение выпивки будет обязательно.
— Так, без меня тут во флягу не нырять, — сказал Игорь и, надев на лысеющую голову ушанку, ушёл за капустой.
— Ты чё, Андрюха, вправду пить бросил? — спросил Стас.

Андрей кивнул и вздохнул, потёр виски. Тошнота отступила.
— И не тянет?
— Да пока нет…
— Ну и правильно, — поддержал Стас. — Ты молодой ещё. Тебе книги писать надо, в столицу пробираться… А нам, старым коням, уже ничего не надо… Только напиться да спать завалиться…
— Спать завалиться? А сам меня к девкам позавчера звал! — воскликнул уже поправивший самочувствие Виталий.
— А куда по пьянке не позовёшь? — улыбнулся Стас. — Я раз пьяный чуть к первой жене, Зойке, не уехал. Выпил как-то с отпускных, и — тоска вдруг взяла… Пошёл на вокзал за билетом и вправду хотел ехать уже к жене, на сына посмотреть… Хорошо, приятеля встретил на вокзале: он меня отговорил…
— За бутылкой отговорил? — спросил, усмехаясь, Виталий.
— А ты как думал? — стукнул его в плечо Стас. — Бутылка тогда и спасла от необдуманного решения. Где бы я их искал? Зойка замужем давно и родила от нового мужа, а сын меня и не знает. Ему пяти лет не было, когда она его увезла… Ты бы видел, какая Зойка молодая была… Я голову сразу потерял: почти год ходил под окнами общаги, где она жила. Приехала после училища на стройку к нам, а я электриком после армии работал. К ней там один хохол из Харькова клинья подбивал, но я отшил. Жили у тёти Поли сначала, потом Валерка родился. Время было золотое. Это я сейчас понимаю. Счастье было, а я не оценил… А теперь только вспоминать остаётся. Иногда кажется, что вся жизнь моя семейная была не со мной. Как

будто в кино всё я видел, со стороны: и Зойку, и Валерку…

Рассуждения и воспоминания Стаса не прервались с появлением Игоря.

— Игорёк, ты Зойку мою помнишь?— спросил он вошедшего с трёхлитровой банкой, утрамбованной капустой, брата.

— Помню!— кивнул Игорь, поставив банку на стол перед Андреем, кивнув племяннику: мол, открывай.— Симпатичная бабёнка была, а ты не оценил. Теперь, сам говоришь, замужем— нашёлся ценитель получше тебя.

— А чем он лучше?— возмутился Стас.— Отца он Валерке не заменит…

— А чё ему заменять тебя? Валерка уже взрослый. Почти двадцать лет прошло, как Зойка от тебя сбежала. Ты думаешь, она о тебе Валерке сказки рассказывала? Он, наверное, и не знает о тебе…

— Знает…— Стас хотел было возразить, вступить в спор, но осёкся и задумался. Может, понял, что Игорь прав, а может, решил: если начнёт спорить, то браги больше не получит.

— Хорошо, что твоей Нинке дальше Суетихи некуда бежать, а то бы тоже детей своих не видел…— только и сказал Стас.

— Ты хоть сейчас об этой курве мне не говори!— развёл руки Игорь, присев опять ближе к фляге.— Как вспомню о ней, так блевать охота. Представляешь,— Игорь повернулся к Андрею,— зашёл сосед в гости, пива хотел попить, дал денег. Я в магазин— в «Сибири» на разлив продавали. Полчаса не ходил, возвращаюсь— дверь закрыта, стучу— открывают не сразу… Я вначале не придал значения. Посидели, выпили трёхлитровку, сосед опять мне полтора рубля даёт, я снова в «Сибирь», на этот раз взял почти без очереди— и домой. Дверь не закрыта, захожу, а там они на диване прилегли уже…

Игорь помолчал. Андрей с Виталием молча смотрели на него, не то жалея, не то ожидая завершения рассказа.

— Он их пивом облил!— сказал за брата, подмигивая Андрею, Стас.

— Выплеснул на них прямо из банки и ушёл,— подтвердил Игорь.— Сука— она и есть сука. Я её первый раз на блядстве поймал, когда Славка только родился. Белугой кричала— прощения просила. Семья, мол, у нас, прости! Простил— и что толку? Второй раз застукал, уже и Пашка был,— снова на коленях умоляла простить… И третий…— Игорь махнул рукой.— Ребятишек жалко…

— Да… Смешного мало…— покачал головой Виталий.— У меня хоть до такого не доходило, но тоже баба другого нашла и детей мне не показывает…

— Никогда не прощай баб, Андрюха,— сделал наказ племяннику дядька и, ещё раз махнув рукой: дескать, все они…— предложил:— Ну что, по второму ковшичку?

— Давай, братуха, коль жизнь такая!— глаза у Стаса, то ли от выпитого, то ли от предвкушения новой выпивки, заблестели.— Давай за то, чтобы у племяша семейная жизнь по-хорошему сложилась.

— Давай,— согласился Игорь, подавая почти полный ковш браги Стасу.— А ты, Андрюха, банку открывай и капусту ешь. Виталька говорит: помогает лечение переносить…

— Точно, помогает,— ещё раз подтвердил Виталий, забирая пустой ковш у Стаса и передавая его Игорю.— Ты сначала рассольчику попей, а потом капусту, они из организма химию выводят. Я это уже прошёл— знаю. После милиции уже и к наркологам попадал в лечебницу, и в ЛТП лечили, постиг науку: знаю теперь немного, что с чем в организме реагирует…

— Сейчас я тебе отдельную посуду подам— кружку,— сказал Игорь, зачерпнув в ковш брагу и отдав его Виталию, встал и протиснулся между гостями в прихожку, ловко увернувшись от оранжевой спирали «козла».

На полу под небольшим окошечком Игорь отыскал среди хлама алюминиевую солдатскую кружку, ополоснул водой из чайника и, приоткрыв дверь времянки, выплеснул на улицу.

— На, наливай рассол,— подал он кружку Андрею.— Капустка холодненькая, только из холодильника.

Андрей открыл крышку банки, нацедил полкружки рассола, сделал глоток. Рассол действительно был холодным, ядрёным, с кислотцой.

— Давай, племяш,— Игорь стукнул наполненным вновь ковшом о кружку Андрея.— За тебя.

Они выпили одновременно. Игорь крякнул, опустошив ковш, утирая уголки рта краем полотенца, висевшего на гвоздике. Андрей слегка поморщился, ставя пустую кружку на стол.

— Вот-вот… Теперь капусты пожуй… Сначала реакция на тетурам пойдёт, лицо покраснеет, а потом хорошо будет,— сказал опытный Виталий.

Игорь приподнялся, пошарил на верхней полке, подал Андрею алюминиевую вилку.

— На, цепляй капусту.

Андрей, взяв вилку, подцепил капусты с морковочкой, начал жевать.

— Как он смачно её жуёт! А, Игорь?— воскликнул Стас.— Мне тоже захотелось. Дай нам ещё по ковшу под капустку.

— Ладно, по последней,— согласился хозяин.— Бог любит троицу, налью по третьему— и расход…

— Само собой, братуха!— согласился Стас.— Ты нас нормально похмелил. Правда, Виталька?

— Ха-арошая бражка!— показал большой палец бывший милиционер.— Игорь, ты— спец по этому делу, это я тебе искренне говорю, без балды, а не потому, чтобы ещё ковшик выпросить…

— Верю!— сказал уже хмелеющий Игорь и пожал руку Виталию.

— Ты у нас — ас! Ас по браге! — Стас протянул руку Игорю.
— Ас брагостоя и мастер самогоноварения, — сформулировал Андрей.
— Во! Правильно, Андрюха, — глаза у Стаса блестели. — Хорошо сказал, а главное, справедливо. Сразу видно — писатель.

Стас пожал руку Андрею.

Андрей улыбнулся и снова почувствовал прилив крови к вискам. Он поднялся.
— Выйду во двор, подышу… — сказал он посмотревшему на него с удивлением Игорю.
— Освежись, освежись… — закивал Игорь. — Я ещё им по ковшичку налью и закрою лавочку, а то здесь не продохнуть уже…

Андрей вышел без шапки. Морозец тут же освежил его и медленно пополз под расстёгнутый полушубок, через воротник добираясь до вспотевшего тела. Андрей передёрнулся, поёжился, вдохнул несмело воздуха, тут же протяжно выдохнул. За забором, по улице Партизанской, торопились автомобили. Некоторые спешили к «Партизанской лавке». Короткий январский день уже начинал отступать: небо, ещё светло-лазурное час-полтора назад, темнело, опускалось ниже. Андрей прошёл до забора, зашёл в туалет. Возвращаясь к времянке, минут пять постоял возле черёмухи. Тёмные деревца с тонкими стволами казались мёртвыми, замёрзшими до самых корней, и не верилось, что они могут когда-то ожить, выпустить листочки и утопить весной времянку в яркой белизне своего цветения, спрятать её до осени в зелени и одарить в августе сладкими сочными чёрными ягодами с косточкой. Андрею вспомнилось, как всей семьёй они приходили сюда, и прямо здесь, под черёмухой, когда ещё не было Игоревой времянки, накрывались столы, и взрослые отмечали чей-нибудь день рождения. А август был обилен не только на урожай, но и на именинников. В последний месяц лета родились и отец, и мать Андрея, и его младшая сестра Лена, и Игорь. Причём дни рождения следовали один за другим. Первым список августовских именинников открывал Игорь, он родился в седьмой день месяца, и если этот день выпадал на первое воскресенье августа — День железнодорожника, то праздник получался двойным и отмечался широко: с привлечением всей очень многочисленной родни, соседей, знакомых и даже прохожих, зашедших на громкий разговор и коллективное пение. Родственники, соседи и прохожие имели к празднику прямое отношение, потому что в небольшом городке почти все предприятия, включая строительные организации, школы и детские сады, были железнодорожными и три четверти населения города считали себя железнодорожниками. После Игоря, вторым по списку, был отец Андрея. Он родился восьмого августа и, хотя был старше Игоря на двенадцать лет, в череде именинников вечно числился вторым. День рождения отца никогда не выпадал на поголовный в городе праздник, но зато, при стечении обстоятельств, он случался на второе воскресенье августа — день, объявленный в стране праздником строителей. И тогда… Тогда день рождения Игоря переносился на восьмое число и отмечался как единый день рождения братьев, с привлечением всех строителей из числа родных, соседей, знакомых. В разгар празднования подтягивались на смех, веселье и пение и железнодорожники, не успевшие остыть после своего профессионального праздника недельной давности. Но чаще было так: поскольку девятого августа родилась Лена, а десятого — Валентина Андреевна, мать Андрея, то выбирался один из дней с седьмого по десятое августа, выпадающий на выходной или близкий к этому, и праздновались все дни рождения сразу. Когда день, назначенный для чествования именинников, выпадал солнечным, а компания превышала два десятка человек, не считая хозяев, самих именинников и детей, столы накрывали под черёмухой. И вот тогда детей отправляли собирать черёмуху. Какой сладкой была та ягода! Когда веселье разгоралось, Игоря заставляли браться за фотоаппарат и фотографировались под зелёной листвой деревьев. У матери целый альбом фотографий разных лет, сделанных Игорем под этой черёмухой. На одной они вдвоём с дядькой. Андрей смутно помнил себя шестилеткой, когда они с дядькой сфотографировались вдвоём. Компания уже пошла в дом после коллективных съёмок, а в фотоаппарате оставалось ещё два кадра, и Игорь, установив аппарат на штатив, встал вместе с племянником. Это фото Андрей помнил хорошо и всегда выделял его из других. Подбоченившийся мальчик-шестилетка в сандалиях, шароварах, рубашке с выпущенным на кофточку воротником, в фуражке, чуть задвинутой к затылку, и молодой мужчина в костюме с расстёгнутыми пуговицами, приподнимающий над головой куст свисающей цветущей черёмухи, возвышающийся над мальчиком.

«А деревья всё те же… Ещё отец рассказывал, как он ребёнком лазил на черёмуху — собирал ягоды, потом Игорь… Теперь нет уже отца, бабы Поли — сестры деда… Выросли дети — его ровесники… Лет уже десять не собирается родня на коллективные дни рождения, а черёмуха стоит, будто не стареет, и весной снова зацветёт… Надо Саньку летом привести, сфотографировать на том же месте, где с Игорем тогда фотографировались».

Андрей попробовал определить место, где они стояли с дядькой почти двадцать лет назад, и решил, что оно у скамеечки, теперь занесённой снегом. «Да, скамейку на фотографии видно. Вот здесь и надо… И с Санькой, и с Игорем… Двадцать лет спустя… „Двадцать лет спустя“…» — Андрей

улыбнулся, вспомнив название известного романа Александра Дюма.

Морозец пробирал, щипал за ухо. Андрей потёр правое ухо, потом ладони и открыл дверь во времянку.

Ковшик снова гулял по кругу. Игорь передавал его Виталию, а Стас в это время цеплял вилкой из банки капусту.

— Хороший закусон! — говорил он, с хрустом прожёвывая. — Жаль, Андрюха, тебе нельзя, а то бы под бражечку капустка пошла!..

— Не сбивай пацана мне! — прикрикнул на него Игорь, забирая у Виталия пустой ковш, и тут же зачерпнул снова, спросил Андрея: — Как там мороз, крепчает?

— Да, щиплет больновато, — кивнул Андрей. — И темнеет уже. Пойду я, наверное. Скоро ребёнка забирать из детского сада...

— Посиди ещё... — сказал Игорь. — Поговорим, я тебе новые записи из дневника покажу. А то с этими не поговоришь... Сейчас в отключку уйдут...

Виталий действительно, откинувшись на стенку, закрыл глаза, а Стаса вдруг взялась колотить икота: он держал банку с капустой на коленях и в такт ежеминутной икоте подёргивался.

— Слабаки... — махнул Игорь. — Ты, Стас, точно не из нашей породы. И тётя Поля, и дядя Саня стойкими были на алкоголь, и отец мой по литрухе зараз выпивал, а потом на рыбалку шёл ещё... Да и мы, Андрей, помнишь, литр как-то с тобой выпили и картошку копать пошли...

— Да это, Игорь, на старые дрожжи... На старые взяло меня, а так я тоже... — стал было оправдываться Стас, но замолк под новым приступом икоты.

— Сколько время-то уже? — спросил Андрей, присев снова на своё место.

— Сейчас посмотрю на будильник, — Игорь приподнялся. — Он у меня там, на подоконнике, за «козлом». Пятый час, наверное...

Дядьку качнуло, но он увернулся от оранжевой спирали «козла» и протиснулся между ним и стенкой к маленькому подоконнику, заговорил оттуда:

— Ни хрена уже не вижу... Совсем слепой стал... А, вот... Точно, пятый час... Шестнадцать тридцать пять, если точнее, на моих...

«Шестнадцать тридцать пять! Шестнадцать тридцать пять! Шестнадцать тридцать пять!» — трижды, с каждым разом всё чётче и громче, донеслось до Андрея. Он вздрогнул, то ли от неожиданного голоса, посетившего его, то ли от толчка под сердцем — резкого и колкого, то ли от того, что Игорь выронил из рук часы и они ударились об пол.

— Мать твою! — выругался Игорь, приседая на корточки и держась за стенку. — Стекло разбилось, и тикать перестали...

Он потряс будильник и приставил к уху.

— Не-а, не идут... Новый брать давно надо. С получки куплю электронные. Знаешь, со светящимися цифрами есть: и в темноте видно их. На батарейках работают и от сети тоже.

— Знаю. На здании узла связи стоят такие — около железнодорожной бани, — сказал Андрей.

Болевой толчок под сердцем не повторился, и он решил, что голос ему почудился. «Наверное, от удара часов об пол вздрогнул, и под сердцем кольнуло от неожиданности, и голос Игоря в мозгу эхом зазвучал...»

— Да, такие, только маленькие... — согласился Игорь, поднимаясь и возвращаясь к фляге с брагой.

— Ну что теперь делать? — спросил он то ли себя, то ли племянника. — Придётся сегодня день пьянству посвятить. Эти всё равно сегодня никуда не уйдут...

Стас перестал икать и теперь, закрыв глаза, как и Виталий, подпирал спиной стенку.

— Ладно, Игорь, я пошёл, — Андрей встал, застегнул полушубок, надел шапку, рукавицы, взял с полки сумочку с гостинцем бабушки.

— Я провожу тебя до ворот. Заодно собак покормлю, — встал следом Игорь.

Они вышли во двор дома. Сумерки сгустились ещё больше. Под навесом, за собачьей будкой, слышно было, как возился дед, ругаясь на темноту:

— Ни хрена не видать.

Андрей хотел было проскочить незаметно, но, когда он подошёл к воротам, дед вышел во двор.

— Ты тут ещё? А я тебе в санки дров набрал, приготовил. Бабка опять велела, — сказал он внуку. — Ну и забирай сейчас, вези. Что по темноте-то туда-сюда шляться?

Андрей заглянул под навес, к нему было дёрнулись лайки, но Игорь прикрикнул на них, открыл Андрею ворота. Андрей подхватил верёвочку и потянул кованые большие санки, на которых лежал мешок с дровами.

— Спасибо, — сказал он деду.

Дядька и племянник пожали друг другу руки, Игорь закрыл ворота, и Андрей быстро зашагал по Партизанской улице обратно к своему дому. Метров через двадцать, там, где начинался занесённый сейчас снегом тротуар, он оглянулся: в окнах дома горел свет. Значит, дед уже собирается закрывать (как говорил дед, затворять) ставни. Андрей вновь вспомнил детство: как он любил выходить в зимние сумерки с дедом — помогал затворять ставни, проталкивая в отверстия длинные железные болты с прорезью на концах для вставки в них клиньев с внутренней стороны дома (клинья он вставлял тоже), — и улыбнулся и зашагал быстрее...

2.

Андрей зашагал быстрее, поворачивая на Шпалозаводскую улицу. Шестой час вечера. На улице

совсем темно. Андрей торопился забрать Саньку из детского сада. Дома топилась печка, и к приходу туда ребёнка, по замыслам Андрея, квартира должна нагреться. Алёна возвращается после восьми часов, к тому времени он приготовит суп, а дома будет жарко, «как в Африке». «Скажу Алёнке, что два раза за день топил, чтоб не ворчала,— подумал Андрей.— Дрова дед дал хорошие, жарко горят».

У широко раскрытой настежь калитки, в которую даже заезжала машина-фургон — «газик», привозивший продукты, стоял милицейский «уазик». Андрей утром или вечером нередко видел здесь автомашину из горотдела: на ней привозил или увозил внука — Огонька из Санькиной группы — пожилой майор Михеич, заместитель начальника горотдела по хозяйственной части.

Андрей прошёл в калитку, оставил санки у крыльца, на крыльце рукавичкой стряхнул снег с валенок и открыл дверь. Яркий свет и тепло, а ещё приятный, особенный запах, всегда витавший в узком коридорчике детского учреждения, встретили его сразу же за порогом. В первое мгновение Андрей попробовал улыбнуться, но в мгновение второе полуулыбка замерла, а в третье — растворилась в позе удивления. В дальних комнатах детского сада громко кричали, плакали со всхлипами, а лица немногих родителей в раздевалке, собирающих домой ребятишек из Санькиной группы, выражали тревогу и озабоченность. Молодая женщина, мама дочерей-близняшек, увидев Андрея, замерла, глядя на него насторожённо-печально.

— Да не я, не я это, повторяю вам! — убеждая кого-то, всхлипывал за стеной женский голос.— Как вы не понимаете? Это Женя поставила его в угол, а я не знала! Не знала!

«Похоже, Санькина воспитательница плачет»,— определил Андрей.

— Спрашивай теперь Женю… Увезли её на скорой — плохо стало,— говорил мужчина.— Как вы всё родителям объяснять будете?

Мама близняшек, не здороваясь, отвела от Андрея глаза и присела на корточках перед дочерьми, как будто прячась от него. Близняшки тоже с удивлением смотрели на вошедшего дядю.

— Здравствуйте,— тихо сказал Андрей, чувствуя неловкость.

— Здравствуйте… — выдохнула женщина, поднимаясь и говоря кому-то как будто сквозь Андрея: — Вот тут папа пришёл…

Андрей повернулся. В дверях стоял молодой милиционер в шубе-дублёнке, за ним — второй, постарше, без верхней одежды.

— Вы Андрей Николаевич? — спросил милиционер в дублёнке.

— Я-а-а-а… — Андрей ответил не сразу и произнёс короткое слово с затяжным растягиванием, словно с трудом глотая его и наконец проглотив.

— Пойдёмте, поговорить надо,— сказал милиционер, пропуская Андрея в коридорчик.

По узкому коридорчику навстречу торопливо шагала, стуча шпильками-каблучками, заведующая детским садом — небольшого роста сорокалетняя женщина в белом халате, с чуть подкрашенными в медный цвет волосами, зачёсанными назад и прихваченными резиночкой в хвостик.

— Андрей Николаевич, Андрей Николаевич, пойдёмте, пойдёмте ко мне в кабинет… — говорила она на ходу скороговоркой и, подойдя, потянула Андрея за рукав.

По имени-отчеству Андрея в детском саду до этого не называли. Правда, с самой заведующей он дел не имел, а воспитательница, обращаясь к нему чаще с просьбой проявить родительскую сознательность и сдать деньги на организацию праздника или покупку краски и извести, говорила ему «вы» или звала Андреем.

Заведующая взяла Андрея под руку, и он пошёл с ней, сопровождаемый милиционерами.

— Вы, пожалуйста, возьмите себя в руки, Андрей Николаевич, пожалуйста… — говорила заведующая, открывая перед ним дверь в свой кабинет и указывая на стул.— Только, пожалуйста… Вы же мужчина…

— Я-а-а-а… — Андрей не знал, что он должен делать.

Слово «мужчина», произнесённое заведующей, настраивало на то, что он должен быть готов к мобилизации своих эмоций, и он осторожно присел на указанный заведующей стул. Милиционеры остановились в открытых дверях, не заходя в кабинет.

— Вы ещё ничего не знаете? — спросила заведующая.

Глаза её рассеянно искали что-то на столе, отделяющем её от Андрея.

— Не-е-ет…

— Дело в том, что… — заведующая продолжала искать глазами какой-то предмет, не находила его, поднимала глаза на Андрея, но, словно боясь встретить его взгляд, снова опускала или отводила их.— Дело в том, что вашего сына… Саньку… Его увезли в больницу…

Андрей было приподнялся, но тут же снова сел.

— Это несчастный случай… Поверьте, так получилось… Не досмотрели…

Глаза заведующей вдруг перестали бегать, она взглянула на Андрея, щёки её дрогнули, она снова отвела взгляд и посмотрела на милиционера в дублёнке.

— Не могу! Не могу я! — закричала вдруг заведующая и быстро выскочила из кабинета.

К Андрею подошёл милиционер, положил руку на плечо.

— Пойдёмте, я отвезу вас домой,— сказал он.

3.

— Пойдём, я отвезу тебя домой, — сказала Мария, глядя в заплаканное лицо Алёны и взяв её обеими руками за руку.

Алёна закивала. Рука её тряслась, на щеках играл нервный тик, внутри тела всё клокотало, и ей казалось, что сердце делает попытки сорваться со своего места и вот-вот упадёт. Она вырвала руку из рук Марии, прижала ладони к сердцу и, сделав шаг вперёд, к Марии, упала. Мария успела подхватить её, на помощь ей бросились Александра Никитовна и Зинаида Степановна, приподняли, поставили на ноги. Вокруг собрались люди. Быстро сбегали за фельдшером. Опытная медичка, намочив ватку нашатырём, поднесла её к лицу Алёны. Алёна открыла глаза, ожила. Она видела перед собой лица людей, ей знакомых, но в первые мгновения не могла понять, где она и что с ней. Мария взяла её под руку с одной стороны, Александра Никитовна — с другой.

— Идти сможешь? — спросила фельдшер.

Алёна кивнула и пошла, увлекаемая Марией и матерью. Она шла по цеху, вспоминая, куда и зачем её повели, и когда поняла, что идёт к большим воротам, к выходу из депо, вспомнила: «Санька… Санька… Сыночек…»

…Сегодня в депо Алёна прибежала вовремя — часы на стене колёсного цеха показывали без двух минут восемь, но, пока переодевалась, предсменная планёрка — «пятиминутка» — началась без неё, и она, виновато входя в кабинет старшего мастера, отводя глаза от матери и сестры Ларисы, села на своё место. А смена началась как обычно. К обеду Алёна вошла во вкус: проверяла одну колёсную пару за другой, не торопя время и не глядя на часы. Остановила её после двенадцати Александра Никитовна — на правах мастера цеха и матери она дала Алёне команду: «Перерыв!» — и позвала пить чай. Некоторые из рабочих — сварщики и токари — уходили в это время на обед в столовую. Александра Никитовна, нормировщица Зинаида Степановна и ещё несколько женщин пожилого возраста столовскую пищу жаловали редко и чаще питались в цехе принесёнными из дому продуктами. Александра Никитовна всегда рассчитывала на Алёну и Ларису и брала с собой сало или колбасу, иногда борщ или суп в баночке и что-нибудь к чаю. Суп разогревали, а чай кипятили на плитке здесь же, в цехе, за столом нормировщиков, под «Экраном социалистического соревнования». Правда, старшая дочь Лариса, став бригадиром колёсного цеха, чаще теперь уходила в перерыве в столовую с молодыми женщинами из планово-технического отдела. Старше Алёны на один год и почти пять месяцев, Лариса была недовольна тем, что младшая сестра вышла замуж раньше её. В этом она видела дурной для неё знак. До двадцати трёх лет она ни с кем не дружила и на молодых людей внимания, казалось, не обращала, но примерно полгода назад Мария, подруга Алёниной свекрови, познакомила её со своим братом Лёшей — сварщиком с участка по ремонту автосцепок. Лёша стал ходить к ней в гости, развлекать, приглашать в кино, и Лариса подобрела к сестре, но всё же нет-нет да язвила по поводу Алёниного замужества, «не способного быть настоящим мужчиной» её мужа, долгих общений в компании с Андреем, да и (как подметила Алёна) с самой Алёной не выносила и старалась их избегать. Особенно старшую сестру раздражало, что Алёна никогда не брала с собой на смену ни продуктов, ни денег для обеда в столовой. «Пора на мужа надеяться, а не на маму!» — как-то бросила она сестре в обед, демонстративно уходя в столовую.

Вот и сегодня за большим металлическим столом, на деревянных скамейках с металлическими подпорками, крепко вросшими в бетонный пол, рядом и напротив Алёны, кроме матери и нормировщицы, сидели ещё две технички из цеха и душевой и инструментальщица баба Аня. За обедом говорили о делах бытовых и семейных, у кого муж пьёт, а у кого питие не жалует.

— Наш вот лечиться пошёл, — сказала Александра Никитовна, имея в виду Андрея.

— И что сейчас молодёжь спивается? — вздохнула нормировщица. — С какого такого горя? Голодать они не голодали, войны не видели… Когда мы молодыми были, так люди не пили. А теперь и старые, и молодые как с ума сошли: хлещут литрами. И ни лечение, ни ЛТП не помогают…

— Некоторым помогают, — перебила Зинаиду Степановну Александра Никитовна и посмотрела на Алёну. — Нашему должно помочь.

— Дай-то Бог, дай-то Бог… — снова вздохнула нормировщица, тоже посмотрев на Алёну.

— Ну как, Алёнушка, малыш твой? Зубки-то все прорезались? — спросила баба Аня.

Алёна кивнула, продолжая с аппетитом есть разогретый матерью суп.

— Все уж… Палец в рот не клади, — ответила за дочь Александра Никитовна. — Такой шустрый мальчик. Открыл тут как-то печь горящую и давай кочергой шурудить, чуть пожару не наделал, а когда Алёнка отобрала у него кочергу, он как цапнул её зубами за колено. Синяк остался.

— Да-а… — покачала головой Зинаида Степановна. — Ребёнок внимания к себе требует, воспитания.

После обеда время пошло ещё веселей. Примерно к шестнадцати часам работы поубавилось, и выдался незапланированный перерыв.

— Перекурите пока, — сказала смене Александра Никитовна, вернувшись от старшего мастера. — После шести часов новую партию колёс накатают: часть обработаем, часть ночной смене оставим.

Алёна присела к столу.
— Тебе, Алёнушка, ассорти нужно? — спросила её подошедшая Зинаида Степановна.
— А что за ассорти?
— Компот-ассорти: резаные персики, абрикосы, яблоки. Не то болгарские, не то венгерские. В больших пятилитровых банках. Проводники продают с секции за пять рублей. Пять рублей за большую банку, я думаю, недорого. Лариса ваша две банки взяла.
— У меня денег с собой нету, тётъ Зина.
— Спроси у матери. Если не даст, я займу тебе на баночку до получки.
— На втором пути от депо стоит рефрижератор, со стороны нашего цеха, — сказала Александра Никитовна, подавая ей пятёрку. — Только Лариске не говори, что я тебе денег дала, опять ворчать будет.

Алёна кивнула и побежала было к выходу из депо, но мать её окликнула:
— Пальто накинь, на улице не май. Простынешь…

Алёна снова кивнула и пошла в душевую, где переодевались работники депо.
— За компотом? — спросила её техничка.
— За ассорти, — сказала Алёна, сняв рабочий халат и надевая пальто.
— Возьми и мене сорти этого, будь ласкова, — попросила техничка-хохлушка, подавая Алёне пятёрку. — Мене як сегодня оторваться? Краны прийти должны сробить сантэхники… А не идут… С утра ожидаю…

Алёна молча взяла пятёрку, кивнула и пошла.

Второй от депо путь был свободен.
— Поздно пришла. Утянули секцию уже в сортировку. Минут десять как, — сказал ей переходивший пути слесарь Василий Львович. — В состав ставят, наверное.
— А до сортировки далеко? — спросила Алёна.
— Не очень. Но где ты его искать там будешь? Теперь там больше двадцати путей, и все длиннющие. Если только на горке у дежурной спросишь…

Алёна глянула на свои часики-«копейки», подаренные ей Андреем ко дню рождения в прошлом году.

«Начало пятого. Может, успею в сортировку сходить?»

Алёна перешла пути, вышла на хорошо утоптанную тропинку, ведущую в сторону сортировочной горки, и даже сделала несколько шагов, но остановилась.

Мелкий снежок крупой-манкой сыпал с потемневшего тяжёлого неба.

«Стемнеет скоро совсем. А две больших банки в гору я не унесу».

Алёна остановилась, оглянулась на депо, от которого ушла недалеко, и вернулась.
— Отдам я тебе одну банку, — сказала, выслушав дочь, Александра Никитовна. — Пусть себе Лариска ворчит.

«Спасибо», — хотела сказать Алёна, но взгляд её вдруг остановился на циферблате настенных часов.

«Шестнадцать тридцать пять», — сказал кто-то громко. Алёна вначале вздрогнула, а потом почувствовала боль под сердцем.

«Шестнадцать тридцать пять», — повторил голос, оглушая, и Алёна, словно по команде приложив обе руки к груди, попыталась нащупать под грудью сердце, прижать в том месте ладони и не дать сердцу вырваться, оторваться, упасть, остановиться.
— Что? Что с тобой? — встревожилась Александра Никитовна, глядя на побелевшее лицо дочери. — Сердце?
— Да… да, прошло уже, — с трудом выдохнув, сказала Алёна, отнимая руки от груди.

Она сделала глубокий вдох, а затем выдох.
— Не высыпаешься, вот и болит сердце, — сказала мать. — И давно у тебя такое? Часто бывает?
— Первый раз…
— Давай иди, посиди там за столом, я тебе валидолу сейчас принесу.

Алёна присела за столом, рядом с нормировщицей.
— Что с тобой, Алёнушка? Бледная какая-то вся… Не заболела? — спросила Зинаида Степановна.
— Сердце что-то кольнуло…
— С сердцем не шути… — покачала головой нормировщица.
— Завтра с утра иди в поликлинику, — сказала Александра Никитовна, дав Алёне таблетку валидола. — Под язык положи. И носи с собой всегда теперь валидол, коль сердце прихватывает…

К шести вечера работы в цех снова подкинули: открыли ворота и накатали десятка два колёсных пар. Алёна включила дефектоскоп, принялась за проверку и скоро забыла о сердечной боли. За работой мысли потекли сами собой, всё больше о доме: стала думать о сыне, об Андрее, о любви.

А бывает ли она, любовь, или про неё выдумывают? Андрей понравился ей в первый же вечер их знакомства: весь такой самостоятельный, напористый. Нравился и потом, когда она узнала, что он пишет рассказы и их печатают в городской газете; нравились и его рассказы: лирические, «душевно-духовные», как сказал один местный поэт, с которым Андрей её познакомил. Но любила ли она? Любил ли он её? Они познакомились в конце сентября, в ноябре она перед ним не устояла, а свадьбу сыграли в феврале, когда она была уже на третьем месяце… Успела ли она его полюбить или просто привыкла к тому, что он рядом? Он, он и только он, и больше никого каждый день. Ну нет! Неправда! У него были друзья, с которыми он её знакомил. Некоторые, по её мнению, были очень симпатичные, и она к ним относилась с симпатией… Правда, как заметила ещё тогда Алёна, она смотрела на всех знакомых Андрея

глазами самого Андрея. Если он говорил ей, что парень, с которым он её знакомит,—отличный, она воспринимала нового знакомого с восторгом и без сомнения: охотно включалась в разговор, улыбалась и шутила. Но если (редко—раза два-три, не больше) Андрей вдруг настораживался, перед тем как вступить в общение со случайно встретившимся знакомым ему человеком, она тут же закрывалась, старалась молчать во время короткой встречи, а когда Андрей после пояснял ей, что человек этот «с гнильцой», она сразу же проникалась к встреченному антипатией. Была и третья категория многочисленных знакомых Андрея—из разряда чудаковатых, в число их входили люди безвредные, но забывчивые, особенно на отдачу денежного долга, почти все—любители застолий. Их никто никуда не приглашал, но они каким-то образом узнавали и безошибочно оказывались в тех местах, где проходят массовые застолья, и знали, что из-за вежливости хозяев их сразу оттуда не попросят, а когда станут намекать, что не звали, они уже изрядно выпьют и закусят. Этих молодых, никогда, казалось, не унывающих людей Андрей называл «фруктами-овощами» или «баклажанами». «Тот ещё фрукт-овощ!—говорил он, характеризуя Алёне своего мимолётного знакомого.—Баклажан несозрелый». Люди «с гнильцой», или, как ещё говорил о них Андрей, «прогнившие насквозь», и из разряда «фруктов-овощей-баклажанов» чаще были отдалёнными знакомыми мужа: по школьным годам, по работе, по случайной выпивке,—и особого места в их жизни они не занимали. Алёна, встречая кого-нибудь из них на улице, старалась незаметно пройти мимо. Во всяком случае, она первой с ними не заговаривала и не здоровалась. Но таких было мало, гораздо больше среди знакомых Андрея было «отличных»—приятных на лицо и общение молодых людей, из тех, что учились с ним в одной школе, играли в юные годы в футбол или публиковали стихи в местной газете. Некоторые, по её мнению, были симпатичнее мужа и, как она успевала заметить, превосходили его по познанию жизни и широте интересов, но ни один из них никогда, ни на одну минуту не занимал мысли Алёны. В них был только Андрей. Почему? Она не могла объяснить, и уже позже, после появления на свет Саньки, когда Андрей стал меняться и пить всё больше, она раза два задавала себе этот вопрос. Что её привязывало к нему? Вначале она думала, что только то, что до встречи с ним она ни с кем не дружила и ни в кого не влюблялась, встреч и свиданий с молодыми людьми избегала. Да и трудно было молодым людям не только вызвать её на свидание, но и завести с ней разговор—она в разговоры не вступала. Даже когда училась один год (вернее, десять месяцев) в училище на продавца и уезжала в другой город, не ходила на танцы, как её подруги ни звали, и всяческие попытки знакомства пресекала. Ближе других к ней подступился лишь брат подруги Марины. Но это было ещё в школе, когда они все жили в одном дворе…

И вот Андрей…

Они встретились на вокзале. Он был с приятелем, она ходила узнавать расписание поездов—ждала подругу по училищу. Она не сразу обратила на него внимание. Они с приятелем по имени Слава среди других страждущих стучались в дверь закрытого на уборку ресторана. Она прошла мимо, а он, увидев её, пошёл следом. Она остановилась в кассовом зале у расписания, он встал рядом.

— Андрюха, ты чё? Открывают уже…—окликнул его заглянувший в зал Слава, и тут она заметила его.

— Подожди, успеем…—сказал он приятелю, не оборачиваясь, потому что смотрел на неё.

Он смотрел без смущения ей в глаза, смотрел бесцеремонно, как никто никогда не смотрел.

Алёна покраснела, смутилась, почувствовала внутреннюю дрожь в руках и где-то в районе грудной клетки. Она отвернулась и хотела было пойти к выходу, но не смогла. Кто знает, что было бы дальше, если бы они продолжали стоять друг против друга и молчать. Но он заговорил. Вернее, сказал одно слово, протяжно, словно собираясь запеть:

— Де-е-еву-у-ушка-а-а…

И это привело её в чувство, она бросилась к выходу. Он пошёл за ней. За ним приятель. Вот так, друг за другом: она—почти бегом, они—быстрым шагом,—направились в сторону её дома, к известным в городе «пятакам»—пятиэтажным домам железнодорожников. Сентябрьский вечер был на исходе, темнело. Она прибавила шаг, когда позади осталась контора станции, а впереди, на пути к дому, был тёмный проулок между деревянными домами. Алёна юркнула в проулок, надеясь сбить с толку преследовавших её молодых людей, но они не думали отставать. Не думал Андрей, а Слава то и дело окликал приятеля и звал в ресторан. Когда до огней её дома было почти ничего, она побежала, стараясь не оглядываться. Он догнал её на углу, когда до двери крайнего—её—подъезда оставалось несколько шагов.

— Вам что нужно от меня?—спросила она, остановившись и тяжело дыша.

— Познакомиться…—ответил он, переводя дыхание.

— Так не знакомятся… Вы меня напугали…

— Не бойтесь…

— Мы идём сегодня в кабак или нет?—спросил подбежавший и тоже едва переводящий дух Слава.—Чё бежал-то, как на стометровке?

— Знаете что, девушка, давайте завтра в десять с вами встретимся? Вот здесь, в вашем дворе…—предложил он, не обращая внимания на приятеля.

— А почему я должна с вами встречаться? Вы бежите за мной как очумелый…
— А может, увидев вас, я действительно очумел…
Она засмеялась:
— Можно, я пойду? Дома, наверное, меня уже потеряли.
— Можно. Но завтра я вас жду. Под вашими окнами… Окна во двор?
— Во двор…— сказала она, уходя и надеясь больше не встретить его.

Утром, в половине десятого, выглянув в окно, она увидела его возле детской площадки. В половине одиннадцатого он не ушёл, не ушёл и в половине двенадцатого, и в полдень. И она вышла. Вышла она и на другой день, и на третий. Они говорили о чём-то, ездили в пригород, на речку, ходили в кино и привыкали друг к другу. Менее чем через два месяца Алёна пригласила Андрея на свадьбу одноклассницы Ольги, и там они неожиданно поняли, что свела их судьба. Они жадно искали уединения и жадно целовались, потом уединились в нетопленой летней кухне, где спали не раздеваясь. Близости тогда не было, она случилась позже, в другую ночь, когда Андрей остался ночевать в доме Алёны, воспользовавшись отсутствием её родителей. И старшая сестра Алёны Лариса не смогла им помешать.

После того как они поселились в щитосборной четвертушке, редкий вечер к ним не заходили приятели Андрея. Все весёлые, жизнерадостные, всегда с шутками и непременно с бутылочкой водки или портвейна. Пили не напиваясь—«для тонуса и поддержки разговора». Это было, как теперь понимала Алёна, их с Андреем золотое, медовое время. Они не скандалили и не ругались, доверяли друг другу. Даже если Андрей уходил проводить гостей, где-то с ними добавлял и возвращался весёлым и хмельным запоздно, она считала, что это в порядке вещей, и продолжала радушно принимать хороших людей, идущих к ним «на огонёк». Но в течение года круг хороших знакомых, заглянувших на «огонёк», стал редеть. Жизнерадостные люди почти все, один за другим, вдруг поразъехались: кто на учёбу, кто искать счастья в дальние края. На третьем году жизни из первого круга—симпатичных—остался только Гена Хиль, и он уже не казался Алёне таким симпатичным, как в первое время,—видимо, потому, что она видела его теперь если не «через день да каждый день», то раз в неделю точно. Иногда к ним, правда, кроме Хиля, приходил на часок-другой приятель детства Витька Тетёркин, раз в полгода, бывало, приезжали из деревни двоюродный брат Олег с тёткой Галей, раза два наведывался, оказавшись поблизости от их дома, дядька Игорь. Это со стороны Андрея. С Алёниной стороны бывали лишь отец с матерью да один раз как-то—сестра Лариса. Впрочем, Андреева мать и его отчим тоже иногда посещали их четвертушку. Но ходить туда не любили и чаще приглашали к себе. Иногда визиты эти сочетались с распитием водки или вина.

Беспокойство по поводу и без повода выпитого Андреем Алёна впервые проявила после рождения Саньки. Она как-то подсчитала, сколько денег уходит на покупку спиртного по случаю и просто так и что на эти деньги можно было бы купить. Беспокойство стало расти, когда она видела, что Андрей и не собирается менять что-то, отказываться от привычек, а выпитое им в литрах и пропитое в рублях растёт. Покупка бутылки, а то и двух с получки и аванса стала нормой, постепенно нормой становилась и выпивка за обедом и ужином. Андрею, как в начале их супружеской жизни, уже не нужна была для выпивки компания. Он наливал себе понемногу сам, выпивал, закусывал, потом ложился на кровать и смотрел телевизор, поднимаясь каждые пятнадцать-двадцать минут, чтобы добавить. За час-полтора бутылка заканчивалась, и редкий раз муж не шёл за другой. А если уж шёл, то на другой день обязательно похмелялся. Алёна, сначала любя, с чувством такта, стала намекать Андрею, что, кроме выпивки по выходным и с получки, есть другие занятия и способы применения денег: «Давай новый холодильник купим»,—или: «Давай отложим деньги и в отпуск куда-нибудь съездим». Андрей отшучивался: «Выпивка—не пьянка, выпьешь сто грамм—мысли философские приходят. Гениальные! Прямо бери и записывай—классиком станешь. А в отпуск мы обязательно съездим к морю или по „Золотому кольцу России“ попутешествуем, и холодильник купим, только дай я сначала ещё несколько рассказов закончу и повесть начну». Но время шло, муж после выпитого всё реже брал в руки блокнот—записывать гениальные мысли—и в классики не торопился. Рассказы тоже писались редко, начатая повесть остановилась на третьей главе, а про холодильник вообще речи больше не было. И Алёна стала настойчивее. Она стала призывать на помощь совесть Андрея, несколько раз даже пыталась устроить скандал и дважды уходила на несколько дней к матери, забирая с собой сына. Андрей на это реагировал вяло и вдогонку за ней не бросался: знал, видимо, что жена надолго у матери не задержится («Погости, погости у мамочки, полезно иногда…»)—не выдержит язвительных намёков и замечаний сестры Ларисы. Так и происходило. Алёна возвращалась. Более того, один раз, словно чувствуя свою вину за размолвку, она пришла с бутылкой водки. И снова всё было как раньше. Но вот однажды, когда Саньке исполнился год, Алёна неожиданно прозрела. Прозрение её случилось, открылось перед взором и запало на сердце как-то вдруг. Проснувшись

поутру и не обнаружив рядом мужа, она сначала с удивлением, а потом как само собой разумеющееся поняла, что смотрит на окружающий мир не так, как вчера. Ещё вчера она ложилась спать прежней, не искушённой жизнью Алёной, а утром стала другой и уже глядела на мир по-взрослому — как мать, жена, повзрослевшая женщина. И что-то поменялось — на земле ли, на небесах ли, — в то утро и отложило отпечаток на всё последующее. И на отношения её с мужем. Она не расстроилась из-за того, что Андрей не приходил домой ночевать, не разозлилась, не стала разжигать в себе ревность и делать догадки, что уже бывало, а представила его почему-то ребёнком. Большим, взрослеющим, женатым на ней мужчиной-ребёнком. Ей стало ясно вдруг, отчего муж пьёт, отчего у него возникает желание выпить. Она поняла, что потребность напиться, стать весёлым, забыть о неустроенности быта возникает у Андрея оттого, что он не может реализовать себя.

По его рассказам она знала, что в детстве и юности он «болел» футболом, играл в команде и даже выигрывал областные соревнования, что ему пророчили хорошее спортивное будущее, но после того, как он попал в армию и провёл два года вдали от больших городов и крупных соревнований, лишь от случая к случаю гоняя мяч, спортивный рост его замедлился. И хотя после он играл на первенство города в команде строителей и железнодорожников, о большой спортивной карьере речи быть уже не могло. «Поезд ушёл, — говорил он Алёне. — Мои сверстники уже за команды мастеров и сборную играют, а я тут, на районном масштабе, барахтаюсь…» Нечто похожее происходило с ним и на творческой волне. Он писал, как она считала, хорошие рассказы, но оценить их по достоинству в городе было некому. В городской газете, хотя и встречали его всегда приветливо, рассказы печатали редко. Он отправлял их в московские журналы, но оттуда приходили тактичные отказы — советы читать классиков и больше работать над словом. Правда, дважды его новеллу о радуге напечатали в детских журналах, прислали хороший гонорар и пообещали поставить в книгу молодых писателей, которая должна выйти то ли летом, то ли осенью. Обрадованный известием, Андрей отправил в издательство ещё несколько, как он считал, более сильных рассказов, но их не приняли, снова тактично отказали и посоветовали подать документы в Литературный институт. Но какой ему институт, когда у него жена и маленький ребёнок?

После утреннего прозрения Алёне показалось, что она теперь понимает мужа. И она начала его жалеть. Сначала жалела одна, старалась быть ласковой и вдохновлять его на творчество, но скоро, убедившись, что пользы от понимания и её жалости почти никакой, посоветовалась с Александрой Никитовной. Они вместе подумали, как реализовать себя её мужу — взрослому ребёнку и творческой личности в одном лице. Мать во многом согласилась с дочерью насчёт зятя, но посоветовала относиться к взрослому ребёнку и творческой личности с любовью и строгостью. «Любовь свою сильно не выставлять наружу, не потакать и спрашивать строже. Общайся с ним как с ребёнком. Когда надо — похвали, а когда надо — и прикрикни, — дала совет Александра Никитовна. — Такие, как Андрей твой, — люди безвольные, они знают, что хотят, но к цели своей идут лениво, их надо подталкивать. Вот и подталкивай, не давай лениться и, главное, пить».

Алёна так и старалась делать. Многие поступки мужа в душе принимала снисходительно, но внешне старалась казаться строгой. Нет, она не запрещала мужу выпивать, не устраивала больше демаршей, но старалась держать его «на расстоянии» и быть главной в семье. Заметил ли перемену в ней муж? Наверное, заметил, но виду не подавал: наверное, считал, что так и должно быть. «Время меняет людей, и бытие тоже», — говорил Андрей иногда. Правда, ещё до Алёниного прозрения.

Так продолжалось всё лето и осень, а в начале зимы Алёна поняла окончательно: главное зло — выпивка. И снова призвала на помощь маму.

Александра Никитовна пришла, подготовившись: прочла Андрею лекцию с примерами из жизни о вреде пития спиртного и уговорила пойти на добровольное лечение. Андрей согласился, тем более что Александра Никитовна пообщалась на тему лечения зятя в профкоме станции и направление на лечение было получено оттуда. «Добровольно-принудительное лечение», как назвал его сам Андрей, началось в середине декабря и теперь приближалось к концу.

Алёна заканчивала проверку очередной колёсной пары, когда к ней подошли мать, Зинаида Степановна и Мария. Она хотела улыбнуться и даже попробовала это сделать, но полуулыбка застыла на её лице, едва она увидела глаза Марии, бегающие и прячущие тревогу.

— Алёна… Санька… Ты только держи себя в руках…

4.

— Ты только держи себя в руках, не сорвись и не запей, — говорил Андрею отчим Анатолий Васильевич.

Стоявший дней десять по-сибирски крепкий мороз накануне похорон вдруг резко отступил. Поплыли по оконным стёклам, заплакали его художества, запахло, как в марте, оттепелью, и кое-где даже потемнел снег. Мужики, нанятые копать могилку, диву давались: начинали с утра по холоду, костёр не хотел разгораться, а после обеда хоть раздевайся — выглянуло, заслепило

солнышко, потеплело. К вечеру над балконом тёщиной квартиры даже закапало, а к ночи, как застывшие слёзы зимы по ушедшему раньше срока младенцу, нависли небольшие сосульки.

Саньку хоронили от вокзаловских пятиэтажек. Алёна настояла, чтобы гробик поставили в квартире матери; ей, в принципе, никто не возражал. Народу на похоронах было немного: мать Андрея с отчимом, его сестра Ольга с сыном Лёшей, тёща Александра Никитовна, Лариса, её друг Лёша — брат Марии, Мария да несколько соседок. Человек двенадцать поехали на кладбище на деповском «пазике», туда же занесли гробик. Мария, Лёша и Лариса поехали на Лёшиных «жигулях».

Алёна, выплакавшаяся за два дня, с припухшими веками и стеклянным, неживым взглядом, всю дорогу поправляла на сыночке новый костюмчик, ворот рубашки, гладила его по волосам. Плакали изредка бабушки. И одна, и вторая молча вытирали обильно нахлынувшие вдруг на них слёзы. Молчали все. Молчали в доме перед выносом тела, молчали, сидя в автобусе, сухо и тихо говорили на кладбище. Разыгравшееся солнце блестело на снегу и слепило. То ли от его света, то ли от осознания бытия и неизбежной кончины все бывшие на похоронах, включая могильщиков, время от времени, кто специально приготовленным носовым платочком, кто ладонью, вытирали слёзы.

Андрей поцеловал сыночка в лобик и отошёл к дороге, где стояли автобус и «жигули», закрыл лицо ладонями. Последними у гробика были женщины. Алёна целовала сына в лицо, жадно обнимала за ноги и долго не хотела отходить. Её отвели, взяв под руки, Лёша с Марией. Плакала и целовала внука, прощаясь, Валентина Андреевна, почему-то потирая ему руки. А Александра Никитовна тихо прочитала над покойным то ли молитву, то ли заговор и положила к ногам небольшой кулёк со сладостями.

— Пусть сладко будет ему в его мытарствах по пути к Раю, — сказала она.

— Мытарства у нас, грешных, бывают, — тихо возразил ей один из могильщиков, ещё не пожилой мужчина. — А детки прямиком в Рай идут. Светла их дорога.

Александра Никитовна с удивлением посмотрела на мужчину и, вздохнув, качнула головой:

— Дай Бог, чтоб так было, как вы говорите.

Прощание заканчивалось, гробик закрыли, стали заколачивать гвоздями.

«Зачем они забивают? — думал Андрей. — Ведь всё равно Санька оттуда не выскочит, не сдвинет крышку, не выберется…» Ему вдруг стало жутко от осознания, что он больше никогда не увидит сына, не возьмёт этого дорогого ему человечка на руки, не поцелует в розовые щёчки, что сын больше никогда-никогда не вернётся к нему, что до конца дней Земли, до последнего вздоха планеты будет лежать он в этой вот могилке, на этом месте, а ему, взрослому человеку, ещё предстоит пройти много дорог, многое познать и понять, а потом, может быть, через полвека, а может, ещё позже, здесь же, а может, далеко за морями и океанами, но неизбежно вот так же лечь в землю. И не только ему — всем, кто сейчас стоит возле могилы, всем, кто живёт в городе, в стране, на Земле.

Андрей прижал ладони к ушам, чтобы не слышать удары молотка, и отвернулся. Он не слышал, как его несколько раз окликнули. Повернулся, когда отчим тронул за рукав. Гробик уже опустили, и в могилу стали бросать монеты и горстями землю. Андрей бросил несколько двушек и десятиков, заранее приготовленных для него матерью, а затем — смёрзшийся ком земли. Монеты и комья гулко стучали о крышку. Потом стук участился — заработали лопаты.

— Хорошее место Саньке досталось, — сказал Анатолий Васильевич. — И ориентир есть: рядом берёза кривая и оградка вот чья-то золотистая — издалека видно будет.

Андрей кивнул и почувствовал, что стало прохладнее.

— Мороз возвращается, — сказал отчим. — Дал нам ребёнка проводить и снова за свою работу взялся.

Перемену в погоде почувствовали все. Как-то сразу поблёкло солнышко — норовило спрятаться за облака, из леса потянуло холодом. Народ заторопился к автобусу. Анатолий Васильевич хотел было открыть бутылку водки и помаленьку помянуть у свежей могилы, но Александра Никитовна замахала:

— Дома, дома поминать будем.

Анатолий Васильевич отдал бутылку копщикам. Те сразу же открыли её, выпили без закуски, из одного стакана, а потом стали грузить в автобус лопаты, ломы и кирки. Мария предложила Андрею с Алёной поехать с ней, Лёшей и Ларисой на «жигулях». Андрей отказался, и с Алёной и Ларисой поехала Александра Никитовна — домой, готовить поминальный стол.

В принципе, готовить стол ни тёще, ни кому-то из близких родственников не пришлось. Едва из квартиры вынесли покойника, как за уборку принялись соседки Александры Никитовны, а за подогрев приготовленных ею дома капустно-картофельных и мясных блюд взялась двоюродная сестра Андрея Тоня, живущая неподалёку. Она же и ещё несколько женщин накрыли стол и расставили на нём салаты, винегрет, спиртное.

За стол тоже садились молча. Тоня кивком указывала, где кому лучше сесть, и входившие по одному, по двое в дом молча раздевались, умывались и шли на указанное им место за столом. Пока рассаживались, пришёл дед Андрея — Николай Григорьевич.

Он и начал короткую поминальную речь:

— Хоронить всегда тяжело, это горе. Но хоронить ребёнка — невыносимо. По себе знаю: приходилось с женой своей Нюрой — Анной Веденеевной — хоронить умершего ребёнка. Невыносимо. Он ведь ещё не жил на свете, ничего не знал и не умел.

— Зато и грехов у него не было. Чистым к Господу пошёл, — вставил выпивший ещё на кладбище копщик могил, тот самый, что говорил про Рай Александре Никитовне.

Он с товарищами задержался, выгружая инструмент из автобуса, и сказал это из прихожей, где копщики раздевались, когда все уже сидели за столом. Александра Никитовна встретила их сама, посадила за стол и налила им по рюмочке.

— Ну что же, как говорят: Царствие небесное, пусть земля будет пухом нашему мальчику, — продолжил дед. — А родителям скажу я так: горевать горюйте, но духом не падайте. Вы ещё молодые, ещё у вас не один народится. И сын будет, и дочка, если постараетесь…

— Не так просто теперь, — сказала Александра Никитовна, когда все, кроме Андрея, выпили. — И выкидыш у Алёны был, ещё до рождения Саньки, и долго она с Санькой на сохранении лежала, пока родила, и вот сейчас беременность прервать пришлось. Тяжело будет ей.

— Правильно, деда, говоришь, пусть постараются, — поддержал деда Анатолий Васильевич.

Налили по второй. Алёна сидела, не поднимая головы, ничего не ела и не пила. Сделала лишь глоток из подставленной к ней рюмки, поморщилась.

— Поешь, Алёнушка, покушай, — подвинула к ней тарелочку с толчёной картошкой и котлетой Мария, — надо поесть, милая.

Алёна подцепила на вилку толчёнку, вяло пожевала, с трудом проглотила и снова опустила голову.

Не мог есть и Андрей. Все три дня, со дня смерти сына и до похорон, он пил только чай. Андрей сидел на противоположной от Алёны стороне, на другом конце стола. За ним взялся ухаживать Анатолий Васильевич, предлагая то винегрет, то котлеты. Андрей кивал, согласно ставил всё, что подавал ему отчим, рядом, но ничего не ел.

Выпили по второй, налили по третьей. Помаленьку народ отогревался, отходил от страшного шока, разговорился.

— А что тому мужику будет, — спросил дед, — что мальчонку задавил? Я понимаю, что он не нарочно, но ведь, выходит, в смерти он виноват…

— А что ему будет? — взялся поддержать доселе не обсуждаемую тему Анатолий Васильевич. — Ему неосторожное убийство приписали. Могут три года дать, а могут условно.

— Ребёнка нет, а ему условно! — воскликнула Валентина Андреевна.

— Это несправедливо! — поддержала её Александра Никитовна. — За убийство надо срок серьёзный давать!

— Да там, насколько я знаю, больше воспитатели виноваты, загнали ребёнка в угол и забыли, а мужики не знали, что кто-то в углу есть, — пояснял раскрасневшийся Анатолий Васильевич. — Я ходил туда на разборки. Там такое болото бабье, в детсаду этом. Они вообще о детях не думают. Одна, с копной на голове, только деньги с родителей собирает, другая, рыжая молодуха, орёт благим матом на ребятишек, а заведующая никакого контроля не осуществляет. Давно их разогнать надо было.

— Их и разгонят скоро, — сказала Валентина Андреевна. — Я тоже там была, в садике. Заведующей выговор объявили, воспитательницу перевели в нянечки, а рыжую эту уволили. Нам только от этого не легче. Рыжую эту с воспитательницей тоже судить надо. Это их рук дело. Если бы не загнали ребёнка в угол, он был бы жив… Загнали и забыли… Это ж надо…

— Правильно, Валя, правильно, — поддержала сватью Александра Никитовна. — Нельзя оставлять их без наказания. Может быть, и правда, как они говорят, никакого уголовного преступления не было, но чисто по-человечески…

Валентина Андреевна заплакала, стала доставать из кармана кофты носовой платочек, и пока искала его — разрыдалась. Успокаивать её бросилась Александра Никитовна, помогла ей подняться и увела в другую комнату. Пошли было за ними Тоня с Марией, но скоро вернулись. А через некоторое время из соседней комнаты слышался громкий плач уже обеих бабушек погибшего внука.

За столом некоторое время молчали. Анатолий Васильевич попробовал встрепенуть собравшихся — предложил выпить, но не все откликнулись на предложение. Выпили копщики, Лёша с Марией, Лариса, несколько соседок и Тоня. Потом снова молчали. Дед хотел было тоже что-то сказать, но передумал и лишь махнул рукой.

Новизну внёс звонок в дверь. Открывать пошла Лариса и вернулась к столу уже в сопровождении Игоря и Стаса. Игорь был в своём неизменном светло-коричневом, машинной вязки, тонком свитере с несколькими тёмными пятнами спереди, сбоку и сзади. В свитере этом он ходил на работу, обитал едва ли не круглогодично во времянке и даже, если крепко был выпивши, укладывался спать. Стас, одетый в спецовку местных строителей с надписью «Спецмонтажстрой», местами помятую и тоже коричневую, правда, темноватого оттенка, сам выглядел помятым и не выспавшимся. Не выспавшимся и помятым выглядел и Игорь.

— Извините, Бога ради! Извините! — начал кланяться вышедший вперёд Игорь. — Не смогли придти к похоронам, так, думаем, на поминки надо сходить всё же, племянника в горе поддержать…

— Проходите! — сказал громко, не вставая из-за стола, Андрей.

— Проходите, проходите,— подталкивала вошедших Лариса.— У нас стульев не хватает, я сейчас табуретки из кухни принесу.

Ларисе тут же бросилась содействовать соседка — принесла два стула из своей квартиры.

Игоря и Стаса усадили рядом с Андреем, и Анатолий Васильевич сразу налил им по рюмочке.

— Ну, как говорится, земля пусть Саньке будет пухом,— сказал Игорь и выпил.

За ним выпили Стас, Анатолий Васильевич и ещё несколько человек.

— А может, и тебе немного для аппетита?— спросил тихонько Игорь Андрея.— С пятидесяти грамм ничего не будет. Зато поешь. А то совсем осунулся…

— Нет, боюсь, реакция пойдёт,— замотал головой Андрей.

— Конечно, пойдёт,— сказал Стас, тоже негромко.— Ему сейчас ни водки, ни вина нельзя. Если рюмашку сухого только. Надо у Витальки спросить, можно ли сухого.

— Когда ты спросишь?— удивился Игорь.— Виталька твой хрен знает где, а Андрей — вот он! Видишь, человек третий день ничего не ест. Ему аппетит вернуть надо.

— Как ты ему вернёшь?— огрызнулся задетый Стас.— Тут сухого нет, наверное… Ты что, в магазин пойдёшь?

— Нет у твоей тёщи сухого?— спросил Игорь Андрея.

— Конечно, нет,— ответил за племянника Стас.— Они не аристократы — сухие вина распивать. Делать им больше нечего, что ли?

— Что вы там шепчетесь?— спросила подошедшая Тоня.

— Андрюху вот хотим заставить поесть,— объяснил Игорь.— Водку ему для аппетита предлагали, а ему нельзя… Может, сходить сухого вина купить?

— А сухое можно?— спросила Тоня, глядя на Андрея.

Тот пожал плечами.

— Ладно, я схожу. Магазин тут недалеко. Может, выпьет капельку — и действительно полегчает на сердце,— сказала Тоня и пошла одеваться.

— Ты куда?— остановила её в прихожей Лариса.

Тоня шепнула ей на ухо несколько слов.

— Может, шампанское ему можно? У меня полусухое есть.

— Ну давай,— согласилась Тоня.— Какая разница? Та же кислятина, а градусы есть. Пусть выпьет фужерчик и поест, может, а то смотреть жалко. Исхудал за эти дни весь, щёки провалились…

Тем временем к столу возвратились Валентина Андреевна и Александра Никитовна. Лица обеих бабушек оставались заплаканными, обе время от времени прикладывали к глазам носовые платочки. Дед призвал всех налить и помянуть правнука ещё раз. Пока разливали, Лариса принесла для Андрея наполненный фужер с шипящим напитком.

— Сделай глоточек, зажжёт внутри — поешь,— кивнула ему уже успевшая сесть за стол напротив Тоня.

— Давай-давай,— подтолкнул легонько Игорь.

Андрей посмотрел вокруг. Все сидящие за столом были заняты собой, другими и разговорами. Мария успокаивала Валентину Андреевну, Алёна и Александра Никитовна переговаривались вполголоса, их внимательно слушали подошедшая к ним Лариса и сидевший неподалёку Лёша, копщики, выпив очередной раз, общались между собой, а дед, Стас и Анатолий Васильевич закусывали. Только Тоня и Игорь смотрели на него. Андрей поднёс ко рту фужер и, вдохнув и тут же выдохнув, выпил. Всё. До дна. Поставив фужер на стол, прижал руки к груди и замер. Он ждал реакции. Причём реакции какой угодно: от самой худшей — резкой остановки сердца (чем его не один раз пугали) — до привычного лёгкого приятного жжения в желудке и тёплого, физически ощущаемого растекания алкоголя по крови, всегда облегчительного, не единожды им пережитого.

— Что с тобой? Сердце?— спросила встревоженно мать, увидев сына в застывшей позе.

— Да нет, Валентина, нет!— махнул рукой Игорь, пододвигая к Андрею котлету.— Сейчас он есть будет.

Махнул рукой ей и кивнул Андрей, и Валентина Андреевна снова переключила внимание на разговор с Марией.

Андрей взял вилку, воткнул её в котлету, но есть не торопился. Он продолжал ждать, приостанавливая дыхание и прислушиваясь к ударам сердца. И вот в голове зашумело, в глазах слегка затуманилось, внутри тела забегало облегчительное тепло. Тёплая волна пошла перекатами по рукам, ногам, желудку.

— Ешь,— подтолкнул его ещё раз Игорь, и Андрей вцепился в котлету зубами.

— Ну вот, молодец!— похвалил вполголоса дядька.

— Молодец!— тоже негромко подхватил Анатолий Васильевич.— Теперь картошки ещё наверни тарелку-другую, салата — и оживёшь.

Андрей подцепил картошку, ему подставили винегрет. Винегрет и салат под названием «Зимний» тоже пошли в дело. Вслед за тёплой волной, вызванной шампанским, пережёванная пища тоже волной начала путешествие к желудку, наполняя организм белками и углеводами. К Андрею приходил аппетит, и, чтобы не спугнуть его, Анатолий Васильевич подозвал Ларису и тихонько попросил принести ещё шампанского. Лариса глянула на работающего вилкой Андрея и, одобрительно кивнув, пошла на кухню.

— Давай ещё разок,— сказал Анатолий Васильевич, забирая у Ларисы фужер и поставив его перед Андреем.— Для закрепления аппетита.

Андрей снова осмотрелся. Большинство сидевших за столом не обращали на него внимания. Захмелевшие люди разбились на группы по интересам и по двое, по трое вели между собой разговоры. Лариса, подав фужер, вернулась на своё место и что-то шептала на ухо Лёше. Даже Тоня, следившая было за двоюродным братом, отвлеклась на беседу с одним из копщиков. К Андрею повернулся Игорь, разговаривавший до того со Стасом, и, заметив почти полный фужер с шампанским, сказал:

— Давай, племяш, хуже не будет.

И Андрей дал. На этот раз более смело, не делая дыхательной гимнастики, залпом выпил.

Играющее воздушными пузырьками шампанское почти сразу побежало, разыгралось по телу, и Андрей почувствовал, что ему стало хорошо. «Захорошело», как говорил отчим. Есть уже не хотелось. Андрей откинулся на спинку стула, снова осмотрел сидевших за столом. Все были по-прежнему увлечены разговорами. Только Тоня была на ногах, теперь возле Алёны — уговаривала её выпить и поесть. Игорь со Стасом снова заспорили, их остановил Анатолий Васильевич, разливший по рюмочкам. Втроём они кивнули друг другу и выпили.

«А может, и мне?» — подумал Андрей, глядя на открытую бутылку водки. Но едва он подумал об этом, едва улеглась в нём, спряталась приятная и тёплая волна от шампанского, как пошла волна новая. Она шла обратно по ногам и рукам к грудной клетке, зажгла под сердцем, обхватила лёгкие, вцепилась в горло и стала душить. Андрей почувствовал, что задыхается, что лицо его становится мокрым.

— Что, что с тобой? — спросил его Анатолий Васильевич.

Андрей хотел сказать, что сам не знает, что с ним, но лишь открыл рот и закивал головой. В глазах стало темнеть, а на темнеющем фоне поплыли кресты, памятники, могилка…

— Да он красный весь! — воскликнул Игорь.

— Давайте его на воздух! — принял решение Анатолий Васильевич и, не дожидаясь никого, вскочил, подхватил Андрея сзади под руки, оторвал от стула и потащил к балкону.

— Откройте дверь! — крикнул он на ходу.

Открывать бросилась Лариса, протискиваясь между стенкой и сидящими и уже перепуганными людьми. Особенно перепуганными выглядели Валентина Андреевна и Александра Никитовна. Они выскочили из-за стола и вместе с Марией и Лёшей старались протиснуться на маленький балкон, куда вытащил, почти вынес их сына и зятя Анатолий Васильевич. А тот уже растирал лицо Андрея снегом и кричал ему:

— Воздуху набирай больше! Воздуху! Дыши глубже!

Андрей дышал часто, хватал холодный воздух. Снег освежил его, стал приводить в норму. Он открывал и закрывал глаза, и перед ним мелькали то лица людей, то электрический свет из комнаты, падающий на него через окно и открытую дверь, то темнота. А отчим, одной рукой поддерживая его, собирал в горсть снежок, не обильно, а лишь припорошивший сложенный на балконе хлам, и продолжал растирать щёки и уши Андрея.

Андрей замахал руками, показывая, что ему уже легче.

— Ну ладно, расходитесь все! — приказал Анатолий Васильевич, ослабляя хватку и выпуская Андрея из своих рук. — Всё хорошо. Хорошо. Человек просто в расстройстве, сознание чуть не потерял. Сейчас он посидит на воздухе и придёт. Заходите, заходите в комнату, не студите квартиру!

— Он что, выпил, что ли? — спросила мужа Валентина Андреевна.

— Почему сразу выпил? Плохо стало, дыхание перехватило. Бывает так от расстройства, от переживания.

Принимавшие участие в спасении расселись по местам. Андрей остался на балконе один и, облокотившись на перила, стал смотреть на соседние дома, на город, зажигающий в сумерках огни. «А ведь мог я за Санькой податься. Запросто. Зачем пил? Для аппетита? Просили… А мне нельзя, нельзя ничего. Умереть мог… Мог…» Андрей содрогнулся, вспомнив кладбище, могильщиков, забивающих гвозди в гроб. Дрожь прошла по телу, и он почувствовал, что замёрз. Из двери выглянул отчим:

— Ну как? Легче?

Андрей кивнул.

— Ну ладно, пошли, а то закоченеешь тут, — сказал Анатолий Васильевич, обняв его за плечи и увлекая в комнату.

За порогом встретила мать, снова спросила:

— Ты что, выпил?

Андрей махнул рукой, заметив, что все смотрят на него, некоторые — привстав из-за стола. Алёна, Лариса, Мария, Лёша, Игорь…

— Иди в комнату, полежи немного, — сказала Валентина Андреевна и тут же обратилась к Александре Никитовне: — Сватья, пусть приляжет, отдохнёт.

— Конечно, конечно! — засуетилась тёща, устремившись навстречу зятю, и, оттесняя Анатолия Васильевича, взяв Андрея под руку, повела его в маленькую комнату.

— Вот, ложись, — сказала Александра Никитовна, переложив сначала с кровати на диван верхнюю одежду, что сложили, раздеваясь, некоторые из пришедших на поминки, и поправив подушку. — Отдохни немного.

— Спасибо, мать.

— Я дверь чуть приоткрытой оставлю, — сказала Александра Никитовна. — Если что, позовёшь. Крикнешь, а мы услышим.

Она вышла, оставив небольшую щель между неприкрытой дверью и косяком. Андрей прилёг, повернулся на правый бок, закрыл глаза.

«Вот в этой комнате два года назад умер тесть,— вспомнил он.— Умер на диване, что стоит чуть наискосок от кровати, в противоположном углу. И я мог… А почему мог? Могу и теперь… Внутри шампанское клокочет ещё. Тошнит. Вот картина будет: тесть умер на диване, а зять через два года—здесь же, на кровати. Один—с похмелья похмелившись, и другой—выпив, не долечившись».

Андрей почувствовал, как кровью налились его щёки, горели уши. Он резко повернулся на спину и стал тереть уши сразу двумя ладонями.

«Нет, нет, нет! Мне рано ещё умирать! Рано! Мне ещё жить надо, книги написать! Романы, повести… Я ещё должен увидеть свои книги… Нет!»

Перед глазами вновь поплыли кресты, памятники со звёздочками, гробик и копщики могилы, забивающие гвозди в гробик сына.

«Нет!»—Андрей присел на кровать. Он хотел крикнуть, позвать мать или тёщу, но остановился, постарался успокоиться.

«Нет, не умру я сейчас. Раз не умер сразу после шампанского, то уже не умру. Дождусь, когда выйдет мой рассказ в московской книжке, напишу сам книгу, и ещё одну, и ещё двадцать…»

Андрею стало легче от мысли, что он скоро увидит свой рассказ в московской книжке с твёрдым переплётом. Он представил, как о нём, кто с гордостью, кто с завистью, начнут говорить, называть писателем и уж обязательно станут зазывать на работу в редакцию. Он же, конечно, сначала станет отказываться, говорить, что это не его дело, что он писатель, а не газетчик… Но потом согласится. Это всё лучше, чем бегать за вагонами по станции. Правда, в редакции будут настаивать, чтобы он поступил на учёбу заочно в университет, а он будет настаивать на Литературном институте. Там есть у него одна знакомая дама—Наталья, которая отобрала его рассказ в сборник и упорно зазывала ещё в прошлом году на учёбу: приглашала на экзамены, просила обязательно приехать. Он не поехал, больше не оттого, что боялся завалить экзамены, а потому, что наверняка эта ещё не замужняя Наталья считала его человеком свободным и о жене и ребёнке не догадывалась.

Андрей снова прилёг. Закрыв глаза, он продолжал думать про Москву, про Литературный институт, про московскую книжку.

«Наверняка жизнь должна измениться после выхода книжки, наверняка… В лучшую сторону… Конечно, в лучшую. Только в лучшую…»

5.

«Жизнь должна измениться в лучшую сторону… Должна же наконец…»—думала Алёна, лёжа на койке железнодорожной больницы. Раз она не умерла, раз осталась жива после тяжёлой операции, значит, будет жить дальше, значит, ей суждено жить, пусть даже без детей…

«Ну не будет детей. И что? Живут же некоторые люди без детей, всю жизнь живут, до старости… Соседка вот с мужем в материном доме. Лет двадцать они вместе… И Рита, подруга, похоже, замуж не собирается… Ну, Ритка, правда, ещё молодая, и замуж ещё выйти может, и детей ещё родить… Хотя странно будет: Рита и её дети…»

Алёна улыбнулась, попробовала представить Риту кормящей грудью ребёнка и не смогла. Никак уж эта небольшого росточка её одноклассница, а теперь—сестра привокзального медпункта, не представлялась ей мамой.

С Ритой, а ещё с Мариной они дружили с третьего класса, когда переехали жить в вокзаловские пятиэтажки. И после окончания школы, и даже чуть позже, когда Алёна уже дружила с Андреем, они часто общались, но потом Марина, выйдя замуж, выпала из её поля зрения и теперь жила свой обособленной жизнью, хотя (Алёна знала от Риты) никуда из города не уезжала. А Рита осталась. Алёна иногда заходила к ней в медпункт, где они подолгу вели беседы, иногда слишком подолгу—часа по три вспоминали детство. А теперь в больницу несколько раз приходила к ней Рита. Не она одна. Были у неё и мать, и Лариса с Лёшей, и свекровь заходила как-то. Раза по два на дню бывал у неё Андрей; если не заходил в палату, то стоял у окна. Она смотрела на него, старалась понять, любит ли он её ещё или просто жалеет. Наверное, любит, если приходит. Ведь к некоторым женщинам из палаты не приходит никто. А может, он просто привык к ней? Вошло у него в привычку, что она рядом… Почти шесть лет они вместе, а кажется, что не было у неё другой жизни. Ни детства в пятиэтажках, ни школьных подруг, ни торгового училища, а был Андрей и ещё некоторое время—Санька. Алёна вдруг поняла, осознала, что она не может представить себя, своей жизни—ни прошлой, ни будущей—без Андрея. Он был для неё всегда. Она ругалась с ним, любила его, ненавидела, бывало, когда он пил по нескольку дней подряд, а потом лежал сутками, умирая от перепоя, трепетала, когда он читал ей новый рассказ, и восхищалась тем, как он умеет расставить и записать, казалось бы, обыденные, много раз слышанные слова, и таяла от нежности, когда видела, как он относился к сыну, как играл с ним, как успокаивал, когда тот плакал… Так просто, по-мужски, как она не могла.

Сердце Алёны застучало сильнее, глаза стали влажными. Мысли, воспоминания о погибшем сыне приходили к ней каждый день на протяжении этих двух с половиной лет после его смерти, но иногда бывало невмоготу. Как сейчас. Одной

рукой придерживая бинты на теле под халатом, а другой облокотившись на кровать, Алёна попробовала сесть. Опустила ноги, поставила на пол, пододвинулась ближе к спинке кровати, взялась за дужку и перевела дух. Потом вытерла ладонью свободной руки слёзы, стала смотреть в окно. Летний день зарождался: шевелил ветерком крепкую листву на тополях, пробегал бризом по лужам на асфальте, оставшимся после вчерашнего дождя — прямо-таки ливня с грозой, шедшего около часа и, казалось, залившего всю землю. Небо хмурилось и сегодня и снова обещало дождь: тёмные сплошные тучи плыли, цепляясь за антенну на крыше стоявшего напротив трёхэтажного корпуса терапии. Из двери терапии, хлопнув дверью, выскочила дежурная санитарка в накинутой поверх халата бордовой куртке и, гремя склянками, лавируя между лужами, побежала в сторону лаборатории. Из приоткрытой форточки тянуло прохладой, в неё влетали звуки нового утра: вот где-то завелась машина, мерно заработал её двигатель; вот раздались чьи-то голоса, редкие, отрывистые, и тут же стихли; несколько воробушков чирикали, умывались возле лужи. Алёна посмотрела на свои крохотные часы-«копеечки»: начало седьмого. Женщины в палате спали, из коридора доносились лёгкие шаги: видимо, медсестра уже ходила по палатам — ставила, кому назначено, ранние уколы. День набирал силу, жизнь продолжалась. Продолжалась она для неё, для Андрея, для матери, для свекрови, для миллионов, для миллиардов людей на планете, но только не для её сына. Зачем? За что? За какие грехи её, Андрея, а может быть, их предков, была отобрана жизнь у маленького человека? Почему он так мало пожил, не успел порадоваться жизни? Почему она не может больше иметь детей? По какому закону вынесен ей этот приговор?

Слёзы вновь потекли по щекам. Она не стала их вытирать. Почему? Почему не смогла родить первого ребёнка и случился выкидыш на шестом месяце беременности? Почему так долго и заботливо выхаживала вторую беременность: трижды до родов ложилась на сохранение и наконец родила, но долго не порадовалась? Зачем решилась на аборт, когда Саньке было уже больше года? Испугалась, что не справится с двумя малышами? Ведь Андрей не хотел, не пускал её в больницу. Говорил: где один, там и два, вырастим. Почему она его не послушалась? А если бы родила второго, то и первый был бы сейчас жив, она бы не водила его в этот детский сад, а водилась бы с двумя детьми дома, и сейчас у них была бы, наверное, хорошая, крепкая семья. Почему, почему так не случилось, а случилось по-другому? Почему и вот эта долгожданная, после двухлетнего перерыва, беременность закончилась так трагически и ей едва спасли жизнь?

Слёзы уже ручьями бежали по щекам, скатывались по подбородку, капали на халат. Алёна не услышала, как открылась дверь, и не сразу увидела, что в палату вошла дежурная медсестра.

— В чём дело? Почему плачем? — спросила медсестра, примерно её возраста женщина. — Не надо плакать, всё худшее позади. Больше надо улыбаться, тогда раньше выпишут.

Медсестра говорила ласково, как говорят с детьми, и Алёна попробовала ей улыбнуться. Наверное, улыбка со слезами у неё получилась, потому что голос медсестры стал ещё добрее:

— Ну вот! Уже лучше! Давайте-ка я вам сейчас помогу прилечь и укольчик поставлю. Не больной такой, маленький укольчик, и будет всё хорошо.

Алёна, держась за живот, боясь сдвинуть с места бинты, осторожно передвинулась и медленно, с помощью медсестры, прилегла на бок.

— Ну вот и всё, — сказала медсестра, поставив укол. — Почаще поднимайтесь, присаживайтесь, пробуйте ходить, подходите к окну. Вам уже можно помаленьку шевелиться. Даже нужно это делать. И даже до столовой можно пройтись…

— Хорошо, — ответила Алёна.

Ей вправду стало вдруг хорошо. То ли от ласкового щебетания медсестры, то ли от мысли, что худшее позади, а впереди ещё большая жизнь и много непознанной, ждущей её радости, что скоро она придёт домой, поправится, поедет с Андреем в деревню к его тётке Гале и пойдёт с ней искать в ближайшем бору грибы. Подумав о грибах, Алёна заставила себя улыбнуться. Наверное, улыбка снова удалась, потому как волна нежности прошла, трепыхнулась в душе и запела. Нежно-нежно, без слов. Ещё пять минут назад думающая о несправедливости устройства мира, Алёна теперь любила этот мир и благодарила его за утро, за жизнь, за будущее, за Андрея…

За два с половиной года многое переменилось в их семейной жизни. Нет, сама жизнь внешне осталась почти такой же. Она так же работала в депо дефектоскописткой, они жили всё в том же бараке-четвертушке и ждали, когда «четвертуху», как называл её Андрей, снесут. Но в жизни Андрея (а значит, и её тоже) произошли перемены. После вышедшего в Москве рассказа Андрея, как он и предполагал, стали зазывать на работу в редакцию. Свекровь настаивала, чтобы он шёл без раздумий, но Андрей сомневался. Некоторые умные люди советовали не торопиться, убедительно говорили ему о том, что газета погубит в нём талант писателя и сделает из него ремесленника. Но работа без больших перспектив на станции стала ему надоедать. И в конце концов Андрей поддался уговорам редактора и пошёл в промышленно-транспортный отдел редакции, с условием, что первое время на заочной учёбе на факультете журналистики редакция настаивать не будет. Андрей ещё думал

о Литературном институте, состоял в переписке с продвинувшей его рассказ Натальей. И Алёна несколько раз думала об этой Наталье—далёкой и ни разу не виденной ни ей, ни мужем воочию—как о сопернице, не подавая Андрею вида. Думала она несколько раз так и о молодых женщинах с нового места работы мужа. Даже шутила по поводу и без повода с мужем на тему возможных его романов. Андрей её шутки принимал и даже им подыгрывал, приписывая ей роман с пенсионером дядей Васей, закатывающим колёсные пары в цех, где работала Алёна. Оба смеялись: когда от души, когда для вида. На этом дело и заканчивалось. «Ну что поделаешь—работа теперь у него такая, всё время с людьми, а там много разных, и молодки влюбчивые попадаются, бывает,—говорила, успокаивая Алёну, Александра Никитовна.—Знаешь, как молодые девочки-романтики поэтов любят? А потом, мужская порода всё время стремится к разнообразию, ей перемены нужны. Увлекаются мужики, но чаще это проходит. Редко нормальный мужик семью бросает. А твой привыкчивый—привыкает быстро ко всему и менять ничего не хочет. Я заметила: он такой. Вы уже привыкли друг к другу. И ты привыкай к его новой работе, к его новому кругу общения, не бери в голову и не думай плохого».

Алёна плохого об Андрее не думала, но измены мужа боялась. Не могла представить его с другой, не хотела думать об этом, но иногда всё же думала и представляла. Особенно после того, как Андрей всё-таки поступил на заочное отделение госуниверситета. Три раза он ездил в областной центр: жил там по две-три недели, и кто знает, чем там занимался. Ведь не один он учился. Наверняка и дамочки из разных районов, а то и других областей повышали там свой «профуровень», как шутил иногда Андрей. «Слабовольный он—это точно,—качая головой, говорила иногда дочери о зяте тёща.—Не всегда делает то, что задумал…» Алёна с матерью соглашалась. Часто на её глазах муж садился с желанием написать за вечер главу повести или статью в газету, но передумывал и вставал через несколько минут, не написав ни строчки. Бывало, Андрей строил планы—реальные и вполне ему посильные; она загоралась его вдохновением, тем, как он собирался их осуществлять, но через день-другой муж остывал, начинал сомневаться, и планы оставались планами. Алёне хотелось верить в преданность мужа. За пять лет их совместной жизни повода для измены он ей не подавал, хотя она, бывало, и подозревала его; но её опасения ничем не подкреплялись и оставались только в её личных переживаниях и сомнениях, иногда в порыве высказанных Андрею, чаще—невысказанных. А вдруг всё-таки запудрит ему голову какая? Или там, на их сессиях, или, ещё хуже, здесь? Каждый год к ним в редакцию то молодые школьницы приходят стажироваться, то студенток присылают на практику. Вдруг увлечётся слабохарактерный? Его ведь всегда тянуло в дальние края, к перемене места, не раз в планах собирался то в Среднюю Азию, то на Север. А в Москву всё продолжает собираться. Говорит: «Брошу я, Алёнка, этот университет, эту журналистику и поеду поступать в Литературный. Мне романы надо писать, а не заметки в газету. Меня тут всё равно не оценят. Мне терять, в принципе, нечего: не поступлю—опять в газету пойду, не в нашу, так в другую. Районок полно по стране».

«А вдруг правда надумает? Поедет в Москву, в Литературный? Вдруг поступит? Вдруг подвернётся там, в Москве, какая цаца? А что? Ему и правда терять, кроме меня, нечего: ни квартиры хорошей, ни детей…»

Алёна встрепенулась. Утро началось с того, что она думала о том, что у неё теперь никогда не будет детей, и вот снова пришла к этому. Так и с ума сойти можно. Нужно думать о другом, о хорошем… О том, что всё будет хорошо. Что всё должно быть хорошо. Она осталась жить после тяжёлой операции. У неё есть муж, который, как и она, хотел, чтобы у них были дети. Он хранил её и берёг, когда узнал, что после двухлетнего перерыва она снова в положении… И не его вина, что случилось осложнение… Нужно думать о хорошем, о хорошем, о хорошем. А о чём? О том, что скоро обещали пустить барак под снос, а значит, они переедут в новый дом в новом микрорайоне, что строится неподалёку от железнодорожной бани… Новая квартира—это хорошо. В новой квартире будет новая жизнь, начнётся новый виток их взаимоотношений с Андреем.

«Справим большое новоселье в нашей маленькой однокомнатной квартире. Пригласим гостей полную комнату, и полную кухню, и полный балкон, и полный коридор, и полный двор…» Развитие новой темы о новой квартире, комнате, кухне, коридоре и дворе вызвало улыбку. «Надо поделиться с Андреем. Пусть поиронизирует в каком-нибудь рассказе…»

Алёна стала думать о новоселье, строить планы, связанные с новой квартирой, и от сердца снова отлегло. На минуту она увлеклась своими мыслями, планами о расстановке новой мебели в комнате и на кухне и не сразу услышала, что в окно тихонько постучали. Она приподняла голову и увидела за окном мужчину в коричневом плаще.

—Девушка, это какая палата?—спросил мужчина, прильнув к стеклу.

Алёна потихоньку стала приподниматься, вспоминая, какая у неё палата, присела сначала, потом, держась за спинку кровати, встала и, с трудом ступая, подошла к окну.

—Четвёртая… Кажется…—ответила она.

—К вам сегодня никого из новеньких не положили?

Лицо раннего посетителя показалось Алёне знакомым. Пышные усики, полные щёки, совсем как у Маринкиного брата—парня с вокзаловских пятиэтажек, теперь, правда, повзрослевшего, возмужавшего.

— Стёпа?—спросила Алёна, подойдя к окну.

— Алёна!—удивился и обрадовался человек за окном.

Стёпа! Степан… Сколько же лет прошло? Наверное, восемь или даже чуть больше с того майского дня, когда они провожали его в армию. Он пытался поцеловать её на вокзале, при всех, тем самым как бы объявляя невестой, собирающейся ждать его. Она ловко увернулась, перевела его серьёзное намерение в шутку, и Стёпа неуклюже поцеловал Ритку. Чмокнул в щёчку. А до этого они долго жили в одном дворе, где протекало, шло и пробегало их детство, где взрослели они и откуда уходили во взрослую жизнь.

Стёпа впервые обратил на неё внимание, когда она училась в восьмом классе. Он был уже десятиклассником и отличался от других знакомых ей парней тем, что был братом её подруги Маринки, не любил играть в футбол, что делали целыми днями почти все пацаны близлежащих домов, и чаще других ходил в кино. Кино было его страстью, но ещё большей страстью его было—рассказывать вечерами увиденные фильмы, дополняя сюжет от себя и придумывая новых героев. Несколько раз он имел из-за этого неприятности от сверстников и даже взрослых, клюнувших на рассказы и пошедших на разрекламированный им фильм, но многого, о чём говорил им Стёпа, там не увидевших. Особенно ему досталось после «Фантомаса». Когда по клубам города прошли три серии про человека, меняющего лица с помощью масок, и на заборах, стенах домов и асфальтовых дорожках стало проявляться имя главного героя, написанное мелом, сажей, а то и масляной краской на кириллице и латинице, многие увлечённые фильмом зрители стали осаждать кассиров, билетёрш и киномехаников и пытать их вопросом о продолжении. Кассиры, билетёрши, киномеханики и даже начальники кинопроката города и района, отбиваясь от наседавших, говорили, что понятия не имеют о продолжении, и один лишь Стёпа говорил всем уверенно: продолжение есть и обязательно будет. Он убеждал всех, что читал в «Огоньке» и в «Советском экране», что во Франции сняли сто сорок серий про Фантомаса и скоро ещё три или хотя бы одну (он подчёркивал—самую последнюю) обязательно покажут у нас, добавляя, что серию эту специально сняли для нашей страны на какой-то нашей киностудии. Некоторые поверили ему сразу, других он убеждал дольше, ну а самым недоверчивым, войдя во вкус знатока кино, Степан как бы между прочим говорил, что видел сам в одном месте, а точнее, в областном центре эту серию, что её стараются сильно не афишировать, чтобы не было нового ажиотажа, а потому она называется неброско. Иногда он даже шёпотом произносил название тайной серии, каждый раз дополняя подробностями новые проделки Фантомаса. И действительно, вскоре фильм с таким названием появился в городе. Фильм был новый, никто, включая прокатчиков, толком не знал, о чём кино, единственное, что было известно,—название киностудии. На самодельной афише было написано, что фильм—производства одной из среднеазиатских республик, но это не смутило добрую половину города, двинувшую вечером в день проката фильма к центральному кинотеатру «Победа». Такого наплыва народу возле «Победы» не было даже во время прокрутки фильмов с участием Чарли Чаплина десять лет назад. Билетов на шестичасовой—первый вечерний—сеанс хватило не всем, не хватило их и на последний—восьмичасовой. Оставшиеся стали требовать начать продажу билетов на завтра, что не было принято в городе. Вызвали на разговор директора «Победы». В числе желающих увидеть новый фильм про Фантомаса оказался заместитель горисполкома, и по многочисленным просьбам билеты стали продавать не только на завтра, но и на послезавтра. Первых двести с лишним человек на первый сеанс провожали, как в полёт космонавтов,—торжественно и с завистью глядя вслед заходившим в зал. Вторая волна тут же заполнила фойе и двор кинотеатра. Наиболее любопытные припадали ухом к входной и двум выходным дверям, стараясь услышать знакомые голоса комиссара Жюва, журналиста Фандора и самого Фантомаса. Однако кино шло, а голоса были всё не те. Прошло пять минут, десять… А через пятнадцать дверь со стороны улицы открылась в первый раз, и из зрительного зала вышел пожилой мужик, плюясь и матерясь. На немые взгляды-вопросы встретивших его киноманов он махнул рукой и, закурив папироску, пошёл к автобусной остановке, бормоча под нос нехорошие слова. Через две минуты из этой же двери вышел второй мужик, за ним третий, потом две девушки. А ещё некоторое время спустя захлопали все три двери, и начался массовый исход из «Победы». Не прошло и получаса с начала сеанса, как кинофильм остановили—зал был пуст. Купившие билеты на другой сеанс и на сеансы завтрашние и даже послезавтрашние, узнав, что «кина с Фантомасом не будет», кинулись к кассе с намерением вернуть билеты и получить назад деньги, но касса уже была закрыта. Кассирша, распродав все билеты на три дня вперёд, перевыполнив месячный план, решила, что своё дело сделала, и ушла заниматься домашними делами. Через час её и директора «Победы» заставили вернуться на их рабочие места. Деньги

вернули всем, кто предъявил неиспользованные билеты, и в результате пострадали только самые нетерпеливые, торжественно препровождённые в зал. Эти люди, час назад казавшиеся счастливчиками, выглядели теперь самыми обманутыми в мире. Они возмущались, кричали и требовали от администрации кинотеатра объяснений. Естественно, не будь этот фильм разрекламирован как продолжение «Фантомаса», в кинотеатр бы всё равно пришли люди, и многие купившие билеты обязательно посмотрели бы кино до конца, тем более что, как выяснилось потом, фильм был неплохим, с элементами детектива, стрельбой и погонями, но в тот день все ждали «Фантомаса»… Обманутые напрямую Степаном бросились искать обманщика. Обманщик же пропал. Ни дома, ни во дворе, ни возле двух других городских клубов его не было. Некоторые вспомнили, что за день до премьеры фильма в городке он ходил потерянный, а в день премьеры его и вовсе не видели. Степана не могли найти примерно неделю. Отец его, небольшого роста мужичок-хохол, вместе со всеми предпринимал попытки поиска сына, но в милицию почему-то не обращался и отговаривал других, а мать, кудрявая смуглянка, говорливая, как многие украинки, не только не волновалась по поводу пропажи ребёнка, но сама успокаивала всех, кто рвался на поиски её сына. Дня через два страсти в городе утихли, и стали гулять по дворам и улицам иронические подколы: «Слышь, Вась, говорят, „Фантомаса“ новую серию всё-таки привезли. Не ходил?»—спрашивал один шутник. «Да, был, вчера ещё. Смотрел. Там наши во всех ролях теперь… В роли Фантомаса Моргунов, комиссар Жюв—Вицин, а журналист Фандор—Никулин»,—отвечал другой. «Да не может быть, опять трепятся,—вступал в разговор третий.—Фильм не довезли. Везли его к нам, а китайцы перекупили».—«Да не перекупили, а сами сняли продолжение. На свой китайский лад…»—пояснял четвёртый. Ну а через неделю Стёпу сначала увидели в магазине—ходил за кефиром, потом—с родителями на рынке, а позже он и сам, осмелев, вышел во двор. История постепенно сошла на нет, подзабылась, и Стёпа снова стал рассказывать и во дворе, и дома приятелям и знакомым о том, на какой фильм он ходил недавно и что видел в кино.

Да, она перешла в восьмой класс, когда Стёпа проявил к ней отличное от других внимание. Встретил в подъезде—то ли мимоходом, то ли специально караулил—и пригласил в кино. Она ответила, что пойдёт только в компании Ритки и Маринки. Стёпа был согласен только на Ритку и просил ничего не говорить сестре. Они сходили втроём на фильм «Звонят, откройте дверь», где на них с Ритой произвела впечатление юная актриса Елена Проклова, играющая их сверстницу. Стёпа сидел с одной стороны от Алёны, Рита с другой. Стёпа угощал обеих конфетами и семечками, и Рита, поняв в конце концов, почему они пошли в кино в такой компании, сразу после сеанса заторопилась домой. Стёпа проводил Алёну до подъезда и пригласил снова сходить завтра в кино. Алёна сказала, что подумает, и действительно подумала. Она не знала, как нужно дружить с мальчишками, но, представив, что Стёпа будет каждый день водить её в кино и угощать конфетами или семечками, дружить с ним раздумала. Несколько раз потом Степан вызывал её на разговор, но она старалась не попадаться ему на глаза. Стёпа передавал ей через сестру записки, но Алёна не отвечала. Подруге Маринке, по-видимому, было всё равно: она равнодушно и молча передавала послания от брата, молча стояла, ожидая реакцию Алёны, а поняв, что ответа не будет, молча удалялась. После неудачных пяти или шести попыток добиться ответа Стёпа сдался и отстал, но через два года, когда пришло ему время пойти в армию, снова проявил открытый интерес.

Он несколько раз поджидал её у подъезда, старался заговорить, угостить конфетами. Алёна ссылалась на выпускные экзамены: нужно идти учить физику и историю, а ещё помочь матери по дому; старалась побыстрее отделаться от него. Встречи эти происходили чаще после обеда, когда Алёна возвращалась из школы. Стёпа предлагал ей встретиться вечером, поговорить. Алёна обещала подумать, но вечером не выходила. Она действительно серьёзно готовилась к экзаменам. Стёпа ей не нравился—в том смысле, что она не могла представить его рядом с собой. В то время она, откровенно говоря, не могла представить возле себя вообще никого. Никто из её знакомых парней ни во дворе, ни в школе не западал ей в сердце, и о своём будущем избраннике она тогда, скорее всего, не мечтала. Думала, правда, иногда, каким он должен быть, но представить перед собой не могла. Зная, что матери нравится артист Леонид Харитонов, Алёна пробовала найти себе кумира среди молодых артистов кино, но они все были какими-то не такими. А уж Стёпа и тем более…

Но Стёпа не отставал: поджидал каждый день у подъезда и всё настойчивее предлагал встретиться. А когда Алёна в конце концов сказала ему решительно: «Нет!»—он пришёл к ней домой. Предлог был: получил повестку из военкомата и пришёл пригласить всех на проводины—родителей, Ларису и, конечно же, её, Алёну.

Была вторая половина мая, необычно тёплого в том году. Кое-где ещё цвела черёмуха, пряча в кудрявую белизну деревянные дома по Северо-Вокзальной улице, зеленели и уже шумели своей зеленью тополя у автостанции рядом с железнодорожным вокзалом, по той же Северо-Вокзальной улице. По Северо-Вокзальной от пятиэтажек и провожала в армию Стёпу весёлая компания.

Впереди шёл баянист, ловко работающий по клавишам пальцами. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди...»—пели тётеньки и дяденьки, половину из которых Алёна видела в первый раз,—родственники и знакомые Стёпиных с Мариной родителей. Дальше—девчонки, которые плакать не собирались, а хохотали громко, иногда подхватывая слова песни: «Солдат вернётся, ты только жди...»

А ведь некоторые из провожающих и вправду думали, что Алёна—невеста Стёпы, и ждать нужно именно ей, и песня—ей. Вечером накануне отъезда Степана, на проводинах, мать Стёпы за столом вроде бы в шутку говорила, что теперь они с Алёной будут по очереди, а иногда соревнуясь, кто вперёд, заглядывать в почтовый ящик и с нетерпением ждать писем. Алёна отмалчивалась, молчала и Александра Никитовна, пришедшая на проводины с мужем и следившая за Василием Васильевичем, чтобы тот не хлебнул лишка. Мать с отцом, правда, скоро ушли, пожелав солдату хорошей службы и скорого возвращения домой. Заторопилась и Алёна. За ней вышел Степан. Захмелевший и осмелевший, он обнял её в подъезде и попытался поцеловать. Алёна не стала вырываться, только сжала губы, и поцелуй Степана не получил ответа. Не получил ответа и его вопрос: «Ждать будешь?..» Алёна промолчала и попыталась вырваться. Стёпа сначала удерживал её, но, видимо, поняв, что напрасно, выпустил, крикнув вдогонку уже сбегающей по лестнице Алёне: «Проводить-то завтра придёшь?»—«Приду!»—ответила она громко.

Алёна шла в компании с Ритой и Мариной и ещё несколькими девчонками из их двора. Стёпа с родителями и друзьями—чуть поодаль. Возле автостанции, перед выходом на вокзальную площадь, Алёну окликнули. Она так и не поняла кто: то ли мать Стёпы, то ли кто-то из его тёток. Алёна остановилась возле тополей под окном и через минуту уже стояла рядом со Степаном. Как получилось, что компания прошла быстро и свернула к вокзалу, она не поняла. Они остались вдвоём возле тополей, и Стёпа ещё раз спросил: «Будешь ждать?» Алёна опустила глаза и молчала. «Ну, хоть напишешь письмо?»—не спрашивал—просил, умолял он. «Не люблю писать писем!»—вырвалось тогда у неё, и она, вспомнив, что так отвечала одна женщина в каком-то фильме, улыбнулась, подняв глаза. А Стёпа, увидев её улыбку, понял всё по-своему и погрустнел. В принципе, он понял тогда всё правильно. Шумели над ними тополя, качали ветками, клонились к ним уже набравшей силу листвой. Пройдёт немногим более двух лет, и под этими самыми тополями, уже сентябрьскими, но по-прежнему крепкими и зелёными, будет однажды ждать её Андрей, к которому она побежит, не глядя под ноги, не думая ни о чём, как только о желанной встрече с ним, согласная заранее на всё. Но это будет позже, а тогда... Тогда шумели тополя над ней и Стёпой, и Стёпа уезжал на восток, надолго из её жизни. Она думала, что навсегда. Писем она ему не писала. Он тоже. Один раз мать Стёпы передала через Марину для Алёны его армейский адрес, но Алёна написать не решилась. Прошло время, и у неё появился Андрей. От подруги Риты она слышала, что Стёпа после армии поехал куда-то на строительство то ли какой-то гидроэлектростанции, то ли олимпийской деревни в Москве. Ей было всё равно. Она не интересовалась и не думала о нём.

И вот он под окном её палаты, а она—больная, некрасивая, перевязанная бинтами...

— Алёна!—ещё раз воскликнул Стёпа и, убедившись, что это она, спросил:—Что с тобой?
— Да, ерунда. Неудачная беременность...—ответила она, пробуя улыбнуться.

Стёпа покачал головой.
— Надо же. У Маринки тоже осложнение родовое... Её ночью увезли; говорят, операцию сделали. Где-то здесь должна тоже быть...
— Бедная...—пожалела подругу Алёна.—Ну, она, наверное, в реанимации сейчас. Я три дня в реанимации была. Подожди, я сейчас медсестру крикну, может, она подскажет...

Алёна хотела повернуться, пойти к двери, но Стёпа остановил её:
— Подожди... Дай я на тебя ещё посмотрю... Ты всё такая же... Красивая... Даже красивее сейчас, чем была...

6.

— А ты оказался красивее, чем я тебя представляла,—говорила Наталья, обнимая Андрея.—Красавец и талантливый до жути. Такие только в провинциях рождаются, в столицах таких нет.
— Такие только в Сибири бывают...—отвечал, принимая игру Натальи, Андрей, поправляя ей спадающие на глаза волосы, чёрные с отблеском, оголяя её смуглый красивый лоб, тоненькие, как ниточка, брови, глядя на большие ресницы и в глаза-угольки.
— Попался в сети, сибирячок. Я тебя теперь никуда не отпущу. Так и будешь порхать по столице. А если куда за пределы, то только со мной, на привязи...

Аккуратненькие, тоненькие губы её, блестяще-бордовые, касались его щеки.
— Сладенький ты мой!—Наталья, причмокнув, целовала его ещё и ещё.—Не бойся, не бойся, помаду сейчас сотру. Не увидит твоя редакторша следа моей любви.

Они стояли у окна ранним московским июньским понедельником в съёмной квартире дома на углу улиц Руставели и Добролюбова. Из окна пятого этажа были видны бегающие внизу автобусы, троллейбусы и такси, спешащие на работу и

по другим делам люди. Справа от них, за домами и дымоходными трубами, смотрела в их сторону Останкинская телевизионная башня с известным всей стране рестораном «Седьмое небо», а напротив торцовыми окнами глядело на них семиэтажное здание общежития Литературного института. Из распахнутого окна под самой крышей торчали две головы. Два человека—мужчины—курили в комнате, выпуская дым на улицу, и, очевидно, переговаривались. Там, под крышей, на своём «седьмом небе», жили настоящие писатели—члены Союза писателей СССР, приехавшие, как говорил земляк Андрея сибиряк Виталий, «для ликбеза». Как и Виталий, писатели со всей страны возрастом под тридцать, за тридцать, и даже за пятьдесят, не имеющие высшего гуманитарного образования, приезжали в Литературный институт на двухгодичные Высшие литературные курсы и, кто с семьями, кто в гордом одиночестве, жили в общежитии, в отдельных комнатах, получали приличную стипендию в Литинституте, вели себя раскованно в московском, отличном от всей страны, быту, вступали в дискуссии с преподавателями на лекциях, а в редакциях литературных журналов, игнорируя молодых и молоденьких литературных консультантов, имели дело только с главными редакторами. Вээлкашники, как называли их преподаватели и студенты, оккупировали не только отдельный этаж в общежитии, но и отдельный корпус Литинститута (правда, они отчасти делили его с заочниками, но заочники—люди сезонные)—двухэтажное здание, в котором когда-то жил писатель Андрей Платонов и называлось которое оттого Платоновским домом (чаще ласково—домиком). Каждую неделю в главном корпусе и Платоновском домике в коридоре на стендах вывешивали поздравления в честь кого-нибудь из слушателей ВЛК. Поздравляли с выходом очередной книги или публикацией в толстом столичном литературном журнале, «Литературной России», «Литературной газете». На стендах появлялись иногда фамилии и заочников, и (ну очень редко) студентов-очников, но чаще очников и заочников чествовали с публикациями в региональных журналах и как бы между прочим, мимоходом, довеском к вээлкашникам. Четыре раза за три года учёбы на заочном отделении Литературного института имени А. М. Горького поздравляли на этих стендах и Андрея.

…Работа в районно-городской редакции только первые полгода вдохновляла его. Он написал несколько хороших очерков, которые были представлены в областной газете и отмечены сектором печати. Андрею даже присудили премию областного отделения Союза журналистов, но потом, разобравшись, что он не член Союза, ограничились объявлением благодарности, а премию отдали другому. Зато из сектора печати пришло в редакцию письмо, в котором настойчиво рекомендовали отправить «подающего надежды корреспондента» на заочное отделение факультета журналистики госуниверситета. Редактор вызвал его к себе, полчаса в присутствии зама убеждал поехать на экзамены, где, как он говорил, «за тобой место уже зарезервировано, и тебе нужно только присутствовать». И Андрей поехал и поприсутствовал. Написал сочинение, выполнил письменную работу по немецкому, ответил на вопросы по литературе и истории. Отвечал, не напрягаясь, не заботясь о хорошем результате, решив, что если завалит экзамены, то из газеты уйдёт. Как оказалось, не завалил и вернулся в редакцию уже студентом. Сам факт поступления окрылил Андрея, развеял его колебания и подогрел интерес, вернув к мысли о Литературном институте. «Неприступных вершин не бывает,— написала ему из Москвы Наталья, к удивлению Андрея не поздравившая, а побранившая его в письме.—Андрей, ты зря теряешь время. Тебе нужен Литературный институт—единственный в мире, а не факультеты журналистики, какие в любом областном городе сейчас есть… Приезжай, попробуй поступить хотя бы на заочное отделение…» И Андрей в который уже раз ответил своей ни разу не виденной им подруге Наталье, что подумает. Подумать было над чем: Алёна ждала ребёнка. Эта её беременность, после двухлетнего перерыва, была не менее желанна, чем первые две. Алёна хотела доказать себе и всем на свете, что сможет родить и снова стать матерью. Андрей носил в себе чувство непоправимой вины, что не смог уберечь сына, и тоже жил мечтой о новом ребёнке. И если он раньше говорил только о сыне, то теперь, пройдя отцовскую школу, был готов принять и дочь. Лишь бы родила Алёна, всё равно наш ребёнок будет, а любить он его будет не меньше, чем Саньку. Хотя как Саньку, наверное, всё же не будет… С трепетом ждали родов обе их матери, переживали за них все родные и знакомые. Ребёнок должен был появиться к осени, а потому Андрей смирился с мыслью продолжить учёбу в университете.

Ни с кем из сослуживцев особой дружбы он в новом коллективе не завёл. Общался вне редакции только со своим наставником—председателем литературного клуба Петром Сергеевичем—и только с ним делился иногда мыслями о Литературном институте. После случая на поминках, когда чуть не умер, Андрей больше спиртного не пил. Старые друзья-приятели иногда зазывали его в гости, но он отшучивался и отказывался, приветствуя только Гену Хиля. По старой памяти и продолжающейся, но переживающей теперь затишье дружбе он заходил два-три раза к нему с бутылкой. И пока Гена выпивал, стуча стаканом

о кружку с чаем, приготовленную для Андрея, они говорили о футболе, вспоминали свои приключения пятигодичной давности, «Партизанский» магазин.

— Ты, Андрюха, никогда не зазнавайся, главное, и не забывай старых друзей. Они тебе пригодятся ещё…— наставлял Гена друга, и Андрей, не вступая в дискуссию, кивал ему, предлагая налить ещё: Гене—водки, себе—чаю.

Бывало, компанию им составляла жена Геннадия—Надя, которая наливала себе водки в рюмку и всегда заботилась, чтобы на столе были закуска и чай для Андрея.

— А ты изменился, Андрюша. Изменился после того, как корреспондентом стал… Совсем другой человек,—говорила Надя, глядя на гостя.

— Это потому, что не пьёт, изменился,—замечал Геннадий, хлопая ладонью не занятой стаканом руки по плечу Андрея.—А в душе он тем же Андрюхой-сантехником остался, правда?

— Правда,—кивал Андрей.

Несколько раз ездили Андрей с Алёной в гости к тётке Гале в деревню. В основном летом—по грибы. Грибов много не набирали, зато ходили по лесу, отдыхали на природе, пили вкусную воду из колодца, ели приготовленную тёткой окрошку. Андрей угощал тётку и двоюродного брата Олега водкой, рассказывал им городские новости.

А в целом жизнь Андрея текла монотонно-скучно. Проявляя первое время инициативу в редакции, он неожиданно наткнулся на сопротивление редактора и некоторых ветеранов газетного дела. Ему быстро обозначили круг его интересов, давая настойчиво понять, что всё, что выходит за пределы этого круга, не его ума дело. Писать только об успехах, критика на уровне дозволенного. С самого начала его работы в редакции, помимо учёбы на факультете журналистики и вступления в Союз журналистов, Андрея настойчиво убеждали вступить в партию.

— Только тогда можно будет говорить о квартире и продвижении по служебной лестнице,—говорил ему в беседе один на один редактор.—Я знаю, ты ещё тут в футбол играешь иногда, детской командой до армии руководил. Тебя в горкоме знают с этой стороны, и некоторые хотели, чтобы ты в инструкторы по комсомольской линии пошёл. Но ты не торопись. Ты журналистом должен стать в первую очередь, понял?

Андрей кивал, что понял. В горком комсомола он на работу идти не собирался, в партию вступать не торопился. Он хотел закончить и, главное, напечатать новую повесть. Две у него уже были, но предложения о публикации хотя бы глав в газете редактор отодвигал, просил подождать, брал на читку, но, видимо, так и не читал. Это тяготило Андрея. Ведь главное, зачем он пошёл работать в газету, была возможность хоть иногда публиковать рассказы. Но их по-прежнему печатали редко. Только в выпусках литературного клуба, и то в порядке очереди.

В письмах в Москву он жаловался Наталье, и та рассказы и повести брала, но после первой публикации в сборнике печатать тоже не торопилась. А однажды прислала письмо, в котором было несколько анкет. Наталья предлагала заполнить их Андрею и отослать срочно ей, приложив шесть фотографий. «Мы собираем творческий клуб молодых писателей,—писала Наталья.—Будем выпускать сборники. Есть возможность напечатать несколько твоих рассказов и, возможно, повесть. Обещай, что приедешь в Литинститут будущим летом, и тогда предприму попытки к продвижению твоей повести». Предложение Натальи походило на ультиматум, и Андрей, как ни думал об Алёне и будущем ребёнке, решился ответить согласием. «Придётся всё-таки ехать. Экзамены в августе, Алёне рожать в сентябре, успею съездить и вернуться. А там уж как дальше пойдёт…»—думал он.

Пока продолжались переписка с Натальей, давление на него в редакции и ожидание рождения ребёнка, в стране произошла очередная смена руководителя. Большинство людей вначале не придали этому событию большого значения. За два с половиной года руководство менялось третий раз. Но не прошло и двух месяцев после вступления на пост нового генсека, как кругом стали говорить о переустройстве общества, об ускорении в промышленности, о борьбе с пьянством на работе и в быту. И не только говорить. Горком, райкомы, редакции стали организовывать рейды по выявлению пьянства на работе, торговые точки резко ограничили продажу всех видов спиртного… И задули сначала тихим ветерком, потянули сквозняком, а потом закрутились, закружились по стране вихрями не обещающие поначалу плохого перемены. Народ стал смелее говорить о политике, обсуждать решения партии, дискутировать. Дискутировать стала и газета, где работал Андрей. Организовывала «круглые столы» и «выездные редакции». Всё больше и больше приходилось Андрею бывать в командировках, больше писать дома, стрекоча пишущей машинкой, купленной у бывшей машинистки из военкомата. С энтузиазмом и вдохновением писала о переустройстве и планах Андрею Наталья, прямо говоря, что он должен теперь непременно приехать, что теперь ребятам из провинции открыт только зелёный свет. Андрей помаленьку стал откладывать деньги на поездку, решив ехать и думая, как лучше об этом сказать редактору или не говорить вовсе, а просто взять отпуск. Отпуск в летнее время в редакции получить молодым сотрудникам было практически невозможно. Поэтому Андрей решил поговорить с редактором начистоту и собрался было это сделать, как вдруг случилось с Алёной…

Что точно случилось, не могла сказать и сама Алёна. Не то она подняла что-то не очень тяжёлое, не то ударилась случайно обо что-то, но вдруг почувствовала себя плохо. Дома никого не было, и пока Алёна достучалась до соседей, пока вызвали скорую, у неё началось кровотечение, она потеряла много крови, и врачам пришлось безотлагательно делать ей очень трудную, сложную операцию. Слава Богу, спасти её удалось. Случилось это событие в июне, к концу июля Алёна помаленьку пошла на поправку, и Андрей поехал в столицу. Редактор, зная о несчастье в семье, не стал расспрашивать Андрея и сразу подписал ему заявление на отпуск. Андрей, не посвящая его в свои планы и не теряя времени, съездил в университет, снял копию с аттестата зрелости, заверил там же копию характеристики и за сутки вернулся домой. Провожая его на вокзале, Алёна, улыбаясь, бросила:
— Ну, ты уж там с подругой романов-то не крути…
— Да какие там романы?! — отмахнулся Андрей, совершенно искренне думая, что ничего в таком плане между ним и его литературной покровительницей быть не может.

И поначалу действительно — ни перед экзаменами, ни во время них, — ничего такого и не было.

В столице в последний раз он был двенадцатилетним мальчиком и, естественно, ничего, кроме Красной площади, Мавзолея, ГУМа и «Детского мира», куда водили его родители, не помнил. Даже как к метро пройти, не знал, а уж где искать Тверской бульвар, понятия не имел. Конечно, в карту столицы и схему станций метро, заботливо переданные ему дядей Женей, вторым отцовым братом, он заглядывал. Но карта есть карта, а когда на тебя давит многоэтажками, шумит автотранспортом, гудит людским потоком многомиллионный город, можно и растеряться. Андрей, правда, не растерялся — пошёл за людским потоком и между двумя вокзалами — Ярославским и Ленинградским — нашёл вход в метро. Доехал до станции Пушкинской, постоял у памятника великому поэту, много раз виденному им в кино, спросил, как выйти на Тверской. Тверской оказался рядом. Андрей прошёл сквер, переулок и через несколько метров оказался у двухэтажного здания с номером «25». За оградой, возле клумб с яркими цветами, сидели на скамейках и прогуливались по асфальтовой дорожке молодые люди. Несколько человек стояли у небольшого памятника, выделявшегося на фоне трёхэтажного здания — как догадался Андрей, главного корпуса Литинститута. Догадка эта его оказалась не последней в день приезда в столицу. Пока он стоял, соображая, как пройти за ограду (ворота были закрыты на большой висячий замок), там, за оградой, из двери двухэтажки с торца здания вышла молодая женщина. Заметив его, она остановилась, подошла.
— Вы к нам хотите, молодой человек?
— Да, хотел бы в Литературный институт попасть… — сказал Андрей, глядя на эффектную даму в коротком лёгком, в мелкий цветочек, платьице, с повязанной вокруг шеи газовой и тоже в цветочек косынкой, с бежевой сумочкой на плече. Чёрные, прямо-таки смоляные, с отливом волосы её кудрями опускались на плечи.
— Ну а в чём дело? Попадите, долгожданный вы мой, — дамочка сверлила его своими глазками-угольками с глубоким огоньком-отблеском. — Только для этого нужно немного пройтись ещё, вернуться назад до Сытинского переулка, свернуть, потом до следующей улицы — Большой Бронной, и с её стороны — уже к нам. Обойти, в общем, нужно. Самостоятельно сможете? Надеюсь, не заплутаете, а я вас там, с той стороны, на вахте встречу.

Андрей улыбнулся смуглой красавице и пошёл обратно. «Вот и поблудил немного, — подумал он, продолжая улыбаться сам себе и думая о дамочке. — Наверное, всех встречает тут, адрес-то по Тверскому бульвару указан, а вход с Большой Бронной… Не я один, видно, заблудившийся. Ещё будут». Без особого труда Андрей прошёл по переулку и Большой Бронной и, уже подходя к воротам с другой стороны, вдруг подумал, что, может быть, эта дама и есть…

От внезапной мысли он оторопел, остановился. «Я же фотографию её не видел и понятия не имею, как она выглядит, а ей сам фото высылал, с анкетой… Она меня по фотографии узнала. Да нет, нет… Навряд ли это Наталья. Не приехала же она специально сюда меня поджидать? Она писала, что летом будет в „Артеке“, готовить очерк в журнал. И я ей телеграмму никакую не давал, просто сообщил в письме, что приеду, и всё…» Он пытался справиться с волнением, но оно нарастало, почему-то затряслись руки. Андрей поправил сумку на плече, пригладил волосы, усы, зачем-то спросил прохожего парня, как дойти до Литинститута; тот не ответил, пожал плечами, но на вопрос отозвалась женщина. «Да вот ворота и проходная, в двух метрах от вас…» — показала рукой она и неожиданно вызвалась проводить. Они вместе подошли к проходной, из которой уже выходила навстречу смуглая дамочка.
— О-о-о! Да я вижу, вы уже с провожатыми! — воскликнула она, захлопав в ладоши. — Одному, видимо, не под силу дорогу отыскать. Так?

Она прожгла его блеском огненных зрачков, и у Андрея отпали все сомнения. Сгорая в её глазах, он растерянно молчал.
— Спасибо вам, — сказала встречающая дамочка провожатой Андрея. — Ценного товарища нам привели. Спасибо. Теперь не заблудится уже… Попал в надёжные руки…
— Пожалуйста, — не то с иронией, перехватив интонацию, не то действительно искренне принимая

благодарность, ответила женщина и пошла своей дорогой.
— Ну что, дорогой товарищ из Сибири, проходить на территорию будем? Вас там ждут…— сказала Наталья, отводя взгляд и предлагая Андрею первому пройти через проходную.

«А ты меня всё-таки тогда не узнал, и сердце твоё тебе не подсказало, что это я»,—не один раз за три года их общения в Москве говорила ему Наталья, и Андрей каждый раз оправдывался, убеждая и даже доказывая ей, что он узнал её сразу, но не был до конца убеждён, что сердце ему подсказывало, но разум сомневался. «Разум на то и разум, чтобы сомневаться, а если бы разум не сомневался, то…»—«Не сомневайся больше, я ведь в тебе не сомневаюсь…»—всегда обрывала его Наталья, довольная тем, что он оправдывается, закрывая тему. И освобождённый от необходимости оправдываться Андрей благодарно целовал её.

Да, похоже, она действительно не сомневалась в нём никогда, ни на одну минуту. Встретив на проходной в день его приезда, она тут же, не давая ему перевести дыхание, повела к ректору. Завела Андрея в кабинет, пройдя, не здороваясь, мимо секретарши и собравшихся в приёмной.
— А вот и наш писатель из Сибири,—представила она Андрея занимающемуся за столом разбором бумаг седому человеку.
— Здравствуйте…— сказал тихо Андрей.
— Очень приятно, очень!—оторвавшись от дел, поднялся из-за стола статный моложавый мужчина, фамилия которого ничего не говорила Андрею. Ни книг, ни статей, ни даже портрета его он раньше нигде не встречал.—Читал, читал вашу повесть и рассказы. Есть в них, конечно, немало газетного, вредного для настоящей литературы, но ничего, подучим, привьём вкус, и, думаю, пойдёт дело. А в целом у ваших произведений и язык хорош, и стиль изложения, и мысли есть. Есть мысли. А это главное, ибо, как говорил Александр Сергеевич, «проза требует мысли и мысли»…

Ректор подошёл к Андрею, пожал руку. Крепко, по-мужицки. Затем повернулся к Наталье:
— Поражаюсь я вам, Наталья Зорьевна, вашему умению отыскать самородки в недрах российских.
— Не только российских, Владимир Пименович, не только… Два года назад я вам парня из Киргизии привезла. В какого поэта вырос!
— Ну конечно, конечно, и не только он… Пора вам, Наталья Зорьевна, уже к нам на работу переходить. В ректорат. Будете от нас в командировки ездить, и никаких отчётов в виде журнальных публикаций я от вас не спрошу. И потом, за подопечными своими присмотрите… А то у некоторых от столицы да от раннего повышенного внимания к ним голова начинает кружиться…
— У Андрея не закружится,—сказала сияющая Наталья и, запросто подмигнув Андрею, тут же спросила:—Правда, Андрюша?

Андрея прошиб пот, повело коленки, голова уже кружилась. От резких контрастов и переходов, которые предложила ему Наталья, от неожиданного появления его в кабинете ректора, обращения к нему как к писателю и свойского перехода в общении с ним Натальи он не мог не только слова сказать—дышать.
— Ну, Наталья Зорьевна, вы совсем смутили парня,—улыбнулся ректор.—Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. Может, кофе?
— Спасибо, Владимир Пименович, но нам пора,— засобиралась Наталья, взяв Андрея под руку.—Не смеем вас отрывать от дел важных. Мы сейчас оставим документы нашего писателя у вашей секретарши, а сами пойдём в кафе, позавтракаем, заодно пообедаем. А за предложение перейти к вам—спасибо. Я обязательно подумаю. Заманчиво быть рядом со своими подопечными во время их учёбы и становления. А то некоторые действительно теряются потом…
— Подумайте, вот-вот… У меня вакансия сейчас появилась…
— Хорошо,—кивнула Наталья и потянула Андрея к двери.—До свидания, Владимир Пименович.
— До свидания,—кивнул ректор.—Зорию Соломоновичу поклон от меня.

Ректор хотел было ещё раз пожать руку молодому писателю и сделал даже шаг, но, увидев, с какой поспешностью Наталья уводит молодого писателя, лишь усмехнулся.
— До свидания…— только и смог вымолвить Андрей.
— Зорий Соломонович—мой папа,—пояснила Наталья Андрею в коридоре, отдав перед тем секретарше его документы.—В Переделкино сейчас живёт. Большой специалист по русской литературе, к нему все преподаватели Литинститута за консультациями обращаются. Через меня, конечно…

Наталья улыбнулась, подмигнула и, крепче прижав к себе Андрея, под руку повела его к выходу вниз по лестнице.
— Давай-ка без церемоний на «ты»,—сказала она, едва они вышли во двор Литинститута.—И забывай скорее о своём провинциальном происхождении, понял? Иначе трудно будет.
— Понял,—сказал Андрей.

Он понял пока одно: для него наступает другая жизнь.

Потом они сидели в кафе недалеко от Красной площади. Наталья угощала его какими-то деликатесами, каким-то заморским кофе со сливками и не позволила рассчитаться—заплатила сама, назвав дорогим гостем. Потом она повезла его в общежитие Литературного института. Они доехали

на метро до станции «Дмитровская», потом ещё немного на троллейбусе, немного прошлись… В общежитии Наталья быстро нашла коменданта — подтянутого мужика, как выяснилось потом — из военных, называла его Степанычем, показала ему какие-то бумаги, и комендант лично отвёл её и Андрея в комнату на третьем этаже. Но Андрея Наталья там не оставила. Показав, где находятся красный уголок, библиотека и бытовые комнаты, она попросила его переодеться и повезла показывать Москву. Они совершили прогулку вокруг Кремля, зашли в Третьяковку. В ГУМе, а потом около Белорусского вокзала снова пили кофе. Первый вечер закончился тем, что она привезла его в общежитие на такси после полуночи, измученного впечатлениями и уставшего физически, довела до комнаты, подробно объяснила, как ему в одиночку добраться до Литинститута, простилась и уехала на два дня.

Два дня Андрей отдыхал. Смотрел из окна на Останкинскую телебашню — днём блестящую на солнце шпилем, а вечером всю отражающуюся подсветкой мощных прожекторов; ходил по улице имени грузинского поэта Шота Руставели; разобравшись в нехитрой схеме метрополитена, вычислил путь до ВДНХ и совершил туда короткое путешествие. Думал он в эти дни и о доме, об Алёне (как она там?), об экзаменах (что будет, если он их завалит? Позор!), но больше всё-таки о Наталье, о том, что таких, как она, он ещё не встречал, да и, наверное, не мог встретить ни в своём глухом провинциальном городке, ни в областном и тоже провинциальном сибирском центре. Отправляя однажды свой рассказ в детский всесоюзный журнал, он не думал и не гадал, что получит ответ от литературного консультанта с предложением напечатать рассказ в сборнике молодых писателей, а потом завяжется переписка. И не просто с литературным консультантом детского журнала, а с интересной женщиной, способной переменить его судьбу. Думал и о том, какая ждёт теперь его жизнь. Пытался представить, но мысли сбивались и возвращали его к думам о Наталье.

А через два дня, когда Андрей приехал на экзамены, Наталья ждала его возле главного корпуса. Дальше они виделись каждый день и непрерывно целый день. Наталья водила его в Центральный Дом литераторов, где знакомила с известными и незнакомыми Андрею московскими писателями, в театрах Моссовета, сатиры, Вахтангова и на Таганке представляла актёрам и режиссёрам как «хорошего молодого писателя», отчего Андрей смущался и думал, что если не поступит в институт, то будет ой как неудобно.

— Поступишь! — угадывая его мысли, говорила Наталья. — Творческий конкурс ты прошёл, а это уже полдела. Вот увидишь: экзамены тебе покажутся хотя и волнительной, но приятной процедурой. Это будет как ожидание укола — ты ждёшь боли, закрываешь глаза, а тебе уже говорят: всё, укольчик поставили!

Каждый день, будь он экзаменационный или подготовительный, начинался с Натальиных инструкций и с посвящения Андрея в планы, а заканчивался ездой на такси по полуночной столице до улицы Добролюбова. Вахтёры общежития и комендант, видимо, считали его человеком «из блатных», были вежливы и, если было нужно, открывали ему душевую в ночное время, а в восемь утра будили робким стуком в дверь.

Жизнь действительно наступала другая. Смущения от впечатлений в столице с каждым днём таяли, сбавлял импульс и трепет, испытываемый им вначале при встрече с писателями, которых он знал по их книгам и фотографиям с детства, и киноактёрами из нереальной для него киношной жизни, в одночасье ставшими живыми и осязаемыми, сидевшими и стоявшими теперь рядом и говорившими с ним с почтением. Иногда Андрей думал, что московская жизнь его тоже похожа на кино: мелькает перед глазами нескончаемыми кадрами, с коротким перерывом на сон, часто и во сне продолжается, а потому иногда кажется нереальной, долгим приятным сном, никак не кончаемым.

А приятная реальность продолжалась. Экзамены, ожидаемые сначала с волнением, действительно превратились в ожидание нового праздника. Преподаватели, члены приёмной комиссии, с которыми перезнакомила Андрея Наталья, улыбались ему в коридоре и во дворе Литинститута, некоторые даже пожимали руку и трудными вопросами на экзамене не докучали. Андрей познакомился с будущими студентами-заочниками, пообщался с интересным поэтом с Кубани Василием, с двумя северянами — мурманчанином Михаилом и Володей из Архангельской области. Парни с Севера во время экзаменов жили в соседней комнате общежития, и иногда по утрам бородач Михаил просил у Андрея электробритву, как он говорил, «подровнять шею». Запомнился сразу и кудрявый паренёк из Воронежа Эдик, читающий стихи на скамейках, в коридоре и даже по пути в метро. Читал на скамейках свои стихи, нередко перебивая Эдика, и ещё один будущий студент-заочник — москвич по фамилии Коротков. Он был самым старшим из поступающих и, помимо стихотворчества, занимался тем, что работал официантом в ресторане. «Я в возрасте Пушкина, но в душе Есенин, меня и зовут Серёга», — говорил Коротков всем. Слушателями стихов его и воронежца Эдика были в основном дамы из числа поэтесс. Что касается дам, то их поступало на заочное отделение немного. Три жили в общежитии; правда, одна причисляла себя к прозаикам. И ещё одна, по имени Варвара (уж точно — поэтесса, пару раз

доказывающая на литинститутских скамейках Короткову и Эдику, что её стихи тоже чего-то стоят), приезжала на экзамены из Подмосковья. С живущими в общежитии абитуриентками Андрей дважды встречался утром на проходной и один раз вместе с ними ехал в метро. Причисляющая себя к прозаикам Галина была с Вологды, поэтессы приехали с Урала (Люба) и Казахстана (Айгуль). Все они и ещё несколько поступающих на заочное отделение считали Андрея близким к высшим литературным кругам, и хотя вслух при нём не высказывались, Андрей чувствовал, что они относились к нему по-разному: от заискивания до плохо скрытого презрения.

На восьмом дне пребывания Андрея в столице праздники под названием «экзамены» закончились, а утром девятого его ждала ещё более приятная церемония зачисления и, как ему сказала Наталья, «омовение шампанским». Ещё накануне, едва стали известны результаты экзаменов, Наталья объявила всем поступившим, чтобы билеты на обратный путь они на день зачисления не брали, а сдали некоторое количество рублей (от десяти до двадцати пяти) лично ей для проведения загородного мероприятия.

— Отказавшиеся будут тут же отчислены! — сказала, смеясь, Наталья, но все поняли на полном серьёзе, что отказываться чревато.

Процедура зачисления проходила буднично. Торжествовали только сами поступившие. Дамы плакали и целовались, целовали Короткова, Эдика и почему-то бородача Михаила, с утра снова подровнявшего шею Андреевой электробритвой. Остальных они поздравляли без поцелуев, с улыбкой, через одного предлагая целовать их, подставляя для этого пунцовые щёчки. Поздравили дамочки и Андрея. Айгуль даже было предложила ему свою смуглую щёку, но, заметив появившуюся в аудитории Наталью, быстро отпрянула. С Натальей в аудиторию пришла большая группа преподавателей института. Они тоже поздравляли, но деловито, больше присматривались к новым студентам, расспрашивали, кто где и кем работает. Часам к двум со стороны Тверского бульвара сняли с ворот большие замки и ворота открыли. На территорию через них заехал «Икарус», и появившийся вдруг ректор, спешно сказав поздравительную речь, пригласил всех занять места в автобусе.

Пока студенты первого курса заочного отделения и их преподаватели под песни Джо Дассена занимали места в уютном салоне «Икаруса» с тёмно-синими шторками на окнах, из Платоновского домика выносили ящики с шампанским, вином и водкой и укладывали их в багажное отделение автобуса. Ящиков было семь или восемь, и всё было бы ничего, если бы к тому времени по стране не шла всё нарастающая волна борьбы с пьянством. Качнувшая Андрея в родном городке «пьяная волна», заставившая его участвовать в милицейско-газетных рейдах, здесь, в столице, была не так заметна. Во всяком случае, для него. Да, и здесь патрулировали по улицам и паркам, проверяли кафе и магазины милиционеры и общественники, ходили вечерами вместе с комендантом Степанычем вахтёры по комнатам общежития, предупреждая о недопущении распития спиртного, но всё равно нет-нет да и можно было увидеть и на улицах, и даже в метро выпивших людей, нет-нет да и выпивали в общежитии абитуриенты и даже, бывало, откровенно напивались. Как знал Андрей, Степаныч дважды накрывал парней-северян, ругался, грозил выселением, но скоро остывал и на вид инциденты не ставил. Комендант общежития был в числе отбывающих за город, и, улыбаясь Андрею, стоя у двери «Икаруса», Степаныч с удовольствием пропускал вперёд дам-заочниц.

Глядя на ящики со спиртным, Андрей думал, что выпивки будет, наверное, много даже для такого количества выезжающих. Наталья суетилась: по прибытии автобуса она предупредила всех, чтобы первые два места от двери не занимали, положила туда сумки — свою и Андрея — и побежала в Платоновский дом; потом, отобрав добровольцев, среди которых были Коротков, Василий с Кубани и два северянина, руководила погрузкой ящиков и продуктов, проверила всех отъезжающих по списку, попросила водителя «Икаруса» проехать в глубь территории, чтобы выпустить «Волгу» ректора. И только когда «Волга» выехала на Тверской бульвар, дала команду водителю автобуса следовать за ней.

Они ехали по московским улицам вслед за ректорской легковушкой; автобус останавливался на светофорах, делал повороты, притормаживал и добавлял скорости. Андрей не следил за тем, по каким улицам и мимо каких исторических зданий их везут. Он сидел рядом с Натальей и от неё знал, что едут они в Переделкино. Переговаривающимся громко студентам, казалось, вообще не было никакой разницы — лишь бы ехать. Волнения их улеглись, уступив место ликованию, и теперь всем поступившим в Литинститут казалось, что впереди во всей их жизни будет только хорошее. Среди других выделялся голос Короткова. Серёга то рассказывал ресторанные байки, то выдавал собственные четверостишия. Пытался составить ему конкуренцию в лидерстве и переключить часть внимания пассажиров на себя Эдик, но ему это плохо удавалось, и он смирился, признав победу Короткова.

Незаметно автобус выехал за город, поехал по шоссе, разделяющему лесной массив, выехал к железнодорожному переезду, миновал пути, оставляя справа платформу.

— Вот и Переделкино, — сказала Наталья громко для всех и тихо добавила для Андрея: — Сейчас к Дому творчества поедем.

Андрей, как и все студенты, прильнул к окну. Автобус проехал мимо старого кладбища, переехал мост через небольшую речушку, почти ручей, с названием на указателе «Сетунь», поднялся в гору и въехал в ворота, остановившись возле белого двухэтажного здания, рядом с ректорской «Волгой».

— Ну, выгружайся! — скомандовала Наталья. — И груз выгружай!

Группа добровольцев, первой вышедшая из «Икаруса», занесла ящики и продукты в здание, и все — студенты и преподаватели — столпились возле автобуса.

— Пока нам приготовят столы, я предлагаю желающим посетить усадьбу Корнея Ивановича Чуковского, — предложила Наталья. — Тут недалеко.

— Конечно, пойдёмте! — поддержал её Коротков. — Быть тут и не сходить к Корнею Ивановичу — да я себе никогда не прощу!

В усадьбу вызвались идти почти все, и группа численностью под сорок человек двинулась за Натальей.

Усадьба-дача была действительно недалеко. Группа прошла несколько метров, свернула влево, на улицу Серафимовича, и вышла к дому под номером три. Видимо, программа была продумана заранее, потому что возле ворот их поджидала женщина-экскурсовод, которая и повела группу по дорожке сада мимо чудо-дерева, увешанного детской обувью, через двор к дому, на ходу рассказывая что-то, что было слышно только идущим рядом с ней экскурсантам. Возле крыльца все остановились, и экскурсовод стала рассказывать о жизни Корнея Чуковского, о том, как часто он бывал в Переделкино, какие сказки и какие строки были написаны им в этом доме. Потом они ходили по комнатам первого и второго этажей, рассматривали гарнитур из карельской берёзы, телефон с буквами вместо цифр, портреты самого Корнея Ивановича и портрет его жены, написанный, по словам экскурсовода, самим Репиным, который тоже когда-то ходил по этим комнатам, во что верилось с трудом. Ходить по комнатам всей группой было не очень удобно, и несколько человек отстали от экскурсии и стали самостоятельно рассматривать интерьер.

— Хочешь, я тебя к дому Пастернака свожу? — шепнула на ухо Андрею Наталья, когда они спустились со второго этажа на первый.

— Хочу, — так же тихо ответил ей Андрей.

— А можно мне с вами? — спросил оказавшийся рядом с ними бородач Михаил.

— Пойдём, — разрешила Наталья, оглядевшись. — И ещё кого-нибудь даже можем взять.

Поблизости оказались Айгуль и Галина, которые тоже решили составить им компанию, а на крыльце к новой группе присоединились поэт Коротков и потомок кубанских казаков Василий.

— Только давайте пойдём быстрее, ребята, а то нас потеряют, — попросила Наталья, когда они вышли за ограду. — Мне ещё тут спиртное распределять надо…

Быстрым шагом они пересекли шоссейную дорогу и пошли вдоль изгородей среди домиков. Остановились перед одним. Дом, как и усадьба Корнея Чуковского, располагался в глубине двора, за небольшим садом.

— В дом мы не попадём, во двор тоже не совсем удобно заходить, а вот постоять тут, думаю, никто не запретит, — сказала Наталья.

Во дворе были люди — мужчины и женщины. Они глядели в сторону пришедших, но ничего не выражали. Видимо, привыкли к паломникам.

— Наверное, родственники Бориса Леонидовича? — предположил Михаил.

— Я слышал, что где-то здесь недалеко жил Фадеев и часто проходил прямо через двор Пастернака, — сказал Коротков.

— Ну, ты, Серёга, прям все байки про писателей знаешь… — покачал головой Василий.

— Это, скорее всего, не байка, — вступила в разговор Наталья, опережая готового было ринуться в спор Короткова. — Многие старые писатели говорили о холодных взаимоотношениях Фадеева и Пастернака. Я тоже слышала, что Фадеев пользовался этим двором, чтобы сократить путь. Напрямки ходил.

Опасения Андрея с перебором спиртного на душу приехавших оказались напрасными. Едва они вернулись к Дому творчества, Наталья приступила к раздаче бутылок. От домиков и улиц потянулись к белому зданию писатели или их посыльные с записками за привезёнными водкой, вином и шампанским. Наталья раздала бóльшую половину доставленного в Переделкино спиртгруза, и Андрей заволновался по другому поводу: выпивки может оказаться мало. Опасения подкреплялись тем, что некоторые писатели, пришедшие получить, как понимал Андрей, заказанный ими товар, узнав о предстоящем мероприятии, расходиться не торопились. Волновался он, конечно же, не за себя — за других. Со дня похорон сына он спиртного не пил и держался в столице, как бы его ни искушали — и в общежитии, и на вечеринках, куда его водила Наталья, — предлагая выпить за дружбу, за творчество, за женщин и за любовь. Находил причину тактично отказаться. Поддерживала его в этом и Наталья. Был спокоен он и сегодня — она была рядом.

За столы всех пригласил ректор. Столы в столовой были составлены в один большой ряд, места никто не указывал, все садились как хотели: группами и в одиночку. Андрея потянул было за

собой к середине зала бородач Михаил, но Наталья придержала своего подопечного:

— Мы сядем с края, ближе к двери, чтобы быть не так заметными.

Уже привыкший во всём её слушаться Андрей не возражал. Да и не мог он возразить этой напористой женщине, и не хотел возражать. За неделю с небольшим, что был в столице, он так привык к ней, к её мудрым, безошибочным решениям, что уже целиком и полностью полагался на неё и даже ловил себя на мысли, что без неё боится думать о чём-то, строить какие-то планы. И это он—человек, который сам всегда принимал самостоятельные решения! Где-то далеко в глубинах подсознания тоненькой мыслью выплывало, нет, скорее, едва пульсировало протестом его мужское самолюбие, не просто задетое, но уже почти подавленное: «Под каблук! Под каблук идёшь! Под каблуком будешь!»—но здравый смысл устремлял на усмирение все силы: «Для достижения цели можно отдать свободу!»—и импульс затухал и притаивался. Почти побеждённый, он не сдавался. Нет-нет да и приходили на ум Андрею мысли в круговерти московских дней или вечером в общежитии, что скоро нужно будет делать выбор. Мысли эти будили воображение, и нарастало предчувствие: ему придётся чем-то поплатиться, отдать старое и привычное, чтобы взять новое. Он ждал и боялся дня зачисления. Предчувствие росло и убеждало, что именно этот день станет днём выбора. Или выберет он, или выберут его. Андрей сам поставил вопрос так и стал искать на него оправдательный ответ, лазейку, старался успокоить совесть. И нашёл оправдание. «Это судьба выбрала, не я и никто другой,—рассуждал он.—Если бы я не отправил четыре года назад рассказ в журнал, то не познакомился бы с Натальей. Если бы рассказ не попал в руки к Наталье, она бы не узнала обо мне. Если бы Алёна родила, то я бы не поехал в Москву и не поступил бы… Господи! Неужели бы я не поехал? Неужели бы я так до конца дней не увидел настоящей жизни? Это судьба, судьба, судьба! Это судьба привела меня сюда, и я должен положиться на неё, плыть по её течению. Судьба всегда права, от судьбы никому не уйти».

Застолье началось с краткого официоза. Сначала ректор ещё раз поздравил первокурсников с высоким званием студентов Литературного института.

— Вы уже попали в историю нашей литературы,—говорил Владимир Пименович.—Мы—единственный в мире такой институт и находимся под крылом и опекой Союза писателей. Добро пожаловать в нашу литературную семью!

Потом говорили другие, и все недолго. Главной мыслью всех ораторов была: все студенты и выпускники института—достойные представители нашей литературы, и это надо подтверждать всегда и везде. За это и был предложен первый тост. За это пили стоя и только водку. Налившим себе шампанское пришлось отложить бокалы в сторону и налить по рюмочке водки. Наталья предварительно наполнила Андрею рюмку боржомом, и он, благодарно улыбнувшись ей, потянул руку с рюмкой в середину. Зазвенело стекло, застучала ставленая на стол пустая посуда, задвигались стулья, зазвенели вилки о тарелки. Банкет начался. Второй тост предложили за перестройку в литературе, за то, чтобы наши писатели ещё выше подняли планку нашего социалистического реализма и доказали всем, что у нас претендентов на самые высокие, престижные мировые литературные премии гораздо больше, чем у Америки и Европы. Кто-то добавил: вместе взятых. Это вызвало восторг и аплодисменты. Третий тост был традиционный—за любовь к литературе. За то, чтобы она была благосклонна и почаще отправляла к писателям свою дочку Музу. Снова пили стоя, и снова все водку. Компания помаленьку хмелела, стала разбиваться на группы по интересам, студенты и преподаватели вели разговоры на равных и даже спорили. Наталья заботилась о том, чтобы Андрей ел: подкладывала ему салат, колбасу, рыбу, говорила, что через час подадут горячее.

— Набирайся сил, дорогой мой,—шептала она ему.—Они тебе понадобятся. Домой ты ещё не скоро поедешь. Завтра я тебе одну тайну открою…

Андрей насторожился, замер.

— Ну что ты так встревожился? Разве я что тебе плохого приготовила? Радостную для тебя тайну. Но завтра. Понял?

Андрей кивнул.

— Ну вот и кушай на здоровье. Не волнуйся.

Четвёртый тост был за талант. За талант пили немного вразнобой: некоторые—снова стоя и уже торопливо, не ожидая других; другие же пили не вставая, и не все водку. Потом желающих пригласили танцевать. На небольшую эстраду выскочила известная в стране группа: четыре парня с гитарами и барабанщик—в пёстрых рубахах, солист—в рубахе красной. Солистка, в лиловом концертном платье с глубоким вырезом, произвела на мужскую аудиторию наибольшее впечатление. Ей захлопали, принесли цветы.

— Ты меня пригласишь на танец?—спросила Наталья смущённого Андрея.

Он кивнул, отложил вилку, взял её за руку.

Они вышли первыми на свободное место. За ними, приглаживая усы, комендант Степаныч вывел пожилую преподавательницу. Третью пару составили бородач Михаил и вологжанка Галина. А когда зазвучала мелодия, в круг с незнакомой молодой дамой ворвался Коротков.

— Познакомься, Андрюха, это моя подруга Лена. Подающая надежды поэтесса,—сказал он Андрею, когда они, кружась, оказались рядом.

Андрей кивнул.

— Откуда она тут взялась?—негромко спросила Наталья, так, чтобы не слышал Коротков.—Договорились же—только свои здесь будут…

Коротков, заметив её беспокойство, шепнул, когда они поравнялись снова:

— Наталья Зорьевна, не бойтесь. Это наш человек. Проверенный.

— Сам, видать, проверял…— ругнулась тихо Наталья.—Сказать мог бы, предупредить. Думает, что если помог спиртное достать, так ему всё тут можно. Завтра рекомендацию в Союз просить начнёт. Надо его на место ставить…

После песни музыкантов пригласили за стол, и Эдик из Воронежа пошёл брать у них автограф. Начал с солистки.

Предложили выпить ещё—за хорошие песни.

— И хорошие тексты к ним!—добавил Эдик, сидевший уже рядом с певицей.

Его поддержали.

— Ну что, дорогой, подкрепился?—спросила Андрея снова дарившая ему улыбку Наталья.

— Вполне,—кивнул и улыбнулся Андрей.

— Ну, тогда, может, на свежий воздух выйдем? Устала я сегодня. Такая беготня весь день…

— Давай…

Они осторожно поднялись и, казалось, незаметно вышли в коридор. Наталья вывела его через внутреннюю дверь в сад. Вечерело. Они прошли мимо дубов, клёнов и под сенью нескольких яблонь сели на скамейку в беседке.

— Ты, наверное, о жене сейчас думаешь?—спросила вдруг Наталья.

Андрей ждал подобного вопроса уже несколько дней.

— Я о многом думаю,—сказал он спокойно.—И о ней тоже. Но сейчас больше о другом…

— Обо мне?

Наталья пододвинулась к нему, взяла его руки в свои, тёплые.

— Ты думаешь обо мне?—горячий выдох её, близкий, с привкусом спиртного, обжёг ему губы, угольки глаз её блестели разгорающимся огнём ярче и ярче, впиваясь ему в глаза, обжигая зрачки.

Андрею захотелось обнять Наталью, прижать её, закрыть ей губы поцелуем, и он потянулся к ней, попытался поймать поцелуй, но она отпрянула и поднялась.

— Здесь мы ничего не будем делать,—сказала она.—Слишком много любопытных глаз. Мы сейчас пойдём на одну дачку, а там будь что будет…

А на дачке по улице Серафимовича чего только не было. И ванная комната, и большая библиотека, и мезонин, и удобный диван, и телевизор… И августовская звёздная ночь… И яблони с качающимися на ветках яблоками стучались в окно…

На другой день, не дожидаясь пробуждения всей компании, они уехали на электричке в Москву, и сразу, с Киевского вокзала, Наталья повезла Андрея в издательство. А там…

Там Андрей увидел свою книгу. Вернее, книжку—небольшого формата брошюрку с его повестью и небольшой фотографией в углу на обложке. Пока единственную, называемую сигнальной.

— Извини, все формальности я взяла на себя по составлению договора, назвалась твоим представителем. Ты не возражаешь?

Ещё бы он возражал! Андрей оторвался, вспарил над землёй и, задыхаясь, хотел в великом восторге закричать на всю Вселенную. Но Наталья вовремя взяла его за руку.

— Ты не возражаешь, Андрюша?—повторила вопрос она.

Андрей расплылся в улыбке и в присутствии редактора издательства обнял её и поцеловал в губы.

— Вам надо сделать авторскую вычитку,—сказал немного смущённый редактор.—Наталья Зорьевна читала один раз, но нужно, чтобы и вы прочли. Повесть небольшая, можно прямо сейчас, за моим столом посмотреть, внести, если будут, правки, расписаться, и мы сразу же даём добро на запуск тиража.

— А тираж-то—сто тысяч!—воскликнула Наталья, когда редактор вышел из кабинета.—Издательство это экспериментальное, специализируется на выпуске первых книжек авторов, и тираж здесь от десяти до тридцати, от силы до пятидесяти тысяч, а твою удалось пробить по полной программе—сто тыщ! Это значит, что почти во всех библиотеках городов и районных центров будут твои книги. Ты становишься популярным! Представь, ты приезжаешь в свою Сибирь не только студентом, а уже с книжкой! Да тебе ни один редактор ничего против сказать не сможет!

Переполненный восторгом Андрей сел было за редакторский стол, открыл книжку, но тут же закрыл и встал.

— Я не в состоянии сейчас читать,—сказал он, сияя.—Не могу. Может, сразу подписать?

— Ну и не читай,—Наталья взяла у него книжку.—Я сделала вычитку. Ты доверяешь мне, своему литературному редактору?

— Доверяю.

— Тогда подписывай—и в печать. Я думаю, через неделю мы уже придём за твоими авторскими экземплярами.

Наталья подала Андрею авторучку, открыла книжку на титульном листе.

— Пиши здесь: «С правками согласен, после исправления—в печать», дату поставь и подпись.

Андрей взял ручку, вспомнив, что его рассказ, напечатанный в сборнике молодых писателей, тоже редактировала Наталья, и там последнего абзаца—существенного, на его взгляд,—он не обнаружил, вместо него было приписано не им сочинённое предложение. Конечно, теперь у него

была возможность самому вносить или не вносить свои и только свои правки, и, по-хорошему, нужно было бы сейчас сесть спокойно и прочесть всю повесть, но эмоции переполняли его, и Андрей написал так, как сказала ему Наталья, и расписался там, где она ему указала.

Ликующий, выйдя на широкую улицу столицы, он потянул было Наталью в ближайшее кафе со словами:
— Сегодня угощаю я!—как тут же был одёрнут подругой, сказавшей рассудительно:
— Ты угостишь меня с гонорара за книгу. И не только меня.

Ну а дальше полным ходом пошла та, другая, неизбежно надвигающаяся на него жизнь. О работе в редакции родного городка и речи уже не было; о жизни в нём речь была, но короткая, её произнесла Наталья:
— Я понимаю, что ты привязан к своей Манечке, извини—Алёночке, но надо решать. Там тебя ждёт длинный вялотекущий процесс, тупиковый в смысле творческой реализации, а здесь—всё. Здесь есть любящая тебя и верящая в тебя, в твою звезду большого писателя женщина, а там—полуграмотная провинциалка, совсем не понимающая тебя и думающая только о том, что поесть да что одеть. Здесь для тебя—все условия: живи, твори, радуйся; там—думы о выживании, бредовые мелочные задания для районной газеты. Нет-нет! Я не неволю тебя, не заставляю разводиться с твоей Маней-Алёной, которая точно—«маня маней». Ты можешь ей даже ничего не говорить обо мне, не разводиться даже. Скажешь: «Поехал жить в Москву. Так надо. Обустроюсь, как только будет возможность—приеду за тобой». Работа тебе есть. Будешь работать литературным консультантом в новой демократической газете. Заканчивай новую повесть, издавай—и дорога в Союз писателей для тебя открыта. Рекомендации тебе дадут такие люди, что никто там пикнуть против не посмеет.

Весомая телеграмма с весомыми подписями под ней, с настоятельной просьбой об увольнении его из редакции ушла на другой день после посещения им издательства. Ещё неделю они жили на даче в Переделкино, в том самом домике, где ночевали после его зачисления. Наталья заставляла его ложиться в десять вечера; что она там делала, чем поила и кормила, какие точки на его теле массировала, он помнил плохо, но к одиннадцати он всегда засыпал. Будила она его в пять или полшестого, когда от земли до окон второго этажа домика поднимался туман, двигающийся ещё потемну от Сетуни через дворы, между соснами, по асфальтовым дорожкам и стелясь над грядками.
— Утром ранним самая продуктивная работа,— уверяла Наталья.—Сделай отжимания, приседания, умойся холодной водой—и за стол, а я тебе к семи часам завтрак приготовлю.

И он делал, как она говорила. Правда, первые дня два работа не двигалась. Он садился за стол бодрый, с желанием продвинуть повесть, но думал о Наталье, о том, что вот такая жена у писателя и должна быть, что вот оно, счастье, осуществление подсознательной мечты его: дача под Москвой, книга, любящая женщина и работа в удовольствие. И работа в удовольствие пошла на третье или четвёртое утро. Он писал остервенело, нагоняя все дневные, недельные, а то и месячные простои. Писал часа по полтора, отрываясь только для обдумывания концовки предложения. А мысли текли сами собой: вспоминались детали, которые бы он не вспомнил, сидя за столом в своей далёкой сибирской четвертушке, возникали новые герои, свежие, взятые под впечатлением уже его московской жизни, и он наделял их особенностями Короткова, друзей-северян, Эдика из Воронежа, Галины из Вологды, Варвары из Подмосковья, Айгуль и даже ректора и коменданта общежития. Ну где же он бы увидел, узнал таких людей, как не в Москве? Права, права Наталья!

Думал он и об Алёне. Не мог не думать, как ни старался. Алёну было жалко, он чувствовал себя по отношению к ней предателем, совесть грызла, кусала больно, но он утешал себя: он не разводится с ней, он будет заботиться о ней, присылать деньги. Но… Но внутри сжимался комок, давил грудь, сбивал с ритма сердцебиение, и он терял вдохновение и желание работать.

А через неделю действительно вышла его книжка, и он получил авторские экземпляры. К тому времени Наталья договорилась о получении гонорара, убедила кого надо, что автор—иногородний, ему нужно ехать в Сибирь, и ещё через пару дней Андрей в сопровождении подруги и ещё какого-то бородача—Натальиного знакомого—пришёл к кассе издательства с портфелем-дипломатом—кейсом, как называла его на западный манер Наталья. Они подошли в то время, когда у окошечка стоял небольшого роста очкарик, принимал из окна пачки с деньгами и бережно складывал их в портфель.
— Вам двадцать одна тысяча девяносто два рубля, необходимые вычеты уже произведены,—сказали из окошечка, и очкарик отошёл, благодаря и кланяясь в окошечко, на ходу закрывая портфель.
— Это романист Антонов,—шепнула Наталья Андрею.—У него двухтомник вышел. У тебя пока поменьше будет…

Обалдевший от увиденного и услышанного, Андрей заглянул в окошечко, подал паспорт. Белокурая девица улыбнулась, посмотрела паспорт, открыла ведомость, протянула ему:
— Вот, распишитесь. Там, где галочка.

Андрей глянул на галочку. Рядом стояла его фамилия и цифра. Цифра была действительно

поменьше той, что была у очкарика Антонова, но это была *его* цифра, и она разволновала ещё больше.

— Сколько? — нетерпеливо спросила Наталья.

За Андрея ответила белокурая кассирша:

— Вам восемь тысяч четыреста сорок семь рублей. Вычеты уже произведены.

Увидев растерянность Андрея, Наталья взяла у него из рук дипломат-кейс, бородач помог ей открыть его.

— Сюда складывай, — сказала Наталья, поставив дипломат на окошечко кассы. — Если рублёвые пачки, то восемьдесят четыре должно быть, и сорок семь сверху.

Пачки действительно были рублёвыми. Андрей брал их из рук кассирши, а Наталья складывала. Считали вместе вслух: кассирша и Наталья.

— Спасибо, — сказал Андрей, кланяясь, как и очкарик, в окно, уложив последнюю пачку и взяв в руки четыре сотенные, четыре десятирублёвые и семь рублёвых.

— Да не за что, приходите ещё, — улыбалась кассирша.

Сложив деньги, Наталья, не закрывая дипломат, отошла с ним в сторонку, к столу у кассы, и, положив портфель, взяла в руки пять пачек.

— Так, чтобы ты знал. Вот эти пятьсот рублей я отдаю Вадиму, — сказала она Андрею, протянув деньги сопровождающему их бородачу. — Он организует банкет в Центральном Доме литераторов. Небольшой такой, для званых персон. Четыреста с мелочью возьми сейчас на мелкие расходы, а две тысячи для твоей поездки на родину дома выдам. Две хватит, всё равно раздашь половину. Ну а остальные приберём. Ты согласен?

Андрей кивнул. Теперь он был согласен на всё.

Банкет, или, как называла Наталья, банкетик, состоялся через два дня после их похода в кассу. За два дня в ателье Андрею срочно сшили костюм: чёрного цвета с отливом френч и под него брюки из того же отливающегося на свету материала.

— Френч так тебе к лицу — и галстука не надо! — разглядывая его, сияла Наталья. — Я вижу, галстуки ты не очень жалуешь. А под эти брючки туфли итальянские возьмём в ЦУМе. Во как смотреться будут!

И она повезла его в день банкета в ЦУМ, заставила перемерять пять или даже семь пар, пока не остановилась на узких и остроносых, похожих на венецианскую гондолу, туфлях.

— Теперь шик! Ты в полном порядке! Хоть жени тебя! — восклицала Наталья.

Андрей ей не возражал, слушался во всём. Теперь он был убеждён на все сто: плыть только по течению. Течение вынесет куда надо.

А куда ему надо, он узнал на банкете. Большая афиша в фойе ЦДЛ с его фамилией и припиской «Молодой писатель из Сибири» приглашала всех в Малый зал. Народу набилось достаточно. Стульев не хватало, и вахтёры стали носить их из других комнат. За небольшим журнальным столиком даже рядом с Натальей Андрей чувствовал себя неудобно. Напротив него сидели именитые писатели — лауреаты Государственной и Ленинской премий, редакторы толстых литературных журналов, ректор Литературного института, преподаватели, критики. Несколько человек с фотоаппаратами ослепляли его фотовспышками. Как проходила торжественная часть, он почти не запомнил. Больше говорила Наталья, сказали несколько слов критики, больше хвалили, но и делали небольшие дружеские замечания, больше для порядка, видимо. Фамилий и лиц выступающих в тот вечер Андрей тоже не запомнил. Именитые писатели вели себя сдержанно. Казалось, они не слушали ни Наталью, ни критиков, только сидели и смотрели на виновника торжества, словно спрашивая его: «Ну, долго ещё трепаться про тебя будут? Когда же банкет?» Когда микрофон передали ему, он вначале говорил тихо, неумело, но с поддержкой Натальи, вовремя пошутившей насчёт малоразговорчивых сибиряков, «общающихся на улицах своих городов с медведями», разговорился, как бы опровергая и в то же время подтверждая её слова. Отвечая на вопрос, почему он стал писать прозу, Андрей ответил шуткой. Повстречался, мол, на улице с медведем, а тот и попросил: напиши про меня рассказ, а то я сам писать не умею. И рассказал ему историю, а он записал. Вот так и пошло у них дело: медведь рассказывает, а он записывает. Вот и книжку написали.

Шутка растормошила даже именитых писателей, они заулыбались, и некоторые даже поаплодировали находчивому сибиряку. На этой располагающей к взаимности волне и пригласила Наталья избранных ею гостей в банкетный зал. Ну а там и узнал Андрей, что ему осталось совсем немного до вступления в Союз писателей, что два литературных журнала уже готовы предоставить свои страницы под его рассказы и повесть и что, судя по всему, если он не остановится на нынешнем уровне и «будет работать в духе времени», всё у него будет хорошо и в материальном плане.

Распорядителем на банкете был бородач Вадим, и сделал он всё по первому разряду. Столы были сервированы неброско, но со вкусом. Аккуратно нарезанная тонкими ломтиками красная рыба, украшенная лимонной нарезкой, мясные рулеты, бутерброды с красной икрой, овощные салаты, коньяк, вино, водка. На горячее подавали пельмени, потом тефтели с толчёной картошкой и тушёной капустой — гарнир по выбору.

Банкетом довольны остались почти все. Все выпили и закусили. Никто не напился. За тем, чтобы никто не перебрал, следили. Даже если бы кто захотел довести себя до кондиции, ему бы всё

равно не дали. Закон о борьбе с пьянством набирал силу, и хотя столичный Дом литераторов не попал пока под строгое око активистов, за его пределами они орудовали вовсю, и если бы на подступах к метро или в самой подземке попался бы кто-то из писателей пьяным, а на допросе бы рассказал, где он пил, то ЦДЛ незамедлительно внесли бы в список неблагонадёжных заведений. В принципе, все контролирующие органы и отдельные активисты про вечера в Доме литераторов, конечно же, знали, и знали, что там иногда бывает, но то ли по чьему-то высокому негласному запрету, то ли ещё по какой причине ни милиция, ни дружинники в первый год переобустройства страны туда не совались.

На другой день Андрей уезжал в Сибирь. Наталья хотела, чтобы он летел самолётом, но тут Андрей проявил принципиальность, сказав, что, во-первых, до его города нет прямого авиарейса из Москвы, а во-вторых, он любит путешествовать на поезде.

— Полстраны проехать и смотреть, смотреть в окно на поля, леса, города, сёла, станции, реки, людей. Разве для писателя это не счастье?

— Счастье,— согласилась Наталья и добавила, глядя на него с любовью:— Возвращайся скорее, счастье моё.

В родном городе он ещё раз убедился: жизнь его теперь совсем другая, и, похоже, возврата к прошлому нет. Пока он ехал поездом, вышла из печати «Литературная газета», где писали о вечере в ЦДЛ и о его книге. Газета сначала попала в областную писательскую организацию, оттуда поступил сигнал в обком партии, первый секретарь обкома, попросив навести справки о земляке-писателе и изумившись прочитанному, задал логичный вопрос председателю местной писательской организации: «А почему первая книжка талантливого молодого писателя вышла не в нашем издательстве?» Председатель писательской организации был изумлён не меньше секретаря. Он вроде бы слышал, что есть у них в области такой начинающий автор, что даже рассказ его как-то печатали в московской книжке, но чтобы он был так талантлив… Ему не доложили. Свалив всё на писателей-кураторов, работающих с литературными объединениями, председатель заверил первого секретаря, что возьмёт ситуацию под свой личный контроль, и сразу по возвращении от него поехал в издательство, где вместе с директором они сделали в издательском плане срочную поправку, решив в течение двух-трёх недель напечатать книжку молодого автора тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров. Для этого в горком партии и редакцию газеты родного города молодого таланта были посланы срочные телеграммы, и в тот же день на встречу с приезжающим из столицы писателем был направлен сотрудник издательства. Обкомовская телеграмма уже через час попала на стол первого секретаря горкома, тот незамедлительно вызвал к себе редактора газеты, а редактор явился к нему со своими телеграммами: столичной и областной.

Первый секретарь горкома, ознакомившись в первую очередь с московской депешей, покачал головой:

— Прошляпили парня. Теперь отпускать в Москву придётся, и всю славу его с ним Москва разделит. Куда же вы смотрели? Он несколько лет у вас на виду был!

— Мы что могли делали,— оправдывался редактор.— Рассказы его печатали в газете, направление на учёбу в университет дали, на работу приняли.

— Ладно,— одобрительно кивнул секретарь.— Читать-то мне рассказы просто некогда. К сожалению, я не читал. Вы мне принесите несколько из подшивок, ознакомлюсь. Надо хорошую встречу организовать. И вы там подсуетитесь, посвятите страничку нашему таланту. Постарайтесь, выпустите газету к его приезду. Если надо, то сдвиньте на день выход одного номера, а то область нас опередит.

— Область уже опередила,— махнул редактор.— Сегодня по радио его рассказ читали, а завтра сразу в двух газетах информация будет о выходе его книги.

— Да, за областью не успеть. У них всегда преимущество в смысле оперативности есть,— согласился секретарь.— Но тоже давайте не расслабляйтесь. Как он приедет, первым делом — ко мне.

Как узнали редакционные и горкомовцы, когда прибывает поезд, на котором ехал Андрей, молодой писатель только догадывался. Никаких телеграмм он домой не отправлял, не звонил, хотел приехать неожиданно. Наверное, встречающие дежурили на вокзале круглосуточно, не иначе. Едва Андрей ранним утром вышел на вокзальную площадь, как к нему тут же подошёл молодой человек и, представившись инструктором горкома комсомола, предложил сесть в «Волгу». Андрей ещё не успел ничего ему ответить, как появились на площади редактор газеты и водитель редакционного «уазика». Редактор обнял его как родного, прослезился и тут же предложил услуги своего автотранспорта.

— Слушай, дорогой,— сказал он горкомовцу.— Мы тут люди свои, разберёмся, а ты давай гони к первому, сообщи о приезде, пусть в горком срочно едет, а мы пока завтрак нашему писателю организуем.

Но молодой горкомовец согласился не сразу, он попросил подождать, сходил на вокзал, позвонил первому, и только получив от него инструкции, сказал редактору:

— У вас сорок минут на всё. Через сорок минут вас ждут в горкоме.

Обрадованный редактор повёз Андрея к себе домой, где уже был приготовлен стол, рассервированный больше под обед, чем под завтрак.

— Давай, дорогой, давай!—подталкивал Андрея редактор к столу, где уже ждала сияющая его супруга.—Откушай, поешь, попей. Спиртного, правда, нам пока нельзя, но мы потом обязательно отметим.

За завтраком редактор сообщил, что просьба его об увольнении удовлетворена, ему уже начислен расчёт с включением туда премиальных.

— А ты мне книжку первому подари, ладно?—попросил редактор, когда они уже собирались к выходу.—Только секретарю не говори, что я первый. Подпиши, ладно?

Андрей подписал бывшему начальнику книжку: «Наставнику—с благодарностью»,—тут же получив благодарность в виде поцелуя от его моложавой супруги.

Чаепитие продолжилось и в горкоме. Там, за столом, сияющий и сверкающий толстыми стёклами своих очков первый секретарь горкома вручил Андрею почётную грамоту и ключи от квартиры.

— Всё, что можем, дорогой Андрей Николаевич. Это всё, что в наших силах. И хотя вы собираетесь работать в Москве, я знаю, что будете учиться в Литературном институте заочно, что жена ваша остаётся пока здесь, а значит, вы будете сюда приезжать, мы решили выделить вам из нашего фонда двухкомнатную квартиру. У нас есть такая возможность. Квартира не новая, но хорошая, в кирпичном доме. С переездом поможем. Ну а если надумаете и жену увезти в столицу, то сдадите ключи нам обратно. И вот ещё что. Я знаю, что дом, в котором вы сейчас живёте, планируют скоро снести. Вы оттуда всё не увозите, оставьте шторы на окнах, замок, а не то, если бросите, её обязательно самовольно займёт кто-нибудь, и тогда при сносе проблемы возникнуть могут. Пусть будет видимость, что там живёте.

Андрей подарил книжку с подписью «С уважением и пожеланием успеха в благородном труде» первому секретарю и поехал на его «Волге» к своей четвертушке. Хотя от горкома до его дома было минут десять ходьбы.

Алёна была дома. Она ещё проходила курс лечения и реабилитации в железнодорожной больнице. Алёна как раз собиралась на приём к врачу, но, увидев остановившуюся возле дома «Волгу», вышла на крыльцо. Андрей вышел из «Волги» и сразу бросился к ней, она метнулась к нему навстречу. И… будто не было месяца разлуки, не было московской жизни Андрея, не было её долгого ожидания у окна, будто бы они никогда не расставались… Не было ничего, а были только объятия и поцелуи.

Водитель «Волги» принёс и поставил на крыльцо сумки Андрея, кашлянул в кулак:

— Первый просил, чтобы вы сегодня сходили посмотрели квартиру и сообщили в его приёмную, когда переезжать будете. Вам грузчиков пришлют и машину…

— Спасибо, спасибо,—закивал Андрей.—Мы всё сейчас же и сделаем.

— Кто собрался переезжать?—спросила Алёна, сияя.

— Мы!—воскликнул Андрей.

Потом они разбирали подарки, которые он привёз ей, матери и сёстрам. Потом она ходила ненадолго в больницу, а потом они пошли смотреть квартиру. Квартира находилась тоже недалеко, возле районного узла связи. Квартира была на четвёртом этаже, с полированной мебелью, телефоном, шикарной люстрой в зале, светильниками в спальне, хорошей просторной кухней и ванной, облицованной цветным кафелем. Из окон кухни и зала прямо на них смотрели большими зелёными меняющимися цифрами электронные часы районного узла связи. Они отсчитывали новое для Андрея и Алёны время.

— Не дом, а сказка!—воскликнула Алёна и тут же покачала головой, удивляясь ещё больше.—Парадокс: ты был здесь, работал, и тебе ничего не давали, а собрался уезжать—дают!

По пути к пока ещё своей четвертушке они зашли в горком и сообщили в приёмной, что присылать машину и людей им не надо—с переездом они справятся сами.

Переезд и новоселье состоялись в тот же день. Была пятница. Андрей с Алёной перенесли в новую квартиру несколько сумок, матрас, постельное бельё, посуду. Телевизор помог донести Гена Хиль. Хиль не уходил до самого вечера. А вечером пришли мать с отчимом, сестра Лена с мужем Сергеем, сестра Ольга с сыном Лёшей, Александра Никитовна. Андрей зашёл было к Игорю и хотел позвать его, но после смерти бабушки, а потом и деда дядька редко ночевал дома, и Андрей его не застал.

Новоселье прошло весело, все поздравляли Андрея, а он подписывал и дарил всем свои книжки, раздавал подарки. Мать немного всплакнула:

— Ой, Андрюша, как ты там будешь один, в Москве-то?..

Всплакнула и тёща:

— Как вы будете жить отдельно друг от друга-то?..

— Ничего, не маленькие,—успокаивал их Анатолий Васильевич.—Не навек же уезжает. Андрюхе продвигаться надо вперёд, а Алёне ждать. И не за моря он уезжает…

— Ну, Андрюха, вот и сбываются теперь твои мечты!—восклицал Гена Хиль.—Отнесу твою книгу сейчас жене Надюхе—она тоже порадуется за тебя. Только ты в Москве своей помни нас, не забывай. Не забывай, откуда вышел и кто тебя гайки крутить на водопроводных задвижках научил.

— Не забуду! — обещал другу Андрей.

Часов в девять вечера позвонили. Андрей подумал, что ошиблись номером, но нет! Звонил редактор.

— Ты когда собираешься уезжать? — спросил он.

— В понедельник вечером.

— Значит, сделаем вот так: завтра придёшь в редакцию. Хотя и выходной день, но ради тебя весь коллектив без исключения соберётся. Отметим твой успех, ну и заодно с коллегами попрощаешься, расчёт возьмёшь, трудовую книжку. Думаю, что в Москве в связи с перестройкой ещё трудовые книжки не отменили.

— Не отменили, — подтвердил Андрей.

И первую ночь в новой квартире, на широкой двуспальной кровати, они провели блаженно. Помылись в ванной, улеглись и спали, как уставшие за день, набегавшиеся дети. Перед сном, правда, обнимая Алёну, Андрей подумал о Наталье… Но она казалась теперь ему далёкой, нереальной доброй феей из сна или сказки…

«А была ли она вовсе?» — спрашивал себя, засыпая, Андрей.

Спали они долго, а когда проснулись, не хотели вставать. За окном моросил сентябрьский дождь. Андрею никуда не хотелось идти. Но в половине десятого зазвонил телефон, и пришлось встать. Подходя к телефону, Андрей посмотрел на большие электронные часы. Они были всё те же, шли так же, как и десять лет назад, когда их установили, но теперь показывали новое для него время.

Звонил опять редактор.

— Давай, Андрей Николаевич, уже подтягивайся. Я на одиннадцать народу велел собраться, но тут представитель областного издательства тебя жаждет видеть. Собери все рукописи, что у тебя есть, и давай быстрее, — сказал он. — Коллектив тоже уже почти весь в сборе. Жаждут тебя увидеть, книжки получить с автографами, а то уедешь — и поминай тебя, а так хоть автографы останутся… — редактор засмеялся. — Да ладно, шучу. В общем, ждём. Теперь тебе ещё ближе до нас — за десять минут дойдёшь. Можешь супругу с собой прихватить…

— Ладно, собираюсь уже.

Но Алёна в редакцию идти не захотела.

— Ты уж лучше сам там с коллегами прощайся, целуйся. Со мной они будут смущаться проявлять чувства, так что лучше без меня там пообщайтесь. А я порядок в новой квартире наведу, расставлю столы и стулья как мне надо.

И Андрей, сложив в модную московскую сумку рукописи и подшивки, надев френч, обув туфли-лодочки и взяв из холодильника бутылку привезённого им из Москвы коньяка, пошёл в редакцию один. Ну а там действительно пришлось и целоваться, и обниматься, и крепко пожимать руки. Больше всех радовался за него председатель литературного клуба Пётр Сергеевич, он хлопал его по плечу и восторженно прижал к груди подаренную ему Андреем книжку с автографом.

— Валентин Распутин с автографом у меня есть, Станислав Куняев — тоже, теперь вот и Андрюша на почётном месте стоять будет.

С представителем издательства Андрей говорил недолго, тот записал на магнитофон некоторые сведения из биографии Андрея, взял рукописи и подшивки.

— Мы собрали ваши рассказы, что вы присылали на творческий конкурс, здесь я поработал с Петром Сергеевичем — полистали подшивки выпуска литературного клуба. Неплохая книжечка должна получиться. Конечно, не московская, но всё же… Я думаю, название надо дать по одному из ваших рассказов — «Мир из окна». Вы согласны?

Андрей сказал, что согласен, что целиком и полностью доверяет издательству и человеку, взявшемуся за редактирование. Потом он подписал договор, где в числе разного рода условий стояла и сумма причитающегося ему гонорара. Она была примерно в два раза меньше той, что он получил в Москве, но по областным меркам считалась заоблачной.

За столом редактор произнёс пламенную речь, сказал, что в плавание по морю литературы уходит с наших скромных стапелей большой корабль, пожелал семь футов под килем и торжественно, под аплодисменты, вручил Андрею конверт и трудовую книжку.

Сидели в редакции часа четыре. Когда кончилось спиртное, редактор подозвал водителя, передал ему записку и отправил в гастроном. Через полчаса водитель принёс ещё литр водки, и встречины с проводинами Андрея продолжились. Все смеялись, улыбались, желали Андрею удачи и творческого полёта, пили коньяк и водку. Андрей по пути в редакцию зашёл в гастроном, купил две бутылки боржома и пил воду, наливая в рюмку вместо водки. После двух, ссылаясь на дела, помаленьку стали расходиться. Захмелевшего Петра Сергеевича Андрей вызвался проводить. Понимая, что он уже не вернётся, редактор и группа коллег, оставшихся допивать спиртное, вышли провожать их на крыльцо. Пётр Сергеевич вызвался идти до вокзаловских пятиэтажек пешком. Он жил через дом от тёщи Андрея.

— Может, по Партизанской пойдём? — предложил Андрей старшему коллеге. — У меня дядька тут живёт. Проведать надо.

Пошли по Партизанской. Дом, который помнил Андрей с детства, на первый взгляд выглядел так же, как и раньше, но Андрей чувствовал и видел, что после смерти бабушки и деда он осиротел. Никто не полол траву в палисаднике, никто не складывал аккуратно в поленницу дрова в ограде, никто осенью не выносил из огорода в кювет картофельную ботву. Вот и сейчас ботва была

разбросана по всему огороду. Андрей сделал вывод, что Игорь картошку выкопал. Игорь был дома и, увидев племянника, обрадовался:
— Ну как там, в столицах? Я лет восемь уже как не был…

Узнав в попутчике Андрея известного газетчика и председателя литературного клуба, он обрадовался ещё больше.
— Давно хотел познакомиться. Проходите, проходите… Если не побрезгуете, то брагой угощу. У меня сегодня выходной.
— А окрошки у вас нету? — спросил Пётр Сергеевич и громко засмеялся. — Я окрошкой люблю закусывать. Особенно бражку.
— Окрошки вот нет, — с нескрываемой досадой, что не совсем угодил гостям, сказал Игорь. — Извините уж…
— Ладно, ладно, извиняем, — тоже засмеялся Андрей. — Придержи собак да проведи гостя в свою времянку.
— Да собаки не достанут! — махнул Игорь. — Проходите, проходите. В доме у меня бардак сейчас, всё никак не могу к ремонту приступить, поэтому всех зову во времянку.

Андрей знал, что Игорь чувствовал себя виноватым в смерти бабушки. Она умерла в год смерти Саньки. Умирала мучительно. Накануне Дня железнодорожника Игорь, как всегда, «забодяжил» тогда бражку, как всегда, снял пробу, и, как всегда, проба переросла в запой. Пьяным он пошёл зачем-то в дом, резко дёрнул на себя входную дверь, из-за которой и выпала бабушка. Упав, она сломала два ребра и слегла. Приехавшие на скорой медики хотели везти её в больницу, но она не поехала. Лечение дома на пользу не пошло. Бабушка промучилась до октября, похудела, осунулась. Приходившие ухаживать за ней невестка и внучки, приезжающие из соседнего краевого центра дядя Женя с женой тётей Женей, помогая ей перевернуться то на бок, то на спину, обнаружили появившиеся пролежни. Бабушка стонала ночами, почти не ела и пила только воду. В начале октября она перестала есть и умерла на Покров. В тот же день, что и родилась, — четырнадцатого октября. После её смерти дед поначалу хорохорился, бодрился, даже ездил в гости один на поезде к дяде Жене, пережил зиму и весну, но к лету ни с того ни сего слёг и в конце первого летнего месяца умер, прожив восемьдесят семь с половиной годков. Дом достался Игорю и скоро стал приходить в запустение. Не топленная зимою печка к весне дала несколько трещин и задымила, промёрзшие стены дома повело, и Игорь превратил вначале кухню, а потом и спальню в склад пустых бутылок, поношенных тряпок, досок, слесарного инструмента и прочего хлама. Несколько раз Валентина Андреевна стыдила его, предлагала помощь в ремонте дома, но Игорь упрёки переносил стойко, не отвечая на них взаимностью, и уверял, что помощь ему не нужна, он справится сам, или говорил: «Женька приедет и поможет». Но, насколько знал Андрей, Игорь отказывался и от помощи старшего брата, и дом приходил в упадок. Несколько раз до отъезда в Москву заходил к Игорю Андрей. Почти всегда дядька был пьян и у него кто-то гостил или даже ночевал. Чаще других это был Стас, один или с другом Виталием. Реже — кто-то из незнакомых Андрею. «Это с работы», — представлял их племяннику Игорь.

В тесной времянке Игоря ничего не изменилось. Самодельный обогреватель-«козёл» ярко высвечивал самодельной спиралью, на подоконнике стоял видавший виды будильник — без стекла, но показывающий время, по углам валялись старая обувь и прелое тряпьё. Так же закрытая, на сей раз зимней курткой, стояла в углу за железнодорожной полкой фляга с брагой. Железнодорожные полки привели Петра Сергеевича в восторг.
— Чур, моё место нижнее! — воскликнул он, усаживаясь за столик под поднятой верхней полкой. Улыбнувшийся Андрей сел напротив, под опущенной верхней полкой, заставленной большими сумками, заваленной валенками, сапогами, небольшими стругаными досками.
— Ну что, поедем?! — продолжал веселиться Пётр Сергеевич. — Я до Владивостока, а вы?
— Я до столицы, — подыграл ему Андрей. — Теперь у меня на целых шесть лет один маршрут.
— А я с вами до ближайшей станции, можно? — засмеялся Игорь. — Сразу видно: с творческими людьми дело имею… С шуток-прибауток начинаем. А алкаши как ко мне зайдут, то первым делом за кружку…

У Игоря Андрей посидел часа полтора. Говорили о Москве, желали Андрею доброго пути и успеха. Петра Сергеевича после двух ковшичков браги потянуло на сон, и он прилёг на разложенной нижней полочке.
— Пусть поспит, а я потом его провожу, — сказал Игорь. — Я знаю, где он живёт, в том самом доме, где я со своей сучкой Нинкой жил. Отведу.

Захмелевший Игорь проводил племянника до ворот, долго жал руку, напутствовал:
— Андрей, ты должен за всех за нас, за всю родню нашу стать настоящим писателем. Должен, понял?

Андрей кивал и говорил:
— Стану.

Уходя домой по Партизанской улице, он остановился метров через двадцать, в том месте, где начинался тротуар, и посмотрел на дом своих предков. Посмотрел с нахлынувшей вдруг тоской-грустью, словно прощался и видел его в последний раз.

В воскресенье они с Алёной ходили на кладбище. Сразу от железнодорожного переезда прошли по тропинке и по досточкам через ручей к могилкам бабушки и деда. Потом поднялись выше

и, ориентируясь по кривой берёзе и золотистой оградке, нашли могилку Саньки. Алёна дала волю слезам. Андрей ей не мешал, думая, что надо бы подновить оградку новой свежей краской, да и стол заодно покрасить. Но это уж на следующий год. То, что он приедет летом в родной город, Андрей не сомневался. Нет, он не оставит Алёну. Она ему дорога, их многое связывает. По приезде домой он понял, как много. За пять лет совместной жизни они не то чтобы привыкли — привязались друг к другу, сроднились. Многое пережили: безденежье, смерть сына, его запои, её тяжёлую операцию. И вот теперь, когда жизнь повернулась к ним белой полоской, он должен оставить её? Нет, нет, нет! Не оставит. А как же Наталья? Как с ней? Многим, если не всем, что произошло хорошего в его жизни за последние месяцы (да не за месяцы даже — дни!), он обязан ей, Наталье. Неужели предстоит выбирать? Выбирать он не будет. Пусть всё течёт, а он будет плыть как решил: по течению, по течению, по течению…

На другой день он уехал из родного города. И вот прошло почти три года. С тех пор он ни разу не был в Сибири. За это время вступил в Союз писателей, выпустил ещё две книги в Москве и две в провинции (не считая того сборника рассказов, что напечатали в срочном порядке в областном центре и через месяц доставили в Москву и который помог ему вступить в Союз, будучи студентом первого курса, с чем его поздравляли в Литературном институте и в Московской писательской организации). За это время он стал лауреатом двух престижных литературных премий — всесоюзной и всероссийской. Был за границей: по культурному обмену в Болгарии, на книжных ярмарках в Германии и Израиле. Во всех поездках его сопровождала Наталья. В Израиле она повезла его к дядьке — Моисею Соломоновичу, показала ему едва ли не все библейские места, вдохновила на написание цикла рассказов, которые потом были напечатаны в русскоязычном журнале в Тель-Авиве, а через некоторое время там у него тоже вышла небольшая книга, но почему-то в переводе на английский язык. За это время Андрей почти стал своим в писательской среде, нужным человеком в редакции и необходимым в Литературном институте. За это время они с Натальей сняли квартиру на углу улиц Добролюбова и Шота Руставели, напротив общежития Литературного института. За это время Андрей развёлся с Алёной и расписался с Натальей. За это время Андрей стал москвичом.
— Москвич ты мой! — иногда ласково говорила ему Наталья.

7.

— А как москвич-то твой там? — всегда, когда они встречались в медпункте вокзала, между разговором спрашивала Алёну подруга Рита. — Весточки-то шлёт?
— Деньги присылает, — почти всегда одинаково отвечала Алёна. — Он, когда на развод подал, просил, чтобы я фамилию не меняла, тогда и квартиру оставят, мол, и помогать ему мне лучше будет. А я и так не собиралась ничего менять. Привыкла к фамилии, и другие привыкли.
— Может, всё ещё тебя любит, а та ему только и нужна, чтобы в Москве жить? — ободряла подругу Рита.
— Может, и любит, — соглашалась Алёна. — Только что ему со мной тут-то прозябать? Он птица высокого полёта. Вон, в «Литературной газете» опять его фото было — где-то снова книжку выпустили его. Не то в Испании, не то в Аргентине даже.
— И почему, Алёнка, нам в любви всем не везёт? — вздыхала Рита. — Ни тебе, ни мне, ни Маринке. У неё опять мужик загулял. Трое детей уже — и блудит… Твой-то хоть совестливый: и квартиру оставил тебе, и денежки шлёт, а у неё Васька живёт в её же квартире, что от родителей осталась, не работает — и ещё блудит… Защитить её некому. Стёпа далеко…

Когда разговор заходил про Стёпу, Рита лукаво щурилась и старалась заглянуть Алёне в глаза.
— Он же тоже там, в Москве где-то? — говорила она.
— Под Москвой живёт. На электричке, говорит, полчаса до Москвы, — уточняла Алёна.
— И чё ты ему тот раз отказала? — спрашивала подруга. — Он по тебе со школьных лет сохнет. Даже с женой развёлся, когда узнал, что ты одна…
— Ну, предположим, развёлся он ещё до моего развода… — начинала было рассуждать Алёна, но тут же рассуждения обрывала и говорила подруге, озираясь и переходя на шёпот: — Не могу я с ним почему-то…

С той самой поры, как они встретились в больнице летом первого года начавшейся в стране перестройки, и в местной речке Бирюсе, и в далёкой Москве-реке утекло много воды. Переобустроить страну, как хотели, правители не смогли, жить стало хуже. Борьба властей с пьянством и охота народа за водкой привели к тому, что не стало в магазинах ни сахара, ни повидла, ни даже томатной пасты. Появились талоны сначала на продукты, потом и на некоторые необходимые товары повседневного спроса. Магазины пустели, а роль по снабжению своих работников товарами первой необходимости стали брать на себя профсоюзные комитеты предприятий. Профком депо превратился в штаб по добыче товаров, а кабинет, где он располагался, и часть красного уголка — в склад. Под запись и по записи выдавали масло, сахар, стиральный порошок и даже нижнее бельё. На зарплату и деньги, что присылал ей Андрей, Алёне нечего было купить. Она хотя и

откладывала деньги «на чёрный день», привычки переводить их в крупные суммы у неё не было. На сберкнижке лежало рублей сто пятьдесят, да припрятанными — около пяти сотен. Припрятанные ею состояли из десяток и четвертных, и неожиданный обмен старых пятидесяти- и сторублёвок на новые её никак не коснулся. Когда она узнала о реформе, то в первую очередь подумала о нём, об Андрее. «Наверное, он-то пострадал, у него тысячи водятся…»

Стёпа встретил её неожиданно возле вокзаловских пятиэтажек. После смены Алёна решила поехать на деповском автобусе к матери и едва сошла возле старой водонапорной башни, как увидела его.

— Стёпа, ты? — воскликнула она, узнав в пополневшем краснолицем человеке с усами-скобочками по-хохляцки, в модном, в крупную клеточку, пиджаке брата подруги Маринки.

— А я тебя ждал… — сказал он. — Тётя Шура сказала, что ты должна приехать сегодня.

— Здравствуй, Стёпа.

— Здравствуй, Алёна.

— Ты извини, но мне к матери необходимо сегодня зайти. Может, как-нибудь в другой раз встретимся?

Алёна не знала, что сказать ему, как вести себя с этим, уже другим и по сути незнакомым ей, человеком. Тогда, в больнице, они в первый раз только поговорили; потом он приходил ещё. Попутно шёл к Маринке и принёс ей яблоки и томатный сок. Больше она его не видела. И вот новая встреча, ещё шесть лет спустя.

— А можно, я подожду тебя? — попросил Степан, когда они подошли к подъезду дома, где жила Александра Никитовна.

— Подожди… — разрешила она неожиданно для себя, заходя в подъезд.

Дома у матери, за чаем и во время разговора, Алёна несколько раз выглядывала в окно и видела Степана, сидящего на скамейке на детской площадке и время от времени бросающего взгляд на окна, за которыми должна была быть она.

Степан вызвался проводить её до дому. Она согласилась, и они пошли пешком мимо вокзала, Дома быта, свернули на Старобазарную площадь, на Партизанскую улицу. Когда проходили мимо дома бабушки и деда Андрея, Алёна вдруг испугалась, что её может увидеть со Степаном Игорь, но Игоря они не встретили. Стёпа рассказывал про своё житьё-бытьё в Подмосковье, где он начал своё дело: открыл магазин и торговал сначала продуктами питания, потом переключился на торговлю запчастями для «жигулей» и «Волг», а потом и иномарок.

— Жить можно, — говорил Стёпа с вдохновением. — Только в личной жизни не везёт вот…

— А что так? Молодой, здоровый, успешный… Что ещё надо девкам-то?

— А кто их знает, — смутился Стёпа, теряя вдохновение, — что вам надо?

Алёна отвернулась, тоже смутилась.

— А я думала, ты режиссёром стал. Помню, как кино любил… Со всех четырёх пятиэтажек собирались люди тебя слушать, когда ты про кино рассказывал…

— Кино кончилось с детством, — вздохнул Стёпа. — Взрослая жизнь совсем не как в кино…

— Ты прав, — согласилась Алёна. — В жизни не как в кино. Но вот уже и мой дом. Пришли…

Алёна снова не знала, как поступить. Сказать спасибо и уйти было бы не совсем хорошо, пригласить к себе — тоже…

— Может, зайдёшь? — спросила она тихо, надеясь, что он откажется.

— Можно, — согласился Степан.

— А у тебя просторно, — сказал Степан, заглядывая в зал из прихожей. — Маринка говорила, что какая-то горкомовская квартира… Ей особенно кухня понравилась…

— Да, и кухня, и ванная тут не такие, как в других, соседних квартирах. По спецпроекту делали: в одном подъезде пять квартир по стояку идут, одна над другой, — объяснила Алёна, провожая гостя в кухню.

Она включила чайник, усадила его за стол, достала из холодильника варенье, что привезла накануне из деревни тётка Андрея Галина.

— Я слышал о твоём муже, — начал Степан, сам накладывая себе из банки варенье на блюдце. — Маринка говорила, что он меня даже знает… Знал, вернее… Говорит, вместе когда-то жили в бараках и дружили даже…

— Да и Андрей мне говорил, что знает тебя. Когда с Маринкой познакомился, вспомнил, — подхватила тему Алёна. — Да, у меня где-то альбом остался с его школьными фото, я даже тебя там видела. Сейчас поищу.

Она прошла в спальню, заглянула сначала в сервант, потом в комод, нашла альбом в тумбочке под телевизором.

— Ну вот. Пей чай и посмотрим, — сказала она Степану.

— Да я уже напился… — ответил Стёпа.

Ему, видимо, действительно не терпелось посмотреть на фотографию Андрея.

— Ну, тогда проходи в зал, на диван, смотреть будем.

Они сели на диване рядом, касаясь коленями, так, как никогда ещё не сидели, даже в детстве.

— Вот Андрея фотки, — Алёна пролистнула несколько страниц, остановившись примерно на середине. — Вот Андрей перед свадьбой. Не узнаёшь? Это ему лет двадцать, как с армии пришёл…

— Нет. Здесь я его не узнаю… — замотал головой Стёпа. — Если и были мы знакомы, то в первые школьные годы. В классе первом-втором… Они

тогда в красном длинном бараке жили, а мы напротив, в железнодорожных домиках. Потом нам квартиру дали, и мы уехали к вокзалу, а после и они переехали ближе к шпалозаводу…

— Есть тут и школьные фотки. Вот это в первом или во втором классе, та, на которой он мне тебя показывал. Я тебя узнала. Смотри внимательно.

— Да, и у меня такая есть! — воскликнул Степан, почти вырывая из рук Алёны альбом. — Вот, вот он я! Это мы тогда сразу два класса первых фотографировались. У фотографа плёнка кончалась, он нас и сфотал вместе, всех первоклассников.

— А ниже тебя, на первом ряду, третий слева — Андрей, — сказала Алёна, радуясь восторгу Степана. — Узнал?

— Да, да… Узнал! Это вот какой Андрюха, оказывается! Помню, помню. Ему первому тогда в красном бараке велосипед «Школьник» купили, а мы все катались на нём по очереди. Учились ездить на двухколёсном…

Стёпа засиял, уходя в воспоминания:

— Сколько же лет назад это было? Ой, сколько! Вот не думал, что так судьба распорядится и ты будешь его женой!..

Стёпа вдруг замолчал, словно осёкся, передал альбом Алёне, лицо его сделалось серьёзным.

— А ведь когда мы в детстве знали друг друга, в кино ходили, и даже когда я в армию уходил, ты о нём даже ничего не знала…

— Да, не знала… — согласилась Алёна. — Но вот видишь, как судьба повернула… Узнала потом…

Степан погрустнел. Поднялся.

— Ладно, Алёна, пойду я, наверное… Если через неделю не уеду, зайду к тебе, может, адрес московский Андрея дашь… Попробую найти его в Москве.

— А у меня нет его адреса, — сказала Алёна. — Он мне деньги шлёт — то один обратный адрес указывает, то другой, то вообще почтовый ящик… Но найти, я думаю, в Москве его нетрудно: зайди в Московскую писательскую организацию и спроси…

— Хорошо, — кивнул Стёпа и ушёл.

Больше они не встречались…

Встреча со Степаном и посещение им её жилища — первое посещение её дома другим мужчиной после развода с Андреем — всколыхнуло Алёну. «А что, неужели я должна себя похоронить? Неужели я не могу быть счастливой, полюбить кого-то другого, кроме него? Ведь он живёт там себе, радуется жизни с этой Наташей своей, а я… Почему не могу я?..» Алёна не первый раз думала примерно так, но после встречи со Стёпой новая волна захлестнула её. Она знала, что нравится некоторым мужчинам из депо и из числа соседей. Были среди них и одинокие, и симпатичные, в каком-то смысле даже приятные… Были и те, кто знал о её бесплодии, и они были согласны разделить с ней её одиночество, и она несколько раз было решалась разделить одинокие дни с кем-нибудь… Но какая-то сила, какие-то неожиданно возникшие обстоятельства путали все её планы, вдруг показывая человека, на которого она смотрела в качестве возможного супруга, с неприглядной стороны.

Примерно год смотрел на неё новый мастер, приехавший работать в депо из Казахстана. Симпатичный, неженатый, знающий толк в колёсных парах… Несколько раз он делал попытки приблизиться к ней, заговорить, сделать комплимент. И она, видя его настойчивость, неравнодушие в его глазах, чуть было не поддалась соблазну ответить на его взаимность, согласилась даже прийти к нему в гости, они даже уже договорились, когда встретятся, но накануне предполагаемой встречи он вдруг заболел и попал в больницу. Она решилась пойти к нему, достала апельсинов, купила конфет, соку и пошла, но возле больницы неожиданно увидела целую делегацию женщин-деповчанок, большинство из них были конторскими и несли больному мастеру полные сумки продуктов. Алёна поздоровалась с ними и прошла мимо, сказав, что пришла в больницу к подруге. Вторую попытку посетить больного она не предприняла, хотя долго думала и даже собралась, но не пошла. А неделю спустя она увидела выздоровевшего мастера с разведённой дамочкой из планового отдела. Они смеялись и шептались, не обращая внимания ни на неё, ни на других.

Предпринимал попытки ухаживания за ней один врач. Но он был так хорош собой, что Алёна его боялась. Боялась она и слухов, окружавших красавца: по ним, он долго с женщинами не жил — едва сходился с одной, как тут же выбирал себе на стороне другую.

Был ещё и сосед, вернее, молодой мужчина из соседнего подъезда. Он жил у матери. Говорили, что работал одно время в геологоразведке, имел приличные деньги и катался в новых «жигулях». Один раз Алёна даже прокатилась с ним на его серебристой машине. Он посигналил ей, когда она шла возле гастронома, предложил подвезти, она отказывалась, ссылалась, что до дома недалеко, но он настоял, и они проехали каких-то триста метров. Попрощались у её подъезда. А когда Алёна приняла душ, поужинала и собралась было спать, он позвонил ей по телефону. Она взяла трубку.

— Можно, я приду сейчас к тебе? — спросил он бесцеремонно.

— Нет, нет! — испугалась она. — Не надо!

— Надо, — сказал он уверенно. — Я уже иду…

Алёна бросилась к двери, закрылась на все запоры, выключила в зале и на кухне свет и села на стуле в прихожей. Через несколько минут в дверь действительно позвонили. Она не отозвалась, позвонили ещё раз, потом ещё, потом негромко постучали. Она не отозвалась. Он звонил ещё

несколько раз и стучал, но она так и не ответила. Наконец он ушёл. Но на этом дело не кончилось. Несколько раз по утрам он ждал её на «жигулях», готовый подвезти до депо. Ждал и возле депо вечерами. Но она не отвечала больше взаимностью. История с соседом закончилась месяца через два. Он пришёл к ней в выходной день изрядно подвыпившим и потребовал, чтобы она собиралась и шла с ним. Она отказалась, он потребовал более настойчиво. Она отказалась снова, и тогда он попробовал решить за неё силой. Взял её на руки и понёс. Она сопротивлялась, отбивалась, кричала. На крик выбежали соседи, бросились отбивать, и дело закончилось милицией. Настойчивого жениха увезли, а вечером пришла его старушка-мать и слёзно умоляла простить её одичавшего в таёжных экспедициях сына и не писать заявления. Писать заявление Алёна не стала. Сосед-хулиган отсидел пятнадцать суток и вышел. Больше кататься на «жигулях» он её не звал и сватать не приходил.

Зато приходили Игорь со Стасом. И тоже выпившие. Родственников мужа Алёна выгонять не стала. Они пришли как-то вечером, с бутылкой спирта. Алёна поставила им на закуску солёные огурцы и круглую варёную картошку, но пить с ними, как они ни просили, отказалась. А они, выпив по полстакана, сказали, что пришли не просто так, а сватать Игоря.

— Если Андрюха-дурак не понимает, кого он променял на московскую кралю, я ему докажу,— сказал осмелевший Игорь.— Выходи за меня, Алёнка. Мы с тобой так будем жить, как говорят — платонически. Я тебя не трону. Будешь варить мне, за домом смотреть — и ладно. А тот дурак узнает, что ты со мной, сразу примчится, свою москвичку эту бросит. Выходи.

Алёна посмеялась, построила двум выпившим мужикам глазки и, разрешив им выпить ещё по одному разу, ласково проводила.

— Эх ты, а я тебя как увидел первый раз, так сразу полюбил,— сказал Игорь, уходя.— Жаль, что ты жена племянника была, а то бы ни за что не отступился, добился своего…

Несколько раз сестра Алёны Лариса, имеющая уже троих детей, обеспокоенная судьбой Алёны, звала её к бабке-ворожее. Но Алёна отказывалась.

— Я тоже не верила,— убеждала Лариса.— Но когда у меня трудный период в отношениях с мужем был, пошла и не пожалела. Пойдём. Если боишься, что много денег возьмёт,— не возьмёт. Она на деньги не жадная. Вот увидишь: поговоришь с ней — легче будет…

И Алёна пошла. Бабуля-ворожея по имени Нюра оказалась не такой уж и бабулей — вполне симпатичная черноволосая женщина, возрастом чуть за пятьдесят.

Она внимательно разглядывала фотографию Андрея, потом взяла чистый гранёный стакан, поставила туда свечу, зажгла, а фотографию поставила рядом.

— То, что было, уже не вернёшь,— сказала ворожея, выслушав Алёнин рассказ.— А то, что будет ещё не скоро, сказать, если хочешь, могу.

— Хочу,— сказала Алёна.

— Сила женщины, забравшей и околдовавшей твоего мужа, велика, но не безгранична. Она слабеет и ослабнет со временем. Но пока ему лучше быть в её плену. Его плен — его же дорога к успеху. Он ослеплён ею, успехом, но помнит тебя. Помнит… Ты тоже недолго будешь одна, хотя…

— Что — хотя? — спросила за Алёну Лариса.

— Хотя и не одна тоже будешь недолго…— ворожея смутилась.— Будут у тебя ещё и светлые, и серые, и тёмные дни.

Алёна отнеслась к словам ворожеи несерьёзно, отдала ей пять рублей и, придя домой, увлёкшись домашними делами, забыла, что говорила ей баба Нюра. Почти забыла.

Алёна часто гуляла вечерами или днём по выходным по улицам города. Бывала и у детского сада, куда водила давным-давно своего Саньку, несколько раз видела его воспитательницу — узнавала её по той же большой копне волос. Раза два они проходили друг мимо друга, узнавали, но не здоровались. Встречала несколько раз Алёна и бывшую нянечку Женю-Конопушку. Когда её попросили уволиться из детского сада, она устроилась в столовую, рядом с гастрономом. Несколько лет была раздатчицей, сильно пополнела. Алёна слышала, что она вышла замуж и родила двойню. Проходила Алёна и возле школы, где бы мог учиться её сын. Узнавала сестрёнок-двойняшек из Санькиной группы, мальчика-Огонька. Дети росли быстро и менялись, взрослели. Алёна вздыхала, представляла своего сына школьником и плакала.

Раза по три, по четыре в год Алёна ходила на кладбище. Конечно же, она шла одна или с кем-то на могилку сына, но попутно заходила и к своему отцу, и к Андреевым деду с бабушкой, которых считала своими. Обычно посещения начинались с весны, с родительского дня, после Пасхи, второе посещение — на Троицу, и обязательно — накануне или на день рождения сына (смотря как выпадала рабочая смена в депо). На день рождения она больше ходила одна или с Александрой Никитовной. Доезжала до нефтебазы, а там шла пешком до железнодорожного переезда и спускалась к кладбищу. Несколько раз она встречалась у могилки с Валентиной Андреевной. Они не сторонились друг друга, здоровались, общались, даже плакали вместе. Об Андрее старались не говорить, но нет-нет да и соскальзывала из уст бывшей свекрови фраза-другая о её сыне, и Алёна невольно, всегда

скрывая интерес, узнавала новости из жизни бывшего мужа. Бывало, ходила на кладбище Алёна в дни, не связанные ни с какой датой. Щемило сердце, обливалась слезами душа, становилось одиноко, и ноги сами вели её туда. И она шла, бывало, даже пешком от самого дома. Доходила до переезда, спускалась вниз по дороге до тропинки, сворачивала, переходила ручей по заботливо уложенным кем-то досточкам, выходила к оградке деда с бабушкой, а от неё уже искала кривую берёзу и золотистую оградку. Золотистая оградка, за которой, судя по дате, за пять лет до смерти сына (ещё до его рождения!) была похоронена женщина сорока лет, уже не была такой золотистой — краска за прошедшие годы поистёрлась, но она всё так же выделялась среди других и была видна издалека. Алёна всегда медленно подходила к оградке сына, осторожно отвязывала проволоку на калитке и тихо заходила. Подстелив газетку, она садилась на краешек скамейки за столик и смотрела на памятник, на фотографию. Потом плакала. Тихо. Тихо катились по её щекам слёзы, с лёгким, не слышным человеческому уху шорохом падали на траву у ног, на стол, на скамейку, на её коленки. В такие минуты Алёне хотелось быть одной. Она уже давно не протестовала, не спрашивала, зачем и почему, она облегчала душу слезами, и чувства её и мысли обретали покой. «А может быть, ему там лучше? — спрашивала она себя. — Может быть, там лучше всем? Не надо страдать, быть нелюбимой, терпеть, переживать измены… Может, там…» Она хотела, старалась представить, что может быть там, но воображение улетало от неё в синее небо, за белизну облаков, и растворялось в синеве и белизне.

Однажды, когда она сидела у могилки, её негромко окликнули. Она, удивляясь себе, безбоязненно оглянулась и увидела кудрявого мужчину в тёмно-зелёной замшевой куртке и девочку лет десяти-двенадцати в синей вязаной кофточке.

— Девушка, а вы не знаете, тут где-то дорога наверх ведёт? — спросил мужчина. — Год не был — не могу найти.

Лицо мужчины было знакомо Алёне, где-то она его раньше видела.

— Дорога вверх дальше, — показала рукой Алёна. — Надо вам выйти назад, на главную дорогу, и дальше пройти к соснам — и увидите поворот.

— Спасибо, — сказал мужчина. — Раз так, то найдём.

— Спасибо, — сказала и девочка.

Алёна проводила их взглядом, подумав, что девочка, скорее всего, ровесница её сына.

А через два дня она снова увидела этого мужчину. Она подходила к остановке, когда автобус первого маршрута собирался уезжать. Она побежала, надеясь, что водитель заметит её и подождёт. Водитель действительно заметил, подождал и даже открыл для неё переднюю дверцу. Она вошла и увидела за рулём его. Он улыбнулся ей и кивнул. Она кивнула в ответ. А ещё через день, прогуливаясь по городу, она увидела его возле газетного киоска в той же замшевой куртке, хотела пройти мимо, но он вдруг поздоровался с ней.

— Здравствуйте, — ответила Алёна.

— А мы с вами нигде раньше не виделись? — спросил он.

— Не знаю… — сказала Алёна кокетливо. — Город у нас небольшой, водителей автобусов не так уж и много… На кладбище мы пообщались, а виделись, наверное, до этого не один раз. Я часто на первом автобусе катаюсь.

— А я не часто, — улыбнулся он, покачивая кудрями. — Меня просят иногда выйти, поработать за кого-нибудь на первый маршрут, а так я на «пятёрке» работаю.

— А на «пятёрке» мне ещё чаще ездить приходится. У меня мама возле вокзала живёт…

Они засмеялись. Одновременно и громко.

— Прогуляться вышли? — спросил он.

— Да, брожу по улицам так просто, без цели, — сказала она. — Отдыхаю так.

— И я так же предпочитаю отдыхать! — воскликнул он и, снова тряся кудрями, засмеялся.

Они пошли вместе по улице Гагарина, к Старобазарной площади.

— Меня Николай зовут, — представился он.

— Алёна… А вы нашли на кладбище кого искали?

— Да, почти сразу. У меня жена там похоронена. Три года назад умерла.

— А девочка? Ваша дочь?

— Да, дочь. Катя.

— Один воспитываете?

— Есть две бабушки. Но одна сейчас сильно болеет, а у второй, кроме Кати, ещё трое внучат. Так что, можно сказать, на девяносто процентов — один.

Потом они сидели на скамейке возле здания отделения железной дороги и говорили, говорили. Алёна поражалась себе, той лёгкости, с какой она доверительно говорила с незнакомым человеком о муже, о сыне, о себе. Как быстро стала называть его сначала Николаем, а потом Колей. А он, Коля-Николай, легко, простодушно говорил ей о себе, о том, что боится женщин и не решается к ним приблизиться, что женился только потому, что его познакомили с матерью Кати, а вот с ней, с Алёной, его так и подмывает говорить, говорить, говорить…

Потом они шли по улице Транспортной и оказались возле новых домов у железнодорожной школы. Николай сказал, что он здесь живёт, и пригласил в гости. И она согласилась и пошла. В квартире на третьем этаже, окнами на школу, она познакомилась с Катей. Они втроём пили чай, Катя показывала Алёне свои тетрадки, рассказывала

про школу, про свой класс. Догадка Алёны подтвердилась: девочка была ровесницей её Саньки. Потом, уже по темноте, Коля проводил Алёну до дому. Напрашиваться в гости не стал. Попрощался торопливо, ссылаясь, что Катя дома одна. Алёна, беспокоясь за него, попросила позвонить и сообщить, как он добрался до дома.

— А что тут добираться? Город-то и вправду маленький, ходьбы минут на пятнадцать от тебя до меня,—сказал он, уходя, но через полчаса позвонил.

И они снова говорили, говорили, говорили…

Через два месяца они стали жить вместе. Николай перенёс её вещи к себе, и она перешла в его двухкомнатную квартиру. Свою квартиру Алёна сдала в аренду. Жили не расписанными—Алёна не хотела менять фамилию, а Николай не настаивал. Коля оказался прирождённым семьянином: добрым, покладистым, неконфликтным. Никогда не спорил, правоту свою старался Алёне и Кате доказывать делом, а если давал слово, то держал и исполнял обещания. И с Катей Алёна быстро подружилась. Лишённая материнской ласки, девочка приняла её как мать и почти сразу стала звать мамой.

Когда в стране начались большие перемены, обанкротилась автобаза, где работал Николай, и он решил заняться своим делом. Сначала взял в аренду, а потом выкупил автобус и занялся пригородными перевозками пассажиров. Алёна продолжала работать в депо. Шло время, менявшее вокруг многое, но не влияющее на их отношения. Алёна была счастлива. Катя стала умной девушкой: закончив школу, поступила в медицинский институт, на врача-терапевта. Двадцатый век сменил двадцать первый. Чтобы содержать семью и выучить дочь, Николай вместе с приятелем занялся дальними перевозками—сначала пассажирскими, потом грузовыми. Возил товар из Забайкалья, Урала, европейской части России и даже Казахстана. Алёна снова часто оставалась одна, но это одиночество не было ей в тягость. За годы жизни в новой семье она всё обращала во благо, даже разлуки. За расставанием всегда следует встреча, знала она и добавляла: радостная встреча. И встречи после недолгих разлук с мужем и приёмной дочерью действительно были радостными. Когда они приезжали домой, то смеху, шуткам, восторгу не было границ, а разговоры лились порой до рассвета.

Но жизнь человеческая не состоит из одних только радостей, бывают в ней и печали, и горе. Горе пришло неожиданно, прогремело громом средь солнечного дня, ворвалось в дом ледяным холодом, и кончилась радость.

Звонок раздался под утро. Звонили из больницы, но не из железнодорожной или городской, а из далёкого Новосибирска.

«Ваш муж в тяжёлом состоянии, нужно приехать»,—слова эти разорвали счастливую жизнь Алёны. Горькое предчувствие сначала робко, а потом настойчиво стало нагнетать мрачные мысли. Она, не раздумывая, поехала в Новосибирск, нашла больницу и Николая в реанимационном отделении.

— Они нарвались на бандитов,—сказал ей лечащий врач.—Напарника сразу убили, а вашего мужа тяжело ранили и бросили на дороге. Если бы сразу подобрали, то можно было бы спасти, а сейчас…

— Что сейчас?!—спросила Алёна.

— Сейчас поздно…—сказал врач.—Он в себя не приходит и, наверное, уже не придёт. Я могу вас впустить к нему на минутку…

Николай лежал на кровати с закрытыми глазами, лицо его было в синяках, в кровоподтёках. Казалось, не дышал. Она смотрела то на него, то на врача, глазами спрашивая, жив ли он. Врач кивнул: жив. Алёна осторожно взяла руку Николая, едва тёплую, наклонилась и прижала к себе. Он встрепенулся и, не открывая глаз, что-то прошептал. Она прислушалась, но ничего не поняла.

— Коля, Коля, это я, Алёна…—сказала она ему в ухо.

Он встрепенулся ещё и снова пошевелил губами.

— Что, Коленька, дорогой? Что, Коля?—слёзы наполнили её глаза, она одной рукой вытерла их, другой продолжала держать Николая за руку.—Ну скажи ещё, скажи, Коленька!—умоляла она.

Он дёрнул веками, едва приоткрыл их и снова пошевелил губами:

— А… Алёна…

— Я, Коленька, я это, я!—воскликнула она радостно, прижимая его руку к себе.—Я, Коля, я!

— Катю… береги…—прошептал он едва слышно.

Колю похоронили на другом конце разросшегося кладбища, ближе к речке, рядом с его другом-напарником, похороненным неделю назад. А Алёна осталась жить и беречь Катю. И потекло новое время за её окном на старых электронных часах районного узла связи. Время текло, меняло цифры на табло, меняло жизнь. Катя взрослела и превратилась в красавицу—стройную шатенку с длинным, вьющимся, как у отца, волосом. Алёна несколько раз ловила себя на мысли, что Катя могла быть её невесткой…

Но она была её приёмной дочкой, красивой и умной, и никто, в том числе и Алёна, не удивился, что однажды Катя приехала домой не одна, а с молодым человеком, и объявила, что выходит замуж. Два года Катя уже работала в областной больнице, там и познакомилась со своим Лёней—врачом-хирургом. Свадьба прошла в областном центре, там и остались жить молодые.

А Алёна осталась теперь одна на две квартиры и, чтобы не бередить воспоминания, перешла

жить в свою квартиру, а Николаеву сдала в аренду. В старой квартире, напротив не устающих электронных часов, как ей иногда казалось — вечных, она нет-нет да и подумывала об Андрее. Первые годы её замужества он так же отправлял ей деньги. Говорили, приезжал к матери, но, видимо, узнав, что она замужем, видеть её не стремился, а потом и деньги присылать перестал. Позже узнала она от бывшей свекрови, побывавшей у сына в гостях, что Наталья звала его жить за границу, а он не хотел, что на этой волне у них испортились отношения. Нельзя сказать, что Алёна не думала об Андрее и в годы замужества. Думала и иногда даже, тайно от Николая, покупала «Литературную газету» в надежде узнать новости о нём. И, бывало, узнавала. Впрочем, о больших событиях в жизни Андрея сообщала и местная газета. О том, какую он премию получил и каким тиражом у него вышла новая книга. А один раз даже многосерийный фильм по его повести шёл по телевизору, и несколько серий смотрели они вместе с Колей.

Интересы Алёны ограничились. В гости она теперь ходила только к сдавшей сильно Александре Никитовне, почти ослепшей после неудачной операции на глазах. Бывало, заходила к сестре Ларисе, проведывала её, племянника и племянниц. Один раз в гости к себе пригласила её сестра Андрея Ольга. С Ольгой они как-то вместе ходили в родительский день на кладбище, и там Алёна встретилась и с поседевшей уже двоюродной сестрой Андрея Тоней, и ещё с несколькими родственниками со стороны бывшего мужа. После побывали они все вместе на могилах отцов — её и Андрея, вырвали траву на могиле Игоря, замёрзшего в холодной избе осенью тысяча девятьсот девяносто пятого года. Искали и последнее пристанище Стаса, пережившего Игоря на два года и умершего, так же как и он, от перепоя в нетопленой избе старшей дедовой сестры — бабы Поли, но не нашли. Никто не знал, где он похоронен и кто его хоронил. И ностальгия затеребила, затормошила Алёнину душу, разбудила воспоминания о днях далёких: о знакомстве с Андреем, о жизни в четвертушке, о переезде в новую квартиру…

Вечером Алёна сидела в комнате и плакала, смотрела в окно на электронные часы, отсчитывающие привычное для себя и новое для неё время…

В первый день третьего лета нового века и нового тысячелетия Алёна почувствовала резкие боли в животе и на приёме у врача узнала, что ей нужно лечь на операцию. Она не стала спорить и перепроверять анализы, согласилась сразу. Назначили день, и перед уходом в больницу Алёна пошла на кладбище. Пошла, как это делала не раз, пешком, неторопливо прошла переезд, вышла на тропинку, по досточкам перешла ручей, заглянула на могилки деда и бабушки и по ориентиру — кривой берёзке и золотистой оградке — вышла к могилке Саньки. Проходя мимо золотистой оградки, Алёна заметила, что та недавно выкрашена, и снова в этот же золотистый цвет, а могилка женщины прибрана. «Надо тоже подновить сыночку могилку, — подумала она. — Но это, дай Бог, всё в порядке будет, уже после операции. Зятя, Ларисиного мужа Лёню, попрошу…»

На могилке она, как всегда, плакала, сидела на краешке скамейки, положила горсть конфет к памятнику. Собираясь уходить и думая зайти ещё на могилку Николая, Алёна перекрестилась и услышала, что её окликнули. Кто-то негромко назвал её имя.

8.

Кто-то негромко назвал его имя. Андрей оглянулся и увидел Короткова.

— Привет, Андрюха. Ты что-то уж совсем — не отзываешься, не оглядываешься. Забронзовел, видать, дальше некуда. И на творческие вечера старого приятеля по Литинституту звать перестал.

Они встретились на суетливой, вечно переполненной станции метро «Новослободская».

— Да нет уже почти два года никаких вечеров, и никаких книг в России не выходит, — сказал, оправдываясь, Андрей.

Он был рад встрече с однокашником.

— В России у него два года книги не выходят. Зато в «Знамени» я твою повесть видел! — как всегда громко, с русским размахом, говорил Коротков, без устали хлопая его по плечу.

Было видно: он тоже рад случайной встрече.

— Да, печатали… По старой памяти печатают. Гонорар мизерный платят, и то с задержкой… — продолжал оправдываться Андрей.

— А за границу ездил на презентацию своей книги, в Лондон? Или это не в счёт? На такие мелочи вы не размениваетесь? Подумаешь, Лондон… Вам Париж подавай! А мне бы и в Белоруссию съездить за счастье было бы. Так не зовут. Ни рылом, ни талантом не вышел, наверное. К тому же поэты сейчас не в чести!

Коротков продолжал говорить громко. Теперь он размахивал руками, и Андрей не понимал, ругает ли он его или просто говорит что думает.

— Да был я в Лондоне, был. В ПЕН-клуб меня приняли, — сказал он. — За книгу деньги получил и уже отдал тридцать пять процентов родному государству.

Коротков неожиданно замолчал, посмотрел на него — теперь без улыбки, с налётом грусти.

— Везунчик ты всё же, Андрюха. Я не знаю: что делать с такими, как ты? Демократом тебя назвать язык не поворачивается, патриотом — тоже. Ты Белый дом защищать, знаю, не ходил, и случись — опять бы не пошёл… За что я к тебе симпатию питаю — не пойму… А в метро что делаешь? Что, тебя

твоя чернобровка не возит больше на иномарке не знаю какой марки? — Коротков снова улыбнулся.
— Да поругались мы, — сказал Андрей, — разошлись во мнениях. Она хочет, чтобы я с ней уехал насовсем, с концами, в Израиль. Говорит, будешь в русскоязычном журнале работать. Что там каждый третий сейчас говорит по-русски. А я не хочу. Что я там буду делать? Я же русский мужик, сибиряк. Мне там жарко, душно, воздуху не хватает…
— Вот это правильно! — Коротков снова принялся хлопать Андрея по плечу. — Это я понимаю — патриот. И ещё какой! Тебе бы там с твоей-то чернобровкой лафа была. Она бы тебя там развернула! А ты не хочешь! Молодец! Значит, ты настоящий писатель, наш, патриот! Не за деньги и не за славу! Постой, а куда ты сейчас идёшь?
— Сам не знаю, — махнул Андрей. — Поругались, покричали друг на дружку. Она в слёзы: говорит, оставь меня, — я и пошёл. Вот и иду.
— Далеко от неё не уйдёшь, — снова посерьёзнел Коротков. — Знаю тебя. Да и некуда тебе идти. Всё под её контролем. Может, ко мне? Я сейчас один. Сын в армии, жена недавно умерла. История, я тебе скажу, получилась… Но про это потом. Давай ко мне, день-два покантуешься на моём диванчике, покажешь характер, а она забегает…
— Что, прямо сейчас?
— Конечно. Я тут в издательстве был. Горит моя книга стихов уже третий год. Сейчас говорят: найди деньги на бумагу, тогда напечатаем три тысячи экземпляров. Про гонорар совсем молчат. Да хоть бы напечатали… А ты говоришь — копейки в журнале получаешь… Тут свои готов вложить — лишь бы вышла книжка. Что, едем?
— Ну поехали.

И они поехали к Короткову в Медведково. Серёга Коротков жил в панельной высотке, не то двенадцати-, не то шестнадцатиэтажной, в трёхкомнатной квартире на пятом этаже, и не совсем один. По вечерам к нему приходила Лена. Та самая, с которой Андрей познакомился в день зачисления в Литинститут и которая потом не один раз встречалась ему вместе с Коротковым на различных творческих вечерах и вечеринках.
— С Ленкой мы встречаемся где-то лет уже семнадцать, а то и больше, — пояснял ему Серёга. — Она ещё школьницей была, забрела к нам на литературный вечер, а я стихи читал. Ну, она и влюбилась. Разница в возрасте у нас девятнадцать лет, почти двадцать. Я тогда женат был и тоже увлёкся, хотел даже Нинку свою бросить, но она у меня шизой болела, когда узнала — стала кричать о самоубийстве, что петлю на себя накинет. Да и ещё ребёнок у меня маленький был… В общем, подружили мы с Леной лет пять-шесть — пока она институт не закончила, а потом я ей сказал: выходи замуж. И она вышла. А моя Нинка как вбила себе в голову мысль, что повесится, так и держала её. Раза два я её вытаскивал, перерезал верёвку, один раз в больнице откачали. Я её и в «Кащенку» отправлял, и на учёт её ставили в психушке — бесполезно. И грозил ей, бил даже, а она всё равно: «Ты знаешь, Серёжа, какая петля сладкая! Стоит только разок попробовать — так и тянет… Всё равно не удержишь меня…» И не удержал. Сын только в армию ушёл, смотреть некому было, она и… Знаешь, на меня как родня её ополчилась? Братья её, племянники… Сами же всё знали про неё! Нет, всё равно бочку катят и катят… Так один раз довели, что сам чуть не покончил с собой. Забрёл как-то вечером на станцию, там вагоны стоят. Взял, лёг под один, шеей под колесо… Представляешь: лежу, снизу под шеей холодный рельс, сбоку железное колесо в шею упирается… А как дёрнется вагончик? Жутко! Хотел встать, но не так просто: какая-то сила как сковала — пошевельнуться не могу. Натужился, дёрнулся, башкой врезался о вагон. Соскочил — и бегом, бегом… А потом Ленка ко мне стала ходить. Узнала, что один, — мужа бросила, богатого бизнесмена… Не знаю, Андрюха, что и делать. Если начну с ней жить, то родня Нинкина меня совсем сожрёт. И так сына настраивают против меня, шлют ему письма разные в армию…
— Трудно мне что-то тебе, Серёга, посоветовать, — говорил ему Андрей, устраиваясь на ночлег в зале на диване. — Я сам, видишь, в какой ситуации. Многим Наталье обязан, но не могу больше капризы её выполнять. Многое терпел, но вот так, чтобы «собирайся — и поехали!» — не вынес. Что мне её заграница? Я русский писатель и должен жить в России.
— Ну, не всегда русские писатели жили в России, — возразил Коротков. — Лучше всего про Россию пишется на чужбине. Это и Гоголь, и Тургенев, и Бунин со Шмелёвым доказали. Сам знаешь…
— Да, знаю… — согласился Андрей. — Но не хочу. Хватит, я поездил по её заграницам! Лучше окрошки русской, пельменей, блинов материных — ничего в мире нет!
— Ну вот, и ты туда же — о еде заговорил! — усмехнулся Коротков. — И кому говоришь — официанту с двадцатилетним стажем? Молодец!
— Да не только еда. Там воздух другой, солнце другое!
— Солнце тоже другое? — Коротков засмеялся. — Правильно, Андрюха, давай за наше солнце коньячку хлебнём. Я уж лет пятнадцать не пил, но раз такая встреча у нас получилась, врежу соточку-другую да на следующей неделе работу искать пойду. Перестала кормить меня поэзия.

Андрей не брал в рот спиртного ещё больше — около двадцати лет, но отказать Короткову сейчас не мог и пригубил с ним армянского коньяка.
— Знаешь, Серёга, — сказал он, когда закружилось, зашумело в голове. — Мне в твоей мрачной истории

про жену одна вещь с чисто литературной точки понравилась.
— Какая?—заинтересовался Коротков, наливая по второй рюмке.
— Когда ты под колесо шею свою положил… Как на заклание… Можно, я этот эпизод в новом романе использую?
— Ну, ты рвёшь и мечешь!—хлопнул по привычке приятеля Коротков.—Всё в дело пускаешь. Молодец! Не перестаю тобой восхищаться. Используй, ладно, но с условием.
— Каким?
— Герою своему дай фамилию Коротков.
— Согласен.

Потом Андрей был согласен и на третью рюмку, и на четвёртую. После распитой бутылки коньяка Коротков достал из холодильника водку. А когда уже глубокой ночью закончилась и водка, он стал звонить Лене и просить её срочно приехать и привезти им ещё пару бутылок спиртного. Лена ответила, что до утра не сможет—болен ребёнок, и тогда Коротков стал искать припрятанные им же деньги, но так и не сообразил, куда убрал. Выручил его Андрей, показавший стодолларовую бумажку. Коротков тут же успокоился и предложил сходить до ближайшего круглосуточного кафе. Они собрались и пошли среди многоэтажек, по незнакомым Андрею медведковским местам. У одного из домов встретили двух парней, спросили про кафе, те показали—дальше, через два дома, возле автобусной остановки. Кафе-подвальчик действительно оказалось в доме у остановки, и они купили там две бутылки «смирновской» водки, бутылку сухого вина, два литра пива и две коробочки быстрорастворимой корейской лапши. Когда вышли, Коротков предложил сразу выпить по бутылке пива, тут же, у подвальчика. Они выпили и, громко переговариваясь, пошли в сторону коротковского дома. Когда выворачивали к нужному дворику, им повстречалась компания из четырёх человек.
— Ну что, отцы, гуляем?—спросил один из компании.
— Гуляем,—ответил Коротков и подстраховался, сказав:—А мы тут живём, в этом доме.
— Все мы где-то живём,—сказал разговорчивый парень.—Кто дома, кто в подвале, кто просто на планете. А бабло у вас есть?
— Что?—не понял Андрей.
— Зелень, капуста?—пояснил разговорчивый.
— Да деньги им нужны,—сказал Коротков.—Знаете что, парни, денег у нас нет, а бутылку водки одну мы вам пожертвовать можем… и пиво, если хотите…
— А мы сейчас вот проверим ваши карманчики. Не возражаешь, батя?—обратился к Короткову говорливый, и трое остальных компаньонов подошли поближе.

Один обхватил Андрея сзади, запустил руку во внутренний карман пиджака.
— О, да тут гаманок приличный,—воскликнул он, доставая портмоне Андрея.—Целых триста баксов, и ещё российскими…
— А у меня нет ничего,—поставив пакет с выпивкой на землю, сказал Коротков, раздвигая полы своего пиджака.
— Верю,—сказал говорливый.—Нам пока хватит. Поэтому обыскивать тебя не будем и водку вашу не заберём. Всё равно палёнка. А пивко, пожалуй, попробуем. В этой кафушке пиво всегда классное. Подними пакетик, батя.

Коротков поднял пакет.
— Раскрой и сам подай нам пиво.

Коротков достал бутылку и протянул. Разговорчивый взял, передал рядом стоявшему.
— Это всё?
— Нет, ещё одна есть,—сказал нерешительно Коротков.
— Извини, старичок, но нас, сам видишь, четверо, одной бутылки мало будет. Потому давай и вторую.

Коротков отдал.
— Спасибо, отцы, приятно побеседовали. Приятной вам выпивки. Приятных снов,—продолжал паясничать говорливый.—Пошли, братва. Теперь наша очередь гулять, посидеть за бутылочкой.

Компания ушла.
— Подонки!—выругался Коротков.—Пройти уже спокойно нельзя. Хорошо, Ленка не поехала. Сволочи! Деньги забрали, ещё и пиво надо! Надо было нам там, у кафе, всё выпить.

Дальнейший путь прошли без приключений. Дома Коротков поставил на печь кастрюльку с водой и в кипяток засыпал корейской лапши.
— Подонки, натуральные подонки,—продолжал ругаться он.—Был бы автомат, всех из «калаша» бы перебил. Нажал бы на курок—и палил, палил, палил, насколько патронов хватило.
— Давно я в такие переделки не попадал. Давно по ночам не шарился,—улыбаясь, сказал Андрей, присаживаясь за кухонный стол.
— Радостного мало,—заметил Коротков, присаживаясь рядом.

Но было видно, что негодование его проходит, глаза добреют.
— Удивляюсь я тебе, Андрюха,—уже веселее сказал он, когда они выпили по первой после похода.—Потерял почти четыреста баксов, а смеёшься. Нет, ты точно русский—и душой, и натурой. Нечего делать тебе на чужбине, не сможешь ты там, не выдержишь.

Вторую они выпили за патриотизм и патриотов. Закусывали горячей лапшой.

Третью—за лучшие времена для литературы и литераторов. Четвёртую…

Андрей проснулся, когда приехала Лена. Лена и Коротков громко разговаривали на кухне, потом

Лена уехала и приехала снова. Когда Коротков разбудил его, на кухонном столе стояла батарея из полных пивных бутылок. Они выпили пива, потом водки. Лена что-то варила на плите, потом кормила их чем-то, но Андрей уже не помнил чем.

Укладываясь снова на диван, он думал о Сибири, о матери, об Алёне. Под сердцем щемило. Ему вдруг захотелось запеть с детства знакомую песню про Братскую ГЭС, где в конце были слова об Ангаре и его родном городе.

Я ещё допою, допою
Комсомольскую песню свою…
С нас почти исторический пишут портрет,
Только это, друзья, суета…
Ведь не вся ещё жизнь прожита…—

шептал он, и слёзы катились из его глаз.

Я ещё допою, допою…

Он переворачивался на диване то на спину, то на бок, то ложился на живот, шептал слова из песни, те, что помнил, кстати и некстати повторяя: «Я ещё допою, допою…»—стараясь мысленно перекричать, заглушить звенящее в ушах и стучащее в мозгу эхом слово: «Запой… запой… запой…»

Наталья нашла его на четвёртый день их беспробудного пьянства. Растолкала, заставила выпить какой-то гадости, утащила в ванную, где его тошнило и рвало, обливала и умывала холодной водой, а когда он пришёл в себя, помогла одеться.

— Дай выпить этого настоя своему—враз отобьёт охоту пьянствовать, а то ещё неделю не остановишь,—сказала Наталья провожающей их до дверей Лене.

Та согласно закивала, и Андрей понял: Наталья нашла его не без помощи подруги Короткова.

Она повезла его в Звенигород, где они жили последние пять лет в собственной трёхкомнатной квартире.

— Ну, теперь ты понял, что без меня ты ни на что не способен?—спрашивала Наталья, усаживаясь за руль «Ниссана».—Без меня ты совсем пропадёшь, и деньги быстро кончатся, и друзья квартиру приберут… Одна у тебя дорога—со мной. Понял?

Андрей молчал всю дорогу. Он понимал, что Наталья права, что вся его воля и все его так называемые разумные поступки давно и прочно контролируются женой. В быту он потерял самостоятельность, как, впрочем, и в жизни в целом. Оставалось только творчество. Он считал, что пишет только о том, о чём считает нужным, хотя… Жизнь с Натальей, главенствующая роль женщины в семье не могли не сказаться и на его творчестве. И, наверное, сказались. Много раз Наталья как бы между делом, уверяя, что не собирается вмешиваться в его творческую сферу, говорила, что хотела бы видеть в его героях (а особенно героинях) те или иные черты, тонко прописанные детали («детальки») характера, и он часто соглашался, полагая, что женщин Наталья знает лучше.

Но в целом…

В целом Наталья не навязывала ему своих тем. Даже когда закончилась перестройка, потерпели крах издательская и книгораспределительная системы, когда любимчиками современных издателей стали вторичные тексты или попросту переложенные с западных на российский лад детективы и не совсем понятные ему фэнтези, он остался верен своим темам. Эту его веру и уверенность понимали немногие в постперестроечной России, но неглупые зарубежные издатели, разбирающиеся в литературе, охотно брались за издание его повестей и трилогий. Так, не получившая большого резонанса трилогия о жизни сорокалетнего мужчины была переведена на сербский, чешский, английский и даже японский языки и издана в восьми странах. Большой интерес вызвал у заграничных издателей и пока не законченный им роман, где героев его через двадцать лет небесные силы возвращали к исходной точке, в один и тот же день, и заставляли жить снова, пуская развитие по другому варианту. Первая книга была напечатана в нескольких зарубежных журналах, но с издательствами Андрей не спешил подписывать договора до окончания всего романа.

Наталья, поучавшая и решавшая многое за него, сразу менялась, успокаивалась и отступала, едва он осенялся какой-то новой задумкой и садился к столу. Как она сама говорила знакомым литераторам, «растворялась в интерьере». До встречи с Андреем сама сочинявшая детские истории и успешно издававшаяся, она теперь совсем оставила, как любила повторять, «ради него своё творчество», понимала, что этой свободы отнимать у него нельзя.

Неделю после срыва Андрея Наталья не напоминала ему об отъезде, но потом, улучив момент, рассказала о новом своём плане. Она по-прежнему настаивала на отъезде, теперь, правда, на более мягких для него условиях. Она решила продать машину, а квартиру оставить под опеку Лены—подруги Короткова. Сама она собралась уезжать, что называется, по полной программе—со сменой гражданства, а что касается Андрея, то, по её задумке, он ехал с ней на правах мужа, как сопровождающий и приглашённый. Они поживут какое-то время так, Андрей сможет без проблем «мотаться в Россию», а потом, «если захочет и если поймёт, что мотаться не надо», сменит гражданство.

— Ну какой смысл тебе мучиться здесь, если тебя больше издают за границей?—говорила Наталья.—Сам же видишь: все хорошие писатели сейчас бедствуют, процветают только те, кто ничего не значил, кто играет в новые игры, кому без разницы, что и о чём писать. Поехали. Ну, соглашайся…

Андрей согласился, и они поехали.

Три года мотался он между Тель-Авивом и Москвой. Жил с Натальей и в Хайфе, и на «новых землях», в районе израильско-арабского конфликта. Несколько раз бывал он на Рождество в Вифлееме, хорошо узнал бо́льшую часть Иерусалима. Но тосковал и работал плохо. Написал только цикл коротких рассказов да немного продвинул третью книгу романа. Надо отдать должное Наталье, она нашла себя и здесь: быстро переключилась на издательскую деятельность, занялась переводами. Видя тоску Андрея, она продляла и оформляла ему визу, не препятствовала его стремлению путешествовать по Европе. Даже разрешала по нескольку недель ездить одному. Он жил в гостиницах Мадрида, Марселя, Брюсселя, Амстердама. Больше других ему понравилась Вена — её дома, улицы, фонтаны. Нравились австрийцы, говорившие по-немецки, любящие, как и немцы, под пиво жареные колбаски, но всё же на немцев чем-то не похожие.

Приезжая в Москву, Андрей первым делом отыскивал Короткова с Леной, а потом в сопровождении их ехал к себе в Звенигород. Он не имел ничего против, если Лена поселяла на время в его квартиру своих друзей, и мирился с тем, что некоторые вещи этих друзей стояли в зале и прихожей.

Весной третьего года нового века он захотел берёзового сока. Так захотел, что не мог найти себе места. Ездил в Переделкино, где жили его однокурсники воронежец Эдик и вологжанка Галина. Несколько лет они были женаты и снимали в писательском посёлке дачу. Андрей знал, что Эдик любил весной собирать берёзовый сок. И поехал, что называется, «на свежачок» и задержался на два дня. Воздух России, Подмосковья, общение с близкими людьми разбудили в нём ностальгию. Вернувшись к себе в Звенигород, он долго и много думал. Не спал почти всю ночь, а когда задремал, увидел то ли в полудрёме, то ли во сне большие электронные часы узла связи, домчетвертушку, Алёну и Саньку. Живой мальчик бегал, кричал: «Папа, папа, не догонишь, папа!» — и смеялся. А он, Андрей, молодой и кудрявый, ловил его и, догнав, брал на руки и бросал под потолок. «Санька проснулся! Санька проснулся!» — смеялся он, и смеялась с ними выглядывающая из кухни Алёна — молодая и красивая.

Андрей открыл глаза. В глазах, на лице его были слёзы. Подушка и простыня были мокрыми. Он встал, вышел на балкон и посмотрел с девятого этажа на просыпающийся Звенигород. Пахло весной, пахло приближающимся маем, пахло Россией. Дождавшись рассвета, Андрей поехал в Москву и купил билет на поезд до станции его детства, юности и молодости.

9.

Станция его детства, юности и молодости встретила прохладным маем. Вокзал привычно продолжал жить своей жизнью: встречами, ожиданиями, расставаниями. Вагон, в котором ехал Андрей, остановился возле бывшей конторы станции, куда когда-то Андрей ходил на разнарядку, будучи помощником составителя поездов, а потом и составителем. Оттуда убегал он, будучи посыльным, на поиски не вышедших на смену работников или вызывая других на подмену. Андрей прошёл до вокзала, изрядно подновлённого и достроенного, похожего и не похожего на тот, где почти четверть века назад они встретились с Алёной.

Юркие таксисты на привокзальной площади предлагали увезти его «всего за полцены», и он выбрал одного, усатого, пожилого, в кожанке, и попросил помочь ему закинуть сумки с подарками в багажник. Через каких-то пятнадцать минут, промчавшись по пустым улицам, никогда не знавшим автомобильных пробок, он подъехал к пятиэтажке, где жила мать, и, щедро расплатившись с водителем, собрав сумки, поднялся на четвёртый этаж.

Дверь открыла мать, сильно поседевшая, обрадовалась, увидев его, кинулась было обниматься, но лишилась дара речи, всплеснула только руками и прослезилась.

— Ну ладно, мам, не надо. Всё хорошо. Все живы, — сказал он. — Прими лучше подарки.

— Путешественник ты наш… — сказала, улыбаясь сквозь слёзы, мать. — Надолго ль хоть?

— А пока не выгоните…

— Да живи уж…

Первые два дня он вообще никуда не выходил. Лежал на диване, смотрел две программы телевидения с включением местных новостей. Слушал мать, рассказывающую о знакомых. На третий день, купив бутылку водки, пошёл к Хилю. Его приходу обрадовались и Гена, и Надя. Постаревший Гена разменял пятый десяток, бодрился и говорил, что на спор выпьет литр без закуски и не опьянеет. Когда же выпил стакан — захмелел, смягчился и подкорректировал: без закуски — пол-литра, с закуской — литр. С Геной и его женой они тоже говорили о знакомых, как и раньше, вспоминали годы работы на заводе.

За две недели Андрей обошёл всех родных и многих знакомых. Дарил книжки с автографами, парился в бане у двоюродной сестры Тони. Заходил домой к редактору газеты, теперь пенсионеру и заядлому рыбаку. С ним и его женой, не потерявшей привлекательности старушкой, они помянули Петра Сергеевича.

— Никого теперь из тех, с кем ты работал, в редакции уже нет, — сказал редактор. — Я и то прихожу туда теперь как чужой. Не ходил бы, да не могу, вся жизнь с газетой была связана. И потом, приятно, когда вспоминают. Вот на юбилей спиннинг подарили. Айда со мной в субботу на рыбалку?

От рыбалки Андрей отказался, сославшись, что собрался на Ангару, к двоюродным братьям, которых не видел больше двадцати лет.

Несколько раз Андрей проходил мимо дома Алёны. От матери он знал, что теперь она живёт одна, но зайти не решался. Подходил к дому, видел в окнах свет, тень на шторах, стоял под электронными часами узла связи и уходил. Был Андрей и на кладбище. Посетил могилки и деда с бабушкой, и отца, и, конечно, Саньки. Постоял у кривой берёзки, положил кулёк конфет к памятнику. Долго искал могилы Игоря и Стаса. Игоря нашёл у дороги, зашёл в оградку и минут двадцать выдирал высокую траву с могилы и вокруг. Поцарапал ладони, порезал пальцы, но вырвал всё. Нашёл в конце кладбища и могилу Стаса, без оградки и тоже заросшую и уже изрядно осевшую. Выходя с кладбища, перекрестился и по досточкам, по узкой тропке вышел на асфальт, а там и к переезду.

Путешествие к братьям заняло у него дней десять. Хотел было вначале сократить дорогу и поехать через Ангару паромом, но ему вовремя подсказали, что паром начинает ходить с июня. Доехал до областного центра поездом, потом на «Газели» ещё часов пять катил по лесам, среди полей и плоскогорий. Добрался поздно вечером. Привёз подарки братьям и невесткам. Всю ночь они сидели в зимовье, говорили—не могли наговориться: у старшего, Игоря, потом дома, до следующего вечера, у младшего, переехавшего к нему вместе с матерью,—Олега. Ходили на могилку к тёте Гале. В другие дни он с братьями и их детьми катался на лодке по искусственному заливу, участвовал в пахотных работах на огородах, мылся в бане, пил квас и ел солёных лещей.

Обратно не спешил. В областном центре зашёл в Дом писателей, побывал на творческом вечере местного поэта, написал в книге отзывов литературного музея хорошие слова.

В родной город он приехал в первый день лета, подумывая, что пора уже собираться в более дальнюю дорогу.

Ещё два дня просидел он дома у матери, перебирая собственные юношеские дневники и наброски к рассказам, сохранённые матерью в старом чемодане. Лето началось с дождей, а потому он не чувствовал большой тяги к улице. Читал старые книжки, смотрел по телевизору местные новости. Но едва выглянуло солнышко, вышел всё-таки погреться под его не сильно ласковыми сибирскими лучами. С утра он решил обойти весь город пешком и засёк ради интереса время—за сколько обойдёт. Пошёл вначале в сторону завода по ремонту дорожно-строительных машин, потом на бывшую базу теперь заброшенной стройиндустрии, прошёл мимо шпалозавода и через железную дорогу вышел сначала к вагонному, а потом к локомотивному депо. Снова перешёл пути и, выбрав за ориентир башни мелькомбината, пошёл прямо на них. Дойдя, вышел на улицу Кирова, потом свернул в сторону аэропорта и пришёл на пустынное поле. Вернувшись назад, пошёл по Кирова дальше, в самый её конец, мимо парка, кинотеатра «Победа», железнодорожных складов,—и неожиданно увидел, что выходит к знакомому переезду у кладбища. «Ну что ж, придётся зайти ещё разок, коль сами ноги привели». И по тропинке, по досточкам через ручей пошёл к оградке деда и бабушки, а затем, ориентируясь по кривой берёзке и золотистой оградке,—к могиле Саньки.

Издали он увидел, что в оградке кто-то сидит. Присмотрелся—женщина. Распущенные, вьющиеся по плечам волосы… Метрах в десяти он остановился. Потом, сойдя с тропинки, пошёл чуть в сторону и зашёл с другой стороны, подошёл ближе. Женщина крестилась—видимо, собиралась уходить.

— Алёна,—негромко окликнул он её.

Женщина неторопливо оглянулась, посмотрела на него.

— Андрей, ты?

Лицо её было таким же, как и восемнадцать лет назад: светлым, открытым, красивым…

— Я,—сказал он, приближаясь к ней и ожидая увидеть перемену в её взгляде: боль, ненависть, безразличие.

Но увидел другое…

— Надо же, где встретились…—сказала Алёна, улыбнувшись.

— У сына встретились,—сказал он, силясь улыбнуться.—Он всегда нас примирял…

— А ты не изменился…—сказала она.

— Я только что так же подумал о тебе…

Андрей открыл оградку, шагнул навстречу Алёне, нечаянно коснувшись рукой её руки. Она вздрогнула. Он замер.

С памятника смотрел на них сын Санька и, как двадцать лет назад, сиял и сиял вечной своей детской улыбкой.

Ночь выбора

Восточная Сибирь.
Городок районного значения.

12 января 1983 года. 3 часа 53 минуты

Мальчик сиял своей детской, казалось, вечно не проходящей улыбкой. Он улыбался чему-то во сне. Розовое личико его было безмятежным. Наверное, ему снились хорошие сны. Голые ножки его, торчавшие из-под простыни, не чувствовали холода, и ему было хорошо.

Ангел Смерти опустил руки. Трое Ангелов-Хранителей людских душ продолжали стоять перед ним на коленях, ещё ниже склонив головы и усилив молитвы. Слышные только Ангелу Смерти

колебания звуков нарастали и становились нестерпимее. Ангел осмысливал только что им одним увиденное, скрытое даже от Ангелов-Хранителей.

Он не торопился принимать решение, стоя перед завесой Времени и глядя то на молящихся Хранителей, то на спящих людей, то поднимая глаза вверх.

Люди мирно спали до поры до времени. Каждый — до своего, идущего только для него, Времени. А оно, Время, шло и отсчитывало для них всех их секунды, минуты, дни, годы… Тикало будильником на столе, светило зелёными цифрами электронных часов на районном узле связи.

Мужчина потянул на себя одеяло, повернулся на бок. Женщина, почувствовав его движение, интуитивно пододвинулась к ребёнку. Заворочался и мальчик, но тут же замер. Затихли, продолжая находиться во власти сна, и женщина с мужчиной.

Ангел Смерти ещё раз распростёр руки над спящими и раздвинул завесу. Даль и Глубь Времени были разверзнуты пред ним, осталось открыть Высь. Ангел Смерти сделал лёгкое движение рукой, и она открылась.

Ангел всмотрелся в Высь Времени.

В шесть тридцать зазвонил будильник…

Конец второй книги

ДиН пародия

Евгений Минин

Русские вопросы

Чесательное

Я колено хочу почесать рукой,
но колено оказывается не там.
Юрий Арабов

Колено хотел почесать рукой,
но вместо него оказался зад,
и вот теперь потерял покой,
но мне страшно почёсывать всё подряд.
Это в самом деле большая беда,
обратиться советуют к докторам.
Даже голову страшно чесать иногда:
а вдруг у меня она где-то не там?

Тайна мастерства

никто не заметил что дело табак
что лопнула где-то подпруга
всех кошек окрестных мышей и собак
мы съели…
Дмитрий Плахов

себя подвожу к вдохновению так
чтоб лопнула в мыслях подпруга
тогда я пишу (отдыхай пастернак)
увесисто зримо упруго
мой мир стихотворный глубок и широк
любого прибью забияку
а в деле творенья рифмованных строк
поверь не одну съел собаку

Убойное

Не заглядывай в очи корове
перед тем, как вести на убой…
Анатолий Вершинский

— Берегите, поэты, здоровье, —
я успел прокричать на бегу, —
заглянул я не в очи коровьи,
а в глаза её мужу — быку.
Не печалился в этом забеге
о глазищах коровы рябой.
Бык меня догоняет, коллеги!
Всё — прощайте — иду на убой!!

Траливальное

Но пошли такие трали-вали…
Русские проклятые вопросы.
Сергей Кузнечихин

Никому из нас не объяснили,
Чёткого намёка не давали:
Почему в России тили-тили,
А местами даже трали-вали,
И везде туманы-растуманы
Предвещают тос-перевертосы?
Отчего тревожат постоянно
Русские проклятые вопросы?

Наталья Ахпашева

Динамическое равновесие

Подруга

Не тошно ли дни без возврата
за днями похожими днить,
скорбеть, что судьба кривовата,
и любящей женщине мстить?
За то, что с тобою несчастна,
за то, что душою проста,
и сам же дурак, что напрасно
тускнеет её красота!
Не чает ни сном и ни духом,
как лучше тебе угодить,
а в прядке за маленьким ухом
сквозит серебристая нить.
Чего же ты, званный да жданный,
не сладишь с гордыней пустой?
Ах, пусть этот мир окаянный
сам катит привычной тропой,
предстанет хоть раем, хоть адом,
воспрянув, обрушится вновь—
пока эта женщина рядом
бесхитростно верит в любовь!
Надеждами радость умножит,
сияющих слёз не тая́…
Смотри же, как многое может
нечастая нежность твоя!

• • •

Как бы я плакала, плакала!
Как бы просила:
«Прости!»
Ты бы подумал, что жалко, да
и повернул с полпути.

Только вот—статуей статуя—
слова не произнесла.
Взгляда, как невиноватая,
честного не отвела.

Глухо калиточка брякнула.
Вечер, как умер, притих.
Как бы я плакала, плакала!
Но не жалеют таких…

• • •

Когда ж до слезинки иссякли слёзы рекой,
а сердце изъел на всесильного Бога гнев,
судьба милосердной к нам показалось такой—
вдруг боль отпускала, и ты отдыхать во сне
могла всё чаще. Бездумно январь прошёл.
Мы не говорили о нашей надежде вслух.
Подушки поправить? Повыше? Так—хорошо?
И к самым губам твоим приклоняла слух
я свой обострившийся за череду ночей,
которые переживались, как насмерть бой.
Бесстрастная невиноватость ни в чём врачей
теперь не пугала. И мнилось: вот бы весной
ты вновь на скамье в ажурной тени тополей
сидела бы—ангел седой мой—в светлом во всём,
кормила раскрошенным мякишем голубей,
таинственно улыбалась о чём-то своём.
Но нет, не сбылось. Распахнулось настежь окно,
как будто что выпорхнуло на мороз и в снег,
и в комнате стало так холодно и темно…
И ты уже более не отвечала мне.
Не требую, криком не захожусь: «Отзовись!»
Но где-нибудь там, в приволье небесных полей,
ты ведаешь ныне всю меру моей любви,
а я никогда и не сомневалась в твоей.

• • •

Взгляд зацепило по неосторожности,
и надо разминуться и пройти…
Но что за прелесть в этой невозможности,
такой невероятности почти!
И потому—намёком, мельком, искоса,
несмело, полусмехом, вкось и вскользь,
чтоб ни словечка, приближённо к истине,
необратимого не сорвалось.
Не привыкать гадать, судьбу испытывать,
но нет в том ни надежды, ни беды,
чтоб весело над бездной балансировать
на проволочке между Я и Ты.

● ● ●

С полной дровницей всё проще зимовать,
нам с тобой не привыкать — перезимуем.
В избу тёплую с мороза — благодать.
Самовар повеселей давай раздуем!
За полешечком полешко — ряд за рядом.
Вот и славно! С пылу, с поду из печи
пироги да калачи на стол мечи —
сядем рядом и повечеряем ла́дом.
И пускай себе, не каждому понять
счастье нашей небогатости беспечной!
Раньше срока не печалься, друг сердечный.
Будут беды — вот и будем бедовать
да потуже поясок затягивать.
Не впервой, не привыкать — перебедуем!
Всяко было — ни сказать, ни описать.
Самовар повеселей давай раздуем,
друг на друга поглядим и помолчим.
Всё в строку, что прибывало год за годом.
Щедрой пригоршней рассыпано в ночи
ясных звёздочек над садом-огородом…

Динамическое равновесие

Напоминая, может, стрекозу,
взлетаю. Мир, сверкая и звеня,
неистовствует где-то там внизу,
в ночи, но ты не бойся за меня.
Смотри, как я могу, умею как!
Подскок, переворот, кульбит назад.
Качнулся перед взорами зевак
натянутый над площадью канат.
— Дочь воздуха! Отродье пустоты! —
ликует щедрый зритель и легко
кидает медяки, но знаешь ты,
как тщательно заштопано трико.
Не бойся. Так и тикает в груди.
Всё сбудется, что с нами до́лжно быть.
Наутро мишура и конфетти
осыпятся… По линии судьбы
переступая, подавляю дрожь
от залпов разноцветного огня,
но даже если ты сейчас уйдёшь,
я не сорвусь. Не бойся за меня!

● ● ●

Ах, девочки мои — торгашки, стервы,
былые комсомолочки мои!
Твердели духом не по доброй воле —
уверенные, злые и ничьи.
Испытанные диким рынком нервы,
в разводах закалённые сердца…
Не предъявить счетов судьбе и доле
и не стереть усталости с лица.

Припомним с умилением едва ли
вокзал, базар, ларёк, до слёз родной;
братков, ментов — делились честно с каждым.
Премудрость бухгалтерии двойной
не от весёлой жизни постигали
и разом обучились на ура,
как припечатать матом трёхэтажным
вслед грузчику, подпитому с утра.

Обыкновенно, впрочем, начиналось:
пока ансамблик школьный не затих,
задорно над коленками взлетали
оборочки на платьях выпускных.
Тогда мечталось… Мало ли мечталось?!
А вышло — ни за так, ни за пятак
не ожидали, не предполагали —
в стране и в доме наперекосяк.

Ни счастья, ни работы, ни зарплаты.
Чем завтра накормить детей — вопрос,
как в школу собирать — неясно тоже,
и бабушка занемогла всерьёз.
Крутились, не искали виноватых,
и недосуг бывало горевать
о том, что никого, который может
плечо подставить, словом поддержать…

Но верили наперекор отпетой
эпохе незадачливой своей,
что ничего на свете не помеха,
чтоб на крыло поставить сыновей.
И рядом с дорогой надеждой этой
вся прибыль, возвращённая стократ,
вся мишура и суета успеха —
по существу, побочный результат.

Александр Орлов

Голландские стихи

• • •

Серость брусчатки, сырые дома…
Ян Хендрик Леопольд

Ветра скандалят, словно злые маги,
Ночник остыл на краешке стола.
Зачем меня сюда ты привезла?
Я в красоте обветренной Гааги
Не полыхал, а леденел дотла.

Казалось мне: я прошлого оттенок,
Земель низинных одинокий страж,
Но только ты мне скрыто передашь
Голландцев мир за вечер, за бесценок.
Он будет на двоих и только наш.

Вокруг не будет снежного запаса,
Здесь каждый Рууд, точно, не Федот.
И праздник живописный, но не тот:
Здесь нет икры, просфор, рассола, кваса—
Есть я и ты—и радости излёт.

• • •

Дмитрию Вульфу

Вдоль побережий вытянулись марши[1],
И не видны друг другу берега.
Пустилось время в дальние бега,
Мне кажется, что все мы стали старше,
И каждая секунда дорога.

Я часто предавался злым утехам,
И верил взбудораженно в судьбу,
И прижимал пустой бокал ко лбу,
И заливался безучастным смехом,
Пока не объявил на смех табу.

Теперь я разгляжу и нежен иней,
И звёзд январских необъятный слёт,
И чёткий импульс радиочастот,
И в мировой сети авиалиний
Я приземляюсь в наступивший год.

• • •

Под снегом ветки изогнулись гибко,
Негибок только снег, негибок лёд,
Природы упущение, ветреность, ошибка
Или зимы напыщенной просчёт.

Кто и когда считал судьбы изгибы?
Кто и когда вращал земную ось?
Откуда чёрное сомненье пробралось?
Кто первым удостоен вечной дыбы?

Всё просто, и от этого мир твёрже,
И я уже не упаду пред веком ниц.
Под гром стальных небесных колесниц
Мурашки по спине, мороз по коже.

Снежинки вьются, как седые бесы,
Уходит год, уходит день, уходит час.
И лишь в глазах всесильной стюардессы—
Скопленье мировых воздушных масс.

• • •

Мы растеряли, сохранили, обрели?
Мне холодно от каждого вопроса,
И сам в себя я вглядываюсь косо,
И вижу тьму в развалинах земли.

И с этой тьмой завещано мне слиться,
И прорасти у вечного ручья,
И понимать, что жизнь—она ничья,
Как весть благая или голубица.

И каждый раз, заглядывая в клети,
Куда, в пурпуре озираясь, пробралось
Встающее лениво, вкривь и вкось,
Немое солнце в тающем рассвете,

Я вглядываюсь в огненную дымку,
В ней вьются одинокие слова,
В которых вера пращуров жива,
И засыпаю с мыслями в обнимку.

1. Марши—категория водно-болотных угодий.

● ● ●

Я не увижу снежниковых ям,
Но выпью за здоровье Дед Мороза,
И торжество, и дух анабиоза
Мне дарит захмелевший Амстердам,
Здесь каждый вечер—путевая проза.

Казалось, в нём зима не побывала,
И город, словно душный кофешоп,
В слиянии эпох, людей, Европ
Живёт спокойно, как бы вполнакала,
Как в отчужденье старый мизантроп.

Почудится в нём линия раскола,
Эклектики предвзятой рубежи,
Но только ты мне выход подскажи,
Святитель всепрощающий Никола:
Куда ведут каналы, витражи?..

Тегенвинд[2]

Природы неудачный финт,
Который день шторма, шторма.
О волны бьётся тегенвинд—
Такая вот у нас зима.

Разбушевались сквозняки,
Шатаясь гулко, наобум,
И крутит время ветряки,
Гааге холод—сват и кум.

Примёрзли гавань и маяк,
Накрыты морем пирс и пляж,
Но холод не уйдёт никак,
Его теплом не будоражь.

И если сердцем ты не слаб,
Зайди на часик, на другой
В рыбацкий затемнённый паб—
Он дух прогреет ледяной.

И будет гордый тегенвинд
С тобой ругаться до утра,
Загонит в мрачный лабиринт,
Где помнят шкипера Петра.

● ● ●

Метели след. Он затерялся где-то.
Людьми был полон длинный терминал.
Казалось мне, что я чего-то ждал
От мира, рейса, авиабилета.

Хотелось в полнолунье устремиться,
Где надо мной кочует МКС,
Где Бог творит в движениях небес,
Куда ведёт душа-бортпроводница.

Где мысли все в космическом масштабе
Не весят ничего, а дней багаж
Перебирает межпланетный страж
На паперти в потустороннем хабе.

● ● ●

Январской ночи ледяная ряса
Скользит по переливам снежуры,
И медленно подлунные миры
Вмещает занесённая терраса.

В пурге застыли яростные споры,
Осенних дней простуженный размёт…
Мне кажется, весны никто не ждёт,
И замолкают Господа суфлёры.

Скамейки тонут в снеговой опеке,
В сугробе приютились два куста.
А рядом—сплошь свободные места,
Как утром в городской библиотеке.

2. Тегенвинд—холодный северо-восточный ветер в Голландии.

Наталья Кожевникова

Тень огня

• • •

Речами играть надоело,
Огнём—обожглась на лету.
Какое мне, собственно, дело
До дерева в белом цвету,
До облака в небе молчащем,
До пламени в чьей-то крови?
В глухую забытую чащу
Зайти бы—зови не зови.
Стать ветреной, юной, беспечной,
Летать или жить средь травы,
И недруги в злобе извечной
Пусть будут на время правы.
Пусть сон успокоят метели,
Пусть засветло, словно родня,
Не самые лютые звери
Поселятся возле меня.
А после, под лёгкой порошей,
Внимая далёкой мольбе,
Позволь мне, позволь мне, хороший,
Не думать совсем о тебе.

Сумерки

Речка плывёт, под ногой
Зыблется чёрное дно.
Берег дрожащий, другой
Сгинул в тумане давно.
Нету ни света, ни тьмы,
Ухает птица в дупле.
Страшные мстятся холмы—
Что за печаль на земле?
Листья колеблет роса.
Горше, тревожней закат!
Чьи там звучат голоса,
Чёрные тени парят?
Кто-то вздохнёт на ходу:
«Знаю, да знать не хочу!»
Вывесит в небе звезду,
Словно затеплит свечу.
«Время идёт иль стоит?»—
Хочется крикнуть. В ответ
Вычертит быстрый болид
В небе стремительный след.

• • •

Декабрь.
Время кружит в пространстве
Над месяцем, в небе стоящем.
И мир не живёт в постоянстве,
И прошлого нет в настоящем.
Вся жизнь—
Словно эта дорога
В скольжении белого дыма,
Где всё—от безумства и Бога
До странности необъяснимо.
Любовь—
Разве кто о ней знает?
Придёт и уйдёт, словно небыль.
А время опять улетает
Навеки—в открытое небо.

Девяностый псалом

Живый в помощи будет идти
до конца,
До креста, осенённый незримым
крылом.
В дни скорбей и страстей
от сетей, от ловца
Нас спасает во тьме
девяностый псалом.
Дни короче, чем сны, ночи плачут
навзрыд,
Лёгкой дымкой мерцает
грядущего свет.
Всё останется здесь—ни суда,
ни обид,
Ни сует—в тёмной бездне
забывчивых лет.
Лишь любовь, как свеча,
в уходящем былом…
И взыскуя, и плача о ней,
и молясь,
Ждём её… А во тьме
девяностый псалом
Ищет жизни и смерти
мгновенную связь…

● ● ●

Не октябрь, а одно пепелище,
Вместо облака—запах золы.
Опустело к обеду жилище,
Кто-то вымыл до блеска полы.
Бесполезна мольба—нет ответа
Потрясённой душе. И готов
За пределами жизни и света
Опуститься небесный покров.
Солнце встало в углу и не светит.
И не знают, не знают во мгле
Первый снег и пронзительный ветер,
Что тебя уже нет на земле…

Диалог

…Не к добру тебя смутила,
    не к добру ты мне явился,
Ниоткуда вышло солнце
    и скатилось в никуда.
И когда с усмешкой лёгкой
    рядом ты остановился,
Мне б уйти в луга глухие,
    затаиться от стыда!
…Разве ты смогла б исчезнуть?
    Разве я бы смог иначе
В обездвиженном пространстве
    жить, себя бы не виня?
Мне одно сегодня нужно—
    чтобы в радости иль плаче
Никогда бы не сумела
    ты отречься от меня!
…В небе сумрачном опасно,
    и звезда летит на ощупь.
Бор полночный тих и страшен,
    зги не видно, я одна!
Помню, как во тьме такой же
    у погибшей в топи рощи
К нам обратной стороною
    повернулась вдруг луна.
…Это просто совпаденье
    дня и ночи, тьмы и тени,
Майской медленной метели
    среди сосен напролёт.
Знаю, ласточкой замёрзшей,
    залетевшей утром в сени,
Мне душа твоя явилась
    и во мне теперь живёт.
…Не держи её без воли,
    не нужна—отдай обратно,
Мне в печали мёд не сладок,
    речка донная без дна!
…Ты прости меня, родная,
    я скажу тысячекратно:
У меня была и будешь
    ты, печальная, одна…

● ● ●

Моя память болит и болеть
    перестанет не скоро.
Позади только ветер, дорога
    да праздная пыль
Безымянной степи.
    Ни надежды теперь, ни опоры
За спиной.
    Я сама, как ковыль,
Распласталась на ровном,
    не в силах доселе подняться.
Это ты, мой любимый,
    мне волосы белые смял,
Долго гладил, ласкал,
    так что стало обоим казаться—
Ты свою Галатею ваял…
Но покорная глина
    в руках твоих грубых ломалась,
Ты в досаде свою статуэтку
    живую разбил.
Ах, как женщина чья-то
    чужая в восторге смеялась,
Выметая за дверь
    всё, что ты молчаливо любил.
И теперь только небо
    стоит надо мной безобманно,
С золотою серьгой,
    с удивлёнными взорами звёзд,
А о прошлом напомнят
    лишь чёрные дыры в тумане
От покинутых птицами гнёзд…

● ● ●

Здесь, за рекой—другое время,
Летит и бьётся в небо семя,
Рассеяв сладкую пыльцу.
И мы ни в чём не виноваты,
Когда, зелёной тьмой объяты,
Стоим опять лицом к лицу,
О дне и ночи не гадая,
Когда трепещет грудь нагая
И ветер вдруг сбивает с ног.
Когда немеют в жажде губы,
Когда уже объятья грубы
И словно яд—любовный слог…
Раздался гул над тихой кручей—
То самолёт вонзился в тучи,
Качнулось небо под рукой.
Там, вдалеке, уже смеркалось.
Но в жарком мареве осталось
Другое время за рекой!

Тень огня

Раскинуть руки и бежать — такая даль!
В открытом небе чёрный крестик птицы,
Гул ветра… Степь! И вечная печаль
В сухом полынном воздухе струится.

Вчера прошёл здесь пришлый человек,
Как ветер, равнодушен и беспечен.
Окурок бросил и ушёл навек.
Искра взлетела — путь был бесконечен!

Вал огненный ветра потом вели,
Рой бабочек, сгорая в нём, метался,
И только клин обугленный земли
За ним под небом родины остался.

Полярен мир, и силы неравны.
Вот человек прошёл, и след за ним
дымится.
И пусть дожди идут на полстраны,
Но тень того огня в траве таится…

Плач

Шалью пуховой закроюсь до пят,
Ветры метельные в поле вопят.
Гляну в окошко — ни света, ни зги,
Мечутся в воздухе вихри пурги.
Нежитью белой дома замело,
Очи затмило и руки свело.
Все наши клятвы на майском крыльце
Спрятаны в памяти, словно в ларце.
Жизнь пролетела, как летняя ночь,
Кудри развились, и выросла дочь.
В печке, смирясь, догорают дрова,
Дым восвояси уносит слова.
Женское счастье — что алый вьюнок.
Вспыхнет, вплетённый в венчальный венок.
Брошенный после неловкой рукой,
Вниз поплывёт серебристой рекой.
В ряби речной изомнутся уста,
Белая роща до дрожи пуста…

ДиН пародия

Евгений Минин

Бэтээр с рогами

Совет

Я пошёл за киянкой, заодно прикупить тебе корм,
Мимо памятника жизнь отдавшим, мимо бревенчатой школы.
Помню, здесь вот, однажды, я чуть не отдал один глаз,
Меня били ногами, но всё обошлось в итоге.
Дмитрий Псурцев

Дорогой мой коллега, поэт или, может быть, бард,
Сочиняя стихи, умоляю, не брезгуйте рифмой,
Потому читатель пошёл агрессивный такой,
При отсутствии рифмы он может побить ногами.
И не зря же за кормом теперь я с киянкой хожу,
Отбиваюсь успешно, и полный порядок с глазами.
У бревенчатой школы не стоит скромный памятник мне,
Жизнь отдавшему на сочинение строчек без рифмы.

Призывное

В новом сладостном вкусе
не так уж сложно растить еду,
у Маруси гуси —
чудо на гусеничном ходу…
Елена Михайлик

Не посмеётесь до колик.
Волк точил зубы, злобен и сер,
но у бабушки жил козлик
с рогами — вылитый бэтээр.
Езжайте — увидите сами,
а можно даже сходить пешком.
Скоро козла с гусями
повесткой вызовет военком.

Светлана Мингазова

У подоконника

* * *

Улетаю, никому
не говоря,
Я из пасмурной Казани
за моря.
Там слоняется по берегу
жара,
Освежаясь самоцветами
воды,
Обнимает влагой нежно,
словно ты
На скамейке
опустевшего двора.

Мне казанские звучат
колокола.
Повинюсь тебе: с собой
не позвала.
Разжигает турок печку —
барбекю.
(Ты таких не ел лепёшек
никогда!)
От безделья запишусь
на педикюр.
Одиноко — слышишь? —
всё же иногда…

Вечер бархатный магнолией
пропах.
Фиолетовый цветок в моих
руках.
Предлагает тёмно-красного
вина,
Пахлаву в меду, шербет
и виноград
Смуглолицый молодой
официант.
Море Чёрное, верни
меня назад!

Там дождинки у тебя
на волосах.
Дождик кончится — грибы
пойдут в лесах.
Ах, как чудно пахнет прелая
листва!
А про нас с тобой молва
уже идёт.
(Так привычно судят люди
наперёд!)
Ты простишь меня? Опять я
не права…

Светлый день встаёт. Рокочущий
прибой.
Небо хмурое в Казани
над тобой.
Вот моторы запускает
самолёт.
Берег солнечный и ласковый,
прощай!
Дома лучше, чем в гостях.
Звоню: встречай!
А в пути — лишь три часа.
Идём на взлёт.

* * *

У подоконника, чуть сдвинув занавес,
Смотреть на безупречный снег зимы
И наблюдать в который раз, как заново
Восходит день на белые холмы.

Его невнятно-серое свечение
Небесная спелёнывает муть.
Кому-то в путь, но вот ведь огорчение:
Ни выехать, ни въехать, ни свернуть…

Троллейбусы, трамваи без движения —
Над городом кружит «пчелиный рой».
Засыпан также (злое совпадение?)
И спецмашин муниципальных строй.

Куда идти? — Ни тропки, ни проталинки:
Привычный снегом скрыт ориентир.
И смотрит люд в просвет окошек маленьких
На белый мир из крошечных квартир.

● ● ●

Без перерыва сучит свою нить монотонный дождь.
Снова—эвакуация, «вымерли» все дворы.
Жижа дорожная, хлябь. Вот-вот сейчас упадёшь.
Пустые дома-скворечники. Пилы и топоры

вынести надо бы, вытащить из ледяной воды.
Утром катер на север по вздутой реке уйдёт.
(Не доставало нам этой лютой, глухой беды!)
Рвётся, цепляясь к берегу, водным ежом перемёт.

Будка собачья сломана, грязной полна воды.
Маяться сколько нам, Боже? Неужто Ты нас забыл?
Скалится пёс и прыгает в лодку из темноты.
Слабых прости нас, Истинный! Кротости дай и сил…

● ● ●

В прибежище моём—оранжевом бору,
Где серый дятел шелушит кору,—
Тягучие мгновения безделья…
Бездонная над миром высота,
Кристаллов огранённых чистота:
Рассыпанное кем-то ожерелье…

Сиреневый тальник у берега пропах
Горчинкой пряной, и шумел в ушах
Его напев былиной монотонной.
И синий селезень подругу звал,
Струился с кровли солнечный коралл
И в зеркале играл стрелой червонной.

И разноцветные мне были нынче сны:
Набухли почки розовой весны
Целебным соком после долгой стужи.
И шёл стеной алмазный светлый дождь,
И даровал щедрот своих Господь,
И драгоценностей сверкали лужи.

Я малый камешек из лужи подняла
(Твои чудесны, Господи, дела!):
Мне в память будет дар небес волшебный…
В селе петух заливисто пропел,
И самовар серебряный кипел,
И дух в избушке расходился хлебный.

От суеты мирской и неотложных дел
Ты ранним рейсом тайно прилетел.
Мой сон берёг под обветшалой крышей.
Мне бережно ладони целовал…
Скатился на пол маленький кристалл,
В подпольный канул мрак,
где светлячки да мыши…

● ● ●

Такая темень—глаз коли!
Бездонные провалы окон.
Послушай, хватит о любви!
Душой напрасно не криви.
И не целуй развитый локон.

Прости, теперь одна пойду.
Пусть мрак сопутствует кромешный.
Я всё ещё в полубреду,
В осеннем брошенном саду,
Где увядает крокус нежный…

Хребет изогнутой скамьи,
Настурций алые воронки…
И сожаления мои—
О тайной, краденой любви,
И угрызенья голос тонкий…

● ● ●

Знаешь, непривычно странно,
В тонкий уровень нирваны
Погружаясь беспрестанно,
Ничего не замечать.
Мной давным-давно забыта
Сценка будничного быта,
Но не надо нарочито
В дверь открытую стучать.

И не ставь себе задачи:
Будет так, а не иначе!—
А слова немного значат—
Простодушья болтовня.
Бестолковая работа:
Из болота—бегемота…
Поищи себе кого-то,
Не надейся на меня.

Хочешь частью стать моею?—
Не проси—не пожалею.
Та—привычнее, скучнее.
Я—с собой наедине.
Можешь ли исправить дело?—
Не старайся! Отгорело.
Отпылало, отболело
Всё на жертвенном огне…

Виталий Пырх

Моя единственная смерть

В тот солнечный и погожий летний день я возвращался в Уфу из очередной газетной командировки. Побывал я на юге республики, в городе Баймаке, и, как это часто бывает в подобных случаях, просто пузырился от полученных впечатлений.

К тому же я впервые познакомился с профессией золотодобытчиков на местной горнорудной фабрике и, вдоволь наездившись по просторным башкирским полям, ни разу не пожалел о том, что после второго курса факультета журналистики Уральского университета выбрал для себя в качестве производственной практики башкирскую молодёжную газету «Ленинец», печатный орган Башкирского обкома ВЛКСМ.

Располагалась «молодёжка» в центре города, да и нас, практикантов, разместили от неё неподалёку — на расстоянии одного трамвайного перегона. Жить мы должны были в студенческом общежитии, которое сейчас, разумеется, пустовало — уфимские студенты-нефтехимики разъехались на каникулы.

И вот я иду по пустынному и гулкому коридору студенческого общежития, иду усталый, после дороги, и с наслаждением предвкушаю предстоящий душ, была бы только в кранах вода.

Как тут мне навстречу Витюша — мой однокурсник по университету и мой сосед по комнате.

Для практики ему досталась городская партийная газета, и он нам страшно завидовал. Нам — это тем, кто распределился в областные издания и кто частенько выезжал по своим служебным надобностям в командировки.

А какая газетная работа без командировок? Скукотища…

Вот Витюша и маялся в своей городской партийной газете, каждый раз поджидая нас из поездок по районам, чтобы отвести душу. И дико при этом всем завидуя.

Увидев меня, он радостно заулыбался и тут же набросился с расспросами: где был? что видел? о чём будешь писать?

— Да вот прилетел пару часов назад из Баймака. Побывал у золотодобытчиков на фабрике, мыл с ними золото…

— Да ну?.. Вот счастливчик! Снимал?

— А то как же… Конечно, снимал… Есть даже такой снимок: впервые в жизни насыпали мне в ладонь целую пригоршню только что полученного из руды золота — так и напечатаю в газете, пусть смотрят…

Нет, работа в областной «молодёжке» мне положительно нравилась: коллектив подобрался хороший, профессиональный, причём меня опекали в редакции всем отделом. И вдобавок ко всему я даже стал получать за свои публикации пусть и небольшие, но всё-таки деньги. Красота!

И это удивляло меня больше всего! Занимаешься своим любимым делом, пишешь о том, что тебе нравится, о чём хочешь, а тебе ещё и платят за это.

Правда, бросалась в глаза временами на бытовом уровне некая национальная напряжённость в редакции: башкиры вроде бы недолюбливали татар, те — башкир. Но при этом спокойно работали за соседними столами, время от времени подтрунивая друг над другом.

Но я в эти национальные распри не лез и вскоре стал и для тех, и для других своеобразным арбитром. Когда ко мне апеллировали в спорах: а кто из них лучше (умнее, честнее, смелее, работящей и т. п.) — татары или башкиры? — то я, чтобы не обидеть ни тех, ни других, неизменно отвечал, что мне нравятся и те, и другие.

И споры прекращались сами собой…

Но Витюша к таким разговорам отношения не имел: в партийной газете, куда он попал, они пресекались на корню. Там был порядок…

— Слушай, — схватил он меня за рукав. — Давай отметим твоё возвращение! Я тут как раз в нашей редакции небольшой гонорар получил — на бутылку и пару плавленых сырков хватит… А?

— Сейчас? Да я в душ собрался… А деньги есть и у меня — я ведь несколько дней по деревням мотался, там всё бесплатно, ты же знаешь, так что суточные при мне…

— Тем более… А что душ? Завтра и помоешься!

— И то верно. Ну что ж, пошли… Только сумку в комнату занесу.

И через минуту мы уже шагали вместе по широкому уфимскому проспекту в сторону ближайшего гастронома.

Время было послеобеденное, людей на улице мало, так что мы с Витюшей скупились буквально за несколько минут. Пакетов тогда ещё не было, поэтому бутылку водки и буханку хлеба выпало

нести ему прямо в руках, а нарезанная по нашей просьбе продавщицей колбаса и два плавленых сырка, завёрнутые в плотную жёлтую бумагу, достались мне.

Словом, вышли мы с ним из магазина с занятыми руками. И бодро направились в сторону общежития по залитому солнцем тротуару.

Как тут Витюша радостно вскрикнул:

— О, а тут и трамвай идёт! Давай подскочим…

И мы решили «подскочить», пересекая по диагонали дорогу. Прямо наперерез трамваю.

При этом Витюша оказался слева от меня, а я бежал рядом с ним справа.

И тут произошло то, что я потом буду вспоминать не один раз в жизни.

Только мы с ним успели хорошо разбежаться и набрать скорость, парни-то были молодые, здоровые, как я вдруг каким-то боковым зрением почувствовал, что что-то не так. Даже какая-то тревога возникла. То ли до меня дошло, что выбегать на дорогу, не убедившись в отсутствии на ней близко идущего транспорта, безрассудно, то ли ещё что, не знаю…

Но что-то меня «перекосило», и в то же мгновение я вдруг увидел наползающий на бежавшего слева Витюшу деревянный борт бешено мчавшегося по улице грузовика, явно не ожидавшего нашего внезапного появления на проезжей части дороги.

Всё остальное запечатлелось в моём мозгу как на замедленной киноленте. Зелёный борт грузовика вместо того, чтобы нас тут же сшибить и похоронить под колёсами, вдруг стал передвигаться вроде бы как со скоростью черепахи — сантиметр за сантиметром…

А я в это время вместо того, чтобы закричать и предупредить своего приятеля, только широко открыл рот и не мог выдавить из себя даже хрипа.

По-моему, я даже вздохнуть не успел, а так и бежал с открытым ртом.

Увидев маску ужаса на моём лице, Витюша скосил влево глаза и всё понял мгновенно. Но избежать катастрофы и вырваться из-под борта пусть и медленно, но всё же продолжавшего мчаться по улице со скоростью в шестьдесят-восемьдесят километров в час грузовика у него не было никаких шансов.

Он это осознал, и я это тоже увидел, как мертвенная бледность стала проступать на его раскрасневшемся от бега лице.

Всё. Приехали. Это, кажется, конец. Глупый, но конец. Сейчас последует сильный удар, крики прохожих, и мы с ним окажемся под автомобильными колёсами.

А затем…

А затем произошло чудо, объяснения которому я не нахожу до сих пор. Из последних усилий, продолжая бежать с зажатыми в левой руке плавлеными сырками и колбасой, я дёргаю его за рубашку на себя, а сам пытаюсь увернуться от неизбежного удара. И сразу же слышу треск разрываемой ткани — это «медленно», как мне кажется, идущий грузовик всё-таки цепляет своим бортом Витюшино плечо и вспарывает пополам рукав его рубашки…

Но я уже на тротуаре, вне досягаемости машины, да и Витюша, тяжело дыша, кажется, больше занят своей разорванной рубахой, чем всем остальным.

Впрочем, в ту же секунду, как бы огорчившись, что не справился с поставленной задачей, деревянный борт грузовика снова набрал свою прежнюю скорость и моментально исчез из глаз. А может быть, всё это мне только показалось, потому что машина и не думала сбавлять свою скорость: водитель нас просто не заметил…

— Что это было? — пересохшим от возбуждения языком я попытался было облизать свои губы. — Что?

В ответ на это Витюша какими-то стеклянными глазами несколько секунд смотрел на меня и только часто-часто моргал. А потом победно затряс своей правой рукой:

— Водка-то уцелела! А за хлебом мы сходим, раздавил, гад!

И мы развернулись обратно в магазин…

Позже, когда у меня практика закончилась и я оказался опять на своей исторической родине, на Украине, то в один из душных августовских вечеров рассказал об этой истории отцу. Тот внимательно выслушал меня, а потом сказал:

— Та цэ, выдно, була не твоя смерть…

— А что, она бывает ещё и чужая? — удивился я.

— Бувае…

И вот, спустя более чем полвека, я лежу один в пустой и большой квартире в центре Красноярска и вспоминаю самые значительные эпизоды своей почти уже пролетевшей жизни, связанные со смертью. Вернее, даже не со смертью, а с её возможностью, которая по какой-то мне не понятной причине не была реализована. Когда я попадал в безвыходные, казалось, ситуации и почему-то выбирался из них, хотя по всем правилам нашего мироздания каждый такой случай мог стать для меня последним.

Я уже старик, мне уже далеко за семьдесят, и я уже больше года ничего не пишу. А как только проснулся сегодня утром, то тут же понял: это мой последний день.

Есть среди нас и такие, не спорю, которые в это не верят — в предчувствие близкой смерти. Мол, какое может быть у человека предчувствие, если всё это предопределено и если никто из смертных не может заглянуть в Книгу Бытия?

Нам это не дано.

Вот придёт дама с косой, тогда и всё. Чем бы ты там ни занимался, что бы ни делал и о чём бы ни

мечтал, какое ей до всего этого дело? Не зря ведь одному из наших классиков пришли в голову эти вещие строчки: «Где стол был яств, там гроб стоит…»

И всё же нет, друзья мои, человек — существо сложное, это не камень. Ведь даже кошка или собака, предчувствуя свой конец, уходят, как правило, из дома — чтобы не огорчать хозяев и не причинять им боль. А человек?

И тут я опять сошлюсь на пример своего отца, провоевавшего в пехоте от Днепра до Вены и только чудом потом не угодившего на японскую войну: его дивизия застряла летом 1945 года под Канском, а вскоре японцы капитулировали.

— Бывало, что глянешь в окопе на человека и чувствуешь, что нет, не жилец он больше, — не раз рассказывал отец. — Ничего вроде бы ещё не произошло, а лицо у него уже серое, неживое… «Убьют меня сегодня, Петька, возьми мой спирт, мне он не нужен…» — «Да что ты такое говоришь?! — начинаю я кипятиться. — С чего ты взял? Мало ли мы с тобой в атаку ходили? И ничего, живые…» — «Да нет, Петька, сегодня меня убьют…» Я его и так, и эдак успокаиваю, а у самого мурашки от этого по телу бегают… Ни в какую! Ну ладно, спирт его я-то, конечно, выпью, зачем добру пропадать, а там и вперёд надо идти, война же… И что? Высунется из окопа мой товарищ — и первая пуля действительно его… Не зря, значит, так переживал, чувствовал свою смерть…

— А как умирала моя бабушка? — это я уже рассказываю «от себя».

Было это зимой 1962 года, когда я решил вместе со своими приятелями по металлургическому техникуму отметить своё восемнадцатилетие. Собрались мы в родительском доме, за богато накрытым по тем временам столом, но ни матери, ни отца с нами не было. Заправляла семейным торжеством сестра, оставленная моими родителями «на хозяйстве».

А сами они накануне подались за город, на хутор, где до этого жила моя бабушка, отцовская мать. И которая почему-то решила умереть за день до моего совершеннолетия.

Ну не отменять же его!

— И как всё это случилось? — выпытывал отец у гонца, принёсшего нам эту нерадостную весть.

— Да как… Встала утром, как всегда, села на лавку и говорит Мотьке: «Кажется, я сегодня умру, дочка…» — «Да что вы такое, мамо, говорите?» — набросилась та на неё. «Молчи, не мешай… Вот сварю тебе борщ, поем и умру…» — «Тьфу!»

— И что? — допытывался отец.

— Потом зарезала-таки курицу, сварила борщ и действительно с аппетитом пообедала. А после легла на кровать, закрыла глаза и… всё. Умерла. Даже слова никому не сказала! Не застонала, не закричала… Как вроде бы уснула, и всё. Вот как бывает!

Действительно, бывает. И когда нам потом пришлось пообщаться с патологоанатомами, то и они удивились такому внезапному бабушкиному уходу. И сердце, и всё остальное у неё было ещё в полном порядке. Во всяком случае, вполне работоспособно для восьмидесятипятилетней женщины: бабушка никогда и ничем серьёзным не болела.

Чистая мистика… Не так ли?

Да нет, наверное, никакой мистики в этом нет. Просто любое живое существо, и человек тоже, свою смерть чувствует, а вот чужую — нет.

Вроде бы медицинский факт. А может, и не медицинский вовсе?

Это произошло по-зимнему холодным мартовским днём в Польше, тогда ещё в Польше социалистической, куда мы с женой приехали погостить к её родной тётке, угнанной в годы войны из-под Киева на работы в Германию, да так и оставшейся на чужбине.

Выйдя замуж за поляка, местного рыбака, наша тётя Надя жила в большом и просторном двухэтажном особняке, и я впервые в жизни увидел, что такое настоящий земной рай. Где-то там, за горизонтом, клокотали политические страсти, Лех Валенса в Гданьске грозился разрушить социалистические устои государства, а как две капли воды похожий на Пиночета Войцех Ярузельский пугал всех поляков военным положением и своими непроницаемыми очками.

Но здесь, на окраине польского местечка Мронгово, где мы остановились, все жили обычной жизнью, мало пересекавшейся с политикой.

Муж тёти Нади, дядя Анжей, уходил каждый день ещё затемно со своей артелью на ловлю рыбы на местные озёра, и когда утром я просыпался и вставал, то каждый день на полу огромной и хорошо обустроенной кухни нас обязательно поджидал свежий улов — огромная эмалированная миска с водой, доверху наполненная плавающими угрями, карпами, налимом…

— Ты что берёшь? — одёрнула как-то меня тётя Надя, увидев, что я взял со стола аппетитный кусочек угря, зажаренного вчера вечером на ужин. — Это уже для собак, не трогай… Мы сейчас будем кушать свежий!

И мы его вскоре кушали: и жареный, и пареный, и свежекопчёный — коптилка была у тёти Нади своя, и она не только коптила в ней принесённую дядей Анжеем рыбу, но и перерабатывала — разумеется, не бесплатно, — подобную продукцию от ближайших соседей.

Но больше всего мне понравился в Польше заливной угорь в желе — такого деликатеса никогда прежде мне не приходилось пробовать, и я это блюдо мог есть и днём, и вечером, и ночью, ни крошки не оставляя своим заклятым конкурентам — бегавшим по паркетному полу собакам.

А когда к тёте Наде приходил в гости живущий неподалёку, но отдельно, со своей семьёй, её единственный сын Ришард, то тогда в доме начиналось настоящее пиршество. Именно Ришард и познакомил меня с кока-колой, которую я до этого не пробовал, да и с очень хорошей польской водкой — тоже. Это современным демократам сегодня кажется, что мы жили при советской власти так же, как живут сейчас в Северной Корее, а на самом деле всё было далеко не так.

Собираясь, например, почти на месяц в польскую поездку, я взял перед отъездом в руки две огромные кожаные сумки и пошёл с ними в своём родном Запорожье, где я тогда жил, в ближайший от своего дома гастроном. И там, в этом гастрономе, не стоя ни в каких очередях, подошёл к прилавку и купил сразу дюжину бутылок водки, названия которой не повторялись ни разу. А к ней — болгарского коньяка («Плиска»), джина («Джин-сух») и тому подобных вещей.

А в винном секторе отдела выбрал для себя двадцать бутылок вина, по названиям которых можно было изучать всю историю нашего социалистического содружества.

О том, что в Польшу можно было провозить из СССР столько и столько-то литров спиртного, я, честно говоря, узнал уже только после своего возвращения обратно: никто меня не досматривал, и никто на границе ни о чём не спрашивал.

Видимо, и польских, и наших таможенников больше волновали последние политические события, чем содержимое моих чемоданов.

— И что дамы сегодня пьют? — спрашивал я потом у женщин, прежде чем усесться за обеденный стол во Мронгово. — Чаушеску или Живкова?

И в зависимости от ответа из огромной сумки извлекалась бутылка с требуемой страной-производителем.

У мужчин такой проблемы не было, так как мы пили водку, а она была в основном русской. Или же изредка польской, смотря по обстоятельствам.

Так вот, именно эта водка и сыграла со мной эту прескверную штуку: как человек, родившийся и выросший на Украине и в местах, где, скажем, тот же снег выпадает только по большим праздникам и всего на несколько часов, я бы никогда просто так не согласился на поездку в горы, чтобы покататься на лыжах.

И чтобы окончательно расставить все точки над «i», расскажу ещё про своё армейское прошлое и моё первое знакомство с лыжами.

Было это в суровых и продуваемых всеми ветрами оренбургских степях, куда я попал в самый разгар зимы. Подняли нас «по тревоге» и, поставив на лыжи, заставили бежать по редкому сосняку, изобиловавшему длинными и крутыми спусками.

О том, что я никогда до этого в своей жизни на лыжах не стоял, моё начальство и слышать не хотело. Все бегут — значит, беги…

И я бежал! Падая, поднимаясь и снова падая в колючий и холодный снег.

Уж и не помню как, но всё когда-то кончается, закончился и этот мой первый в жизни марш-бросок на лыжах.

Но главное испытание было впереди: неподалёку от нашей воинской части возвышалась небольшая песчаная горка, метров двести-триста в высоту, не больше, и по дороге домой в казармы мы по ней должны были спуститься. Примерно так, как это делали когда-то лыжники из виденной мною на «гражданке» до армии «Серенады Солнечной долины».

И надо сказать, что так оно в основном и было: несколько десятков одетых в тёплые полушубки солдат, при полной выкладке, с автоматами за спиной, с гиком и с криком скатились вниз и уставились, запыхавшись, на замыкающего строй. То есть на меня.

А я, как назло, падал под их оглушительный хохот через каждые два метра спуска… Падал и снова поднимался, становился на лыжи, отталкивался палками и… снова падал.

Кончилось это тем, что когда я кое-как добрался до подножия горки, тут же дал себе клятву, что не уйду с этой лыжни до тех пор, пока не научусь спускаться, не падая.

И в первое же воскресенье, в выходной, захватив с собой лыжи, я пришёл на эту злосчастную горку и приступил к упражнениям.

Однако задание — спуститься вниз без падений — оказалось намного сложнее, чем я предполагал. Уж как я ни старался во что бы то ни стало удержаться на ногах, ничего не получалось: я по-прежнему падал, снова возвращался наверх, опять становился на лыжи и снова падал.

А тусклое зимнее солнце между тем легко скользило по небосклону.

«Вот уже и время обеда», — мелькнуло в голове, когда я в очередной раз уткнулся носом в колючий снег. Но какой тут обед, если я не могу спуститься с этой горки, не упав? Нет, буду продолжать.

И я снова лез, взвалив на себя лыжи, наверх…

Пропустил я и ужин, и только когда взошла луна и я наконец всё-таки спустился с горки, устояв на ногах, что-то похожее на чувство восторга возникло у меня в груди. Надо же, осилил…

Тут же закрепил достигнутый успех, потом спустился с горки, не упав, второй раз. А затем заковылял, пошатываясь и еле держась на ногах от усталости, в сторону своей казармы.

Я всё-таки научился спускаться на лыжах с горы!

Правда, когда это было — полтора десятилетия назад! А тут сидит за обеденным столом

единственный сын тёти Нади Ришард и подливает мне в рюмку *чистай* польской водки. И уговаривает: поедем? У меня, говорит, есть даже ключи от подъёмника, так что на горку будем подниматься с помощью лебёдки, а не своим ходом. А лыжи и горные ботинки у него запасные есть.

Тем более что на горе мы будем совершенно одни: завтра будний день, а там только на выходные многолюдно.

— Поедем?

— Поехали! — согласился я и опрокинул в знак согласия в себя огненное зелье.

Назавтра Ришард с утра заехал за нами, и, сев в машину, мы прямо по дороге переобулись. И я впервые в жизни надел горные ботинки. Удобно. Познакомились мы и с лыжными креплениями.

Ехали мы недолго, так как обещанная горка оказалась всего в нескольких километрах от городка, а места вокруг были чудными. Вековые сосны, тишина… И не случайно, что совсем недалеко отсюда была в войну восточная ставка Гитлера, «Вольфшанце», взорванные останки которой сохранились до сих пор.

Но сама гора, с которой мы должны были спускаться на лыжах, меня не впечатлила. Во-первых, она была ненамного выше той, о которой я упомянул в своём армейском рассказе, а во-вторых, её основной склон, по которому нам надлежало спускаться, шёл как бы волнами, из-за чего, если смотреть снизу вверх, лыжник то появлялся, то вновь исчезал из виду.

На вершине горы стояла небольшая деревянная пристройка, всю площадь которой занимал металлический барабан с намотанным на него тросом.

Такой же барабан, только поменьше, был у подножия горы, на которую этот трос подавался. И получалось что-то вроде автоматического подъёмника: ты цепляешься руками за небольшую дощечку, которая верёвкой соединена с тросом, и тебя тащит наверх.

Ришард включил подъёмник и приступил к инструктажу. По-русски он говорил плохо, но понять было можно. Главное, предупреждал он, нужно держаться за деревянную дощечку руками — привязываться к ней ни в коем случае нельзя. Это опасно.

Надо — разжал пальцы, и ты свободен.

И потом: надо следить за лыжами, когда поднимаешься наверх. На некоторых участках трассы оба тросика — идущий наверх и идущий вниз — очень близко подходят друг к другу, и нужно быть внимательным, чтобы устоять на ногах.

Понятно? Понятно.

Ну и поехали!

И мы «поехали» — начали спускаться с горы. Я прекрасно держался на лыжне, ботинки оказались в самую пору, и падать на них казалось кощунственным. Словом, я был на седьмом небе от счастья.

Стояла прекрасная погода, лёгкий морозец, светит солнышко — чего ещё?

Раз спустился, второй…

Почувствовал, что могу, и решил оторваться от других — тянет меня к одиночеству. Ришард с женой остались внизу, что-то оживлённо обсуждая, а я, ухватившись за деревяшку, быстро полетел наверх, весело насвистывая какую-то мелодию.

А надо сказать, что подъём на гору осуществлялся в довольно бойком темпе — метр-полтора в секунду, не меньше. И противная деревяшка при этом всё время пыталась выскользнуть из рук, так как мои лыжи не всегда поспевали за ней.

И тут мне пришла в голову мысль: а что, если не держаться за неё, а обвить верёвку вокруг талии? Так ведь намного удобней, и руки свободные.

Подумано — сделано. И я для пущей верности ещё и перекрутил несколько раз дощечку у себя на животе, чтобы она никуда не делась.

Но, видимо, сделал это совершенно напрасно, так как в этот момент мои лыжи попали в перекрестие тросиков на земле — один из них шёл вверх, другой вниз, — и я в ту же секунду упал. И металлический тросик с той же скоростью, метр-полтора в секунду, потащил меня, как щепку, наверх, прямо к барабану подъёмника.

Сначала я хотел было закричать, но чтобы это сделать, надо было набрать в лёгкие воздуха, а у меня весь рот был забит снегом. Потом до меня дошло, что это тоже ничего не даст: пульт отключения подъёмника, как и включения тоже, находится на вершине горы, в той самой деревянной пристройке, где и установлен барабан.

К которому сейчас меня и тащило с неодолимою силой. Что делать?

Надо освободиться от этой проклятой верёвки, пронеслось в голове, и я стал нащупывать её у себя под животом. Но первые же попытки это сделать заставили меня похолодеть: у меня ничего не получалось! Так как меня тащило по земле, то верёвочный узел на животе под весом моего тела затянулся до такой степени, что я не смог даже нащупать деревяшку, за которую должен был держаться руками и которую сам же несколько раз обкрутил вокруг верёвки, «чтобы она никуда не делась».

Это конец! Ещё несколько секунд — и мои кишки будут намотаны на металлический барабан…

И вот тут вместо того, чтобы снова и снова предпринимать попытки освободиться от ведущей меня к неминуемой смерти верёвки, я вдруг обречённо представил своих родителей, мать, которая приедет за мной в Польшу, чтобы забрать сыновье тело или то, что от него останется, её глаза, полные слёз, отца…

Вот уж действительно стоило ехать из Запорожья за тридевять земель, чтобы найти «свою»

смерть, и где — в Польше! В тридцать с небольшим лет!

И я заплакал — от жалости к себе, от жалости к своим родителям…

А потом увидел метрах в десяти от себя вращающийся металлический барабан, на который методично наматывались круги поднимавшего меня вверх тросика…

То, что произошло дальше, и сейчас недоступно для моего понимания. Меня в очередной раз перевернуло лицом в снег, и я, оказавшись на животе, инстинктивно прикрыл правой рукой лицо.

А потом вдруг почувствовал, как подо мной *сама собой* распутывается и развязывается верёвка, и потом я остаюсь лежать на снегу, а она медленно, змеёй, выскальзывает из-под меня…

Это было настолько непостижимо и необъяснимо, что я лежал несколько минут, боясь пошевелиться, в пяти метрах от вращающегося барабана, не в силах даже подняться на руки. И не веря в свершившееся чудо!

— Почему у тебя такое поцарапанное лицо? — спросили меня внизу, когда я через какое-то время всё же спустился с горы. — Ты что, упал?

— Упал, — отмахнулся я и быстро отвернулся, чтобы никто, не дай Бог, не увидел набежавшую слезу…

И всё-таки с чего это я решил, что сегодняшний день — мой последний? День как день: встал, умылся, оделся…

Но потом, правда, разделся опять и снова лёг. Такое случалось и прежде: похожу-похожу, а потом опять забираюсь в кровать. И когда нездоровится, и когда просто ничего не хочется делать. Бывает и такое…

Мало ли какие причуды выкидывает наш организм, стоит только дать ему слабину?

Я её старался не давать, даже тогда, когда совсем уж становилось невмоготу.

Вспомнилось, например, как, живя в Воркуте, а судьба забросила меня и туда, пристрастился я смотреть телевизионные передачи, поедая при этом сушёные груши: намою себе небольшую мисочку и ем. Груши, растущие в нашем родительском саду в Запорожье, сладкие, душистые, таких ни в каких магазинах вы не найдёте, да и на рынках их нет, а если в это время за окном ещё и минус сорок по Цельсию, и ветер тридцать метров в секунду, то, право же, это настоящая райская пища.

Поэтому ежегодно мои родители, когда мы семьёй после отпуска возвращались обратно в Заполярье, старались всучить нам в дорогу как можно больше всяких там овощей и фруктов. Помидоров, яблок, варенья… И, конечно же, сухофруктов, жгучего перца, всевозможных трав.

Казалось бы, зачем везти в Заполярье тот же красный перец, когда в любом тамошнем магазине можно было купить пачку молотого перца, стоившего к тому же копейки? Ну не скажите… Тамошний перец — это так, перчик, не более того. Может быть, для супа или для какого-нибудь другого блюда он и подойдёт, тут я не спорю, а вот для чего-то другого…

Мы же, попросту говоря, лечились своим перцем. Съел стручок запорожского домашнего перца — и забудь про кашель. Все микробы от него разбегаются, как пыль.

Вот и я: смотрю в своей воркутинской квартире телевизор, а сам ем с наслаждением пахнущие южным солнцем запорожские груши. Вкусно!

Как вдруг через какое-то время чувствую, что начинает кружиться голова, клонит ко сну, а затем мои руки и ноги начинают сводить судороги.

— Врача! — успеваю крикнуть я жене, а сам, завалившись на кровать, начинаю растирать ступни своих ног.

Но тут «заклинивает» руки, и уже за эту работу принимаются другие.

— Сильнее, сильнее! — покрикиваю я на них и с удовольствием констатирую, что когда зазвенел дверной звонок в квартиру — это приехала скорая, — моё самочувствие стало улучшаться.

— И что тут у нас? — бодро спрашивает врач, видя осунувшегося больного и столпившейся вокруг него родни — типичный сюжет для очередного полотна русских художников-передвижников.

— Да ничего, — отвечаю я. — Отравился грушами…

— Во как! — удивляется врач. — Уже и диагноз имеется?

А вот и имеется, господа эскулапы! И задолго до каждого вашего прихода. Потому что я, как собака, сам чувствую, что мне надо, а что — нет. Откуда это — не знаю, но факт остаётся фактом: диагнозы себе я всегда ставлю сам. И сам же назначаю лечение.

Так что пока приехавший по вызову врач вынимает из своей сумки приборы, меряет температуру, артериальное давление, я ему ещё довольно-таки слабым после перенесённого стресса голосом рисую такую картину: Запорожье, сад, на улице стоит сорокаградусная жара. На металлических противнях лежат и сушатся на солнцепёке свежеразрезанные груши — от них идёт такой запах, что на него слетаются пчёлы и осы со всей Украины.

И каждая тварь пытается ухватить свой «кусок». Кто при этом довольствуется соком, а кто норовит ещё и отложить в благоухающем месиве свои яйца…

— И что? — недоумевает врач.

— А то, что, скажем, те же осы легко могли прилететь на выставленные для сушки груши с какой-нибудь дохлятины — той же мышки или птички, например. И хотя готовые сухофрукты затем проходят у нас специальную тепловую обработку — их на полминуты опускают в марле в кипящую воду,

а затем снова просушивают, но уже укрыв тканью,— лапки осы так глубоко проваливаются в мякоть груши, что привнесённая ими зараза там и остаётся. Вот я и глотнул, похоже, трупного яда…

— Зачем же вы тогда всё это едите?

Вот уж действительно вопрос вопросов: зачем мы всё это едим? А Бог его знает зачем… Вкусно, потому и едим.

Помнится ещё один эпизод, что когда в конце восьмидесятых годов минувшего века я переехал из Воркуты в Красноярск, то прямо-таки был поражён несметным количеством грибов, которые никто из местных даже в руки не брал. А они появлялись в начале лета на влажной и тёплой земле после каждого дождя. И были такими красивыми и аппетитными, что от них трудно было глаза отвести.

Однако, как человек, выросший в степи, я в грибах разбирался слабо, вернее, не разбирался в них совсем. И долгое время даже не понимал их вкуса. Как-то, ещё в студенческие годы, поставили передо мной на стол в одной уральской деревеньке миску свежесолёных рыжиков— хозяйка при мне их вынула из бочки. Разлили, выпили, я потянулся за рыжиком, чтобы закусить, и тут же поперхнулся грибом: это же нельзя есть!

— А что-нибудь другое есть?— жалобно попросил я.

И радушные хозяева, узнав, откуда я, тут же вытащили мне из своего погреба «что-нибудь другое»— солёные огурцы, квашеную капусту…

Словом, на вкус и цвет…

Правда, с годами с грибами я освоился, полюбил их и научился не только ценить их неповторимый вкус, но и хорошо ориентироваться в лесу. И в иные годы, например, таскал для своей тёщи десятками вёдер грузди.

Но всё-таки грузди— это грузди, а что за грибы, которые меня встретили в красноярских «Соснах», где мы поселились на лето? Что это за явление природы?

— Да это же дождевики!— уверенно заявила жена, детство которой прошло на Урале.— Условно съедобные грибы… Можно есть, только предварительно хорошенько отварив.

И мы решили рискнуть. Набрали после очередного дождя ведро молоденьких грибов, отварили их, «на всякий случай», с полчаса на плите, а затем обжарили с луком.

И получилось очень вкусное блюдо!

День едим, второй— не нахвалимся. А потом решили и гостей угостить.

«Так рано грибы? Откуда?»— «А вон они везде у вас растут, мы и набрали…»— «Да ну? А мы и не знали… И что, их можно есть?»— «А почему бы и нет? Мы же живы!»

И все от удовольствия только цокали языками…

А затем случилось вот что, правда, уже на следующее лето: мы опять ввели в свой пищевой рацион аппетитные дождевики, но то ли в наше лукошко на этот раз попались грибы, выросшие вблизи автомобильной дороги, то ли ещё что, но слава Богу, что в тот вечер и выпивал, и закусывал грибами я один.

И сам же через какое-то время метался в кровати, чувствуя, как уже знакомые по Воркуте судороги сводят мне руки и ноги.

Правда, на этот раз обошлось, и даже врача вызывать не стали. Несколько таблеток активированного угля, полстакана водки— и больше дождевики в своей жизни я никогда не собирал…

Так кто же всё-таки тогда проводит с нами все эти эксперименты?

Лучший месяц в году в Воркуте— это март. Терзавшие с осени заполярный город пурги наконец успокаиваются, и в северных широтах устанавливается «зимнее лето». Вовсю светит солнце, полное безветрие, и даже если на улице по-прежнему стоят тридцатиградусные морозы, хочется освободить шею от надоевшего тёплого шарфа и выдохнуть полною грудью воздух: «Весна!»

В тот раз я прилетел в Воркуту в командировку из Сыктывкара, где тогда жил и работал, и, подписывая моё редакционное удостоверение, редактор республиканской газеты «Красное знамя» Василий Егорович Кушманов назидательно наставлял:

— Сейчас в стране разворачивается борьба за экономию энергоресурсов— тепло, свет, уголь… А ты как раз сидишь на всём этом. Вот и посмотри, что и как там в Воркуте. Всё-таки весна, многие перед отпуском расслабляются…

Вот я на всё это и смотрел, сидя на переднем сиденье, рядом с шофёром, в новеньком ГАЗ-69 и с любопытством вращая в своих руках невиданный доселе прибор— тепловизор.

— Финская работа,— говорит из-за моей спины начальник энергетического хозяйства объединения «Воркутауголь», с которым мы и отправились в редакционный рейд с целью проверки экономного расходования тепла, подаваемого из двух воркутинских ТЭЦ по теплотрассам на угольные предприятия города.— За валюту купили. Ещё один такой есть в Москве, и всё. А надо бы, чтобы в каждом колхозе такая штука была.

Прибор действительно стоящий: навёл его на интересующий объект, тот же жилой дом или теплотрассу, например, и он без промедления зафиксирует утечку тепла.

Красный экран— значит, тепло расходуется нерационально, происходит утечка, обогревается тундра… А если на мониторе прибора зелёный фон, то всё в порядке, теплоизоляция в норме, нигде не нарушена.

Вот мы и едем сейчас по «Воркутинскому кольцу», соединяющему тринадцать шахтёрских посёлков со «старым» городом, и водим по очереди

этим прибором по сторонам. Фиксируем состояние теплотрассы, дающую жизнь этим посёлкам.

Проложена она, как и все коммуникации в Воркуте, на металлической эстакаде, в метре от поверхности земли, так как на десятки, а то и сотни метров под снегом покоится вечная мерзлота, тревожить которую ни в коем случае нельзя.

Как говорится, не буди лихо, пока оно тихо и пока оно спит. В той же «старой Воркуте» я видел не одно здание, вставшее на попа или сильно накренившееся вниз, как корабль. Где-то проложили рядом теплотрассу, где-то подвели прямо под землёй близко от дома водопровод… Вот земля и оттаяла. Поэтому все инженерные коммуникации в заполярном городе—на поверхности.

Но эта, главная в Воркуте, теплотрасса возводилась уже с учётом накопленного опыта и работала бесперебойно. Хотя теплоизоляция и на ней то там, то тут приходила в негодность. И от запредельных морозов, и от сумасшедшего ветра.

С нами на заднем сиденье машины сидят, в качестве членов нашего рейда, начальник воркутинского «Энергонадзора» да ещё какой-то чиновник из местных, рангом пониже.

И вот тут мне бы хотелось обратить внимание на некоторые детали того памятного для меня, да и для всех остальных, наверное, утра. Выехали мы из города засветло, часов в восемь, не без основания рассчитывая к обеду вернуться обратно: у всех были дела.

И поначалу всё складывалось прекрасно: дорога безлюдная, машин нигде нет. Ну а погода—просто великолепная!

Солнце ещё не взошло, но на востоке уже бугрилось красивое розовое зарево, и видимость была прекрасной.

А хорошо укатанный за зиму машинами снежный наст был не хуже московского асфальта, так что наш новенький «газик» бодро бежал по нему со скоростью восемьдесят километров в час.

И молоденький шофёр, как это выясню я позже, только несколько месяцев назад вернувшийся домой из армии и только начавший привыкать к «гражданке», что-то мурлыкал себе безобидное под нос.

В этот момент я замечаю на горизонте небольшую точку—это идёт нам навстречу первая на дороге машина, но до неё ещё несколько километров, и беспокоиться нечего. Разъедемся…

Дорога на «кольце» широкая, ухоженная, её то и дело чистит от снега спецтехника, но зима на исходе, ветра давно уже не было, и мощные бульдозеры сейчас в гаражах.

В марте заполярная тундра—как на ладони.

И тут я вижу: метрах в пятидесяти-шестидесяти от нас, по левую сторону дороги, лежит какой-то тёмный предмет. Что-то похожее на большой кирпич или шлакоблок. Но что нам до этого? Мы едем по правой стороне дороги, ширина её метров восемь, а неизвестный предмет лежит чуть ли не у обочины слева. Какая нам разница?

—Кирпич,—роняет вполголоса водитель, и я с ним мысленно соглашаюсь.

Конечно, кирпич. Или шлакоблок. Не всё ли равно?

Ровно гудит мотор, замеченная ранее мною точка на горизонте обретает очертания мчащегося навстречу фургона, а лежащий в стороне от нас на дороге шлакоблок притягивает к себе, как магнит. Я чувствую, что и сам не могу оторвать от него глаз.

И тут шофёр, который до этого пристально вглядывался вдаль, высматривая дорогу, вдруг резко крутанул баранку, и наш «газик», не сбавляя скорости, послушно вильнул влево.

И большой и тёмный предмет на дороге оказался под нами.

А дальше произошло вот что: летящий на скорости автомобиль развернул передней осью шлакоблок «на попа», и тот, ударившись в заднюю ось, как игрушку, опрокинул машину в кювет.

«Газик» несколько раз перевернулся, сломав ограждение кабины и порвав натянутый на неё брезент, и если бы не плотно слежавшийся за зиму снег по откосам дороги, то не знаю, чем бы всё это кончилось.

А так мы перевернулись несколько раз, как ванька-встанька, и наш автомобиль, съехав чуть ли не в тундру, наконец остановился. И оказался при этом на колёсах, с продолжавшим работать мотором!

А мы вместо того, чтобы осознать, что произошло, залились гомерическим хохотом—никогда больше в своей жизни я такого хохота не слыхал.

Смеялись мы, правда, не столько по поводу происшедшей на наших глазах аварии, а потому, что было смешно от того, кто и где потом оказался. Скажем, сидевший «на передке» до этого, я с трудом выбирался из-под заднего сидения машины, а давший мне на время поиграться тепловизором горняцкий начальник каким-то непостижимым образом оказался сверху меня.

У меня было разорван на спине полушубок, у шофёра разбито лицо, а у начальника поцарапана рука…

Словом, это был тот случай, когда можно было сказать, что пострадавшие «отделались мелким испугом».

Отрезвили нас бежавшие из остановившейся встречной машины люди:

—Трупы есть?

Трупы? Да нам такое даже в голову не пришло! Откуда им тут взяться?

Но смеяться мы перестали…

Конечно же, ни о каком продолжении газетного рейда по экономии в заполярном городе

энергоресурсов не могло быть и речи, хотя горняцкий начальник через полчаса пообещал достать нам другую машину. Нет уж, дудки, на сегодня хватит…

Придя в себя, мы снова забрались в свой «газик», завели мотор и повернули к городу.

А ещё через какое-то время все впятером сидели уже за столом самого престижного в Воркуте ресторана «Москва» и отмечали своё чудесное спасение.

— Нет, ты мне только скажи,—не отставал я от уже изрядно захмелевшего нашего водителя,—какого хрена ты вдруг повернул налево? Зачем? На кой чёрт он тебе был нужен, этот шлакоблок?

— Не знаю… Я сам не знаю, честное слово! Еду, еду, и вдруг кто-то сам берёт у меня руль и поворачивает налево. Но как это может быть? За рулём-то был я! Не знаю, честное слово, не знаю…

А вечером ко мне в гостиничный номер позвонил из Сыктывкара мой редактор:

— Тут передали только что по радио, что ты в аварию попал… Что случилось?

— Да так, ничего, Василий Егорович, пустяки… Поцарапался немного да вот полушубок порвал. Полушубка, конечно, жалко…

— Да брось ты—полушубок! Мы тебе новый купим…

Полушубок мне тогда, конечно, никто не купил, зато я остался жив. И на том спасибо!

Я не знаю, сколько я так лежу, тупо уставившись в потолок. Часа два или три, наверное. А может быть, и больше, кто его знает. Проверить время можно было бы по трубке сотового телефона, которая находится рядом, но руки у меня уже не поднимаются, хотя пальцы, правда, ещё шевелятся. Но и они постепенно тяжелеют, становятся как бы свинцовыми, и я к этому отношусь с олимпийским спокойствием: чему быть, того не миновать.

Да и пятьдесят лет работы в газетах приучили ко всякому. В какие только переделки не попадал!

Хотя всё в моей жизни могло пойти совсем по-другому. Не напиши я тогда, будучи в армии, сразу в шесть отечественных университетов—в Москву, Ленинград, Киев, Львов, Казань и Свердловск—одинаковые письма. С просьбой прислать мне правила поступления в их вуз на очное отделение факультета журналистики, так как достать что-нибудь подобное, проживая в военном городке, было невозможно. А Интернета в ту пору ещё не было…

И что получилось в итоге? Первые пять упомянутых мною университетов глухо «промолчали», как будто я им и не писал, а вот из Свердловска на моё письмо пришёл обстоятельный ответ. И был он таким тёплым и человеческим, что я его, помнится, перечитывал по много раз. Вытащу заветный конвертик из своей солдатской тумбочки в казарме, пристроюсь где-нибудь в уголке и начинаю читать:

«Дорогой наш солдатик!—писала мне с Урала какая-то незнакомка, а то, что это писала девушка, и к гадалке не надо было ходить.—С удовольствием высылаем Вам „Условия приёма в УрГУ", а от себя лично хочу добавить, что наш Свердловск—самый прекрасный город на свете. В чём, конечно, Вы убедитесь сами, приехав к нам поступать. И факультет журналистики у нас—лучший в стране! Так что дослуживайте свою службу до конца—и милости просим, обязательно приезжайте. Ждём».

Ну как было не поехать после такого письма в Свердловск, в котором я никогда не был и который был от моего дома на расстоянии в несколько тысяч километров? И когда в упомянутом мною конверте действительно лежали сложенные пополам «Правила приёма в Уральский государственный университет имени М. Горького», бывший в шестидесятые годы минувшего столетия не самым плохим вузом страны?

Во всяком случае, многие по-настоящему «золотые перья» Советского Союза—его выпускники…

Помнится, как и мы, поженившись на третьем курсе, появились вместе с женой, тоже студенткой факультета журналистики УрГУ, ранним летним утром в редакции сочинской краевой газеты «Черноморская здравница», куда были направлены на производственную практику.

Позади были многочасовый перелёт из Свердловска, впервые увиденный в иллюминаторе самолёта над царством гор заснеженный двуглавый Эльбрус и синее-синее море, разогретое жарким июньским солнцем. А тут—редакция, утопающая в платанах, утренняя прохлада, патриархальная тишина в коридорах, где почти все двери в кабинеты были ещё закрыты.

Но мы, не мешкая, направляемся в сторону начальства—в кабинет главного редактора газеты—и открываем дверь. Навстречу нам из-за огромного дубового, как нам показалось, стола медленно поднимается высокий и плотный мужчина с красивой шевелюрой на голове. Редактор.

Одного только беглого взгляда, брошенного на нас, ему оказалось достаточно, чтобы понять, что перед ним практиканты, и, широко улыбаясь, он шагнул навстречу.

— Ну как там Москва? Какая в столице погода?

— Москва? Но мы не из Москвы!

— Как? Не из Москвы? Неужели из Питера?

— Нет, мы не из Ленинграда!

Редактор изумлённо остановился на полдороге, словно не веря своим ушам (ну откуда, из какой глуши могут приехать студенты на практику в такой благословенный город, как Сочи?).

А затем чуть ли не шёпотом спрашивает:

— Господи, только не говорите мне, что вы из Свердловска… Я скорее сквозь землю готов провалиться. От счастья…
— Тогда проваливайтесь. Но мы действительно из Свердловска. Из Ургу!

И тут же попадаем поочерёдно в крепкие редакторские объятия…

Уже потом, за огромным редакционным столом, мы смогли понять причину такого неприкрытого редакторского восторга.

И действительно, откуда могли приехать на производственную практику в Сочи, чтобы «набить себе руку», будущие журналисты? В первую очередь, конечно же, из Москвы, из столицы нашей великой тогда Родины.

Но при всём пиетете, соответствующем этому понятию, тамошние студенты факультета журналистики уже с первого курса видели себя в советских центральных, а то и в зарубежных изданиях, а потому заводили за время учёбы «нужные» связи, мало при этом заботясь о своих профессиональных навыках и умении писать.

А зачем? Всё и так уже схвачено…

Питерцы—те, конечно, были поинтересней, но и им мешал столичный снобизм.

И совсем в другом качестве для практичных газетчиков выступал Уральский государственный университет, где в те времена готовили настоящих «рабочих лошадок», умеющих всё и всегда, и где за несколько послевоенных десятилетий сложилась добротная школа журналистики.

Уже после первого семестра учёбы студенты-уральцы делали «свою» газету—в настоящей типографии, под руководством опытных наставников. Осваивали ручной и машинный набор, газетную вёрстку, ставили своими руками реглеты и бабашки, правили тексты.

И сами писали для таких газет, побывав на промышленных предприятиях города.

А затем эти тексты, как и сама газета, тщательно анализировались и разбирались преподавателями вуза и своими одногруппниками.

Потом следовала стажировка в многотиражных газетах, производственная практика в городских и областных изданиях, и уже через пару лет обучения будущие газетные репортёры на Урале имели за спиной солидный профессиональный багаж, помогающий им легко ориентироваться в любой обстановке. А это и ценится больше всего в газетах.

Так что столицы столицами, но и Урал был в те времена не лыком шит.

Впрочем, университет надо было ещё закончить…

Таких дождей, какие были во второй половине лета 1969 года в Башкирии, не помнили даже старожилы. Дождь шёл днём, шёл вечером, шёл ночью… Река Белая, на которой стоит Уфа, вздыбилась от воды на всём своём протяжении, а её многочисленные притоки превратились в непроходимые бурные потоки. Под водой оказались колхозные поля, да и ливневая канализация в городе давно не справлялась с этим непрекращающимся дождём.

А у меня лежало в кармане командировочное удостоверение от республиканской «молодёжки» и строгий начальственный наказ: как можно быстрее добраться до районного центра Калтасы, откуда в редакцию пришло критическое письмо, и его следовало проверить. А затем, на обратном пути, «заглянуть» ещё и в расположенный неподалёку Нефтекамск, откуда я должен был привезти для газеты репортаж о трудовых буднях башкирских нефтяников.

Быстрее—это значит самолётом, но какие могут быть самолёты в такую погоду?

Однако задание редакции—это приказ, и его надо выполнять, никакие погодные доводы в расчёт не принимались. Газеты выходили в любую погоду…

Потому и начинался мой каждый рабочий день не с похода в редакцию, а с телефонного звонка в метеослужбу аэропорта: как там сегодня с погодой? Можно ли улететь?

И хотя я каждый раз в ответ слышал одно и то же: всё остается без изменений, Ан-2 в такую погоду не летают,—я всё же садился затем в автобус и добирался до аэропорта. А вдруг?

Но аэродромы в Башкирской республике раскисли, и даже лётчики, с которыми я успел за это время перезнакомиться, только огорчённо разводили руками. Они бы и хотели, но ничем не могли мне помочь.

Как вдруг… Я уже было намеревался сдавать обратно купленный билет и проситься в командировку куда-нибудь поближе, скажем, в Стерлитамак, куда легко можно было добраться на автобусе, как из аэропорта позвонили:
— Давайте быстрее сюда! Через полчаса на Нефтекамск идёт пассажирский Ан-24, с ним и полетите. Там бетонная полоса, сядете.

И вот я сижу в комфортабельном по тем временам среднемагистральном самолёте Ан-24 и с любопытством оглядываю салон. Пассажиров немного, человек десять, не больше, что вполне объяснимо. Мало кто из людей будет столько времени поджидать хорошую погоду, как я, есть дела и поважнее.

Но главное не это, а главное—что летим!

Чтобы чем-то себя занять, смотрю в иллюминатор, из которого хорошо видно, что летний дождь продолжает моросить, но, пробежав по бетонным плитам уфимского аэропорта положенные ему метры, самолёт взмывает вверх и быстро набирает высоту. И буквально через каких-то десять-пятнадцать минут полупустой пассажирский салон

заливает ослепительный солнечный свет, от которого мы все уже на земле отвыкли.

А вот оно и солнышко, оказывается, есть, высоко, но есть.

Летим. Успокаивающий гул двигателей, рутинное хождение стюардессы. Туда-сюда, туда-сюда…

Потом самолёт опять начинает снижаться, лететь-то нам минут сорок, не больше, и мы снова возвращаемся в полудрёму наступившего дня. Снова в иллюминаторах справа и слева от нас, а также вверху и внизу, сплошная облачность, и нет никакого просвета. Становится как-то не по себе.

И тут в салон выглядывает второй пилот, с которым я познакомился ещё в уфимском аэропорту и который не спеша продвигается по салону, внимательно проверяя, закрыты ли багажные полки. А затем, наклонившись ко мне, тихонько говорит:

— Нестандартная будет посадка. Пока мы летели, и Нефтекамск закрылся. Так что садиться придётся всё же в Калтасах, другого аэропорта поблизости нет. А там — сплошная вода…

Ну, в Калтасах так в Калтасах, подумал я, не придав поначалу его словам особого значения. Какая разница? Встречусь сначала, как и планировал, с автором редакционного письма, выясню все детали. А потом автобусом до Нефтекамска, и уже оттуда — обратно в Уфу.

Только и всего…

Но когда тот же пилот, прежде чем вернуться в свою кабину, вдруг объявил, что придётся сажать самолёт не на бетон, как предполагалось, а на раскисший от дождя грунт, и что поэтому всем нужно обязательно пристегнуться, а все острые предметы убрать от греха подальше, то у меня противно засосало под ложечкой. И я немного струхнул.

Вот влип! Ещё чего не хватало — взять и разбиться при посадке!

А когда, натужно ревя своими двигателями и постепенно снижаясь, наш самолёт вынырнул наконец из-под туч и я увидел впереди нас вместо привычной глазу взлётно-посадочной полосы настоящее озеро, сбоку от которого одиноко маячила небольшая деревянная постройка местного аэропорта, тот тут я уже испугался по-настоящему.

Вот в эту воду нам и предстоит сесть?

Впрочем, размышлять долго не пришлось: как только колёса нашей «Аннушки» коснулись размякшей от непрерывных дождей земли, то все иллюминаторы в самолёте тут же залепило грязью. И свет в салоне погас. Машина сильно накренилась влево, потом вправо, потом всё же выровнялась и понеслась, гася скорость, примерно так, как едет грузовик, съехавший с асфальта на раскисшую просёлочную дорогу.

Я почти физически ощущал, как бьются в её днище и бока поднятые вверх вода, комья земли и грязь.

Наконец всё стихло, и мы остановились.

Первым из пилотской кабины вышел тот самый второй пилот, который меня предупреждал. Заученным движением он повернул ручку двери, и в салон ворвался свежий и сырой воздух.

Вставая с пилотом рядом, я увидел, что по направлению к нам во всю свою прыть, поднимая фонтаны брызг и грязи, мчат несколько автомобилей — скорая помощь, пожарная машина…

А выглянув из-за двери, увидел, что за нашим самолётом образовались после посадки две длинные и глубокие канавы, которые сейчас быстро заполняются водой…

— Если бы, садясь, — снова наклонился к моему уху лётчик, — самолёт бы чиркнул крылом по земле, а он был в миллиметре от этого, то мы бы с вами сейчас тут не стояли. Его бы перевернуло, к чёртовой матери, вверх тормашками, и всё! Так что будем считать, что родились с вами в рубашке…

Я благодарно пожал ему руку, спустился по трапу в холодную воду и, закатав до колен штаны, быстро зашагал в сторону видневшейся на краю этого озера деревянной пристройки. Снятые с ног туфли и дорожную сумку я нёс в руках…

Я чувствую, что у меня стали тяжелеть не только руки и пальцы, но даже мои веки. Открыть оба глаза одновременно становится уже проблемой: сначала я открываю один глаз, потом — второй… И зрение, похоже, тухнет, как гаснет в лесу костёр, когда в него долго не подкладываешь свежий хворост. Предметы, стоящие в комнате, я ещё различаю: вот телевизор, вот стол, — но они уже постепенно теряют острые углы, размываются, становятся просто пятнами.

Наверное, берёт своё катаракта, которую я так и не лечил никогда… А зачем? К чему мне хорошее зрение там, где, как я понимаю, никто ничего не читает, а все и так всё знают? Или не знают?

Скоро увидим…

Помню, как я впервые увидел близко цыганку, которых тогда, после войны, было на Украине хоть пруд пруди. И откуда только они все повылазили? Все близлежащие под нашим городом балки были забиты их таборами, родители нас страшно запугивали, чтобы мы туда ни ногой, что цыгане только тем и занимаются, что ловят маленьких детей и, собравшись в кучу, выпивают из них кровь.

И мы цыган действительно побаивались, пусть и не так, как чёрт ладана, но побаивались. В то время как они сами всё время шастали по городским окрестностям в поисках пропитания.

Но люди после войны жили бедно, денег ни у кого не было, так что занимались цыгане исключительно мелочёвкой — гаданием по руке, да ещё тем, наверное, что привороовывали, незаметно рассовывая в свои пышные цветастые юбки всё то, что плохо лежит.

Вот с одной такой цыганкой я и познакомился однажды, прижавшись от страха к своему старшему брату и с мольбой глядя на мать, которая несла с огорода гадалке в качестве гонорара за её услуги два огромных красных помидора. А та уже вовсю колдовала над правой рукой брата, чтобы потом погадать и мне.

Но вот хоть убейте, а какую она предсказала судьбу лично мне — не помню, слишком, наверное, мал был, а сочинять не буду даже на смертном одре. Но то, что она нагадала моему старшему брату, засело в голову крепко. Потому что того ждала, по её откровению, скорая смерть от воды.

Утонешь, мол, и не дёргайся… От судьбы не уйдёшь!

Если б кто знал, как я потом переживал за брата! Он едет на Днепр на рыбалку — и я с ним. Он на ставки́ купаться — и я следом.

Словом, вскоре он меня просто возненавидел из-за этого: куда он, туда и я. Чтобы в случае чего быть неподалёку и попытаться его спасти.

Хотя мой брат плавал прилично, а вот спасать надо было, с учётом моего малолетства, меня…

Я уже не раз писал в своих сочинениях, что плавать я научился даже раньше, чем ходить. И в этом не было никакого преувеличения. Просто когда я родился в Запорожье, ещё шла война. Мы жили на самом берегу Днепра, теперь там широкая заасфальтированная набережная, а тогда в городе не то что воды — электричества ещё не было.

Запорожье лежало в развалинах, заводы были разбиты, а рваную плотину Днепрогэса я и сейчас могу нарисовать на листке бумаги по памяти.

Что уж там говорить про какие-то детские садики и прочие вещи! Каждый тогда выживал как мог…

Но что-то надо было готовить, что-то надо было стирать. И, взяв под руку тяжёлый таз с грязным бельём, а во вторую руку меня, моя мать отправлялась на речной берег, где устраивала руками в песке какую-то лунку, наполненную водой, а то и заводь на мелководье. Для меня. Там я и барахтался, пуская пузыри, пока она управлялась с бельём.

Так что я довольно рано привык к воде, и когда у меня появились потом свои дети, то первым делом я их научил плавать. Ибо всегда помнил о том, что те же древние греки справедливо считали никчёмным того человека, который не умел ни читать, ни писать, ни плавать.

При этом я не пользовался, конечно, никакими научными методиками, вызывавшими только смех. Учить плавать надо голову, а не руки, считал я и при этом ссылался на законы физики.

Человек физически не может утонуть в воде, убеждал я детей, потому что при вдохе у него тело легче того объёма воды, которое оно вытесняет. И, следовательно, утонуть не может, потому что его выталкивает наверх.

И никто никогда бы в воде не тонул, если бы не требовалось выдыхать обратно воздух!

А вот в момент выдоха тело человека становится тяжелее воды, и он снова погружается в неё.

— Следовательно, что нужно успеть сделать? — вопрошал я. — Надо успеть открыть в этот момент рот и вдохнуть глоток воздуха, прежде чем голова снова уйдёт под воду. А с воздухом в наших лёгких тело снова становится легче воды, погружение замедляется, а затем человек снова, как поплавок, показывается на поверхности.

— А почему же тогда на воде тонут? — спрашивали меня дети.

— От страха. И только от страха. Если человек воды не боится, утонуть в ней невозможно. Разумеется, до тех пор, пока он совсем не выбьется из сил и не захлебнётся. Всё же человек не рыба…

А потом шёл наглядный урок для всех желающих научиться плавать: мне связывали верёвкой ноги и руки, и я сам, по доброй воле, скатывался либо с пирса, либо из лодки на речную или морскую глубину. И не только демонстрировал окружающим непотопляемые возможности человеческого тела, но и его удивительную способность легко выпутываться из любого положения: и без помощи рук и ног я хоть и с трудом, но всё-таки выбирался на берег.

На этом все мои «уроки» заканчивались: далее шла практика. И уже через несколько часов тренировок мои дети свободно держались на воде. В первую очередь, конечно же, на днепровской воде, на которой, это все знают, держаться гораздо труднее, чем на морской. Морская вода тяжелее, в ней много солей, а следовательно, и тело в такой воде чувствует себя намного вольготней.

Но был в моей жизни эпизод, о котором я упоминать не любил. Случилось это на стыке сороковых-пятидесятых годов минувшего века, когда мы поселились на окраине Запорожья, где работавший слесарем на заводе отец построил небольшой домик, а я был полностью предоставлен улице. Неподалёку от нашего дома пролегала балка — так на Украине называют огромные пологие овраги, поросшие дикорастущими грушами, маслиной, абрикосами. По дну такой балки, как правило, протекает речка, на худой конец — ручей.

По нашей балке протекала речка Волчья, впадающая через реку Московку в Днепр, и была эта речка на всём своём протяжении перегорожена дамбами, образуя так называемые ставки́.

Ставо́к — это то же озеро, только искусственного происхождения.

В те времена ставки́ на Украине регулярно чистили, в них разводили рыбу, и тянулись они вверх по руслу реки на несколько десятков километров. Несколько сот метров вверх по течению реки — один ставо́к, потом земляная дамба — второй, снова дамба — третий, и так далее.

Стоит ли говорить о том, что в жаркую летнюю погоду именно на ставка́х и проходило моё детство? Там собиралась ребятня со всех близлежащих окрестностей. Правда, рыбу в ставка́х ловить не разрешалось, даже на удочку,—она была колхозной.

Но вот купаться и плавать никто не запрещал. Что мы и делали с превеликим на то удовольствием.

А был у меня тогда один существенный недостаток: я мог легко переплыть любой ставо́к в ширину, для этого моих навыков и силёнок хватало, но для того, чтобы начинать заплыв, мне нужно было лечь на живот на мелкоте. Работать в воде ногами сзади я ещё как следует не научился.

И вот однажды зашёл я на мелкоту, лёг в воду и поплыл. Вода в ставке́ прохладная, всем телом ощущаешь места, где прямо из-под земли бьют холодные ключи,—хорошо!

Так бы и плавал, никогда не выходя на берег…

Но, вволю наплававшись, я всё же поворачиваю к нему, усыпанному, как горохом, ребятнёй. Кто-то из ребят загорает на солнце, кто-то играет в карты, а кто-то дрессирует приведённых из дому собак…

Подплываю поближе к берегу и опускаю вниз ноги, пытаясь достать дно. И… не достаю его! То есть я по-прежнему на глубине и до берега ещё не доплыл! Подвёл глазомер…

Рванулся из последних сил вперёд, зацепился за вязкую глину кончиками пальцев ног и судорожно открыл рот, в который сразу же хлынула вода. Глотнул её раз, закашлялся, глотнул ещё…

Но весь ставо́к, конечно, не выпьешь, и вскоре я бы ушёл на дно, если бы не увидевший меня подросток лет десяти-двенадцати. Он отложил на траву карты и внимательно посмотрел на «мальчика, глотающего в ставке́ воду».

—Э, да ты, брат, тонешь!

И тут же прыгнул навстречу…

Через минуту я уже сидел на берегу и выплёвывал на траву воду, которой, как оказалось, были до краёв заполнены мои лёгкие.

А вот брат мой не утонул—дожил до глубокой старости. Но спасибо тебе, цыганка, что наврала, что спутала, небось, чью-то судьбу с нашей.

А может, и не наврала? Может, не спутала?

В тот сентябрьский день 1969 года я лежал на городском ялтинском пляже почти в одиночестве. Море штормило, и развевающееся на ветру чёрное полотнище флага на спасательной вышке красноречивее слов говорило о том, что купаться нельзя и что «водные процедуры» в этот день запрещены. Не было на вышке и спасателей. Да и кого им было «спасать», если на всём пляже, кроме меня, было всего несколько человек?

Кто тихо дремал на ветру в ожидании обеда, кто пытался читать, с трудом удерживая раскрытую книжку на ветру, а кто, как и я, просто лежал на деревянном лежаке и пристально вглядывался в рокочущие волны и тёмные косматые тучи, неизвестно откуда вдруг вынырнувшие из-за Ай-Петри, главной вершины здешних гор.

А смотреть, на мой взгляд, было на что. Огромные двухметровые волны плавно и даже как-то нехотя наваливались на галечный берег и, словно стиральная тёрка, шуршали поднятыми со дна камнями.

Штормило уже второй день подряд, и вчера допоздна я засиделся в одном из ялтинских ресторанчиков, расположенном на крыше десятиэтажного здания, и с удовольствием наблюдал за тем, как такие же волны грозно накатывали на ночной берег, ворочая на своём пути огромные камни.

Иногда эти камни волна подхватывала с собой, отрывая от земли, но потом под силой своей тяжести они вырывались из водной стихии и падали с высоты на своих собратьев, лежащих на берегу, высекая при этом искры. И было занятно наблюдать за тем, как в кромешной ночной темноте то там, то тут вспыхивают, как метеориты, искры—это «выпадали» из волны обратно на берег поднятые ею тяжёлые камни.

Но это было вчера, а сейчас я уже было подумывал о том, что пора бы уже, наверное, уходить с пляжа, так как сильный и порывистый ветер, дующий с моря, не доставлял особого удовольствия.

Но тут моё внимание привлекла одетая в платье женщина, которая бегала туда-сюда по гальке на берегу и что-то там причитала, в то время как её, видимо, муж, стоя на коленях, безуспешно пытался выбраться из воды. Но как только он делал очередную попытку, как набежавшая волна снова отшвыривала его прочь, постепенно удаляя от берега.

—Да он же, чёрт возьми, его, пьяный!—догадался я и приподнялся с лежака.

Порывистый ветер тотчас же донёс до меня слова причитавшей на берегу женщины:

—Ой, люди добрі, ой, рятуйте, він же, дурінь, потоне…

Медлить было нельзя, и я вскочил на ноги.

Тем более что с каждой секундой уже вдоволь нахлебавшийся морской воды мужчина всё дальше удалялся от берега. И когда я, боком встречая набегавшие волны, уже потерявшие свою силу на мелководье, добрался-таки до него, он почти ничего не соображал.

Всё же я вытащил его на берег, приподнял за ноги и подержал так несколько секунд, ожидая, пока не выльется наружу вся вода, которой он успел нахлебаться. И слушая одновременно женские причитания, из которых мне стало ясно, что супружеская пара только вчера приехала в Ялту из Львова и сразу же попала в такой шторм.

Вот он и не рассчитал…

— Пить надо меньше,— буркнул я в ответ, осторожно опуская поднятые ноги.— Тем более здесь, на море…

И сразу отошёл подальше, чтобы не выслушивать слов благодарности и тому подобной дребедени: не люблю я всего этого с детства. Телячьих нежностей, как говорил мой один приятель.

Но так как плавки у меня намокли и сам я уже окунулся в воде, то неожиданно возникла мысль: а не искупаться ли мне по-настоящему? В шторм я на море ещё не плавал…

В общем, решившись, я смачно сплюнул в воду и, сделав пару-вторую гребков брассом, поднырнул под набегавшую волну, максимально набрав в свои лёгкие воздуха.

Но когда я вынырнул у неё «за спиной», то мне стало не по себе. Здесь море было совсем другим. Каким-то чужим. И не столько от высоты волн, каждая из которых, прежде чем на меня упасть, закручивалась настоящим пенным жгутом, а от того шума и рёва, настоящего грохота, которые здесь были гораздо сильнее, чем на берегу.

За этим угадывалась настоящая сила морской стихии, отчего по моему телу пробежали мурашки.

А что ты хочешь, это же море, мелькнуло в голове, и я, была не была, повернул спиною к берегу и поплыл навстречу своей судьбе. Откуда на меня один за другим накатывали огромные валы…

И хотя самообладания я не потерял, но вот осознание того, что море «ничего не чувствует», что ему до лампочки, живой я или не живой, насторожило меня больше всего: я вдруг до последней клеточки своей осознал, что, случись что, помочь мне не сможет никто.

А когда оглянулся и увидел, как далеко от меня берег, то тут уже испугался по-настоящему: да меня так отливной волной и в открытое море вынесет! И что есть силы, а они у меня ещё были, я энергично погрёб в сторону лежаков.

По дороге, чтобы облегчить свою задачу, даже выработал своеобразную тактику: как только почувствую, что за моей спиной раздаётся нарастающий грозный рык — это меня догоняет очередная волна,— так я тут же на ходу разворачиваюсь, подныриваю под её пенящуюся верхушку и сразу же оказываюсь на противоположной стороне. И чуть ли не несусь, «оседлав волну», к берегу, раз за разом приближаясь к поставленной цели.

Но когда я наконец до этой цели добрался, то тут же сообразил, что всё только начинается: выйти из штормового моря оказалось гораздо труднее, чем в него войти.

Ещё до берега оставалось метров двадцать-тридцать, как нагнавшая меня сзади волна, под которую я опоздал поднырнуть, увидев выступившую на мгновение из-под воды гальку, подняла меня, словно щепку, а затем со всего размаху швырнула вниз, на камни. И я почувствовал резкую боль в коленке, которой ударился о какой-то бетонный предмет.

«Господи, да это же волнорез!» — мелькнуло у меня в голове, и в тот же миг я оказался вдруг стоящим, как тот мужик, которого я только что спасал, на коленях и с ужасом ощущал всем своим телом, как мощная сила отходящей от берега воды неумолимо отрывает меня от дна и снова тащит на глубину. А там, где я только что стоял, угрожающе пенилось море.

Море было как будто живое и не хотело меня отпускать!

Всё же я сделал попытку закрепиться на берегу, рванул вперёд, но десятки тонн обрушившейся на меня воды, как пушинку, подхватили меня и понесли обратно в море, откуда уже набегали на берег очередные рычащие чудовища, изрыгающие пену из своих недр.

Каким-то чудом мне удалось только схватить рукой почему-то оказавшиеся на коленке плавки, доверху набитые галькой, и, освободившись от неё, я снова надел их на себя, успев поднырнуть под очередную волну, показавшуюся мне высотой с двухэтажный дом. И вместо берега, грозно рычащего вдали, я повернул в море, стараясь успокоиться.

А потом стал рассуждать. Силы у меня ещё есть, плаваю я недолго, так что не надо паниковать. Тонут не потому, что не умеют плавать, а потому что боятся воды. Поэтому прежде всего нужно успокоиться — это раз.

А второе — нужно не плыть к берегу наобум, а всерьёз продумать сначала сам выход из воды: это наиболее сложная операция. До берега-то я доплыву, а что дальше? Если меня не расшибёт набежавшая следом волна, то непременно вынесет в море приливная вода, возвращающаяся с берега. Это я уже ощутил. Где же выход?

Он только в том, что этого надо как-то избежать. Но как?

Будем пробовать.

И, понимая, что таких попыток у меня будет немного, может быть, даже всего лишь одна, я собрался с силами и опять повернул к берегу. Но, в отличие от первого раза, во мне на этот раз не было ни капли благодушия: я понимал, что просто так меня море не отпустит и надо как-то его перехитрить.

Плыл я тем же способом, что и в первый раз, подныривая под волну, когда она меня настигала, и сразу же «садясь» ей на «шею». Однако в районе предполагаемого волнореза, а это были уложенные вдоль побережья обыкновенные бетонные блоки, защищающие берег от штормов, которые в обычные дни люди просто не замечают, так как укладывались они на глубине нескольких метров, я с максимальной осторожностью удержался на самом гребне волны и легко перелетел через опасное место.

Затем я встал на ноги, а «моя» волна покатилась дальше, чтобы через пару секунд превратиться в густую пену на каменистом берегу. И, слыша, как сзади меня опять нарастает грозный рёв, я бросился на дно и что есть силы уцепился обеими руками за камни. Только бы удержаться, только бы удержаться, не то меня опять вынесет в море!

И сразу же дно опять стало морем, и на меня опять хлынула вода, больно ударяя поднятой со дна галькой. Это был как раз тот случай, когда пальцы у меня посинели от напряжения, но я удержался. И даже почувствовал некоторое облегчение оттого, что сверху на меня навалилась, как огромная водяная туша, следующая волна, а как только она, прокатившись, зашипела и заревела впереди, я опять вскочил на ноги и сделал несколько шагов вслед за ней.

И снова бросился на землю, цепляясь пальцами за камни…

А потом с радостью констатировал тот факт, что напор тянущей меня обратно в море воды стал ослабевать, да и камней, которые она несла вместе с собой, становилось меньше.

После третьей волны я уже сидел на берегу и с грустью рассматривал содранные в кровь пальцы и кровоточащее колено на правой ноге.

Чепуха, усмехнулся я сам себе, заживёт как на собаке. Зато в штормовом море поплавал…

На следующий день шторм в Ялте стих, и Чёрное море снова стало таким же нежным и послушным, как котёнок. Опять на пляже некуда было ступить, опять от людских тел рябило в глазах, и снова, чтобы поплавать, надо было пройти сначала не одну груду загорающих на солнце людей.

Но я в море не заходил. Я только смачивал морской волной ступни ног и тут же возвращался обратно на свой лежак. Плавать мне не хотелось. Потому что передо мной была вода, которую я боялся.

Но смерти я не боюсь, мысленно улыбнулся я и скосил глаза вправо: кажется, смеркается. Это значит, что я лежу на спине уже достаточно долго, весь день, но повернуться даже на бок не могу, нет сил. Впрочем, и были бы — поворачиваться б не стал. Зачем? Что бы это изменило? На спине лежать или на боку — результат один и тот же.

Но вот почему мне вспоминаются в этот мой последний день именно те эпизоды из жизни, когда стоял на краю, объяснить не могу. Ведь можно было бы воскресить в слабеющей уже памяти странички любви, вспомнить о женщинах, о друзьях, о своих родителях, наконец, а в голову идут и идут картинки бытия, в которых моя Жизнь и моя Смерть как бы соперничали друг с другом: кто победит?

До этого пока побеждала Жизнь, раз я до сих пор ещё живой. Но почему я не жил, а словно шагал по минному полю? Почему?

Ну например: мне было всего три года, когда мы сбежали от голода 1947 года из послевоенного Запорожья в небольшой хутор Люцерна, где жили мои дедушка с бабушкой. А так как время было суровое, всего два года как закончилась война, то взрослые с утра и до вечера были заняты работой, а мы, дети, были предоставлены самим себе.

Это на земле-то, густо нашпигованной всевозможными «гостинцами», оставшимися от двух воюющих армий, и до сих пор изрезанной полузасыпанными траншеями, землянками, блиндажами!

Поэтому когда я появился в доме со снаряженным в руках выстрелом от противотанковой сорокапятки, то бывшая «на хозяйстве» бабушка даже не обратила на это внимания. Мало ли такого добра разбросано в сельских окрестностях!

Как говорят по такому случаю на Украине, «чим би дитя не бавилось, абы не плакало»…

Но я, засунув опасную находку в деревянный штакетник забора, сумел-таки расшатать снаряд и, добравшись до пороха, быстро набил им свою майку.

А артиллерийский порох, надо сказать, сильно отличается от обычного: тот вспыхивает сразу весь, и всё, а этот внешне напоминает макароны — такой же длинный и жёлтый.

Вот бы поджечь! И посмотреть, как он горит.

А где у бабушки спички? Там, где печь. И, убедившись, что та занята на огороде какой-то работой, я поспешил в дом.

Быстро нашёл спички, поджёг первую макаронину…

Но, к моему удивлению, артиллерийский порох хоть и горел бездымно и ярко, но горел медленно, постепенно, не так, как мгновенно вспыхивает чёрный порох от винтовочного патрона, это я уже видел не раз.

И, несколько даже раздосадованный увиденным, я начал подкидывать в небольшой костерок на полу всё новые и новые макаронины: откуда мне, трёхлетнему пацану, было знать, что для того, чтобы горение пороха ускорилось, ему нужно ограничить пространство?

Чем выше давление, тем порох быстрее сгорает.

И мой костерок вспыхнул с такой силой, что я испугался и начал затаптывать огонь ногами. Но макаронины прилипали к тапкам, разгораясь ещё сильнее, и у меня задымилась от огня майка.

И в этот момент на пороге появилась бабушка. Она мгновенно оценила ситуацию, схватила с кровати рядно (одеяло) и быстро набросила на огонь. А меня увесистым шлепком отправила в угол.

Ну а если бы она зашла в дом не в этот момент, а, скажем, через минуту — что тогда? Не разделил бы я участь многих моих послевоенных сверстников, подорвавшихся на мине или снаряде, угоревших от пожара, заснувших на стерне и раздавленных трактором?

Почему судьба хранила меня и не сберегла их? В чём тут великий Божий Промысел? Разве они менее меня были достойны жить на этой земле, учиться, работать, любить женщин и воспитывать детей?

Почему кому-то выпадает один жребий, а другому — другой, хотя ни тот, ни другой ничем особенным не выделяется? Неужели только его величество Счастливый Случай?

Ещё один памятный эпизод из того же 1947 года: мой старший брат нашёл где-то на задворках нашего дома немецкую «лимонку» — это ярко раскрашенная в жёлтый цвет ручная граната оборонительного действия, её бросают только из-за укрытий.

А так как только недавно прошёл дождь, то она была вся в грязи.

Увидев такую грязь в руках моего брата, мать, мывшая как раз в это время оконные рамы, отобрала «игрушку», чтобы помыть.

— И мне дай поиграться, и мне,— захныкали мы с сестрой, видя, какой красивою «лимонка» становится под материнской тряпкой.

Что было бы дальше, нетрудно догадаться: кто-то из нас непременно бы разогнул «усики» чеки, выдернул бы её, и все четверо мы так и остались бы возле бабушкиного дома — убойную силу осколки «лимонки» сохраняют на расстоянии в двести метров!

Но надо же было такому случиться, что в это же время по сельской улице шёл мужчина, и не просто мужчина, а человек, который понимал в этом толк. И чтобы он (с улицы!) заметил в руках моего брата смертельно опасный предмет. И чтобы он, не мешкая, перелетел через деревянный забор и буквально вырвал из детских рук в любую минуту готовую взорваться гранату.

— Вы хто такый? Вы чего отбираете игрушку у дытыны? — набросилась на него мать.— Не стыдно?

— Игрушку? — опешил тот.— А ну марш за хату!

И, убедившись в том, что поблизости никого нет, метнул в наш огород гранату…

Так у моей матери появились на голове первые седые волосы. А было ей тогда всего двадцать девять лет.

Но всё-таки… Откуда взялся на нашей пустынной в летнее время сельской улице военный человек? Кто его послал? Зачем?

И я не знаю. Так как во все эти сказки про добрых ангелов и злых фей не верю с детства.

Но и случайностью подобное совпадение назвать нельзя. Ну, раз может быть случайность, второй раз, а если такие «случаи» идут один за другим, если они чередуются, как освещённые окна вагонов проходящего мимо ночного поезда?

Что тогда?

Моя армейская служба в Германии складывалась непросто. Но, как говорится, талант, если он есть, не пропьёшь, и к концу моего обучения в учебном полку в небольшом немецком городке Нойруппине под Берлином красовалась возле штаба моя огромная, метр на полтора, чёрно-белая фотография. В числе других шести выставленных там фотографий — лучших курсантов учебного полка.

А было в тамошнем полку, теперь это уже никакая не тайна, одиннадцать учебных рот по сто десять человек в каждой. Не считая приданных к нему частей — танковой роты, автобата, батальона связи, хозяйственных служб и т. п.

— Я вам его не отдам! — подслушал я как-то разговор своего ротного, капитана Худяшова, с начальником особого отдела полка капитаном Калининым. И сразу понял, что речь идёт обо мне.— Я столько лет в армии — и впервые вижу человека, который за полгода заработал сорок восемь благодарностей! Он лучший курсант полка, а вы на него доносы собираете!

Что было, то было, но я сейчас не об этом. А о том, что близился у нас в роте выпускной экзамен по ночным стрельбам из бронетранспортёра, и мы все были на взводе. Из Потсдама, где располагалось высокое начальство ГСВГ, в Нойруппин прибыла комиссия, и весь офицерский состав полка, да и нашей одиннадцатой роты, внутренне трепетал.

Хорошо отстреляемся — это одно, возможны преференции. Очередные воинские звания, направление для командира роты на учёбу в Академию Генерального штаба, чего он уже давно ждал. А если нет…

Если нет, то это непременно начальственный разнос со всеми вытекающими из этого последствиями.

Словом, отстреляться надо было хорошо…

И вот в один из майских дней, как только стемнело, мы стали выдвигаться на полигон. Была прекрасная ночь, ясная, звёздная, и командир нашего взвода старший лейтенант Ткаченко, косо поглядывая на группу людей у кромки стрелкового поля (я среди них узнал только командира нашего полка, Героя Советского Союза, полковника Зарембо), вполголоса скомандовал:

— На огневой рубеж — шагом марш!

Мне предстояло стрелять по мишеням где-то в середине, строй в шеренге определялся ростом, а он у меня, как говорится, средний. Но старший лейтенант, ещё раз оглянувшись на комиссию и занятых разговором с нею старших офицеров полка, легонько подтолкнул меня в бок:

— Выходи!

В армию вопросов не задают, и через секунду я уже стоял в строю двоих курсантов, поджидающих на исходной позиции бронетранспортёр. Машина подошла, мы запрыгнули в неё через борта, а наш взводный занял своё место впереди кузова, стоя в полный рост.

— Заряжай!

Привычно щёлкнули затворы, первый патрон дослан в патронник, а дуло автомата заняло своё место в бойнице бронетранспортёра. К стрельбе готовы…

И тут же над полигоном взлетела вверх яркая осветительная ракета, и я увидел перед собой чёрное поле, показавшееся бесконечным. А затем и свою первую цель — всего их будет три. Машина идёт на полном ходу, наскакивая на бугры, проваливаясь в кочки, но я заученно ловлю цель на мушку и плавно наживаю на спусковой крючок.

Дык-дык… Две трассирующие пули, как огненные ниточки, отправляются к цели, не оставляя мишени никаких шансов — уж что-что, а стрелять я умею.

Вторая цель, третья, и я облегчённо вздыхаю. Отличный результат: цели поражены, а израсходовано на это, как и положено, всего шесть патронов.

Значит, пятёрка.

Мой напарник отстрелялся похуже, на четвёрку, но тоже неплохо.

И опять-таки до автоматизма натренированными движениями мы отсоединяем от своих автоматов рожки с оставшимися патронами (их там было по двадцать) и практически синхронно передёргиваем автоматные затворы, чтобы вынуть оставшийся в патроннике патрон.

А затем, снова нажав на спусковой крючок и услышав сухой холостой щелчок, бодрым голосом докладываем: мол, такой-то и такой-то стрельбу окончили.

— Молодцы! — хвалит нас взводный и снова толкает меня в бок: ложись, мол, на днище бронетранспортёра.

И я ложусь, понимая его замысел, а мой напарник покидает машину, и через секунду новая пара стрелков с автоматами в руках появляется в кузове. Всё тем же тихим голосом Ткаченко даёт мне команду занять огневую позицию, а одному из пришедших велит идти на моё место на днище кузова.

И я снова так же точно поражаю показывающиеся в свете осветительных ракет нужные мне цели.

Так повторяется несколько раз, до тех самых пор, пока последняя пара курсантов не отстреляется на огневом рубеже: я в первой бойнице, мой новый напарник — во второй. А тот, за кого я сейчас стреляю, лежит и ждёт своего часа на днище бронетранспортёра.

Что было, то было, из песни слов не выкинешь…

Но тут случилось то, ради чего я и веду весь этот рассказ: отстрелявшись и, как всегда, чётко поразив свои цели, я опять-таки заученным до автоматизма движением разрядил свой автомат и сухо щёлкнул затвором.

«Молодец!» — хотел, наверное, сказать командир взвода, но не успел: в это же самое время мой новый напарник, держа автомат стволом в борт, отсоединил магазин и вместо того, чтобы, передёрнув затвор, достать из патронника ещё и оставшийся там патрон, нажал на спусковой крючок.

В армии это бывает, и тот же Ткаченко, когда мы бросали зимой боевые гранаты, продемонстрировал нам образец поведения настоящего русского офицера: находящийся в окопе курсант выдернул из гранаты чеку и вдруг, то ли от страха, то ли от неловкости, неожиданно уронил её себе прямо под ноги. И застыл от неожиданности, белый как смерть.

А стоявший на бруствере Ткаченко это увидел и тут же коршуном свалился в окоп, схватил гранату и выбросил её через бруствер.

Она так и взорвалась рядом с бруствером, в полуметре от окопа, обсыпав всех нас комьями мёрзлой земли…

Но там у него было две-три секунды на это, а тут из автомата вылетает трассирующая пуля, ударяется в скошенный борт бронетранспортёра, рикошетит, ударяется во второй его борт, снова рикошетит и только после этого вертикально взмывает вверх, осыпая чёрное небо над нами красивыми красными искрами.

Секунду в кузове боевой машины висит гробовая тишина, а затем раздаётся всё тот же тихий мат командира взвода:

— Ты что же это делаешь, подлец? Ты же нас всех одной пулей мог уложить! Почему ты не разрядил автомат?

Но нам повезло. Повезло и в другом: к счастью, комиссия так ничего и не заметила…

А вот я замечал, и не раз: случались в моей жизни вещи, которые простым совпадением объяснить нельзя. Я уже упоминал, например, о попытке малолетнего пацана разжечь костёр из артиллерийского пороха на полу жилого дома — там мне на помощь пришла бабушка. А вот кто на помощь пришёл к нам в тот зимний день на Зееловских высотах под Берлином, когда мы участвовали в учениях стран Варшавского договора и когда, совершив продолжительный марш «на колёсах», присели на опушке леса, чтобы отдохнуть возле наскоро сооружённого костра?

Сидело нас у огня ровно одиннадцать человек, наше отделение, лучшее отделение роты, а может, и всего полка. Весело потрескивал валежник, от соснового дыма приятно пахло родиной. В ожидании скорого обеда мы расслабились, подшучивая друг над другом, курили…

Как вдруг кто-то ковырнул в снегу палкой, и оттуда, из-под снега, показалась пробитая пулей немецкая каска.

— О, смотрите, фрицева каска…

Каска прошлась по рукам, потом снова вернулась к обнаружившему её курсанту.

— И где теперь косточки твоего хозяина?..— полушутливо промолвил тот и вдруг, вытащив из солдатской шинели горсть холостых патронов, высыпал их в каску.— Вот мы ему сейчас просалютуем!

И бросил каску в огонь.

А какой-то идиот лучшего отделения роты, а возможно, и полка, перевернул каску верх ногами, так что она накрыла собой попавшие на костёр патроны.

И каска взорвалась!

Хотя патроны были без пуль, «холостые», но находящегося в них пороха оказалось вполне достаточно для того, чтобы разнести железную каску на мелкие кусочки, которые со страшной скоростью разлетелись по сторонам.

Они с такой силой впились в растущие рядом сосны, так густо исцарапали стволы деревьев, что нам, когда мы всё это увидели, стало не до смеха.

— Никого не зацепило?

Никого!

Одиннадцать человек сидело кружочком возле костра, десятки, а может, и сотни смертоносных осколков просвистели мимо ушей, и хотя бы одна царапина! Все здоровенькие и целёхонькие!

Ну разве не чудо?

Конечно, чудо. Я часто потом вспоминал об этом эпизоде из своей богатой на подобные случаи жизни и не находил объяснения.

Как не находил я объяснения и тому, что произошло со мной, когда после четвёртого курса Уральского государственного университета я уехал на преддипломную практику в пермскую областную газету «Звезда».

— А не съездить ли тебе в командировку в Александровск?— задумчиво посмотрел на меня мой газетный опекун, руководитель практики и одновременно заведующий отделом промышленности редакции Николай Кустов.— Познакомишься с бытом провинциального уральского городка, сходишь на местный машиностроительный завод— это уцелевшее детище самого Демидова!

— Так-таки и Демидова?— усомнился я.— Что, и паровые машины до сих пор стоят?

— Да нет, машин там паровых давно уже нет... Но стены— демидовские, они многое что помнят.

Вот этими демидовскими стенами и запомнилась мне та поездка.

Я быстро добрался на поезде до Александровска, устроился в гостинице. А затем, по уже заведённой традиции, пошёл знакомиться с городом.

Была, как сейчас помню, ранняя осень, сухо, тепло, возле городского пруда, который когда-то «питал» демидовские машины своей энергией, ветер гонял жёлтые листья. Вокруг пахло сыростью и грибами.

Походив какое-то время по городу, я вернулся в гостиничный номер и стал отдыхать.

А на следующий день, прямо с утра, отправился пешком на машиностроительный завод, мысленно прокручивая в уме возможные варианты использования своего визита в газете. Можно, конечно, сделать простой рабочий репортаж о трудовых буднях, так сказать, старинного завода, но это не очень интересно. А можно, но это если повезёт, выйти на какой-нибудь захватывающий сюжет. Что-то типа переклички эпох в судьбах людей...

Но для этого хорошо было бы с кем-нибудь познакомиться, со стоящим человеком. А где его взять? Как на него выйти?

Однако с парткома, как это обычно делается в таких случаях, мне начинать не хотелось, и я для начала решил просто пройтись по цехам самостоятельно и познакомиться сначала с заводом, почувствовать его «запах». И уверенно зашагал в сторону невысокого, но очень добротного кирпичного здания, своей причудливой архитектурой напоминавшего мне, безусловно, демидовские времена.

По дороге я уточнил, как в него попасть, у проходившего мимо рабочего. На что тот охотно пояснил:

— Можно обойти это здание с той стороны и войти в него через главный вход. А можно и через ту вон дверь: видите, на петле болтается?

И он показал рукой на деревянную дверь, к которой вела утоптанная многими ногами людей тропинка.

Я и пошёл напрямик к указанной двери— главный вход мне был пока ни к чему. А подойдя, резко потянул дверь на себя. И застыл на пороге...

Прямо передо мной, метрах в десяти, трое вооружённых большими гаечными ключами рабочих закрепляли для последующей обработки на огромном, метра два в диаметре, револьверном станке большую стальную болванку. Но, видимо, закрепили они её недостаточно крепко, как потом оказалось, а может, болты не выдержали, не знаю. И уже не узнаю никогда.

— Готово? Готово! Включай!

Большой металлический диск станка резко крутнулся вокруг своей оси и, раскрутившись, мгновенно набрал заданную скорость. Но не успел он сделать и дюжину оборотов, как плохо закреплённая на станине огромная металлическая деталь вдруг сорвалась со своих креплений и с огромной скоростью полетела в мою сторону.

И тут повторилось то, что я уже видел в Уфе, когда мы с Витюшей пытались перебежать дорогу, не убедившись, что на ней нет машин. В моей памяти навсегда отпечатались вмиг посеревшие лица рабочих, увидевших меня (откуда он взялся?), к которому медленно приближается (на самом деле летела она с пугающей угловой скоростью) огромная металлическая болванка, весящая даже по приблизительным расчётам несколько пудов!

Я уже зажмурил глаза в ожидании неминуемого удара, успев, правда, почему-то заметить перед этим на летящей прямо на меня болванке лёгкую окалину после отжиговой печи.

Всё это, конечно, происходило в считанные миллисекунды, болванка приближалась ко мне с огромной скоростью, а мне показалось, что движется она как черепаха в кинохронике.

Наконец, обдав меня запахом машинного масла и ещё чего-то, продолжая свой смертельно опасный полёт по круговой траектории, металлическая болванка всё-таки пролетает мимо и врезается со всего лёту в толстую кирпичную стену здания.

В метре от меня!

И практически пробивает кирпичную стену насквозь — не выдержали метровые демидовские стены такого удара…

А что сделал я? Я молча развернулся на пороге, в цех-то я так ещё и не вошёл, а затем круто развернулся обратно и, плотно прикрыв за собою дверь, вышел на улицу. И больше на Александровском машиностроительном заводе меня не видели — я привёз для газеты совсем другие материалы…

Я лежал и чувствовал, что силы меня покидают. Мысли начинали путаться, давнее становилось вчерашним, а вчерашнее, наоборот, уходило в глубь веков.

Вдруг вспомнился совсем забытый прежде эпизод, когда я в пять-шесть лет чуть не попал под самодельную пулю: старшеклассники пристреливали свои самопалы, сделанные из стволов трёхлинейных винтовок, и заставили меня держать в руках шапку — не было в нашей балке подходящей для этого цели. А может, не было у тех пацанов ума, не знаю…

Шапку я, конечно, держал, и один раз кто-то даже по ней попал, а вот второй выстрел угодил в меня. Сделанная из свинца пуля больно ударила меня по руке, и, бросив шапку, я побежал домой, зажимая ладонью второй руки хлынувшую из раны кровь.

А если бы стрелявший попал тогда не по руке? Или: а что, если бы в качестве заряда для самопалов использовался порох, а не спички, — что тогда? Осталась бы у меня целой рука?

Не у кого спросить мне, да и незачем. Поздно.

Но я-то это почему-то помню!

В Свердловске в ту зиму стояли крепкие тридцатиградусные морозы. Идти никуда не хотелось, и я лежал в общежитской койке с раскрытою книжкой в руках. Впереди маячило воскресенье, и в преддверии его я набирал в университетской библиотеке по улице Белинского горы книг на предстоящие выходные.

В воскресенье наша библиотека не работала. Как тут на пороге появился Витюша и радостно закричал:

— Ребята! А у нашего Адама появилась наконец девушка! И он сегодня хочет остаться с ней наедине!

В комнате №5 студенческого общежития на Чапаева, 16, мы жили впятером, и через минуту она напоминала растревоженный улей: каждый предлагал свои варианты решения возникшей проблемы. Надо было «разбежаться» на предстоящие выходные. Кто-то засобирался к родителям, кто-то вдруг вспомнил про своих родственников, и только мы с Витюшей не могли ничего предложить.

До дома и ему, и мне далеко, родственников нет, хороших знакомых — тоже. Как быть?

— Ребята, а может, не надо? — слабо запротестовал Адам, видя наши серьёзные намерения устроить ему и его девушке рандеву.

— Надо, Адам, надо! — похлопал его по плечу Витюша и повернулся ко мне: — А что, если мы с тобой рванём куда глаза глядят? Сядем в электричку на вокзале, купим билет до ближайшей станции — и вперёд!

— В такой-то мороз?

— Да ну, чего там… Возьмём в общежитии лыжи, покатаемся… Мы же стипендию только вчера получили!

Этот последний аргумент перевесил всё остальное, и вскоре мы ехали вместе на железнодорожный вокзал, приятно ощущая за плечами тяжесть доверху наполненных рюкзаков. В руках у нас были стандартные беговые лыжи со студенческой спортивной базы, а в рюкзаках — материализованная стипендия. Шесть чекушек «Московской» водки, пара кругов краковской колбасы, трёхлитровая банка томатного сока, хлеб, сыр, сахар…

Не помрём!

Разумеется, запаслись мы и спичками, но что они значили в тридцатиградусный мороз, когда у нас из инвентаря был один лишь небольшой туристический топорик?!

И тем не менее в хорошем расположении духа, купив в пригородных кассах билеты по двадцать пять копеек в какую-то сторону, мы сели в первую же попавшуюся электричку, и она сразу же тронулась с места. Быстро смеркалось, и мы с удовольствием приготовились «ловить приключения», вглядываясь в чёрную стену леса в вечерних сумерках за окном.

Когда городские окраины остались позади и за окном пошли сплошные, без разрывов, леса, я не выдержал и толкнул своего напарника локтем:

— Может, сойдём?

Но тот только замотал в ответ головой:

— Давай проедем ещё! Минут десять-пятнадцать…

Я согласился, но как только поезд притормозил на минуту на каком-то Богом забытом полустанке, мы, не сговариваясь, бодро шагнули в открытую дверь тамбура и спрыгнули на снежный наст.

Электричка дрогнула, застучала и через пару минут исчезла в ночи.

А мы остались вдвоём в кромешной темноте и в полном одиночестве на железнодорожной насыпи.

«Хорошо хоть утеплился максимально»,—пронеслось у меня в голове, и я по привычке похлопал надетыми на обе руки варежками. А надел я действительно на себя всё, что у меня было. Кроме выходного костюма, разумеется.

— Ну что, двинули?—уверенно произнёс Витюша, как будто мы с ним приехали в родные края и через какое-то время нас ждёт дома горячий ужин.

И, встав на лыжи, мы с ним отважно съехали с насыпи прямо в ночной лес.

Идти пришлось, наверное, часа два, не больше, пока мы не вышли, разогретые ходьбой, на небольшую деревушку, залитую луной. И жители которой, разумеется, давно уже спали.

Она появилась как бы из ничего и возникла так внезапно и неожиданно, что мы невольно остановились. Привлекли внимание её аккуратно сработанные избушки, которые до этого я встречал только в кино.

— Вот оно, царство Берендея!—в один голос воскликнули мы, очарованные такой красотой.

Но ведь не для того же мы проделали такой путь—из самого Свердловска!—чтобы любоваться ночью какой-то уральской деревушкой!

И мы храбро заскользили на лыжах мимо спящих домов туда, где чернел лес. Один, второй, третий, а вот уже и конец селения—дальше до самого края виднелись одни деревья.

— Эй, вы куда это собрались?—услышали мы вдруг сзади зычный старческий голос.

А оглянувшись, увидели белобородого мужика в наспех накинутом поверх ночной рубашки овчинном тулупе—видимо, вышел во двор по нужде.

— Да так, вот туда,—неопределённо махнули мы в сторону чернеющего леса лыжными палками.

— Вы что, сумасшедшие?—закричал старик.—Да там на сто километров нет никакого жилья! Замёрзнете…—и, не дожидаясь наших слабых возражений, тут же скомандовал:—А ну-ка давайте заворачивайте до хаты! Переночуете у меня, а потом пойдёте утром куда вам надо…

Спустя какое-то время мы сидели с ним за столом в его хорошо натопленной избе и с удовольствием пили горячий душистый чай.

От водки наш хозяин наотрез отказался: не те, мол, уже годы,—а вот колбаску городскую попробовал—в деревне такого деликатеса не отыщешь…

Однако на следующий день, когда наступило утро, мы долго задерживаться в гостях не стали: расспросив старика о дороге и попив на прощание чаю, мы снова встали на лыжи и покатили из деревни.

При дневном свете, надо сказать, она выглядела не так заманчиво, как ночью. Обычные дома, обычная деревня. Но снег был слежавшийся, лыжи скользили легко, и мы проделывали в час, как я думаю сейчас, не менее десяти-пятнадцати километров. Так что, когда наступило время обеда, мы как-то удачно, само собой, вышли на берег какого-то занесённого снегом озера и увидели на его берегу что-то наподобие избушки.

Вернее, это была даже не избушка, а обыкновенная нора, вырытая рыбаками в отвесном глинистом берегу и служившая им, видимо, каким-никаким, а всё-таки укрытием в летнее время от непогоды.

На входе в эту нору болталось даже что-то вроде похожее на деревянную дверь, и это окончательно определило выбор нашей стоянки. Раз есть деревянная дверь, то мы здесь будем не первыми жильцами.

— Вот здесь мы и переночуем,—оглядел землянку мой напарник. И потом коротко добавил:—Вон как быстро темнеет…

И впрямь зимой на Урале темнело быстро, так что, несмотря на обеденный час, о будущем ночлеге нужно было побеспокоиться заранее. Натаскав хвороста, мы разожгли вблизи нашей норы костёр и очень хорошо и плотно пообедали. А заодно и поужинали: к концу нашей трапезы на небе уже высыпали звёзды…

Потом мы, конечно же, ещё утеплились: наломали и наносили в «домик» сосновых и еловых веток, пристроили поплотнее к стене дощатую дверь…

Проснулся я где-то далеко за полночь, и проснулся даже не от холода—я его уже не ощущал. Мне просто захотелось выйти по нужде, а я, несмотря на все свои старания, так и не мог расстегнуть на брюках пуговицы. Ставшие словно чужими пальцы меня не слушались, и, потоптавшись минут пять-десять безрезультатно на тропинке, я снова заполз в берлогу.

Но спать уже не хотелось.

— Вить, а Вить,—позвал я своего приятеля, который тем не менее лежал на спине на хворосте и по-богатырски храпел среди этого ледяного безмолвия.—А ведь, кажется, мы замерзаем…

Тот, недовольный тем, что я его разбудил, зашевелился, вытащил откуда-то из темноты на свет свою голову и встряхнул ею так, как будто стряхивал снег.

Потом уставился на меня:

— Тоже мне скажешь—замерзаем… Я счас…

Он достал из кармана спички, свернул в комок клочок газеты и попытался было высечь огонь.

Но и в его скрюченных от холода пальцах спички не держалась.

Уронив под ноги одну, он достал вторую, третью…

Тот же результат. Сизифов труд.

— Вот видишь…—где-то отстранённо и как-то сбоку прозвучал в темноте мой голос.—А говоришь… Ладно, давай дожидаться утра.

Конечно же, никакого утра мы с ним бы не дождались: наверное, только ближе к весне кто-нибудь и обнаружил бы случайно в этом рыбацком логове наши закоченевшие на холоде тела.

Но, видимо, с этим не согласились на небесах; во всяком случае, именно так бы оно и было, не высеки мой приятель всё же слабый огонёк полусломанной спичкой. Газетка в руке загорелась, от неё вспыхнул заранее приготовленный для костра хворост, и вскоре в нашей землянке запахло едким, но спасительным дымом…

А пока разгорался костёр и пока мы в него подбрасывали всё новые и новые ветки, то вместе с этим росло и наше желание побороться с мучительным холодом. Мы даже попытались согреться возле ночлега, бегая по замёрзшей поверхности озера.

Ночь была тихая, безветренная, а ярко горевшие звёзды можно было потрогать рукой.

Потом мы попытались было разогреть себя водкой, но из этого ничего не вышло: совсем остывшее на морозе спиртное, казалось, потеряло все свои градусы, и мы пили водку из чекушек с таким же ощущением, как пили бы простую воду.

Однако и она, и съеденная «на закуску» колбаса всё же сделали своё дело и вернули нас к жизни. А главное, заставили снова бороться за своё выживание. И вместо того, чтобы ловить молекулы тепла у костра, мы снова встали на лыжи, взяли в руки палки и начали спускаться с небольшого косогора наперегонки.

Хотел бы я видеть того человека, который бы попал на эти «соревнования горнолыжников», проходившие в три-четыре часа утра!

В тридцатиградусный мороз, в нескольких десятках километров от ближайшего жилья!

Что бы он подумал?

Однако же вскоре мы согрелись, и нам стало жарко. А когда совсем рассвело, мы свернули свой лагерь и, не задерживаясь на старом месте, снова тронулись в путь.

И вскоре наткнулись, на своё счастье, на бригаду лесозаготовителей, валивших лес. Которые и направили нас в нужную сторону, к электричке…

Но вот какая любопытная деталь: когда лет двадцать или немногим больше спустя мы сидели с Витюшей в его московской квартире и я решил напомнить ему о той нашей сумасшедшей совместной вылазке, то он только удивлялся, слушая мой рассказ, и недоверчиво крутил своей всё такой же кудрявой головой.

Надо же! А сам он не помнил ничего!

И даже то, что мы с ним чуть не погибли в глухой уральской тайге, не отложилось в его сознании.

Почему же тогда это помню я? Что это был за знак? И чей?

И кто был этот старик, встретившийся нам ночью в глухой уральской деревне? Посланник от Бога или же ангел?

Кто мне ответит на этот вопрос?

Наверное, никто. И я чувствую, как силы начинают покидать меня… Трудно становится дышать, горит голова…

Сильно шумит в ушах, молотом бьётся сердце.

Наверное, это конец, ну и слава Богу. Я сделал всё, что мог и что мне дали сделать. А что не успел, так уже не успел. Доделают другие.

Резкая боль в груди, хочется кричать, но язык словно прилип к нёбу.

Нечем дышать, совсем нет воздуха. Что-то вроде бы падает сбоку, свалился, наверное, на пол сотовый телефон, а может, это уже мне кажется.

И где же ваши вспышки, где же свет в конце какого-то туннеля, о чём я не раз читал?

Ничего этого нет. Сплошная темнота. Мрак. Могила.

Единственное, о чём я жалею в эти секунды, так это о том, что не с кем будет мне обсудить свой уход, не с кем будет переговорить.

Но что это за голоса? Это *тут* или уже *там*?

Не понял…

Всё, ребята, вы опоздали, я уже ничего не слышу. Я уже где-то там, внизу или наверху, это вам как угодно, но я уже там. На земле меня нет.

Я—умер.

Эльдар Ахадов

Земля моей любви

Отцовская родня

Дед мой, Аббасгулу Ахадов, жил с семьёй на берегу реки Куры, в селении Уладжалы Сабирабадского района Азербайджанской ССР. Знаю, что родился он в 1870 году (то есть был ровесником В. И. Ульянова-Ленина), а умер в 1959-м, не дожив года до моего рождения и своего девяностолетия.

Имя своё дед, возможно, получил в честь первого азербайджанского просветителя нового типа Аббасгулу Бакиханова. Сын последнего правившего бакинского хана, Бакиханов — основоположник азербайджанской научной историографии, а его труд «Гюлистане-и-Ирем» — первое монографическое исследование академического плана. Вот та причина, по которой в середине девятнадцатого века в мусульманском Закавказье имя Аббасгулу было весьма популярно.

Алихас Аббасгулу оглы Ахадов, мой отец, родился в 1933 году, когда деду было шестьдесят три года. Он был его младшим сыном. После окончания школы в начале пятидесятых годов он поехал в Баку, поступил в индустриальный институт (АзИИ он тогда назывался), окончил его и остался работать в городе. Здесь мама и отец познакомились и поженились. Здесь родились я и мои сёстры.

Бабушку мою звали Сярфиназ, она происходила из другой деревни, ближе к Сабирабаду, и была дочерью обедневшего Таги-хана. У неё было два брата; большевики, придя к власти, вскоре расстреляли обоих. Знаю, что бабушка не только занималась обычными домашними делами, но и ткала прекрасные ковры. Я никогда её не видел (бабушки не стало задолго до моего появления на свет), но ковёр, вытканный её тёплыми, добрыми руками, помню в нашей бакинской квартире с раннего детства: с ею набранной нитками и шерстью в уголочке ковра датой — «1944», а ещё со старинным национальным орнаментом — бутой — по всему ковровому полю.

Детьми Аббасгулу и Сярфиназ были дядя Юсиф (Юсиф-эми), тётя Азизбеим (Азизбеим-биби), тётя Рубаба (Рубаба-биби), дядя Аббас (Аббас-эми), дядя Ханбала (Ханбала-эми) и мой отец — Алихас. Слова «эми» и «биби» в азербайджанском языке означают соответственно «дядя» (со стороны отца) и «тётя» (тоже со стороны отца).

Дед работал бакенщиком на реке, отлично плавал, как, впрочем, и мой отец: переплывал стремительную широкую Куру в обе стороны. Река Кура в тех местах течёт настолько стремительно и непредсказуемо, что порой местные её называют «дэли Кюр», что означает «сумасшедшая Кура».

У деда были (на мой взгляд) довольно обширные земли, расположенные между озером Ахмаз и рекой Курой. Ахмаз представляет собой старицу (отрезок бывшего русла) реки Куры. Сейчас эти земли разделены между теми его внуками и правнуками, которые продолжают жить в Уладжалах. И всем их достаточно.

Говорят, отцом Аббасгулу, то есть моим прадедом, был Ахад, родившийся ещё в годы правления императрицы Екатерины Второй. Возможно, Ахад был единственным сыном своих родителей, поскольку его имя в переводе с арабского и означает «единственный» (это — шестьдесят седьмое из девяноста девяти имён Аллаха Милосердного и Всемилостивого). В любом случае фамилия наша произошла от имени моего прадеда.

Однако не всем членам семьи удалось её сохранить. При оформлении документов дяди Ханбалы произошла ошибка, и его записали Ахмедовым. Так вместо Ахадова ниоткуда возник Ахмедов Ханбала. В дальнейшем его потомки остались Ахмедовыми.

Дядя Юсиф был настолько старше моего отца и остальных братьев, что все их дети звали его не иначе как Юсиф-баба (дедушка Юсиф), хотя он был им дядей, а не дедушкой, конечно. Когда грянула Великая Отечественная война, то дядю Юсифа по возрасту в армию так и не взяли, всю войну он проработал в колхозе. Колхоз в Уладжалах был хлопководческий, а значит, стратегически очень важный, поскольку хлопок нужен был для изготовления взрывчатки. Всю свою жизнь дядя Юсиф проработал на земле. Лицо у него всегда было тёмным от загара. Когда он почувствовал приближение смерти, то позвал родных, сказал им, что он умирает, и попросил постелить ему на голой земле. Ему постелили. Он лёг и умер. Через много лет его сын Билял, мой двоюродный брат, попросил однажды ночью о том же самом свою жену Джамилю. Она, плача, постелила ему

на земле… И он тоже умер. Они были сельскими тружениками, жили и работали на своей земле и любили свой дом, своих близких, свою деревню, свою землю.

Дядя Ханбала ушёл на войну в сорок третьем, когда подошёл призывной возраст. Успел повоевать на Украине, был автоматчиком. На юго-западе Украины в бою Ханбала получил тяжёлое ранение, фашисты прострелили ему автоматной очередью лёгкие. Мало того, у него, девятнадцатилетнего паренька, в госпитале начался туберкулёз…

Дядю Алибалу очень любила его мама, моя бабушка Сярфиназ. Он ушёл на фронт раньше Ханбалы и… пропал без вести. Бабушке было очень тяжело, она говорила, что он был очень добрым, послушным ребёнком в детстве. Если бы он дерзил или вёл себя как-то нехорошо, то, может быть, его было бы легче забыть, но она не могла вспомнить ни одного такого случая, их не существовало. И от этого становилось ещё тяжелей, невыносимо тяжко…

Нет уже на свете ни набожной, соблюдавшей все намазы тёти Азизбеим (а в кармане широкой юбки — прячутся припасённые конфетки для маленького Эльдара), ни радушной, улыбающейся тёти Рубабы (она в моей памяти такой и осталась — с распростёртыми руками, радостной, громкоголосой, бегущей по сельскому двору навстречу мне, своему племяннику), ни дяди Ханбалы (с пахучими нежными персиками в раскрытых ладонях: «Бери, сынок, это тебе»).

Остались их дети, мои двоюродные братья и сёстры: Али-Магомед, Нигяр, Шофкет, Тейбала, Теймир, Али-бала, Эльсафа, Низам и другие, много… Народились их внуки и правнуки. И в Азербайджане, и за его пределами они теперь: растеклось по всей земле потомство моего прадеда — Ахада, чьё имя означало «единственный».

Из-за тебя

Если у тебя убыло нечто, не огорчайся, но возрадуйся за ближнего своего: ибо прибыло у него. У Бога всё соразмерно. И когда убывает твоё, прибывает другому. И когда прибывает тебе — у другого становится меньше. И так всегда. И потому: не спеши ликовать и не торопись огорчаться о себе, но умей сорадоваться другому и печалиться его печалями, ибо все они — из-за тебя.

Однажды ночью…

Это было такой же январской ночью с девятнадцатого на двадцатое в 1990 году. По проспекту ехал старенький автобус, в котором возвращались с завода домой рабочие после смены. На переднем сиденье рядом с отцом находилась девочка-школьница, упросившая его взять её с собой на работу. И вдруг впереди по курсу движения автобуса возник бронетранспортёр. Прозвучала пулемётная очередь. Пуля попала ребёнку в сердце. Ещё не осознав происшедшего, отец подхватил мёртвую девочку на руки и вынес её из расстрелянной машины. Вторая очередь из пулемёта пришлась уже по нему… Девочку звали Лариса.

По пригородной автотрассе двигалась колонна бронетехники. На обочине, пропуская колонну, стояли «Жигули». За рулём сидела женщина. Было светло, потому что было утро. Внезапно одна из боевых машин свернула с дороги, аккуратно переехала через «Жигули» и, возвратившись на дорогу, продолжила движение в колонне. Женщиной, которая находилась в машине и спешила на работу в то утро, была доктор химических наук, профессор Светлана Мамедова, первая женщина-учёный, получившая степень доктора наук в области высокомолекулярных соединений.

Броневая колонна шла по улицам города. Из неё продолжали раздаваться пулемётные очереди, просто так — по окнам роддома, по детской больнице, по жилым домам… На полу одной из квартир лежала бездыханная семнадцатилетняя девушка. Её звали Верочка Бессантина, пуля попала ей в голову.

По дороге к посёлку из города по вызову ехала машина скорой помощи. В ней торопился к больным молодой дежурный врач… Солдаты расстреляли и машину, и врача, находившегося в ней. Его звали Александр Мархевка. Никто из больных никогда уже его не увидит, но всё-таки он сделал для них всё, что мог тогда, — отдал свою жизнь.

На тротуаре городской улицы стоял слепой старик, случайно потерявший свою палку. Мимо проезжала военная колонна. Один из солдат спрыгнул с БТРа, подошёл к старику, ударом приклада свалил его на асфальт, вторым ударом при помощи штык-ножа добил слепого и вернулся назад, на броню. Колонна двигалась дальше.

Я видел много фотографий. И на каждой из них было множество расстрелянных и раздавленных танками тел: в морге, а больше — просто на городском асфальте. Среди них были взрослые и дети, мужчины и женщины, подростки и старики. Все они умерли в ту ночь или наутро. Помню фотографию подростка без ног, которые, по-видимому, остались под гусеницами. Но он умер не от этого, нет. За ухом у него я разглядел аккуратное пулевое отверстие. Значит, стреляли в упор. Значит, раненых добивали.

Я помню (через целый месяц после этих событий, уже в конце февраля!), как удивили меня странные ржаво-коричневые потёки вдоль тротуарного бордюра в районе площади, которую с тех пор называют в народе Кровавой. Потом я узнал, что это высохшая кровь — ещё с той ночи. Сколько же её было пролито, если вдоль проезжей части нескольких городских улиц текли к морю кровавые ручьи от тел, расплющенных танковыми траками?

Говорят, чтобы скрыть количество убитых, трупы топили в море… Тысячи людей пропали без вести навсегда, сотни — похоронены в бывшем парке культуры и отдыха, превратившемся с той поры в кладбище.

Город, где всё это однажды случилось, называется Баку. А человек, приказавший сделать всё это, называется Михаил Горбачёв. Немцы его любят.

Твой друг

Ты спрашиваешь, где я сейчас? Не знаю… Скорее всего, в прострации… Пару дней назад утром я проснулся с ощущением голоса, который умолк только что. Это был голос моего друга Джафара. И я вспомнил сон: он говорил и улыбался мне так, словно мы расстались только что на вечерней бакинской улице Ага-Нейматулла. Словно не прошло десятков лет с той поры. Словно он всё ещё жив… «Эльдар! Приходи, я соскучился по тебе…»

И оба промелькнувших затем дня меня преследовали его мелодии, они звучали как воспоминания, не затихающие ни на миг. Я не помнил точно, где находится кладбище, потому просил отвезти меня туда с кем-нибудь из местной моей родни, чтобы положить цветы на могилу. Они поначалу отмахивались: «Да не забивай себе голову! У тебя же завтра день рождения! Радуйся, веселись!» Но, поскольку я продолжал настаивать, всё же отправили со мной мужа сестры, а по дороге к нам присоединились ещё двое общих знакомых, его и моих.

Я купил по дороге охапку алых, как кровь, гвоздик. Возле кладбища. Но оказалось, что это не то кладбище. То было не на горе, а ниже, под горой. И его могила была крайней среди небольшого количества иных могил. Не мог вспомнить точно, где… Приятели наши взялись нас довезти и уверенно подсказывали, куда ехать. Дорога становилась всё глуше. Асфальт кончился. Начались загородные дачи — одна шикарнее другой. Наконец братья-приятели радостно указали: вон там, вдали, на почти отвесном склоне горы! Нет. Это было не то место. Вернулись назад. Нашли хорошую новенькую дорогу, которая завершилась… великолепным зданием местного ГИБДД. Оно чем-то напоминало крымский замок «Ласточкино гнездо». На отвесном склоне. В растерянности я подошёл к краю обрыва. Здесь же была раньше дорога на кладбище! Неужели её срыли? Так и есть… Вот оно — далеко внизу, еле видно. А невдалеке ниточка железной дороги. Но отсюда туда теперь не попасть. Вскоре обнаружили дорогу вдоль горы. Однако сразу за её краем неведомо откуда потянулся новенький забор из колючей проволоки, а на расстоянии видимости вдоль забора вытянулись в ряд абсолютно новенькие дозорные вышки, похожие на застеклённые скворечники. В каждом скворечнике сидело по солдату в странной, незнакомой военной форме кофейного цвета. Вдоль забора рабочие разматывали огромные катушки с толстенным чёрным кабелем. В нескольких местах мы находили свороты дорог вниз, однако, увы, помимо шлагбаумов, они ещё и охранялись.

Проезд запрещён! Проезд запрещён! Запрещено! Ничего не могу понять. Что такое? Зачем? Почему? Откуда столько колючей проволоки? И вдруг зятя моего осенило: так это же американцы! Американская военная база строится прямо над городом, в самом стратегическом его месте. Это их коммуникации прокладываются повсюду. Это теперь не наша земля, а их… Вот так, втихаря, пока никто ни о чём не догадывается…

Бедный Джафар! Как же к тебе проехать теперь? Оставался последний вариант: совсем с другой, дальней от города стороны — вдоль моря. С огромными трудностями, по всяким проезжим разбитым дорогам, по нескольку раз ошибаясь в направлении, постоянно натыкаясь на колючую проволоку, заборы и часовых, мы всё-таки пробились к кладбищу.

С чёрного могильного камня мне улыбался Джафар — точно такой, каким видел его во сне. А на покрытой пылью плите всё ещё можно разглядеть выбитые слова, которые я посвятил когда-то его памяти…

> Хранит отныне призрачная даль,
> Где — только небо в радугах и звёздах,
> Твоей улыбки мягкую печаль,
> Твоих мелодий предрассветный воздух…
> В них плещет море, что у самых ног,
> И ходит эхо звонкими волнами,
> И пляшет ветер, и поёт песок
> О том, кто был и вечно будет с нами.

И тут я обратил внимание на даты, начертанные под его портретом: «1955–2002». Ему было сорок семь лет тогда, когда он ушёл!.. А дату его смерти я знал и так: 19 июля.

Сегодня, 19 июля, мне исполняется ровно сорок семь лет. Спасибо, Джафарик, что не забыл обо мне и на том свете. Спасибо, родной. Даже если эти нелюди закатают всё твоё кладбище в асфальт, даже если от места не останется ничего… Мы тебя помним. Всегда. Понимаешь? Всегда!

Обнимаю.

Твой друг Эльдар. 2007 год.

Мамина долма

Самое вкусное в мире блюдо — это мамина долма. Поскольку ни повторить, ни тем более превзойти его никому никогда не удастся, ибо для его приготовления нужны руки и душа моей мамы, то перейдём к долме обыкновенной, которую могут приготовить все, даже я.

Что для этого нужно? Во-первых, виноградные листья. Не крупные и не мелкие, средние.

Желательно свежие. Мама отправила мне такие в пол-литровой пластмассовой бутылке, доверху набив её скрученными виноградными листьями и хорошенько закупорив. Теперь, чтобы их осторожно расправить, я складываю листья в небольшую кастрюлю и заливаю их горячей водой из чайника. Так они легче расправляются. Когда не сезон и нет под рукой свежих виноградных листьев, тогда можно использовать маринованные виноградные листья. Если у вас в городе есть базар, то там они непременно должны где-нибудь быть.

Мясо лучше выбирать и делать фарш самому. Поскольку, увы, времени у меня на это, а главное, терпения, не хватило, я купил готовый нежирный говяжий фарш. По виду—свежий. Я не люблю жирную долму. Кто-то, может быть, и любит, но не я. Вкус жира перебивает всё. И даже долма становится мне неинтересна. И это несмотря на то, что давным-давным-давно, когда я ещё учился в школе, мама сказала мне: «Сынок, я заметила, что если даже я буду готовить тебе долму все триста шестьдесят пять дней в году, то ты спокойно будешь её есть и ничего больше не попросишь из еды». Это правда, мама знает, как я люблю мамину долму. Но не любую, а именно мамину.

В фарш нужно обязательно добавить риса. Я предпочитаю делать это интуитивно, ничего я в пропорциях не понимаю, но получилось вчера очень даже нормально. Рис должен быть рисом, а не дроблёнкой, не окатышами и прочим непонятно чем. Так, чтобы в приготовленной долме рис в начинке выглядел как в плове: рисинка к рисинке,—и ни в коем случае не выглядел слипшейся склизкой массой.

В фарш ещё добавляется мелко-мелко нарезанный репчатый лук, зелень мяты (нанэ) или базилика (рейхан). Или того и другого, если есть. И, конечно, нужно заправить фарш чёрным молотым перцем и простой поваренной солью. Готовый фарш заворачивается в виноградные листочки. Получается сырая долма.

В кастрюлю лучше всего сначала положить одну-две-три небольшие мясные косточки. Поскольку я делаю долму с говядиной, то косточки должны быть говяжьи. Сверху укладывается долма.

К готовой долме я делаю соус. Если есть мацони или катык, то добавляю в них мелко нарезанный чеснок (по вкусу) и хорошо перемешиваю, чтобы чеснок там распределился равномерно. Всё. Можно выложить долму, полить соусом и есть. Что я сегодня и сделал…

Ем долму, а сам вспоминаю разные-разные мамины блюда… И ароматный суп кюфта-бозбаш с крупными мясными шариками, внутри которых цельный чернослив, с крупным горохом—нохуд. И плов с мясом в каштанах, и каурма-плов, и сабза-каурма-плов, и кялям-долмасы, и холодную с зеленью довгу, и пити, и душбара, и лявянги (особенно кутум-лявянги), и, конечно, кутабы—с мясом и зеленью… И пярямяча (ну разумеется!).

А сладости? Боже мой, сладости, которые мне давно уже нельзя есть, увы… От простого лябляби (смеси орешков и изюма) до кяты, шекер-буры, пахлавы и даже шор-когала (он солёный, его мне, наверное, можно немножко)!..

А потом я включаю музыку «Яных-керем», потому что помню её с детства, и грущу. Почему я, сытый, в тепле, а всё равно грущу? Я не умею делать мамину долму. Наверно, поэтому? Нет, не поэтому. Не скажу—почему… Не хочу говорить. Это моё. Извините…

Фарид

Летит мягкий, сдобный, пушистый снег. Вернее, даже не летит, а плывёт по воздуху. Этакий снег-воздухоплаватель. Снежинки медленно опускаются, обволакивая бахромой тонкие, словно реснички, и потому прежде незаметные веточки кустов и невысоких деревьев. Не слышно собственных шагов: ноги движутся где-то внутри пухлого лебединого снега. А лебеди (естественно) давно улетели с Крайнего Севера. Туда. На юг.

Я знаю куда. Видел их там, в морской каспийской дали,—словно кусочки белого пушистого снега на изумрудно-синей воде. Стоя у балюстрады на искусственной террасе, выступающей в море, мы с Фаридом вглядываемся в них. Видно, что ему нравится этот простор, этот свежий каспийский ветер над островом у самой восточной оконечности Апшеронского полуострова. Так уж сложилась судьба, что Фарид оказался родственником двух президентов страны. Он уважает и любит свою семью, и покойного дядю Гейдара (с которым они оба поразительно похожи на родного деда—лицом, улыбкой, жестами), и двоюродного брата Ильхама, которому искренне сочувствует, считая, что его, умнейшего человека, многие не понимают, не берегут и не ценят так, как следовало бы. И внучку свою, Фариду, обожает, несмотря на слова: «Больше минуты не могу ни с одним ребёнком общаться». Ой, что-то не верится! На обложке одной из трёх коробок дисков с его любимыми музыкальными записями—фотография улыбающейся симпатичной девочки лет восьми в красной бейсболке, надетой задом наперёд,—любимая внучка. Впрочем, долгое время официально в семье он считался изгоем, поскольку любил джаз и прочую американскую музыку, собирал диски, говорил на английском, а думал в основном по-русски и обо всём имел собственные суждения, которые ну никак не пересекались с генеральной линией партии. По тем временам—ярлык конченого ярого антисоветчика такому человеку был обеспечен. И это в семье первого секретаря компартии! Какой кошмар! Если честно, то большинство моих знакомых городских интеллигентов,

тех, кого сейчас зовут «старыми бакинцами», во все времена были именно такими. Так что Фарид вовсе не был одинок в этом смысле.

Это не значит, что все они обязательно занимались политикой или касались её, совершенно нет, просто относились ко всему адекватно, здраво, без официозной эйфории. Фарид с улыбкой вспоминает, как однажды, будучи у Гейдара «на ковре» и выслушивая его очередной разнос за своё не ангельское, скажем так, поведение, он отвлёкся на передачу по телевизору, стоявшему в кабинете. Там шла какая-то юмористическая программа, и Фарид умудрился настолько забыться, что посреди разгневанной речи дяди вдруг начал хохотать над каким-то моментом по телевизору. Ошалевший от такой наглости Гейдар был вне себя. Фарид удрал из кабинета—от греха подальше… Забавно. Хотя на самом деле всё это никак не влияло и не влияет на его истинное отношение к покойному дяде—нежное и доброе, даже трепетное. Дядя есть дядя. Родная кровь. Общая судьба—общая ответственность.

Естественно, что иногда к Фариду обращаются с просьбами «замолвить словечко» о ком-то, но у него есть принципы, от которых он никогда не отступит. К примеру, просил его некто заступиться за начальника районной полиции, которого уволили. Фарид вник в ситуацию и тут же отказался даже обсуждать эту тему. Оказывается, родственник уволенного застрелил двух человек. «Какой из тебя начальник полиции, если ты в своём районе не можешь приглядеть даже за роднёй?» На мой взгляд, вопрос житейски резонный и по существу…

Машину Фарид водит достаточно вежливо и плавно, без рывков, правила соблюдает, хотя, любя скорость, конечно, неважно относится к езде по узким улочкам, предпочитая им магистрали. На светофорах стоит наравне со всеми гражданами, не «грубит» и никакими преимуществами не пользуется. Лично это видел. Кстати, сам автомобиль с металлическим корпусом—замечательной редкой американской марки. Пусть я не дока в этих вопросах, но ездить в салоне из мягкой сероватой кожи было удобно и комфортно. Кстати, Фарид прекрасно владеет и русским, и азербайджанским, неплохо английским, всё-таки МГИМО за плечами, не абы что.

Кстати, о МГИМО. Вступительные экзамены юный Фарид сдавал сам, без чьей-либо помощи. Попался ему билет под номером тринадцать. Сдал на отлично. С той поры число тринадцать он считает своим счастливым числом, такая вот персональная примета. Впрочем, и встречу с чёрным котом тоже считает хорошим предзнаменованием. В те давние студенческие годы он всерьёз увлекался рокерством, носил кличку Бешеный Кот и рассекал по Москве на чехословацком мотоцикле. О бесшабашности своей далёкой юности рассказывает с улыбкой. Однажды, буквально у ворот аргентинского посольства в Москве, Бешеный Кот на своём мотоцикле едва не столкнулся с такси. Чтобы избежать лобового удара, ему пришлось выпрыгнуть из седла мотоцикла и совершить настоящее акробатическое сальто в воздухе, перелетев через автомобиль и приземлившись с другой его стороны! Когда это произошло, он, к своему удивлению, услышал аплодисменты и крики «браво» со стороны ворот аргентинского посольства. Видимо, находившиеся там приняли случившееся на их глазах за некий специальный трюк, рассчитанный на публику…

Но первое впечатление от него было удивительным и даже чуть диковатым. В полумраке бара под рёв динамиков караоке вдруг возникла, медленно приближаясь, одинокая фигура щупловатого невысокого семидесятипятилетнего человека, в молодёжной бейсболке и куртке, со старомодным школьным портфелем. По виду портфеля—я с таким когда-то ходил в первый класс. В портфеле вперемежку лежала всяческая разнокалиберная мелочёвка: ключи, бумаги, записные книжки, авторучки и прочее такое же. Он прибаливал, пил только горячий чай, ел мало и вяло. Глаза красные, носовой платок постоянно в деле… Зато много рассказывал о своих планах и стройках на острове—о двухэтажном ресторане для свадеб и различных торжеств в посёлке, о даче у моря с трёхэтажным домом для гостей, местами для ловли рыбы, дайвинга, купания в море и прочих развлечениях. А ещё о том, что туда прилетают лебеди, много лебедей, а ещё—фламинго, и о том, что он расчистил и углубил участок моря и теперь там всегда много рыбы.

Кстати, он давно бы мог размещаться в огромных апартаментах, но на самом деле для жизни они ему не нужны. Человек привык обходиться скромной обстановкой… А вот роскошь апартаментов, наоборот, только приводит его в замешательство, в них он чувствует себя неуютно, сразу скучает по тесноте своей старенькой бакинской квартиры, где всё под рукой… Обожает Фарид музыкальные записи тридцатых—восьмидесятых годов: джаз, итальянская музыка, Нино Рота, Крэйг Пейтон… Годами он собирал любимые записи на дисках, там нет ни одной «проходной» мелодии или песни. «Только шедевры»,—с нескрываемой гордостью рассказывает он. И дарит свои диски с записями каждому так, как дарят кусочек сердца, свою душу. Здесь и «Is My Lady» Фрэнка Синатры, и «I Will Always Love You» Уитни Хьюстон, и «We Have All the Time in the World» Луи Армстронга… Чего только нет! Записей очень много. И все они действительно интересны. Тем более что в тот же вечер мы слушали и смотрели их сразу на пяти огромных телеэкранах. При этом практически каждую запись Фарид горячо комментировал.

Особенно мне запомнилась история Эми Уайнхаус в пересказе Фарида, которым он сопровождал исполнение ею одной из своих песен… Вот как он (примерно) рассказывал о ней: «Шикарный, уникальный голос! А какая судьба! Она сама писала все тексты и музыку к своим песням. Это при том, что в тринадцать лет её выгнали из музыкальной школы как бесперспективную. Она работала невероятно много, давала в один день по одиннадцать концертов. Какой живой организм это выдержит? Её посадили на наркотики. Она находилась в тюрьме, когда её объявили лучшей певицей планеты! Она сидела в тюрьме, когда её пять раз подряд объявили платиновой обладательницей крупнейшей на планете музыкальной премии—„Грэмми“. В двадцать шесть лет она умерла. Сердце не выдержало. Стать мировой звездой в двадцать лет и умереть в двадцать шесть! Какая судьба! Какой потрясающий талант!» Теперь уже я сам собираю песни Эми. Фарид «заразил». Определённо нравятся её «Back to Black», «Rehab», «You Know I'm No Good», «Honey Honey»: в самом деле—уникальный голос и виртуозное исполнение. Я вдруг нечаянно пообещал Фариду, что назавтра он выздоровеет.

Действительно, так и случилось. На следующий день он выздоровел. Почему пообещал, почему не удивился результату—не знаю. Однако из-за караоке грохот в баре стоял такой, что мы всё-таки собрались и ушли в другой, соседний, пустой зал.

Там, помимо умения собирать замечательные музыкальные записи, я открыл для себя ещё один талант своего собеседника! Он прекрасно готовит блюда! В тот вечер Фарид угощал чудесными котлетами из кутума. Котлеток было всего пять. Но, хотя кутум—это рыба, рыбой они совершенно не пахли! Потом нам принесли соленья его собственной работы. Фарид с удовольствием рассказал, как именно надо солить, а ещё о том, что солить можно всё, буквально что угодно. Я пробовал на вкус и алчу, и сливу, и какой-то вообще непонятный фрукт (увы, не запомнил названия), естественно—огурцы, капусту и тому подобное. Потом принесли каспийскую кефаль, тоже он сам готовил. Денег, разумеется, не взял…

«Дядя Фарид, давайте мы вас женим».—«Что я тебе плохого сделал?»—смеётся Фарид.

Не верит он женщинам. Обжёгся. Встречаться—пожалуйста. Хоть сейчас. Но как только барышня заводит речь о браке… Встречи прекращаются. В семьдесят пять поздно в чём-либо переубеждать. В своё время даже супруге Гейдара Алиева, Зарифе-ханум, и матери Фарида не удалось его женить. С теплом вспомнилось о нём именно сейчас и здесь, на Севере, глядя на плывущие в воздухе мохнатые снежинки, чем-то неуловимо напоминающие Фаридовых лебедей далёкого Каспия…

Биби

Ай, биби! Джан, биби! Какое это счастье, когда у тебя есть биби! А если их две? А если у кого-то ещё больше? Когда я был маленьким, у меня было целых две биби: Азизбеим-биби и Рубаба-биби. Родные люди. Сёстры моего отца, мои тёти. Не просто тёти, а именно—сёстры отца, потому что сёстры матери называются иначе—хала. Братья отца и братья матери тоже называются по-разному. Они тоже прекрасные люди, и я непременно их упомяну, но сейчас речь о биби.

Худенькая, маленькая Рубаба-биби, самая бедная из всей семьи, но с самой неописуемо щедрой душой,—вот она, стоит на краю зелёной лужайки перед домом своим в Уладжалах на берегу реки Куры, растопырив заскорузлые крестьянские пальцы, распахнув крылья-руки, и кричит от радости, зовёт, подзывает меня к себе, маленького Эльдара, сына её любимого младшего брата Алихаса! А потом—обнимает меня, поднимает на руки и целует, целует…

Ай, Рубаба-биби!!! Бегают по двору мальчики и девочки, дети биби, ловят последнюю курицу, чтобы угостить гостя, меня угостить. И все улыбаются, счастливые, никому и в голову не приходит жадничать, потому что и мама у них такая же… Бессребреница. И радость—искренняя, от души.

Помню и набожную Азизбеим-биби, строго соблюдавшую все часы молитв Аллаху. Старшая по возрасту, больше похожая на бабушку, чем на тётю, радовалась и она моим приездам. Ай, бала, сынок, иди, гуляй по саду и огороду, срывай всё, что хочешь, всё—твоё. А там—и персики, и арбузы, и дыни, и сливы, и алча, и помидоры, и гранаты… ничего не жалко для маленького Эльдара, внука её отца Аббасгулу и матушки Сярфиназ, ткавшей когда-то волшебными перстами своими настоящие чудесные муганские ковры!

Нет их теперь, давно уже нет, только память порой возвращает тепло их рук и нежность их слов… Уже сестра моя, Шафа, имя которой гордо носит парусный двухмачтовый бриг в далёком Средиземном море, стала бибишкой. И с удовольствием возится она со своими племянниками—большими и маленькими, исполняя их детские желания, радуясь им…

Ай, биби! Джан сянэ, биби! Как хорошо, что есть на свете такое детское, доброе слово—*биби!*

Джиз-бызная

Однажды мой родственник Рашид познакомил меня с удивительным заведением в Баку. Для меня удивительное началось сразу—с названия. Хотя внешне это было всего лишь предприятие общепита, такое же, как столовая, пирожковая, сосисочная, кутабная, шашлычная и так далее. Но словечко «джиз-бызная», признаюсь, мне за

всю жизнь не доводилось слышать больше нигде в мире!

По аналогии джиз-быз немного схож с мексиканским блюдом с жареными бычьими яйцами, помидорами и зеленью. Блюдо это до сих пор пользуется изрядной популярностью у мексиканцев. Причём яйца считаются настоящим деликатесом. И предлагают их отведать только самым дорогим гостям. Но в бакинском джиз-бызе главное — не бычьи, а бараньи яйца. Кроме них, обязательно используются почки, печень, сердце, брюшина, курдючное сало, лук, салатный перец, помидоры и свежая зелень. Та самая, покупая которую на базаре, мы часто называли в шутку «зелень-мелень». Лук для джиз-быза режется не вдоль, кольцами, а поперёк. Мясо используется не самое свежее, как для других блюд, а отлежавшееся. С печени обязательно надо снимать плёнку.

Готовится джиз-быз в строго определённой последовательности: сначала лук и брюшина, потом сердце, потом почки, печень и яйца барана. Продукты готовятся быстро, и пережаривать их нельзя. Иначе вкус пропадёт. Поэтому при приготовлении джиз-быза от саджа (или от казана, или от сковородки) настоящие повара никуда не отходят. Аромат готового джиз-быза до сих пор помнится мне точно так же, как тогда, когда я с Рашидом впервые заглянул в настоящую бакинскую джиз-бызную. Удивительное словечко, ей-богу. Нигде в мире такого не слышал…

Кюкю

В Баку изысками местной кухни гостя не потчует только ленивый! А если в гости приехал уроженец города, то сам Аллах велел напомнить ему в родных стенах о дорогих сердцу с детства блюдах. Речи нет о бесчисленных видах кебаба и люля! Всё это совершенно невозможно съесть или даже просто перепробовать, если не пощадить свой желудок более низкокалорийной здоровой пищей, такой, как довга или кюкю. Мне на прошлой неделе очень пришлось по душе именно кюкю — лёгкий омлет из свежей зелени. Вроде бы ничего особенного: много-много-много свежей мелко нарезанной зелени (петрушка, укроп, зелёный лук, шпинат), несколько яиц, причём на один пучок зелени — всего одно яйцо, чуть-чуть муки, нежирной сметаны, соль и перец. Всё! А как естся кюкю! М-м-м-м-м-м… Пальчики оближешь! Наверное, именно после кюкю кто-то произнёс знаменитый бакинский возглас: «Пях-пях!» Действительно: кюкю — это именно пях-пях! Особенно наутро после жирной жареной пищи. О, друзья мои! Если же вообще вспоминать о нашей кухне, то конца и края этому рассказу не будет, потому что о каждом блюде просто необходимо сказать хотя бы два слова, и даже тогда в целом получится уже роман, не меньше! Начнёшь рассказывать про мелкие дюшпяря — непременно вспомнишь ещё что-нибудь про мясо на садже или о кутуме на шеше, а только подумаешь про ярпаг долмасы или чыхыртма, как придётся вспоминать и про баклажанные, и про помидорные их виды, э-э-э-э-э! Всё, не могу. Сейчас жене скажу, пусть срочно готовит мне кюкю: извините, аппетит разыгрался.

Мишка Шималда

Про медведей вроде все всё знают: есть медведи гималайские, бурые, гризли, белые, есть гигантские панды (хотя утверждают, что они ближе к енотам). Есть шишкинские медведи из «Утра в сосновом лесу». Конфеты такие с детства помню…

А вот про Мишку Шималду, уверен, мало кто слышал. Зря. Весьма заслуженный такой медведь. Очень был популярен среди детей в Баку в шестидесятые и семидесятые годы прошлого века. Мы, ребятишки, его всей школой просто обожали. Вкусный. Сладкий. Обалденный. Вреда никому никакого. Потому что шоколадный.

Были (а может, и есть?) такие замечательные конфеты: «Мишка на Севере». «Север» по-азербайджански — «Шимал». «На Севере» — соответственно, «Шималда». Когда выпуск конфет освоила бакинская фабрика, то в некоторых магазинах появились ценники, в которых слово «Мишка» никак не переводилось, поскольку его все и так знали, наверное. А вот «на Севере» — перевели. Так и родился Мишка Шималда.

Супермедведь! Пальчики оближешь, гарантирую. Вы сами, случайно, не встречали Мишку Шималду? Встретите — привет передайте.

Бярбярхана

Что такое настоящая бярбярхана, я познал только этим летом в Турции, хотя с детства помню, как отец водил меня в это чисто мужское заведение на улице Ага-Нейматулла. Бярбярхана (или берберхана — в русском произношении) была через дорогу, на другой стороне улицы. В то время все переходили улицы там, где казалось удобней, привычки ходить по пешеходным переходам, по «зебрам» у населения ещё не было. Да и никаких «зебр» конкретно на этой улице я не помню. При этом автомобильно-трамвайно-троллейбусное движение там было настолько оживлённым, что сам удачный переход каждый раз откладывался в памяти как событие. Проходящие вдоль середины улицы трамваи, похожие на битком набитые людьми железные кирпичи, увешанные снаружи виноградными гроздьями из футбольных болельщиков, производили регулярные сотрясения уличного асфальта, маслин и тополей — и даже деревянных полов внутри бярбярханы.

Отец передавал меня старому матёрому бярбярханщику, и начиналась стрижка. Матёрый

бярбярханщик — это вам не московский парикмахер и не севильский цирюльник! Это ходячее агентство новостей! Это бездонный сборник свежих анекдотов и кладезь футбольных прогнозов! Хочешь узнать, что творится в твоём районе? Иди в бярбярхану. Там тебе и свежий чай в армудах, и крепкий сахар, наколотый острыми щипцами, и модная стрижка за пол-аббаса (десять копеек) — максимум! Да, так было! Сейчас этого нет. А жаль…

В самом звучании слова мне слышалось нечто дикое, пустынно-африканское, берберское, даже верблюжье. Но как именно это связано с мужской стрижкой, я познал лишь недавно, в турецкой деревенской бярбярхане. Невысокий круглоголовый турецкий бярбярханщик явно гордился своими музыкальными достоинствами: на стене напротив клиентского кресла висел турецкий саз — баглама. Рядом красовалось несколько грамот. Видимо, струнная народная музыка являлась увлечением бярбярханщика. Хотя, кто знает, может быть, наоборот — стрижка была увлечением музыканта? Я не уточнял.

Стриг он исключительно механическим способом — ножницами. Я уже прикидывал, что угодил в кресло надолго, как ножницы исчезли, и в руках мастера появились два пылающих факела. Вот он — древний берберский способ стрижки в действии! Несколько умелых пассов — и все волосы на моей голове аккуратно и ровненько подпалены! При этом — никаких ожогов я не получил! Я рассчитался и поблагодарил мастера, а он предложил напоследок послушать его багламу. Бесплатно. Жаль, что я торопился и не услышал багламы турецкого бярбярханщика! А было бы занятно. Наверняка.

Довга

Вчера был праздник, было весело. Пришли желанные, дорогие гости, было щедрое застолье, были душевные разговоры, тосты, музыка, танцы. Хорошо было. Будет о чём вспомнить. Завтра.

А сегодня с утра — так тяжко: голова болит, самого мутит, в глазах темнеет… Вай-вай-вай! Что делать? Как спастись, как себе помочь? Неужели бежать к врачу и идти на больничный? Ай, как нехорошо… Ну-ка, что там холодильнике? Минералка? Айран? Что ещё? Во-он там, в кастрюле, что там? Довга…

Единственный суп, который холодный и вчерашний гораздо вкуснее сегодняшнего и горячего! Литр катыка, литр воды, одно яйцо, столовая ложка нохуда, немножко муки, полстакана риса, шпинат, щавель, петрушка, кинза, мята… И ты спасён!

Хмель проходит, тошнота исчезает, в глазах светлеет. Нет, всё-таки жизнь — прекрасна! Саг ол сэнэ, эзиз довга! Спасибо тебе, родная довга! Можно жить, можно петь, можно танцевать!

Сказочный Хыналыг

В Кубе у прохожего я спросил о наиболее интересном, экзотическом и живописном маршруте в окрестных горах. Он однозначно ответил: «Хыналыг». Заглянул в справочник и обнаружил следующую информацию: «Хыналыг — село в Кубинском районе Азербайджана, расположенное на высоте 2100–2200 метров выше уровня моря. Знаменито своим языком, своеобразными обычаями и традициями. В наши дни в Хыналыге проживает около двух тысяч жителей. Почти всё население является коренным. Село находится в труднодоступном районе на юго-западе Кубинского района, на склоне горы Кызылгая на северном склоне Главного Кавказского хребта. Своей труднодоступностью, своеобразным языком, уникальным архитектурным обликом и культурой Хыналыг привлекает туристов и путешественников. Здесь находятся относящиеся к средним векам храм огнепоклонников, гробница Хыдыра Неби, мечети Шейха Шалбуза и Абу Муслима, пещеры и многочисленные неизученные археологические памятники». Ну, раз там столько неизученного, то надо непременно съездить.

За рулём находился муж моей сестры Шафиги, человек мужественный и спокойный. Если есть какая-нибудь козья тропа в горах, он и там проедет. Только без Шафы. Моя дорогая сестрёнка с детства ужасно боится высоты и опасных горных дорог. Перед очередным покрытым ледяной коркой участком дороги под углом, близким к сорока пяти градусам, когда её причитания о нашей скоропостижной участи достигли апогея, нам пришлось прекратить движение вперёд и развернуться в обратную сторону. Увы, Хыналыг так и остался легендой для меня. Надеюсь, что в следующий раз я всё-таки доберусь до этого сказочного места в кубинских горах…

Кутум

Rutilus frisii kutum

Живёт в Каспийском море сказочная рыба кутум. Больше нигде не живёт, только здесь. Миллионы лет стада кутума паслись в море, питаясь исключительно моллюсками. Зубы кутума идеально устроены для того, чтобы разгрызать ими мелкие морские ракушки и добывать себе таким образом корм. Миллиарды тонн перемолотых кутумом ракушек сотни миллионов лет опускались на дно моря. И однажды посреди моря появилась суша, состоящая из перемолотых рыбьими зубами ракушек. И вырос на этой земле дворец, и возникло древнее царство. Правила им мудрая красавица — царица Сабаил. Прославилась она своей учёностью и красотой на весь мир. Услышал о ней великий царь Сулейман, пригласил в гости, а когда увидел — влюбился в неё без памяти.

Тысячи роскошных звёздных ночей провели они вместе, и каждую ночь прекрасная Сабаил рассказывала Сулейману новую историю из жизни своего народа или новую легенду.

Через много веков почти всю землю древней царицы Сабаил вновь поглотило море. Остался только маленький узкий гористый клочок суши — Баиловский полуостров.

На этом клочке земли, продуваемом насквозь солёными морскими ветрами, однажды родился я. И всякий раз, когда я проезжаю мимо, мне снова слышится мамин голос: «Смотри, сынок, ты родился здесь…» Я люблю эту землю, этот маленький клочок суши на семи ветрах. И всегда помню о рыбе кутум…

Дом

На пустынном берегу моря однажды поселился дом. Большой, каменный, трёхэтажный, с балкончиками. Первой в него забежала ящерица. Прямо по стене забежала, ближе к потолку. Облюбовала уголок под балкой и начала сторожить дом от мух и комаров. Потом к дому подошёл ёжик. Огляделся, обнюхал стены, вошёл и растворился в доме. Так и живёт в нём — невидимый. Только по ночам иногда слышится быстрый мелкий топоток невидимых ножек. Наверное, он. А перед домом стала прогуливаться большая дикая черепаха. Живёт сама по себе: то уйдёт куда-то, то вернётся и любуется домом или красавцами удодами с яркими хохолками-«ирокезами»; перелетают удоды стайками то с крыши на балкончики, то с балкончиков на песчаную землю — ближе к соснам с пышными широкими кронами. Самый частый гость в доме — морской ветер. Этот — гуляет по всем комнатам и коридорам, что днём, что ночью. Перемещается, шевелит занавески, хлопает то и дело дверями и скрипит чем-то на чердаке, ходит по потолку, балуется.

Добродушный дом всех привечает. По ночам к нему подбегают ушастые маленькие лисички, потом отбегают и тявкают издалека от досады, а зайти боятся, потому что по двору бродит большой лохматый добродушный пёс. Он давно уже ни на кого не лает, даже на ворон, которые воруют у него шашлык. Смирился. Ящериц в доме со временем стало гораздо больше, чем людей. Вечерами они собираются возле наружных стенных фонарей: общаются, угощают друг друга всякой летучей мелочью. Хорошо, когда есть такой дом, где всем уютно: и ёжикам, и ящерицам, и черепахам.

Тайна буты

Что такое бута? Тот, кто с детства привык видеть её каждый Божий день и буквально на каждом шагу, такого вопроса не задаст никогда. Для остальных поясню. Бута — это восточный национальный орнамент. С незапамятных времён (действительно незапамятных, ибо никто доподлинно не помнит, когда, где и при каких обстоятельствах возникла бута) ткут этот рисунок на коврах восточные мастера и мастерицы, на всех мыслимых и немыслимых видах одежды во все времена изображалась бута на Востоке, ею украшали архитектурные сооружения и даже тривиальные заборы. В Турции, Индии, Иране, Аравии, Азербайджане — во множестве стран бута — это национальная традиция, даже черта характера, если можно так выразиться.

Хотите спросить, как же выглядит этот орнамент? Поскольку за тьму веков разновидностей буты стало столько, что только перечислению основных видов нужно бы посвятить отдельный фолиант, ограничимся описанием самого простого, изначального, на мой взгляд, варианта этого изображения.

Вот, в принципе, с этого всё для меня и началось!.. Как объяснить европейцу или американцу, как выглядит бута, не рисуя её? Очень просто. Большинство жителей Евразии и уж точно все поголовно канадцы и американцы знают один из двух геометрических знаков: те, кто поразвитее, — китайский знак «ян-инь», остальные — эмблему компании «Пепси-кола». Так вот, если от этих знаков убрать одну половинку точно по нарисованной на этих знаках плавной серединной линии, то остаток (или убранная часть) и будет орнаментом под названием «бута»!

А спроста ли это? Ведь ничего на свете просто так не бывает. Я не имею в виду значок компании «Пепси-кола», я имею в виду «ян-инь»… Просто так на этом свете и волос с головы не упадёт. Так ведь?..

Тысячи лет подряд люди изображали повсюду один и тот же рисунок. Один и тот же. Для чего? Какая информация была изначально вложена в этот странный орнамент? Инь и ян — две буты, перевёрнутых друг относительно друга, знак мужского и женского начала, знак зарождения и вечности жизни — китайское изобретение или привнесённое извне сообщение человечеству? Две буты, поразительно напоминающие тибетские изображения глаз Будды, которым посвящены широко известные в последнее время мулдашевские труды, — это тоже случайность? А какой случайностью тогда можно объяснить саму созвучность слов «бута» и «Будда»? Не слишком ли много для случайных совпадений? И таким «совпадениям» нет конца! Тут поневоле задумаешься… Попробуем поразмышлять и предположить кое-что.

Возможно, бута изначально была задумана как парный рисунок. Тогда почему именно в круге? Почему именно в таком положении? Мужское — женское. Мир и антимир. Знак гармонии мира. Плавный переход из одного в другое. Плавный! Переход. Значит, жизнь — вечна? Значит, есть пара — Этот и Тот свет. Значит, существует жизнь

после жизни. И… жизнь—перед жизнью? Переход. Взаимопроникновение. Любовь. Весь этот мир пронизан любовью к тому миру, а тот мир—к этому.

Движение по кругу—символ бесконечности, единственное зримое проявление вечности, у которой нет и не может быть ни начала, ни конца—именно круговое движение. Две буты заключены в круг. Значит, этот переход из одного в другое и обратно—*вечен!* Плавная волна в круге—символ движения. Вечное движение—вечная жизнь. Время создания этого рисунка—несопоставимо более раннее, нежели зачатки какой-либо письменности. Передать важную информацию можно было только таким путём—через рисунок, через знак, понятный всем членам племени, передаваемый из поколения в поколение—от отца к сыну, от матери к дочери. И эта информация была настолько жизненно важна, что всё могло забыться, но только не знак буты.

Эта плавная линия в середине—не наводит ли она на мысль о древнейшем изображении свастики? Переход из ночи в день и из дня в ночь. Движение солнца по небу. И далее—движение Солнечной системы вокруг ядра Галактики. Плавная линия—Млечный Путь. Во многих изображениях острая оконечность буты имеет продолжение—завиток. Завиток! Изображение нашей Галактики, вращающейся во Вселенной, расширившейся после Взрыва. И (вспомните «инь-ян»)—изображение обратное—антигалактики, движущейся в антимире. И всё это неразрывно связано Единым Кругом Вечности. Паучок—волна—свастика—Галактика—вечное вращение, вечный переход одного в другое благодаря некоей Скрытой Единой Энергии материи.

Бута издревле ассоциировалась у многих народов с изображением листка. В то же время, например, трилистник—у славян знак вечной жизни. Три листа—Отец, Сын и Дух—на едином основании. Бута в такой трактовке снова напоминает нам о символе Вечности. Примерно то же самое можно сказать и о буте как о символе огня. Язычок пламени. Живой язычок огня. Безусловно, в буте заложена информация о Вселенной. В то же время бута напоминает каплю, свисающую с завитка. И тогда если завиток—это символ Галактики, то бута—это жизнь. Живая капля жизни в океане живой Вселенной.

Верить ли во всё это? Или пытаться познать до конца? Что есть Истина? Всё, что мы якобы знаем,—лишь мучительное приближение к ней. Приближение через ошибки, которые мы в тот или иной момент времени принимаем за конечные знания. Истина находится везде. Повсюду. Но понять её в целом, как и познать Бога,—невозможно человеку. Остаётся лишь верить и любить—так и не зная до конца того, во что веришь и что именно любишь. Вот о чём мне подумалось почему-то, когда я взглянул на буту сегодня. Посмотрим, что принесёт завтрашний день, а какие мысли исчезнут, унесённые ветром времени в небытие…

Да, кстати!—в Небытие, которого тоже не существует! По определению.

Сабаил

Древний город из песка и ракушек, перемолотых острыми зубами рыбы кутум, у подножья пустынных прибрежных гор—весь пронизан морскими ветрами. Штормит беспокойное море. Бушует. Дышит ветром, вздымая волны, успокаиваясь лишь изредка и ненадолго—то под знойным солнцем, то под тягучими облаками или светлоликой луной. Рябью пробегают по нему сны, вспыхивают мурашками и тут же исчезают в изумрудной пучине давние сказочные воспоминания. И в эти мгновения становятся явственней в его глубине полуразмытые волшебные очертания города-замка Сабаил…

Пятнадцать башен возвышались над стенами крепости. Три круглые и двенадцать полукруглых. Маяк, каменные пандусы, широкие лестницы, водопровод, причалы для кораблей, а по верху крепостных стен—каменные плиты с резными письменами на арабском и языке фарси… В них—имена и титулы правителей и выдержки из Ал-Корана. Но здесь не только надписи! Над именем каждого правителя в строгой симметрии видны портреты людей, изображения зверей, птиц и фантастических существ. Что это за существа? Может быть, геральдические знаки повелителей страны? Или их зодиакальные знаки? На одной из плит найдено слово «гюрджи» и портрет грузинской царицы Тамары. Некоторые плиты-фризы с рельефными изображениями и надписями незакончены, намечен лишь контур рисунка… Существуют предположения, что трубы в Сабаиле служили не только для воды и канализации: по ним из естественных источников поступал в древний город природный газ.

Кому, кроме своих правителей, поклонялись люди, жившие там? Аллаху? Но Коран недвусмысленно запрещает изображать людей и животных. Огню? Но при чём здесь выдержки из Корана? Быку, чьё священное изображение-тотем до сих пор над Восточными крепостными воротами приморского города и на камнях возле его Девичьей башни? Но на каменных плитах Сабаила—фрагменты изображений лошади и льва—в натуральную величину.

Некоторые придают названию замка религиозное значение, утверждая, что слово «Сабаил» состоит из трёх слогов: «Са»—три, «ба» и «ил»—бог. То есть место встречи трёх богов: воды, неба и подземного огня. По утверждениям исследователей,

здесь собирались огнепоклонники со всего древнего Востока, и их жрецы совершали в Сабаиле свои священные обряды. Так это или нет — фактическое предназначение многих помещений на территории крепости, её историческая роль и истинная причина разрушения остаются загадочными, вызывая споры.

На узкой горной террасе, на земле, нависшей над морем, неподалёку от затонувшего царства Сабаил, когда-то родился я. И я верю, что когда-нибудь воды моря отступят и вернут людям то, что в былые времена принадлежало их предкам. «Sabah» означает «завтра», «sahil» — «берег». Sabail — мой завтрашний вечный берег…

Д*и*Н пародия

Евгений Минин

Изжога от счастья

Палиндроматическое

Ко мне приходят палиндромы
в осоловелом полусне…
. . . .
Но надо выходить к народу,
глухие колотить понты.
Константин Комаров

Во сне моём летают дроны,
проносятся за рядом ряд.
Приходят мрачно палиндромы
и осовело говорят,
чтоб не читал стихов я люду,
глухие колотя понты,
а то потом работать буду
лишь на зелёнку и бинты…

Аховое

Едва ль о варяжских драккарах,
весёлых ушкуях, ладьях
и о пароходах, хоть пар их
ещё не рассеялся… Ах…
Александр Вергелис

Да что мне писать о варягах?
Я буду писать о стихах,
чтоб друг прочитал их, и враг их
прочёл бы и гикнулся… Ах,
нет-нет, не таю в себе злобы,
начитан, и слог мой неплох,
стихи сочиняются, чтобы
читателя радовать… Ох,
иметь бы уменье при этом
строкою захватывать дух,
я б стал знаменитым поэтом,
но, кажется, выдохся… Ух…

Спасительное

В кирпичном клубе молча били,
прощаясь, пнули: «Спи, дебил».
Могли убить, но не убили.
Спасибо. Позже оценил.
Василий Ковалёв

Со мной такого не бывало.
Сказала муза: опиши.
Напали как-то два амбала,
поизмывались от души.
Но, слава Богу, бить устали,
а то уж был бы я в раю.
Стихи когда бы прочитали —
убили б на фиг.
Зуб даю.

От лишнего счастья

А больше — не надо,
Не гневайте Бога.
От лишнего счастья
Бывает изжога.
Сергей Черепанов

Поверьте, для счастья
мне нужно немного,
в Израиль приехал —
и сразу изжога.
От лишнего счастья
я в полной истоме.
Мне книг не дарите —
купите боржоми.

Вера Зубарева

Записки лунасшедшего

Пришелец

Опять ты здесь.
Опять мой добрый сон
Пойдёт по руслу не моих фантазий.
Опять он будет полон безобразий
И возмутителен изменчивостью форм.
Прошу тебя, оставь меня, оставь!
Мой сон—творец бывалых впечатлений.
Равно как сны всех бывших поколений,
Он—отголосок яви, но не явь.

Иду к полузабытому окну.
За шторой—дворик в виноградных узах.
В нём призрачное эхо лунных музык
Выращивает полную луну.

Старинный двор, ты—скопище дождей,
Вселенная размытых отражений,
Обманчивый, угрюмый мир брожений
Изменчиво-незыблемых идей.
Любимый двор, сторонник вечеров,
Ты верен лишь вечернему укладу,
Где ветхость крыш твой составляет кров,
Как сырость—вечную твою прохладу.

Здесь вечно всё: коляска у двери,
Старушка на скамейке у порога,
Её молитва на день раза три,
Вязание и ожиданье Бога.

Ах, двор мой, двор!
Ты снишься мне не раз,
И в сне моём себе ты уподоблен.
Но нынче—сон с безумием помолвлен,
Но нынче—в сон вклини́лся чуждый глаз.
Он вывернет мгновенно наизнанку
Все образы, пришедшие ко мне.
И появленье это спозаранку
Предначертали в заревом огне
Тревожные багряные прологи.
Вздувались неба летнего ожоги
И облаками проносились в дне.

День полыхал июльским наважденьем,
Потрескивали остро провода,
И ветер с неприкрытым вожделеньем
Засматривался в сумерки—туда,
Где я для встречи подобью подушку,
Чтобы увидеть незабвенный двор,
Коляску, одинокую старушку,
Пришедшую в бессменный свой дозор…

…Мой чёрный двор безмолвен и убог.
Он отражения не сущих мечет.
В нём равнозначны двери и порог.
Молчит дитя, рождённое под вечер.
Неслышною молитвой сведены
Натруженные челюсти старухи,
И ангелы, которые должны
Её услышать,—далеки и глухи.

Окочененье вечера. Пора
Зажечь созвездий мутные лампады,
Что заготовлены ещё с утра
Чертовской проницательностью взгляда.
И там, где отражение моё
Навстречу мне вечерний взгляд сулило,
Старуха руки мертвенно сложила,
И спит ребёнок справа от неё.

И различаю я свои черты
В чертах младенца и старухи, влитой
В скамью. И у порога—у черты—
Готовы к погребению, омыты
Дворовой сыростью мои мечты.
Былые дни теперь—надгробья пли́ты.

Что написать, ну что же написать?!..
Скорей, пока с душой нерасторжима,
Пока загадка мной неразрешима,
А значит—можно кое-что сказать!..
Но что же, что? Старуха и ребёнок.
Порог и двери. Явь и сон во сне.
Неодолимый чёткий ход потёмок—
Как стрелок ход, направленный ко мне.

Кем я была? Сначала—этим тельцем,
Не могущим открыть заслон дверей.
Затем—желающей переступить скорей
Порог. Но между, помнится, с Пришельцем
Мне доводилось по свету кружить,
И на бумаге ночью ворожить,
И мнить не подмастерьем, но умельцем
Себя… Но как проверить, как дожить
До истины единственной, до знанья,
Зачем строка кружила, для чего,
И агнца невинного закланье
Коль было впрямь, то агнца—чьего,
Чьих стад? Пришельца?
Кто пастух? Не ветер?
Кто очевидец? Не сожжённый ль день?
А нож—не месяц, сгорбившийся в дельте
Ночи?.. Но вряд ли эта дребедень
Надгробными могла бы стать стихами.
Прощаюсь с агнцами, их пастухами.

Смотрю в колодец скорбного двора:
Старуха безымянностью мудра
И сложенными в благости руками.
Младенец снами путаными мудр,
И предстоит ему немало утр,
Пока забудется он яви снами.

Пришелец спутывает мыслей ход.
Он очерёдность знает и черёд.
И он не посягнёт на день грядущий,
Как на ушедший день не посягнёт.
Его владенье—настоящий миг.
Моё владенье—прошлое, и только.
Мы в этом с ним не сходимся нисколько
С тех пор, как этот мир со мной возник.
Весь этот мир, в котором добрый двор
Предметом стал полночных размышлений.
Пришелец—гость. Я—узник посещений.
И вряд ли мне его оспорить вздор.

Лунасшествие

1.

Я шла по комнатам пустым, холодным,
Где и воспоминание мертво.
Я шла по комнатам пустым, холодным,
И эхо откликалось: «Ни-ко-го!»
Был лунный свет наброшен на предметы,
Как покрывала в доме нежилом.
Там что-то было за пределом света,
Склонённого над письменным столом.
И зябко передёргивались вещи
Под скрипки невидимок-половиц,
Как будто бы какой-то лунасшедший
Гармонии пытался полонить.
Но я прошла, раскланиваясь сухо
С темнотами, узнавшими меня,
А он упорно подбирал по слуху
Всё, что скопилось в подсознанье дня.

2.

Он сидел на обочине мироздания,
Весь из коряг, болотных опухолей,
С глазами, красными от недосыпания,
С тяжёлой головой, с постоянными охами.
Брызгал в лицо себе из зацветшей лужи
И бормотал несусветные речи.
Ему мерещились всякие ужасы.
Больше всего он боялся человечества.
«Иди отоспись»,—хотелось сказать ему.
Но отдых был лишь для тварей Божьих.
И в этом было его проклятие,
И он знал, что и сон ему не поможет.

3.

Он повёл меня в своё подземное царство.
Ничего интересного. Пни да кочки,
Мотылей висюльки, муравьиные цацки.
Здесь и даром такого никто не захочет.
—Погоди!—он подул в замочную скважину,
Из неё посыпались пылью мошки,
И позволил взглянуть. Там всё неважное,
Без чего только тление невозможно.
А потом он повёл меня в свою
сокровищницу,
Где рубин головешек и мох с мокрицами.
Я гадала, чем же это закончится.
И он высыпал всё на мою страницу.

* * *

Кто-то всю ночь пытался разговаривать,
Отпугивал сны, ворошил прошлое.
К утру стало ясно—это память
Проникла в дом незвано-непрошено,
Мусор внесла в избу, наследила,
Рылась в мыслях, давно опечатанных.
На том, что будет, что есть, что было,—
На всём оставила свой отпечаток.
Валялось спокойствие, навек убитое,
В луже воспоминаний, и прочее, и прочее,
Не считая уже разбитого корыта
И в нём копошащейся всякой сволочи.

Изяслав Винтерман

Я говорю и с деревом, и с собакой…

● ● ●

Я говорю и с деревом, и с собакой
на непонятном даже мне языке.
Они отвечают—веткой качая, бляхой—
потусторонним—на внутреннем сквозняке.

Я приучил их к нервно-высоким ноткам,
когда матерю весь мир на его слонах.
Они понимают корою, хвостом коротким,
но я объясняю им всё на своих словах.

● ● ●

Все совпадения слов случайны—
автор ответственность не несёт
за искажения черт печальных,
за ваших женщин, детей и скот.

Автор несёт свой последний сборник,
водки бутылку, всего себя,
точно дитя, что скатилось с горних
вечно зелёных лугов сюда!

После себя—что оставит людям?
Чистых страниц безупречный стиль,
где, если б мог, объяснил, как любят
тех, кого больше любить нет сил.

● ● ●

Всё у меня времена года—их точно четыре?—
как у собратьев по цеху—котики и собачки.
Птицы поют у них, нюхнув нашатырь.
Жалко им тварей… Иронией не испачкай.

Много у них лягушек и разных мушек,
бабочек, паучков. А где ж мои дрозофилы?
Разрывается сердце от светом набитых тушек,
от равенства, братства и чистой их зоосилы.

Тихо у них, по-домашнему, а в мире—хаос
смерти и жизни, летящих победным клином;
женщин с острова Лесбос, забывших *house*,
ищущих нелюбви по гора́м и долинам.

Есть она точно, любовь, или должна быть? *(presto)*
Сволочь ты,—говорят мне. Был! В суете безбожной.
Я просто поэт сегодня, сохраняющий время и место,
в которых живут недолго, но делают тьму невозможной.

Пятна

1.

Смерть уже так близко подобра́лась,
превратилась в дворника с метлой.

Образная смерть бы постаралась
выглядеть красивой и незлой.

Подметая листья или плесень,
пятна на асфальте и снегу…

Шли бы мы не в ногу, шли бы лесом,
под глаза вбирая синеву,

нарезаясь воздухом с землёю,
жизнью-тенью мчась по облакам.

Кто б ещё благословил метлою
и бежал так резво прямо к нам?

2.

И жизнь понятна и приятна,
и смерть понятно-неприятна.
Мы тоже как цветные пятна,
разбросанные неопрятно…

Свет рыскает по всей арене
за клоуном и за собачкой,
за обезьянкой с полной тачкой…
Кренится тачка, бог с ним—с креном.

Выходим мы—в костюмах года—
блестящей сотканы иглою.
Вся электрическая мода
нас замыкает: дрыг ногою—

ток побежит по круглой сцене
и завершит смертельным трюком.
И темнота не обесценит
на расстоянье близоруком.

Варвара Юшманова

Пока летит моя душа…

* * *

Бабушка думает: «Надо сегодня выйти.
Солнце, и так тепло, должно быть, пойду.
Я выходила, наверное, в прошлом году.
Снег потихоньку в канавы вытек.
Что-то плаща своего не найду».

Думает: «Надо бы подышать, посидеть на лавке.
Только вот ветер… Завтра бы лучше пойти.
Можно к вечеру, после пяти,
Чтобы успеть перебрать булавки,
Пока светло. Но вернуться до девяти.

Нет, у меня передача, а утром почта,
Днём обещали маленький дождь,
Ночью же не пойдёшь!
Не пойду, и точка.

В пятницу должен мне позвонить Антон.
Может, всё же заедет на этой неделе.
Выйти решила—сама хожу еле-еле.
Да и кто будет тут следить за котом?
В общем, не знаю когда, соберусь потом.
Не помирать же этой весной, в самом деле».

Колыбельная

Если кто-то вредный и большой
Смог обидеть сильно или чуть,
Что́ сидеть с растрёпанной душой?
Лучше мне уснуть.

Или если близкий человек
Вдруг задумал Землю обогнуть,
Незачем ругать его побег,
Лучше мне уснуть.

Каждое мгновение—урок,
Но непросто сразу вынуть суть.
И тогда я прячусь в свой мирок,
Чтобы там уснуть.

Там всегда на небе полушар
В сумраке высвечивает путь.
И пока летит моя душа,
Я могу уснуть.

На Байкале

Даше

У воды раскинувшейся, весомой,
На камнях зелёных и на траве
Наше детство шло колеёй особой,
Что была прекраснее и правей.

Мы из плошек делали барабаны
И стучали так, что не шла печаль.
Находили каменные диваны
И на них сидели и пили чай.

Возле этой чистой и славной шири,
Что живёт и учит людей века,
Мы бродили, творческие, большие,
Рисовали воду и облака,

Наполняли ночи и дни цветами,
Многотравьем, звёздами, и тогда
Наши души больше не выцветали,
Возвращаясь в серые города.

И вода натянутая, тугая
Сохранила нас. Несколько лет спустя
Я приеду, взрослая и другая,
Искупать в Байкале своё дитя.

Свидание

Цветами нежными и красными
Меня ты встретил. Опоздала.
Мы сели летними и праздными
В партере мхатовского зала.

Легко смеялись, вовлечённые,
Хотя в груди росло томление.
И плыли шторы золочёные,
Нам предвещая объяснение.

Шумел бульвар и, словно сказочный,
Пестрил нарядами, кружился.
Я думала, что ты загадочный,
А ты уже на всё решился.

Михаил Тяжев

Трудная работа

Два дня

Голова у Вали болела. Она выпила таблетку и сварила кофе. За окном поднималось солнце из-за высотки, белое и холодное, вокруг машин во дворе лежал снег буграми.

Валя нарéзала бутербродов с сыром, принесла поднос с завтраком к компьютеру и села посмотреть почту. Письма были в основном по работе, но одно — от коммерческого директора, Владимира Павловича. Валя улыбнулась: ему было лет под шестьдесят, разведён, дети давно взрослые и обеспеченные, он красиво ухаживал, даже как-то по-старомодному, и теперь писал письмо — правда, с ошибками, но ничего, главное — с красивыми словами.

> «Безбрежность, Валечка, моих безбрежных чувств сродни океану. И берегов не видно, и ты где-то там, маленькой точкой, и я гребу к тебе. Я — стар, но я умею любить… Твои вишнёвые глазки и весёлый смех заполнили мою душу…»

Валя засмеялась громко и распахнула окно. Свежий воздух наполнил комнату и заиграл шторами. Владимир Павлович — Валя давно это поняла — любил себя в ухаживании, заигрывал, проверял, как будто боялся отдать свою старость ненадёжному человеку. Валя относилась к нему как к чудаку. Она никогда бы не пошла за него замуж, она хотела любить человека, так, как когда-то любила.

Она оставила письмо Владимира Павловича без ответа.

Сегодня в обед Валя уезжала на два дня к матери, та написала ей, что заболела. Чемодан собран со вчерашнего дня, стоит у порога.

Она заказала такси, позвонила подруге, поболтала с ней, затем — второй подруге и тоже поболтала «просто так». Делать было нечего, она нажала кнопку дистанционного управления — заработал телевизор: танк, похожий на черепаху, медленно полз посреди деревни и стрелял, где-то вдали раздавались выстрелы. Валя переключила канал — там та же картинка с танком. Валя, поморщившись, выключила телевизор и взяла книгу, которую не могла никак дочитать. «Анна Каренина». Тот известный момент скачек, когда Вронский ломает хребет Фру-Фру.

> «„Пустили! Скачут!“ — послышалось со всех сторон после тишины ожидания. И кучки и одинокие пешеходы стали перебегать с места на место, чтобы лучше видеть. В первую же минуту собранная кучка всадников растянулась, и видно было, как они по два, по три и один за другим близятся к реке… Для зрителей казалось, что они все поскакали вместе; но для ездоков были секунды разницы, имевшие для них большое значение».

Валя дочитала до того момента, когда Вронский пнул лошадь каблуком в живот, а она смотрела на хозяина своим «говорящим взглядом». Валя заплакала — злая книга — и отложила её, зная уже, что никогда больше не раскроет. И кто же ей говорил, на работе, кажется, кто-то, что книга просто чудесная?

Валя начала потихоньку одеваться; пришло сообщение на телефон, что такси ожидает.

Накинула на плечи норковую шубку с коротким рукавом, шапочку колпачком, высокую, вязаную, серого цвета; шапочка ей очень шла и делала её похожей на девочку-подростка; затем просунула ноги в грубоватые башмаки, небрежно их зашнуровала, на плечо повесила дорогую итальянскую сумку, взяла чемодан и вышла. На улице весна, середина марта.

Подъезжая к Курскому вокзалу, неожиданно для себя вспомнила ситуацию и лицо говорившего, что книга чудесная. Она сидит с Владимиром Павловичем на Арбате в кафе, а за соседним столиком девушка рассказывает подругам, как ходила с парнем на американский фильм «Анна Каренина». «Какая там любовь!» — восклицала девушка, прижимая к груди руки.

Валя сходила украдкой, одна, на фильм, он ей не понравился, тогда купила книгу, чтобы прочитать.

В поезде она сидела напротив девочки с косичками лет шести-семи и её бабушки. Ещё какие-то люди, все они были неинтересны Вале.

Через четыре часа Валя вышла в своём городе и села в такси. Она не узнавала улицы, не была здесь целый год, сердце билось, и что-то внутри захватывало и в то же время возмущало: дворы были завалены снегом и автомобилями, город превращался в большой гаражный кооператив.

— Да что ты будешь делать! — выругался водитель, остановившись в огромной очереди у железнодорожного переезда. — Каждый день одно и то же, стоишь и стоишь. Знаете, — повернулся он к Вале, — какие-то учёные выяснили, что человек спит за свою жизнь двадцать пять лет. Интересно бы узнать, сколько он проводит времени в пробках.

Наконец переезд открыли, машина пересекла пути и через некоторое время завернула во двор. Валя расплатилась с водителем, он вытащил из багажника чемодан и уехал. Она направлялась к подъезду, колёсики прыгали на разбитом асфальте, и тут её окликнули:

— Валя!

Она обернулась, это был Артурчик. Он сидел с ребятами на корточках у ларьков, продававших шаверму, и пил пиво.

Валя не ожидала его встретить, забыла совсем его; когда-то она страстно любила Артурчика.

Он подвалил к ней.

— Здоров, Валь! Откуда, из Москвы? — у него под глазом был синяк. — Давай помогу.

И он потянулся за чемоданом.

— Я сама.

— Да ладно.

— Я сказала — сама! Отвали!

— Вау-вау, какие мы гордые! — развёл руки Артурчик; он говорил громко, так, чтобы все слышали и видели. — Я тут на днях матери твоей помогал, кран чинил, она соседей затопила. Так она супчиком меня покормила, как раньше, — осклабился он. — Ты надолго, что ли?

— Послезавтра уезжаю.

Мамы дома не было. Валя легла на кровать, в которой, как помнила себя, всегда спала. И заснула. Её разбудил голос матери:

— Дома моя девочка! Что же я хожу-гуляю?

Мама поставила воды в чайник и включила газ.

— Электрическим, дочка, не пользуюсь, крутит счётчик, а киловатт подорожал.

Валя, слушая её, прошла в ванную принять душ и замерла перед новеньким блестящим краном.

— Это Артур кран менял?

— Да, он приходил. Тут его побили, он мне рассказывал: полицейские его схватили на улице и начали колотить.

— Мам, полицейские просто так не хватают на улице, он тебе лапшу на уши вешал, а ты и слушала.

— Да ну как же?! Такой мальчик, и родителей я его знала, мать у него недавно умерла, у отца инсульт.

— Мам, не надо, чтобы он больше чинил у тебя что-то, если надо — скажи мне, я тебе денег пришлю, мастера нормального вызовешь.

— Ты несправедлива к Артуру, он с тобой дружил.

— Мам, давай не будем на эту тему. Ты, кстати, не болеешь, гляжу, уже.

— Тётя Шура помогла. Она ездила тут к травнице одной, себе и мне лекарства привезла, я денег давала. Помогает. А то, знаешь, Иван Сергеич-то, мастером у нас работал раньше, мочой лечится начал. Своей, конечно. Пьёт её по утрам и бегает вокруг озера. Жена Ивана Сергеича, Ирина Валерьевна, разводиться с ним вздумала, и это после сорока лет супружества.

Валя вышла из душа, утираясь полотенцем, сказала:

— Я бы тоже с ним развелась.

— Если честно, и я бы тоже, — и мама засмеялась, а Валя засмеялась оттого, что мама засмеялась и была такой наивной.

Закипел чайник, мама заварила чай, вынула колбасы и сыра, нарезала бутербродов.

— А то, может, поесть хочешь?

— Не, не хочу, ма.

— Худеешь?

— Почему?

— Не знаю. Не ешь, вот я и спросила: худеешь?

Валя вынула из чемодана подарок матери, положила упаковку на стол.

— Тебе.

— Это что?

— Кофта.

Мама вытерла руки о полотенце и развернула её, примерила на весу — кофта была из дорогого бутика, белая, в крупную вязку, с блестящим люрексом.

— Велика она немного, ма, не знала, какой у тебя размер.

— Ничего, я её ушью. Ай, хорошая кофта! Спасибо тебе дочка, хоть сейчас в загс. Вечером дяде Лёше покажу.

— Кто такой дядя Лёша?

— Ты его не знаешь, он недавно здесь поселился. Он очень порядочный мужчина, бывший военный. Интеллигент. У него жена недавно умерла, он приходит, мы в дурачка играем, — и мама снова засмеялась, только теперь её лицо расправилось и помолодело.

Валя слушала маму и думала, что никогда не станет такой, как она. Мама раньше работала на железной дороге, была и сцепщицей, и сигналистом, и смазывала и подкручивала болты на стрелочном посту, и часто Валя бегала к ней на работу, чтобы поесть в столовой. В свои пятьдесят шесть лет она, худая и жилистая, всё ещё выглядела моложе своих лет.

— Я тебя познакомлю с ним, — мама убирала со стола.

Валя смотрела на её сбитые, приплюснутые костылями и молотками пальцы. И ей жалко её было, и она подошла и обняла её.

Мама заварила для дяди Лёши чай, отдельно, в кружке. Выставила креманку с мёдом и глянула на часы; в это время позвонили в дверь.

— Точен, как куранты, — пролепетала и побежала открывать.

Дядя Лёша вошёл, крепкий, с жёстким ёжиком волос на голове, губы его были поджаты, движения выверены и точны. Он разулся, снял носки и прошёл босиком на кухню. Мама успела надеть белую кофту. Он сел на табуретку.

— Дочка моя, Валя,— сказала мама.

Дядя Лёша поднялся и пожал Вале руку:

— Алексей Владленович.

Валя оставила их, а сама пошла одеваться, чтобы выйти прогуляться.

Дядя Лёша рассказывал маме, что знает способ, с помощью которого можно было бы побороть преступность.

— Взять, к примеру, тех кто продаёт наркотики. Мы знаем, что в массе своей ими торгуют цыгане. Для них важно что?

Мама слушала и любовалась дядей Лёшей, и когда пожимала плечами, что не знает, что важно для цыган, то поправляла кофточку, кокетливо съехавшую с плеча.

— Для них важна семья!— заключал он.— Отними у них дом, снеси его! Так, чтобы им жить негде было. И тогда всякие продажи наркотиков прекратятся.

— Ты погулять?— спросила мама.

— Да, пойду пройдусь.

— Ну хорошо. А мы ещё в дурачка сыграем.

Валя спустилась на улицу. Светили низкие фонари. Дул ветер, и всюду блестели лужи, переливающиеся лёгкой рябью. Она сунула руки в карманы шубки и, поёживаясь, пошла по бульвару.

У магазина её увидел Артурчик, он догнал её.

— Привет. Погулять вышла?

— Да.

— Ты бы одна не ходила, у нас тут неспокойно.

— Я не боюсь.

— Смелая.

— Какая есть.

— Замуж не вышла?

— Нет.

— А я развёлся уже. У меня шесть лет. Скажи, а чего ты уехала тогда?

— А ты что, не знаешь?

— Не знаю.

— Ты это серьёзно?

— А чего шутить? Я тебя тогда искал. У матери твоей спрашивал.

— Артурчик, зачем ворошить старое? Сколько уже утекло.

— Мне всё равно сколько, я тебя когда сегодня увидел, так и обомлел. Валь, может, по кофе выпьем?

Она согласилась— всё равно мама с дядей Лёшей в дурачка ещё играют; зашли в кафе, на крыше которого светилась неоновая надпись «Каравелла».

Артурчик скинул кожанку и остался в олимпийке «Адидас», помог Вале снять шубку. Подошёл официант, оставил меню.

— Ты красное будешь?

Валя улыбнулась: он помнил, что она любит красное вино.

— Возьми.

Артурчик заказал бутылку красного и жарко́е.

— Да, и ещё мне пивасика. Какое у вас свежее?

— «Будвайзер». «Жигулёвское». У нас всё пиво свежее.

— Давай «Жигулёвское»… Как там в Москве?— повернулся он к Вале.

— Как везде.

— Скажи мне, что есть такого в Москве, что её все боятся?

— В смысле?

— Когда приезжают туда и пытаются там остаться.

— А! Ты вот о чём… Не знаю, со мной такого не бывало. Хотя да, Москва тебя или принимает, или выталкивает, другого не дано. Если принимает— ты остаёшься, становишься сильным, если не принимает— возвращаешься домой.

— И становишься слабым…— продолжил Артурчик.— Ты сильной стала, да?

Принесли пиво. Артурчик лакал его, и белая пена прилипала к его верхней губе.

— Помнишь, мы с тобой катались на лодке?— сказал он.— Взяли несколько бутылок пива, положили их в сетку и опустили за борт, чтобы охладились, а они утонули. Я нырял, ты так была счастлива.

— Не помню,— заулыбалась Валя.— И что, ты достал пиво?

— Одну бутылку. Остальные ещё там, глубина метров семь-восемь, просто так не достанешь. Будущие потомки поместят в музей.

Принесли жаркое и вино. Официант хотел открыть бутылку, но Артурчик сказал, что сделает это сам.

Она наблюдала за ним, и он всё больше ей нравился, что-то давно ушедшее вновь вернулось, и разом напряжение и усталость, накопившиеся за много дней, спали, и она вдруг громко засмеялась, и так весело ей стало и беззаботно, и она почувствовала, что давно живёт в этом городе и никуда торопиться не нужно.

После ресторана она осталась у него. Они пришли весёлые и выпившие. Валя всё никак не могла стащить сапог, и он помог ей, а потом подхватил её на руки и понёс в комнату.

— Не урони,— шептала она и трепала его за волосы.

— Да что ты?.. Как я могу?..— отвечал он и целовал её, и она отдавалась ему и вдыхала крепкий запах его тела.

После он лежал, раскинувшийся, на кровати, и она смотрела, счастливая, сначала на его лицо, потом на плечи, прижималась к нему, и хотелось, чтобы как-то всё это— и её жизнь в Москве, и он, здесь, рядом,— соединились и существовали одновременно.

— Ты не хочешь уехать в Москву?— спросила она, и голос её был полон надежды.

— Нет. Чего там забыл?
— А я?
— Ты можешь здесь остаться.
— А что я буду тут делать?—засмеялась она.
— У тебя здесь мама.
— А там работа, там… деньги, там всё по-другому.
— Нет, я туда не поеду,—Артурчик сонно зевнул,—боюсь я этой Москвы. Тут меня все знают. Тут я—Артурчик.

Он прижал её к себе, просунув руку под её затылок, и быстро уснул.

Утром позвонила маме, сказала, чтобы не волновалась.
— Ты с кем?—допытывалась мама.
— Неважно, у подруги.
— Какой подруги?
— Мам… плохо слышно,—Валя звонила в коридоре, чтобы Артур не слышал, остановилась взглядом на стоптанных его ботинках.—Ладно, ма, плохо слышно, пока.
— Артурчик, а что бы нам не заехать в обувной?
— Зачем?
— Я хочу купить тебе новые ботинки.
— У меня есть ботинки.
— Это будет мой подарок тебе.
— Мне не надо,—напрягся Артурчик.
— Артур, ты не думай, у меня есть деньги.
— Мне не надо,—повторил он с расстановкой.

Они собирались поехать сегодня в кино—и никуда не пошли. Валя вернулась домой расстроенной. Мама сидела с дядей Лёшей, играла в подкидного.
— Ты чего так рано?
— Завтра уезжать,—она уткнулась в подушку и заплакала.

На следующий день рано утром она уехала. А ещё через две недели Валя узнала, что беременна.
— Привет,—позвонила она Артуру.
— Да. Кто это?
— Валя.
— А! Ты? Как там Москва?
— Нормально.
— Чего звонишь?

Она не знала, что придумать, сказала, что первое пришло в голову:
— Я там у тебя серёжку потеряла.
— Я не видел никакой серёжки.
— Значит, где-то в другом месте потеряла.

Трудная работа

Пётр Ильич Пашенный после работы выпил немного. Он провёл совещание, и было понятно, что Вахитова умерла, потому что ничего нельзя было поделать. Опухоль мозга: сколько ни оперируй, режь не режь, рак он и есть рак.

Пётр Ильич видел эту Вахитову всего раз: её привезли, жизнерадостную брюнетку, в больницу, муж её, чернобородый, маленького роста и полный Вахитов, жестикулировал, как итальянец, отдалённо напоминая Лучано Паваротти. Он хватал за лацкан халата первого попавшегося ему, искренне считая, что перед ним врач, и говорил: «Если что, доктор, у меня есть деньги! Ты, главное, не торопись, делай операцию, а там скажешь, сколько надо».

Пётр Ильич посмотрел на телефон, значок показывал снег, а на улице темно, снега не видно. Он возвращался домой на маршрутке—оставил машину у больницы. Всюду обман, думал он, ложь и неправда. Вот и Вахитову пообещали: его жена будет жить…

Доктор Жуков, молодой кандидат наук, объяснял, что в тот момент фрезу заело и пришлось воспользоваться проволочной пилой Джильи. Жуков ходил по ординаторской, курил, и руки его тряслись. Пётр Ильич спросил:
— Это у вас первый, кто умер?
— Да… Не поверите, всё время готовил себя к этому—и никак не могу.
— А в Бога вы верите?
— В Бога?—удивился Жуков, и руки его перестали трястись.—При чём здесь Бог?
— Я так спросил. Наш брат доктор совсем не верит в Бога. Правильно: когда ты делаешь трепанацию и видишь все эти прожилочки и завитки, какой тут, к чёртовой матери, может быть Бог, и при чём Он тут? Человек просто зависит от одной-единственной ненадёжной клетки, которая вдруг почернела и начала развиваться, убивая всё вокруг. Так вы верите в Него?
— Я даже не знаю… Слушайте, Пётр Ильич, я не готов отвечать сейчас вам на это.
— Понятно,—кивнул ему Пётр Ильич и сказал:—Вахитова умерла, потому что ничего нельзя было сделать, так?
— Так.
— А если её судьба была такая?
— Пётр Ильич, я же пришёл просить у вас поддержки, а вы мне про Бога. При чём тут Он?
— Я вас спрашиваю,—не отступал Пётр Ильич, выговаривая по слогам,—она умерла, потому что такая была её планида, да?
— Она умерла, потому что фреза вышла из строя. Мотор сломался. При чём здесь ваш Бог?

Жуков затушил сигарету в раковине, умылся и сказал:
— У меня не метафорическое сознание, я не знаю, кто такой этот Бог, Он для меня фигура отвлечённая, у меня нет этой дислокации головного мозга, чтобы заботиться о Его существовании. Я просто беру нож и режу.

Жуков вышел, громко хлопнув дверью, и тут прозвонил телефон на столе Пашенного. Он глянул: это пришло ему голосовое сообщение.

Пётр Ильич прослушал сообщение и побледнел. Прослушал ещё раз и несколько минут сидел, не

шелохнувшись, боясь сглотнуть, в горле пересохло, потом долго стоял у окна и смотрел, как падает снег, а по заснеженной дорожке санитар толкает тележку с телом Вахитовой. Петру Ильичу сообщили, что его супруга, которая младше его на двадцать лет, изменяет ему с доктором Жуковым.

Это было так неожиданно для него. Он услышал в трубке вкрадчивый, с лёгким смешком, голос жены, который говорил мужскому голосу, похожему на голос доктора Жукова, что-то личное, интимное, отчего в висках закололо.

Пётр Ильич перестал понимать, где находится, и только тележка, которую толкал санитар в сторону морга, вернула его в кабинет.

Пашенный вынул из шкафа бутылку португальского портвейна, вытер вафельным полотенцем бокал — уловил своё сходство с отцом. Когда-то давно — он это вспомнил сейчас — отец так же вытирал полотенцем бокал и вбухивал туда портвейн «777», или, как любил говорить отец, «портвешок».

Пётр Ильич залпом осушил бокал, развернул конфетку и положил в рот.

«Ладно, — сказал он себе, — пусть! Это случается… Молодая… впрочем, почему молодая? Ей что-то около сорока. Сколько моей жене лет? Кажется, тридцать девять. Я даже не знаю, сколько ей лет!»

Он представил её — высокую, статную, с рыжими вьющимися волосами и крепкой, по-девичьи заострённой грудью. И вспомнил, что когда увидел её впервые в аудитории, она одна смотрела на него, и он чувствовал её хищный взгляд на себе, то подумал: «С таким холодными глазами только делать вивисекцию».

Она преследовала его, он сдался, ему нравились её тело и пустые глаза, она ничего не требовала, а только отдавалась. Потом был скандал: преподаватель — студентка! Он ушёл из института и вернулся в клинику на должность заведующего отделением. А она окончила институт и ушла в бизнес, занималась продажей медицинской техники.

Пётр Ильич женился второй раз. До этого он был женат, но жена умерла, когда он её оперировал, — после этого случая он и ушёл преподавать. Пашенный очень любил первую жену и никак не мог простить себе её смерть.

В комнату вошёл доктор Прохоров; он плюхнулся в кресло и положил ногу на ногу, как ковбой.
— Пётр Ильич, там такое творится, — сказал он, и лицо его сияло. — Я смеяться устал… Рассказываю. В шестнадцатой палате лежит тяжёлый Анисимов, его должны были сегодня причастить, а батюшка перепутал палаты и вместо Анисимова причастил бугая Гаранькина. Вы знаете Гаранькина? Ну, тот, у которого десятое сотрясение головного мозга. Гаранькин, как Лазарь, воспрял, стряхнув с себя пелены, и устроил форменный скандал. Столько шуму: медсёстры бегают, в палате смех, мы тоже смеёмся, а батюшка, бедный, не знает, куда себя деть.

Прохоров заметил бутылку портвейна на столе, сказал:
— Что это вы, Пётр Ильич? Никогда не видел вас пьющим.
— Портвейн хороший. У меня отец любил повторять: портвешок. Красиво, правда? Портвешок!
— Не знаю. Вы домой уходите? — поинтересовался Прохоров.
— Да, пойду, — сказал Пётр Ильич. — Так вы не будете?
— Я не пью портвейн. Водка — другое дело.
— Тогда я уберу, — сказал Пётр Ильич и поставил бутылку в шкафчик.

Ополоснул бокал. Он всё делал как-то медленно и молча. Прохоров не узнавал Петра Ильича, спросил, здоров ли он.
— Да, всё хорошо, — отозвался Пашенный и повесил халат на вешалку, переобулся в тёплые сапоги на молнии, надел пальто с меховым воротником, взял в руки котиковую шапку, портфель и, попрощавшись, вышел.

Пашенный улыбался, давно он так быстро не хмелел. «Работа, проклятая работа, — корил он себя, — всё время здесь. Бежишь из дома, как из тюрьмы, жена тоже бежит, а где он, дом? Дом — это… эти… больные, их головы, laminia externa-canales diploici, травмы, опухоли; ненавидишь работу, а спишь и видишь, что заходишь в операционную, в руках распатор, больной приготовлен: кровоостанавливающие зажимы, коагулятор, голова лежит как надо, — всё выполнено точно, до последнего пункта, и вдруг ты понимаешь, что ничего не помнишь, не знаешь, как, в какой последовательности резать. Как будто только что поступил в медицинский институт. Проснёшься — и сверлит тебя мысль: как же я всё это делаю, все эти краниотомии-трепанации? Ведь когда делаешь — не думаешь, как делать, а делаешь…»

Пётр Ильич заглянул в бар, подумал: выпью ещё немного — и домой. Он не торопился, оттягивал встречу с женой. В баре было темно, над столами горели лампы. В их свете медленно плыл сигаретный дым, пахло сладкой блевотой, над стойкой ярко горели споты, освещая вспотевшее лицо барменши.
— Пётр Ильич! — окликнули его. — А вы что здесь делаете?

Пашенный обернулся: в углу стоял незнакомый человек крепкого телосложения (на лицо незнакомца падала тёмная тень, и Пётр Ильич не мог его сразу разглядеть).
— Я вас знаю? — сказал Пётр Ильич.
— Конечно, — незнакомец всё так же в тени.

Внутри Пашенного что-то перевернулось, он подумал: это как-то связано с тем сообщением, — спросил:

— Кто вы?
— Ваш бывший студент Алексей Кашин.
— Кашин, Кашин…—порылся в памяти Пашенный и не мог никак вспомнить, кто такой Кашин.
— Не пытайтесь вспомнить,—сказал Кашин,—это было давно и неправда. Так что вы тут делаете?—он шагнул к нему навстречу.—Вы, доктор медицинских наук, и тут? Дела туго пошли? На взятке попались?
— Что за глупости?—выругался Пашенный.—Какая взятка? Я зашёл выпить портвешка! Что я, не могу зайти выпить?
— Можете. Только население здешнего погребка не очень дружелюбно.

Пётр Ильич успокоился: значит, это не по поводу жены.

— Как ваша жена Наташа?—спросил Кашин.

И тут Пашенный всё вспомнил. Кашин был тот влюблённый студент, который вызывал его, сорокалетнего преподавателя, на дуэль.

— Вы о Наталье Васильевне?
— О ней. О Наташе.
— Так ведь почти двадцать лет прошло.
— И что? Мне—хоть пятьдесят. Я всё равно её люблю.

Петру Ильичу понравилось, как сказал Кашин.

— Давайте сядем,—предложил Пётр Ильич.—День был сегодня сумасшедший. Хотите, я куплю вам портвейн, или что вы там пьёте—водку?
— Зачем мне что-то покупать? У меня самого есть деньги, я не бедный.

Они заказали каждый себе по отдельности выпивки. Сели за стол и, не чокаясь, выпили. Потом Пётр Ильич спросил, где Кашин сейчас работает.

— Фельдшером на скорой помощи,—ответил Кашин.
— Почему фельдшером? Вы же институт закончили.
— Я его не закончил. Вы же меня сами отчислили.
— Да?.. Не помню, я ничего не помню.
— Ну да ладно. Кто старое помянет, тому глаз вон!

Пётр Ильич захмелел окончательно, Кашин теперь казался тем человеком, с которым можно было поговорить по душам, а этого Пашенному так не хватало. От Кашина веяло каким-то спокойствием и уверенностью. К тому же сам Кашин желал высказаться, и Пётр Ильич, подложив руку под щёку, слушал его.

— Так получилось,—продолжал Кашин,—что благодаря вам… тому, что вы меня вышвырнули из института, я изменился. Меня же тогда в армию забрали, я и попал в самую гущу: Первая чеченская, площадь Минутка. Лежал под сгоревшим БТР, на спине ожог полоской от горячего металла, выползти не могу, кругом чеченцы. Ночью выполз—и к своим. Как добрался, не помню, сознание потерял. Вернулся домой, «челночил». Мог, конечно, сразу в институте восстановиться, но знаете, видеть человека изнутри…—Кашин замолчал, крепко сжал кулаки на столе и продолжил:—Да и возвращаться туда, где была Наташа, не хотелось.

Они взяли ещё выпивки. Пашенный слушал внимательно. Кашин продолжал:

— Чем я только не занимался. Главное, чтобы дорога была, не мог долго оставаться на одном месте, снилась всякая дурь. Потом встретил Катю, женился. Теперь у меня двое детей, мальчик и девочка. А всё равно как-то тянуло к людям, хотелось им помочь. В общем, подучился я немного и стал работать фельдшером на скорой помощи. Вроде я счастлив, есть работа, да, трудная, так сказать, на скоростях и в режиме аврала, но мне нравится—никого не режу.

Пётр Ильич заслушался Кашина.

— А вы, Пётр Ильич, как? Счастливы?

Пашенный очнулся, вспомнил, что ему сегодня предстоит неприятный разговор с женой. И душно ему стало. Он ослабил галстук и расстегнул пуговицу на рубашке. Пожал руку Кашину и, сбивая ногами стулья, устремился на улицу.

Сыпал мелкий снег. Пётр Ильич стоял у входа в бар. Он не умел ревновать и от этого чувствовал себя слабым. Пятно луны, как желток, ряд фонарей, убегающих вдаль, свет в окнах многоэтажных домов, вывески магазинов—Пашенный оглядывался по сторонам и глубоко дышал свежим морозным воздухом; ему казалась, что он обречён навечно резать всех этих людей.

— Вы портфель забыли, Пётр Ильич,—вышел за ним Кашин.
— Спасибо.
— Вас проводить?
— Не надо. Слушайте, Кашин, не знаю вашего имени-отчества, приходите ко мне завтра, поговорим. Мне кажется, из вас получился бы хороший врач.

Ирина Манаева

Инстинкт самосохранения

Женька

Женьке очень хотелось быть мальчиком. Не потому, что ей не хотелось быть девочкой; в девочках ей всё нравилось, кроме завязывания косичек и необходимости носить неудобные платья, ведь штаны или шорты куда как лучше. Женьке хотелось быть мальчиком потому, что её отец всегда мечтал о сыне. Он никогда не говорил этого Женьке, просто однажды она сама услышала, как отец жаловался деду, что у него нет сына. А дед на это возразил:

— Знаешь, Шурик, вот у меня — Танюрка и Валюрка, две дочки, лучше всяких пацанов! Я поначалу тоже расстраивался, сына ждал, а потом привык. Девочки даже лучше: по хозяйству помогут, на стол накроют, помоют там, зашьют, ну и всякое такое.

— Хорошо всё это, батя, да без сына никак. Должен быть пацан в семье, понимаешь; вон у матери моей трое нас, любой заступится, если надо, скотину накормит, починит, смастерит. Да что говорить! Люблю я девчонок своих, но сына ещё бы больше любил. Надеялся до последнего, что Женька мальчиком родится.

Разговор давно ушёл в прошлое, но Женьке въелись эти слова в память очень чётко и глубоко. Она всем сердцем любила отца, боготворила его и старалась быть похожей на своего Шурика.

Сегодня был очень важный день для Женьки. Отец разбудил её рано утром, они вместе позавтракали под мерное посапывание домашних и отправились на дело. Отец выкатил из сарая свой чёрный велосипед со словами:

— Карета подана!

Женька забралась на своё место — небольшое детское сиденье, прикрученное к раме, поставила ноги на специальные педали и кивнула, что она готова.

— С ветерком?! — подмигнул ей отец.

— С ветерком, — радостно отозвалась Женька.

Они выехали со своей улицы и направились в центр города на базар. Хозяйство у Паниных было и не большое, и не маленькое. Отец, с детства привыкший к скотине, держал дома кроликов и кур, которых выращивал сам, а за поросятами периодически выезжал на рынок. Женька очень любила выбирать поросят, особенно ей нравились чёрные хрюши за свой интересный окрас. Розовых было полным полно, а вот чёрные попадались нечасто, за это они ей и нравились.

По базару Женька ходила с видом знатока; отец согласно кивал, когда она указывала на того или иного поросёнка, и подходил поближе, чтобы внимательнее его осмотреть. Ему нравилось, что Женька интересуется подобными делами, он любил бывать с дочерью. Очень часто Женька приходила к нему, пока он делал что-то во дворе, и помогала. В инструментах она разбиралась не хуже взрослого, стараясь не отставать от отца и заменить ему сына. Они вместе стругали доски, сооружали клетки для кроликов, чинили лестницы и всё в таком духе.

А сегодня Женька внимательно рассматривала живой товар, чтобы выбрать самых хороших и здоровых поросят. Она переводила взгляд с одного на другого, но ей так никто и не нравился. И тут мешок, лежащий прямо у её ног, хрюкнул и зашевелился. Женька подпрыгнула от неожиданности.

— Это чего у вас там? — спросила она продавца.

Тот нагнулся над мешком и вытряхнул небольшого бледно-розового поросёнка в пятнах. Отметины были по всему телу, особенно кокетливо был подведён левый глаз, и серое сердце красовалось на правом боку. Женька была сражена: такого миленького хрюшу она ещё не видела.

Когда торги с продавцом были закончены, в мешке у отца визжали три поросёнка. Отец с Женькой походили ещё по рынку, прикупили свежих фруктов и кулёк шоколадных конфет. Неживые покупки привязали к рулю велосипеда, а живой мешок отец вручил Женьке, которая заняла своё место. Она крепко держала кончик мешка, стараясь, чтобы поросятам было как можно лучше.

Мама уже была на ногах, а Людка — старшая сестра — всё ещё дрыхла, она любила поспать, тем более что сегодня был выходной и ни в какую школу не было нужно. Мама суетилась по хозяйству, готовила завтрак и обед. Услышав звук открывающейся калитки, она вытерла мокрые руки о передник и вышла на крыльцо.

— Купили? — спросила она, поправляя платок.

— А то, — подмигнул ей весело отец, — лучших! Сама Женька выбирала.

— Ну, раз сама Женька,— засмеялась мама в ответ, глядя на довольную дочь,— то понятно. Ладно, я пойду готовить, а вы пока занимайтесь делами.

Когда велосипед был поставлен на своё привычное место, Женька с отцом занялись поросятами. Отец ещё раз внимательно осмотрел каждого, а потом отправил их в свинарник, не забыв закрыть дверь. Поросята весело зачавкали заранее припасённой для них едой.

На столе уже стояли чашки, дымящиеся горячим чаем, возвышалась гора свежих блинов, смазанных маслом, стояла вазочка с вареньем, конфеты, мёд, пряники и вафли. Людка умывалась в ванной, напевая что-то себе под нос. Вообще семья Паниных была музыкальная: дед играл на гармошке, а бабушка была первой певицей и плясуньей в деревне. Они так и познакомились, веселясь на свадьбе друзей, а потом и поженились, да так и прожили всю жизнь вместе. Дед Петя и баба Нина. А в них и все остальные пошли. И мать у Женьки пела, причём довольно неплохо, и тётя, и братья двоюродные оба, и Людка, и сама Женька.

Бывало, соберётся вся родня вместе за столом — и песню заведут. Дед гармошку свою вынесет, бабушка станет за ним, на правое плечо его облокотится и заводит мотив, а там и все остальные подхватят. Женьке очень нравились такие взрослые посиделки, она даже не могла понять, чем именно. Ну вот сидят люди, едят, о непонятных вещах толкуют, скука, да и только, для детских ушей. Но вот начинается песня — и Женька превращается вся в слух. Приятно и протяжно поются застольные песни, о любви, о жизни, о мечтах и надеждах, недетские песни, но очень хорошие.

Часто Женька оставалась у бабушки, и та учила её петь эти самые песни. И вот заведут они мелодию на два голоса, Женька первым, а бабушка вторым, и так спокойно и в то же время радостно было Женьке, что не хотелось, чтобы заканчивалась песня. Бывало, что бабушка брала стихи Никитина или Кольцова и пела их на свой лад, как ей хотелось. А самым любимым стихотворением Женьки был «Хуторок» Кольцова. Грустные стихи, поэтому и песня была грустная, но какая песня!

Наконец Людка закончила свой утренний туалет и присоединилась ко всем. Чай был со смородиновыми листьями, как любила Женька, она с удовольствием съела пару блинов с вареньем, поблагодарила маму за вкусный завтрак и пошла в свою комнату проведать кукол. Сегодня у них по расписанию были русский язык и математика. Женька рассадила кукол по дивану, открыла дверь шифоньера, которая служила ей классной доской, достала старые учебники из стола, по которым занималась ещё мама Женьки, и раскрыла азбуку на странице с закладкой. Женьке шёл седьмой год, она недавно поступила в школу, но читать умела с пяти лет. И в этом была заслуга её лучшего друга, который был младше на целый год.

Дома у Паниных была куча детских книжек с картинками, которые мама читала перед сном Женьке, днём же Женька тщетно пялилась на непонятные символы, пытаясь осознать, как мама, папа и Людка их понимают. Может, они притворялись и просто рассказывали сказки по картинкам? Сидела Женька и думала, пока в гости Ромка не пришёл. Он протянул ей книгу.

— Моя любимая,— сказал он, усаживаясь по-турецки на пол и кладя книжку рядом.

На обложке была нарисована девочка с коровой, а сверху крупными красными буквами было что-то написано.

— Кло-шеч-ка-Хав-ло-шеч-ка,— прочитал он по слогам, ведя пальцем по символам, и перевернул страницу.

Сказка оказалась интересная: про хорошую девочку, которой помогала волшебная корова, а мачеха и её дочери — Одноглазка, Двуглазка и Трёхглазка — извели корову. Но сказка хорошо закончилась: приехал принц и забрал Хаврошечку с собой. Интересно стало Женьке, тоже захотелось самой книжки разные читать в любое время. Уговаривать Ромку долго не пришлось, он сразу согласился стать учителем. Всего за несколько дней освоила Женька науку, сама и не поняла как. Ромка читал по слогам, пальцем водил, а она запоминала значки и звучание, так и научилась. А потом и кукол своих учить стала.

Сегодня они проходили букву «Д», похожую на дом. Женька застелила ковёр под дверцей бумагой, чтобы мама не ругалась, что мел по всему дому растащили, и стала медленно выводить прописную «Д».

— Это большая «Дэ»,— обернулась она к куклам и заглянула в учебник.— «Дом», «Дерево», «Девочка»,— прочитала она примеры своим ученицам и снова обратилась к доске.— А это маленькая «дэ». Запишите в своих тетрадках.

Женька в процессе урока подходила к куклам и писала у каждой в тетради буквы и слова, иногда намеренно неправильно за глупых учениц, ведь в каждом классе должны быть отличники и двоечники. А потом, когда урок заканчивался, она собирала тетради на проверку и рисовала красной ручкой звёздочки, квадратики и кружочки, которые ставила им в школе первая учительница: «отлично», «хорошо» и «плохо».

— Ах мне эта Катька, ничего учить не хочет, одни двойки хватает,— причитала она, малюя очередной круг в тетради.— Я бьюсь с ними, бьюсь — никакой благодарности и отдачи,— вставляла она слова учительницы и качала головой.

Были у неё и любимчики, и лодыри, и выскочки, которым она частенько делала замечания среди занятий. У каждой куклы была своя история, свой

характер, которыми их наделила Женька, и мама была спокойна, что дочка мирно играет дома, а не лазает по деревьям или брошенным стройкам.

Когда закончился второй урок, Женька вытерла доску несколько раз, чтобы убрать меловые разводы с дверцы, аккуратно свернула бумагу и выбросила её в ведро. Куклы разошлись по домам, оставив ей на проверку тетради, а мама позвала юную учительницу кушать.

После сытного обеда отец расположился с дочками в зале. Сегодня суббота, а значит, время для «Острова сокровищ». Людка развернула красочную игру-ходилку с названием книги Стивенсона и достала разноцветные фишки. Сегодня Женьке не везло, кубик останавливался постоянно на мелких цифрах, оставляя её позади всех. Главное — уметь проигрывать, как учил отец, без слёз, соплей и прочего. К победе надо стремиться, но если уж фортуна отвернулась от тебя, то уметь держать лицо.

Пока Людка сидела в пиратской тюрьме, а отец угодил в болото, Женька гнала свой фрегат на всех парах к финишу, долго тряся кубик в ладошках, потом дуя на него и забавляя тем самым отца, который смеялся от души, глядя, как старшая дочь кусает заусенцы, а младшая колдует.

В итоге победил Мурзик, который возомнил себя Харламовым и забил шайбу-кубик под диван, разбросав фишки по полу, и с видом кота, выполнившего свой долг, развалился посреди игры пузом кверху.

— Победила дружба, — сказал отец, поднимаясь с пола. — Вы тут без меня играйте, а мне работать пора.

Отец ушёл, но играть с Людкой было определённо не во что: она была взрослее Женьки на целых восемь лет и не желала водиться с мелюзгой. Поэтому Людка встала и вышла вслед за отцом, отправившись к одной из своих подружек, а Женька стала собирать разбросанные куски игры. Мурзик категорически не хотел сползать с карты сокровищ, поэтому Женьке пришлось вытаскивать её из-под упрямого кота. В итоге она порвала карту до середины и очень рассердилась и на себя и на животное.

— Вот что ты наделал, отвратительный Мурзик, — сказала со вздохом Женька, — папину любимую игру порвал. Он теперь с нами не захочет играть.

Она ещё раз посмотрела на карту, принесла ножницы, клей и бумагу и стала исправлять свою ошибку. Получилось довольно неплохо, только красивая картина сзади с изображением отчаянных пиратов, пустившихся в дальнее плавание, была сильно испорчена кривой белой бумажной лентой.

А вечером, как всегда, отец позвал младшую дочку в спальню.

— Где там моя великая сказочница? — спросил он, укладываясь в своей постели.

Женька запрыгнула в кровать, устроилась поудобнее и начала сказывать.

— «Лисичка со скалочкой», — произнесла она название. — Шла однажды лисичка по лесу и нашла скалочку, — стала она рассказывать сказку, которую отец слышал уже раз восемьдесят.

Это была любимая Женькина сказка, а отцу очень нравилось, когда дочь рассказывает ему что-то на ночь, пускай и слышанное не один десяток раз. Он с интересом наблюдал за Женькой, которая снова и снова пересказывала знаменитый сюжет. Закончив, Женька проверяла отца: спит или нет, — и заново рассказывала ту же самую сказку, если он не успевал уснуть. Когда Женька уверялась, что отец видит третий сон, она отправлялась в свою кровать и спала как убитая, радуясь, что она укладывает самого папу.

Но отец никогда не ложился первым, он делал вид, что именно Женька его убаюкивает, ждал, пока она сама уснёт, а потом уже занимался своими делами.

Сегодня отец крепко обнял Женьку и прошептал:

— Женька, как же я тебя люблю.

Он немного помолчал и добавил:

— Ты не сын — ты лучше, чем сын. Ты — моя Женька! Я хотел сына, но теперь понимаю, как я счастлив, имея такую дочь.

Женьке было приятно это слушать, поэтому она рассказала сказку ещё интереснее и загадочнее, чем обычно, и радостная ушла к себе.

Время текло незаметно, дни рождения Людки и Женьки, родившихся в один месяц, сменил главный семейный праздник — Новый год. Женька любила Новый год: одно удовольствие наряжать настоящую ёлку, пахнущую хвоей, колоть тонкие пальчики об иголки, поставить фигурки Деда Мороза и Снегурочки у новогодней красавицы и, выключив свет, сидеть перед разноцветными огнями, ожидая чуда.

В новогоднюю ночь Люда, как старшая, оставалась с родителями за столом, смотря новогодние передачи, а Женька, вдоволь навеселившись и налопавшись вкусностей, поскорее отправлялась спать, ведь чем скорее она уснёт, тем быстрее наступит Новый год, придёт Дед Мороз и оставит на столе подарок для Женьки. Жалко только, что этот самый Мороз никогда не приходил к ним домой, пока Женька была на ногах. Мама говорила, что настоящий Дед Мороз приходит поздней ночью и оставляет подарки для хороших детей.

Женька считала себя хорошим ребёнком, которому Дед просто обязан был подарить заводной паровозик с вагончиками. Который год ожидая Деда, чтобы посмотреть на него воочию, она случайно погрузилась в сон, где большой поезд стучал по рельсам: чух-чух, — а она глядела в окно одного из вагонов, который вёз её к Деду Морозу.

Когда Женька проснулась, уже светало. Людка спала напротив в своей постели, и Женька вдруг вспомнила, какой сегодня день. Она поднялась на локте, чтобы получше рассмотреть стол. Вот он! Разноцветный свёрток с бантом. Она тихо, чтобы не разбудить сестру, подкралась к подарку, лежащему на её стороне. Около сестры тоже был подарок. Неужели она хороший ребёнок?—подумала Женька. Ну и ладно. Да у неё, как всегда, что-то ненужное, вечно ей этот Дед книжки неинтересные тащит. Самому, небось, не хочется читать, так он всё ей.

Женька взяла свой подарок и на цыпочках вышла на кухню. Когда дверь была закрыта, она зашуршала бумагой и чуть не завизжала от счастья. Ну и молодец этот Мороз, правильно угадал про паровозик, а может, и письмо дошло, которое она маме отдавала для Деда Мороза. Как бы то ни было, подарок теперь был Женькин. Зелёный паровозик с трубой и чёрными колёсами заводился маленьким аккуратным ключиком и мог тащить за собой пять вагончиков: с углём, дровами, почтой и два пассажирских вагона. Каждый из них сцеплялся с другим, так что машинист сам мог выбрать, что сегодня везти и куда.

Женька завела игрушку, и поезд поехал, весело жужжа. Рельсов у него не было, поэтому локомотив врезался в стену и жужжал там, пока завод не кончился. Женька вся сияла. За этим занятием она провела около часа, а потом пошла похвалиться маме и папе, что она теперь машинист.

Прошли зимние каникулы, а за ними убежала и сама зима. Шёл второй месяц весны. Природа пробуждалась ото сна, птицы завели свои трели, время шло к лету, которое Женька очень любила. Несмотря на то, что день рождения у Женьки был зимой, она больше любила лето, потому что именно летом можно сбросить с себя ворох ненужной одежды и бегать весь день с мальчишками по своим ребячьим делам.

Женька вышла на крыльцо, вдохнула чистый апрельский воздух и пошла на улицу в поисках ребят. Она надела свою новенькую пёструю куртку, потому что настроение было хорошее. На улице она встретила Андрюшку, Сашку и Ромку, которые собирались в яр кататься с горы. В яру сошёл ещё не весь снег, и кое-где можно было попытать счастья прокатиться на клеёнке. Когда Женька забралась на гору, у неё захватило дух от высоты, с которой придётся скатиться, и она невольно отшагнула, размышляя, стоит ли вообще начинать. Под ногами чернел спуск с островками грязного снега.

— Не будь девчонкой,—подначил её Сашка,—тут всего-то скатиться,—махнул он рукой в сторону,—зато знаешь сколько ощущений!

— Я не трушу,—ответила Женька и подошла к краю.

Она собралась с духом, села на чёрный кусок клеёнки, одолженный у Андрея, и, оттолкнувшись ногами, поехала по склону. Снег куда-то испарился, оставив Женьку один на один с грязной жижей, по которой она и поплыла. Скорость была приличная, и тут внезапно Женька подпрыгнула на месте, больно ударившись о кочку прямо посередине дорожки. Корень дерева неудачно расположился в этом месте. Клеёнка вылетела из-под Женьки, и весь оставшийся путь Женька катилась кубарем, успев закрыть голову руками.

Женька лежала на боку, когда к ней подбежали остальные ребята. Она медленно села и посмотрела на них.

— Ну ты и мужик,—начал было подбадривать Сашка, но Женька только отмахнулась от него.

Она встала на ноги и увидела, что вся одежда покрыта весенней грязью. Новенькая яркая куртка, купленная любимым папой, была испорчена. Женьке захотелось зареветь, но рядом были эти отвратительные мальчишки, подбившие её на глупость.

— Что же вы стоите?—сказала она.—Давайте бегите на горку и катайтесь в своё удовольствие. Это же так весело! Вы же за этим сюда пришли!—съязвила она, развернулась и пошла домой.

В этот раз ребята так и не рискнули покататься: никто не хотел повторить подвиг Женьки.

Дома её ждала разгневанная мама, которая, завидев Женьку, стала отчитывать её, что девочки так не делают и что надевать новые куртки на прогулку глупо. Женька выслушала молча, злясь на Сашку, который пришёл домой чистый. Мама решила на примере показать, как трудно отстирать то, что так легко испачкать.

Женька склонилась над тазом с почерневшей от грязи водой и задумчиво натирала куртку хозяйственным мылом, когда вбежала Людка.

— Папку убили!—закричала она.

— Какого папку?—выбежала на крик мама, хватаясь за стену.

— Нашего,—заплакала Людка и села на пол.

Мыло выскочило из Женькиных рук и заюлило по ванной из стороны в сторону. Она тихо вошла в коридор, где в оцепенении сидели мама и сестра, а потом бросилась опрометью на улицу, но мать схватила её за футболку.

— Держи её,—приказала она Людке.—Ждите,—её била нервная дрожь, и слёзы стекали по лицу.

Мать сбросила передник и выскочила на улицу, а Людка крепко держала пинающуюся Женьку, которой просто необходимо было увидеть отца. Она ещё не знала, что такое «умер», но всем своим нутром поняла, что это значит что-то очень плохое.

Прошла целая вечность, когда за окном послышался вой сирены скорой помощи. Людка вскочила и бросилась к окну, ведущему на улицу. Женьке только этого было и надо, она бежала

как только могла, изо всех сил бежала к отцу. Выскочив на улицу, она осмотрелась и увидела толпу людей и машину скорой, бросилась к ним. Успела она увидеть лишь бледное лицо матери, садящейся в машину, и двери захлопнулись. На плечи опустились чьи-то взрослые руки — тётя Рая. Она взяла Женьку за руку и повела в дом. Рядом топал Андрюшка, грустно заглядывая в глаза. Проходя мимо соседок, Женька невольно услышала:

— Я как увидела, что он осел, так и выскочила сразу. Все смотрят, а Витька его теребит: вставай, мол, хватит притворяться. А я вижу, он побелел весь, и глаза стеклянные. Ну всё, сразу ясно. Можно и пульс не щупать.

Женька остановилась как вкопанная и уставилась на соседок.

— Что с папой? — спросила она дрогнувшим голосом.

Соседка явно не ожидала такого вопроса и стушевалась, не зная, что ответить ребёнку.

— Пойдём, — подтолкнула её тётя Рая к дому. — Мама, когда приедет, сама всё вам расскажет.

Никогда время для Женьки не текло настолько медленно. Она с лихвой почувствовала, как идут секунды, перетекая в минуты, которые тянули за собой длиннющие часы. Наконец мама вернулась с тётей Валей — своей родной сестрой. Лицо мамы было опухшим от слёз, она еле переступала ногами, явно напоенная лекарствами. Девочки сидели молча и ждали.

— Умер папа, — тихо сказала мама, стараясь не плакать.

— А как это — умер? — спросила Женька, не понимая.

— Умер — это значит умер! — закричала Людка. — Это вот закопают отца глубоко в землю, и всё — нет его больше! — она злилась на глупую маленькую Женьку.

— А зачем? — всё ещё не понимая, спрашивала Женька.

Людка было снова захотела закричать, но тётя Валя обняла её и увела в комнату, чтобы поговорить и попытаться успокоить. Женька посмотрела на маму.

— Ну зачем его закапывать? — повторила она опять.

Мама горько усмехнулась и покачала головой, словно стараясь прогнать всё это, как плохой сон. Понимая, что детям сейчас как никогда нужна её поддержка, она попыталась привести мысли в порядок и объяснить младшей как можно проще:

— Потому что он больше не сможет жить с нами, его организм сломался. Вот как часы, у которых выскакивает пружинка, они больше не ходят — они сломались.

— А если починить? — попыталась найти выход Женька.

Мама снова заплакала и сказала сквозь слёзы:

— Человек сильно отличается от часов, и очень часто бывает так, что детальки нельзя заменить, потому что их просто нет, потому что у каждого человека свои детальки, а самая главная — сердце. И если сердце ломается — человек тоже ломается. Он умирает.

Повисла тишина. Женька размышляла над словами мамы. Она осознавала, что не только ей сейчас тяжело, что она должна стараться быть сильной, насколько это возможно. Она размышляла, сама не понимая, что вот именно сейчас, в своём семилетнем возрасте, она начинает постигать боль утраты, разочарования, что есть вещи куда хуже порезанного пальца или сломанной руки. Потеря близкого человека — это дыра в области солнечного сплетения, это невыносимая боль, раздирающая на куски, это бессилие от безысходности.

Отца знали как отличного работника, как заботливого семьянина, как хорошего соседа, который никогда не откажет и выручит в любую минуту, как замечательного человека. Проводить его пришло около двухсот человек, прошедших через весь город с венками. И после всего остались только небольшой холм свежеперекопанной земли и надпись: «Ушёл из жизни ты мгновенно, а боль оставил навсегда. Жена. Дети. Родные».

На улице все жалели осиротевших девочек. Весёлый был человек, отличный музыкант-самоучка. Выучился играть на гитаре и баяне и брал их с собой на крестины, свадьбы и дни рождения. Веселиться умел и других развлекал. А девочек своих просто обожал: дом один построил, собирался вторым заняться, да время вышло. Некому теперь будет этим заниматься, да и не нужно стало это никому.

Но были и злые люди с жалящими языками, которым кости перемыть другим — сущая радость. Обозлятся на жизнь — и других во всех своих бедах винят. Злые люди со злыми сердцами.

Женька сидела на лавочке вместе с другими ребятами, и они выбирали, во что играть.

— Чай-чай-выручай.

— Красочки.

— Самовар кипит, хочет чаю попить.

— Чиби-чиби-стоп.

— Казаки-разбойники.

Дети наперебой предлагали варианты, перекрикивая друг друга. В итоге решили играть в «Посылку». Все расселись на длинное толстое бревно, привезённое специально для детей одним из соседей, и игра началась. Во́дой был Андрюша.

— Тебе пришла посылка из Африки, — обратился он к Денису. — Что тебе прислали?

— Бананы, — предположил тот, но Андрей отрицательно покачал головой.

— Тебе пришла посылка из Африки, — снова сказал он, теперь уже Сашке. — Что тебе прислали?

— Кокосы,— попытался угадать Сашка, и снова было неверно.
— Смотрите,— зашептал Ромка,— Колька идёт. Опять влезет, всю игру перековеркает. Давайте его прогоним, он играть не умеет, он психованный.

Ромка был прав: Колька отличался быстрой раздражительностью, злым характером, любил обижать тех, кто помладше, и трусил перед старшими. Как одногодки, они с Женькой попали в один класс, и там он проявил себя с лихвой. Бедная Анна Николаевна — первая учительница — страдала от таких первогодков как никто другой. Будучи педагогом со стажем, она старалась помочь подобным ученикам, понимая, что дети не виноваты ни в чём, впитывая негатив от своих родителей. Тем не менее все остальные дети негатив испытывали не от Колькиных родителей, а от самого Кольки.
— Ничего мы не будем прекращать,— решил за всех самый старший — Сашка.— Давай, Анрюха, дальше, а если Колька к нам сунется — прогоним его.
— Тебе пришла посылка из Африки,— начал Андрей в третий раз, обращаясь к Женьке.— Что тебе прислали?

Но Женька не успела ответить. Колька как раз подошёл к ним с презрительной улыбкой.
— Веселитесь,— язвительно сказал он.— Ладно они, а ты чего, Панча?— зло сказал он Женьке.— Чего сопли по морде не размазываешь? У тебя ж папашка недавно того,— показал он пальцем в небо.— А ты веселишься тут как ни в чём не бывало. А в школе притворяешься, будто тебе плохо, чтоб жалели все, да ещё и училка говорит, что семья малоимущая,— вставил он новое словечко.— Тоже мне — нищие,— сказал омерзительно Колька и криво усмехнулся.— Всем рассказывают, что у них денег нет, чтоб им все помогали, а сами, небось, трескают мясо и колбасу. Вон дом какой у них, а сами бедные и несчастные, все им деньги на похороны собирали.

Недетские мысли были высказаны Колькой — видно, подслушал где-то и поспешил сорвать очередной приступ злости на ни в чём не повинной Женьке. Словами можно сильно ранить, а можно и просто убить.

В голове у Женьки сильно застучало, и зазвенело в ушах. Недавняя боль всплыла в ней с новой силой, но она была не одна: обида, злость и ненависть к этому соседскому мальчишке наполнила Женьку целиком. Горькие слёзы выступили на её глазах, она сильно сжала кулаки, чтобы сдержаться и не зареветь на всю улицу, чтобы не доставить Кольке ещё большего удовольствия. Стиснув зубы, она перебарывала себя, стараясь успокоиться, но это было уже невозможно. Перед глазами снова всплыл гроб, в котором она видела отца в последний раз в жизни, его холодный лоб, который она целовала в последний раз, его сложенные на груди руки. И всё мгновенно завертелось у неё в голове, пульс участился, слёзы не удержались и потекли по щекам, и она бросилась на Кольку. Маленькие детские кулаки лупили обидчика, как только могли. Колька уже не мог ехидно улыбаться, он стал орать и защищаться. Остальные ребята только смотрели, никто не собирался помогать, никто не хотел помогать Кольке.

Женька отчаянно молотила кулаками, стараясь утопить в ударах свою ярость, она остервенело била по Колькиному лицу, не понимая, куда именно она попадает. Кольке удалось вырваться, и он побежал в сторону дома, растирая слёзы и кровь по лицу. Женька тяжело дышала, смотря сквозь лохматые волосы на убегающего. Внезапно Колька остановился и что-то поднял; он стал возвращаться, держа в руке половинку кирпича и рыча от боли и обиды. Он разбежался и бросил в Женьку кирпич, не осознавая своих действий, он лишь плакал и ненавидел Женьку с её отцом.

Кирпич не долетел до цели, а в Женьке стихала волна ненависти и злости, оставляя её наедине с болью утраты и огромной дырой внутри, которую нечем было заполнить. На улицу стали выбегать взрослые, которые услышали крики на улице; они узнали у ребят, что произошло, и растащили каждого по домам.

Андрей подошёл к Женьке.
— Обезьянка,— сказал он, кладя ей руку на плечо.

Женька уставилась на Андрюшку, не понимая, что он хочет ей сказать.
— Обезьянка,— повторил он,— в посылке была обезьянка.

Он развернулся и пошёл к своей калитке, а потом обернулся и ответил на второй немой вопрос Женьки:
— Тебе же всегда было интересно, что именно в посылке, вот я и сказал,— пожал он плечами и скрылся в своём дворе.

Кольку тоже забрали, ругаясь, что на Женьку заявят в милицию, потому что она разбила Кольке нос и губу. Но Женьке было всё равно.

Когда подошла мама, Женька ничего не сказала, она всё так же сжимала свои кулаки, испачканные своей и чужой кровью, и сопела. Мама молча обняла дочку со слезами на глазах, и тогда Женька не смогла больше сдерживаться, она зарыдала, зарываясь в мамин халат, она плакала и плакала, не в силах остановиться. А потом мама просто отвела её домой, дала успокоительного и легла вместе с ней и Людкой на диван, обняв их. Всё было как всегда: любимая мама, нежные объятия, поцелуй, как перед сном. Не было лишь одного, с чем навсегда придётся смириться в этой жизни.

Со временем боль станет не такой сильной, она притупится, не будет острой и режущей, но она не уйдёт никогда. И через двадцать лет, и через сорок мы не перестанем вспоминать самых близких и родных нам людей, и слёзы утраты скатятся по

лицу в память дорогих воспоминаний, которыми мы продолжаем жить.

Женьке очень хотелось быть мальчиком. Не потому, что ей не хотелось быть девочкой; в девочках ей всё нравилось, кроме завязывания косичек и необходимости носить неудобные платья, ведь штаны или шорты куда как лучше. Женьке хотелось быть мальчиком потому, что её отец всегда мечтал о сыне. И сегодня она поступила так, как поступил бы любой мальчишка, когда унизили его отца. Она доказала Кольке, она доказала всем, она доказала самой себе, что честь и отвага присущи не только мужчинам, что не важно, кем ты родился, а важно, кем ты станешь. Женька хотела стать хорошим человеком, которым бы гордился отец, и она пообещала себе стать этим Человеком.

Инстинкт самосохранения

В жизни мне посчастливилось побывать на Сахалине. Места здесь красивые, скажу я вам, вот только немного дикие. Ну как—дикие? Природные места с дикими животными: лисы тут попрошайничают, росомахи разгуливают, ласки, собольки, ну и, конечно же, он—хозяин леса!

А я перед одним упоминанием медведя трепещу, особенно если это упоминание в лесу каком случится. Трусиха ещё та! Это полдела, что выгляжу как человек, а вот душа заячья, чуть что—трепещет и посылает сигналы в мозг. Это у неё инстинкт самосохранения называется.

И вот пошли мы однажды красотами любоваться да ягоду собирать. Я, муж мой да друг его—Славка. Хороший такой мужик, жаль только, что заикается, поэтому рассказы у него такие долгие и мучительные.

Идём мы, значит, по лесу, кругом птички поют, лес шумит, ручей журчит, а муж мой, Вовка, всё байки про медведей травит, знает, нехороший человек, что я не люблю этого, и делает, паразит такой. И вот завёл он очередной рассказ про туристов, которые пошли в лес, а там медведь! И тут внезапно Славка остановился и говорит:

— Та-та-там ме-ме-ме…—и пальцем так мне за спину тычет.

Всё, думаю, прощай, моя жизнь, не познавшая число «тридцать», мама, сестра, племянник, ну, тут пошёл перечень моих родственников и близких, довольно длинный такой список. Стою, молюсь, с жизнью прощаюсь, а они спокойненькие такие, мужики эти,—видно, про себя уже решили, что мне помирать, раз я хуже всех бегаю. Не зря же у Славки шутка даже такая имеется: в лес одному ходить нельзя, надо с собой двух плохо бегущих брать, мало ли что.

— Ме-ме-место хорошее для к-к-клюквы,—прозаикался Славка и прошёл мимо меня.

Ме-ме—что? Я как ошалелая пялилась на мужа. Ме-место? Да я уж почти с жизнью простилась! А мужики такие довольные: шастают по поляне, ягодой рты набивают и щурятся от удовольствия.

Я душу из пятки вытряхнула, выдохнула и пошла к мужикам.

Клюкву быстренько всю собрали, даже туес удалось наполнить немного, и дальше двинулись.

Идём, разговоры разговариваем, наслаждаемся лесом, слышим—впереди река шумит, решили к воде спуститься. Я уже подуспокоилась, с душой своей помирились. А тут Славка опять тычет пальцем на другой берег и говорит:

— Та-та-там ме-ме-ме…

Мамочки, пронеслось у меня в голове, точно он: небось, рыбу пришёл ловить, жир на зиму наедать. Жизнь мотается передо мной с бешеной скоростью: вот я маленькая в лужу упала, первая двойка, школьный выпускной, институт и… И всё! Нечему больше перед глазами крутиться, вышла вся киноплёнка. Бледнею я, глаза закрыла, жду, чего дальше будет.

— Ме-ме-мельница та-там старая,—заикается Славка,—не-не работает уже.

— Пойдём поближе посмотрим,—оживился мой Вовка,—люблю такие вещи!

И двинули мужики к мельнице. Так, настроила я себя, хватит трусить! Что ж такое-то? Меня это «ме-ме-ме» до инфаркта доведёт.

Спустилась я следом к реке, руки в воде полощу, лицо мою, фыркаю от удовольствия, а сама посмеиваюсь тихонько над собой. А тут снова Славка блеять стал:

— Та-та-там ме-ме-ме…

— Ме-ме-место хорошее для клюквы?—смеюсь я, дразня его.

— Не-не-нет,—качает он головой, а сам продолжает:—Ме-ме-ме…

— Ме-ме-мельница старая?—перебиваю я его опять.

— Да не-нет!—раздражённо кричит он и сильно матерится.—Е-етить-кол-лотить, ме-ме-меня ещё и д-дразнят.

— Хватит, Ирка,—вступается за друга муж.—Чего там, Славка?

Тот, немного помолчав и успокоившись, снова тычет в лес и говорит:

— Та-та-там ме-ме-медведь…

— Та-та-там?—начала заикаться я уже не понарошку.

И тут нервы мои сдали, я заорала на весь лес и бросилась наутёк; пускай эти двое сами со своими медведя́ми разбираются, а мне инстинкт самосохранения велит убираться отсюда быстрее. Да! Так быстро я ещё никогда не бегала.

Ближе к вечеру вернулись муж со Славкой, долго смеялись надо мной, дураки.

— И как там медведь?—поинтересовалась я, стараясь придать себе вид как можно спокойнее.

— Какой медведь? — утирал слёзы от смеха муж. — Не было его там, — и, чуть помолчав добавил: — Сегодня!
— Как не было? — ошалела я. — Так Славка же сказал, что там медведь!
— Ага, сказал, — досмеялся муж, — что там медведь был год назад, когда он с мужиками за грибами ходил, так ты ж не дослушала.
— Год назад? — недоверчиво переспросила я и пожала плечами: мол, ну и ладно.
А сама думаю: это сколько же теперь времени мне они случай припоминать будут?
— Да ну вас с вашими «та-та-там ме-ме-ме», — отмахнулась я и пошла варить вкусный борщ и жарить котлеты, чтобы отвлечь их от моей оказии.

ДиН юбилей

70 лет со дня рождения

Николай Игнатенко

Начало весны

* * *

Да что вы всё: что делать? Быть — не быть?
Вопросы праздны, неточны ответы.
Представьте: срок, оставшийся прожить, —
на три затяжки крепкой сигареты.

Какой вопрос, да и какой ответ
в такой момент покажутся уместны?
Порог, который сменит белый свет,
молчит, его ответы неизвестны.

Так что ж вы всё: что делать? Быть — не быть?
Представьте три последние затяжки…
Не осуждайте тех, что будут жить,
ища ответ на дне заветной фляжки.

Март

Как хорошо быть смелым и умелым,
без зависти, не совершать грехи,
пусть даже глупым занимаясь делом —
писать стихи. Опять пишу стихи.

И надобность единственная гложет:
быть одному, и чтобы чистый лист,
и чтоб жена не досаждала тоже,
зимою я индивидуалист.

Но как-то надо с мокротой душевной
до осени далёкой завязать:
ведь в марте свет пронзительный и гневный,
что в полдень уже хочется летать.

И я взлечу, не дожидаясь лета,
жена сварливо вскинет кулаки.
Я счастлив, что весны дождался света,
поэтому прощайте, старики!

И жить, как лес

Я снова жизнь хочу начать с листа,
помеченного робкой единицей.
С берёз нападавшая жёлтая листва
мне прошуршит последнею страницей.

О, как прекрасно всё забыть во всём,
забыть свои отчаянья и вопли.
В жизнь из воды слепым ползти щенком,
который с недогляду недотоплен.

И жить, как лес, то молча, то шуметь,
и не скрывать волшебной силы муки,
когда от счастья хочешь умереть
и снова жить, воздев в молитве руки!

* * *

Томь-река. Только снег да снег.
В обе стороны снег без края.
Да ещё одинокий след
к середине реки петляет.

Там зачем-то пробили лёд,
чёрным глазом мигает прорубь,
завораживает, зовёт
сквозь ресниц ледяную прорезь.

Не зови! Подо льдом струясь,
ты, река, подожди до лета.
Вдоль тебя, сколько видит глаз,
никого в обе стороны нету.

И вот так до весны, не спеша,
ты, река, одиночество сеешь.
А живая твоя душа
подо льдом уплывает на Север.

Александр Колмогоров

Ударная тройка

Колбаса

Выйдя из церкви, мать вдруг поняла, что потратила на свечи, поминальные и заздравные записки триста рублей. Подумала, что за такие деньги можно было бы купить колбасы для сына, который сейчас отсыпался у них. Подумала и устыдилась.

«Господи! Прости меня, дуру грешную! Только что молила Тебя за сына. И вдруг такое в голову лезет… Что же это я, а?! Прости, Господи! Помоги нам! Нет больше мочи! Никаких уже сил не осталось!»

Мать долго качала от досады головой. Придя в магазин, выбрала самый дорогой батон колбасы и поспешила домой.

Отец досматривал на кухне московский праздничный парад по маленькому телевизору. Мать собрала на стол. Разбудила сына.

— Ну, за Победу. За Девятое мая,—строго сказал отец и выпил один.

Мать и сын, виновато улыбаясь, кивнули. Матери пить было нельзя. А сын перепил вчера, и его поташнивало от одного вида бутылки и рюмок. Он тяжело вздыхал и цедил зелёный чай из пиалушки.

— А вчера за что выгнала?—спросил отец, глядя в телевизор.

Сын ответил не сразу.

— Сказала, что пьяный.

— Так ты и был пьяный.

— Нет. Это я уже потом. Когда она не открыла.

У матери задрожали губы.

— Господи! Ну почему она такая, а?!

Сын как-то странно улыбнулся. Сказал тихо:

— Потому что не любит. Как пить дать.

— Да как же так, а?! Пока ютились у нас с ребёнком, любила… А получил квартиру—сразу разлюбила?

— Не надо, мам… А то сердце заболит, как пить дать,—сын продолжал улыбаться своей странной улыбкой.—Она и раньше не любила. Жалко, что сына настраивает. Вчера он говорит мне: уходи, дурак…

Отец не выдержал:

— Ну что ты всё лыбишься?! Ты мужик или тряпка?! Чего ты не пошлёшь её… не разведёшься?! Тебе же всего сорок лет! А ты, смотри, спился весь! Лица нет! Разве можно себя вот так, а?!

Сын беспомощно, по-детски развёл руками:

— Я люблю её, пап…

Отец хотел возразить резко, но осёкся. Против этого довода у него не было готового аргумента. Он шумно, длинно выдохнул. Налил себе водки. Выпил. Уставился на сына.

«За что нам с матерью такое на старости лет?— думал он.—Мы что, о таком мечтали? Он же бугай! На голову выше меня. Вылитый Митька-радист с нашего торпедоносца: такой же крепкий, весёлый… Был! У него же руки золотые. Его ж на заводе ценят… Ценили!»

Мать о чём-то слезливо просила сына.

Отец не вслушивался, не старался уловить смысл. Он знал наизусть все эти бесполезные разговоры.

Сын вдруг поморщился. Пригнул голову. Скороговоркой прошептал:

— Нитроглицерин…

Мать засуетилась. Кинулась искать лекарство.

Отец заскрипел зубами. И в который уже раз пожалел, что бросил курить.

Отлежавшись, сын засобирался домой. Стал бодриться, уговаривать мать и себя, что всё у них с женой как-нибудь наладится. Выйдя во двор, подошёл к отцу, сидевшему на кровати в виноградной беседке. Приобнял его. Тот хмуро кивнул.

— Стой! Забыла, сынок!—замахала руками мать и вбежала в дом.

Скоро она вышла с целлофановым пакетом. Сын заглянул в него. Помялся.

— Мам… Не надо целый. Она поймёт, что это ты дала. Выбросит. Как пить дать. Ты давай отрежь немного.

Мать, не понимая, смотрела на сына.

— Ну, это… Как будто я её в магазине купил.

Сын улыбнулся. Улыбка снова получилась жалкой.

Отец резко встал. Пнул пустое ведро. Ушёл в глубь сада.

Глаза у матери забегали.

— Да, да… Сейчас, сынок. Сейчас…

Она вошла в дом. Там, торопливо отрезая часть колбасного батона, порезала палец. Кровь капала на пакет. Мать плакала, стирала тряпкой кровь и слёзы, но белая лошадь, скачущая по зелёному целлофановому лугу, пачкалась всё сильнее. Тогда мать отбросила пакет. Достала другой. Кое-как,

прижимая локтем левой руки целлофановую тару к столу, правой засунула в неё колбасу…

Через две недели позвонила соседка сына по лестничной площадке. Трубку взял отец. Соседка сказала ему, что сына нашли мёртвым недалеко от дома, возле арыка.

У матери с того дня начала постоянно, неуправляемо трястись голова. Она сразу превратилась в старуху — внешностью, походкой, равнодушием к себе и всему, что её окружало. В церковь ходить перестала. Сына своего пережила всего на год.

После её похорон отца забрала к себе младшая дочь.

Отец часами сидел у окна и глядел на дорогу, которую почти полностью загораживал большой сиреневый куст. Он даже подумывал срубить этот куст. Но всякий раз, выходя во двор, чтобы взять в сарае топор, забывал, зачем вышел из дома.

Дочь хотела хоть чем-то занять отца. Стала посылать его в соседний магазин. Она подробно объясняла ему, что и как он должен делать. Давала деньги, записку для продавцов со списком нужных товаров. Отец кивал. Брал сумку и уходил.

Иногда он забывал дорогу домой, и его приходилось искать на соседних улицах. Случалось, что после покупки продуктов по списку он возвращался в магазин и покупал на сдачу те же товары ещё раз.

Самым удивительным для дочери было то, что отец совсем перестал есть колбасу. Выжидал момент, когда никого не оказывалось рядом, брал нож и кромсал её на мелкие куски. Когда дочь спрашивала, зачем он это сделал, отец отвечал:

— Не знаю. Так надо.

Дочь подумала и решила, что глупо задавать человеку вопрос, на который он не знает ответа. Надо так надо. Пусть режет. И оставила отца в покое.

Она любила его. Как пить дать, любила.

Ударная тройка

Олег раздражённо барабанил пальцами по подоконнику. Глядел, как дворничиха сметает во дворе листья в кучу и пытается запихнуть их в полиэтиленовый мешок. Было ветрено. Листья разлетались, разбегались врассыпную, словно непослушные дети.

«Вот дура!» — подумал Олег.

Как всегда перед грозой, у него болели кости в местах переломов. И не было денег на лекарство, то есть на водку. А квартиранты всё не появлялись.

Пошёл дождь. Дворничиха бросила мешок с листьями. Схватила грабли, метлу и засеменила в сторону подсобки.

И тут Олег увидел их, двоих мужчин. Они торопились. В руках у них были чемоданы, а за плечами — большие рюкзаки. Да, это были они, москвичи. Это было его спасение, его безбедная жизнь на полтора месяца.

— Отлично сыгранная роль — залог высоких урожаев! — закричал он им, свесившись из окна, размахивая рукой.

Мужчины подняли головы, заулыбались. Вскоре они поднялись на второй этаж и шумно поздоровались с хозяином. Оставили вещи в одной из трёх комнат. Сварили гречку, заправили её тушёнкой с поджаренным луком и сели отмечать встречу.

Младший из прибывших, Глеб, уже останавливался у Олега. Он-то и заделал гастроли в Тюмени и Сургуте. А старший, Володя, поехал с ним первый раз. Он оглядывался по сторонам. Слушал прибаутки Олега.

На стенах кухни висело несколько фотографий. На самой крупной, цветной, с надписью «Ударная тройка Тюмени», среди трёх хоккеистов с клюшками Володя узнал хозяина квартиры.

— Хорошее фото, — сказал он, — бравый тут у вас вид.

— Ага, — согласился Олег, — болельщики нас любили. Они нашу тройку знаешь как называли? Зверобой!

— Почему? — не понял Володя.

— А у нас фамилии — Зверев, Ромашин, Бойченко. По первым слогам — зве-ро-бой! Они про нас даже кричалки сочиняли. Вот слушай. «От холеры от любой клюшкой лечит зверобой!..» Прикольно?! Берите капустку, огурчики. Они дешёвые в этом году, я всегда их насаливаю под картошечку… А когда наш центральный, Игорь, шайбу забрасывал, они знаешь чё горланили? «Вратарям хана теперь — по воротам лупит Зверь!» Зверев, значит.

Олег рассмеялся с удовольствием, стал разливать водку по рюмкам.

— Зверь — он был самый забивной из нас. Кистевым из-под защитника — щёлк! — и мы в дамках. Он даже за вторую сборную поиграл. А Ромашка, Ванька Ромашин, он ему шайбы как на блюдечке выкладывал. Вот он, справа. Ну а я — финтил, кружил по углам, отвлекал на себя защитников.

— Сильно от них доставалось? — спросил Володя.

Олег взял вилку. Постучал ею по ключице.

— Слышишь? Металл! И тут — тоже железо!

Он ткнул пальцем в коленку.

— Меня в аэропорту шмонают дольше всех! Раздевают до трусов! И всё равно не врубаются: где же я свои драгметаллы прячу?!

— Общаетесь? — Володя кивнул в сторону снимка.

Олег неопределённо хмыкнул.

— Бывает… Зверь — он теперь человек крутой, занятой. У него бойлерный цех, земля, хоромы. Не то что мы с Ромашкой. Хорошо хоть квартиры успели получить. Да мы вот с Глебом были у Зверя в прошлом году: рыбачили, шашлыки жарили. Помнишь, Глеб?

Глеб кивнул.

Олег включил магнитофон, из которого Круг запел про Владимирский централ. В этот момент кто-то позвонил в дверь.

Олег пошел открывать. Вернулся с женщиной лет сорока, плотного телосложения, в милицейской форме.

— Знакомьтесь: Клавдия! Соседка, одноклассница и… это…

Олег покрутил в воздухе рукой, помогая себе подобрать слова.

— Да ладно тебе,— сказала женщина,— просто Клава.

Она достала из пакета бутылку коньяка и банку грибов.

Когда выпили за знакомство и закусили, Клава спросила:

— Мужики, вы сейчас что привезли?

— Детскую сказку,— ответил Глеб,— про Айболита.

— Это как? Вдвоём?

— Ага,— вставил Олег,— они в численном меньшинстве играют! Но силовая борьба в порядке! И буллиты не мажут!

— Точно,— улыбнулся Володя и пояснил:— У нас в спектакле клоуны, куклы.

А Глеб дурашливо продекламировал:

Вышел клоун из тумана!
Вынул веник из кармана!
А на венике цветы!
Айболитом будешь… ты!

На последнем слове он выбросил руку в сторону Клавы.

Все заулыбались.

— Это типа юмор, да?— уточнила Клава.— А чё-нить для взрослых сможете? Песни под гитару, взрослый какой-нить юмор?.. Вы не думайте, я не халяву имею в виду. Отблагодарю. Хоть деньгами, хоть в кабак.

— О, точно, Глеб! Давайте,— оживился Олег,— сбацайте бросок на добивание!

— Погоди, Олежа, не суетись. Ну так как?— спросила Клава.

Глеб с Володей переглянулись.

— Подумать надо,— сказал Глеб.

— А что за аудитория?— спросил Володя.

— Хорошая аудитория, внимательная,— заверила Клава,— колония для несовершеннолетних.

Глеб с Володей снова переглянулись.

— Надо подумать,— пожал плечами Володя.

Раздался телефонный звонок. Олег взял трубку.

— О! Привет! Лёгок на поминках!.. Нет. Нет. Пока всё тихо, глухо. Погоди. Щас ещё у Клавдии спрошу…

Олег прикрыл трубку рукой. Посмотрел на Клаву.

— Это Зверь. Злится. Опять спрашивает про Ромашку.

Клава отрицательно покачала головой. Олег ей кивнул. Сказал в трубку:

— Нет, с её стороны тоже пока пусто… Да. Понял. Конечно! Увижу — сразу брякну…

После этого разговора застолье продолжалось недолго.

Клава почти не закусывала, и скоро её заметно развезло. Она замкнулась. Угрюмо смотрела в окно, думала о чём-то своём.

Олег пошёл провожать её. А когда вернулся, сказал:

— Не повезло бабе. Сына одна растила. Не углядела. В колонии сидит. Поэтому и просит там концерт сбацать. Надеется, что, может, срок скостят или ещё какую поблажку сделают.

Прошла неделя.

В субботу после ужина Глеб и Володя сидели в зале, смотрели телевизор. Олег устроил стирку. Его старенькая стиральная машина так гремела и тарахтела, что он не услышал звонка в дверь.

Глеб заглянул в ванную комнату, сказал, что кто-то пришёл.

Через несколько секунд Олег провёл на кухню высокого худого человека. Человек этот кашлял и опасливо озирался.

Какое-то время на кухне шёл негромкий разговор. Отчётливо слышны были только восклицания Олега:

—Да не бзди ты! Не бзди, я тебе говорю!..

Потом он провёл незнакомца в ванну, занёс ему банное полотенце.

Сказал москвичам с каким-то весёлым азартом:

— Надо же! Ромашка нашёлся… Полгода пропадал, фрукт.

На следующее утро Глеб и Володя проснулись от длинных звонков и громкого стука в дверь. Посмотрели на будильник. Стрелки показывали восьмой час. Подумали, что Олег крепко спит и ничего не слышит. Заглянули в его комнату. Но там было пусто. В зале, сидя на диване, бывший хоккеист Ромашин торопливо натягивал брюки.

Глеб подошёл к двери. Спросил:

— Кто там?

— Друзья Олега,— послышался голос.— Он в курсе, откройте.

Глеб открыл дверь.

Мимо него прошли двое крепких мужчин. Первого, в чёрной куртке, Глеб узнал: это был Зверев, Зверь.

Зверев заглянул в ванну и туалет. Вышел в зал. Увидел Ромашина. Подошёл к нему и, ничего не говоря, с размаху ударил кулаком по лицу. Тот не сопротивлялся. Попутчик Зверева схватил Ромашина за шиворот и потащил на кухню.

— Всё нормально, ребята, — успокоил Зверев Глеба и вышедшего из своей комнаты Володю, — это наши интимные дела, всё нормально.

Москвичи стояли посреди зала. Напряжённо вслушивались в то, что происходило на кухне.

— Думал, не найду, тварь?! Думал, зароешься в нору, сука?! И не придётся бабки отдавать?!

Всё это злобно, отрывисто кричал Зверев. В промежутках слышались глухой звук ударов, стоны Ромашина. Потом его вывели в коридор. Зверев на ходу оттёр кухонным полотенцем кровь с его лица. Бросил полотенце на стул. Потом торопливо достал из кармана пару сотен. Положил на полотенце со словами:

— Извините за неудобство.

Они ушли.

Примерно через полчаса появился Олег.

Володя и Глеб бросились к нему, стали рассказывать о случившемся. Он поморщился:

— Да сам виноват. Занял три штуки баксов и растворился. Кто так делает? Сам виноват.

— И что теперь будет? — спросил Володя.

— Что будет? — пожал плечами Олег. — Теперь он будет пахать на фазенде у Зверя, пока всё не отработает. Там таких гавриков хватает.

— Неужели как-то разрулить нельзя было? Вы же так долго играли вместе, дружили вроде, — сказал Глеб.

— Ай, — махнул руками Олег, — дружили… У них вообще всё запутано. То квартиру первую, которую в клубе давали, не поделили, то бабу — оба втрескались в неё. Она вышла за Ромашку, и с тех пор Зверь отодвинул его от себя. Потом Ромашка крепко сломался. Томка, жена его, взяла тайком чужие бабки на лечение. Нехилые бабки. Она бухгалтером на фирме работала… Когда всё вскрылось, её отдали под суд. Тогда Ромашка подвалил к Зверю, попросил взаймы три штуки зелёных на адвоката. Тот дал. Томку посадили на год. Скоро выйдет уже. Ромашка попробовал своё дело завести, но прогорел. Влез в долги ещё больше. Ударился в бега. А ты говоришь — разрулить!..

Ещё через неделю втроём — Олег, Володя и Глеб — поехали за город: Зверев пригласил их на шашлыки.

От конечной автобусной остановки шли пешком минут десять. Миновали озеро, прилесок. Охранник, открывший им железную дверь, указал на пристройку, в которой их ждал Зверев. Шли туда мимо длинной траншеи. Из неё двое рабочих выбрасывали лопатами землю. Один из них был узбеком, а второй оказался Ромашиным.

Олег встретился с ним взглядом.

И не выдержал, отвёл глаза.

Месяц пролетел быстро.

Глеб и Володя, усталые, но довольные, паковали свои чемоданы, утрамбовывали рюкзаки перед отъездом в Сургут. Олег слонялся от нечего делать, просил приезжать и на следующий год.

В прихожей зачирикал звонок.

Олег открыл дверь. И тут же преувеличенно радостно воскликнул:

— Томка, ты?! Какие люди без охраны!

— Мразь! — сказала Тамара и наотмашь ударила Олега по лицу. — Шакал чёртов!

Она плюнула в его сторону. Вышла. Хлопнула дверью.

Олег потрогал щёку. Пробормотал:

— Проброс…

Пошёл на кухню. Осторожно выглянул из окна. Увидел такси у подъезда. На переднем сиденье, за рулём, курил водитель. На заднем сидел Ромашка, Ромашин, его партнёр по ударной тройке.

Олег отпрянул от окна. Взял сигарету. Долго не мог зажечь спичку: руки дрожали.

Он вышел в зал.

Сосредоточенно наблюдая за сборами, серьёзно, с расстановкой, произнёс:

— Отлично сыгранная роль — залог высоких урожаев.

Прошёлся вдоль стены. Поправил спортивные кубки, стоящие на полке. Подошёл к столу. Побарабанил по его крышке пальцами и сказал:

— Зря вы с Клавкой не съездили на зону к пацанам. Сейчас бы в кабаке сидели. Как люди.

Альбина Мамаева

Компас

Про Степана с Таисьей

Тихо в избе. Молоды убежали в клуб. Степан двоём с Таисьей сидят за столом с неприбранной посудой. Вытянули ноги… Отдыхают…

Лениво переговариваютца.

Таисья пересилила дремо́ту. Позевнула:

— Нажабался? Ково бытто стырил? Всё-то тебе нела́дны! Бурчал-бурчал, а счас сидишь—брюхо доотворо́ту набил, согнутца не можешь.

— А тебе сколь говоре́ть: люблю, штоб картошки во́сырь были! Нет, варишь, докуль не рассыплютца!

Старуха соскочила с лавки, подбоче́нилась:

— Я тоже уж язык смузо́лила—дрова нады добро́м пилить. Саже́нных-ту накладёшь в печь, оне как разгорятца—тово гляди всё пыхнет! Как укараулишь?!

Тут Таисья прикусила язык—хвати́лась, што сёдни не об дровах речь. Как к разговору-то подступи́тца? Нады бы про сено помянуть, да с каково боку подъехать?

— Думай-ка, ково нонче погода-то делат, до Октябрьских ишшо неделя, а мороз-от уж сколь дён жмёт…

— Счас на улицу выходил, вызвездило опеть. К утру-то ишшо тошне́ напре́т. Какэсь зима-зимушша,—старик поднялся, снял с гвоздя теплу́шку, бросил на лавку.—Ты бы помольчала маленькя… Ково-то покима́рить захотелось… Глаза закрываютца…

Степан устроился на лавке с ногами, засопел…

Таисья разе помолчит? Уж чё заду́мала, дак всё равно скажет.

— Ты умом-ту думашь ли нет? Я уж сколь время тебе тро́шшу? Нады ково-то делать, на поветях-ту сили́минки нету! Коровёнка с осени отошша́т—как тожно́ без моло́сново-то будем?

Степану её замечання што вострай ножик:

— Н-но-о-о, завела свою гармонь! Тебя дожидаюсь, ковды поднау́мишь… Выпросил уж у приседателя трахтор на завтре. Пообешшался дать…

— Пообешшался он!.. Помане́жит да опеть не дас. Чё, не знашь нашево приседателя? Хто настырней, тот и ухватит…

— Забыл сказать: я вить на весь день договорился. После обеда ишшо в лес съежжу, хлыста два на дрова приташшу́.

Минут пять коси́лся на бабу: должна же понимать, какой хозяин… Она об дровах ишшо не заика́лась, а он уж ехать собрался!

— Хочь бы слово сказала! Об одной корове думашь. А об дровах-то не ума?

— Хвастать-ту не косить, спина не заболит!… Ты-то у нас никово не забываешь?

От неё, бывать, не часто дождёсся, штоб похвалила. Лешай с ней. Степан к этому привышный.

Старуха поджала губы (понимат, што проштрафилась), засуетилась… Смахнула в ладонь крошки со стола, уташшила посудишку в куть.

— В лесу-то будешь, дак хоть петли бы поставил. Таку́ дорогу здря ездить… Можеть, какой ушкан попадёт…

Степан вытарашшил глаза… Сон как рукой сняло.

— Ишшо не ба́шше! Ты не одичала ли? Это хто в хляшший-то мороз по петлям ходит?!

— Тебе уж и слова сказать нельзя… Это я так. Постново мяска захотелось.

Погремела в куте́ чугунами. Нашла-даки ново заде́лле:

— Ой, лешай на! Карто́шек-ту на одну ва́рю осталося… Хватит расси́живатца, спо́лзай в попо́лье,—она походя пнула старика по ноге.—Ково расшепе́рился во всю избу? Сидишь, барин, вытянул кама́сся! Протти негде…

— Да, паря, у тебя отдохнёшь… Полежать не дала, и сидеть места нету. Сама бы достала картошки-то, не переломилась бы.

— Да нады, докуль не забыла, ползти в казёнку, обу́тки тёплы доставать. Утресь по́ воду долго ли сбегала, а ноги какэсь отшшипа́ло.

— А я кому говоре́л, одевай пимы самокатаны, оне послободне, с носками воходят. Дак нет—вырантилась в казённы, на один чулок. Хто бытто на тебя у ерда́ни-то глядит?

Таисья выскочила в сени, заташши́ла куль. Вывалила всё на серёдку избы, давай перебирать.

— Ва-а-ай, у нас ту́така ребячьих обуток-ту—полна котомка! Ребята ковды уж выросли, а што боты, што галоши—ни чем ничаво, хоть счас одевай!.. Катаночки дак какэсь новиньки…—повертела катанки в руках, полюбовалась.—Гляди-ка, што игру́шешны! Нады уташшить большесемейным, истаска́ют…

— Оне тебе чаво помешали? Пушай лежат, де лежали!
— Им чё лежать-ту? Мы уж с тобой никово не ро́дим, родилка-то износилася.
— Ети её мать, ету бабу! Всё бы она раздавала! А как напро́к Верка принесёт мнука?! По катанки опеть в лавку бежать?! Во-о-от! А у нас уж готовы! Тебе чаво? Пушай в запа́с лежат. Ись-пить не просят.
— Ах-ха… Как Верка не ро́дит! Не знай уж, хто на нашу рашшеко́лду обза́ритца, с её-то карахтером!.. Хочь бы взамуж отдать, а ты, гляжу, уж мнуков нарожал.

Отец пригорюнился, покачал головой:
— Да-а-а, паря… Ково скажешь? Ей бы парнем родитца-то… Огнёва, никаково слова до себя не допуска́т!!! Чуть чево — она уж выпряглась, на дыба́х стоит!

Таисья перекрестилась на образа:
— Ничаво, до́брово мужика Бох дас — нау́читца.
— Дожидайся хорошево-то… скоре́ на фулюгана каково-нить наячитца, дак он ей живо рога-то облома́т. Да, паря, согрешили с ней. Не знаю, в ково и выродилась…

Старуха не дала договорить:
— Мольчи лучче! «Не зна-а-а-ю, в ково…» — в тятю в твоёво, в ково бо́ле! Уж куды вредне́-то? Вить ка́пошный, какэсь плюнуть не на ково, а вредности — што у до́брово! Ково зду́мал, дак не своротишь. Што работяшшай, это у нево не отнять… Делал уж всё нато́дель. Но и говноед — оборони́шна мать! Зимой снегу не выпросишь.
— Да матушка за етим «говноедом» сорок годов, што у Христа за пазухой, высидела!!! Сколь мой тятя припа́с, нам бы сроду не нажи́ть. Не я, дак ты уж давно бы всё распра́сорила, простодыра!
— Я ково у тебя распра́сорила? Всю жись на вас локи́ла, кулачьё навязалось на мою голову! Сам не знашь, ково ме́лешь своим языком!
— А далёко ходить не нады! Эвон, катанки, почти што новы, было чужим людям уташшила… Дак есь в ково — твоя-то родова́ вся худа́. Толькя бы хто попросил — с себя после́дню рубаху сымут. А своих девок взамуж в рему́гах выдали…

Таисья вздохнула:
— Да-а-а… Родимай-то свёкор мне не раз попенял, што с голой ж…й к вам пришла… Ох и поплакала я от нево, царство небёсно!..

Степан закрутил носом:
— Не слышишь, бытто палени́ной опахну́ло?

Таисья не два́дни соска́кивала! Кинулась в куть.
— Ой, лешай на! Бытто печь-то не шибко горе́ча показалась. Бросила твои штаны суко́нны…

Старик с ума сошёл, соскочил с лавки, побежал за Таисьей:
— Ты их почево повешала-то? Я их, бывать, не обчиша́л!
— Дак не суши́тца вешала — тебе штоб к утру тёплы были…
— Согрела она штаны, мать твою!.. Я куды в экой-то мороз без них су́нусь?

Уж виновата дак виновата…
— Ково зареве́л во всю-ту голову? Не прогорели вить… Так, подпалило маленькя… Счас заплату нало́жу. Дво́и подштанники под ни́з оденешь, вот тебе и тепло будет!

Пошла искать иголку с большим ушко́м да матерьял на заплату. Мужика на мороз без тёплых штанов не выгонишь!

Ну вот. Всё как у людей. Поразговаривали. За разговорами Таисья скоту корм к утру направила. Степану штаны починила.

Вечер скоротали. Родных «добрым» словом помянули.

Можно и стели́тца.
— Спокойной ночи, родна́!

Таисья засопела, никово не ответила…

В сердцах повернулись спиной друг к дружке. И захрапели.

Компас

Зять всё утро пялился в телевизер. Ково бытто там глядит?! Любава три раз зреве́ла — как не слышит! Не вытерпела, выглянула из ку́ти:
— Роман, не слышишь — Буран на ково-то лает?
— Слышу, не глухой…
— Дак погляди — не на до́брово ли на ково? Это што за кобель, никаки́ цепи ево не дёржат, опеть сорвался!

Роман выглянул в окошко и, в чём был, выскочил на улицу. Матрёна, соседка, сидела в цветках и грозила кобелю бадогом, а тот скакал кругом неё и не давал поднятца на ноги. Хозяин собаку сперва отволо́хал ремнём, а потом повёл на место.

Матрёна отряхнулась, зашла в избу.
— Ну, девка, через вашево Бурана хоть не заходи к тебе.

Любава заохала:
— Дак я никак не знаю, чем уж ты ему не погляну́лась, боле никово не задеёт. А ты палку-то почево таскашь? Он вить думат, што ты на нево ма́шесся.
— Ну дак как! Я одну ногу через подворотню-то не успела перекинуть. Он где бадог-от увидал?

Тут из ку́ти на голоса выбежал четырёхлетний Сергунька. Поздоровался с гостьей об ручку и посоветовал:
— Баба Мотя, а ты другой раз к нам идти будешь, дак в борота́ вперёд-то деревянну ногу выставляй.

Матрёна опешила:
— Почево, родимай? Старик-от без тово избурча́лся: мол, не берегёшь — не успею твою ногу починять…
— Не-е-е, Буран увидит, што тебя не прокусить, — бо́ле бросатца не будет. Он знашь какой умный?!

Старухи надце́лись хохотать:

— Думай-ка, до чево челядь то́дельна пошла — большой не придумат эдак сказать! Ну-ка, деревянну ногу выставляй!

Любава отсмеялась, утёрла слёзы, позвала гостью:

— Пошли, попьём чайку, да обскажешь, чё там у вас доспе́лось. Захворала ли, ково ли?

— Мольчи лучче, с брюхом кака-то змея поде́ковалась. Вот ково бы ни съела — всё нутро огнём горит! Дак сам-от на Болтурин ездил, врача привозил. Строго-настрого наказал никаку́ чижолу пи́шшу в рот не брать. Воды, говорит, пей сколь хошь и трахма́л заваривай хоть к кажной выти. Вот всю неделю этим и питаюся… Отошша́ла уж, ноги скоро носи́ть не будут…

— Пей чай-от, простынет. Тебе вареньица поставить, или так, с сушками попьёшь? — Любава подлила в стакан кипятку, маленько закрасила из запарника. — Ну и чё, помог трахмал-от?

— Лешай знат… На́ ноги-то поднялась, а мо́чи нисколь нету — всё через силу делаю.

— Ва-ай, через силу она делат! Ты на деревянной ноге бегашь — здоровому не угнатца! Я у́тресь коровёнку проводила, думаю, опрове́дать бы нады. А тебя уж след простыл — по деревне хво́шшешь!

— Я де исхвоста́лась-то? В ларёк по хлеб ходила. Однако с час с бабами дожидались горе́чево. Хоть поразговаривала, неделю людей-то не видела. Потом думаю, раз уж и́з дому вышла, по путе́ пробегу к Смолиным: мол, Маруськя не знат ли ково от брюха-то? А она меня отправила к Мартёлковым. Марья натака́ла настóю попить. А каки́ травы в нём запаривать — добро́м не знат. Спроси, говорит, у баушки Подла́тихи. Вот и пришлось на другой край бежать. Но уж Аксинья-то мне нато́дель всё распатро́шила и дала состав списа́ть. А обратно бегу — Афанасью стретила, с ней в улице постояли. Да завела меня домой, варенья стеклянку наве́лила. Это штоб я старика бо́ле в лес не гоняла.

— А и вправду, он не по лешака ли в лес-от по́лзал?

— Дак ты чё? Мы нонче без ягод сидим. Варенье и то всё вышло. Трахмал-от на чём заваривать? На моло́сный уж глядеть ли́хо. Вот он и засобирался. Хоть с литру, говорит, наберу — и то давай суды…

— Вай, мамы родимы! Ты чё ево одново-то в лес отпустила?! Это уж кака́ така́ — из-за голубицы стариком попусти́лась? Знашь вить, што он ле́су-то как огня боитца! Подумала бы своёй головой: потеряйся Николай, ты ково одна-то делать будешь? Ох ты, змея ты подколодна!

Матрёна да́ром што была без ноги, а в семье всимя руководила. Старухи, наипа́че которы без стариков век дожива́ли, её за карахтер-то не хвали́ли. А сам Николай — ничё, терпел. Жили дружно.

— Ты чё, Любава, я ишо ума-то не решилась. Некак не отпускала, Христом Богом просила. И стырила с ним, и всяко! Нет, он упёрся в эти ягоды, штоб оне пропали! Дак, думаю, ему пу́шше-то конпас опрове́дать охота было, а не ягоды собирать…

— Ишо не башше! Он ево де, у лешака у борово́во до́был, конпас-от?

— Дак зять вёснусь привёз. Счас, говорит, отец, никово не бойся. Ходи хочь куды. Захошь потерятца — не потеряшся, конпас тебя сам домой выведет! Дак оне сколь времи́шша в огороде с ним пеле́говались, потом на́ луг ходили… Самому-то погляну́лось.

Любаву заинтересовал конпас. Она вытерла фартуком руки, присяла на табаретку против гостьи:

— Но-ка, распотро́шь-ка мне про етот конпас. Он как домой-ту выво́дит? Как ра́диво разговариват ли, чё ли?

— А вот не скажу… Чево не знаю, тово не знаю. Николай-от счас из-под угору поднятца должо́н. По меня зайдёт, ты ево сама выспроси. Я про эти ягоды заикатца боюсь.

Матрёне показалось, навро́де как хто-то зашёл.

— Там не дверь ли хлопнула? Коля, иди чаёвничать!

— Да неохота… Сидите, я пошёл.

— В куть-ту зайди. Любава тебя про ково-то спросить хочет.

— Любава хочет? Не всё ишо выболтала?

— Ей-бох, никово не говорела. Толькя што по голубицу ходил… А ей шибко охота про конпас разузнать…

Николай покряхтел:

— Налевай, Любава, чаю. Сё равно не отвяжетесь…

Разболо́кся, устроился за столом, отхлебнул чайку.

— Шибко и рассказывать-то не об чем. Сколь себя помлю — боялся в лес ходить. Вот иду бытто всё по путе. Как и́збы и́з виду выпустил — всё! Потерялся! Никово не понимаю, куды пришёл — не знаю. В глазах стемне́т, в брюхе резо́та заспе́тца… Стыд сказать — адва успеваю штаны сдёрнуть. А сео́годы ребята из городу на подарок конпас привезли. Дескать, с етой штукой можешь смело́ ходить! Научили, ково с ним делать. Вскорости захворала моя Матрёна, желудок никово не прима́т. Врач заставлят её трахмалом кормить. Пойду, стало быть, за болото. Сказывают, голубица поспела. Стал собиратца, старуха стырит: мол, куды одново-то лешак повёл? Потеряшся, ишши́ тебя потом с собаками. Подумала бы головой-то: я куды дева́юсь? Не беспутай — с конпасом пошёл. Никово шибко хитрово тут нету. Стрелка с буквами. И так всё лето прошло, ни разу не насме́лился в лес сходить. А тут старухе приспичило голубицы поись. Я не мужик ли, чё ли?! На голубицу тра́фился сразу, ягод — рясным-рясно́! Туесочек я живо насбирал. А сам всё поглядываю скрось леси́ны: и аэродром видать, и река посве́ркиват на сонце… Де тут блудить-то? Расстелил на берёзовом пне газетку, достал хлебца с водичкой… Поел. Да так хорошо задремал!.. Гляжу, паря, темнять стало. Старуха меня уж должна

потерять. Так-ту бытто знаю, куды идти, а конпас всё ж даки охота опрове́дать—ладны ка́жет ли нет? Сверился по нему и отчалил домой. Вот я итти, вот итти… Она кака така? Всё по́ лесу и по́ лесу иду! По времю уж к и́збам подходить должон. Огляделся—ишшо не лучче! На пеньке-то моя газета из-под хлебу лежит. Я как суды попал? Достал конпас. Давай глядеть. Тут север. Тут юг. Я пришел отту́ль. Стало быть, нады стать, штоб сонце по леву руку было. Нет. Это я счас оттуль пришёл. Там деревни нету. Сонца тоже нету—докуль спал, оно успело сяло. Дак я откуль пришёл-то? Покрутился—везде лес! Давай садитца да глядеть в конпас. Вот бляха-муха! Покамесь с зятем ходили, стрелка-то никуды не вертелась—станет и кажет, куды идти. А счас взялась ходуном ходить! Кое-как всё же наладил. Иду, ево из рук не выпускаю, со стрелки глаз не свожу. Шёл-шёл, гляжу—опеть у етово пню! Штоб ты пропал! Какэсь осердился! Поло́жил я этот конпас на пенёк. Достал из-за поясу топорик. Да обушком по этому конпасу! Бью да приговариваю: «Вот тебе север! Вот тебе юг!» Весь прихряпал! Сижу на пеньке. Одумался. С конпасом худо, а без нево и овсе! Ох ты, беспута ты голова! Я как домой-ту попада́ть буду? Ходить уж ноги приста́ли… Летом ночи-то шшита́й што нету. Не успел отдохнуть—петухи запели. Слушаю их, а у самово в голове одно: «Пойте, пойте, петушки, а мне мою старуху боле не видать!..» Собаки лаять взяли́сь… Маленько погодя бытто коровы заревели. Прислушался—какэсь рядом где-то ревут. Дак это вить бабы управились, скота на́ луг выгоняют! Я ково тут сижу-то? Нады на голоса́ итти! Подхватил туесок да побежал. Докуль в поско́тину не уткнулся, некак не мог поверить, што сам пришёл! Боле я из деревни—никуды! Без ягод ишшо нехто не пропал!.. Два дни из избы не выходил. А эта ишшо надо мной же и подсмеиватца. Видала—по всёй ограде дошше́чек наколотила?
—Как не видала-то? Видала, да никово не поняла: это хто чево? Углём большу́шшими буквами: «Уборна», «Анбар», «Клев», «Завозня»… У кажново слова—стрелка начерчена. Мотя, ты ково опеть придумала?

Матрёна скрось смех кое-как выговорила:
—Дак ково? Это штоб в ограде не блуди́л! Он счас без конпасу-ту как? За порог боюсь выпускать: ука́тит куды-нить—и с го́лком…

Николай махнул рукой, пошёл оболокатца:
—Счас до самой смерти про этот конпас поминать будет. И так уж вся деревня знат. Ишшо и ребятам не обробе́т прописать… Сходил по ягоды, мать их ети, на свою голову—стыда не оберёшься…

Вечером на лавочке

Деревня за день наработалась, готовитца к ноче́… Одне пауты никак не уймутца. Сонце садитца… Скоро комары загудят…

Бабы во дворах управились, скот за поско́тину провожают…

Катерина свою тоже выгнала. Из мо́чи ково-то сёдни вышла. Присяла у ворот на лавку. Поцарапалась крыльцами об палисадик. Да так и осталась…

Кума Настасья было уж пробежала мимо, да вороти́лась:
—Здорово! Давненькя не видались. Об чём призадумалась сидишь?
—Да приста́ла ково-то… Какэсь язык на боку. Присаживайся, отдохни. Поразговаривам.
—Сроду тебя на лавочке-то не видывала. Думаю, всё ли ладны с ней?
—Да хто до́бро-то на ум падёт? В школу скоро. Нады ребят собирать в антернат. Ваське опеть одеть неково. Деда родимай растёт, эка же ахёза. Бытто с утра одену в стирану лопати́ну, к вечеру придёт—чистово не зна́тко, какэсь курочке клюнуть негде! Где у лешака выпатратца?
—Не у каково не у лешака—эвон, за Мостово́й. Там сколь тракторов-ту списанных стоит? Вот оне тамака и ползают. Не на каки че́чки не променяют эту мазуту! Я уж тоже своёму-то язык измузо́лила говорить, штоб берёг одёжу-то. На них што на огне горит, не успеваю починять… Не напа́шесся чистово…

С верхнево краю пробегала Нюрка с кирпичом хлеба за пазухой. В ларёк бегала, мужику паперёсы взять. Выпростанным из-под кате́тки ухом на ходу захватила разговор, обопну́лась:
—Однако, про школу разговариваете?
—Об чём ишшо? Дело-то к осене идёт…
—У моих у однех об учёбе голова не болит. Старша девка училася—я горя не знала. Учитца бы да учитца. Дак нет—взамуж выскочила, не обробе́ла. А меньши́-то никово на свете делать не хочут! На работу не идут, так, копейки сшибают—то дров кому наколют, то сено вывезут. А ись-то просят посла́шше. День выспятца да вытянутца, но́ччу похаживают по деревне… Паперёски поку́ривают да девок шшупают…
—Ну, вам уж неково винова́тить… Таки два бакряка́ ходят, глызы пинают! Кака имя школа? В колхоз их гони́—там работу не переработать!
—Твоя бы воля, Катерина, ты бы всех на́ поле выгнала! Наработаютца ишшо! Из нас колхоз все жилы вытянул, пуша́й хочь эти понежатца у мамы-тяти…
—Но-ка, сыля, сыля! Ты куды, парави́ч бы тебя разбил! Што за телёнок, на́ луг некак не выгонишь!

Из зау́лка выскочил бычок, за ним Татьяна. Догнала, жо́гнула ево пру́том. Черныш задрал хвост и побежал догонять коров. Таня подошла к бабам:
—Дефки, не видали? Зойкина-то Людка с новым мужиком в отпуск явились. Видать, хорошо живут, в достатке. Зойка-то хвасталась в сельпе: мол,

этот мужик смирнай попал, не гонят её. Видать, начальником каким-то работат.
— Это чё, стало быть, который бабу не гоня́т, сразу начальником ставят?

Катерина поддакнула:
— Едак-едак, я тоже слышала, што закон вышел — начальникам своих баб бить запрешшают. Дак уж Люська-то и раздобрела в спокое!!!

Бабам толькя попади на язык.
— К лешаку эта толшина! Её вить хочь стоя поставь, хочь на бок положь — поперёк себя шире! Ну-ка, потаскай эку тушу!
— Не бай! Утресь видела, шла она куды-то по вашему порядку. Не поверишь: черезь улицу слыхать, как пыхтит.

Женя с Людкой в одном классе учились, дак друг от дружки не вылезали, никак наговоритца не могли. Людка-то и счас, как явитца в гости, уж мимо подружки не пройдёт. Женька осердилась на баб: мелют чё ни попадя, лишь бы обессу́дить! Не вытерпела, заступилась:
— Да поведи́ лешай это сало! Каки ноги выдюжат? Эвот я: в чём душа дёржитца, а хоть счас до подтоварника врыссю сбегаю — и хоть бы хны! Нет, девки, нарочи́-то хто эдак толстеть будет? Это уж не от добра́, видать, здоровьишка нету.

По другу́ сторону улицы откуль-то шла Глаша. Шла тихонькю, адва ноги переставляла. Увидала баб, перешла к ним:
— Вай, дефки, хто чево заспе́лося, уж которо утро кое-то как подымаюся. Ись никово не могу, ото всево отвороти́ло! Вот и думаю умом-ту: не силитёр ли завёлся, оборони́шна мать? Боле-то хто?!

Афанасья махнула рукой, потом заподсме́ивалась:
— Дак как — силитёр! Наша молодуха вёснусь тоже нас с ума свела: то у неё голова круго́м идёт, то брюхо схватит. Чуть чево — вот и запозеёт! На ходу спит! Не знам уж, ково и думать, што за валёж навалился на дефку? Сперва на поверту́ху грешили. Потом глядим, баба-то какэсь выбыгала. Куды деватца? Повели к фершалице. И хто, думашь, заспе́лося с ней? Брюхата наша Верка!!! Вот тебе и поверту́ха! Дак сколь потом над ней смеялися…
— Но, Николаевна, ты и завороти́ла!!! Нашла молодуху! Я тебе не Верка — мне уж далёко пятай десяток, отбрюха́тилася…
— Ба-а-аба-а-а!!! — это из-за палисаду выскочил Колька, Нюркин внучек. — Ты ково тут языком ме́лешь? Мужики хлеб да паперёсы дождатца не могут. Деда велел тебя домой гнать!
— Ва-ай, Кольша, сколь не ба́ско ли с баушкой-ту разговариваш? Тебя хто научил эдак-ту старшим говоре́ть? — встряла Маня. У ней у самой внучат сроду не было, Бох не́ дал. — Да ишо и язык выпялил! Ну, не я твоя мать, настега́ла бы тебя по голым-ту голяшкам!
— Своих стега́й, карга стара!!! — через плечо огрызнулся Кольша.
— Ой, да он это шутейно, — заступилась Нюрка. — Мы уж ему дома-то сло́ва поперёк не говорим. Недоношенай родился… До чичас хлипкай, не дай Бох! Чуть где ветерком хвати́ло, сразу запчиха́т да закахыкат. По всёй ноче бу́хат, все кишки надцади́л!

Тут уж не вынесла Наталля. Весь разговор слушала по ту сторону запло́та, самой сказать вроде нечево было.
— Ты ково, Нюрка, восстаёшь за нево? Испова́дили на нет парнишшо́нку!!! Всёй около́тке життя от вашево сопляка не стало! Вот ково бы ему у меня в ограде делать? Нет вить, он ко мне лезо́м лезет. Да сколь не бойку́шшай ли, не углядишь за нём: то он успел нагре́зил, то сбо́ндил ково.

С другово краю (как раз ко времю!) приковыляла Агаша:
— Едак-едак, дефки… Ко́веднись забежал к нам по Мишку… Доку́ль наш тихоня ползал на́ печь по катанки, этот увидал на шестке блины. Съел видь все до единово! Стала на нево стырить, дак осерди́лся, зафыркал! Повертелся-повертелся, не знат уж, чем мне досадить, — схвата́л со стола новай стакан да как шматырнет о́б пол — толькя брызги полетели! Увидал вазу стеклянну — и её на пол сбросил… Эстоль посуды сжабал, не подавился!

Маня тоже не всё успела высказать:
— Вот-вот, вить до чево до́шлый, пестряк! Третьёво дни гляжу: по-пластунски ползёт к моёму дровеннику́. Почево, думаю? Да как ошпарило меня: не по топорик ли по мой? Боле там никово доброво нету. А топорик-от бриткай, Кольке шибко погляну́лся. Вот я ему реве́ть из окошка: не шаве́ль, минцане́ру на тебя докажу́! Докуль я шель-шаве́ль — он уж черезь заплот перескочил вместе с топориком! Уташшил вить с го́лком!!!
— Ты, Нюра, как хошь, а бабы-то несколь не врут. Уж мы от вас не близко живём, дак и нас в раззор разорил! Ра́не-то сроду никово не закрывали, все двери по́лы стояли. А счас не знам, ково куды спрятать. До чево дошло: вёснусь заказала на Болтурин замки́, кума отправляла. Старик на все двери пробо́и наделал, везде замков навешали — и на анбар, и на кобрег, и на завозню. На баню даки не хватило. Сердись не сердись, я дак его по́нага ненавижу!

Любава вороча́лась от Мазаевых, тоже вставила слово:
— У нашей Любки ме́чик с весны лежал в ограде, а тут как растаял. Дефка хватилась, а ево нету. Куды девался? Кольша уташшил — бо́ле некому!

Нюрка какэсь пошла пятнами… Кому поглянетца, как твоёво челядёнка на людях страмят?
— Ты подумай-ка, всё на одново парнишшо́нку свалили, а он, можеть, ничем ничаво?! На своих поглядите, тоже хороши у́рки растут!!!

Разговор Кольше шибко не поглянýлся, но голова у него варила хорошо, и он живо смикитил, как увести отцель баушку. Прицелился пнуть её по ноге, да она как раз переступила, и он угадал по лавке! За-а-аревел лихомáтом!
— Ох ты, моя порошши́на, комóк бабин!!! Сколь не худо ли зыкнулся! Шибко убился, родной мой? Но-ка, кажи бабе, где у тебя вава? Баба подует да полечит… Счас, свет мой белай, перестанет…
— Вот-вот, жалей ево! Оне это скоро понимают, безнаказанны. Не тебя ли пнуть-ту собирался? — Маня поворотилась к парнишке: — Бох-то, Кольша, всё видит, сразу и наказал.

Нюрка от стыда не знала, куды глаза девать. Потом махнула рукой:
— Ой, дефки, вы мне ково рассказываете? Сама всё вижу, не слепа. Одно согрешéнне с ним. Мать-ту с отцом напрохóт и ругаются, и ремнём хвóшшут — ему не кáзнитца. А мы-то любим ево без ума, варнака этово… Ишшо вить пятеро их у нас, внучат-ту… И смирны, и послóвны… А нам этово давай! Всех любим, а об нём какэсь мря умирам!. Старик-от дак слово сказать не даёт… Побóле-то будет — можеть, израстёт… Как думаете?

Варвара чижало здохнýла:
— Не знаю уж… Сызмала эка грéза, дак из нево хто дóбро-то вырастет? У нас Генка не башше, вреднушшай — не дай Бох! Тоже не знам, ково делать… Желтякý четвёртай год идёт, толковай растёт, всё понимат. А как осéрдитца, ни за што урыльник из-под койки не достанет, обязательно рядом на пол начишáт. Другой раз, дефки, целу лыву напрýдит. Это хто чаво? Ожгнýть бы раз ремешком, дак невеска-то сразу окрыситца. Во-о-от и ташшý опеть сама половик на улицу сушитца…
— Дефки, мне, однако, смёртна пришла. В боку како-то кóлотье заспéлось, какэсь под рёбра подпирáт. В обед ползала к фершалице, её лешак почево-то на Болтурин увёл, — Аграфена пошарила в кармане фартука, достала ириску, подманила к себе Кольку: — Чем слушать, ково старухи кружáют, ты, родимай, сбегай по фершаличку, можеть, да вороти́лась. Самóй-ту не дотти будет… Край приходит, все вздохи болят!

Колька выманил у ней ишшо две лампасéйки и на радостях припустил во все лопатки на верхний край.

Тут за ворота вышел Матвей, Катеринин мужик:
— Н-н-но, паря, ишшо не башше! Я уж, грешным делом, подумал, што на собранне обробéл. Сколь не мало ли вас собралось! Кому скажи — не поверят: бабам дома делать нéково!

Катерина заподымáлась:
— Потерял ли ково ли? Счас иду.
— Сиди-сиди… Вышел на угор, там лес спустили. Хор-рошай несёт. Да густо! Не видала, куды из лодки пикáнка девалась? Нигде натти́ не могу.
— Дак вчерась Пашка брал…
— Вот сроду ничё не ворóтит, хоть не давай!..

Маня успела перехватить ево за рукав:
— Не убегай, не убегай! Ишь каково гладково да форси́стово мужика бригадирша прячет от народу! Мы тебя на развод возьмём! А то ково-то чéляди мало стало рожáтца…

Не на тово напала! Матвея с панталыку не собьёшь, знат, ково бабам сказать:
— Да, дефки! Забыл главно-то: там к сельповскому звозу илимки подходят. В конторе вчера ишо разговор был: мол, товару полно везут… Пýшше-то ребячье к школе. Продухты каки-то будут. Да! Ковров, однако, чуть ли не пять штук!!! Да два мотоциклу. Ну, это уж по записи…

Куды устаток девался?! Бабы зашевелились. Матвею попало на орехи, заревели все сразу:
— Ты гляди-ка! Како терпенне у мужика! Эстоль время мольчал!
— Сразу-то не мог сказать?
— Нашёл время пикáнку искать! Опóсле бы спросил… Но-ка, хто тут помоложе-то? Однако, ты, Надя. Побегáй-ка вперёд да на всех очередь-ту займи. А мы счас чéлядь всугóнь пошлём… А то сами докуль доползём, дак всё разгрузят и расхватать успеют…
— Погоди, Надя, я Наташку отправлю с тобой — двоём в очередé веселе стоять, — поднялась Катерина. — Пошла я, попарюсь, докуль баня не выстыла… Вчерась сено перевозили, надцади́лась ли, ково ли, крыльца какэсь разламыват. Пока, дефки! До завтрева!

Владимир Яранцев

Всегда в движении

Валерия Пустовая. Великая лёгкость. Очерки культурного движения.—М.: РИПОЛ классик, 2015.

В один присест Валерию Пустовую не прочтёшь—нужен труд вдумывания. Самой Пустовой лёгкость тоже даётся не сразу: легчать читателю книги о лёгкости начинает со страницы семьдесят шестой, когда автор вспоминает свою литературную юность, Форум молодых писателей в Липках. Можно тогда и отдохнуть после первого «исторического» раздела книги. Необходимо, однако, знать, что в «липкинстве» этом и таится «великая трудность» В. Пустовой, тот заряд недюжинной серьёзности, который, по сути, и сформировал её как критика.

Ибо Липки были не просто слётом литературной молодёжи начала двухтысячных, а символом радикального обновления литературы. Не эстетического, узкого, и даже не этического, а глубинного, в силу «вновь осознанной социальной ответственности». Появился «новый реализм» и его адепты—З. Прилепин, Р. Сенчин, Г. Садулаев, В. Орлова, С. Беляков и другие, перечисляет В. Пустовая, скромно умалчивая о себе. И был этот «перезагруженный» реализм делом далеко не литературным: «Мы бредили возрождением страны как личной миссией, на языке литературной и социальной мифологии прошлого пытаясь выразить вдохновлявший нас ясный и требовательный импульс обновления». В 2011-м, когда написаны эти строки, В. Пустовая ещё отдаёт дань своему чисто литературному воспитанию: «Нас воспитывали… толстые журналы, интеллигенция и русская классика»,—хотя уже называет «новый реализм» «пресловутым». Три года спустя, в 2014-м, она ставит на первое место философа истории О. Шпенглера: «Он разбудил меня—„Закат Европы“, синхронизированный с первыми манифестами молодой литературы двухтысячных. Сверяя время по Шпенглеру, я пропитывалась актуальностью ради будущего, которое должно было её перемочь».

И хотя затем «шпенглеровская платформа» постепенно «вымывалась» из её критического мировоззрения, тем не менее история, «поток времени» до сих пор актуален для В. Пустовой. И роман—как наиболее исторический жанр, рассчитанный на эпохальность. Пусть В. Пустовая и скептически смотрит на существование настоящего романа в нынешнее время с помощью терминологии самой разнообразной: «имитация», «амбивалентность», «эргономика», «квест», «лубок», «ролевая игра в прошлое», «вычурный индивидуализм», «пиароёмкость», «превращение в пыль», «большая коробка с игрушками», «терапия истории», «нарастание реактивности». Словом, нет места «большой книге» в нашей литературе, непригодна она к решению «вопросов актуального времени». А выходит иначе, по Л. Данилкину и его «клуджу»: не должно быть, а она есть, существует. При всём отрицательном пафосе В. Пустовой, который только доказывает неустранимость романа, его выживаемость в любых условиях.

Всё зависит от размера притязаний критика, предъявляемых требований к нему. Роман Алексея Варламова «Мысленный волк», например, поставленный в один ряд с романом Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой», «Батистом» Б. Минаева и эссе М. Степановой, задаёт координаты рассмотрения «Волка» только как антиномии войны и мира, «домашности» и «неизвестности», «сдвигов времени» и его «подмораживания». Выявленная таким образом амбивалентность романа устраняется, по В. Пустовой, «властью автора», «авторской волей». А. Варламов же, по нашему мнению, взвалил на себя неподъёмный груз, взявшись за Серебряный век, в котором ни одни антиномии, аналогии, оппозиции в чистом виде не действовали в условиях нескончаемой «мозговой игры» (А. Белый) его фигурантов. Тут что ни человек, то поле противоречивых взаимодействий, схем и путаниц—что уж говорить о всей эпохе, парадоксальной, как финал поэмы «Двенадцать» А. Блока. Поэтому, видимо, А. Варламов и отправляется не от эпохи, а от личностей размером в эпоху—М. Пришвина, А. Грина, Г. Распутина, А. Платонова. И как тут не припомнить, что все эти слегка завуалированные в литературных героев книги прототипы—главные герои биографических жзловских книг того же писателя. А Уля—персонаж одноимённого рассказа А. Платонова. Это меняет точку зрения на «Мысленного волка», он выглядит уже некой «биографической» мистерией о людях, фатально не сумевших отделить себя от истории. А. Варламов в этом случае не столько автор, сколько дирижёр, ведущий роман

по «партитуре» волка-фантома. Трудно поэтому не только читателю, но и автору. Ведь надо решать, насколько роман историчен и насколько «шаток», да ещё с точки зрения истоков и итогов «духовной смуты» в России.

Любой исторический роман (а этот, модифицированный, и вовсе) поднимает скучный вопрос установления меры, соотношения между документальностью и художественностью, фактом и вымыслом, то есть вопрос статистики. И только в отсутствии ярко выраженной идеи, подменённой конструктом «мысленного волка», можно усмотреть несоответствие этому главному критерию жанра. Надо ли, однако, столь настойчиво требовать того, чего не существует не только в романе, а во всех сферах жизни человечества с неуклонно размывающимися устоями, особенно моральными? Нынешний читатель (зритель, слушатель, пользователь, реципиент в широком смысле слова) теперь выводы обязан делать самостоятельно, в том числе отыскивать и формулировать идею романа, а роман исторический — роман вдвойне.

И не тот ли О. Шпенглер внёс свой вклад в размывание понятия истории, предложив толковать её не линейно, а циклически и даже «органически», как смену культурных организмов цивилизаций? В этом смысле его надо назвать «Эйнштейном истории», сделавшим относительным понятие прогресса, целеполагания, да и апокалипсиса, то есть конца истории, тоже. Выходит, и «конец большой истории в литературе», как значится в подзаголовке установочной статьи «Теория малых книг» раздела «История» книги В. Пустовой, тоже должен быть относительным. Но чтобы не увязать в теоретизмах, так и хочется подсказать: убери она этот тезис о романности/псевдороманности как признаке подлинности/имитации в изображении современной эпохи — и ничего бы не изменилось. Лучше ведь подходить к роману, как О. Шпенглер, — органически, как к особому, каждый раз неповторимому организму, со своими законами и канонами, как индийская цивилизация не похожа египетскую. Но в нём тогда обязательно должны быть признаки организма: «возраст» — «детство» (начало романа) и «старость» (финал), посередине «зрелость», когда расцвет организма зависит от того, насколько хорошо в нём развита «мускулатура» сюжета и интриги, нарощена «плоть» персонажей, ухожена «кожа» образности, стиля, языка. Идея же в романе всегда зависела от автора, и чем идейнее роман, тем громче и отчётливей звучит авторский голос. Иногда и вовсе на обочине романа, как спецглава в «Войне и мире» Л. Толстого.

Так что «Обитель» З. Прилепина в этом, «биологическом», смысле — самый что ни на есть роман, в самом расцвете сил и юной молодости его героя. То самое затянувшееся «пацанство», о котором пишет В. Пустовая. Ибо Артём не исторический персонаж, а нацбол Саша Тишин, перемещённый из «Саньки» в «Обитель», из конца двадцатого века в конец 1920-х годов, из города на Соловки. «Юность — главная примета героя», и это «состояние» в прозе З. Прилепина «не психофизиологическое, а концептуальное», то есть это «верность бездумью», «усиленное сопротивление и злу, и доброте». Здесь мы с В. Пустовой совпали: я написал в 2014 году почти то же самое в своём отзыве о романе. Только у В. Пустовой всё сложнее, мозаичнее. За счёт дополнительных, «боковых» интерпретаций, накладывающихся друг на друга, противоречащих друг другу, объясняющих недообъяснённое, с точки зрения верности жанру — историческому? авантюрному? «лагерному»?, «пацанскому»? — или обычной беллетристике. Главный герой «Обители» Артём, например, — это и «прилепинская мечта» об абсолютном «Я», и обитатель «юношеского Эдема», он и мужчина, лихо соблазнивший начальницу Галину, и «пацан» с нацбольским нахрапом, он и Адам, живущий «мироощущением человека до грехопадения», и национальный герой, причастный к «самомучительству русских», «доблестному, безвинному и безответственному страданию» как признаку всё того же невзрослого мира. Все на Соловках, следовательно, Артёмы, «пацаны», а происходящее там — вне истории, которая делается где-то там, на Большой земле.

Но есть ведь ещё Эйхманис и Галина, которые самим З. Прилепиным объявлены главными героями (см. довольно объёмистое «Приложение» к роману). А что делать с перекрёстком проблем эпохи, от Серебряного века, законсервированного в зэках-белогвардейцах, христианах и большевиках — антагонистах и единоутробных братьях, до лабораторно-лагерных опытов по евгенике человека (Артём атлет, работяга, спортсмен, поэт и тот, кто сможет стать всем, кем захочет, идеальный кандидат в сверхчеловеки)? Сама обитель выступает тут в качестве «ёмкости» для «культурного бульона» (традиционная метафора культуры Серебряного века) начала двадцатого века — та же ситуация «Мысленного волка» с её главной мыслью о непредсказуемости того, что из этого «бульона» сварится для истории, что дальше будет на Руси. Отсюда и «неполнота исторического высказывания» в романе З. Прилепина, показывающая всё-таки взросление писателя, наметившееся ещё в «Чёрной обезьяне». Оно — в понимании всей сложности запутавшейся, заблудившейся на перекрёстке истории России, когда надо избегать однозначности. Сама логика романа на материале (почти) Серебряного века З. Прилепина к этому подводит.

В. Пустовую читать интересно, потому что сложно. Сложно, потому что у неё избыток мыслей. А избыток мыслей — от крупномасштабности подхода

к анализу произведений. Да и сам выбор этих произведений показателен: если жанр, то роман, если роман, то с историей, философией, культурологией. Если писатель, то крупный, авторитетный, спорный. В предыдущей книге «Толстая критика» (2012) В. Пустовая, недавняя выпускница вуза, смело судит о «взрослых» писателях В. Маканине и С. Гандлевском, Вик. Ерофееве и В. Пелевине, П. Крусанове и Д. Быкове, А. Иличевском и Р. Сенчине. С завидным свободомыслием разгадавшего подоплёку их творчества первооткрывателя. Особенно ей удаются литературные портреты, где В. Пелевин оказывается «апофатиком», В. Ерофеев — «профанированным Розановым», А. Иличевский — созерцателем-мыслителем в полной слитности определений и неясности, где в нём «физик», а где «лирик», проза и поэзия, а «вариативность воплощения замысла», неумение выбирать ставят под сомнение его искусство романиста.

Есть это, «иличевское», и в В. Пустовой. Но есть и другая грань: «неумение» бояться сложностей выбора «объектов» для критики, превращение критики в критическое исследование, превращение критики в литературную педагогику. Критик ведь настолько же критикует писателя, насколько и (пусть и «ругая») учится у него, формируется под его влиянием, задавая себе посильный уровень сложности. Затем этот уровень становится привычным, и занизить планку уже невозможно. Поэтому книга «Великая лёгкость» отяжелена, хотя лучше сказать — облагорожена тем, что достигнуто в «Толстой критике», изданной в знаменитом РГГУ с пометкой «Научное издание». Да и журфак МГУ закончен защитой диплома на «монументальную», по словам И. Роднянской, тему: «Самосознание русской интеллигенции. Личность. Литература. Культура». Оттого и новая книга началась с «монументальной», «теоретической» главы-статьи о «конце большой истории в литературе» с актуальными на данный момент именами: кроме уже названных, там С. Кузнецов, Л. Юзефович, Р. Сенчин. Встречаются такие статьи и далее, в следующих разделах книги, включая, кстати, и относящиеся к 2011–2012 годам, то есть эпохи предыдущей книги. Немного о них.

В главе с другим фундаментальным названием — «Общество» — этого и трудно было избежать. И как иначе, если героями статьи «Родины дым» избраны всё те же «пацаны» З. Прилепина, а также С. Шаргунова и А. Рубанова, может быть, последняя в литературе надежда на возможность положительного героя, пусть и «мифологизированного, вымечтанного или душевно покалеченного», но с большим потенциалом любви к Родине? Если А. Ганиевой, ещё одной героине статьи, хочется сделать «современность» (то есть свой родной Дагестан) «продолжением истории». Если даже «масскультовый» Д. Глуховский, финальный герой статьи, обеспокоен «искажением самой природы родины, подменённой государством». Уместна здесь и статья «Ракета и сапоги» с характерным для «исторического» критика В. Пустовой подзаголовком: «Как отменяли постисторию». Имена в ней фигурируют не менее «общественные»: Л. Улицкая, автор романа «Зелёный шатёр», оказавшегося на удивление не «идейным», а каким-то «частным»; Л. Данилкин, автор ЖЗЛовской биографии Ю. Гагарина, бредящий «мессианством» государственнического толка; Е. Чижова, взявшаяся за изображение «цивилизационного конфликта» «советского идеализма и капиталистического „цинизма“». В этой смелости анализа и оценок, в терминологии, научной или «авторской» («реципиенты борьбы», «бизнес-план для правительства», «комфортчики и консюмеристы»), в готике и барокко длинного синтаксиса мы узнаём В. Пустовую толстых журналов и книг. Даже в нетипичном для неё, на протяжении всей книги прощающейся с романным жанром, финале статьи, уповающем на будущий роман о советском времени без крайностей государственничества и диссидентства. Если логика статьи и её материал требуют того, выйдя из-под контроля её автора, то почему бы не возразить самой себе?

Но, пожалуй, главным таким «возражением», чуть ли не «сменой вех», явился Владимир Мартынов, поколебавший фундаментальное шпенглерианство В. Пустовой. Размытая «мартынианством» платформа «Заката Европы» заставила усомниться в литературе как «части русского культурного возрождения». И в литературе вообще, ибо «реальность по скорости и объёмам обновления смыслов опережает» её. Подхваченная критиком идея В. Мартынова о «конце культуры», «конечности литературы», видимо, и побуждает В. Пустовую встать «лицом к Истоку всякого духовного делания», выйти за пределы литературы. Теперь ясно, откуда в «Великой лёгкости» разделы «Вера», «Театр», «Искусство», блогерская проза, разительно короткая по сравнению с концептуальными статьями. Есть, конечно, в небольших текстах этих разделов и журнализм выпускницы журфака, «колумнистика», наконец, просто любопытство человека, столкнувшегося с чем-то глубоко нелитературным впервые за годы литературного «монашества». Как, например, посещение спектакля-«бродилки», когда спектакль можно увидеть, только «преследуя действие и на ходу сливаясь с ним», будь то гардероб, преображённый в квартиру, или коридоры с подсобками.

На наш взгляд, такой «бродилкой» является весь раздел «Театр», где критик литературный в предлагаемых обстоятельствах актуального «Театра.doc» с его «вербатимами», «квестами» и прочими интерактивами превращается в критика театрального, чья работа всегда публична, «тусовочна», «на

миру», здесь и сейчас. Тексты В. Пустовой здесь тоже написаны словно на ходу, в них много людей и событий, они предметны и документальны, раскрепощены, как сама их автор. Критик, правда, в любой ипостаси — критик, и не позволяющая себе расслабляться В. Пустовая остаётся и тут верна себе: «герой и практика политического театра», «карты и фишки театрального активизма», «спектакль-манифест как затянувшийся ритуал» — в этих подзаголовках к заметкам «из зала» и его окрестностей узнаётся всё та же В. Пустовая, с высоко поднятой планкой гуманитарного интеллектуала. Есть, однако, в этом преображении в театрала и нечто искусственное, некая ролевая игра с перенесением методов и навыков литературного критика на новый материал. Та же мысль — о невольной нарочитости, которая появляется от искреннего желания перейти в новую веру, но не всегда получается, — возникает при чтении статьи «Клейкий классик» в разделе «Вера». Как будто пробуя новый голос, говорит и пишет В. Пустовая о Достоевском: «Это всегда что-нибудь русское: душа, бунт, быт»; «в обстановке домашнего скандала. Очень местное, провинциальное явление. К тому же устарелое по форме — кому сейчас нужен роман идей, герой которого изъясняется монологами?».

Но мы уже знаем этот голос и это имя — Владимир Мартынов, чья философия вкратце сформулирована здесь же, в «Клейком классике»: он «выразил современную усталость от литературного слова, подменившего собой непосредственное восприятие реальности». Мы бы тоже попробовали кратко сформулировать кредо В. Мартынова: он авангардист до мозга костей, концептуалистского извода, воспитанный на В. Хлебникове, Д. Хармсе, А. Введенском, Н. Заболоцком и Д. Пригове, с которым знаком лично и творчески. Именно в их текстах «усталость от литературного слова» как ни у кого больше чувствуется, и потому слово для них стало иконой, жестом, инсталляцией, «вербатимом», «бродилкой». Не зря о В. Мартынове упоминается в первый раз в «Театре» как об одном из десяти «актуальных культурных героев», Прометеев в театре «Практика», выступающем в спектакле о самом себе в рамках проекта «Человек.doc». Не скрывает она и названия книги В. Мартынова, которая однажды произвела в её сознании антилитературный переворот: «Пёстрые прутья Иакова». В. Пустовая упрекает критика А. Латынину, что та «всю силу своего критического разумения употребила на открывающий книгу трактат „О конце времени русской литературы“» и «обошла вниманием» финальный «Трактат о форме облаков».

Мы бы тоже упрекнули В. Пустовую, что она умолчала о том, что́ посередине, точнее, сразу за трактатом «О конце…». Это два эссе, открывающие тайну происхождения литературофобии В. Мартынова, — его гневное сожаление, что опыт обэриутов выпал из хронологии литературного процесса, и «ни Пастернак, ни Ахматова не были осведомлены о новационном шаге обэриутов». Ведь они на два десятилетия опередили западных классиков абсурда Беккета и Ионеско, а их «непревзойдённые тексты — сейчас представляются мне, — пишет В. Мартынов о тех же обэриутах, — кульминационным пунктом поэзии XX века». «Перекидывание моста от Хлебникова и Заболоцкого к Тредиаковскому через голову Пушкина, Лермонтова и Некрасова», то есть всего девятнадцатого века, свойственно только редуцированному, избирательному взгляду на литературный процесс. Налицо «авторский», глубоко личный взгляд на литературу. А трактат «О конце…» — похож на очередной манифест в духе футуристического сбрасывания с парохода современности Пушкина и Толстого или обэриутского «конкретного предмета, очищенного от литературной и обиходной шелухи», делающейся «достоянием искусства».

У В. Мартынова всё строится на критике «прямого высказывания», скомпрометированного конъюнктурным к нему отношением власти и репрессированного ею автора. Отсюда у концептуалистов середины 1970-х годов недоверие и к тексту как совокупности таких высказываний, и в целом к языку, его «властным претензиям» и «репрессивным механизмам», реализуемым в тексте. Следующий шаг текстоненавистников — переключение внимания на «определённые поведенческие модели», приводящие к появлению текста. Который вообще-то уже и не должен появляться, потому что осознал самого себя в творчестве Пригова, Рубинштейна, Сорокина, отменивших пресловутое «прямое высказывание», основу литературы. Конец литературы, таким образом, уже наступил, а продолжающие появляться книги — симулякры, ибо утратили свою «смыслообразующую силу». Литературоцентризм должен смениться какой-то новой, не «текстоцентричной» эпохой — визуальной, иероглифической, иконоцентричной. Любой, лишь бы не словесной.

Можно ли всерьёз воспринимать этот манифест постконцептуализма, если родоначальники его — люди не очень-то серьёзные? Самосознание высказываний и текстов у них неизменно почему-то получается смеховым, чуть ли не сатирическим, это какая-то тотальная несерьёзность, неспособность к серьёзности вообще. Именно ею проникнут жанр знаменитых «Предуведомлений» Д. Пригова. Автор в них, может, и хочет нахмурить брови, но ухмылку, усмешку ему уже не скрыть. Он может начать очень серьёзно: «Научный опус находится на пересечении стилистик японской хайку, ассоциативной поэзии, традиции афоризмов и поп-артистских и концептуальных текстов».

А заканчивает всё равно «ненаучно»: «В общем, всего понемножку и ничего, к сожалению, в целом». Берём другое как будто бы серьёзное произведение Д. Пригова 2002 года о русской поэзии, хотя уже закрадывается подозрение в обратном, ибо автор здесь в маске «японского студента», который «пожелал» бы что-нибудь узнать о русской поэзии. Текст тут, слава Богу, не отменяется, только констатируется факт (мода?), что «в наше время… деятельность художника покидает исключительные пределы текста». Надо только различать у него «поведение культурно-эстетическое» и «социокультурное». Так что отношениям между социумом (даже и японским) и текстом, предлагаемым автором данной эпохи, не обязательно переходить от благостности (в «золотом» девятнадцатом веке) к «трещине» и «пропасти» (в «серебряном» и «бронзовом» веках первой половины двадцатого века), как уверяет В. Мартынов. Социум ведь состоит из людей, личностей, и каждый, в силу своей индивидуальности, желания, образования, природных способностей, вполне мог бы понять авангардистский и обэриутский тексты, тем более концептуалистский.

Важны ещё настрой, личные склонности, умения, навыки, пристрастия. Например, тяга к рассматриванию облаков. И не только В. Мартынов, но и другой житель Москвы (или не Москвы) мог бы прийти к мысли, что «изменчивость и неуловимость облаков и есть подлинная реальность, в то время как постоянство нашего „Я“ есть лишь иллюзия». И «пространство голубого неба, где парят кучевые облака»—это «бытие», а «пространство крыш и домов», которое наблюдает авторское «Я»,—всего лишь «существование». Перейти из «существования» в «бытие» можно, только если «подчинить состояние бодрствования действию законов сна», где «наше сознание находится гораздо ближе к реальности», чем при бодрствовании.

Не посетили ли и В. Пустовую (кстати, просим прощения у неё, если изложили воззрения В. Мартынова слишком иронично: влияние концептуалистов, ничего не поделаешь!) те же мысли при постоянном глядении сквозь московское окно на крыши и на небеса, что и В. Мартынова? Не стала ли и она, задумавшись о грани сна и бодрствования, мечтать о «пребывании в реальности», как автор «Трактата о форме облаков» и «целостности нерасколотого мира»? Насчёт мартынианской реальности неизвестно, но «пребывание» В. Пустовой в реальности вполне конкретной—блогосферы—известно из её новой книги, о которой мы говорим. Если не наполовину, то на треть она состоит из сетевых публикаций в «Русском журнале», «Свободной Прессе», «Частном корреспонденте», «Фейсбуке». Свобода, предоставляемая жанром «сетевого высказывания», в отличие от высказывания «прямого», делает тут каждого писателем. Свобода воистину концептуалистская, которая, по Д. Пригову, является «единственным уровнем, определяющим Художника специфически».

В. Пустовой до прозы тут рукой подать, как в «Святости правильных прабабок» о путешествии в Израиль или «Соловке-соловке» о поездке на Соловецкие острова. Пока ещё персонажи собирательны (Земля обетованная и Земля монастырская), а темы вечные, как мир («Вера» и «Любовь», соответственно разделам книги), но соблазн прозы уже есть. В виде вполне реальных писательниц Л. Горалик и М. Кетро, дрейфующих между Сетью и книгоизданием. Видно, прекратить думать книжками, писать книжками нелегко. Пусть даже и во времена двух «концов» (на самом деле мнимых)—русской литературы и «текстоцентричности». Ибо и в блогах В. Пустовая продолжает думать книжками и о книжках, давая экспресс-анализы новинок—книг Е. Колядиной, Е. Крюковой, А. Понизовского, Л. Улицкой, Е. Лапшиной и многих других. А отзыв о книге А. Логвиновой—вот оно, волшебство Сети!—превращается в лирическую новеллу, белые стихи, где что ни предложение—абзац: «Из-за шкафа ей видно небо. / И сквозь забитый холодильник ей видно. / Потому что стихи Логвиновой—о том, как в жизни не остаётся ни уголка, ни минуты, где можно передохнуть от смысла и где бы тебя оставил в покое Бог».

В. Пустовую до самого конца книги не оставляет в покое В. Мартынов, с чьей подсказки она усомнилась в необходимости и впредь быть литературным критиком эпохи «конца литературы». Хотя вряд ли его концептуалистский манифест, отдающий приговскими «Предуведомлениями», совершил такой уж коренной переворот в ней, долголетней завотделом критики журнала «Октябрь». Скорее только кристаллизовал то, что и так зрело: да, реальность опережает литературу, да, наверное, и впрямь «теперь изучают не литературу, а саму жизнь—и техники гармонического в ней пребывания». Но литература, книги, тексты как были, так и есть. И тут, на вдохновении, почти откровении, не упоминая больше заветную фамилию на букву «М», В. Пустовая пишет манифест свой: о «живом произведении», «живой критике», «живом читателе». Первое, «перенимая техники аккумуляции смысла у рекламных слоганов, народных демотиваторов и исповедей в блогах, выражается энергоёмко, а потому звучит легко и заканчивается быстро». Вторая «создаётся на стыке исповеди и исследования. И воспринимается не профессией, а глубоко личным делом». Третий—это просто «тот, кто способен на отклик». И всё это вместе значит «быть открытым», то есть современным, а эпоха эта должна называться «эпохой лёгкого сердца».

То есть «великой лёгкостью», и породившей эту книгу. Книгу, как мы видели, не всегда и не везде лёгкую. Как бы автор ни стремился облегчить её образными выражениями, сленговыми и молодёжными словечками, собственными неологизмами и парадоксальными словосочетаниями. Лидер на этой лексической карте книги по частоте употребления — слово «месседж»; кроме него — «квест», «лузер», «дауншифтер», «флэшбэк», «скриншот», «троллинг», «наворот», «разводилово», «чуваки», «протроллить»; «сим-салябим воли и крэкспэксфэксный трепет», «взбороздывают», «продалбывает». А эффектно-парадоксальные словосочетания вынесены аж на обложку книги, конвоируя её название: «Дайвер Достоевский», «Православный тренинг», «Театральный троллинг». Для облегчения книги, для комфортного чтения? Не везде и не всегда. Как только читатель почувствовал комфортность, чтение тут же усложняется, его маршрут сворачивает в «переулки», принимает затейливую траекторию. Критика академическая и импрессионистическая, театральная и блогерская, мнения и оценки, симпатии и антипатии, тексты длинные, «стайерские», как пятидесятипятистраничный про «теорию малых книг», и короткие, «спринтерские», на полстранички, как «В движении». Скорости меняются, на поворотах заносит, у читателя головокружение.

Всплывает и напрашивается сравнение с московскими улочками, с самой Москвой — городом-лабиринтом, муравейником, шумным и гиперлитературным. По сути, и сама «Великая лёгкость» — книга очень московская. И не потому, что её автор в столице живёт и гордится этим (в «фейсбучном» эссе «Место силы» мы узнаём от самой В. Пустовой, что она живёт в Братеево, на улице, именем которой названа местная станция метро «в трёх остановках от дома», — подробности прямо «сенчинские»!). А ещё и потому, что книги, которые критикует, тоже московские. По месту действия и общности языка — как правило, бойкого, острого и в то же время гладкого, литературно выверенного. С героями всегда городскими, урбанизированными донельзя, наркоманами компьютера и, конечно, блогов. И, конечно, потому, что почти все, о чьих книгах пишет В. Пустовая, тоже москвичи-земляки-соседи. Москва ведь город писателей. И даже те, кто оседает в Москве, приехав издалека, как Р. Сенчин, или пишет «для Москвы» — столичных журналов и издательств, скоро и охотно отказываются от своей корявой провинциальности. Занимая свою нишу в столичной ноосфере: обратной дороги уже нет! В их произведениях происходит выравнивание по стилю, интеллекту, мировоззрению, и вот уже «новый реализм», детище провинциалов З. Прилепина и Р. Сенчина, братается с постмодернизмом, «патриоты» — с «либералами». Происходит единение в одну московскую общность с одним московским языком. Так что уже и их проза кажется «акающей», будто московский напевный говорок.

Не зря ведь те же Ю. Арабов и А. Варламов — писатели весьма разные, полярные — написали такие похожие книги: и «Столкновение с бабочкой», и «Мысленный волк» можно смело отнести к «московской словесности». А дагестанский «Салам тебе, Далгат!» А. Ганиевой оказалось возможным сравнить с «Совком и веником» М. Кантора как произведения «глобальные», читай — «московские». А уж авторов не «мейнстримных» для провинциалов, как О. Лукошин, А. Никитин, Е. Лапшина, Слава Сэ и другие, но читаемых в столице, в книге В. Пустовой тоже хватает. И, наконец, его величество концептуализм, как все знают, употребляется не иначе как с эпитетом «московский». Значит, главный и лучший. И лучший же поэт-концептуалист Д. Пригов написал один из своих самых известных циклов «Москва и москвичи», предуведомив читателей, что это «попытка заложить методологические основания для изучения Москвы поэтическими средствами». И В. Мартынов, тоже москвич, традицию продолжил, но уже другими средствами — поэтики «конца литературы» и Москвы и москвичей. Крайне удручённый, что «нынешний обитатель Москвы не может видеть ни Сухаревой башни, ни Страстного монастыря, ни башен и стен Китай-города» и так далее, он пишет, что нынешний москвич при этом неизбежно мутирует, в нём происходит «раскоординация визуального и вербального», и далее по пунктам своей теории. Сетуешь на нестыковки: как это горькое сожаление по Москве литературоцентричных времён может уживаться с тезисом о железной неизбежности конца литературы и Москвы? Но тут же и прощаешь «непонятки». Ибо важно, что в книге, начинающейся с «Конца времён русской литературы», центральным, давшим название всей книге В. Мартынова — «Пёстрые прутья Иакова», является эссе о Москве, самом литературном городе России. Где только и возможен полноценный литературный процесс, подлинное движение литературы.

В. Пустовая в подзаголовке своей книги, не сосредотачиваясь (мы уже знаем почему) на литературе, подчеркнула, что это «Очерки культурного движения». Хотя на девяносто процентов это очерки движения литературного. От этой константы в восприятии и освещении литературы панорамно, единым взглядом, от Пушкина до З. Прилепина, не уйдёшь, ничем не замаскируешься. Ирина Роднянская, автор не столь уж и давней книги 2006 года, это с блеском подтвердила, издав целый двухтомник «Движение литературы». В нём литература движется от Пушкина до Д. Быкова, от Б. Брехта до Е. Чижовой и ветеранов отечественной филологии.

И никакими, даже очень умными и симпатичными, теориями «конца» это вечное движение не остановить, пока существуют жизнь, общество, человек, язык, пока происходят события и каждый день приносит свежие новости. Кстати, это главное уязвимое место рассуждений В. Мартынова: конечно, он всё это знает, всё это имеет в виду. Но как-то потихоньку всё это обходит. И пока существует Москва, литературное движение не остановится. Ведь движение как таковое — главный признак Москвы, генетически ей присущий.

На этом строятся многие современные романы, московские, они же общероссийские, отмеченные критикой, но не замеченные как именно «московские», движущиеся. Наоборот, роман «Горизонтальное положение» Дмитрия Данилова, флегматичный герой которого, вопреки себе, движется безостановочно, за исключением горизонтального положения сна, дружно был окрещён как роман молчания, тишины и вакуума. В. Пустовая, естественно, нашла произведению толкование в духе В. Мартынова: «„Горизонтальное положение“ — манифест человека, не противопоставляющего себя реальности, целиком вписанного в неё», — писала она ещё в «Толстой критике». Мы бы для начала поправили залог в причастии: не «вписанного», а «вписывающегося». Ибо герой писателя только и делает, что преодолевает свою инерцию, втягиваясь в круговорот событий, изначально заведённый, как вечный двигатель, Москвой, её не остывающей деловитостью. Как герой фильма «Осенний марафон», только в Ленинграде. Горизонтальное положение — это только передышка, завтра всё пойдёт не менее горизонтально, только уже по карте жизни.

Он едет в редакцию, по делам фриланса, на интервью, на такие-то улицы, в такие-то аэропорты, вокзалы, учреждения, на литературные посиделки, на лекции по сектоведению и в храм на молитву. И даже командировки его на Север и в Нью-Йорк — лишь продолжение этого вечного московского бега, из круга которого ему уже не выйти, несмотря на потерю работы. Вопреки «защемлению нерва», которому герой героически не поддаётся, «ковыляет» он тут и там, не позволяя себе валяться по-обломовски на диване. «Оказаться, в Новгороде и не погулять или погулять всего один раз по Псковской улице — неправильно», — эти слова можно назвать девизом его образа жизни. Следует, как это водится у педантичного Д. Данилова, «принятие решения» с последующими «ковыляниями». Обилие отглагольных существительных — это ведь обозначение процесса; процессуальность здесь во всём, даже в тех «мелких движениях повседневности», о которых пишет В. Пустовая, даже в игре в «футбольного менеджера».

Остановить всё это автор может только самокритикой: «Сколько уже можно», — а то и вовсе припечатать как «вся эта нудятина». Ещё одним источником самодвижения книги является остранение происходящего: записанное инфинитивом и отглагольными существительными автоматически становится странным и посторонним, будто происходит с кем-то, а не с ним. Хочется длить это состояние, по-своему им наслаждаться — а автору, ведя дневник подённых записей, длить свою книгу. Тем более что появляется и комический эффект, как у тех же концептуалистов. Если у Л. Толстого в «Войне и мире» в знаменитой сцене оперного спектакля глазами Наташи Ростовой это только эпизод, то Д. Данилов сделал приём книгой. Ведь он же москвич, а значит, литератор в движении.

Есть у В. Пустовой такая сетевая миниатюра «В движении». Пункты «смены вех» («люблю всё то, что не переносила раньше») записаны тут почти по Д. Данилову: «…спонтанность перемены… быть старшей по возрасту… мыть полы, — танцевать, — терпеть и надеяться, — одобрять себя, — ничем не жертвовать, — давать волю, — молиться по канону». Тем и интересна Валерия Пустовая, критик и литератор, поклонница О. Шпенглера и В. Мартынова, театра и блога, романа и вербатима. Она всегда в движении — литературном, культурном, московском. Её оценки и мнения не только «лидерские» (от названия книжной серии «Лидеры мнений»), они живые, вызывающие на отклик и спор. Такой и получилась — каемся! — наша статья, порой, может быть, излишне «спорящая». Заслуга в этом принадлежит всецело В. Пустовой, автору книги «Великая лёгкость», девизом которой можно считать слова: «В литературе, как повсюду вне её, биение жизни».

Ольга Немежикова

Муж её—«ангел небесный»

Прочтение документальной повести А. И. Астраханцева «Житие советской женщины» (опубликованной в журнале «День и ночь» №5/2015)

Не устаю восхищаться, насколько узнаваемы и притягательны женские образы нашего замечательного писателя Александра Ивановича Астраханцева. Для своих произведений он выбирает современниц двадцатого столетия и новейшего времени в классическом русском масштабе. Тех самых, что коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. И хотя коней сегодня ещё поискать, а избы городские героини видели зачастую только в кино, но что-что, а смотреть жизни в глаза эти женщины не боятся. Витальность и непосредственность, желание и умение двигаться вперёд, нередко на грани фола, истовый поиск себя, своего предназначения, способность любить и быть любимыми и в то же время стандартный набор грехов делают их настолько близкими, что кажется—это сёстры мои. Потому что женщина женщине в первую очередь сестра. И со страниц А. И. Астраханцева неизменно приходит ко мне та, что поймёт и поддержит, та, что никогда не осудит. Та, что прошла огонь, воду и медные трубы, а это значит—и я смогу тоже.

Не на сталеварах, шахтёрах, или строителях… И не на вдохновляющем мифе о грядущем коммунизме… Советская власть держалась тогда только на миллионах простых советских женщин. Но не спешите. Это не сводки передовиц и с полей и не записанные в цехах и у подъездов рассказы советского века. Нисколько. Это повесть о любви. О большой любви, о любви невозможной, такой, от которой лезут даже в петлю, но… Героиня хотела любить, и она любила. Как умела, как ей было дано.

Эта повесть—моё читательское открытие. Как может женщина всю жизнь любить «свободного» мужчину-творца? Каково ей с ним живётся? Почему она не уходит? Почему если уходит, то возвращается? Почему не может забыть? Ведь, значит, чем-то он дорог! Чем-то незаменим! Но чем же, Господи, чем? Конечно, любовью, которая рядом с ним, вопреки всем и вся, не только не угасает, но единственно светит и греет! Только рядом с ним в этой женщине любовь и живёт! «Любовь, что движет солнце и светила», а меньшую ей не надобно! Более того, именно она и привела её к Богу, к её Богу. «*Как мне кажется иногда, солнце и есть Бог*»,—говорит героиня. Воистину, даже уверовав искренне, русская женщина нередко остаётся язычницей, ведьмой, доброй феей из сказки.

Не хотелось бы впадать в русофильство, но что-то подсказывает, что именно русским женщинам свойственно любить вовсе не за мошну и регалии, а просто за то, что мужчина в жизни её появился как солнце. Нередко совсем ненадолго. Но сердце пленил навсегда. Не на этой ли непостижимой любви, которой приказать невозможно, и держится исконно Русь? И не потому ли русские женщины столь желанны в любом уголке ойкумены, что так дано любить только им?

Судьбою отмечен не каждый. Той, которая—песня. Многие про себя скажут: мол, их жизнь—не иначе роман. А на поверку нечего вспомнить. Поездки, покупки и встречи—нередко лишь галочки в календаре. Наполняют годы исключительно чувства, их объём, от уныния до ликования. Нашей героине, обобщающей образ советской женщины по А. И. Астраханцеву, даровано всё, чтобы её воспел поэт и картину создал художник. «*И хоть с каждой пиши жития святых*»,—утверждает писатель. Однако в «Житии советской женщины» мы читаем не про изнурительное выживание с атрибутами времени—безденежьем, очередями, трудностями с жильём, но борьбу за семью, за свои чувства, за ребёнка, за будущее. Не *очередную мелодраматическую слезливую «клюкву»* предлагает нам А. И. Астраханцев, а *очень правдивый документальный рассказ*. От себя скажу: который читается упоительно. Потому что желание жить всегда читается упоительно.

Главная героиня, Ирина Петровна Митрофанова, святой себя не считает: жила, как на сердце ложилось. Да и как без греха, коль ты не в могиле? Но грехи эти, скорей, того сорта, которые соль земли, те самые, что принимаются по счетам на том свете. Потому что ожить можно, только открывшись любви. А жить героиня хочет. Хотя из петли её тоже вынимали—и её, солнцем пропитанную оптимистку, безысходность чуть не сгубила.

Но меня, как читательницу, до глубины души поразило следующее: совершенно очаровала картина маслом счастливой семьи, писанная в начале

повести, в авторском вступлении. Какие, всем на зависть, талантливые и увлечённые у героини супруг и сын! Шесть замечательных внуков. Как повезло этой женщине!!! Как ей интересно в семье, где все друг друга поддерживают и любят! Какая она счастливая!!!

И вдруг ошарашивающий рассказ Ирины… Взгляд изнутри. Ведро… Нет, вёдра ледяной воды!.. Воды? Кислоты на холстину! Кажется, вынести кошмар отношений с супругом нет никакой возможности. Никто бы не стал терпеть, никто бы не справился! История жизни и любви героини предстаёт в жанре то сказки, то авантюрного романа, а то взрывается хоррором, и всё это сдобрено густыми порциями реализма. Который заставляет верить каждому её слову. Понятному и простому, незатейливо вещающему о бесконечно сложном. О поисках и страстях «свободного» супруга. О ней, связанной по рукам и ногам: ребёнка надо растить, деньги — зарабатывать, ведь надо питаться, одеваться — Сибирь (!), платить за кооперативную квартиру, отдавать долги. На самом деле Бог есть. И под конец мы в этом убедимся: семья воссоединилась, мир восторжествовал.

Нас ожидает хэппи-энд? Слишком не похоже на А. И. Астраханцева, ведь не «клюква» была нам обещана, а суровая проза жизни.

И Веня мне сказал:

— Давай не будем больше ссориться и препираться — будем жить каждый своей жизнью. У нас есть общий дом, есть сын, внуки, но коль уж у нас с тобой разные понятия о жизни, о занятиях и живём мы в разных мирах — давай будем жить вместе, но — каждый своей собственной жизнью, а уж жизнь будет диктовать нам свои условия. Но с вопросами, куда я пошёл и что делал, не надо больше ко мне приставать; меня это раздражает. Я свободный художник и хочу оставаться свободным. <…>

И всё равно: как это?.. Но вижу: с его стороны глухая стена, — и я потихоньку научилась не лезть к нему в душу… То есть живёт рядом со мной человек, работает — что мне ещё надо? Ко мне не пристаёт, в мою личную жизнь не лезет: как, чем я живу? Хорошо ли мне, плохо ли?.. И так длится чуть ли не всю нашу совместную жизнь.

Конечно, идеальной её никак не назовёшь…

Так любовь это, или мне лишь привиделось? Может, женщина просто боялась остаться одна? Не привиделось, и ничего она не боялась. Потому что финал открытый, и каждый прочтёт по вере его. «Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?.. я покажу тебе такую любовь!»

После рассудительного авторского слова мы, словно с его утёса, ныряем в океан чувств — в повествование героини, которое не прервётся уже до конца, в эмоциональную разговорную речь: её слушаешь, забыв обо всём. Повесть я прочла, не отрываясь, за пять часов, обнаружив, что наступила глубокая ночь.

Житие советской женщины начинается от детства и девичества — мелькают кадры становления страны на примере обычной советской семьи выходцев из деревни. *Спали на полу, вповалку, на старых папиных шубах.* Родители и пятеро детей в однокомнатной квартире. Туалет на улице, вода за три квартала в колонке, очереди за хлебом. Муку давали раз в год, в одни руки по три килограмма. В родителях героине больше всего нравилось, *что они православные и венчанные.* Семья до гробовой доски! Лишь так ей семья и мыслилась, иного и быть не могло.

Но неисповедимы пути. И хочется подробно остановиться на самом начале, проследить, как начиналась большая её любовь.

Семнадцатилетняя девушка парней сводила с ума — стоило раз на глаза показаться. На детской летней даче (она воспитательница) начинаются её первые умопомрачительные знакомства. Потому что герои пройдут через всю её жизнь и уйдут даже не плохо, а страшно… Бурные драматические отношения с мужчинами у Ирины в роду. *«У меня, — говорит* (мама), *— была старшая сестра, Ульяна. Её выдали замуж за нелюбимого, так она пошла и утопилась прямо в свадебном наряде. Как вы думаете, хочу я своей дочери такого же? Они друзья и пусть пока остаются друзьями…»* Так мама Ирины объясняет маме Славы, который никак не дождётся от девушки взаимности. Он так никогда и не сможет заменить её другой.

Но Ирина вскоре знакомится с Борей, влюбляется, вот и день свадьбы назначен, вдруг за неделю жених исчезает. Когда отыскали — сказался женатым.

Я днями напролёт хожу и плачу: вот скамеечка, где сидели, — плачу; вот дерево, под которым стояли, — плачу; дорожка, по которой ходили, — плачу, просто слезами вся заливаюсь. Ревела, ревела…

Через два месяца, вся в печали, героиня, того не желая, знакомится на танцах в Доме культуры со своей судьбой — Вениамином, только она об этом, конечно, ещё не знает. Он пригласил на последний и единственный её в тот вечер танец и вызвался проводить. Но Ирина не может забыть женатого Борю. Называет Вене своё имя, говорит, что работает на заводе. И всё. Никакого к нему интереса. Не обернувшись, уходит. Завод огромный. Веня оказался художником и придумал искать её, как принц свою Золушку. Только у принца была туфелька, а у Вени — умение рисовать.

А Веня говорит:

— Ну вот, опять Ирина — и не та.

А я за ней стояла; Веня увидел меня и кричит Сергею:

— Да вот же она — а ты говорил: такой нету!
— Так ты же большие глаза рисовал — у неё не такие, — отвечает тот.

Я услышала этот торг — развернулась и пошла, а Веня кричит вслед:
— Ира, подожди! Ира!

Догнал в коридоре и говорит, явно волнуясь:
— Я ведь уже вторую неделю вас ищу, всех Ирин перебрал!

Но Ирина неумолима. Тогда Веня стал писать письма, которые она даже не распечатывала. В это самое время выясняется, что Боря вовсе не женатый, это разлучница его хитроумно отбила, сказав, что Ира больна туберкулёзом.

Рассказ просто как громом поразил: какой страшной бывает подлость! Я всю ночь проревела.

У нашей заводской девчонки страсти шекспировские, не менее!

Той же ночью я написала Боре письмо. Пишу и реву, так что всё письмо залила слезами. Приложила к нему эту справку, что здорова, и все его фотографии, которые он мне дарил, — а как отправить?.. Решила идти к нему в общежитие сама. Вышла рано, часов в пять утра, ещё трамваи не ходили, — а идти далеко, остановок пятнадцать. Пришла в общежитие часов около шести — там ещё все спали. Просунула его фотографии вместе с письмом и справкой в щель под дверью в его комнату, выхожу на улицу, и — вы знаете — с меня эта любовь, как пелена какая-то, спала. А ведь до этого просто умирала… И опять пешком — уже на работу.

Выхожу с завода после смены, — стоит Боря с паспортом в руке и говорит:
— Вот, посмотри: паспорт чистый, неженат я. Прости меня!..

Конечно же, я ему всё простила, и мы снова задружили. Но он меня целует — а будто трава: ничего не чувствую; исплакала я свою любовь.

Со своим Веней она вскоре встретилась зимой, замороженная и голодная.

Заводит он меня к себе в мастерскую. Там стоит раскалённый докрасна «козёл» из проволоки, и кругом на стенах — портреты красивых женщин. На полу лежат две картины — или плакаты? — и на них — летящие голуби. Я так и обалдела от всего этого. Гляжу на него — а на нём такой красивый свитер, и сам он такой красивый! Почему же я раньше-то этого не замечала? Да ещё такие красивые портреты рисует!.. <…>

Он меня проводил домой, и с той поры мы с ним задружили. <…>

…Как-то так получилось, что вся любовь, которая была у меня к Боре, плавно перетекла на Веню — он стал мне нравиться. <…>

В том же марте, не откладывая, справили свадьбу, и я была в том самом платье, которое сшила мне Галя для свадьбы с Борей.

Так бурно началась у Ирины взрослая жизнь и не менее бурно до самой пенсии продолжалась.

И мы можем лишь догадываться, как пересказал бы ту же историю её супруг. На самом деле, сколь интересно было бы увидеть его чувство: что для него любовь?! Для человека, гордыня которого запредельна! Какую женщину он бы любил всю жизнь? И возможно ли это? Или истинная его любовь, избранница навсегда — единственно живопись? А земной женщине вход заказан? Он убеждён, что его одиночество разделить невозможно? И любовь — не более чем физиология или временное помутнение сознания? Что же для него женщина? Она *нужна только затем, чтобы у него были еда, чистая рубашка и чтобы дома было убрано? Поговорить с ним о чём-то, хотя бы просто отвести душу* (ей с ним) *невозможно*. Так женщина — необходимость или всё-таки солнышко? Ведь он жене говорит, что (его пассия, лесбиянка) *Лена для меня — солнышко*. В чём она ему — солнышко? Узнать интересно безумно!!!

Ясно одно: существуют женщины, которые тянутся только к мужчинам, рождённым для творчества. Их избранникам редко дано уложиться в прокрустово ложе общепринятых норм. Так и женщины, которых они выбирают. Либо женщины эти, служа высокому, способны принять все чудеса и отчаяние (*Мне и жалко-то его: столько всего перенёс*), либо, будоража собою, оригинальные, гордые и непокорные, они сами идут вперёд, оставаясь недостижимыми. Ясно и то, что Ирина создала и сохранила Вениамину дом вовсе не с привидениями, а со своей любовью, с сыном и внуками, в который он в конечном итоге вернулся.

…Ведь если бы не я, Веня точно погиб бы. Значит, я ему тоже пригодилась?..

Я знала, что любовь бывает только раз в жизни… И когда я любила Борю, а ничего у меня с ним не вышло, то решила, что больше уже любви не будет; и когда стала встречаться с Веней — подумала: ну и ничего, что не будет, — зато буду просто служить ему всю жизнь.

Но свято место пусто не бывает; конечно, без любви то служение, которое несла Ирина своему мужу, было бы невозможным изначально.

Однако сказка лубочной видится только со стороны: в её доме он словно родственник. Но это её выбор, её мужчина и её судьба. Тем не менее, лишь в служении упрямая героиня себя растворять не желает.

Но я не хочу быть всего лишь служанкой у мужа, если даже он художник! Ведь я же не машина для исполнения чужих желаний… я живой человек, и у меня есть свои желания, планы, мечты, мне тоже хочется иметь занятия для души!

Кто знает, быть может, только рядом с ним она и может оставаться собой? Во внутренней

борьбе с его *сосредоточением лишь на себе* она и реализуется как личность?

Повесть открывает необыкновенный простор для осмысления, потому что любовь — вечная тема, и каждый её понимает по-своему. У родных душ об одном тоскует душа, и вместе ищут они выход из тисков одиночества и сомнений. Казалось бы, дружба даёт очень многое. Но так уж устроен человек, что только в любви открывается доступ к источнику, к глубоко упакованным внутренним ресурсам, только в ней вырастают крылья и несут вперёд, невзирая на трудности. Образы, которыми любящие, вдохновляясь, наделяют друг друга, не знают предела, нередко стремясь к обожествлению. Но только Бог читает в душах людей. В человеке сильны инерция и гордыня, удел его — бездна материальных проблем, а соответствие чаяниям любимого человека требует непрерывных и взаимных усилий. Более того, лишь равным дана любовь, а не слуге и хозяину. Так что неисчислимо пропастей на пути взаимной любви. Искреннее восхищение-притяжение на всю жизнь редко, как пурпурный единорог, но, конечно же, не заказано. Хотя обитает всё больше в мифах. Размышления о чуде любви не только отрезвляют (в конечном итоге она уникальна и непознаваема), но дают шанс для развития, для более счастливой жизни. А наша героиня, в контексте воспитания детей, приводит в эту тему слова Николая Рериха: «*Для того чтобы лодка, пересекая реку, доплыла до цели, нужно грести выше цели*».

В повести много всего. Удивительно, сколько неожиданных перипетий ожидает нас. Читаешь — и не догадываешься, что там, за поворотом, в новом абзаце. Тут и безжалостная констатация советского быта: *когда сейчас говорят, что в советское время жили лучше, — это неправда. Может, кто-то и жил лучше, но я таких там не видела — все вокруг постоянно считали копейки и еле-еле сводили концы с концами.* И философские, простые до гениальности истины, к каждой из которых герои приходят после такого катарсиса, что всякий раз едва ли не гибнут: *когда он заболел туберкулёзом, то очень боялся умереть, а когда выжил — стал так радоваться жизни, что всё, что бы он ни рисовал, получалось прекрасно.* Тут и страшные судьбы мужчин, которые всю жизнь Ирину любили (Слава, Эдуард), ёмкие и яркие рассказы о хороших людях, которых в жизни героини встречалось немало. Тут и, как снег на голову, болезни мужа (открытая форма туберкулёза с тяжелейшими осложнениями через много лет). И сама героиня с юности получила отравление свинцом на заводе — сказалась работа в химцехе, всё вместе вылилось в постоянные госпитализации, операцию, инвалидность. Но и здесь оптимизм не знает предела — она искренне верит, что *болезни посылаются нам затем, чтобы мы благодаря им духовно очищались.* Тут и её решение выбирать работу по душе, теряя так необходимые ей деньги, будь они прокляты! Но героиня никогда никого не проклинает, наоборот, не устаёт благодарить. Это читатель от беспокойства сходит с ума, в то время как она продолжает рассказывать историю своей жизни, своей любви. Одно от другого неотделимо.

Её способность из самого факта жизни извлекать радости впечатляет. Более того, повествуя о том, что куда ни кинь, везде клин, текст насквозь пропитан неиссякаемым оптимизмом, но никак не бравадой. В раннем детстве радость — кукольный театр в глухой деревне, устроенный мамой для пяти детей.

Теперь мы с моей сестрой Галей рассуждаем так: несмотря на многие беды, вся наша жизнь была сплошной радостью; заселились в кооперативную квартиру — радовались… выплатили через пятнадцать лет кооператив — опять радость!

В перестройку радости ещё прибавилось: мыла не было, а достанешь кусок — радуешься; цыплёнка купишь — радуешься.

Жизнь Ирины полна чудесами и тайнами. Чудес не будет, если не будет тайн. Её любовь к мужу так и останется неразгаданной. Но как бы ни было сильно возмущение его «увлечениями», его самолюбием, но им, его талантом и душевными качествами она восхищается неизменно: *он великий труженик, и я благодарна ему за то, что он полюбил меня — а ведь я тоже не идеал.*

Конечно, сохранить семью в конечном итоге помогло их взаимное уважение и доверительное отношение друг к другу. Кредит доверия в этом месте не знает меры — верный признак любви, мудрый удел которой — прощать. Когда пришло время пережить любовь жены к Эдуарду, тоже иррациональную, несущую мук много больше, чем радостей, но которой суждено было перешагнуть даже смерть, Вениамин на высоте оказался тоже недосягаемой. Редкая женщина не оценит такого бережного к себе отношения, как бы кощунственно в данном контексте «бережность» ни звучала. Но так уж устроено: лишь через личные страдания дано познать не только себя, но мировую скорбь.

Ирина из тех женщин, которые не предают любовь, просто в её большом сердце много места, ведь она тоже творческий человек. Имея с детства сильнейшую тягу к музыке, ей так и не суждено было выучиться играть. Но она слушала. Всю жизнь.

Что ещё спасало меня в жизни — так это музыка. Иногда сижу дома, слушаю её и плачу. То есть она распахивает мне душу, а в душе столько слёз накопилось! Но это слёзы утешения и облегчения.

Много я её переслушала, особенно в трудные моменты, когда Веня десять лет подряд ездил и я жила как Сольвейг, — только одна музыка мне тогда и помогала: слушаю, а душа ликует, и тревоги

уходят. Наслушаюсь, наплачусь — и побежала на работу…

Красивая повесть, повесть как музыка о любви, о русской женщине, которую судьба провела через советское время, не дав ей в наследство ничего, кроме чувства. Остальное добывалось в поте лица своего, с перерывами на сон в несколько часов.

Ушёл в прошлое советский период. Мы все помним огромные панно и барельефы с изображением советской женщины: босая великанша в косынке и платье, серп — аксессуар неизменный. И художественно-модернистские вариации образа скорее бабы — не женщины. А в быту она вечно с авоськами, в битком набитом автобусе, электричке. Нет, никогда не в автомобиле, не в самолёте — в них передвигались дамы из какого-то другого мира, из другой жизни, словно бы не советской. В городе днём — на конвейере, вечером — в огород, поливать морковь-огурцы. Выходные у большинства — огород неизменно, потому что ягоды-овощи нарастить надо, картошку выкопать, капусту насолить, варенье наварить. Ничего не поделать, жизнь есть жизнь, в условиях безденежья и дефицита она диктует своё. Впрочем, от земли русские люди никогда не отрывались.

Однако А. И. Астраханцев в своей повести камня на камне не оставляет от расхожего архетипа. Который и баба, и бык, и лошадь, и мужик. Которому, кроме работы, казалось бы, ничего и не надо. И рожает она между сменами. А детей воспитывают школа и детская комната милиции. А ещё дети растут, по русской традиции, как трава подзаборная.

Нет, нет и нет! Потому что это всё не более чем взгляд на улицу, но не в сердце. Да, советская женщина всегда болела за коллектив, как за семью, но никогда в массе своей не выносила на люди страдания души. Той, что тянется к красоте и гармонии и к простому женскому счастью — к любви и согласию в семье. Её внутренний мир, несмотря на отсутствие такого желанного образования, негасим и богат. И самая большая ценность в этой жизни для неё, конечно, любовь. Она живёт, пока любит сердце. Пусть мужчина терзается в поисках смысла, ловит удачу и вдохновение — женщина просто любит своего «небесного ангела», бережёт для него дом, воспитывает детей. И другого не надо. Его крылья — ей радость, свет и тепло. Так она для себя решила.

Евгений Минин

Как бы слава…

Половиноненное

Быть знаменитым некрасиво…
Не надо заводить архива…
Тут не поспоришь — Пастернак,
Уж он-то ведал, что и как.
Роберт Винонен

Вставай, проклятьем заклеймённый…
Кипит наш разум возмущённый…
Писать мне сложно без цитат,
Потомки, думаю, простят

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…
Живи ещё хоть четверть века…
Живу три четверти почти,
Чтоб классику в народ нести.

Я к вам пишу — чего же боле?
Теперь, я знаю, в вашей воле…
Меня за эту канитель
Позвал бы Пушкин на дуэль.

Облавное

Ну не плачь же, перестань,
На меня идёт облава.
Максим Замшев

Я не плачу, даже рад,
Это как бы даже слава,
Пародистов, говорят,
На меня идёт облава.
И к торжественному дню
К нашей встрече, между прочим,
Ну такое сочиню —
Будут плакать днём и ночью.

Сергей Арутюнов, Александр Орлов

Говорит будущее русское офицерство: поездка в святое место

Проблемы православного образования в России довольно часто обсуждаются в педагогической прессе, причём порой авторы развёрнутых высказываний не брезгуют слухами и откровенными инсинуациями со стороны невоцерковленных родителей…

На примере всего одной паломнической поездки-экскурсии мы хотим рассказать о том, как воспринимают такие образовательные акции сами дети. Возможно, некоторые формулировки покажутся кому-то наивными — для нас здесь важен сам факт пробуждения души к чудесам и тайнам подвижнической судьбы, попытка определиться с самым важным в ней — отношением к Добру и Злу…

…Первого октября учащиеся кадетских классов московской школы № 1861 «Загорье» навестили с экскурсионной поездкой Рождества Святой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь, основанный в 1444 году святым Пафнутием.

Будущие курсанты военных училищ наглядно убедились в том, что и в новом тысячелетии монастыри продолжают неуклонно исполнять возложенную на них обязанность — нести свет Христов прихожанам и паломникам.

В годы возрождения Православия настоятелями сделано многое для того, чтобы каждый пришедший за духовной помощью получил её. Однако монастырь стараниями монахов сделался ещё и настоящим просветительским центром: в нём работает воскресная школа для детей, издаются детский журнал «Кораблик», еженедельник «Вестник», а также газета для учителей и родителей «Боровский просветитель», читаются лекции для взрослых, проходят просмотры и обсуждения фильмов.

Летом в стенах святой Боровской обители гостят скауты, молодые художники. Помимо ежегодного летнего молодёжного лагеря «Стратилатъ», слёта православной молодёжи «Пафнутьевград», организованы Пафнутьевские образовательные чтения, принять участие в которых может любой желающий.

Одна из главных заслуг столь многогранного развития принадлежит священноархимандриту монастыря митрополиту Клименту и духовнику монастыря схиархимандриту Власию — именно этим людям паломники обязаны неповторимой атмосферой гостеприимства и покоя, к которой многие из них стремятся всю жизнь, а обретают, войдя по сень простых и величественных храмов.

О непосредственных впечатлениях от экскурсии узнаем от самих кадетов и воспитанников, навестивших обитель.

— Что в поездке в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь впечатлило вас больше всего? К каким тайнам вы, как вам кажется, прикоснулись и что нового для себя почерпнули в этой поездке?

— Поездка в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь — это знаменательное событие для нашего класса, тем более что именно в это день был мой день рождения. Больше всего мне понравилось сама история жития Пафнутия Боровского. Запомнилось, что он был родом из золотоордынцев, что тяжело заболел и, приняв великую схиму, чудесно исцелился, ушёл в отшельники, поселился на левом берегу реки Протвы.

Из рассказа нашего экскурсовода Сергея Власова я узнала, что к месту его обитания потянулись монахи: так была построена деревянная церковь в честь Рождества Богородицы. А когда вместо деревянной церкви был выстроен каменный храм, угодник приглашал для росписи храма лучших иконописцев. Мне хотелось бы ещё раз посетить это сказочное место!

Софья Кучерова
Кадет 7 класса «к»

— Легко ли сформулировать ощущение, когда прикасаешься к чему-то незримому?

— Чрезвычайно сложно передать все ощущения души, соприкасаясь с незримым и великим… Кажется, что она наполняется новыми ощущениями, а объяснить их нелегко. Может быть, это благодать, а возможно, у меня мало слов, чтобы передать весь трепет души, неровный стук сердца и нежную взволнованность, которые вызывают святыни православной культуры.

Могу сказать точно, что, покидая обитель святого Пафнутия, как-то по-другому начинаешь осмысливать жизнь. Понимаешь, что она у тебя

одна и надо успеть сделать как можно больше добра, чтобы оставить после себя добрый след на долгие годы. Так и приходишь к размышлению о вечном…

РИММА КАРАСЁВА
Ефрейтор 9 класса «к»

— Каким, как тебе кажется, языком следует говорить о тайнах?

— О них следует говорить на духовном языке: духовность — это полное умиротворение и согласие с самим собой, способность самовыражения, восприятие Святого Духа внутри себя, умение жить с ним.

ЕЛИЗАВЕТА ВОЛОДИНА
Младший сержант 9 класса «к»

— Как бы вы определили сплошь и рядом повторяемое сегодня слово «духовность»?

— Думаю, термин «духовность» — прежде всего религиозное понятие, вне этой сферы оно лишено всякого смысла, его могут обходить со всех сторон, но не понять сути. Духовность для меня — это сама жизнь…

ЕЛИЗАВЕТА ВОЛОДИНА
Младший сержант 9 класса «к»

— Духовность — это жизнь духа. Духовный человек должен быть добрым, искренним, любящим свою Родину… Духовность несовместима с предательством и эгоизмом. Духовность надо воспитывать в самом себе!

Мы благодарны родителям и учителям, которые помогают нам в этом воспитании, а также митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, иеромонаху Макарию, без которых не состоялась бы наша поездка.

АННА ПАНОВА
Кадет 7 класса «к»

— Я считаю, что духовность — это способность людей ставить нравственные ценности выше материальных. Духовный человек способен сострадать ближнему, всегда готов прийти на помощь. Такие люди не совершают зла, предательства. Для них очень важно общение с Богом. Как правило, такие люди часто ходят в церковь или хранят веру в глубине души.

Когда я жила в Гаване, состоялся визит на Кубу Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Для многих православных христиан навсегда остались в памяти молитвы и речи нашего Пастыря. Его очень ждали, и это было большим событием как для церкви Казанской иконы Божьей Матери, так и для всех верующих людей.

Духовный человек всегда силён духом, он готов защищать свою Родину. Мы очень благодарны учителям за то, что они прививают нам духовность, и наш визит в обитель ученика преподобного Сергия Радонежского — лучшее тому подтверждение.

ЕКАТЕРИНА КУЛИНИЧ
Кадет 7 класса «к»

— Какой момент истории монастыря оказал на вас наибольшее воздействие: сопротивление Лжедмитрию, заключение протопопа Аввакума, захват и разграбление обители наполеоновскими войсками, фашистами, восстановление её из пепла?

— Меня потрясла и захватила история о том, как в Советском Союзе взрывали и оскверняли церкви, но ещё более сильное впечатление произвело тогдашнее решение оставить главный собор обители в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это заставляет верить в высшую силу! Она повсюду! В России, на Афоне, где я был с отцом, во всём мире.

Наша поездка заставляет задумываться о людях того времени, о многовековой истории моего народа.

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ
Кадет 7 класса «к»

— Каким вы ощутили дух святого Пафнутия? Каким, как вам кажется, был этот человек?

— Приложившись к мощам преподобного Пафнутия, я почувствовала благоговение и божественную благодать. От него исходила душевная теплота и любовь ко всему миру. Он излучал умиротворение, словно бы защищал меня и весь мир от всего дурного. Достаточно только подумать о нём и мысленно попросить защиты и помощи — и можно быть уверенным, что он поможет. Дух святого Пафнутия присутствует, кажется, повсюду — и в Москве, и в Боровске, и в Нью-Йорке. Это дух Святой Руси! Я ощущала его не только у раки с мощами, я помню его и в Нью-Йорке, когда посещала собор, воскресную школу, принимала святое причастие, праздновала с православными Пасху, Рождество, Крещенье, Преображенье, Вознесенье, Крестовоздвиженье…

ВИТАЛИНА КАРЕЛИНА
Кадет 7 класса «к»

— Удалось ли вам ощутить чаяния и стремления преподобного с такой дальней дистанции, как пять с лишним веков?

— Находясь на святой земле Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря, я почувствовала, что моё мировоззрение изменилось. Я невольно вступила в спокойный, умиротворённый ритм монастыря. Рассматривая здания и расписанные

стены внутри них, я ощущала старания всех тех людей, которые его возводили. Побывав там, можно прочувствовать всю атмосферу богослужения. Конечно же, никакие года не сотрут памяти об этой поездке.

МАРИЯ МАККАВЕЕВА
Ефрейтор 9 класса «к»

— Как вы считаете, нужно ли учащимся кадетских классов посещать духовные центры России, и если да, то почему?

— Кадеты — наследники офицеров, защитников России. А настоящие защитники отличаются не только храбростью, мужеством и любовью к Отечеству, но и благородством. Огромную роль в воспитании таких качеств у кадетов играют посещения духовных центров России. Там мы познаём православную веру и национальную культуру, историю своей страны.

Посещение духовных центров просто необходимо для воспитания настоящих патриотов и просто хороших и честных людей.

АРТЁМ РАГУЛИН
Кадет 7 класса «к»

— Какое значение для будущего офицера имеют такие поездки?

— Будущему офицеру такие поездки помогают лучше узнать историю своей страны, они будто передают нам героический дух предков, и об одном из таких героев мы узнали во время экскурсии. Его имя — воевода князь Волконский. Он был изрублен поляками на мощах святого Пафнутия, и кровь его на ступенях не смывалась годами.

АЛЕКСЕЙ БАРЛУКА
Кадет 7 класса «к»

— Те, кто мечтает в будущем стать офицерами, защищать свою Родину, обязаны помнить, какой ценой досталась нам наша свобода. Кроме того, в таких поездках мы лучше чувствуем друг друга, а значит, православные святыни нас объединяют.

АНДРЕЙ РАШИН
Кадет 7 класса «к»

Кажется, уже ради того, чтобы такие слова прозвучали, стоило и ехать, и внимать, и вбирать. Кто знает, что ждёт Россию в ближайшие годы… но если надежда на нашу будущую свободу и есть, то — присмотритесь! — вот она.

Литературное Красноярье ∴ ДиН ПИСЬМО

Геннадий Волобуев

Размышления к полемике

Замечания к публикации «Все мы — один народ» («ДиН», № 4 2016)

Главному редактору «ДиН»
Марине Саввиных

Марина Олеговна, добрый день!
Я последнее время всё чаще задумываюсь, почему западный мир, преемник греческой и римской культуры, вдруг становится каким-то сумасшедшим, рушит все нравственные нормы ради политических амбиций, не озираясь ни на моральные, ни другие общечеловеческие ценности. Ложь и агрессия — их орудие. Хотя должно быть очевидно, что мир и сотрудничество принесут больше пользы. Почему люди в век просвещения занимаются самоуничтожением? Вы говорите, что «Илиада» — Ваше самое любимое произведение. Оно у меня едва ли не настольная книга. Мощь и недосягаемая красота текста, отражение высоких устоявшихся нравственных принципов его героев, из которых самые яркие восходят до божественного Олимпа, обретая сверхъестественную силу, покоряют читателя. И в то же время, по сути, ради не очень верной женщины они, эти герои и цари, готовы пожертвовать своим народом, даже государством. В конечном итоге всё ведёт к упадку. Рим, как и Греция, кончили одним и тем же. В средние века эстафету приняли западные народы. И вот они подошли к такому же рубежу. Значит, чего-то не хватает в нашем сознании? Значит, и мы, бывшие коммунисты, провозгласив гуманные лозунги, высокую нравственность, не справились со своими задачами, приведя страну к разрушению. А теперь спорим, обвиняем друг друга, киваем на Запад. Почему? А может ли вообще в природе общества и его государственном устройстве быть идеал, самое верное и стабильное его состояние? Или мы обречены на вечную борьбу всё с теми же «мельницами»? Так при чём здесь коммунисты? За что их обвиняют?

Дмитрий Косяков

Ульянкины рассказы

Часть 1. Год

Горячий дядя Че

Ульянка возится с игрушками на ковре, я сижу рядом и пью чай из любимой кружки. Улю привлекает ярко-красная кружка, она тянется к отпечатанному на ней портрету. Объясняю ей: «Это—дядя Че».

Уля суёт ладошку внутрь и обжигается горячим чаем. Горькие слёзы длятся недолго и исцеляются поцелуем в щёчку. Уля морщится от укола щетины, но уже улыбается и снова тянется к кружке.

«Горячо»,—предупреждаю я. Уля вытягивает пальчик, осторожно трогает лицо на кружке, быстро отдёргивает руку и первый раз в жизни осознанно говорит: «Дядя».

Теперь, даже когда кружка пуста, она очень осторожно прикасается к ней, улыбается и повторяет: «Дядя».

Вырастай, дочка, и ты узнаешь, какой горячий был дядя Че!

Твоя погремушка

В гости к Ульянке пришёл дедушка. Дедушка любит задаривать внучку. Сегодня он принёс ей погремушку. «Бери,—говорит дедушка.—Теперь она твоя». Уля берёт игрушку, хотя и не понимает, что значит «твоя». Когда ей нравится какая-то вещь—игрушка, телефон, книжка, неосторожно оставленный на виду документ,—она берёт её, не задумываясь, чья это собственность. Если же попросить её дать что-нибудь, она тут же отдаёт и не жадничает.

Дедушка же, напротив, хорошо знает, что такое частная собственность, любит покупать вещи и никогда их не выкидывает.

Мир Ульянки не поделён на своё и чужое, он целиком принадлежит ей и её маме, папе—всем.

Ульянкино творчество

Ко мне приходят друзья, и мы делимся друг с другом тем, что успели открыть, сочинить, написать. Ульянка—тут как тут, подползает и просится ко мне на руки, завладевает шариковой ручкой и тычет ею в наши тетради и распечатки, оставляя свои пометки на страницах и наших руках. «Будет писательницей!»—смеются товарищи. Я улыбаюсь: такая перспектива мне, конечно, льстит.

Вечером Уля с интересом следит за маминой работой—как под её ловкими пальцами бесформенные комочки глины превращаются сначала в шарики, лепёшки, колбаски, а затем в чашки, бусинки и кулончики. Уля требует и себе кусочек глины и принимается его мять, выпятив от усердия губки. «А может, ты будешь художницей?»—улыбаясь, спрашивает её мама.

Я сижу рядом и пью чай из моей любимой кружки. Я не возражаю: такой вариант меня тоже устраивает.

Шарик

Поход в торговый центр планируем, как военную операцию: прикидываем маршруты, оцениваем свои возможности. Необходимые покупки лучше сделать разом, бегать по разным магазинам мы сейчас не в состоянии. Выбрали подходящее время. Теперь нужно определить, каким маршрутом будем добираться. Ехать до торгового центра на автобусе—не самый удобный вариант: влезть в него с коляской не так-то просто, а без коляски с ребёнком на руках по торговому центру не походишь. Кроме того, от автобусной остановки ещё предстоит неблизкий путь через дорожную развязку и автомобильную парковку... Торговый центр—неприступный бастион, к которому не так просто подобраться. В итоге решили идти пешком.

Катим коляску по занесённым снегом улицам, Ульянка пугливо оглядывается на ревущие со всех сторон автомобили, каждый бордюр приходится брать штурмом. Но точки назначения достигаем, сохранив достаточно сил. К счастью, один из плюсов отцовства-материнства заключается в том, что окружающие становятся отзывчивее и предупредительнее—уступают место, придерживают дверь. Всегда приятно, когда человек вдруг поступает по-человечески. Да даже просто как-то теплеют глаза людей, когда они глядят на ребёнка.

Ульянка же с трудом замечает отдельных людей, она оглушена и придавлена огромными размерами помещения, движением толпы, нагромождением товаров и рекламных плакатов, гулом, в котором сливаются людской говор и грохот динамиков, ослеплена блеском витрин. Она сразу стала такой крошечной и несмышлёной, как будто скинула месяца три-четыре. В коляске боится сидеть,

постоянно просится на ручки, но мы периодически всё-таки усаживаем её обратно, даём отдых рукам.

Раздатчик рекламы протягивает ей красный шарик с логотипом некой фирмы. Ульянка вдруг оживает, улыбается и живо хватает подарок. Ей нравится шарик, ей приятно, что на неё обратили внимание, ей интересно что-то схватить. А всякие логотипы ей пока что безразличны.

Ульянкины игрушки

Ульянке постоянно дарят игрушки. Их уже целая гора: тут и машинки-паровозики, и мягкие зайцы-котики-мишки самых невообразимых цветов и форм, и погремушки, и пупсики-куклы различных размеров и различного вида — от миловидных до пугающих, и ещё это… такое не пойми что, но развивающее. Однако все они Ульянке не особенно интересны. Каждая новая игрушка — забава на полчаса, а то и меньше.

Гораздо больше её занимает всё то, чем пользуемся мы, взрослые, что лежит на наших столах, что часто бывает у нас в руках и что ей категорически не разрешается трогать: телефоны, столовые приборы, книги, инструменты. Однажды её почти на целый день занял термос — она снимала и надевала его крышку, вытаскивала пробку, раздвигала складную ручку и так без конца. Очень радуется, когда мы разрешаем ей попользоваться половой тряпкой, с усердием, покряхтывая, возит ей по полу. Неизменное любопытство у неё вызывают мои книги, и хотя в них одни только буквы, Ульянка охотно листает их и если вдруг натыкается на изображение — обычную чёрно-белую фотографию — счастью нет предела. Сейчас вот она сидит посреди кухни и мирно перекладывает мытые картофелины. Всё это вещи «настоящие», а не детская раскрашенная имитация. И то правда, живая жизнь интереснее любой игры.

Спать хочется

Вот уже первый час ночи, а Ульянка не спит. Час (или больше?) я таскаю её на руках, пытаюсь укачивать и что-то напевать, и она почти затихает, прикрывает веки, но, словно испугавшись чего-то, начинает биться, кричать и выворачиваться из рук. Есть не хочет, воду отталкивает. Говорят, что для маленьких детей сон — это смерть, потому они и сопротивляются до последнего. Пытаюсь посмотреть на это её глазами: вокруг темно, её засасывает чёрное небытие, когда же она пытается пошевелиться, то чувствует, что её сжимают сильные объятия, а сверху доносится неразборчивый шёпот, монотонное пение. Страшно! Ульянка рвётся и брыкается так, что я боюсь её уронить, руки уже устали. Может быть, она всё-таки голодна? Или больна? Но из-за постоянного ора я никак не могу собраться с мыслями и сообразить, что же мне нужно делать, и потому не могу придумать ничего лучше, как ходить по тёмной комнате и пытаться напевать осточертевшие слова колыбельных песен. Петь трудно из-за дочкиного крика и от необходимости непрерывно раскачивать свою тяжёлую ношу, отчего иногда прерывается дыхание.

В такие минуты мне кажется, что именно с рождением ребёнка к человеку приходит старость. Ты начинаешь сильно уставать и плохо спать, кожа портится, выпадают волосы, появляются морщины. Ты постоянно горбишься, склоняясь над младенцем, укачивая его. Мысли путаются, в голове постоянный гул. Нервы расшатываются, ты становишься склочен и глуп, чаще болеешь. Тебе хочется только отдыхать, остальные желания притупляются.

Потом ребёнок подрастает и ослабляет свою хватку, но ты так и остаёшься согнутым, сморщенным, оглушённым и усталым. Тебе постоянно хочется спать. Спать вечно.

А ведь мне завтра рано вставать на работу, нужно хоть немного поспать, иначе и день превратится для меня в пытку — борьбу с усталостью — и закончится сплошной головной болью. Жена лежит на кровати и пытается уснуть, у неё уже тоже нет сил, она пробовала всё, что могла. А ей ещё предстоит просыпаться и кормить Ульянку ночью. На ум невольно приходит рассказ Чехова «Спать хочется», когда ополоумевшая от бессонницы девочка задушила вверенного ей младенца. Хочется схватить кричащего брыкающегося бесёнка за ноги и шваркнуть об стенку.

Мне становится жутко от этих мыслей. Я испуганно и устало сажусь на пол и разжимаю руки. Ульянка вырывается и убегает в темноту. Я слышу, как её пяточки топочут где-то в кухне. А я пытаюсь сообразить.

За что же мы все трое так жестоко и упорно мучим друг друга, ссоримся, срываем друг на друге обиды? В чём наша неправда, наша ошибка, наша вина друг перед другом? В том, что мы не профессиональные педагоги? Я по образованию — филолог и историк, а работаю журналистом. Улина мама — художник. Всё, что мы знаем о воспитании ребёнка, почерпнуто нами урывками, наспех из брошюрок, лекций да советов родных. Какое позорное дилетантство, какая некомпетентность! Это всё равно что писать в газету, едва освоив грамоту, или выдавать за искусство бесформенный кусок глины — сплошное шарлатанство. Почему же такое допустимо при воспитании детей? Ведь это не безжизненная глина или бумага, которая всё стерпит, а живое разумное существо. И касаться его тела и души неопытными грубыми руками — просто преступление!

Нет, я бы не доверил себе своего ребёнка… Но я не доверил бы его и другим. Каждый день, как журналист, я сталкиваюсь с жуткими случаями унижения, избиения, травмирования и даже

убийства детей их родными и близкими. С таким сложным и хрупким материалом должны работать профессионалы.

Похоже, часть своих рассуждений я таки проговорил вслух, потому что Валя поворачивается и спрашивает: «И где же они, эти твои профессионалы?» — «Нигде,— отвечаю я.— Нет их на свете, не подготовили ещё».— «Значит, в будущем не будет семьи?» — «Не будет»,— говорю я, а остальное уже досказываю молча, про себя: «Семья — это костыль для нашего безнадёжно хромого общества, дурно прилаженный протез, который худо-бедно помогает передвигаться, но и калечит идущего».

Сижу на полу, беспомощно тереблю ворсинки ковра. На кухне обо что-то ударилась и заплакала Ульянка. Бегу к ней, подхватываю на руки, прижимаю к себе, Ульянка сжимается в комочек и, утомлённая слезами, наконец засыпает. Не дыша, на цыпочках несу её к кроватке, укладываю, но она вздрагивает и начинает метаться, и я ещё долго качаю кроватку, мысленно повторяя: «Прости меня, дочка! Прости всех нас! Мы не сумели придумать для тебя лучшего мира».

Детскими глазами

Мы отправились с дочкой в детский городок, который расположен на площади за соседним кварталом. Это совсем рядом, его даже видно из нашего окна. Но для Ульянки это настоящее путешествие, так что берём с собой коляску. Кроме того, на пути к площади практически нет пешеходных тротуаров, и приходится непрерывно вилять, уступая дорогу вездесущим автомобилям.

Но вот наконец мы в городке. Достаём Ульянку из коляски и ставим на снег. Уля неповоротлива в своём тёплом комбинезоне и, как космонавт на Луне, смотрит на всё удивлённым и восхищённым взглядом. Сначала она просто замирает и долго стоит, даже не особо вертя головой. Вокруг столько нового! Необычные пёстрые сооружения, смысл которых для неё ещё неясен, а главное, люди, и более того — дети. Те, что помладше, сидят в колясках или на руках, те, что постарше, носятся во всю прыть, Ульянке трудно за ними угнаться. Но, конечно, она тянется к старшим ребятишкам, протягивает к ним руку, пищит и тянет меня за собой. Однако останавливается в двух шагах, не решается вмешаться в резвые игры двух-трёхлетних «взрослых» детей.

Всё вызывает интерес и удивление: зачем мальчик залез в эту странную штуку? А вот девочка подошла к теремочку, а из окошка выглянула другая и сморщила рожицу. Чудеса! А куда побежал этот мальчик? А кто взвизгнул там? Ульянка ещё не умеет играть — ей интереснее исследовать. И хотя больше всего её волнуют дети, она не прочь прокатиться с горки или с серьёзным и сосредоточенным видом покрутиться на карусели, а ещё лучше попробовать самой её покрутить. Всё это, конечно, с моей помощью. Порой она отвлекается на каку под ногами. К сожалению, во всём этом шумном великолепии ребёнку порой незаметны по-настоящему потрясающие вещи, так что я специально обращаю её внимание на всяких птичек и собачек.

Ульянка помогает мне увидеть окружающие предметы как будто впервые. Я присматриваюсь к тающему снегу: наверху старых сугробов он белый, а ближе к подножию становится всё чернее, но муть проталин и чернота грязного снега разделены золотящейся кромкой. Я слышу, что голуби пролетают мимо с особенным, едва слышным поскрипыванием крыл. И мне уже не терпится вместе с Ульянкой, её глазами посмотреть на траву и зелёные листья.

Даже дома Ульянка постоянно находит чему поразиться: мячику, закатившемуся под диван, бородатому дедушке Карлу на обложке папиной книжки, работающей стиральной машине. Я невольно вместе с нею сажусь на корточки и засматриваюсь на круговерть одежды и мыльных пузырей… Ульянка приносит мне разные вещи, и я восхищаюсь находкам вместе с нею: закрытая банка, в которой что-то гремит, бусы, мой рабочий диктофон…

Бесконечно радует Ульянку и собственное тело: ножки, которые бегут и которые можно затолкать в рот, волосики, в которых можно задумчиво шарить пальцами, пуп, который, как оказалось, есть даже у мамы с папой! Глядя на неё, я понимаю, как здорово существовать на свете, моя память неожиданно возвращает мне совершенно неожиданные воспоминания детства.

Часть 2. Полтора

В нашем дворе

Вместе с Ульянкой я заново проживаю своё детство. Я снова выхожу гулять во двор, он снова стал моим космосом, к которому я внимательно присматриваюсь, изучаю его. Я перезнакомился со всеми соседями. Когда у тебя и у них дети, это просто. Поэтому и знаю соседей я не по их именам, а по именам их детей: мама девочки Кристины, бабушка мальчика Арсика, папа мальчика Севы. Папы менее разговорчивы, они неохотно поддерживают беседу о своих детях, зато мамы и бабушки всегда готовы точно назвать и количество зубов своего ребёнка, и как он спит, и как он ест, и — наоборот.

Теперь Ульянка гораздо успешнее мешает мне работать. Её оскорбляет, что папа уткнулся в компьютер и не играет с ней, даже если дома есть ещё кто-нибудь, с кем можно было бы поиграть. Блаженны дни, когда удаётся хоть на несколько часов передать её бабушке. Тогда можно быстро

и результативно поработать и даже выкроить время для творчества.

Ну вот, сделано и то, и другое, и третье. Чтобы дать отдых глазам, я выхожу с книжкой во двор. Но странное дело: без Ульянки я чувствую себя во дворе чужим. Без дочки соседи меня не узнают, а те, которые узнают, сразу спрашивают, куда же я её девал. Я и сам не пойму, куда мне деваться, ибо привык следовать по двору за моей неуклюжей дочуркой, а теперь, как мне кажется, двигаюсь слишком прямо и быстро, постоянно натыкаюсь на бегающих вокруг детей, мешаю их играм. Мне неловко приближаться к песочнице, хотя за последние дни я здорово научился делать песочные куличики, мне неловко отвечать на вопросы знакомых ребятишек (то есть, конечно, не моих, а Ульянкиных знакомых), мне неловко заговаривать с молодыми мамочками.

Сажусь на краешек скамейки, переворачиваю пару страничек и бегу к бабушке. За Ульянкой, пока наши общие друзья—дети и их родители—не разошлись по домам ужинать.

Радость

Ульянка сидит в ванной и забавляется переливанием воды из кружечки в баночку. Я стою рядом на коленях и смотрю за тем, чтобы она не принялась пить. И вдруг на какое-то мгновения мне показалось, что это я—маленький счастливый ребёнок, сидящий в ванной.

Ульянка занимается своими баночками и кружечками и время от времени взвизгивает от удовольствия. Интересно, думаю я, почему она всё время такая весёлая? Почему дети так веселы, и почему мы, взрослые, так угрюмы? И чем больше взрослый человек хохочет и скалит зубы, тем меньше ему веришь. А вот дети действительно искренне рады всему подряд.

Подрыгает ножками—счастье, проснётся и увидит маму с папой—счастье, прыгнет, а точнее, свалится с кучи подушек на диван—счастье. Что это? И можем ли мы такими стать? Умный и скучный человек скажет: это неразвитость, недооформленность психики. Вот и выходит у умного человека, что детская радость—это нечто ненастоящее, только бесконечная злоба взрослых—это правда.

Нет, мне кажется, что радость ребёнка—это не только первичная простота эмоций, но и счастье первооткрывателя, экспериментатора, когда каждый новый опыт приносит потрясающие результаты. Недавно Ульянка научилась залезать на стулья. Скольких усилий и риска ей это стоило! Как гусеничка на стволе дерева, она подолгу замирала на краю сиденья, вцепившись в обивку, не в силах закинуть коленку наверх. И даже после этого очень медленно и осторожно выпрямлялась. Но зато со стула, с этой головокружительной высоты ей открывался целый новый мир: все предметы, вся комната виделись в совершенно новом свете, а главное, она получила доступ к тому, что лежит на столах и что не успели спрятать не готовые к такому повороту родители. Сколько усилий, но зато какой результат!

Думаю, подобный восторг доступен учёному, влюблённому в свою науку и сделавшему открытие; раньше так же чувствовали себя путешественники-первооткрыватели. Да разве не то же самое ещё недавно испытывал я сам, когда писал стихи, которые мне самому нравились? Вспомните знаменитое «Ай да Пушкин!»: разве это не та же степень счастья, упоения миром и собой в этом мире? А «это радость со слезами на глазах» разве не то же самое?

Человек рождается творцом, исследователем, экспериментатором, вершителем. Каждый день приносит маленькому ребёнку новые открытия, достижения и завоевания. Так что разница между детьми и взрослыми заключается не только в степени развитости психики, но и в том, как мы, взрослые, устроили нашу жизнь. Мы безмерно запутали её, превратили в унылую борьбу за выживание, перессорились между собой, растратили свой разум на поиск денег и примитивные развлечения, продались в беспросветное рабство, завалили свою жизнь и весь мир каким-то хламом.

Мы узнали всё то, что полагается знать детям, и остановились на том, а чудесные загадки большого космоса и микрочастиц, завоевания в борьбе с косной материей, с социальным и моральным злом всё ещё ожидают нас.

Я верю, мы «станем как дети» и вернём себе чистую радость, ради которой появились на свет…

…Уля поливает меня из кружки, я с улыбкой грожу ей пальцем.

Ногти

Уля не любит стричь ногти, вечно вертится и капризничает. Честно говоря, я её понимаю. Сам неохотно этим занимаюсь, и моя жена постоянно недовольна видом моих ногтей. Наконец она не выдерживает и решает взять судьбу моих ногтей в свои руки. Стрижёт безжалостно, под корешок, на моём лице гримаса страдания.

Ульянка сидит с нами рядом и видит мои мучения. Конечно, дети эгоцентричны, но вот впервые в дочурке пробуждается жалость к папе, которому стригут ногти. Она начинает кричать, сбрасывать всё со стола, но видит, что это не помогает папе и не отвлекает маму от её занятия. В отчаянии Уля решается на крайний шаг: переворачивает свою поилку, льёт воду на стол и, указывая на лужицу, кричит: «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!»

Мама сжалилась над нами. Папины ногти спасены. Подхватываю дочку на руки: «Спасибо тебе, Ульяна!» А она уже вцепилась в мои волосы и проверяет, насколько крепко они приделаны.

Учиться, учиться и ещё раз учиться

Дочурка очень любит читать. «Татать!» — раздаётся у меня под локтем, когда я пытаюсь редактировать очередную статью. «Татать», — бормочет Уля сквозь сон, когда я складываю её в кроватку. Пока что «читать» для неё означает листать книжки и рассматривать картинки. Знакомые удивляются: «Как она у вас тянется к чтению! Ну, понятное дело, гены…»

И вовсе гены тут ни при чём, просто ребёнок видит, что папа при первой удобной возможности хватается за книжку, что он очень ревниво следит за тем, чтобы дочка не лезла к его книжной полке. И, с другой стороны, она понимает, что для чтения вместе с ней родители всегда найдут пару минут, что это лучший способ привлечь их внимание, заставить чем-то с собой позаниматься.

Завидев бабушкин телефон, Уля сразу начинает капризничать и требовать «ля-ля», то есть чтобы ей включили видео или музыку. А свойства папиного телефона ей совсем неизвестны, потому что эта штука для «ля-ля» не используется. Нет дома и телевизора, который бы непрерывно атаковал детский мозг рекламными лозунгами или страшными мультяшными рожами. Всего этого хватает в гостях у бабушки. Дома она засыпает у меня на руках под пение «Гренады» или «Варшавянки», а у бабушки — под рингтон её телефона.

Казалось бы, всё должно быть наоборот, но в этом есть своя логика. Бабушка с дедушкой раньше тоже пели: «Я хату покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», — когда эту песню передавали по радио и телевизору, когда её исполняли люди вокруг; потом время изменилось, по радио зазвучали другие песни, люди с телеэкранов заговорили о другом, и бабушка с дедушкой, как и тогда, стали подпевать этим новым телевизионным лицам и радиоголосам, затянули: «Можно терпеть силу, можно пить текилу…» — или: «Тебе и небо по плечу, а я свободы не хочу…»

Какой из двух домов, какой из двух миров выберет Ульянка? Сейчас ещё слишком рано судить… Но дочка прерывает мои размышления: она уже тайком разорила нижний этаж папиного шкафа и тащит мне книжку «Детям о Владимире Ильиче». Углы книжки стёрты, но картинки за тридцать пять лет не потускнели и по-прежнему привлекательны для детских глаз. Уля видит на обложке человека в чёрном пальто, который поднял голову и с характерным прищуром следит за игрой снегирей на замёрзшей ветке. «Дядя, тик-тик», — называет она и перелистывает страницы. Вот семья Ульяновых: дядя, тётя и много ляль, вот «ляля ля-ля» на фортепьяно, вот дядя «татать», а вот тот же самый дядя с бородкой идёт с детьми по ромашковому лугу. Уля наклоняется к картинке и нюхает ромашки.

Бабушка вошла в комнату и делает испуганное лицо: «Разве такое можно давать ребёнку?»

Ни бабушка, ни дедушка никогда не догадаются, в честь кого мы назвали Ульяну.

ДиН ревю

Марина Саввиных
Невечерняя

Ridero: 2016

Поэзия Марины Саввиных — явление более чем значительное в современной русской литературе. Её слово — чувственное, эмоциональное и — одновременно — выверенное логикой и культурой Востока и Запада. Это слово само по себе удивительно и представляет огромную ценность. Но поскольку Марина Саввиных — истинный творец, то и слово её — пророческое, о наиболее важном и существенном. Книга, которая сейчас перед глазами читателя, — это книга о возможности человека противостоять распаду, который поразил наш яблоневый мир, такой прекрасный, с радугой многоцветья и юными надеждами на общую доброту и счастье.

МИХАИЛ ГОРЕВИЧ

Логос — лотос. Лагуна — берлога.
Пепел — водоросль. Плачу? Жива…
Надо мной никого, кроме Бога.
Подо мною — вода и трава.
Что вы стелетесь, умные змеи?
Кто тянулся, давно перерос.
Боже мой! я ответить не смею
На ещё не возникший вопрос!..
Ты — спроси меня! — или на это
Недостаточно родственных прав?
Или Богу довольно ответа
Предлежащих потоков и трав?!

Синяя тетрадь

Победители литературного конкурса «Первая строка» (Красноярск)

СОФЬЯ МАЛЫШЕВА
10 класс, школа №150

«Деда, чего ты боишься?»

На дворе стояла июльская жара. Тёплый ветер, словно ненароком пробегая рядом, шуршал зелёной листвой и луговыми травами. В полях, не умолкая, стрекотали кузнечики. Протоптанная в сухой траве тропинка, по которой вместе с мамой шагал Лёша, покрылась от жары мелкими трещинками. Козырёк светлой кепки мальчика был сдвинут на левую бровь, отчего солнце, словно не видя преграды, нещадно било в глаза.

Вдруг на пыльную тропинку, прямо Лёше под ноги, из высокой полыни выпрыгнул кузнечик. Мальчик, отпустив мамину руку, присел рядом с неожиданным гостем и снял кепку, готовясь его поймать. Кузнечик не видел охотника и продолжал звонко стрекотать: стрик-стрик, стрик-стрик. Помедлив, Лёша ловко накрыл его кепкой и прислушался: кузнечик затих. Тут подошла мама и с укором посмотрела на сына.

— Ну вот что ты кепку-то белую запачкал? Смотри, вся пыльная,— вздохнув, она помолчала.— Кого хоть поймал?

— Ещё никого,— отозвался Лёша.— Вот когда в руки кузнечика возьму, тогда да.

Мальчик пошарил под кепкой рукой и, взяв маленькое насекомое в одну ладонь, тут же прикрыл другой. Лёша подошёл к маме и вытянул сложенные руки.

— Кузнечик. Видишь, поймал.

Женщина наклонилась и посмотрела в ладошки сына. И правда — кузнечик.

— Вижу-вижу,— она улыбнулась.— Но зачем он тебе?

Мальчик приподнял брови и изумлённо глянул на мать.

— Как зачем? Мы же к дедушке в гости идём. Ты ему этот пирог подаришь, а я без подарка. Вот я кузнечика деде и отдам.

— Ну, раз в подарок, тогда ладно.

Она подняла кепку и, чуть поморщившись, попыталась оттряхнуть её от пыли.

Петрова Ольга Александровна — именно так звали Лёшину маму — работала фельдшером в детском отделении местной больницы и очень любила чистоту.

Глубоко вздохнув, она сложила безнадёжно испачканную кепку в сумку, поскольку считала, что прийти в гости в столь грязной одежде будет верхом неприличия. Ольга Александровна сняла с головы изящную шляпку и надела её Лёше:

— Напечёт.

Мать взяла сына за руку, и они пошли дальше.

Когда Лёша с мамой пересекли громко стрекочущее поле и уже подошли к дедушкиному дому, кузнечик, пытаясь выбраться из клетки руки, всё ещё тихо копошился в детской ладони и щекотал пальцы своими тонкими длинными усиками.

Поднявшись на каменное крыльцо подъезда, Ольга Александровна открыла тяжёлую железную дверь с облупившейся краской. Когда Лёша оказался внутри, на него повеяло спасительной прохладой и запахом чуть затхлой, смутно знакомой сырости, которая часто бывает в старых домах. В подъезде было, как казалось после ярких дневных красок, достаточно темно. Вскоре, когда глаза привыкли к смене света, Лёша различил ржавые почтовые ящики на стене подъезда, не новые, но всё ещё надёжные перила и чуть раскрошившийся камень лестницы.

Мальчику казалось, что он внезапно очутился в значительно отличавшемся от шумного и яркого уличного, в каком-то загадочном, наполненном тайнами, тихом мире. Только этот необычный покой нарушал раздражающий звук. Лёша посмотрел наверх. На стене, у самого потолка, упорно и назойливо бился о лампочку большой комар, противно цокая своими тонкими лапками по запылённому стеклу.

Недолго поднимаясь по лестнице (дедушка жил на третьем этаже), мама и Лёша остановились у клёпаной двери. Мальчик потрогал её пальцем — мягкая. Ольга Александровна позвонила в звонок, а Лёша молча ждал. За дверью послышался лёгкий шум, и, щёлкнув, она приоткрылась на цепочку.

— А! Это вы, Оленька,— послышался радостный хрипловатый голос.— Проходите-проходите, сейчас открою.

Дедушка, что-то чуть недовольно пробормотав, наконец снял цепочку.

— Папа, здравствуй! — Ольга Александровна переступила порог, поставила коробку на табурет и обняла дедушку. — Как дела? Как живёшь? Мы вот с Лёшей пирог тебе принесли.
— Да хорошо всё, Оленька, живу да кумекаю потихоньку. За пирог спасибо, пирог — это дело такое, знай ли. Сейчас чай пить будем, — он улыбнулся и посмотрел на внука: — Ну, Лёшка, ты чего стоишь-то? Проходи.

А Лёша не то чтобы боялся, только чуть робел у порога. Дедушкина квартира открывалась для него каждый раз словно по-новому. Пахло здесь всегда как-то особенно, не так, как во всех других, — уютно и тепло. Дома чувствовались все прожитые дедушкины годы. Квартира всегда встречала Лёшу радостно, по-домашнему заботливо. Только один раз она показалась ему холодной и опечаленной. Очень давно — тогда Лёша был ещё совсем маленьким — они пришли хоронить бабушку Нину, и ему казалось, что этот уютный дом грустил тоже.

Мальчик плохо помнил её. Тяжело вздохнув, дедушка рассказал, что Тонечка — он называл бабушку так всегда, а Антониной — только когда был раздражён, — работала во время войны на авиационном заводе и попортила там себе здоровье. В гостиной на стене висела старая фотография в рамке, где она сидела, чуть наклонившись, и что-то вышивала. Это была любимая дедушкина фотография.

Вслед за мамой Лёша прошёл на кухню, где дедушка уже ставил на плиту чайник. Мама открыла пирог и стала резать его ножом. Деда доставал кружки и ставил их на стол. Мальчик залез на старенькую скрипучую табуретку, так и не разжимая пальцы, потому что боялся, что дедушкин подарок убежит.
— Что у тебя там? — дедушка сел рядом и лукаво улыбнулся, глянув на сжатый кулак внука. — Секрет?

Лёша помотал головой и, молча вытянув руку, разжал пальцы.
— Держи! — он посадил кузнечика на мозолистую ладонь дедушки. — Мама тебе принесла пирог, а я — кузнечика.

Дедушка достал из кухонного шкафчика стеклянный стакан с ребристыми гранями и посадил туда свой подарок. Он прикрыл стакан картонкой и проделал в ней дырочки для воздуха. Надев большие очки, дедушка чуть наклонился и критично оглядел тихо стрекочущее насекомое.
— А подарок-то, — он вздохнул, — достойный, знай ли.

Лёша довольно улыбнулся дедушке в ответ и принялся есть свой кусок яблочного пирога.

Когда чай был выпит и значительная часть пирога съедена, Петровы пошли в гостиную. Дедушка сел в своё любимое старое кресло и, прикрыв глаза, вытянул ноги. Недолго что-то поискав в ящике старого комода, Ольга Александровна достала альбом с фотографиями и села на диван. Лёшу же очень заинтересовали деревянные статуэтки-цапли — одна была чёрная, другая белая, — которые опирались друг на друга клювами и находились в серванте за стеклом. Белая цапля была меньше и тоньше, и она словно находила поддержку у другой. В серванте было много других фигурок и статуэток. На светлом ветвистом коралле сидел засушенный краб. Правда, у него не было одной клешни — бабушка Тоня как-то уронила его на пол, — но всё равно диковинного ракообразного, которого дедушка принёс с фронта из Одессы, никто не выкинул, а так и оставили на своём месте. Был там и фарфоровый мальчик, что-то трубивший в рожок, и стеклянные фигурки собачек.

Пока Лёша любовался статуэтками, его мама пересматривала старые фотографии в альбоме. Многие были сделаны ещё в её детстве, поэтому Ольга Александровна, улыбаясь, перебирала их с особым трепетом и вспоминала о былом.

Так и сидели Петровы — каждый занимался тем, что ему нравилось. Нарушали приятную тишину лишь ветерок, изредка колышущий оконные занавески, далёкий стрекот кузнечиков да тихое тиканье настенных часов.

Отложив старый альбом, Ольга Александровна глянула на циферблат и ахнула. Стрелки показывали без десяти четыре, а главный врач из отделения больницы уходил уже в пять, и ей нужно было его заменить. Женщина за рассматриванием фотографий совсем потеряла счёт времени и поэтому, подскочив, стала быстро собираться.
— Оленька, ну чего ты мельтешишь-то? — спокойно спросил дедушка, наблюдая за дочерью. — Куда хоть торопишься?
— Ой, папа, засиделась я у тебя. Совсем забылась, мне ведь в больницу надо, работа, — протараторила она. — Лёшенька у тебя побудет пока?
— Конечно.
— Вот и славно. Веди себя хорошо! — мама потрепала сына по голове. — Слушайся дедушку, я скоро приду.

Лёша кивнул, продолжая вертеть в руках белую цаплю.
— Ну ладно, Оленька, беги! — дедушка проводил маму в коридор и закрыл за нею дверь.

Вернувшись в гостиную, он хотел было поговорить с внуком, но, видя, с каким интересом тот рассматривает фигурки из буфета, сел в кресло и, надев очки, принялся читать книгу.

Сервант был полон самыми необычными и интересными вещами (назначения многих из них, правда, Лёша не понимал, но это не делало их менее любопытными). Мальчик раскрыл дверцу нижнего шкафчика и достал оттуда небольшую металлическую коробочку. Внутри что-то брякнуло. Немного повозившись, Лёша открыл

плотную крышку и увидел на дне разные медали. Он доставал каждую и клал на пол рядом с собой по цветам лент. Сначала шли зелёные, за ними красные, а потом синие, а вот с серой лентой оказалась только одна. Лёша поднёс её к глазам и начал читать: «За от-ва-гу. СССР». Мальчик привстал и любопытно выглянул из-за кресла на дедушку: тот всё ещё читал.

Лёша, подойдя ближе, сел у дедушкиных ног и с восхищением посмотрел на него. Дедушка был героем. Он был отважным, и у него много медалей. Лёша гордился.

— Деда, ты ведь храбрый?

Дедушка оторвался от книги и с удивлением глянул на внука.

— Ну, наверное,— он улыбнулся.

— Деда, а чего ты боишься?

Не ожидая такого вопроса, дедушка помолчал. И вот, собравшись, он уже хотел ответить: «Ничего»,— как вдруг увидел в Лёшиной ладони медаль. Где-то внутри похолодело.

Дедушка вспомнил вокзал. Он помнил, как плакали матери, провожая своих сыновей на фронт. Помнил, как мать долго обнимала его и шептала, почти молясь: «Сашенька, возвращайся. Через год, через два, Саша. Возвращайся когда-нибудь, главное — живым». Тонечка тоже провожала его. На ней было светлое платьице в горошек и запылённые серые туфельки — она бежала к нему из института. Кинувшись тогда на шею, она плакала, говорила, как сильно любит и будет ждать. А он целовал её руки и обещал, что вернётся.

Потом он вспомнил Одессу. Красивейший город, объятый пожаром войны и стонущий под натиском немецких снарядов. По улицам текла кровь солдат, детей, женщин, стариков… Но все тогда, несмотря ни на что, сражались за Родину: и пехота, и лётчики, и моряки. Не может забыть он бессмертный подвиг лётчиков 69-го истребительного полка, прикрывавших город с воздуха, моряков-пехотинцев, наносивших удары по врагу и срывающих его замыслы. Не забудет он никогда и письмо, в котором говорилось, что мать его в октябре сорок первого умерла в тылу.

Окопы Сталинграда он не забудет — просто не сможет. Нужно было держать врага во что бы то ни стало, ни за что нельзя пустить его за Дон. Он помнит рвущуюся вперёд пехоту и грохочущую артиллерию. Даже сейчас за окном канонадой снарядов стрекотали кузнечики. Нельзя забыть маленькую девочку в разрушенном подвале, которая перевязывала его раны и раны многих других своими заботливыми детскими ручками. Что с ней стало, так он и не знает.

Под Прохоровкой его близкого военного друга убило снарядом «Пантеры». Столько огня, брошенных догорающих танков и взорванных товарищей он не видел. В Псёле тонули танки и САУ. Земля под ногами взрывалась и комьями летела во все стороны.

Нельзя забыть апрель сорок пятого — начало Берлинской операции и, конечно же, взятие Рейхстага. В столице врага из каждого дома, из каждого окна, казалось, за ним наблюдал снайпер. И кузнечик в стеклянном стакане сейчас стрелял пулемётом в его памяти. Он помнит, как тогда развевалось знамя над Рейхстагом, крича всему миру о победе. О победе ценой крови и миллионов смертей…

Дедушка тяжело вздохнул, в глазах стояли слёзы.

— Чего боюсь, Лёшка? — почти шёпотом проговорил дедушка, глядя в окно.— Войны боюсь.

В комнате было тихо. Лёша не знал почему, но что-то внутри говорило ему помолчать хотя бы минуту.

В комнате было тихо, только чуть слышно тикали настенные часы, и в поле канонадой стрекотали кузнечики.

В комнате было тихо. И весь мир в тот миг скорбел о своих дочерях и сыновьях, погибших на войне.

СОФЬЯ ПЕТРОВА

2-й класс, гимназия №7

Влип!

Однажды утром девочка Катя пошла в школу. Катя училась в первом «Б» классе. Она зашла в свой класс и увидела, что к ним пришёл новенький — его звали Коля.

Новенький Коля сел на свободное место. Следом в класс зашли остальные дети. Все дети сели за свои парты и стали готовиться к уроку. Потом ребята вышли из класса в коридор.

Коля решил подойти к девочке Кате. Она стояла спиной, и Коле захотелось незаметно подойти и толкнуть Катю. Так он и сделал. Катя обернулась, ей было больно и обидно, и она решила ответить ему тем же — только легонько. Коля рассердился и ударил одноклассницу по голове. Катя ещё раз его толкнула от обиды, посильнее, чем в прошлый раз. Коля решил отступить и отложить ответ на потом. Он отправился в свой класс. А у Кати после этого случая вскочила большая шишка.

В её школьном рюкзаке лежал яркий малиновый бантик. Девочка достала бантик и завязала его на голове, чтобы не было видно шишки. Тут в класс зашла учительница, прозвенел звонок, и начался урок по «окружающему миру».

Во время урока Коля достал рогатку и шишки и стал стрелять в свою одноклассницу Катю. Первая шишка прилетела Кате по спине. Учительница заметила полёт шишки, но того, кто стреляет, не заметила. Она поинтересовалась у детей, кто бросил шишку. И Катя в слезах ответила: «Это

Коля!!!» Коля покраснел—ему стало стыдно, что его заметили. Учитель попросила у Коли дневник. Он с неохотой достал дневник и отдал учителю. Учительница написала родителям, что Коля обижает девочку, и отдала дневник Коле. Прозвенел звонок на перемену, и все пошли завтракать. Как только Катя вышла из класса, Коля не удержался и подставил ей подножку—девочка упала и ударилась о дверь. Коля рассмеялся. А расстроенная учительница сказала Коле, что после завтрака он с ней пойдёт к директору. Коля подумал, что он влип, «как жук в паутинку».

Итак, учительница повела задиру к директору. Директор провёл воспитательную беседу, после которой Коле стало стыдно: он стал «как шёлковый»—исправился. Прошло несколько уроков с переменами, и дети разошлись по домам.

Мама Коли не ожидала, что её сын дерётся, и спросила, почему он подрался. И он признался: «Мне она нравится». И мама сказала: «Вот ты и влип!!!!» Любовь—дело серьёзное.

МАРИЯ КАЦ

10 лет, школа №151

О письме

Вступление

Письмо—это необыкновенная вещь, рассказывающая о человеке всю правду. Почерк описывает, как вы выглядите, и для этого не нужно зеркала. Суть письма—ваш внутренний мир. Если вдуматься в суть написанного, можешь многое изменить: себя, окружающих, мир.

1. Что делает с человеком слово

Однажды Даша обидела Настю: не ударила, а сказала, что она тупая. Настя ушла в другую комнату.

Даша поняла, что она обидела Настю, а вот как исправить—не знала. «И что мне теперь—извиняться перед ней самой?»—спросила она у мамы, надеясь, что мама пойдёт и поговорит с Настей. «Нужно очень хорошо подумать, как быть. Вы же родные сёстры. Я думаю, что вы сами должны найти способ помириться»,—сказала мама.

Даша начала рассуждать, что Настя тоже её обижает, и решила, что сама она извиняться не пойдёт, а будет ждать. Прошёл один день, другой. А Настя не подходила…

Правильные ли выводы сделала Даша, ожидая Настиных извинений? Как бы поступили вы?

2. Предложение

Предложение состоит из слов, а слова эти могут быть плохими и хорошими. Много связанных по смыслу предложений—это уже текст, который может быть также хорошим или плохим. Если слова добрые, тёплые, радостные, то после чтения этого текста становится тепло на душе, а если прочитать текст из плохих слов, предложений—можно и обидеть кого-то.

В класс пришла новенькая девочка—Оля. Войдя в класс, она очень стеснялась и даже села за последнюю парту, которая была пустая.

Светлана Юрьевна, учительница, которая вела уроки, захотела познакомить с новенькой весь класс. На первом же уроке она вызвала её к доске рассказать о себе.

«Мен-ня з-зовут Оля, я ж-жила в Луганске, но сейчас ж-живу з-здесь…»—начала, заикаясь, свой рассказ Оля.

Оля очень волновалась, а потому заикание ещё больше усилилось. Но все сидели молча под строгим взглядом учительницы. Оля продолжала рассказ, сначала очень медленно, потом увереннее. Она делилась своими солнечными воспоминаниями, интересно рассказывала о природе, в её словах чувствовались доброта и искренность. Никто не хотел её останавливать, и все перестали замечать её заикание, которое улеглось.

И класс, и учительница не заметили, как прошёл урок.

Как вы думаете, почему так случилось? А вы можете рассказать такую историю? А каких слов больше в вашей речи?

3. Письмо

Утром Аня получила письмо от Юли—её лучшей подруги. Она очень радовалась, но когда она открыла письмо, она прочла:

«Привет, Аня! Мне весело и круто в Крыму. Я не скучаю ни по подругам, ни по кому. Я познакомилась с Машей, и мне не до всех. Она крутая и классная! Представь: я и Маша… Она плавает быстрей всех. Все подарки её мне очень дороги. Ну ладно, пока. Пиши мне».

Аня прочитала и ничего не написала.

Почему Аня не написала? Как вы думаете, изменилось ли её мнение о Юле?

4. Дневник

Дневник—это важная книга жизни. В дневнике ты пишешь всё что угодно о себе или произошедшем с тобой; главное, что всё, что ты там написал,—правда. Почему-то правда становится потом секретом (все очень переживают и не оставляют дневник на видном месте—боятся, что его прочтут, а потому прячут). И дневник держит твои секреты, пока ты их не расскажешь или не покажешь.

Однажды вечером Катя и Нина были у Дины в гостях. «Вам налить чаю?»—спросила Дина. «Да, налей, пожалуйста». Дина вышла, Катя и Нина остались в комнате одни.

Нина заметила дневник Дины у неё на столе. Она подошла и открыла первую страницу. Затем она хихикнула и позвала Катю. Девочкам было

очень интересно его читать, и они решили забрать его себе.

На следующий день, когда Дина пришла в школу, она увидела, что вокруг стола Кати и Нины толпа. Она приготовилась к уроку и подошла к ним.

«Тебе прочитать рассказ?» — спросила Нина. «Из твоего дневника, про любовь?» — захохотала Катя. Дина выхватила дневник и убежала.

Как вы думаете, настоящие ли подруги Катя и Нина? Как теперь должна поступить Дина? Как бы вы поступили в этой ситуации?

5. Школьная тетрадь

Школьная тетрадь — это тоже твоё лицо, как письмо, где каждый день отражаются твоё настроение и твой внутренний мир. Каждая тетрадь, по каждому предмету выглядит по-разному. Откроешь её — и сразу ясно, любимый урок или нет, отношение к учителю, ситуации на уроке.

Однажды на уроке русского языка Алёна задумалась, устала она от русского языка. И решила писать коряво. И написала очень некрасиво: «Классная работа». И пошло: упражнение сделала с кучей ошибок, забыла подчеркнуть орфограммы, исправляла, мазала. И к концу урока настроение испортилось совсем.

А учительница говорит: «Сдавайте тетради!»

Алёна сдала. На следующий день Алёне вручили её тетрадь.

Как вы думаете, какую отметку поставили Алёне? Как она отреагировала? Каким будет её отношение в дальнейшем к русскому языку?

Писать — значит быть волшебником! Об этом никто не задумывается, никто-никто…

АЛЁНА БАРСУКОВА
11 класс, Литературный лицей

«Отверженные» Виктора Гюго

«Духовное око никогда не найдёт света ярче и мрака глубже, чем в самом человеке; на что бы ни обратилось оно, нет ничего страшнее, сложнее, таинственнее и беспредельнее». Виктор Мари Гюго очень красиво и точно описывает состояние души человеческой, работу её совести и силу воли, без которой в жизненных бурях никак не обойтись. И главному герою его великого романа «Отверженные» пришлось пережить не только физические страдания, но и муки души, тяжёлую борьбу с собой, со своей совестью и не раз оказаться победителем. Но перед тем, как стать одним из самых кротких и добрых людей, Жану Вальжану надо было сделать выбор, ведь перемены без выбора не наступают. И что-то или кто-то должен подтолкнуть нас к принятию какого-либо решения. Может, это недовольство собой, или желание выглядеть лучше в глазах других, или финансовые проблемы, или лучшая подруга; может, начальник на работе или учитель. Жану Вальжану тоже понадобился учитель, это был епископ из Дина. И этот священник доказал, что великое прячется в каждом человеке, когда своей любовью и прощением он поколебал внутренние барьеры Жана Вальжана и тронул его сердце, так что оно не могло удержаться от рыданий и не захотеть измениться. Ведь Бог, когда творил человека, сказал: «Сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему…» В каждом человеке заложено это стремление к настоящему, истинному величию, каким обладал епископ из Дина, какое вложено в каждом из нас Богом. И в определённый момент жизни перед каждым из нас встаёт выбор: противиться этому стремлению или принять его и жить в соответствии с его принципами. Так было и с Жаном Вальжаном. До встречи с епископом его жизнь была наполнена мраком и болью, он не знал ничего, кроме побоев, злобы людей, горьких насмешек, нужды, голода, ненависти и несправедливости, и поэтому сам он никак не мог стать другим, и мы не можем судить его за это. Но когда в его жизни вдруг ударила яркая молния любви и сила прозрения оглушила его, как раскаты грома, он не смог устоять. «…Доброта этого священника была самым сильным натиском, самым сильным нападением, какое он когда-либо пережил. Свет оказался сильнее тьмы, день ярче ночи, любовь могущественнее ненависти и прощение тяжелее удара. И перед ним встал выбор, он вдруг осознал, что если отныне он не сделается лучшим из людей, то станет худшим, что ему предстоит или подняться выше, чем епископ, или упасть ниже, чем каторжник.

И отныне, с момента принятия этого решения, его жизнь приняла другой оборот — не потому, что он перестал быть каторжником, а потому, что он перестал быть Жаном Вальжаном. Вместо того чтобы изменить жестоких людей вокруг себя, которые причинили ему столько боли и страданий, вместо того чтобы винить Бога во всех своих несчастьях и бедах, он принимает решение изменить себя. И это не так просто, потому что принять решение недостаточно, нужно теперь ещё и поступать в соответствии с этим решением. И наш главный герой ещё не раз докажет, что те слова и обещания не были пустым звуком, он ещё не раз будет поражать нас своими внутренними подвигами, победами над собой, своей самоотверженностью и непоколебимой силой духа, а также бескорыстным желанием помогать другим. Ещё не раз на своём пути ему придётся бороться, выбирать, проигрывать и побеждать; на его пути будут встречаться разные люди: нищенка, сирота, старик, хозяин гостиницы, представитель закона, — и всем им он окажет помощь, ни от кого не

отвернётся, избавит Фантину от тюрьмы, подарит Козетте жизнь, счастье, детство, семью, спасёт Фошлевана от гибели, рискуя собственной жизнью, даже Тенардье, и тем он заплатит за Козетту, и Жавера… Он простит этого человека, как епископ однажды простил его. И как Жан Вальжан не смог перенести силы прощения, так и Жавер не вынес этого, но он сделал неправильный выбор, он пошёл по простому пути. Какая разница, спросите вы, ведь в итоге оба они умерли; да, но как умерли: один побеждённым, другой победителем,—да и кто дал право кому бы то ни было распоряжаться своей смертью? Но, несмотря на это, перед смертью Жавер совершает одно доброе дело и отпускает своего заклятого врага, спасшего ему жизнь, на свободу. Если проследить, то все люди, которым помогал Жан Вальжан, расплатились с ним—кто как мог. Фантина—лучезарной беззубой улыбкой, Козетта—девятью годами счастья, Фошлеван—убежищем в Монастыре, Жавер—свободой; даже Тенардье, желая донести на него, подарил ему возможность перед смертью в последний раз увидеть Козетту.

И тут ты понимаешь, что куда бы судьба ни забрасывала этого бедного человека, как бы она ни кидала его, всегда был Тот, Кто был рядом, направлял, вёл, показывал нужную дорогу, посылал необходимых людей, обращал зло в добро и тьму во спасение. Жизнь Жана Вальжана была полна опасностей, но она также светилась чудесами. Каждый раз, когда жизнь ставила его в тупик, Бог давал ему молоток, чтобы разрушить его. Когда люди кидали его в бездну, Бог кидал ему спасательную лестницу.

Эта книга поразила меня не только своим содержанием и красотой изложения, но и дальновидностью писателя. Ведь сам Гюго в предисловии к своему роману написал: «…пока не исчезнут на земле невежество и нищета,—до тех пор книги вроде этой будут нужны». И он оказался прав: человеческое сердце не меняется, и поэтому проблемы человечества—тоже. И эта книга—отличный повод для меня не только узнать, что происходит вне зоны моего комфорта, но вдохновиться и отправиться туда, где есть нужда, неся помощь, свет и добро.

АНГЕЛИНА ГЕЛЬГОРН
11 класс

Дэниел Киз, «Цветы для Элджернона»

Так много книг написано, разные истории, разные жанры, разные темы и поднимаемые проблемы. Порой люди говорят, что чтение—это скучно и неинтересно, да и вообще архаично. Такие люди просто не нашли ещё своей книги, той, которая полюбилась бы именно им.

Любимая книга—это когда ты не просто видишь перед собой текст, а когда ты чувствуешь его, когда он остаётся с тобой и после. Это книга, которая оставляет какую-то зарубку, отметину, какой-то след в мироощущении и миропонимании. Книга, которая перевернула что-то внутри. Одной из таких для меня стал роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона».

Дэниел Киз—американский писатель и филолог, получивший известность как раз за это своё произведение. В 1957 году Киз преподавал английский язык в школе для детей с ограниченными умственными способностями, что и подвигло его на написание своего романа. Прототипом главного героя стал один из учеников писателя, который воодушевил его своим рвением к учёбе.

События романа фокусируются на Чарли Гордоне—тридцатидвухлетнем умственно отсталом человеке. Он работает уборщиком, учится в специализированной школе и очень хочет поумнеть, стать полноценной частью общества. Для этого он старательно учится, за что его выделяют из общей массы и предлагают поучаствовать в эксперименте по искусственному увеличению разума; подобные операции изначально были проведены на лабораторной мыши Элджерноне и давали отличные результаты.

Рассказ ведётся от первого лица, в форме дневниковых записей, что очень заинтересовало меня, когда я выбирала книгу для чтения. Это даёт нам возможность ещё глубже понять и прочувствовать героя. Через отчёты Чарли мы видим весь ход эксперимента, его взлёты и его падения. Видим, как Чарли из доброго, наивного дурачка, считавшего даже тех людей, которые нередко насмехались над ним, своими друзьями, перевоплощается в эгоистичного и даже озлобленного на мир умника. Можно даже сказать, что он презирает окружающих его людей, даже профессоров и мисс Кинниан, его бывшую учительницу, в которую он влюблён. Со своим самокопанием он забыл о самом главном—о том, как быть человечным, забыл о чувствах своих и других. Его чувственное познание существенно отстаёт от разумного. Всё это наталкивает на вопрос: а сто́ят ли все эти знания того, сто́ят ли двадцать языков и высшая математика простых человеческих отношений? «Человек, обладающий разумом, но лишённый способности любить и быть любимым, обречён на интеллектуальную и моральную катастрофу, а может быть, и на тяжёлое психическое заболевание. Кроме того, я утверждаю, что замкнутый на себе мозг не способен дать окружающим ничего, только боль и насилие»,—вот что говорит сам Чарли. Вскоре, наблюдая за Элджерноном, Гордон замечает регресс умственных способностей у мыши, что означает для него только одно—ту же участь. Он предпринимает попытки создания

чего-либо, что помогло бы ему, до последнего борется с этим, но это заканчивается ничем, и наш герой возвращается вновь в точку отсчёта.

Дочитав книгу до конца, задаёшься множеством вопросов. А что же такое разум? А душа? Что важнее? И что делает человека счастливым? И чего сто́ит наша жизнь? Для чего она нам вообще дана? Так вот, ответ таков. Автор говорит нам, что человек не должен ограничивать себя только рационализмом и умственной деятельностью, не должен забывать о чувствах. Ведь, получив такой интеллект, Чарли может стал даже несчастнее, чем был. Нельзя судить людей только по уровню IQ — ведь это не самое важное. Не возвышать себя над другими и не унижать тех, кто ниже в развитии. «Совсем недавно люди смеялись надо мной… А теперь сам присоединился к их весёлому хору. И от этого больнее всего». Нельзя забывать о том, что все мы люди и все мы равны. И вместо того, чтобы искать смысл жизни, нужно просто жить и наслаждаться ею.

Эта книга — о борьбе, о борьбе с собой, с другими, с жизнью. «Цветы для Элджернона» обличает всю человеческую душу и суть. Книга точно не оставит равнодушным. Мне хочется добиваться чего-либо, не останавливаясь перед преградами, бороться за свою жизнь до последнего вздоха после её прочтения. И я каждому бы порекомендовала ознакомиться с этой трогательной и замечательной драматической историей.

ИНГА ПОПОВА

6 класс, гимназия № 11

Весёлые и добрые фантазёры из книги Носовых

Моя самая любимая книга — это сборник «Все рассказы и повести» Николая Носова и его внука Игоря Носова. Мне кажется, что эти два автора вложили сердце в каждое слово этой чудесной книги. Рассказ ли это или повесть — все произведения дышат юмором и позитивом.

А ещё эта книга очень красочная, и картинки помогают войти в мир книги, лучше увидеть происходящее.

Книга писателей Носовых рассказывает нам о том, как жили и чем увлекались дети, когда не было современной техники: смартфонов, планшетов и компьютеров. Не было Интернета. И даже телевидение только развивалось. Всё это заменяло радио. Но у детей были крепкая дружба и неуёмная фантазия! Ребята многое умели делать сами, а если не умели, то задорно и упрямо брались за дело. Они готовили еду, ходили на рыбалку, топили деревенскую печь, сами ездили за город в гости и даже в лес за ёлкой — в рассказе «Бенгальские огни». Родители не беспокоились за своих детей, ведь бояться было нечего. А если что-то и случится, то тебе всегда помогут. Мне очень нравится читать о дружбе и проделках Коли и Мишки. Чего только с ними не происходило: то чужой огород ночью по ошибке копали, то кашу неудачно варили, то цыплят в самодельном инкубаторе выводили. А другой Коля, Синицын, сделался со своими друзьями настоящим пчеловодом.

Конечно, и тогда мальчишки не были паиньками и, бывало, поступали нехорошо: Гена всех обманывал, Саша игрушечным пистолетом напугал старушку, Костя Шишкин прогуливал школу. Но обычно всё заканчивалось хорошо. Эти замечательные рассказы и повести хочется читать и перечитывать. Они дают заряд хорошего настроения!

Отдельная глава книги посвящена внуку Николая Носова — Игорю. С большой любовью дед описывает забавные поступки, смешные фразы своего дорогого внука, друга и соавтора. Интересно было потом прочитать рассказы Игоря Носова, тоже ставшего писателем.

Мы всей семьёй очень любим читать эту книгу вслух перед сном, хотя и знаем её почти наизусть. Ведь в ней говорится о добре и дружбе, о том, как важно быть самостоятельным и уметь отвечать за свои нехорошие поступки. И написана она отлично, с юмором!

МАРИНА САПАРОВА

8 класс, школа № 95

Моя любимая книга

Я люблю книги. Мне нравится погружаться в мир удивительных приключений, переживать истории более интересные, чем когда-либо будут у меня.

Я прочитала много разных книг, но больше всего мне понравилась история про Джен Эйр. Это первая книга, которая тронула до глубины души.

Это история про девочку, которая рано потеряла родителей. Она стала жить у своей тёти Рид, и жизнь у неё была не сахар. У миссис Рид были свои дети — Джон, Элиза и Джорджиана. Она не любила Джен, потому что мама девочки происходила из хорошей семьи, но вышла за священника.

Миссис Рид отдала девочку в школу-интернат Ловуд. В школе Джен подружилась с одной из воспитанниц, которую звали Элен Бёрнс. Но вскоре Элен погибла от эпидемии тифа.

Джен Эйр провела в Ловуде восемь лет: шесть — как воспитанница, два — учительницей.

Вскоре после этого она устроилась гувернанткой для маленькой Адель в поместье Торнфилд. Хозяином поместья был мистер Рочестер, который редко жил вместе с Адель.

Между Джен и мистером Рочестером появилась симпатия, которую оба скрывали. Но как-то вечером Эдвард Рочестер неожиданно открыл Джен

свои чувства, он сделал ей предложение, на которое она ответила согласием. В день свадьбы, прямо у алтаря, стало известно, что у мистера Рочестера уже есть жена и брак состояться не может.

После этого Джен покинула Торнфилд и отправилась сама не зная куда. Её приютил добрый крестьянин, у которого были две сестры — Диана и Мери. Джен устроилась на работу в сельскую школу. Как-то после уроков к ней зашёл священник и рассказал, что у неё есть две кузины, у которых она жила, и двадцать тысяч фунтов, которые завещал ей покойный дядя Джон. Джен разделила деньги между племянниками.

Перед тем как начать новую жизнь, девушка решила навестить Торнфилд. Как же она была поражена, узнав, что поместье сгорело, а мистер Рочестер в пожаре потерял правую кисть руки и полностью ослеп. Джен поспешила в другое поместье, где на данный момент проживал мистер Рочестер. Их встреча была тёплой и приятной. Джен с радостью стала глазами и руками любимого ею человека. Со временем к мистеру Рочестеру стало возвращаться зрение. А вскоре Джен Эйр стала Джен Рочестер.

Эта книга научила меня не сдаваться даже в самых трудных ситуациях. Не скрывать правды, быть доброй, справедливой. Любить людей не за их внешность, а за их душу, ценить их и никогда не отпускать.

Как говорил Алексей Николаевич Толстой, «хорошая книга — точно беседа с умным человеком. Читатель получает от неё знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь».

Читайте книги. Ведь книги — наши самые лучшие помощники на нашем жизненном пути. Благодаря им мы развиваем своё воображение, ведь воображение важнее знаний. Знания ограничены, а воображение охватывает весь мир.

АНДРЕЙ ЯШНИКОВ

11 лет

О ребятах и зверятах

Моя любимая книга — «Ребята и зверята» Ольги Перовской. Именно с неё в настоящем понимании началась моя искренняя и трогательная любовь к животным.

Ольга Перовская пишет обо всех животных: волчатах Диане и Томе, хулигане олене Мишке, осликах Ишке и её дочке Милке, тигрёнке Ваське, лисёнке Франтике, жеребце Чубаром, — каждый раз по-разному, но всегда с теплотой, участием и нежностью.

Самое первое впечатление, конечно же, самое сильное. Волчата — вот кто до сих пор мне иногда снится во сне. Я мечтаю пообщаться с волками в зоопарке или заповеднике. Удивительно, но такая маленькая девочка, как Оля, тогда ещё обычная девочка, а не писательница, сумела приручить не только одного обещанного, а целых двух диких зверей, привить им любовь и уважение к себе. Они действительно любили её всем сердцем. У девочек был настоящий папа: он учил дочек жизни на личном примере, наблюдению за природой и животными, без чего невозможно вырастить доброго, порядочного и светлого, душевного человека. Оля понимала любовь как терпение, ласку и постепенное знакомство. Она долго присматривалась к волкам, кормила их, заботилась и не оставляла одних надолго. Диана и Том ответили ей так, как она ждала. Сестрёнки поспорили, что волчата не различают, кто перед ними, а только реагируют на кормёжку, но оказались неправы: те привязались именно к своей хозяйке.

Волчата были вовсе не злые: будь это так, Диана бы перекусила наглого кота, давшего волчище пощёчину, пополам, а она только взяла его за туловище и поставила на пол, вернувшись к Оле.

Полюбив волчат, Оля долго не соглашалась спустить их с цепи и отпустить на волю. Не знаю, сумел бы я расстаться с волками, окажись они моими. На это требуется мужество и понимание сути дикого зверя. Отец правильно учил девочек не просто любить зверей, но и осознавать, что им всё-таки нужна свобода, а не только любовь и забота. Хорошо, конечно, что волки умерли от старости, а не от болезни или несчастного случая. Такое везение бывает редко. Героям Ольги Перовской даже нашлась хорошая работа — в милиции ищейками, борющимися с воровством и грабежами.

Олень Мишка мне понравился меньше всех, и не потому, что олени мне не нравятся, — наоборот, очень благородные и красивые животные. Просто не люблю хулиганистых и баловных зверей и людей. В этом смысле животные, конечно же, должны жить на воле, в природе: то, что в человеческом мире считается пакостью, в животном мире — исследование своей территории. Страшно описание отпиливания части рогов у Мишки. Вполне ожидаемым был уход Мишки в лес — это его истинная стихия.

Очень неожиданное описание у Перовской покупки ослика. Девочки проявили небывалую самостоятельность, решив копить на ишака сами. Даже младшая сестрёнка Наташа, которой было тогда всего пять лет, но её уже выбрали казначеем как самую рассудительную из сестёр, внесла свои пятнадцать копеек, найденные у ворот. Узнав о самостоятельном решении девочек, отец ускорил покупку — внёс в накопления пять рублей. Разумеется, отец дал дочерям больше всего, но он не умалил хорошего начала — инициативности.

Купили сёстры не ишака, а девочку Ишку. Описание покупки — лучшая сцена в рассказе: как

они торговались, прицениваюсь—учились быть взрослыми покупателями.

Девочки заботились об Ишке по-взрослому, даже пытались помочь ей родить ребёночка, обратившись к опытному пастуху, потому что в первый раз Ишка убила детёныша. Так я узнал ещё и от мамы, что животные часто первый раз по неопытности убивают (задавливают) своих детей. Пастуха Якуба очень хорошо отблагодарили родители, узнав о его помощи Ишке и детям. У Ишки родилась замечательная Милка.

Тигрёнок Васька—мой второй любимый персонаж книги. Тигры вообще вызывают невольное уважение и страх у всех, кто их знает и видит.

Но Васька оказался совсем не страшным: скучал и боялся оставаться один, как любой маленький ребёнок. И вспомнил маму, которую убили охотники, когда принесли её чучело.

Забавный Василий оказался прекрасным парикмахером: обожал причёсывать языком хозяев и соседских детей. Сначала дети сопротивлялись и плакали, а потом привыкли и даже вставали в очередь к такому необычному мастеру.

Ещё тигры, оказывается, любят купаться. Благодаря этой книге я узнал столько интересного о диких животных!

Некоторые взрослые боялись Ваську всерьёз. Так, например, удалось прогнать непрошеного торговца, который узнал, что перед ним кошка такая—тигр…

К сожалению, дальше Васька начал разбойничать, поэтому пришлось посадить его в клетку, где он умер от ожирения сердца из-за неправильного питания и жизни без движения.

Лисёнок Франтик был диким животным в истинном понимании этого выражения. Ему было всё любопытно, он везде лез, всё исследовал и выпрашивал сладкое у девочек, которые сами его разбаловали.

Отдали Франта в лесную школу. После знакомства со школьным лесным уголком девочки решили стать лесоводами и помогать отцу.

Читая и перечитывая о жеребце Чубаром, на глаза всегда наворачиваются слёзы. Это лучший рассказ в книге. Действительно, не видать бы девочкам коня, если бы с ним не случилась беда—не попал бы он в ледяную ловушку. У каждого человека, даже хорошего, в жизни бывают поступки, за которые ему стыдно. Думаю, отец девочек всю жизнь потом вспоминал о том, как бросил изумительную лошадь на произвол судьбы. Это и для дочерей было плохим примером, но они сумели выходить коня, поставить его на ноги, когда отец их от него отказался. Они сделали правильные выводы из случившегося. Взрослые считают, а это неправильно, что животное следует держать только до тех пор, пока оно приносит пользу. Это эгоистичное мнение—так я считаю.

К сожалению, полюбив прекрасного коня и расслабившись, девочки тоже совершили ошибку и, следуя азарту, загнали его, и он заболел. Его разбил паралич, ведь дело было зимой, и его пришлось пристрелить. И теперь я знаю, что лошадь от быстрого бега страдает и тяжело дышит, «вся в мыле».

Мне очень нравится, что Ольга Перовская в книге рассказывает не только о своих питомцах, но и в нужных местах вставляет случаи из жизни—и тоже о животных, помогающих человеку справиться с трудностями. Это труд не только писателя, но и художника, талантливого автобиографа и пейзажиста, описывающего картины из жизни.

АНАСТАСИЯ СТРИЖАК

5 класс, гимназия №4

Две ножки

Эта история—совершенная правда, и произошла она совсем недавно с совершенно обычными ножками, которые живут по соседству.

Жили-были две ножки, они были двойняшками и с самого раннего детства никогда не расставались. Им всегда было весело вдвоём: летом они играли на зелёной травке, осенью любили бегать и шуршать листьями, зимой катались на коньках, а весной, когда всё тает после зимы, прыгали по лужам. Они всегда вместе придумывали новые игры. Они умели кататься на велосипеде и на роликах. А ещё ножки ходили в спортивный зал. Их любимым тренажёром была беговая дорожка. И ещё они очень любили бегать по футбольному полю наперегонки с футбольным мячиком.

Однажды вечером пошёл дождик. Ножки, как всегда, надели свои распрекрасные синие сапожки. Они весело резвились, прыгали и обливали друг друга брызгами из лужиц. Это было очень весело!

Как-то раз, весенним утром, когда уже ярко светило солнышко, весело отражаясь в лужицах, ножки гуляли в парке, и лёгкий тёплый ветерок бежал вслед за ними. Было свежо и тепло, а трава после ночного дождика блестела золотыми от солнца каплями и казалась волшебной. Вдруг одна ножка не удержалась и поскользнулась на травке. «Ой-ой-ой!»—закричала она.

Вторая ножка от неожиданности присела, стала её жалеть и вспомнила, что это уже не первый раз она упала. Сокрушаясь, предложила сходить в гости к Ватке с Йодом, которые стали лучшими друзьями ножек. Дом, в котором жили Ватка с Йодом, был похож на стеклянный дворец. В коридорах было очень просторно и чисто, всюду маленькие детки-таблетки и пузырьки с лекарствами.

Ножки зашли в дом и рассказали всё Ватке с Йодом.

Йод погладил ножку, а лёгкий ветерок, который пролетал неподалёку, нежно подул на неё. Ватка

обняла ножку и сказала: «Не расстраивайся, скоро ты забудешь всё плохое и снова будешь прыгать и бегать». Ножка успокоилась. Они вышли из дворца, вернулись в парк и побежали дальше.

Они ещё не раз прибегали в домик к Ватке с Йодом, ведь они были старыми друзьями.

Незаметно пролетело лето. Дни становились прохладнее, и ножкам всё чаще приходилось обуваться в их любимые синие сапожки. Однажды утром, едва встав с кроватки, ножки запрыгали от радости. Надели белоснежные колготки и совершенно новенькие блестящие туфельки. «Сегодня первое сентября!»—воскликнула правая ножка. «Это правда, сегодня праздник!»—обрадовалась левая. И они весело побежали по совершенно не знакомой им дороге, которая вела в школьный двор. Там они увидели много своих друзей, они тоже были нарядные, весело приплясывали и радовались новым знакомствам. Вокруг было очень красиво, звучала музыка, некоторые ножки не могли удержаться и кружились парами под звуки школьного вальса.

Ножки пришли первый раз в свой первый класс. Начался первый урок, и они уселись под партой вместе с другими ножками. Они скучали весь урок, ведь нельзя было даже встать. Но вот весело зазвенел звоночек, и наступила перемена. Как же было здорово: можно было снова бегать, прыгать—ведь это их самое любимое занятие. И знаете, они бежали быстрее всех и прыгали выше всех. Но вот уроки закончились, и можно было снова бежать по уже знакомой им дорожке домой. По пути они пробежались по травке и попинали камушки. Когда они пришли домой, они сняли белоснежные колготки и туфельки. Им опять пришлось сесть под стол. Спустя некоторое время, когда они вышли из-под стола, ножки решили прогуляться. Выйдя из дома, они обнаружили, что уже вечереет, и немного расстроились: ведь когда они придут с пробежки домой, уже нужно будет ложиться спать. Они побрели в их любимый парк и побежали по дорожке. Это была их первая вечерняя прогулка сентября, и было почему-то немного грустно. Бежали ножки и болтали без умолку. Несмотря на то, что было уже совсем темно, и ярко светила луна, и озорно подмигивали звёзды, было тепло. Когда они пришли домой, они улеглись в свою тёплую кроватку, чтобы завтра с радостью начать новый день. Так закончился их первый осенний денёк.

Начался второй день учёбы, и в расписании появился новый предмет—физическая культура. На фоне других предметов это звучало очень даже необычно и интересно. Всю перемену они думали, что же это за урок такой, на который, оказывается, нужно переодеваться в спортивную одежду, но, честно говоря, ножки радовались этому, потому что они надели красивые кроссовки и свои любимые фиолетовые спортивные штанишки. А штанишки эти были настолько любимы ножками, так уж они нравились им, что для них даже была выделена отдельная полочка в шкафу.

И вот наконец-то прозвенел долгожданный звонок, и ножки вошли в огромный красивый светлый спортивный зал. Все ножки в классе построились в строй, и тут началось что-то невообразимое. Под свисток учителя они сначала медленно побежали, потом быстрее, затем вприпрыжку, скачками и высоко подпрыгивая. Потом они прыгали со скакалкой. Спустя некоторое время всем разрешили выбежать на улицу, и на школьной спортивной площадке они весело играли в футбол. В общем, ножки были в диком восторге. Как же здорово, что на свете есть такой замечательный урок—физическая культура.

Когда все уроки закончились, развеселившиеся друзья предложили не расходиться по домам, а ещё немного всем вместе порезвиться на школьном дворе. Было тепло, несмотря на то что на дворе была осень. Светило солнышко, и не хотелось думать ни о чём плохом. На школьном дворе росло огромное раскидистое дерево. Оно так и манило ножки залезть на него. Все дружно вскарабкались на дерево. Кто-то испугался и остался сидеть на нижних ветках, а наши ножки были смелые и старались залезть как можно выше. Настолько высоко, насколько позволяли крепкие ветки.

«Э-ге-гей,—закричали ножки,—мы выше всех!!!»

Когда ножки стали спускаться вниз, правая ножка зацепилась за ветку, а левая ножка так торопилась скорее спуститься, что не заметила этого. Когда они оказались на земле, ножки обнаружили, что на их распрекрасных штанишках образовалась большая дырка, которую сделала ветка. Ножки заплакали! Очень уж было им жаль их любимые штанишки. Друзья окружили их и стали успокаивать. Ножки немного успокоились, но когда их взгляд опускался и они видели дырки, то снова принимались плакать. И вдруг одна из одноклассниц вспомнила и рассказала всем о том, что у неё есть друзья—иголка и нитка—и что они с лёгкостью могут зашить любые дырочки. Дырочки, конечно, были зашиты, но след от их поведения остался виден. Это было время, когда ножки сказали себе, что они уже взрослые и что надо бы вести себя более прилично, а не безрассудно, как они делали это до сегодняшнего случая. Они научились сдерживать себя в поступках и делали это с блеском.

Адаров Григорий

стр. 48

Махачкала

Окончил школу №10 Махачкалы, Дагестанский государственный университет (филология). Поэт. Участвовал в литобъединении под руководством Самсона Наумовича Бройтмана. Всю жизнь пишет стихи и прозу. Работал на телестудии, в кинотеатре, на буровых. Жил в Краснодаре, Калуге, Туле. Принимал участие в создании театральных студий. В 2010 году вернулся в Махачкалу. С киногруппой в рамках работы на телестудии объездил почти весь горный Дагестан. Будучи художественным руководителем театральной студии, объездил с театральным коллективом Калужскую, Тульскую, Орловскую области.

Алешков Николай Петрович

стр. 65

Набережные Челны, 1945 г. р.

Родился в селе Орловка (ныне в черте города Набережные Челны). Работал на строительстве КАМАЗа рабочим-строителем, руководителем пресс-центра, инженером-диспетчером. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал журналистом в различных газетах. Поэтические сборники: «Запомни меня счастливым» (1983), «Орловское кольцо» (1988), «Ночной разговор: Лимит» (1993), «Дальние луга» (1995), «Сын Петра и Мариши» (2005), «С любовью и нежностью» (2010), «От сердца к сердцу» (2012) и другие. Лауреат премий имени Г. Державина, имени А. Прокофьева «Ладога», литературно-краеведческой премии имени Эдуарда Касимова. В настоящее время работает главным редактором литературного журнала «Аргамак. Татарстан» (учредитель ОАО «Татмедиа»). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

Алёшечкина Мария

стр. 43

Махачкала — Москва, 1978 г. р.

Родилась в Челябинске, детство и студенческие годы прошли в Махачкале. Выпускница журналистского отделения филологического факультета Дагестанского государственного университета. Пишет стихи, статьи, художественную прозу. Лауреат Международного Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Поэзия». Член Союза журналистов РФ. Участник Форума молодых писателей России (организатор — Фонд СЭИП С. А. Филатова). Публиковалась в республиканской и российской прессе, нескольких коллективных сборниках в Махачкале и Москве.

Аливердиев Абутраб (Андрей Царёв)

стр. 42

Махачкала, 1971 г. р.

Окончил физический факультет ДГУ. Доктор физико-математических наук, член Европейского физического общества, аккредитован в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы. Лауреат первой в Дагестане медали Российской академии наук для молодых учёных (2001) и (также первой в Дагестане) премии Европейской академии для молодых учёных России (2002) в номинации «Физика». Работает старшим научным сотрудником в Институте физики ДНЦ РАН, преподаёт в Дагестанском государственном университете. Стихи и рассказы публиковались в сборниках и периодических изданиях Белоруссии, Болгарии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, России (от Москвы до Барнаула), Украины и Франции, в том числе в таких известных изданиях, как журнал «Юный техник» и знаменитый парижский еженедельник «Русская мысль». Был приглашён на Третий, Пятый и Шестой Форумы молодых писателей России в Москве (2003, 2005, 2006). Неоднократно принимал участие в Совещаниях молодых писателей Северного Кавказа (Майкоп, Махачкала, Грозный, 2009–2013), а также в Совещании молодых писателей России, пишущих для детей (Старая Русса, 2009). Пишет на русском, но некоторые произведения переведены на лезгинский, английский и испанский языки. В 2006 году стал серебряным лауреатом Национальной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Экология», далее отмечен благодарностью межвузовского Татьянинского конкурса 2007–2008 годов (Санкт-Петербург, межвузовская ассоциация «Покров»). В 2014 году удостоился почётной грамоты республиканского конкурса «Родники Дагестана» за творческий подход, вклад в развитие дагестанской литературы и активное участие в воспитании подрастающего поколения.

Арутюнов Сергей Сергеевич

стр. 215

Москва, 1972 г. р.

Российский поэт, прозаик, публицист, критик. Родился в Красноярске. В 1999 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первая публикация стихов — в 1994 году в журнале «Новая Юность». Регулярные публикации рецензий в широком круге изданий: «Знамя», «Октябрь», «Вопросы литературы», «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Книжное обозрение», «Литературная Россия», «Литературная газета», «День поэзии»,

«НГ-Exlibris», «Дружба народов» и др. С 2005 года ведёт творческий семинар в Литературном институте имени А. М. Горького. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004), Московского международного открытого книжного фестиваля в номинации «За лучшую рецензию» (2007), Отличия журнала «Современная поэзия» в области критики (2008), премии авангардного журнала «Футурум АРТ» (2010, 2012), ордена «Золотая осень» имени Сергея Есенина (2013), премии имени поэта-декабриста Фёдора Глинки (2013), премии «Вторая Отечественная» имени поэта, участника Первой мировой войны Сергея Сергеевича Бехтеева (2014). Член редколлегии журнала «День и ночь» (Красноярск).

стр. 3

Астафьев Виктор Петрович
Красноярск, 1924–2001

Советский и российский писатель. Герой Социалистического Труда. Лауреат двух Государственных премий СССР (1978, 1991) и трёх Государственных премий России (1975, 1995, 2003). Родился в селе Овсянка (ныне Красноярский край), в семье Петра Павловича Астафьева и Лидии Ильиничны Потылициной. Через несколько лет после рождения сына Пётр Астафьев был осуждён к лишению свободы за «вредительство». В 1931 году, во время очередной поездки Лидии Ильиничны к мужу, лодка, в которой среди прочих находилась она, перевернулась. Лидия Ильинична, упав в воду, зацепилась косой за сплавной бон и утонула. Виктору тогда было семь лет. Возвратившись домой, отец попал в больницу. Брошенный мачехой и родными, Виктор оказался на улице. Несколько месяцев он жил в заброшенном здании, однако после серьёзного проступка в школе получил направление в детский дом. В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. Военную подготовку получил в учебном автомобильном подразделении в Новосибирске. Весной 1943 года был направлен в действующую армию. Был шофёром, связистом в гаубичной артиллерии, после тяжёлого ранения в конце войны служил во внутренних войсках на Западной Украине. Был контужен, лишился глаза. Был награждён орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».Демобилизовался в звании «рядовой» в 1945 году, уехал на Урал, в город Чусовой Молотовской области (ныне Пермский край); работал слесарем, подсобным рабочим, учителем, дежурным по вокзалу, кладовщиком. С 1951 года работал в редакции газеты «Чусовской рабочий», где впервые опубликовал свой рассказ («Гражданский человек»). Писал репортажи, статьи, рассказы. Первая его книга «До будущей весны» вышла в Молотове в 1953 году. В 1958 году Астафьев был принят в Союз писателей СССР. В 1959–1961 годах учился на Высших литературных курсах в Москве. В 1962 году Астафьев переехал в Пермь, в 1969 году — в Вологду, а в 1980 году уехал на родину — в Красноярск. С 1989 по 1991 год Астафьев был народным депутатом СССР. Скончался 29 ноября 2001 года в Красноярске. Похоронен на кладбище, расположенном на автодороге «Енисей» между родным селом Овсянкой и Усть-Маной.

стр. 164

Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер» (все — Москва), «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь» (все — Новосибирск), «День и ночь» (Красноярск), «Обская радуга» (Салехард), «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград. Живёт в Красноярске.

стр. 134

Ахпашева Наталья Марковна
Абакан, 1960 г. р.

Поэт. Родилась в хакасском селе Аскиз. Окончила Абаканский филиал Красноярского политехнического института, Литературный институт имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук. Работает в Хакасском государственном университете имени Н. Ф. Катанова (Абакан). Член Союза писателей России. Выпустила более 30 стихотворных публикаций в сборниках и периодических изданиях, выходивших в Москве, Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Томске, Барнауле, Кызыле, Абакане. Автор пяти поэтических книг: «Я думаю о тебе», «Солярный круг», «Тысячелетье на исходе», «Кварта», «Из памяти древней». В переводе автора дважды издавалось сказание хакасского поэта Моисея Баинова «Хан-Тонис на тёмно-сивом коне». Дипломант I международного конкурса переводов тюркской поэзии «Ак торна» (Уфа, 2011). Награждена почётным званием «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия», медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса», орденом Совета старейшин хакасского народа «За благие дела».

стр. 55

Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор

четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. В настоящее время — собкор «Литературной газеты».

стр. 177

Винтерман Изяслав

Иерусалим (Израиль), 1961 г. р.

Израильский русский поэт. Родился в Киеве. С 1992 года живёт в Иерусалиме. Член Союза писателей Израиля. Автор публикаций и книг стихов и эссе. Лауреат премии «Скарбница» Союза писателей Украины за книгу стихов «Время ожидаемого» (1989), премии имени Ури-Цви Гринберга за лучшее поэтическое произведение (2004, 2005).

стр. 217

Волобуев Геннадий Тихонович

Зеленогорск, 1944 г. р.

Выпускник Томского политехнического института по специальности «Разделение изотопов и энергетические установки». Более пяти лет работал на государственном электрохимическом заводе Минсредмаша. В 1972 году был избран вторым, затем первым секретарём горкома комсомола (Красноярск-45, ныне Зеленогорск). С 1976 года избирался на различные партийные и советские должности (в том числе — секретаря горкома КПСС, заместителя председателя исполкома горсовета, заместителя главы города). Около 25 лет курировал социальную сферу города. Автор нескольких книг и множества публикаций по краеведению. В апреле 2010 года вышла в свет книга «От слюды до урана», повествующая о стратегических оборонных предприятиях на красноярской земле и судьбах людей, опередивших время.

стр. 47

Гаджибалаева Заира

Махачкала, 1979 г. р.

Окончила факультет иностранных языков (английское отделение) Дагестанского государственного университета. Пишет стихи и прозу. Призёр Международного Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне» (номинация «Поэзия»). Публиковалась в республиканской прессе — литературных журналах «Дагестан», «Гений», сборниках «Верба» (дагестанского литературного объединения «Верба») и «Современники» (Пушкинского фестиваля искусств). Есть персональная книжка стихов «Люблю…».

стр. 45

Гаджиева Марина

Махачкала, 1987 г. р.

Филолог. Окончила ДГУ в 2009 году. Аспирант ДГУ, занимается изучением прозы М. А. Булгакова. Имеются несколько публикаций в дагестанской периодике (газеты «Молодёжь Дагестана», «Дагестанская правда», кавказская литературно-художественная газета «Горцы», литературный журнал «Гений»). Призёр ряда городских межвузовских поэтических конкурсов.

стр. 55

Гашева Надежда Николаевна

Пермь, 1941 г. р.

Редактор Пермского книжного издательства, журналист, член Союза журналистов РФ (1968), заслуженный работник культуры РФ (1981). В 1964 году окончила филологический факультет Пермского университета. С 1962 по 1964 год работала корреспондентом Пермского областного радио. С 1964 года — редактор Пермского книжного издательства вплоть до его временного закрытия в начале 1990-х годов. Готовила к публикации произведения Алексея Домнина, Алексея Иванова, Алексея Решетова, Виктора Астафьева, Владимира Воробьёва, Владимира Киршина, Владимира Радкевича, Владимира Соколовского, Дмитрия Гилеловича Ризова, Леонида Юзефовича, Льва Давыдычева, Николая Бурашникова, Нины Горлановой, Нины Чернец, Павла Чечёткина, Юрия Асланьяна, Юрия Беликова и других.

обл.

Горбачёва Наталья Вениаминовна

Дивногорск, 1966 г. р.

Родилась в Новосибирске. Окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова в 1985 году. В 1996 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина на отделении искусствоведения. Выставляется с 1998 года. С 2006 года — член Союза художников России. Участница краевых, региональных и зарубежных выставок. Работы Натальи Горбачёвой находятся в собраниях Министерства культуры России, а также в частных коллекциях

России и за рубежом. В настоящее время художница преподаёт в Детской художественной школе им. Е. А. Шепелевича.

стр. 32

Зайцев Алексей Игоревич

Франция, 1958–2015

Родился в Улан-Удэ. Сразу после этого родители вернулись в Москву, где он и прожил до 1992 года. Окончил музыкально-педагогическое училище, Литературный институт. Работал педагогом, художником-оформителем, сторожем, кочегаром, журналистом, зам. главного редактора журнала «Советский школьник», ведущим поэтической рубрики журнала «Огонёк», лесником. Уехав от журнала «Огонёк» в командировку в Париж, остался там и работал в газете «Русская мысль». Во Франции окончил Православную духовную академию. Печатался в «Огоньке» и прочих советских журналах, газетах и альманахах.

стр. 39

Зачёсова Юлия

Махачкала, 1974 г. р.

Родилась в Анапе Краснодарского края. С 1986 года живёт в Махачкале. Окончила филологический факультет Дагестанского государственного педагогического университета. Сотрудничает на общественных началах с общекавказской литературно-художественной газетой «Горцы» (зам. редактора по творческим вопросам). Работает в Национальной библиотеке РД имени Р. Гамзатова (отдел интернет-обслуживания и веб-сайта, корректор-стилист) и в дагестанском еженедельнике «Новое дело» (корректор-стилист). Пишет стихи, есть опыты в прозе. Переводит с подстрочников стихи кавказских поэтов. Руководитель литературного клуба «Верба», который проводит творческие встречи в Национальной библиотеке РД и в 2016 году отмечает своё 15-летие. Лауреат Международного Пушкинского молодёжного фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Поэзия» (2002, 2009). Участник Семинара молодых переводчиков в Переделкино (2004), организованного журналом «Дружба народов». Участник Форума молодых писателей России (2003, 2004), Совещания молодых писателей Кавказа в Адыгее (2009) и Форума переводчиков с языков народов России на русский язык в Звенигороде (2015), организованных Фондом СЭИП С. А. Филатова. Участник I Международного совещания молодых писателей в Переделкино (2011), Форума переводчиков с языков малых народов России на русский язык (2016). Член Союза журналистов РФ, Союза писателей РФ. Подборки стихов и рассказы публиковались в дагестанской и российской периодике, в нескольких коллективных сборниках, выходивших в Махачкале и в Москве. Автор книг стихов «Время убывающей луны» (Махачкала, 2004) и «С далёких планет» (Москва, 2013).

стр. 175

Зубарева Вера Кимовна

Филадельфия (США)

Поэт, писатель, литературовед и режиссёр, автор 18 книг поэзии, прозы и литературной критики на русском и английском языках, лауреат многих международных премий. Родилась в Одессе. В 1995 году защитила докторскую диссертацию по теории чеховской комедии в Пенсильванском университете, где в настоящее время преподаёт чеховскую комедию, а также искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах. Лауреат многих международных премий. В 2012 году была объявлена первым лауреатом премии имени Беллы Ахмадулиной.

стр. 192

Игнатенко Николай Алексеевич

Томск, 1946 г. р.

Родился в г. Прокопьевске Кемеровской области. Окончил механико-математический факультет Томского университета, там же преподавал до 1991 года. Автор нескольких поэтических книг. Публикации в российских и зарубежных литературных журналах.

стр. 41

Кабашилова Мариям

Буйнакск — Москва, 1980 г. р.

В 2003 году окончила Дагестанский государственный педагогический университет (филологический факультет). Участница Форума молодых литераторов России в 2003 (семинар Т. Бек) и 2006 (семинар А. Кушнера) годах. Пишет стихи с 2000 года. Публиковалась в дагестанской периодике, в «Литературной России», в сборниках «Современники» по итогам Международного Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне», в альманахе «Словесность», изданном Союзом литераторов России. В 2002 году в Махачкале небольшим тиражом вышел сборник стихов «Мне бы». С 2005 года живёт в Москве, где вышли два персональных сборника стихов: «Вода» и «Физика».

стр. 52

Кердан Александр Борисович

Екатеринбург, 1957 г. р.

Родился в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооружённых силах. Полковник запаса. Доктор культурологии. Автор 40 книг стихов и прозы, вышедших в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в Западной Сибири. Произведения переведены на английский, итальянский, грузинский, азербайджанский и другие языки. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Сопредседатель Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала.

стр. 138 **Кожевникова Наталья Юрьевна**
Оренбург, 1948 г. р.

Поэтесса, журналист. В 1975 году окончила Оренбургский государственный педагогический институт. Работала научным сотрудником, главным хранителем фондов краеведческого музея в Бузулуке. Сотрудничала в качестве внештатного корреспондента с городской газетой «Под знаменем Ленина» (позже — «Российская провинция»), руководила литературной молодёжной группой «Колибри» при ней, писала краеведческие заметки, очерки, рассказы, стихи. В 1986 году была участницей областного семинара молодых прозаиков и поэтов Оренбурга, проводившегося писательской организацией совместно с журналом «Литературная учёба» и Южно-Уральским издательством. В 1993 году появились первые столичные публикации в газете «Литературная Россия» и журнале «Москва» (№ 5), за которые получила премию этого журнала. В этом же году была приглашена собкором в газету «Южный Урал» по Бузулукскому району. Автор стихотворных книг, многочисленных публикаций в оренбургских областных и центральных газетах. Лауреат премии журналистики «Москва» (1993), областной Аксаковской (2002), Всероссийской Пушкинской премии «Капитанская дочка» (1997).

стр. 193 **Колмогоров Александр Васильевич**
Москва, 1951 г. р.

После окончания школы год работал на авиационном заводе слесарем-электриком. Служил в армии на Украине, в танковых войсках. Окончил филологический факультет Ташкентского государственного университета и театральную студию при академическом театре драмы. Служил актёром и режиссёром в театрах Ташкента, Ростова-на-Дону и Москвы. В Москву переехал с семьёй в 1998 году. Кроме службы в театре, работал также снабженцем, грузчиком, администратором балетной труппы, столяром, продавцом-консультантом, ассистентом режиссёра на телевидении, писал сценарии, пьесы, либретто. Автор трёх сборников стихов и книги рассказов «Прошу ответить девушку». Публиковал стихи и прозу в журналах и альманахах «Новая Юность», «Звезда Востока», «Иерусалимский журнал», «Книголюб», «Малый шёлковый путь», «Невский альманах», «Русский язык в Армении» и др.

стр. 218 **Косяков Дмитрий Николаевич**
Красноярск, 1983 г. р.

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра». Живёт в Красноярске.

стр. 68 **Кузичкин Сергей Николаевич**
Красноярск, 1958 г. р.

Родился в Тайшете Иркутской области. Окончил Высшие литературные курсы в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. Печатался в коллективных сборниках столичных издательств «Детская литература», «Литературная Россия», красноярских писателей, в литературных альманахах и журналах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Венгрии, Норвегии, Канады. Автор нескольких книг прозы. С августа 2006 года автор проекта и редактор альманаха прозы, поэзии и публицистики «Новый Енисейский литератор» и журнала для детей школьного возраста «Енисейка». Член Союза писателей России. Живёт в Красноярске.

стр. 197 **Мамаева Альбина Романовна**
Красноярск

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Публиковалась в журнале «День и ночь». Живёт в Красноярском крае.

стр. 185 **Манаева Ирина Александровна**
Красноярск, 1986 г. р.

Родилась в городе Острогожске Воронежской области. Окончила Воронежский государственный педагогический университет по специальности «учитель русского языка и литературы». С 2011 года живёт в Красноярске. В 2014 году заняла второе место во Втором Международном литературном конкурсе «Лохматый друг» в номинации «Рассказы о животных»; в 2015-м — третье место во Всероссийском литературном конкурсе юмористических рассказов «Святая простота». В том же году стала лауреатом в Международном литературном «Гайдаровском конкурсе» в номинации «Проза взрослых авторов». Живёт в Красноярске.

стр. 141 **Мингазова Светлана Васильевна**
Казань, 1946 г. р.

Родилась в Ульяновской области. Детство и юность прошли в городе Железногорске Красноярского края. В 1969 году окончила Красноярский строительный институт. В 1969 году вышла замуж и переехала в Казань на постоянное место жительства. Все годы трудовой биографии работала инженером, начальником производственного отдела, зам. начальника проектно-сметного отдела в строительных и проектных организациях Казани и на обустройстве нефтяных месторождений Тюменского севера (1974–1980). Лауреат нескольких литературных премий.

стр. 51, 133, 140, 174, 214 **Минин Евгений Аронович**
Иерусалим, 1949 г. р.

Поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах. Издатель альманаха «Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Директор Международного союза литераторов и журналистов (APIA) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпространство» (Москва). Лауреат нескольких литературных премий. Член судейского корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010). Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы.

стр. 210 **Немежикова Ольга Владимировна**
Красноярск, 1965 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила с отличием два факультета в КИЦМ (ныне ИЦМиМ) по специальностям «горный инженер-геолог» (Ленинская стипендиатка, 1987), «экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в журнале «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 136 **Орлов Александр Владимирович**
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр. 143 **Пырх Виталий Петрович**
Красноярск, 1944 г. р.

Родился в Запорожье. Окончил Запорожский металлургический техникум. После окончания работал отжигальщиком термических печей на заводе «Запорожсталь». Служил в Советской Армии. С отличием окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Работал корреспондентом, заведующим отделом промышленности и собственным корреспондентом республиканских и центральных газет. С 1987 года живёт в Красноярске, где работал корреспондентом газеты «Трибуна». Автор более двух тысяч газетных публикаций различных жанров, двух десятков статей в толстых журналах, а также нескольких книг публицистики, изданных в Москве и Сыктывкаре, шестнадцати поэтических сборников и трёх книг документальной прозы. Живёт в Красноярске.

обл. **Рогачёв Виктор Иванович**
Красноярск, 1963 г. р.

Родился в селе Мордовское Коломасово Ковылкинского района, Мордовия. Профессор, член Союза художников России, преподаватель кафедры «Графика» Красноярского государственного художественного института. Выпускник Ичалковского педагогического училища (Мордовия), Орловского педагогического института, Красноярского государственного художественного института, творческих мастерских Российской академии художеств (Красноярск). Лауреат и дипломант многочисленных городских, краевых, региональных, всероссийских, зарубежных и международных конкурсов и выставок. Произведения находятся в музеях и картинных галереях России и за рубежом, а также в частных коллекциях в России, Южной Корее, Италии, Германии.

стр. 49 **Синельников Михаил Исаакович**
Москва, 1946 г. р.

Известный русский поэт. Автор 21 оригинального поэтического сборника, в том числе однотомника (2004), двухтомника (2006) и книги «Сто стихотворений» (2011). Его стихи постоянно печатаются в основных литературных журналах, в «Литературной газете», вошли в существующие антологии русской поэзии XX века, переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, сербско-хорватский, словенский, румынский, турецкий, азербайджанский, фарси, хинди, узбекский, киргизский, грузинский, армянский, осетинский, монгольский, вьетнамский, корейский языки, отдельными книгами вышли в Черногории и Румынии. Поэзия М. Синельникова в разные времена вызывала интерес отечественной и зарубежной критики. Его деятельность поэта, переводчика, эссеиста, филолога отмечена многими российскими и иностранными премиями, в том числе премиями Министерства высшего образования СССР (за юношескую работу об античном театре), Ивана

Бунина, Арсения и Андрея Тарковских, «Глобус», «Золотое перо», «Исламский прорыв», грузинской премией Георгия Леонидзе, киргизской премией Алыкула Осмонова, таджикской премией «Боргои Сухан», румынской премией Фонда «Пауль Полидор», премиями литературных журналов. Среди наград — грузинский орден Святой Нины, серебряная медаль Ивана Бунина (от Российской академии естественных наук), медаль Валерия Брюсова, армянская золотая медаль «За литературные заслуги», таджикская медаль «Знак Слова», Почётная грамота Президента Кыргызстана. Заслуженный работник культуры Ингушетии, член Исполкома «Общества культурного и делового сотрудничества с Индией». Является также действительным членом Российской академии естественных наук и Петровской академии, академиком турецкой Академии культуры и поэзии (Чанаккале). В московском Институте стран Азии и Африки преподаёт разработанный им курс «Азия и Африка в русской поэзии». Является членом редакционной коллегии выходящего в Бухаресте интернационального журнала «Диалог морей». Член Союза писателей СССР (1976) и Союза писателей Москвы.

стр. 37
Тумалаев Багдат
Махачкала, 1982 г. р.

Выпускник отделения журналистики филологического факультета Дагестанского государственного университета (2004). Статьи публиковались в прессе с 1999 года. Сотрудничал с дагестанскими изданиями «Новое дело», «Черновик», «МК в Дагестане», «Настоящее время». Проза публиковалась в альманахе молодых литераторов Дагестана «Верба», литературном журнале «Дагестан» и общекавказской литературно-художественной газете «Горцы». Некоторое время работал в петербургском издании «Мой район». В 2007 году участвовал в 7 Форуме молодых писателей России. Статьи и рассказы автора размещены на сайтах: limonka.nbp-info.ru, www.literature.hot.ee, www.bbc.co.uk, www.kavkaz-uzel.ru. В данный момент работает фотографом в Махачкале. Ведёт дневник в Интернете: bagdat.livejournal.com. Участник Гражданского литературного форума России.

стр. 179
Тяжев Михаил Павлович
Москва, 1974 г. р.

Родился в Горьком. В 1998 году окончил Нижегородское театральное училище, работал актёром в детском театре «Вера». Студент Литературного института имени А. М. Горького (курс С. Н. Есина), параллельно снимается в кино. Публикации в журналах «Новый мир», «Октябрь». Дипломант Бунинской премии (2013) в номинации «Дебют».

стр. 46
Хуршилова Мадина
Махачкала, 1973 г. р.

Родилась в Махачкале. Выпускница филологического факультета Дагестанского государственного университета. Стихи пишет с детства. Пятикратный лауреат Международного Пушкинского фестиваля искусств «С веком наравне» в номинации «Поэзия». Есть публикации в дагестанской периодике. Вышло около десяти персональных и коллективных сборников в Махачкале и Москве. Работает редактором в издательстве ДГУ.

стр. 40
Шамилова Хамис
Махачкала, 1973 г. р.

Родилась в селе Муги Акушинского района Республики Дагестан. Окончила отделение журналистики филологического факультета ДГУ, юридический факультет ДГУ, Литературный институт имени Горького в Москве. С 1998 года работает на телевидении. Лауреат Госпремии Республики Дагестан в области театрального искусства и кино. Член Союза писателей России. Участница Международного фестиваля телевизионных программ «Золотой бубен». Её работы неоднократно отмечены премиями Министерства культуры Республики Дагестан. Её стихи были опубликованы в «Литературной газете», в «ЛитЭре», в журнале «Поиск истины — Дагестан», в газетах «Дагестанская правда», «Махачкалинские известия», «Горцы». Автор нескольких телевизионных проектов: «Жизнь театра», «Мой Дагестан», «Профессионал», «Вдохновение». Два персональных сборника стихов: «Мелодия утренней песни» и «Лирика».

стр. 3
Яновский Николай Николаевич
Новосибирск, 1914–1990

Советский литературовед, литературный критик, историк литературы. Член Союза писателей СССР (1956). Специалист по истории сибирской литературы. Автор 30 монографий, большого количества статей. Автор около 100 статей для «Краткой литературной энциклопедии». В 1969 году — составитель и главный редактор издания «Литературное наследство Сибири» (вышло 8 томов). С 1979 по 1990 год входил в редакционную коллегию книжной серии «Литературные памятники Сибири» Восточно-Сибирского книжного издательства (Иркутск).

стр. 203
Яранцев Владимир Николаевич
Новосибирск, 1958 г. р.

Родился в Калинине (Тверь). Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Преподавал там же. Кандидат филологических наук. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Гуманитарные науки Сибири», в еженедельниках «Литературная

газета», «Литературная Россия». Автор книги статей и эссе «Ещё предстоит открыть» (Новосибирск, 2008). Один из ведущих современных сибирских критиков. В многочисленных статьях, обзорах, рецензиях поднимает острые проблемы текущего литературного процесса. Обращается и к истории сибирской литературы, о чём, в частности, свидетельствует его большое исследование о В. Зазубрине. Член Союза писателей России.

стр. 223
Синяя тетрадь
Красноярск

Софья Малышева, Софья Петрова, Мария Кац, Алёна Барсукова, Ангелина Гельгорн, Инга Попова, Марина Сапарова, Андрей Яшников, Анастасия Стрижак — победители конкурса «Первая строка», ученики школ города Красноярска.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Марина Саввиных

РЕДАКТОРЫ
отдел прозы
Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов
отдел поэзии
Сергей Кузнечихин
отдел публицистики
Геннадий Васильев

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

СЕКРЕТАРИАТ
Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Николай Алешков
Набережные Челны
Сергей Арутюнов
Москва
Юрий Беликов
Пермь
Вера Зубарева
Филадельфия
Анатолий Кирилин
Барнаул
Валентин Курбатов
Псков
Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург
Евгений Минин
Иерусалим
Виталий Молчанов
Оренбург
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Миясат Муслимова
Махачкала
Александр Петрушкин
Кыштым
Лев Роднов
Ижевск
Евгений Степанов
Москва
Михаил Тарковский
Бахта
Вероника Шелленберг
Омск
Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

В оформлении обложки использованы картины Натальи Горбачёвой и Виктора Рогачёва.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «День и ночь».
ИНН 246 304 2749
Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в «Сибирском» филиале
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске
БИК 045 004 788
Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:
г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.
т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 15.11.2016
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10; т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Виктор Рогачёв | Осеннее серебро | 2005

Виктор Рогачёв | Вечерний свет | 2013

Виктор Рогачёв
Дачи. Осень | 2008

На обложке:

Наталья Горбачёва
Самовар (фрагмент) | 2013